



БАЛТО-СЛАВЯНСКИЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

1988–1996

*К шестидесятилетию  
Владимира Антоновича Дыбо —*

*коллеги, друзья, ученики*



*Владимир Антонович Дыбо*

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ И БАЛКАНИСТИКИ

# БАЛТО-СЛАВЯНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 1988–1996

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ



Ответственные редакторы тома  
Т. М. СУДНИК, Е. А. ХЕЛИМСКИЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИНДРИК»  
Москва 1997

Редакционная коллегия:

А. Ванас, Вяч. Вс. Иванов (отв. редактор серии), В. Мажюлис, Л. Г. Невская,  
В. П. Нерознак, М. Рудзите, Т. М. Судник (отв. секретарь), А. Е. Супрун,  
В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев

Рецензенты:

Р. А. Агеева, Т. В. Булыгина

Издание осуществлено при поддержке Российского гуманитарного научного фонда  
(номер проекта 96-04-16058)

**Балто-славянские исследования 1988–1996.** — М.: Издательство  
Б20 «Индрик», 1997. — 408 с.  
ISBN 5-85759-051-5

В девятом томе публикуются наиболее интересные и важные материалы международной балто-славянской конференции «Балто-славянские языки и проблема урало-индоевропейских связей», состоявшейся в Институте славяноведения и балканистики летом 1990 г. Представленные статьи отечественных и зарубежных специалистов (лингвистов, фольклористов, историков, археологов, этнографов) анализируют и уточняют существующие представления о характере, интенсивности и результатах связей между балто-славянскими и финно-угорскими этнолингвистическими комплексами в различные исторические эпохи и на различных территориях. Рассматриваются следующие тематические циклы: славяне и финно-угры, балты и финно-угры, восточные индоевропейцы и уральцы, ностратика и древнейшая этнокультурная история Евразии. Сборник включает исследования по балто-славянской гидронимии, касающиеся балтийских следов в Поочье, на Верхнем Дону, в бассейнах Вислы и Одера. Критико-библиографический раздел информирует читателя о новой проблематике и новых изданиях.

The ninth volume of the Annual contains the proceedings of the International Conference «Balto-Slavic Languages and the Problem of Uralo-Indo-European Relations», held in the Institute for Slavic and Balkan Studies in summer 1990. They cover five principal subject cycles: the Slavs and Ugrians, Balts and Ugrians, Germans and Ugrians, Eastern Indo-Europeans and the Uralic peoples, nostratic science and ancient ethno-cultural history of Eurasia. Studies of Balto-Slavic hydronymy are also published.

ISBN 5-85759-051-5

© Институт славяноведения  
и балканистики РАН, 1997  
© Коллектив авторов, 1997

## СОДЕРЖАНИЕ

К юбилею Владимира Антоновича Дыбо.....	9
Библиография трудов В. А. Дыбо (Г. И. Замятина).....	13
<i>Х. Бирнбаум.</i> Еще раз о завоевании Северо-Восточной Европы славянами и о вопросе финно-угорского субстрата в русском языке .....	23
<i>А. К. Матвеев.</i> К лингвоэтнической идентификации финно-угорской субстратной топонимии.....	30
<i>Е. А. Мельникова, В. Я. Петрухин.</i> Русь и чужь. К проблеме этнокультурных контактов Восточной Европы и балтийского региона в первом тысячелетии н. э. ....	40
<i>Ю. И. Смирнов.</i> Устроители мира на покое (Коми-русско-латышские фольклорные параллели) .....	51
<i>Л. Хонти.</i> Случайность или заимствованная структура?.....	60
<i>Л. А. Гиндин, И. А. Калужская.</i> Об одном унгаризме в карпатском ареале: * <i>marha</i> .....	66
<i>В. В. Седов.</i> Контакты балтов с финноязычными племенами в эпоху раннего железа.....	72
<i>У. Сало.</i> Прабалтийские заимствования прибалтийско-финских языков с точки зрения археологии .....	81
<i>Л. Беднарчук.</i> Конвергенции балто-славянских и финно-угорских языков в структурном и ареальном аспекте .....	91
<i>Р. Анттила.</i> Недостающие звенья в лексических цепочках: переГОНка балто-славянских слов в прибалтийско-финский и их сКОЛки .....	109
<i>Т. Хофстра.</i> Германские заимствованные слова в прибалтийско-финском и дальнейшие отношения заимствования между германским и прибалтийско-финским.....	128
<i>К. Редди.</i> Древнейшие индоевропейские заимствования в уральских языках .....	141
<i>Й. Койвулеhto.</i> Ранние индоевропейско-уральские языковые контакты .....	156

А. В. Дыбо. К культурной лексике праалтайского языка .....	164
Ю. Янхунен. Критические замечания к индо-уральским сравнениям последнего времени .....	178
Е. Е. Кузьмина. Финно-угры и индо-иранцы: динамика культурных связей .....	184
Я. Гуя. К сопоставлению культур уральской и индоевропейской эпох .....	191
В. В. Напольских. Происхождение субстратных палеоевропейских компонентов в составе западных финно-угров .....	198
Л. А. Гиндин. «Карта предполагаемых прародин шести ностратических языков» В. М. Иллич-Свитыча и современные вопросы индоевропейской прародины .....	209
Е. А. Хелимский. Uralo-Indogermanica: балто-славянские языки и проблема урало-индоевропейских связей .....	224
А. А. Зализняк. Об одном ранее неизвестном рефлексе сочетаний типа *ТърТ в древненовгородском диалекте .....	250
С. Каралюнас. Из наблюдений над балто-славянской лексикой (балт. *kurti, слав. *kuriti) .....	259
В. Н. Топоров. Балтийский элемент в гидронимии Поочья. III .....	276
В. Н. Топоров. Балтийские следы на Верхнем Дону .....	311
В. Н. Топоров. К вопросу о древнейших балто-финноугорских контактах по материалам гидронимии .....	325
В. Э. Орел. Неславянская гидронимия бассейнов Вислы и Одера .....	332
В. И. Кулаков. Этии и видиварии .....	359
О латышском этимологическом словаре К. Карулиса (К. Karulis. Latviešu etimoloģijas vārdnīca. S. I-II. Rīga, 1992) (А. Е. Аникин) .....	373
Конференция по проблемам истории Литвы времен Гедимина (В. И. Матузова) .....	381
NECROLOGIA .....	383
Вместо заключения .....	399

## CONTENTS

60th birthday anniversary of V. A. Dybo .....	9
Bibliography of V. A. Dybo's works (G. I. Zam'atina) .....	13
H. Birnbaum. Once more on the conquest of North-Eastern Europe by Slavs and on the problem of Finno-Ugrian substratum in Russian .....	23
A. K. Matveev. On linguistic and ethnic identification of the Finno-Ugrian toponymical substratum .....	30
E. A. Mel'nikova, V. Ja. Petruhin. Rus' and čud': the problem of ethnocultural contacts in Eastern Europe and Baltic area in the 1st millenium A. D. ....	40
Yu. I. Smirnov. The arrangers of the World community at haymaking: (Komi-Russian-Lettish parallels in folk-lore) .....	51
L. Honti. Coincidence or borrowed structure? .....	60
L. A. Gindin, I. A. Kalužskaja. A term of Hungarian origin in the Carpathian area: *marha .....	66
V. V. Sedov. Contacts of Balts with Finnic tribes in the Early Iron Age .....	72
U. Salo. Baltic loanwords in Finnic from the viewpoint of archaeology .....	81
L. Bednarczuk. Balto-Slavic and Finno-Ugrian convergences: structural and areal aspects .....	91
R. Anttila. Missing links in lexical chains: DRAWing and SPLITting of Balto-Slavic words in Finnic .....	109
T. Hofstra. German loanwords in Finnic and subsequent connections between German and Finnic .....	128
K. Rédei. The oldest Indo-European loanwords in the Uralic languages .....	141
J. Koivulehto. Early language contacts between Indo-European and Uralic .....	156
A. V. Dybo. To the study of the cultural vocabulary of Proto-Altaiic ....	164
J. Janhunen. Critical remarks on recent Indo-Uralic comparisons .....	178

<i>E. E. Kuz'mina</i> . Finno-Ugrians and Indo-Iranians: the dynamics of cultural ties .....	184
<i>J. Guya</i> . On comparing the cultures of the Uralic and the Indo-European epochs .....	191
<i>V. V. Napol'skih</i> . The origin of Paleo-European substratum components of the Western Finno-Ugrians .....	198
<i>L. A. Gindin</i> . V. M. Illič-Svityč's «Map of assumed proto-homelands of six Nostratic languages» and contemporary issues of the Indo-European proto-homeland .....	209
<i>E. A. Helimskij</i> . Uralo-Indogermanica: Balto-Slavic languages and the problem of Uralic-Indo-European contacts .....	224
<i>A. A. Zalozn'ak</i> . An unknown reflexion of *T <sub>3</sub> rT-type sequences in Old Novgorodian .....	250
<i>S. Karaliūnas</i> . From Balto-Slavic vocabulary (Baltic *kurti, Slavic *kuriti) .....	259
<i>V. N. Toporov</i> . Baltic elements in hydronymy of the Oka river basin. III .....	276
<i>V. N. Toporov</i> . Baltic Traces on the Upper Don .....	311
<i>V. N. Toporov</i> . On the problem of earliest contacts between Baltic and Finno-Ugrian: the evidence of hydronymy .....	325
<i>V. E. Orel</i> . Non-Slavic hydronymy of the Vistula and Oder river basins .....	332
<i>V. I. Kulakov</i> . Aestii and Vidivarri .....	359
Lettish etymological dictionary by K. Karulis. ( <i>K. Karulis</i> . Latviešu etimoloģijas vārdnīca. S. I-II. Rīga, 1992) ( <i>A. E. Anikin</i> ) .....	373
Conference on the history of Lithuania in the times of Gediminas ( <i>V. L. Matuzova</i> ) .....	381
NECROLOGIA .....	383
In place of conclusion .....	399

## К юбилею Владимира Антоновича Дыбо

Этот выпуск «Балто-славянских исследований» посвящен Владимиру Антоновичу Дыбо. Повод для этого — его шестидесятилетие. Представленные здесь статьи, заметки, материалы, чувства, воодушевлявшие авторов и составителей этой книги, все это вместе — знак нашей признательности Владимиру Антоновичу и симпатии к нему, если оценивать наше отношение к юбиляру по самой сдержанной мерке. Мы испытываем к Владимиру Антоновичу чувство глубокого почтения и хотим должным образом передать это наше чувство. Вместе с тем мы знаем, что нам оказана юбиляром еще большая честь — быть его современниками, свидетелями его научного подвига, его коллегами, товарищами, учениками, наконец, честь держать экзамен на верность нашей науке перед лицом такого сурового, строгого, неумытного испытателя, каким для многих из нас является Владимир Антонович.

Едва ли можно в этих строках взять на себя смелость оценивать все то, что сделано им в науке: для этого нужна иная компетенция, существенно больше времени и, пожалуй, другие условия. Говорить здесь об этом между прочим, скороговоркой нет смысла, да, кроме того, в данном случае, кажется, можно сделать для себя некоторую поправку — сказать о юбиляре и то, что не принято говорить при других обстоятельствах, например, попытаться осмыслить все то, что мы связываем с деятельностью Владимира Антоновича как особого феномена — именно в том исходном значении греческого слова τὰ φαινόμενα, когда факт обнаружения явления неотделим от некоего благодатного света и от переживания этого явления как глубокого знамения, чуда (как в гомер. φῆναι τέρας). Конечно, об этом можно говорить здесь лишь пунктирно, да и сама ситуация должна не столько развешивать языки «славящих», сколько напоминать о тех табу, которые неизбежны в этих обстоятельствах.

Вхождение Владимира Антоновича в науку, во всяком случае его первые труды, относятся к рубежу 50–60-х годов, кажется, «осевому» времени нашего языкознания, непосредственно или косвенно предопределившему ведущие направления и главные идеи лингвистики второй половины XX в. и заложившему основы того круга проблем, которые, очевидно, будут подхвачены лингвистикой следующего века. Пограничность этого времени и его чреватость как разрывами, переломами, так и новыми конструктивными возможностями определялась двумя обстоятельствами — во-первых, сменой поколений в мировой славистике (на Московском съезде славистов 1958 г. можно было увидеть и услышать славистов, составивших себе имя еще до Первой мировой войны — Фасмер, Мазон, Белич и др., или непосредственно наследовавших им — Лер-Сплавинский, Вайян, Якобсон, Станг и др.) и во-вторых, — появлением в нашей лингвистике отчетливых при-

знаков возрождения компаративизма и первых шагов структурализма. Люди недалековидные, а иногда и злонамеренные (а такие были с обеих сторон) пытались противопоставить и, более того, столкнуть оба эти направления. Но поколение Дыбо, Иллича-Свитыча, Зализняка, Мельчука, чем бы ни занимались они далее, избежало этого мнимо необходимого выбора, сэкономив тем самым время и силы для решения подлинно серьезных и творческих задач. Все, что нужно, усваивалось органично и как бы походя, и соответствующие их сравнительно-исторические исследования — как в том, что касается собственно компаративистских процедур, так и в том, что относится к интерпретационным схемам, — безупречны именно с методологической точки зрения. Более того, компаративизм Дыбо и его товарищей, собственно, и есть торжество системно-центрированной методологии в сравнительно-историческом языкознании. В самом широком смысле то главное, что делал Владимир Антонович в течение трех с половиной десятилетий своей научной деятельности, состояло в борьбе с хаосом, в отвоевывании у него «твердых» частей, превращаемых в «космологические» элементы, и в организации их в систему, в нечто цельное, обнаруживающее единую логику, объединяющую в себе и логику творения-развития и логику актуального функционирования.

Что давало силы Владимиру Антоновичу для такой демиургической деятельности? Надо думать, что сознательно или подсознательно Владимир Антонович верил, что сколько ни была бы «природа» изощрена и даже софистифицирована, она все-таки не злонамеренна, но, напротив, честна в своих намерениях, и если она ставит перед человеком препятствия, то только как фильтр для отделения «посвященных» от «профанов» и только как залог преодоления этих препятствий достойными; верил, что есть некое тонкое «кармическое» соответствие между тем, что приносит исследователь на алтарь науки, и теми плодами, которые увенчивают эти труды; верил, что *долг платежом красен* и что высокий долг, исполняемый бескорыстно, дает неожиданный прирост. Наверное, все это именно так, но ситуация требует лишь одного — чтобы сам исследователь был достоин ее, то-есть конганиален ей. Это и есть случай Владимира Антоновича, выбравшего, пожалуй, наиболее сложную и уж во всяком случае наиболее специальную область языкознания, в частности и славистики, — акцентологию.

Разумеется, в славянской акцентологии было немало замечательных достижений и в частных вопросах, и в серьезных попытках синтеза (от ван Вейка до Станга, если говорить об эпохе до Дыбо и Иллича-Свитыча). И все-таки в целом, — правда, отчетливо это стало видно уже позже, — здание не только было недостроено, но оно строилось на недостаточных надежных основаниях и ему грозили бы перекосы, явные признаки которых уже становились реальностью. Системность славянской акцентологии обнаруживала себя скорее эмпирически и не стала принципом самого построения этой дисциплины. Более того, славянская акцентология была неким изолированным привеском к сравнительно-исторической грамматике славянских языков, — необязательным как для студентов за пределами закона Фортунатова — де Соссюра, так и, как ни странно, малоинтересным для по-

давляющего большинства славистов-компаративистов, не знавших, собственно, что дает акцентология для других разделов языковой структуры, и оставшихся в основном равнодушными к ней. Но это, впрочем, были уже проблемы «изоляционистов». Естественно, что нужна была строгая ревизия самой акцентологии, и эта ревизия, жесткая, ставившая некоторые модные теории и их авторов в неудобное положение, была кратко и с покоряющей убедительностью проведена Владимиром Антоновичем и Владиславом Марковичем. Важная черта этой ревизии — ее беспристрастность, ее, так сказать, «сверх-персональный» характер. Плохи не Иванов, Петров, Сидоров (да и не они главные персонажи разыграншегося поиска), но некоторые из предлагающихся решений, в которых факты подлинные и квази-факты, факты и мнения о них, результаты сравнения и логически допустимые интерпретации — все это было связано в некий узел, не поддающийся, на первый взгляд, развязыванию. Без критического разбора таких «акцентологических завалов» трудно было конституировать сам уровень подлинных фактов, фактологический горизонт проблемы. Конечно, кто «боялся глубокой воды и не мог найти брода», предпочитали остаться на этом берегу. Нужна была смелость, чтобы искать вопреки всему и найти тот берег. Трудности должны были быть поняты не просто как помехи, но как необходимость, как судьба. Сложности, иногда огромные, кажется, неизбежные — да. Но само это явление сложности или даже сверхсложности путевказующе и спасительно, и именно оно ведет отважного, но и расчетливого исследователя к решению проблемы, а значит — к выходу в пространство новой, более высокой организации, где склublяются новые, следующие по очереди проблемы, завязываются новые узлы, ждущие новых разрешений их. По этому пути Владимир Антонович прошел неправдоподобно далеко, дальше, чем другие, и увлек с собою наиболее одаренных своих коллег и учеников. Современным своим видом славянская, балто-славянская, индоевропейская акцентология существеннейшим образом обязана Дыбо и его последователям. Основы общей акцентологической теории, более чем когда-либо еще, заложены им же в его работах последних лет. Обе эти заслуги, как сказали бы немцы, «делают эпоху». Это обстоятельство заслуживает быть подчеркнутым особо: именно в трудах Дыбо впервые отчетливо узреваются контуры новой, по сути дела, научной дисциплины — общей акцентологии.

Другой обширный круг научных интересов В. А. Дыбо — ностратическое языкознание, новая ветвь компаративистики, которая открыла захватывающие дух перспективы и приблизила нас к глубинам прошлого, началу нашего языкового бытия: несколько тысячелетий были благодаря трудам В. М. Иллича-Свитыча вырваны из тьмы небытия и явлены нам чак наше до того не ведомое и не видимое бытие. В. А. Дыбо был самым первым, самым ответственным и самым надежным восприимчивым этого новорожденного чуда, «чудопримцем». Но и более того — на всем отрезке латентного созревания ностратики он был первым и, пожалуй, единственным подлинным собеседником-соучастником дела, заинтересованным и мудрым советчиком, проницательным критиком. После смерти Иллича-Свиты-



ча вся тяжесть оформления первых результатов ностратики, ее развития и обеспечения этого развития в дальнейшем легла на плечи Владимира Антоновича. Эти задачи были выполнены им с удивительной строгостью, основательностью, последовательностью, — с блеском. Вот уже многие годы В. А. Дыбо — ведущая фигура современной ностратики, заботливый воспитатель нового поколения специалистов в этой области. Трудно переоценить значение этого жертвенного подвига нашего собрата, подхватившего выпавшее из рук перо и своим подвигом («за други своя...») как бы продлившего жизнь в науке своего ушедшего друга. Высший уровень в науке неизбежно обнаруживает ту связь со сферой нравственного, которая на средних уровнях может становиться неактуальной.

Что было необходимо для этих свершений? Конечно, прежде всего, природные дарования и еще — трезвая самооценка своих возможностей, соразмеренная со сложностью задач, но и аскетическая научная дисциплина, проявившая себя в предельном сосредоточении на том главном, ради которого приходится жертвовать многим, даже важным и сулящим богатые результаты. Но главная трудность как раз в том, чтобы найти это главное и никогда не упускать его из виду. Ни знание, ни интуиция сами по себе не обеспечивают нахождения этого «главного». Вероятно, в этом случае речь идет именно о том чудесном прибитке, который всегда больше суммы составляющих его факторов и который всегда — лучшая награда исследователю. Разрешить эти вопросы, вероятно, мог бы сам Владимир Антонович, но и «внешний» наблюдатель не может не заметить, что научному творчеству юбиляра свойственны две, казалось бы противоположные особенности: с одной стороны, поразительная зоркость и острота взгляда в отношении частных, требующие предельной сосредоточенности внимания, т. е. целенаправленного его сужения, а с другой стороны, не менее поразительная широта взгляда, осмысляющего целое и как бы заранее предполагающего, каким будет это искомое целое. Конечно, для ученого такого масштаба и такого огромного опыта, как Владимир Антонович, некий «гештальтизм» естествен, но нельзя забывать, что именно Дыбо ввел в научный обиход принцип исчерпывающей полноты описания (без всяких «и т. д.»), вовсе не всегда обязательный для решения данной конкретной проблемы, но закладывающий те ресурсы, которые могут понадобиться на следующем этапе, при новом повороте проблемы. Это сочетание микроскопической зоркости и макроскопического дальновидения могло бы, вероятно, объяснить многое и в феномене Дыбо и в зримых нами результатах разветвления этого феномена. В обоих случаях перед нами новая парадигма — в первом случае самого типа исследования, во втором — преобразованной им столь основательно области знания.

Но Владимир Антонович видится и в ином, если угодно, более скромном контексте — как работник, труженик, пахарь на ниве или монах, принявший на себя трудный подвиг труженичества. И думается — в таких именно людях средоточие наших надежд и залог нашего спасения. Это сознание определяет те чувства, которые многие из нас испытывают к Владимиру Антоновичу.

## БИБЛИОГРАФИЯ НАУЧНЫХ РАБОТ В. А. ДЫБО

### І. ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

#### Диссертации

1962

1. Проблема соотношения двух балто-славянских рядов акцентных соответствий в глаголе (слав.  $\overset{~}{-}$  : лит.  $\overset{~}{-}$  : лтш.  $\overset{~}{-}$  и слав.  $\overset{~}{-}$  : лит.  $\overset{~}{-}$  : лтш.  $\overset{~}{-}$ ). Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М., 1962, 151 с.

Работа защищена 10 мая 1962 г. в Институте славяноведения АН СССР.

1978

2. Опыт реконструкции системы праславянских акцентных парадигм. Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук, т. I-II. М., 1978, 379 + 263 с. [Основной текст и Приложение: Фразовая модификация ударения в праславянском (Закон Васильева-Долобо)].

Работа защищена 20 февраля 1979 г. в Институте славяноведения и балканистики АН СССР.

#### Книги

1978

3. Опыт реконструкции системы праславянских акцентных парадигм. Автореферат докторской диссертации. М., 1978, 50 с.

1981

4. Славянская акцентология. Опыт реконструкции системы акцентных парадигм в праславянском. М., 1981, 272 с.

1984

5. В. М. Иллич-Свитыч. Опыт сравнения ностратических языков (семитохамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский). Сравнительный словарь (p-q). (По карточкам автора). М., 1984.

Критический анализ материала карточек В. М. Иллич-Свитыча в свете фактов, ставших доступными после 1966 года, и авторская работа над текстом были проведены В. А. Дыбо и А. В. Дыбо, библиография и списки сокращений составлены Р. В. Булатовой.

1990

6. Основы славянской акцентологии. М., 1990, 284 с. (В соавторстве с С. Л. Николаевым и Г. И. Замятиной.)

1993

7. Основы славянской акцентологии. Словарь. Непроизводные основы мужского рода. Вып. 1. М., 1993, 331 с. (В соавторстве с С. Л. Николаевым и Г. И. Замятиной.)

## II. ПРЕДИСЛОВИЯ

(Вводные статьи к книгам других авторов или к отдельным их разделам и комментариям к ним)

1971

8. От редактора [Вводная статья] // В. М. Иллич-Свитыч. Опыт сравнения ностратических языков (семитохамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский). Введение. Сравнительный словарь (b-к). М., 1971, с. I-XXXVI.

9. О принципах построения словаря // Там же, с. 105-106.

10. Сравнительно-фонетические таблицы // Там же, с. 147-171.

1976

11. От редактора. [Предисловие] // В. М. Иллич-Свитыч. Опыт сравнения ностратических языков (семитохамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский). Сравнительный словарь (l-з). Указатели, М., 1976, с. 3-4.

1977

12. Работы Ф. де Соссюра по балтийской акцентологии. [Вводная статья к двум работам Соссюра по литовской акцентуации] // Фердинанд де Соссюр. Труды по языкознанию. М., 1977, с. 583-597.

1987

13. Книга Хенрика Бирнбаума и современные проблемы праязыковой реконструкции [Предисловие] // Хенрик Бирнбаум. Праславянский язык. Достижения и проблемы в его реконструкции. М., 1987, с. 5-16.

14. Комментарии // Хенрик Бирнбаум. Праславянский язык. Достижения и проблемы в его реконструкции. М., 1987, с. 494-509.

15. Комментарии [К статье Н. С. Трубецкого «О звуковых изменениях русского языка и распаде общерусского языкового единства»] // Н. С. Трубецкий. Избранные труды по филологии. М., 1987, с. 425-427.

III. РАБОТЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ  
В НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКЕ И В СБОРНИКАХ

1958

16. О древнейшей метатонии в славянском глаголе // Вопросы языкознания, 1958, № 6, с. 55-62.

1961

17. Ударение славянского глагола и формы старославянского аориста // Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР, 1961, № 30, с. 33-38.

18. Сокращение долгот в кельто-италийских языках и его значение для балто-славянской и индоевропейской акцентологии // Вопросы славянского языкознания, 1961, № 5, с. 9-34.

1962

19. [Резюме выступления на подсекции «Фонетика и фонология славянских языков» IV Съезда славистов] // IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Том второй: Проблемы славянского языкознания. М., 1962, с. 350-352).

1963

20. О реконструкции ударения в праславянском глаголе // Вопросы славянского языкознания. М., 1963, № 6, с. 3-27.

21. Об отражении древних количественных и интонационных различий в верхнелужицком языке // Сербо-лужицкий лингвистический сборник. М., 1963, с. 54-83.

22. К истории славянской системы акцентуационных парадигм // Славянское языкознание. Доклады советской делегации. М., 1963, с. 70-87. (Совместно с В. М. Иллич-Свитычем.)

23. [Ответ на вопрос:] «Какви са резултатите от сравнителното изследване на славянската акцентология?» // Славянската филология, т. I: Отговори на въпросите за научната анкета по езикознание. София, 1963, с. 76-77.

1966

24. Болгарский текст в русской минее XVII в. // Byzantinobulgarica. II. Sofia, 1966, p. 279-301. (Совместно с В. А. Кучкиным.)

25. Владислав Маркович Иллич-Свитыч (1934-1966) // ИЮЛЯ АН СССР, 1966, № 6, с. 563-564. (Совместно с А. Б. Долгопольским.)

1967

26. Памяти В. М. Иллич-Свитыча // Советское славяноведение, 1967, № 1, с. 72-75. (С библиографией печатных трудов В. М. Иллич-Свитыча (с. 76-77), составленной И. Е. Можяевой.)

1968

27. О некоторых неясных вопросах отражения праславянских акцентно-интонационных и количественных отношений в верхнелужицком языке // Beiträge zur sorbischen Sprachwissenschaft. Bautzen, 1988, S. 64-73.

28. Акцентология и словообразование в славянском // Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1968, с. 148-224.

29. Фрагмент праславянской акцентной системы (формы-enclitomena в аористе i-глаголов) // Советское славяноведение, 1968, № 6, с. 66-77.

30. Accentuation and derivation in Slavic languages // Mezinárodní sjezd slavistů 6. Praha 1968. Resume přednášek, příspěvků a sdělení. Praha, 1968.

1969

31. Среднеболгарские тексты как источник для реконструкции праславянского ударения (Praesens) // Вопросы языкознания, 1969, № 3, с. 82-101.

32. Древнерусские тексты как источник для реконструкции праславянского ударения (Praesens) // Вопросы языкознания, 1969, № 6, с. 114-122.

## 1970

33. О законе Л. Л. Васильева–М. Г. Долобко // Кузнецовские чтения. Тезисы. М., 1970, с. 7.

34. Фрагмент праславянской акцентной системы. (Ударение прилагательных с суффиксом *-ък-*) // Советское славяноведение, 1970, № 5, с. 46–57.

35. О рефлексах индоевропейского ударения в афганском // Актуальные вопросы иранистики и сравнительного индоевропейского языкознания. Тезисы докладов. М., 1970, с. 10–14.

## 1971

36. О фразовых модификациях ударения в праславянском // Советское славяноведение, 1971, № 6, с. 77–84.

37. К вопросу об ударении производных прилагательных (прилагательные с суффиксом *-ан-*) // Сборник за филологију и лингвистику. Нови Сад, 1971, кн. XIV/1, с. 7–24.

38. К классификации среднеболгарских акцентных систем (предварительные итоги) // Исследования по славянскому языкознанию. М., 1971, с. 63–70.

39. Закон Васильева–Долобко и акцентуация форм глагола в древнерусском и среднеболгарском // Вопросы языкознания, 1971, № 2, с. 93–114.

## 1972

40. Акцентные типы презенса глаголов с *з* и *ь* в корне в праславянском // Вопросы языкознания, 1972, № 4, с. 68–79.

41. Реконструкция ударения *l*-причастия от глаголов на *-пг-* и *-i-* в праславянском // Исследования по сербохорватскому языку. М., 1972, с. 86–104.

42. Об уральском вокализме // Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков. Тезисы докладов. М., 1972, с. 35–37.

43. О рефлексах индоевропейского ударения в индоиранских языках // Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков. Тезисы докладов. М., 1972, с. 38–44.

## 1973

44. Балто-славянская акцентная система с типологической точки зрения и проблема реконструкции индоевропейского акцента // Кузнецовские чтения 1973. История славянских языков и письменности. М., 1973, с. 8–10.

45. Материалы по исторической акцентологии болгарского языка. I. Именное ударение в восточных среднеболгарских текстах XIII–XIV вв. // Известия на Института за български език. София, 1973, XXII, с. 151–210.

46. Вклад В. М. Иллич-Свитыча в сравнительно-историческую грамматику индоевропейских и ностратических языков // Советское славяноведение, 1973, № 5, с. 82–91. (Совместно с А. Б. Долгопольским и А. А. Зализняком.)

47. Ударение притяжательных прилагательных на *-ъj-* в праславянском // Лингво-типологические исследования, I. М., 1973, с. 202–230.

## 1974

48. Акцентные типы производных в праславянском // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1972. М., 1974, с. 233–242.

49. Фрагмент праславянской акцентной системы. Выбор акцентных типов у прилагательных с суффиксом *-ъsk-* // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1972. М., 1974, с. 243–257.

50. Афганское ударение и его значение для индоевропейской и балто-славянской акцентологии. I. Именная акцентуация // Балто-славянские исследования. М., 1974, с. 67–105.

## 1975

51. Закон Васильева–Долобко в древнерусском (на материале Чудовского Нового Завета) // International journal of Slavic linguistics and poetics, XVII, 1, 1975, p. 7–81.

## 1977

52. Именное ударение в среднеболгарском и закон Васильева–Долобко // Славянское и балканское языкознание. М., 1977, с. 189–272.

53. Западнокавказская акцентная система и проблема ее происхождения // Конференция «Ностратические языки и ностратическое языкознание». Тезисы. М., 1977, с. 41–45.

## 1978

54. Ностратическая гипотеза. (Итоги и проблемы) // ИАН СССР. Серия литературы и языка, 1978, т. 37, вып. 5, с. 400–413.

55. Тонологическая гипотеза генезиса индоевропейских акцентных систем // Конференция «Проблемы реконструкции». Тезисы докладов. М., 1978, с. 56–61.

56. A tonological hypothesis on the origin of paradigmatic accent systems // Estonian papers in phonetics. 1978. Tallinn, 1978, p. 16–20. (Совместно с С. Л. Николаевым и С. А. Старостиным.)

57. К вопросу о системе порождения акцентных типов производных имен в прабалтийском // Конференция «Этнолингвистические балто-славянские контакты в настоящем и прошлом». 11–15 декабря 1978 г. Предварительные материалы. М., 1978, с. 79–80.

## 1979

58. Реконструкция системы акцентных парадигм в праславянском // Сборник за филологију и лингвистику, XXII/1. Нови Сад, 1979, с. 37–71.

59. Балто-славянская акцентная система с типологической точки зрения и проблема реконструкции индоевропейского акцента. (Акцентологический статус конечнударных форм а. п. с в праславянском) // Balcanica: лингвистические исследования. М., 1979, с. 85–101.

## 1980

60. Балто-славянская акцентная система с типологической точки зрения и проблема реконструкции индоевропейского акцента. I. Балто-славянский прототип праславянской акцентной системы // Балто-славянские этноязыковые контакты. М., 1980, с. 91–150.

## 1981

61. К вопросу о системе порождения акцентных типов производных имен в прабалтийском // Балто-славянские исследования 1980. М., 1981, с. 65–89.

## 1982

62. О некоторых акцентологических изоглоссах словенско-кайковской языковой области // Hrvatski dijalektološki zbornik, 1982, knj. VI. s. 101–134.

63. Праславянское распределение акцентных типов в презенсе тематических глаголов с корнями на нешумный (материалы к реконструкции). I. Реконструированное распределение в целом. Замечания по классификации и реконструкции глагольных классов. Материалы к реконструкции распределения акцентных типов у презенсов I группы // Балто-славянские исследования 1981. М., 1982, с. 205–261.

## 1983

64. Еще к вопросу о балто-славяно-германских акцентологических соответствиях // Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и ареальном плане. Тезисы докладов. М., 1983, с. 16–18.

65. Праславянское распределение акцентных типов в презенсе тематических глаголов с корнями на нешумный (материалы к реконструкции). II. Некоторые дополнения и уточнения к характеристике ряда древних южнославянских акцентных систем презенса. III. Материалы к реконструкции распределения акцентных типов у презенсов II группы. Балто-славянские истоки описанного распределения // Балто-славянские исследования 1982. М., 1983, с. 3–67.

66. Теоретические основы праславянского акцентологического словаря // Славянское языкознание. IX Международный съезд славистов. М., 1983, с. 47–60. (Совместно с Р. В. Булатовой и А. А. Зализняком.)

67. Theoretical principles of a proto-Slavonic accentological dictionary // IX Международный съезд славистов. Резюме докладов и письменных сообщений. М., 1983, с. 11. (Совместно с Р. В. Булатовой и А. А. Зализняком.)

## 1984

68. Ностратическая макросемья и проблема ее временной локализации // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Тезисы и доклады конференции, ч. 5. М., 1984, с. 3–20. (Совместно с В. А. Терентьевым.)

69. Слово в акцентологическом сравнительно-историческом словаре // Слово в грамматиках и словарях. М., 1984, с. 211–215. (Совместно с Р. В. Булатовой.)

70. Словообразование и акцентология. Акцентологические архаизмы как источник для реконструкции акцентных типов производящих // Сопоставительное изучение словообразования славянских языков. Тезисы Международного симпозиума. М., 1984, с. 81–87.

## 1985

71. Проблемы изучения отдаленного родства языков // Вестник АН СССР, 1985, № 2, с. 55–66. (Совместно с И. И. Пейросом.)

## 1986

72. Праславянское распределение акцентных типов в презенсе тематических глаголов с корнями на нешумный (материалы к реконструкции). IV. Материалы к реконструкции распределения акцентных типов у глаголов на *-лe-* с корнями на гласные и сонанты // Балто-славянские исследования 1984. М., 1986, с. 112–134.

## 1987

73. On the origin of morphonemicized accent systems // Proceedings XI-th ICPH. The Eleventh International Congress of Phonetic Sciences. August 1–7, 1987, Tallinn, Estonia, U.S.S.R. Vol. 2. Tallinn, 1987, p. 404–406.

74. Словообразование и акцентология. Акцентологические архаизмы в производных как источник для реконструкции акцентных типов производящих // Сопоставительное изучение словообразования славянских языков. М., 1987, с. 142–149.

75. Просодическая система тубу (группа теда-канури) — начало трансформации тональной системы в систему парадигматического акцента? [ч. I] // Африканское историческое языкознание. М., 1987, с. 458–557.

76. Праславянское распределение акцентных типов в презенсе тематических глаголов с корнями на нешумный (материалы к реконструкции). V. Новые данные по глагольной акцентуации среднеболгарских текстов тырновской группы // Балто-славянские исследования 1985. М., 1987, с. 181–209.

77. Программа «Реконструкция и типология просодических систем»: методологические основы и проблемы // Материалы всесоюзной конференции «Теория лингвистической реконструкции» (Москва, 11–13 января 1988 г.). М., 1987, с. 34–42.

## 1988

78. Проблема акцентологических диалектизмов в праславянском // X международный конгресс на славистите. София, 14–22 септември 1988 г. Резюме на докладите. София, 1988, с. 7.

79. Проблемы акцентологических диалектизмов в праславянском // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. София, сентябрь 1988 г. Доклады советской делегации. М., 1988, с. 31–66.

## 1989

80. Афганское ударение и его значение для индоевропейской и балто-славянской акцентологии. II. Глагольная акцентуация. а) Формы презенса // Славянское и балканское языкознание. Просодия. М., 1989, с. 106–147.

81. К проблеме раннеславянского диалектного членения // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Материалы к дискуссиям на Международной конференции (Москва, 29 мая — 2 июня 1989 г.). Ч. 2. М., 1989, с. 66–92. (Совместно с С. Л. Николаевым.)

82. Типология и реконструкция парадигматических акцентных систем // Историческая акцентология и сравнительно-исторический метод. М., 1989, с. 7–45.

83. Сопоставительное изучение морфонологизованных акцентных и тоновых систем и их синхронное описание // Синхронно-составительное изуче-

ние грамматического строя славянских языков. Тезисы докладов и сообщений советско-польской конференции 3–5 октября 1989 г. М., 1989, с. 13–14.

84. Акцентологический комментарий к Норовской псалтыри // Норовская псалтырь. Среднеболгарская рукопись XIV века. В двух частях. Часть I / Издание подготовили Е. В. Чешко, И. К. Бунина, В. А. Дыбо, О. А. Князевская, Л. А. Науменко. София. 1989, с. 93–114.

85. Балто-славянская акцентная система с типологической точки зрения и проблема реконструкции индоевропейского акцента. II. Западнокавказские акцентные системы как аналог балто-славянской. 1. Некоторые дополнения к реконструкции балто-славянской акцентной системы // Балто-славянские исследования 1987. М., 1989, с. 238–248.

86. Indo-European and East-Nostratic Velar Stops // Reconstructing Languages and Cultures. Abstracts and Materials from The First International Interdisciplinary Symposium on Language and Prehistory. Ann Arbor, 8–12 November, 1988 (edited by Vitaly Shevoroshkin). Bochum, 1989. (Перевод части работы № 53.)

### 1990

87. К вопросу о типах систем парадигматического акцента // Конференция «Сравнительно-историческое языкознание на современном этапе». Памяти В. М. Иллич-Свитыча. 6–9 февраля 1990 г. Тезисы докладов. М., 1990.

88. Comparative-Phonetic Tables for Nostratic Reconstructions // Proto-Languages and Proto-Cultures. Materials from The First International Interdisciplinary Symposium on Language and Prehistory. Ann Arbor, 8–12 November, 1988 (edited by Vitaly Shevoroshkin). Bochum, 1990. (Перевод работы № 9.)

89. О ритмической концепции Л. Г. Герценберга в пуштунской акцентологии // Вопросы иранистики и алановедения (Научная конференция, посвященная 90-летию В. И. Абаева). Владикавказ, 18–20 октября 1990 г. Тезисы докладов. Владикавказ, 1990, с. 10–12.

90. Ностратические языки // Лингвистический Энциклопедический словарь. М., 1990, с. 338–339. (В соавторстве с В. А. Терентьевым.)

91. Шахматова закон // Лингвистический Энциклопедический словарь. М., 1990, с. 587–588.

### 1991

92. К вопросу о происхождении морфонологизированных акцентных систем // Studia slavica. К 80-летию Самуила Борисовича Бернштейна. М., 1991, с. 106–111.

### 1993

93. Праславянская акцентология и лингвогеография (Доклад на Братиславском съезде славистов). (В соавторстве с Г. И. Замятиной и С. Л. Николаевым.)

94. В защиту некоторых традиционных этимологий // Принципы составления этимологических и исторических словарей языков разных семей. М., 1993, с. 18–22.

### 1994

95. Accentuation processes in the languages of Teda-Kanuri group and problem of origin of paradigmatic accent systems // St. Petersburg journal of African studies (SPbJAS), St.-Pb., 1994, № 2, p. 29–50.

96. Морфонологический анализ, внешнее сравнение и сопоставление в лингвистической реконструкции // Теоретические и методологические проблемы сопоставительного изучения славянских языков. М., 1994, с. 197–219.

97. Язык–Этнос–Археологическая культура (Несколько мыслей по поводу индоевропейской проблемы) // Язык–Культура–Этнос. М., 1994, с. 39–51.

98. Accentuation processes in the languages of teda-kanuri group and problem of origin of paradigmatic accent systems (end) // St. Petersburg Journal of African Studies (SPbJAS), St.-Pb., 1994, № 3, p. 27–44.

### 1995

99. Акцентуационные процессы в языках теда-канури и проблема происхождения парадигматических акцентных систем // Московский лингвистический журнал. М., 1995, № 1, с. 236–279.

По сравнению с № 95 и 98 содержит анализ тональных классов глагольной *-sk*-группы канембу, обнаруживающих соответствие с тональными классами II глагольной группы тубу.

### 1996

100. Новые данные по диалектологии среднеболгарских акцентных систем // Русистика. Славистика. Индоевропеистика. Сборник к 60-летию Андрея Анатольевича Зализняка. М., 1996, с. 356–382.

### В ПЕЧАТИ

101. В. М. Иллич-Свитыч как компаративист // Вестник МГУ.

102. Акцентологические наблюдения над новоболгарскими дамаскинами XVII в. I // Болгарский язык. Эпохи Возрождения. (Совместно с С. Л. Николаевым и Дж. Шаллертом.)

103. Балто-славянская акцентная система с типологической точки зрения и проблема реконструкции индоевропейского акцента. II. // Западнокавказские акцентные системы как аналог балто-славянской // Балто-славянские исследования 1994 (и след.).

104. Основы славянской акцентологии. Акцентологический словарь славянских языков. М, т. I, вып. 2. (В соавторстве с С. Л. Николаевым и Г. И. Замятиной.)

105. Основы славянской акцентологии. Акцентологический словарь славянских языков. М, т. I, вып. 3. (В соавторстве с С. Л. Николаевым и Г. И. Замятиной.)

106. Типология акцентных систем.

107. Лекции по балтийской акцентологии.

## IV. РЕЦЕНЗИИ

1957

108. [Рец. на кн.:] *J. Pokorny*. Indogermanisches Wörterbuch // Вопросы языкознания, 1957, № 2, с. 144–145.

1958

109. [Рец. на кн.:] *H. Frisk*. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Lfg. 1–4 // Лексикографический сборник, вып. 3. М., 1958, с. 168–169.

110. [Рец. на кн.:] *E. Fraenkel*. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Lfg. 1–5 // Лексикографический сборник, вып. 3. М., 1958, с. 169.

111. [Рец. на кн.:] *В. Георгиев*. Словарь критских микенских надписей // Лексикографический сборник. М., 1958, вып. 3, с. 171.

1960

112. [Рец. на кн.:] *L. Sadnik*. Slavische Akzentuation // Вопросы языкознания, 1960, № 6, с. 113–119.

1962

113. [Рец. на кн.:] *Chr. Stang*. Slavonic accentuation // Структурно-типологические исследования. М., 1962, вып. 3, с. 220–225.

1964

114. [Рец. на кн.:] *V. Kiparsky*. Der Wortakzent der russischen Schriftsprache // КСИС АН СССР. М., 1964, вып. 41, с. 78–85.

Составила Г. И. ЗАМЯТИНА

Х. БИРНБАУМ

ЕЩЕ РАЗ О ЗАВОЕВАНИИ  
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ СЛАВЯНАМИ  
И О ВОПРОСЕ ФИННО-УГОРСКОГО СУБСТРАТА  
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Хотя уже много написано и о завоевании северо-восточной Европы славянами, и о вопросе финно-угорского субстрата в русском языке, осталось еще довольно много невыясненных или недостаточно изученных проблем, относящихся к только что названным вопросам, так что стоит хотя бы коротко остановиться на них для того, чтобы указать, что именно нуждается в дальнейшем уточнении и объяснении. В этой связи я постараюсь изложить и свою собственную точку зрения относительно некоторых спорных до сих пор вопросов.

Предварительно придется сказать, что, когда речь идет о северо-восточной Европе, мы имеем в виду как раз территорию европейской части России. Далее, нужно уточнить, что те славяне, которые захватили северо-восточную Европу, это — восточные славяне или, скорее, те славянские племена, которые впоследствии стали восточнославянскими (или, еще точнее, которые мы привыкли называть восточнославянскими). При этом не принимается во внимание, откуда они произошли — считая, что, по мнению некоторых ученых, кривичи, а также, быть может, ильменские (или новгородские) словене, по крайней мере отчасти, являлись пришельцами со славянского запада. Как известно, и ранее некоторые ученые придерживались мнения, что вятичи и радимичи попали на славянский восток с запада. Добавочно уточняя употребляемые в заглавии выражения, вместо финно-угорского субстрата в русском языке более уместно говорить о финском субстрате, так как угорские языки на самом деле никаким образом не могли повлиять на образование (или преобразование) русского — или даже общевосточнославянского — языка, ибо часть угорского населения находится за Уралом (а в доисторические времена оно, кажется, поселялось на западных склонах Уральских гор), в то время как другая ветвь того же этнолингвистического комплекса, образовавшая впоследствии венгерский (мадьярский) народ, передвигалась в юго-западном направлении, обойдя Киев, по свидетельству Повести временных лет (ПВЛ), в 898 г.

Этнонимия ПВЛ, детально изученная Г. А. Хабургаевым (Хабургаев 1979; см., однако, и критическую рецензию Ю. Шевелева, Shevelov 1982), является, конечно, одним из самых важных источников нашего знания о раннем распространении восточных славян на территории северо-восточной Европы и о покорении ими местных неславянских — т. е., главным образом, балтийских и финских племен. Однако надо иметь в виду, что ПВЛ написана с известной политической целью и что поэтому ее изложение иногда является крайне субъективным (разумеется, в пользу русской, или, скорее, славянской точки зрения). Более объективным можно, на мой взгляд, считать языковое свидетельство ономастики и, особенно, гидронимии, изученной без всякого предвзятого мнения современными учеными. Работой такого рода является статья немецкого языковеда и ономатолога Ю. Удольфа (Udolph 1981). Там, на основании географического распределения отражений лексем \**вьсь* / *деревня*, *поток* / *ручей* и *корч*- (ср. рус. *корчевка*) / *гарь* / *дор*, автор прослеживает миграции восточных славян. Таким образом он различает следующие пять фаз в распространении славян на территории северо-восточной Европы: 1) обход припятских болот, 2) после достижения цепи белорусских холмов — миграции на север в направлении Чудского озера и озера Ильмень, 3) на север от озера Ильмень разделение миграционных движений — с одной стороны, далее на север, вглубь Карелии, а с другой — на восток, к Верхнему Поволжью, 4) продолжение восточного движения вдоль Волги, 5) распространение экспансии в разных направлениях, на север, восток и юг, вдоль больших рек. По-моему, такое толкование постепенного расселения восточнославянских племен по территории нынешней России представляется весьма реалистичным. Так как мы примерно знаем пределы заселения финских этнических групп во второй половине первого тысячелетия н. э., нетрудно реконструировать и пути, и приблизительное время завоевания восточнославянскими пришельцами областей, первично заселенных финским населением.

Что же касается финского субстрата в русском языке, то на эту тему написано уже весьма много. Среди более ранних работ, которые сохранили свое значение до сегодняшнего дня, можно назвать, особенно, книгу Я. Калимы (Kalima 1915) о западнофинских (прибалтийско-финских) лексических заимствованиях в русском языке, а также монографию М. Фасмера (Vasmer 1934/1971) о прежнем распространении западных финнов на территории нынешних славянских стран; в этих работах обсуждается и предшествующее изучение данного вопроса. Наиболее обстоятельным пока исследованием финского субстрата в русском языке является, насколько мне из-

вестно, монография В. Фенкера (Veenker 1967), где учтены не только почти все выпедшие до того времени работы по данному предмету, но в которой разбираются подробно и все — даже потенциально — относящиеся сюда явления фонологии, морфологии, синтаксиса и лексики. Работа Фенкера вызвала критический отзыв известного финского слависта В. Кипарского (Kiparsky 1969a), занимавшегося ключевым для его разысканий вопросом о взаимном влиянии финских (преимущественно западнофинских) и восточнославянских языков (ср. особенно Kiparsky 1952, 1958, 1962, см. также, например: Kiparsky 1963, 76–84, 126, 137–143; 1975, 86–92). Среди работ нелингвистического, в основном, характера, где можно найти ценные сведения по ранним финско-восточнославянским контактам (отразившимся и в языке), можно назвать, например, «Словарь по славянским древностям», издаваемый Польской Академией наук (SSS, 58–60, статья Ч. Кудзиновского о финско-славянских языковых связях) и новейшее обширное руководство по истории России (HGR, 237–267, глава о восточных славянах и их соседях).

В книге Фенкера явления русского языка, решительно или в порядке рабочей гипотезы приписываемые влиянию финского субстрата, рассматриваются отдельно в областях фонетики/фонологии, морфологии, синтаксиса и лексики. Кроме того, учитывается вопрос, проникли ли данные явления лишь в часть диалектов русского языка или попали они также в стандартный литературный язык. И, наконец, для всех обсуждаемых языковых явлений указывается степень вероятности, с которой можно, по мнению автора, объяснить их влиянием финского субстрата. Таким образом, Фенкером обсуждаются: в области вокализма — вопрос гласного \**o* в «прарусском» (общевосточнославянском), аканье, яканье, оканье, переход *e > o* в безударном слоге, иканье, дифтонги и тенденции к дифтонгизации; в области консонантизма — корреляции звонкости, смягчения, количества и диалектные отклонения в системе согласных; далее, согласные *v* и *φ* и их изменения, задненебные, переход *z > v*, произношение согласного *l* (переход твердого *l* в «среднее» *l* или в билабиальное *v* [*ʎ*, *w*]), аффрикаты и проблема цоканья, упрощение (и другие видоизменения) групп согласных. Глава о фонологии заключается несколькими замечаниями по ударению и интонации. В области морфологии обсуждается именное склонение (род, число и, особенно, падеж), далее, постпозитивный член (артикль), сравнительная степень имен существительных типа *бережé(e)* 'ближе к берегу', взаимные местоимения и спряжение (в частности, ограничение употребления времен, тенденция — в основном синтаксическая, но морфологически мотивированная — к именным конструк-

циям, повелительное-наставительное наклонение в связи с уменьшительным словообразованием, так называемый латив, инфинитив, перфект и давнопрошедшее время). Среди синтаксических явлений автор рассматривает, прежде всего, именное предложение, а также конструкции, заменяющие выражения с глаголом «иметь» (т. е., в основном, посессивные конструкции), разные способы обозначения дополнения (объекта), конструкцию с творительным падежом, другие особенности употребления падежей, конструкцию типа *у него уехано*, особенности в употреблении предлогов. Что касается лексики, автор сперва дает обзор финно-угорских (и самоедских) заимствований или, скорее, методов их установления, отмечая, что только незначительное количество слов финно-угорского происхождения попало в современный русский литературный язык, в то время как в русских наречиях есть гораздо больше таких заимствований. Впоследствии Фенкер разбирает несколько суффиксов, заимствованных русским языком (или его диалектами) из финно-угорского. Под конец автор коротко обсуждает возможные лексические кальки и семантические сходства русского и финских языков.

Подытоживая свои наблюдения и разыскания, немецкий ученый приходит к выводу, что есть полное основание принимать субстратное влияние финских языков на русский. Как известно, в противоположность этому, большинство ученых отвергает теперь гипотезу о каком-либо финно-угорском субстрате еще в праславянском языке. Различая между несомненными, вероятными и возможными случаями финского влияния на русский язык, с одной стороны, и, с другой, между явлениями, проникшими в литературный язык или лишь в диалектную речь, Фенкер считает аканье, именное предложение и разного рода замены конструкций типа *habeo* надежными, несомненными случаями финского влияния на литературный русский язык, в то время как, по его мнению, переход *o > ôa* и *e > îa*, а также цоканье, ударение на первом слоге, сравнительную степень имен существительных, дополнение в именит. падеже и некоторые заимствованные суффиксы можно с уверенностью включить в число русских диалектизмов финского происхождения. Нет надобности перечислять здесь все остальные особенности русского языка или его диалектов, которые, по мнению Фенкера, в какой-то мере обязаны финскому влиянию (ср. Veenker 1987, 158–161, 326–329). Достаточно констатировать, что список несомненных и потенциальных «финнизмов» в русском языке, составленный немецким ученым, обширен и что точка зрения Кипарского гораздо более сдержанна. Таким образом, по мнению финского слависта (Kiparsky 1969, 27), финский субстрат несомненно налицо лишь в звуковой

системе и в синтаксическом строе русского языка. Отсутствие, по существу, глагола «иметь» и севернорусское цоканье объясняются, как думает Кипарский, именно образцом финской модели. По всей вероятности, аканье обязано влиянию мордовского (мокшанского) субстрата. Соответственно, конструкцию инфинитива с дополнением в именительном падеже, известную севернорусским наречиям, можно считать «холодильным» (в специальном понимании Кипарского) сохранением финской конструкции. В лексике финский — или даже финно-угорский — субстрат едва ли отражен, по крайней мере в русском литературном языке (ср. однако Кипарский 1975, 86–92, Issatschenko 1980, 26–27). Согласно Кипарскому, нет и существенных следов финского влияния на морфологию русского языка (вопреки утверждению Фенкера), так как явления, приписываемые немецким ученым этой области языка, на самом деле или самобытного, туземного происхождения (как, например, суффикс *-ка* в качестве черты повелительного наклонения с «интимной» окраской), или они принадлежат синтаксическому строю (например, постпозитивный член или сравнительная степень существительных).

В заключение уместно добавить несколько замечаний по некоторым из упомянутых здесь языковых явлений. Относительно аканья, я лично уверен, что это явление довольно позднего происхождения (не раньше XII в., а в основном XIII в.). Думается, что его легче всего объяснить влиянием восточнофинского (волжско-финского, мордовского, точнее, мокшанского) субстрата. Иначе говоря, я не считаю, вслед за А. Вайаном, Ю. Шевелевым, В. И. Георгиевым, Ф. П. Филиным и др., что аканье — прямое отражение праславянского состояния, когда, возможно, *o* и *a* совпали в кратком *a* (или близком к нему гласном), ср. Birnbaum 1965, 415–416; 1970, 47–61; 1972, 47–48, и указанные там работы по данному вопросу.

Что касается конструкции типа *вода пить, земля пахать*, я придерживаюсь мнения Кипарского (Kiparsky 1960, 1967, 1969) о сохранении индоевропейской конструкции под влиянием западнофинского субстрата (т. е. речи русифицированных и балтизированных прибалтийских финнов). Но я не могу принять ни теорию Фенкера, будто этот синтаксический тип возник в севернорусских наречиях исключительно вследствие финского влияния, ни остроумную, впрочем, попытку А. Тимберлейка (Timberlake 1974) объяснить его возникновение в индоевропейском и финно-угорском независимо друг от друга, но типологически параллельно и как бы в двух этапах — древнем и современном, притом первый — явление синтаксическое, а второй — явление морфологическое, ср. Birnbaum & Merrill 1983, 46.



Относительно выражений типа *у меня (есть)* вместо предложений с глаголом «иметь», X. Василеву (Vasilev 1973) удалось показать, что этот тип представлен не только в русском (или вообще восточнославянском), но что конструкции подобного типа встречаются и в старославянском (древнеболгарском), древнесербском и древнехорватском и что, поэтому, они восходят скорее к праславянскому периоду, ср. Birnbaum & Merrill 1983, 47. Соответственно, русский синтаксический тип не обязательно объясняется чужим влиянием, а, быть может, является опять лишь сохранением более древнего состояния, отчасти, кажется, в результате «холодильного» влияния финского субстрата. В этой связи нужно вспомнить, что современный русский язык является единственным славянским языком типа «быть» (в противоположность языкам типа «иметь», по типологическому различию А. В. Исаченко, ср. Isačenko 1974, Birnbaum 1978, в частности 28 и 30).

Наконец, что касается именного предложения в русском языке, то должно вспомнить, что французский лингвист Лэрмит, занимавшийся этим явлением, особенно на материале древнерусских памятников, пришел к выводу, что среди нескольких гипотез, относящихся к его происхождению, теория о решающем воздействии финского субстрата является наиболее вероятной, хотя и ее нельзя считать доказанной, ср. L'Hermitte 1978, в частности, 302–310, Birnbaum 1980, 101–102.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Birnbaum 1972 — Г. Бирнбаум. О степени доказательности диалектизмов-«архаизмов» // Русское и славянское языкознание. М., 1972, с. 43–48.
- Кипарский 1958 — В. Кипарский. О хронологии славяно-финских лексических отношений // ScSl, 4, 1958, с. 127–136.
- Хабургаев 1979 — Г. А. Хабургаев. Этнонимия «Повести временных лет». М., 1979.
- Birnbaum 1965 — H. Birnbaum. [Рец. на кн.: Kiparsky 1963] // ZfslPh, 32, 1965, S. 375–418.
- Birnbaum 1970 — H. Birnbaum. Zur Problematik der zeitlichen Abgrenzung des Urslavischen // ZfslPh, 35, 1970, S. 1–62.
- Birnbaum 1978 — H. Birnbaum. To Be or Not to Have. Some Notes on Russian Surface data and Their Typological and Universal Implications // Studia Linguistica (сб. в честь А. В. Исаченко). Lisse, 1978, p. 27–33.
- Birnbaum 1980 — H. Birnbaum. [Рец. на кн.: L'Hermitte 1978] // RL, 5, 1980, p. 99–102.

- Birnbaum & Merrill 1983 — H. Birnbaum, P. T. Merrill. Recent Advances in the Reconstruction of Common Slavic (1971–1987). Columbus, Ohio, 1983.
- HGR — Handbuch der Geschichte Russlands. Bd. 1, Lief. 4/5. Stuttgart, 1979.
- Isačenko 1974 — A. V. Isačenko. On 'Have' and 'Be' Languages (A Typological Sketch) // Slavic Forum. The Hague; Paris, 1974, p. 43–77.
- Issatschenko 1980 — A. V. Issatschenko. Geschichte der russischen Sprache. 1. Bd. Heidelberg, 1980.
- Kalima 1915 — J. Kalima. Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen. Helsingfors, 1915.
- Kiparsky 1952 — V. Kiparsky. The Earliest Contacts of the Russians with the Finns and Balts // OSP, 3, 1952, p. 67–69.
- Kiparsky 1960 — V. Kiparsky. Über das Nominativobjekt des Infinitivs // ZfslPh, 28, 1960, S. 333–342.
- Kiparsky 1962 — V. Kiparsky. Wie haben die Ostseefinnen die Slaven kennengelernt? // Commentationes Fenno-Ugricae in hon. P. Ravila. Helsinki, 1962, p. 223–230.
- Kiparsky 1963 — V. Kiparsky. Russische historische Grammatik. Bd. I: Die Entwicklung des Lautsystems. Heidelberg, 1963.
- Kiparsky 1967 — V. Kiparsky. Nochmals über das Nominativobjekt des Infinitivs // ZfslPh, 33, 1967, S. 263–266.
- Kiparsky 1969 a — V. Kiparsky. Gibt es ein finnougrieches Substrat im Slavischen? // Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Ser. B, 153:4. Helsinki, 1969.
- Kiparsky 1969 b — V. Kiparsky. Das Nominativobjekt des Infinitivs im Slavischen, Baltischen und Ostseefinnischen // Baltistica, 5:2, 1969, S. 141–148.
- Kiparsky 1975 — V. Kiparsky. Russische historische Grammatik. Bd. III: Entwicklung des Wortschatzes. Heidelberg, 1975.
- L'Hermitte 1978 — R. L'Hermitte. La phrase nominale en russe. Paris, 1978.
- Shevelov 1982 — G. Y. Shevelov. Между праславянским и русским // RL, 6, 1982, p. 353–376.
- SSS — Słownik starożytności słowiańskich. Wrocław, 1964, t. II, cz. 1.
- Timberlake 1974 — A. Timberlake. The Nominative Object in Slavic, Baltic and West Finnic. München, 1974.
- Udolph 1981 — J. Udolph. Die Landnahme der Ostslaven im Lichte der Namensforschung. Jahrb. f. Gesch. Osteuropas, 29, 1981, S. 321–336.
- Vasilev 1973 — Ch. Vasilev. Ist die Konstruktion *U Menja Est'* russisch oder urslavisch? // WdSL, 18, 1973, S. 361–367.
- Vasmer 1934/1971 — M. Vasmer. Die ehemalige Ausbreitung der Westfinnen in den heutigen slavischen Ländern // Sitz.-ber. d. Preuss. Akad. d. Wiss., Phil.-hist. Kl., 1934, XVIII, S. 349–434. Перепечатано в: Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde, T. I. Berlin, 1971, S. 271–345.
- Veenker 1967 — W. Veenker. Die Frage des finnougriechen Substrats in der russischen Sprache. Bloomington, 1967.

А. К. МАТВЕЕВ

### К ЛИНГВОЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ФИННО-УГОРСКОЙ СУБСТРАТНОЙ ТОПОНИМИИ

В области компаративистики и лингвоэтногенетических исследований финно-угроведение в отличие от индоевропейского языкознания вынуждено оперировать главным образом данными современных языков и диалектов, что очень затрудняет исследование истории финно-угорских языков и их носителей. Поэтому существенна любая возможность получить новые сведения о древних финно-угорских языках. В этом отношении большую ценность представляет финно-угорская субстратная топонимия, широко распространенная на территории севера Европейской части России (в дальнейшем — Севера) и южнее вплоть до Подмосковья, однако этот источник исследован и использован очень недостаточно, более того, традиционное финно-угроведение, видимо, пока не оценило его значение в полной мере. Между тем изучение субстратной топонимии может дать интересные сведения о финно-угорских языках и народах в древности.

В статье обосновывается взгляд, что наиболее важным источником субстратной топонимии Севера, во всяком случае в ее верхних слоях, были финские языки.

Прежде всего следует иметь в виду, что на всей огромной территории Севера от Карелии до Урала и далее в Приобье прослеживается в широтном направлении четкая географическая зональность расселения финских, угорских и самодийских народов. Единственное исключение — венгры, древняя история которых, однако, тоже связана с Уралом. Уже это обстоятельство наводит на мысль, что на Севере должна быть представлена прежде всего финская субстратная топонимия, под которой понимаются древние географические названия, восходящие к различным субстратным финским языкам.

Так как субстратные топонимы Севера получили за полтора века дискуссий множество исключаящих друг друга толкований — финских, угорских, самодийских, индоевропейских, «волго-окских» и прочих, в настоящее время крайне необходима критическая оценка всей совокупности фактов субстратной топонимии и поиск новых приемов их интерпретации.

В результате многолетних работ Севернорусской топонимической экспедиции Уральского университета удалось собрать субстратный материал, намного более значительный, чем те факты, которые ранее были в распоряжении А. И. Шёгрена, Д. Европеуса, Я. Калимы, М. Фасмера и других исследователей топонимии этой территории<sup>1</sup>. Собранный материал настолько велик, многообразен и сложен, что единственно рациональный путь его интерпретации видится сейчас в послыном анализе, начиная с верхнего (т. е. первого дорусского) пласта. Этот верхний пласт выявляется прежде всего путем вычленения субстратной микротопонимии (названий малых объектов), которая, как хорошо известно, в своем большинстве моложе гидронимии, точнее, в основном одновременна с микрогидронимией, но моложе названий более или менее значительных рек.

Законченное в основном к настоящему времени полевое обследование Севера (Архангельской и Вологодской областей) показало, что субстратная микротопонимия особенно хорошо сохранилась в Белозерском крае, по Онеге, Ваге и ее притокам, Пинеге, а также по многочисленным малым притокам Северной Двины (Верхняя и Нижняя Тойма, Мехреньга, Ёрга и т. п.). Юг и юго-восток региона (Сухона, Юг, Малая Северная Двина) значительно беднее субстратной микротопонимией, что, видимо, связано с ранним освоением русскими этих благодатных для земледелия территорий.

Что же показало изучение обширного массива севернорусских субстратных микротопонимов?

Установлено, что во всей зоне распространения микротопонимии встречаются названия прибалтийско-финского происхождения, сосредоточенные в скоплениях различной степени плотности. Они имеют типичные прибалтийско-финские топоформанты *нем, нема* (карел. *niemi*) 'мыс' (*Хумальнема* 'Хмелевой мыс', ср. карел. *humala* 'хмель'), *ранда* (карел. *randa*) 'берег' (*Лындранда* 'Птичий берег', ср. карел. *lindu* 'птица') и многие другие. Отмечена также целая серия названий с прибалтийско-финским по происхождению суффиксом *-ла* (< *la, lä*), имеющим в языках-источниках локативное значение, ср. *Веркола* (карел. *verko* 'сеть') 'У сети', 'Сетное (место)', *Корбала* (карел. *korbi* 'глухой лес') 'У леса', 'Лесное (место)' и т. п. Основы прибалтийско-финских ми-

<sup>1</sup> Историю вопроса см.: А. К. Матвеев. Из истории изучения субстратной топонимии Русского Севера // Вопросы топонимистики. Свердловск, 1971, вып. 5, с. 7–34; Он же. Угорская гипотеза и некоторые проблемы изучения субстратной топонимии Русского Севера // Вопросы финно-угроведения. Йошкар-Ола, 1970, вып. V, с. 116–124.

кروتонимов в своем большинстве хорошо этимологизируются. Проблему представляет, во-первых, точная лингвоэтническая привязка названий (к карелам, вепсам или неизвестным прибалтийским финнам), поскольку дифференциальные признаки между прибалтийско-финскими языками в субстратной топонимии обнаруживаются с трудом как из-за близости языков (в древности, видимо, еще более значительной), так и вследствие русской адаптации, нивелирующей звуковой состав и в то же время порождающей очень сильную вариантность. Так, например, прибалтийско-финское слово со значением 'мыс' (карел. *pieti*, вепс. *pet*) засвидетельствовано в формах *нем, немь, нема, мень, мен, мена, ним, мин, мина, вина, вин, лема, рема* и др. Во-вторых, необходимо уточнение очагов расселения прибалтийских финнов, поскольку для Севера в значительной степени характерна этническая лоскутность. Опыт анализа одного прибалтийско-финского микрорегиона в топонимии нижнего течения Онеги был недавно опубликован<sup>2</sup>.

Вместе с тем установлено, что в этих же пределах вплоть до границ с Республикой Коми широко распространена и саамская микротопонимия. Здесь, однако, есть свои особенности. Почти нет дифференцирующих саамских топонимов. Обычно наблюдается сочетание саамской основы с прибалтийско-финским топоформантом (*Чухченема, Явромень*, ср. саам. *šikša* 'глухарь', *jawre* 'озеро'). Напротив, засвидетельствовано большое количество топооснов саамского происхождения (*нюхч* 'лебедь', *шид* 'поселение', *шуб* 'осина' и т. д.), которые в регионе частотнее соответствующих прибалтийско-финских основ. Так, саамская основа *шуб* (*suppe*) 'осина' встречается чаще соответствующей прибалтийско-финской основы *хаб* (фин. *haara*, вепс. *hab*) как в микротопонимии, так и в гидронимии более чем в три раза. Поэтому следует считать, что саами здесь были более ранним населением, а прибалтийские финны наслоились на них своего рода мозаикой, только в некоторых местах русские ассимилировали собственно саамское население. Язык этих саами был архаичнее современных, что доказывается сохранением древнего *š* в соответствии с прибалтийско-финским *h* и современным саамским *s* (ср. основы *шид, шуб*). Его ареал четко делится изоглоссой *хч* — *кш* (*нюхч* — *нюкш, чухч* — *чукш*) на две зоны — двинских и белозерских саами. Дальнейшее разделение прибалтийско-финского

<sup>2</sup> А. К. Матвеев. Субстратная микротопонимия как объект комплексного регионального исследования // ВЯ, 1989, № 1, с. 77–85.

и саамского материала позволит выявить основные зоны расселения саами, а это в свою очередь будет способствовать уточнению их диалектных характеристик.

Таким образом, в верхнем слое субстратной топонимии содержится мощный прибалтийско-финский и саамский компонент.

Вместе с тем довольно значительный микротопонимический материал еще не получил удовлетворительного истолкования, в частности, названия, распространенные в южной части Архангельской области, особенно в бассейнах таких притоков Северной Двины, как Ёрга, Верхняя Тойма и некоторых других. Они имеют общие черты с прибалтийско-финскими и саамскими, но обладают особенностями, которые пока объяснить не удалось. Возможно, что в этих местах сохранились микротопонимические реликты какого-то особого субстратного финского языка.

Не обнаружена пока на территории Севера, несмотря на самые пристрастные поиски, волжско-финская, угорская<sup>3</sup> и самодийская микротопонимия, а пермские, точнее, коми микротопонимы в обилии отмечены только на крайнем юго-востоке региона по Нижней Вычегде близ границы с Республикой Коми и на северо-востоке в низовьях Вашки.

Однако при всей важности интерпретации фактов, относящихся к верхнему слою топонимии, еще актуальнее поиск путей лингвоэтнической идентификации ее глубинных компонентов, которые представлены в гидронимии и выходят за рамки прибалтийско-финского и саамского субстрата. Решение этой проблемы значительно обогатило бы наши знания об историческом развитии финно-угорских и — шире — уральских народов и их языков. Древность названий (в основном корпусе гидронимов — более тысячи лет), многочисленность, исключительно важное — центральное — положение между зонами расселения саами, прибалтийских финнов, волжских финнов, пермян и ненцев делают проблему интерпретации глубинных слоев субстратной топонимии во многих отношениях узловым для решения вопросов финно-угорского и уральского лингвоэтногенеза.

<sup>3</sup> В свое время Б. А. Серебренников предположил, что нижневыхегодские названия на *-луг, -лук* связаны с манс. *лох*, хант. *лук* 'речной залив'. Однако недавно М. Л. Гусельникова, тщательно изучив материал в памятниках и на месте, установила, что окруженные типично субстратными коми-зырянскими названиями топонимы на *-луг, -лук* являются или собственно коми-зырянскими образованиями с заимствованным русским термином *луг*, или полукальками. См.: М. Л. Гусельникова. Еще раз о топонимах на *-луг/-лук* в Ленском районе Архангельской обл. // Этимологические исследования. Екатеринбург, 1991, с. 41–51.

Своего рода компасом при анализе субстратной гидронимии на первых порах служит та же микротопонимия.

В огромном гидронимическом массиве Севера, состоящем из многообразных названий с исходами на *га*, *ма*, *ша* и т. п., микротопонимия является базой прежде всего для выявления прибалтийско-финских и саамских по происхождению названий на *оа*, *уа*, *ой*, *уй*, *бой* 'речка', 'ручей' (ср. фин.-карел. *oja*, саам. *vuaaj*). Многочисленные гидронимы такого рода обнаружены в очагах распространения прибалтийско-финской и саамской микротопонимии (*Лындуй*, *Шубоя* и т. п.). Естественно предположить, что на Севере в тех же зонах должны быть представлены и гидронимы с формантами, отражающими прибалтийско-финское и саамское название реки (карел. *jogi*, саам. *jokkâ*). И тогда мы выходим на ключевой вопрос об интерпретации обширного массива речных названий с исходом на *га*. Этот вопрос должен считаться ключевым по той причине, что гидронимов на *га* намного больше, чем, например, гидронимов на *ма* и *ша*, а также потому, что гидронимы на *га* безусловно являются уральскими, что сейчас, кажется, уже никто не оспаривает. Вместе с тем их происхождение по-прежнему вызывает дискуссию: одни ученые считают эти гидронимы финскими (А. И. Шёгрэн, М. Фасмер, А. И. Попов, О. Соважо), другие — угорскими (Д. Европеус, Б. А. Серебренников) или самодийскими (А. П. Дульзон).

Вопрос о наличии в субстратной гидронимии угорских и самодийских элементов чрезвычайно важен. Его решение существенно для определения направления передвижений финно-угорских и самодийских народов к местам их современного местожительства, а в конечном счете и для установления финно-угорской и уральской прародины.

В сущности мы должны выбрать путь в ситуации, достаточно запутанной как объективно — множеством трудного для интерпретации материала, так и субъективно — в результате различий в методических принципах.

Суть проблемы состоит в том, что древний корень со значением 'река' отражен почти во всех уральских языках (фин. *joki*, саам. *jokkâ*, мар. *йогы*, древнеперм. *\*jug*, хант. *ёхан*, ненец. *яха* и т. п.) и притом в фонетически близких вариациях. Поэтому он не обладает достаточной дифференцирующей способностью. Этим и вызваны споры вокруг происхождения названий рек на *ога*, *ога*, *уга*, *юга*, *уг*, *юг* и т. п. Напротив, обозначение озера в уральских языках является ярко дифференцирующим и представляет для топонимических разысканий исключительный интерес, по-

скольку западнофинское и волжское слово (фин.-карел. *järvi*, саам. *jawge*, мар. *ep*) противостоит пермскому (коми *ты*), угорскому (венг. *tó*) и самодийскому (ненец. *то*), т. е. эта лексическая изоглосса разделяет уральские языки на две ареальные области: финскую — западную и пермско-угорско-самодийскую — восточную. Следовательно, изучение вопроса об отражении названия озера в субстратной топонимии может сузить возможности интерпретации речных гидронимов с исходом на *га*: если названия рек на *га* — пермские, угорские либо самодийские, то и в озерных гидронимах должны быть отражены соответствующие топоформанты (типа *\*то*, *\*ты* и т. п.), в противном случае этих формантов не должно быть.

На первый взгляд, изучение названий озер уже давно могло дать ответ на вопрос, к какой из двух зон — западной или восточной — относились древние языки субстратной гидронимии, но дело в том, что озерные гидронимы в своей массе утратили детерминанты и стали полукальками типа *Мустозеро* или *Шардозеро*. Только многолетний целенаправленный сбор субстратной топонимии на всей территории Севера позволил получить достаточно ясный ответ на этот вопрос, так как среди тысяч полукалек все-таки было обнаружено некоторое количество озерных названий с субстратными топоформантами.

Изучение названий озер показало, что в субстратной топонимии нет никаких следов «озерного» термина, характерного для пермско-угорско-самодийской зоны (коми *ты*, венг. *tó*, ненец. *то*). Только на крайнем юго-востоке Архангельской области в бассейне нижней Вычегды среди других коми топонимов и микротопонимов были зафиксированы и названия озер на *ты* (*Лыаты* 'Песчаное озеро', *Шойнаты* 'Могильное озеро'). Эта нижневычегодская топонимия, специально изучавшаяся А. И. Туркиным, в настоящее время является субстратной, но она органично прищипывает к массиву названий Республики Коми и явно позднего происхождения<sup>4</sup>.

Обнаруженные в субстратной топонимии озерные названия с топоформантами образуют две группы.

Первая группа (около 100 названий с топоформантами *ар*, *ер*, *ор*, *яр*, которые соотносятся с фин. *järvi*, саам. *jawre*, мар. *ep*) географически связана с северо-западной половиной территории (*Колмар*, *Кывер*, *Шидьяр*, *Шубор* и т. п.), т. е. эти названия на-

<sup>4</sup> А. И. Туркин. Топонимия Нижней Вычегды. Автореф. канд. дисс. М., 1972.

ходятся в зоне прибалтийско-финской и саамской субстратной микротопонимии и микрогидронимии, где обычны гидронимы с формантами *ой, оя, уй, уя, бой*, аналогичные современным прибалтийско-финско-саамским названиям с детерминантами *oja, oj, uiaj, voj, vuoj* 'речка', 'ручей'. Изменение географического термина, родственного фин. *järvi*, саам. *jawre*, в топоформанты *ар, ер, ор, яр* могло произойти как в языке-источнике<sup>5</sup>, так и в русском языке<sup>6</sup>.

Учитывая ареальные соответствия между названиями озер, микротопонимами и речными микрогидронимами, а также многочисленные совпадения в основах субстратных микротопонимов и названий рек на *ега, юга* и т. п. (ср., например, *Кузнема, Кузлахта, Кузомень* с *Кузбой* и далее — с *Кузегга* и *Кузюга*), следует считать, что хотя бы часть субстратных гидронимов на *ега, юга* и т. п. в зонах прибалтийско-финской и саамской микротопонимии восходит к прибалтийско-финским и саамским источникам (фин. *kuusi*, карел. *kuuzi*, вепс. *kuž*, саам. *guossâ* 'ель'). Гидронимы с дифференцирующими топоосновами типа *Мустюга* 'Черная река' (фин. *musta*, вепс. *must* 'черный') и *Немъюга* 'Мысовая река' (карел. *niemi*, вепс. *ñem* 'мыс') подтверждают это.

Вторая группа озерных названий характеризуется топоформантами *агра, егра, огра* и распространена на юге и юго-востоке территории субстратной топонимии. Она невелика (15 гидронимов), что связано прежде всего с малочисленностью озер в этой части региона. Кое-где гидронимы на *агра, егра, огра* вторгаются в зону названий озер на *ар, ер, ор, яр*, особенно по направлению к низовьям Северной Двины. Этот тип названий в своем первоначальном виде зафиксирован в документе XV в., где фигурирует озеро *Рушеягръ*<sup>7</sup>. В результате русской адаптации названия на *ягр* превратились в *Конагра, Мачегра, Оногра, Суегра, Чавегра, Сологрово, Тотогрово* и т. п.

В зоне распространения этих названий спорадически фиксируется местный географический термин субстратного происхождения *ягра* 'яма с водой', усвоенный русским населением с хорошо объяснимым сужением значения ('озеро' > 'яма с водой'). Здесь же функционируют многочисленные речные названия с топо-

<sup>5</sup> V. Nissilä. Suomalaista nimistöntutkimusta // Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 272. Helsinki, 1962, s. 94.

<sup>6</sup> А. И. Попов. Географические названия. М.; Л., 1965, с. 118.

<sup>7</sup> А. А. Шахматов. Исследование о двинских грамотах XV в. Изд. ОРЯС АН. СПб., 1903, с. 25 (Исследования по русскому языку, т. II, вып. 3).

основами *ягр (Ягрова)* и *яхр (Яхреньга)*, образующие северную часть обширного ареала, доходящего на юге до Подмосковья, где засвидетельствованы названия озер типа *Кочихра, Сезехра* и речной гидроним *Яхрома*. Все эти факты указывают на существование в очерченной географической зоне субстратного языка, в котором можно реконструировать обозначение озера в виде *\*jagr(a)*, *\*jaγr(a)*, в южной части региона, возможно, *\*jaxr(a)*<sup>8</sup> или с передним вокализмом — *\*jägr(ä)*, *\*jäγr(ä)*, *\*jäxr(ä)*.

Эта реконструкция не укладывается в рамки традиционной этимологии<sup>9</sup>. Поэтому возникает проблема историко-фонетического обоснования связи реконструируемой лексемы с формами типа *järvi, jawre* и т. п. Вследствие большой сложности этой проблемы, усугубляемой предположениями о балтийском и даже протославянском<sup>10</sup> происхождении финских слов, она должна явиться предметом отдельного исследования и обсуждаться в другом месте. Пока же надо констатировать, что озерные названия на *ар, ер, ор, яр* и противостоящие им наименования на *агра, егра, огра, ягр* могут увязываться только с финскими языками, исключая пермские. Таким образом, наличие пермских, угорских и самодийских элементов в субстратной топонимии, по крайней мере по «озерному показателю», исключается.

Ареальная корреляция озерных названий с противопоставленными топоформантами и острова специфической микротопонимии (см. выше), которые локализируются в зоне *ягр*, наводят на мысль, что перед нами хронологически совместимые факты, но это предположение нуждается в дополнительном обосновании.

Наконец, выделяя зону с топоформантами *агра, егра, огра* (из *ягр*) и топоосновами *ягр, яхр* на юге и юго-востоке региона субстратной топонимии, необходимо иметь в виду, что именно на этой территории засвидетельствована основная масса загадочных гидронимов на *V+n(ь)га*, которые иногда рассматриваются как угорские<sup>11</sup>.

Проблема происхождения этих названий до сих пор не разрешена, но, учитывая все сказанное, а также неоднократную фиксацию

<sup>8</sup> *Яхреньга* в северной части региона определено из *Ягреньга* вследствие диссимилиации на русской почве.

<sup>9</sup> См.: Y. H. Toivonen. Suomen kielen etymologinen sanakirja I. Helsinki, 1955, s. 132.

<sup>10</sup> О. Б. Ткаченко. Мерянский язык. Киев, 1985, с. 181.

<sup>11</sup> См.: Б. А. Серебrenников. О потенциально возможных названиях рыб в субстратной гидронимике Русского Севера // Сов. финно-угроведение. III, 1967, № 3, с. 199–205 и другие работы.

гидронима *Яхреньга* 'Озерная (река)', их корни надо искать опять-таки в прибалтийско-финских, саамском и волжско-финских языках. Как бы ни решать вопрос о значении топоформанта  $V+n(b)ga$ , который может быть сопоставлен с суффиксом обладания  $d$ , засвидетельствованным в мордовских и обско-угорских именах, и с марийским *энер* 'река' (ср. еще ненец. *ена* 'маленькая речка'), основы многочисленных названий этого типа субстратной гидронимии лучше всего раскрываются именно из финских языков, хотя и обладают большой индивидуальностью. Так, наряду с *Корбанга* (карел. *korbi* 'глухой лес'), *Лухтонга* (карел. *luhta* 'заливной луг') засвидетельствованы *Поеньга* (морд. *пой* 'осина'), *Покшеньга* (морд. *покиш* 'большой'), *Шарденьга* (мар. *шарды*, морд. *сярдо* 'лось').

Ввиду обычного для финно-угорских языков колебания  $m-d$ , а также возможности восприятия  $\eta$  как  $m$  в русском языке, и гидронимы с исходом на  $V+ma$  следует считать вариацией названий на  $V+n(b)ga$ , во всяком случае в зоне их общего распространения (ср. *Кузеньга* — *Кузема*, *Яхреньга* — *Ягрема*).

В то же время следует заметить, что названия на  $V+n(b)ga$ ,  $V+ma$  нельзя отрывать от других типов субстратной гидронимии (ср. *Кузеньга*, *Кузегга*, *Кузюга* или *Анданга*, *Андога*, *Андома*), в той или иной мере распространенных на громадной территории от Кольского полуострова до Печоры и от Белого моря до Подмосковья. Я. Калима считал такие названия мерянскими<sup>12</sup>, но предпочтительнее пользоваться менее обязывающим термином — севернофинская топонимия.

Выход на «мерянскую» проблематику вынуждает нас коснуться недавних исследований О. Б. Ткаченко<sup>13</sup>, который не учитывает, что мерянская топонимия не изолирована. На «мерянской» территории в Костромской области есть гидронимы *Анданга*, *Варзеньга*, *Вожега*, *Пеженьга*, *Петеньга*, *Пучуга*, *Селеньга*, *Юрманга*. Совершенно те же названия находим и в Архангельской и Вологодской областях. Сейчас уже хорошо видно, что решение мерянской проблемы невозможно без обращения ко всему массиву севернофинской гидронимии, частным случаем которой являются мерянские названия. Покажем это на конкретном примере.

<sup>12</sup> J. Kalima. Äänisen tienoon paikannimiä // Virittäjä, 1941, 3-4, s. 326-329; Idem. Karjalaiset ja merjalaiset // Uusi Suomi. 19. 7. 1942; Idem. Über die Erforschung russischer Ortsnamen fremden Ursprungs // Sitzungsberichte der Finnischen Akademie der Wissenschaften 1945. Helsinki, 1946, S. 123-134.

<sup>13</sup> О. Б. Ткаченко. Мерянский язык...; Он же. Очерки теории языкового субстрата. Киев, 1989.

Крайне ограниченный материал, который использует О. Б. Ткаченко, нередко приводит его к необоснованным суждениям. Например, утверждается, что сонорный  $r$  был нетипичен для мерянского анлаута<sup>14</sup>. Между тем, только в восточной части Костромской области находим такие субстратные названия, как *Радунга*, *Ролдуга*, *Роюг*, *Ружбал*, *Рухтома*, *Руша* и др., что сразу же опровергает это утверждение и свидетельствует против аномальности мерянского языка на финно-угорском фоне, сближающей его парадоксальным образом с самодийскими языками.

На территории Архангельской и Вологодской областей сонорный  $r$  в анлауте гидронимов также употребляется достаточно широко (*Рименьга*, *Розьменьга*, *Равнюга*, *Ремлюга*, *Рочуга*, *Рыстюг* и т. п.). Таким образом, начальный  $r$  характерен для всей севернофинской гидронимии в целом — от мерянских земель до Белого моря.

Единство фонетической структуры в названиях с начальным  $r$  еще раз наглядно подтверждает тезис о необходимости включения «мерянских» названий в общий пласт севернорусской субстратной топонимии.

<sup>14</sup> О. Б. Ткаченко. Мерянский язык..., с. 84.

Е. А. МЕЛЬНИКОВА, В. Я. ПЕТРУХИН

## РУСЬ И ЧУДЬ

### К проблеме этнокультурных контактов Восточной Европы и балтийского региона в первом тысячелетии н. э.

В космографическом введении к Начальной русской летописи список народов, помещенных в «Иафетовой части», открывается наименованиями *русь* и *чудь*: «русь, чудь и вси языци: меря, мурома, весь, морьдва, заволочьская чудь, пермь, печера, ямь...» Ниже они повторяются, замыкая перечни «прибалтийских» («Ляхове же и пруси, чудь приседать к морю Варяжскому») и скандинавских («варязи, свеи, урмане, готе, русь») народов<sup>1</sup>.

В этом перечне обращают на себя внимание три момента. Первый — это двукратность упоминания обоих названий в отличие от остальных, которые приводятся лишь в одном месте списка. Второй — противопоставление наименований *русь* и *чудь* другим этнонимам: они вынесены за рамки общего перечня — «русь и чудь и вси языци». Третий момент — это соединение среди многих других именно этих двух наименований, которое прослеживается и в последующем тексте ПВЛ: в перечне народов, «иже дань дают Руси», и в легенде о призвании варягов. При этом чудь — единственное из балтских и прибалтийско-финских племен, названных в космографическом введении, которое, согласно повествованию летописи, активно участвует в политической жизни Восточной Европы, тогда как другие (либь, корсь и т. д.) вообще не упоминаются вновь до середины XI в. На политическую арену чудь выводится в связи с рассказом о призвании варягов: наряду со словенами, мерей и кривичами она платит дань приходящим из-за моря варягам, а затем участвует в призвании князей: «идоша за море к варягом, к руси... Реша русь, чудь, словени, кривичи и вси: „Земля наша велика и обилна“» и т. д. (ПВЛ, с. 18).

А. А. Шахматов считал, что слова «русь, чудь» в перечне тех, кто обратился «к варягом, к руси», — вставка составителя ПВЛ, пользовавшегося более ранним текстом (так называемым Начальным сводом). Однако исследователь основывался на внетек-

стологическом соображении о том, что призывать трех князей должны три (а не все поименованные) племена, и находил подтверждение этому в известии ПВЛ о дани Вещему Олегу, которая шла от трех племен — словен, кривичей и мерей: именно эти племена призывают варягов согласно Новгородской Первой летописи (далее — НПЛ), которая, по Шахматову, отражала предшествующий ПВЛ Начальный свод<sup>2</sup>. Летописные тексты, однако, не дают оснований для установления соответствия между призванными князьями и призвавшими их племенами: Синеус садится в Белоозере у веси, а не у мерей. Поэтому исключать чудь из числа призвавших князей племен нет оснований. Иное дело, что НПЛ ставит чудь в несколько особое положение по сравнению с «новгородскими людьми» — словенами, кривичами и мерей: она не причисляется к новгородской конфедерации и «владеет своим родом» (НПЛ, с. 106). Кроме того, согласно ПВЛ, чудь принимает участие в призвании князей, но не входит в число племен, которыми «обладает» Рюрик<sup>3</sup>.

В последующих сообщениях чудь упоминается исключительно в связи с военно-политическими акциями древнерусских князей, которые опираются на новгородскую конфедерацию. «Варяги, чудь, словени, меря и все кривичи» составляют войско Олега, идущего из Новгорода в Киев: варяги занимают в этом списке место руси, так как далее сказано, что русью после захвата Киева прозвались варяги и словене (ПВЛ, с. 20); те же племена входят в войско Олега, набранное для похода на Византию в 907 г. (там же, с. 23). Далее, «варяги и словене, чудь и кривичи» принимают участие в походе Владимира на Полоцк, осуществленном из Новгорода в 980 г. (там же, с. 54). Наконец, Владимир «нарубает» лучших мужей для заселения крепостей по Стугне и Суле «от словен, и от кривич, и от чюди, и от вятич» (там же, с. 83). В то же время чудь не упомянута в числе племен (словене, кривичи, меря), плативших дань варягам по «уставу» Олега (там же, с. 20), т. е. не была связана с формирующимся древнерусским государством данническими отношениями. Это дало основание А. В. Кузе высказать предположение о том, что существовал «древний союз руси и чуди», восходящий к эпохе призвания варягов<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> А. А. Шахматов. Разыскания о древнейших летописных сводах. СПб., 1908, с. 294; ср. с. 308–309.

<sup>3</sup> А. В. Куза. Новгородская земля // Древнерусские княжества X–XIII вв. М., 1975, с. 147–149.

<sup>1</sup> Повесть Временных лет. М.; Л., 1950, ч. 1, с. 10 (далее — ПВЛ; ссылки даются в тексте).

Каковы же могли быть исторические предпосылки этого «союза», и что представляли собой древнейшие русь и чудь?

Как уже говорилось, согласно собственно древнерусской традиции (ПВЛ) начальная русь — наименование одного из скандинавских (варяжских) племен на Варяжском море; чудь связана, в первую очередь, с финскими племенами, непосредственные контакты с русью и чудью имели славянские племена словен и кривичей (в конфедерации с мерей). Для понимания древнерусской традиции необходим сравнительно-исторический анализ этнонимии контактирующих групп.

Скандинавы (др.-рус. *варяги*) получают в прибалтийско-финской среде наименование эст. *rootslane*, фин. *ruotsalainen* (совр. «шведы») от эст. *Rootsi*, фин. *Ruotsi* (совр. «Швеция»), заимствование которого по языковым данным относится, вероятно, к VI–VII вв. Исходным для заимствования стал один из композитов с первой основой герм. *\*rōþ(e)R*, означавший в др.-сканд. языках «гребец, участник похода на гребных судах», т. е. социальный (дружинный) термин, превратившийся в этносоциальное понятие в прибалтийско-финской среде. При включении в межэтнические связи Северо-Запада Восточной Европы славян этот термин заимствуется ими из прибалтийско-финских языков в форме *русь* также для обозначения дружин скандинавов в Восточной Европе, но после вокняжения скандинавской по происхождению династии и сложения Древнерусского государства приобретает расширительное значение и переносится на территорию, подвластную русскому князю, и ее население<sup>4</sup>. Имя *русь* как обозначение скандинавских дружин в Восточной Европе замещается названием *варяги*.

Название восточных славян в древнескандинавских языках является лишь в рунических надписях XI в. и является поздней транскрипцией от этнонимического прилагательного «русский» — *riuskR*<sup>5</sup>, а в западнофинских языках — производным от корня *vene-* (фин. *venäläinen*), более ранним и независимым от др.-рус. этнонимического обозначения «русский».

Название *чудь* традиционно рассматривается как восточнославянский этноним, обозначавший в широком смысле западнофинские народы, в узком — прибалтийско-финские племена, населяв-

<sup>4</sup> Е. А. Мельникова, В. Я. Петрухин. Название «русь» в этнокультурной истории Древнерусского государства (IX–XI вв.) // Вопросы истории, 1989, № 8, с. 24–38.

<sup>5</sup> Е. А. Мельникова. Скандинавские рунические надписи. М., 1977, № 4.

шие территорию Эстонии<sup>6</sup>. В западноевропейской средневековой традиции распространяется наименование «эсты». Этот этноним неясной этимологии<sup>7</sup> имеет бесспорно германское происхождение, однако конкретный этнос, обозначаемый им, неопределен. Древнейшие его упоминания связаны с рассказами о Янтарном пути. На основе полученной, вероятнее всего, от германцев информации Тацит (I в. н. э.) и Кассиодор (первая половина VI в.) помещают эстиев (*aestii*) в устье Вислы, а Иордан (вторая половина VI в.) локализует их на берегах Германского (Балтийского) моря. Эта традиция сохраняется вплоть до X в.: Эйнхард (IX в.) помещает айстиев (*aistii*) рядом с балтийскими славянами, Альфред Великий (конец IX в.) указывает, что восточная граница Эстланда (*Eastland*) — р. Эльбинг<sup>8</sup>. Под эстиями, таким образом, в западноевропейской (но не скандинавской) раннесредневековой традиции понимаются не финские племена современной Эстонии, а балтские (?), обитающие значительно западнее. Не исключено, что этот этноним имел широкое содержание, объединяя и балтов, и финнов, населявших Восточную Прибалтику от Вислы до Финского залива<sup>9</sup>.

В скандинавской традиции, отраженной уже в древнейших письменных памятниках, скальдических стихах (X в.) и рунических надписях (XI в.), обозначение *Eistland* применяется к землям современной Эстонии, так же, как *eistir* является собирательным названием исключительно прибалтийско-финских племен, живущих на этой территории.

Специфически древнерусское наименование *чудь* «чудь» является, очевидно, дериватом праслав. *\*tjudjь* — «чужой». Распространено мнение, что последнее — заимствование из готск. *þiuda* (< герм. *\*þeudō*) — «народ»<sup>10</sup>, чему, однако, противоречит существование в древнерусском двух параллельных форм *штоуждь* и

<sup>6</sup> Р. А. Агеева. Об этнониме «чудь» (чужна, чухарь) // Этнонимы. М., 1970, с. 194–203; Она же. Страны и народы. Происхождение названий. М. 1990, с. 99.

<sup>7</sup> J. de Vries. Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Leiden, 1977, S. 98.

<sup>8</sup> Tacitus. Germania, cap. 45; Cassiodorus. Variae 5, 2; Jordanes. Getica, 36, 120; Einhardus. Vita Caroli Magni, 12; Alfred's Orosius, I, 1. Ср.: E. Metzenthin. Die Länder- und Völkernamen in der altisländischen Schrifttum. Pennsylvania, 1941, S. 19–20.

<sup>9</sup> G. Labuda. Źródła, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów Polski. Warszawa, 1960, s. 68.

<sup>10</sup> М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. М., 1973, т. IV, с. 379.



тоуждь<sup>11</sup>. Кроме того, представляется сомнительным заимствование слова со значением «чужой» с культурно-исторической точки зрения, поскольку оппозиция свой/чужой принадлежит к лексическому пласту, отражающему те фундаментальные противопоставления, которые присущи славянской культуре, в частности, этнонимии: ср. предлагаемые В. В. Ивановым и В. Н. Топоровым варианты этимологии праслав. *словене* — «свой, говорящий на понятном языке, свободный», в противоположность «чужому», чуди, «немцу» («немому») и т. п.<sup>12</sup>.

Так или иначе, исходно слово *чудь* должно было означать «чужого», чужой народ, но не передавать конкретный этноним, на что указывали еще Ф. Миклошич и Л. Нидерле<sup>13</sup>. Тем не менее, в отечественной литературе распространено представление о том, что готское происхождение имеет не только слово «чужой», но и этноним *чудь*. Это представление основывается на интерпретации слова *thiudos* у Иордана (*Getica*, 116) как этнонима *чудь* в списке «северных народов» (*arctoi gentes*), подчиненных Германариху. Это толкование поддерживается двумя другими этнонимами того же перечня, *merens* и *mordens*, которые отождествляются с др.-рус. *меря* и *мордва*, упомянутыми в том же космографическом введении к ПВЛ, а также интерпретацией слова *vasinabroncas* как этнонима *весь*. Исходя из этого (остальные наименования, приведенные Иорданом, не поддаются убедительной расшифровке), делается вывод о раннем (до VI в.) возникновении этнонима *чудь* в готской среде и его распространении у восточных славян в результате гото-славянских контактов<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> На что указывал еще С. П. Обнорский: С. П. Обнорский. Один мнимый финнизм в русском языке // Русский филологический вестник, 1915, т. 73, № 2, с. 84. Исконность слова *\*tjudь* в славянских языках обосновывает М. Будимир: М. Будимир. Protoslavica // Славянская филология. Сборник статей к IV Международному съезду славистов. М., 1958, т. 2, с. 112–137; Ср.: Р. А. Агеева. Страны и народы..., с. 92.

<sup>12</sup> В. В. Иванов, В. Н. Топоров. О древних славянских этнонимах. Основные проблемы и перспективы // Славянские древности. Этногенез. Материальная культура Древней Руси. Киев, 1980, с. 15–19.

<sup>13</sup> Л. Нидерле. Славянские древности. М. 1956, с. 135.

<sup>14</sup> См. обзор историографии: Р. А. Агеева. Страны и народы..., с. 86–115; ср. также: В. В. Седов. Этногеография Восточной Европы середины I тыс. н. э. по данным археологии и Иордана // Восточная Европа в древности и средневековье. М., 1978, с. 9–15; Г. С. Лебедев. Русь и чудь, варяги и готы (итоги и перспективы историко-археологического изучения славяно-скандинавских отношений в I тыс. н. э.) // Историко-археологическое изучение Древней Руси. Л., 1988, с. 94.

Источник этого пассажа «Гетики» неизвестен, однако нет сомнения, что он восходит к какому-то письменному тексту, возможно, как предположила Е. Ч. Скржинская, итинерарию<sup>15</sup> или близкому по характеру памятнику типа хорографии. О несамостоятельности этого пассажа свидетельствует и употребление греч. *arctoi* (с неправильным согласованием), и вероятная неясность для самого Иордана приводимых им наименований, и, наконец, структура описания, сходная с перечнями народов Скандзы, которые, по принятому предположению О. фон Фрисена и Л. Вейбулля<sup>16</sup>, также являются своего рода списками народов, живущих вдоль Янтарного пути. Однако признание того, что в основе перечня народов, покоренных Германарихом, лежит итинерарий или хорографический текст, заставляет пересмотреть распространенное толкование начала перечня. Он открывается словами *golthescytha thiudos*, которые, вслед за Е. Ч. Скржинской, переводятся как «гольтецифы, тиудос (чудь), инаунксы (?), васинабронки (весь), меренс (меря), морденс (мордва)» и т. д.<sup>17</sup>. Между тем для раннесредневековых географических описаний, а таковыми (по крайней мере, сочинением Орозия) Иордан, по общему мнению, пользовался, распространенным введением к очередному перечню (городов, стран, народов и т. д.) являлось общее указание, пояснявшее содержание последующего списка: «Вот города Нарбоннской Галлии...». «В Малой Азии такие провинции» и т. п. Собственно таковым является и введение к списку Иафетовой части в ПВЛ: «русь, чюдь и вси языци».

Традиционность подобной преамбулы является дополнительным аргументом в пользу интерпретации *thiudos* Иордана отнюдь не как этнонима *чудь*, а как апеллиатива — готск. *piudos* (nom. pl.) — «народы». Это предположение было высказано В. Гринбергером еще в 1895 г., поддержано И. Марквартом, А. Стендер-Петерсеном и др. и подробно обосновано Г. Шраммом<sup>18</sup>, после чего оно было принято

<sup>15</sup> Е. Ч. Скржинская. Комментарий // Иордан. О происхождении и деяниях гетов. Гетика. М., 1960, с. 266. Ср.: В. П. Буданова. Готы в эпоху великого переселения народов. М., 1990, с. 123–125.

<sup>16</sup> L. Weibull. Skandza und ihre Völker in der Darstellung des Iordanes // Arkiv för nordisk filologi. 1925, Bd. 41, S. 232–233.

<sup>17</sup> Иордан. О происхождении..., с. 89.

<sup>18</sup> V. Grienberg. Ermanariks Völker // Zeitschrift für Deutsches Altertum und deutsche Literatur. 1895, Bd. 39, S. 158; G. Schramm. Die nordöstlichen Eroberungen der Rußlandgoten (Merens, Mordens und andere Völkernamen bei Iordanes Getica, XXIII, 116) // Frühmittelalterliche Studien, 1974, Bd. 8, S. 3–14. Ср. В. П. Буданова. Готы..., с. 125.

большинством современных исследователей<sup>19</sup>. Эта интерпретация представляется убедительной как с лингвистической (аргументация Г. Шрамма) и текстологической, так и с исторической точки зрения. Ни обстоятельства возникновения этнонима *чудь* из готск. *riiða* (готское переселение не затрагивало территорий прибалтийских финнов), ни отсутствие его в каких-либо раннесредневековых текстах (включая географические описания, авторы которых использовали сочинение Иордана), ни многовековой хронологический перерыв, предшествующий его появлению в древнерусских памятниках, ни условия, при которых готы могли бы передать восточным славянам этот этноним, сохраняя его содержание, — ни один из этих вопросов не получил убедительного ответа<sup>20</sup>.

Менее определенной представляется интерпретация слова *golthescytha*. Одним из наиболее убедительных толкований является его сопоставление с собирательным названием народов Севера и Северо-Востока Европы в позднеантичных и раннесредневековых источниках — кельтоскифы<sup>21</sup>. В этом случае оно является определением к слову *thiudos*: «кельтоскифские народы», т. е. народы, проживающие в центральной и северной частях Восточной Европы. Иное объяснение предложено И. Коркканен. Она обнаружена в одном из списков «Гетики» чтение «...quos domuerant Gothi Scytha thiudos...», что может быть переведено как «...которых покорили готы: скифские народы...»<sup>22</sup>. Определение народов Европы как скифских распространено как в античности, так и в средневековье и встречается во множестве географических описаний. Как бы ни интерпретировать слово *golthe*, очевидно, что список открывается собирательным обозначением «(кельто)скифские народы» и этнонима *чудь* не содержит.

Отсутствие у Иордана этника *чудь* делает тем более вероятным его собственно славянское происхождение. А. А. Шахматов указывал, что в др.-болгарском слово *штюдъ* было переводом

<sup>19</sup> I. Korckkanen. The peoples of Hermanaric. Jordanes Getica 116. Helsinki, 1975, p. 69; H. Wolfram. Geschichte der Goten. München, 1980, S. 99. Так же интерпретируют слово *thiudos* переводчик и комментаторы этого пассажа Иордана в кн.: Свод древнейших письменных известий о славянах. М., 1991, т. I, с. 111, 151.

<sup>20</sup> Впервые *thiudos* Иордана идентифицировал с чудью И. Тунманн: I. Thunmann. Untersuchungen über die Geschichte des östlichen europäischen Völker. Leipzig, 1774, Bd. 1, S. 370.

<sup>21</sup> Впервые у Страбона. См.: I. I. Mikkola. Die Namen der Völker Hermanariks // Finnish-Ugrische Forschungen. 1905, Bd. 15, S. 56–66.

<sup>22</sup> I. Korckkanen. The peoples of Hermanaric..., p. 69.

греч. «гигант», библейского имени допотопного народа исполинов (гигантов — Быт. 6. 4), но нет прямых оснований возводить это слово к *riiða* как самоназванию готов<sup>23</sup>, так как и в последующей традиции, прежде всего в русской фольклорной имя *чудь* означало некий древний народ, автохтонов (иногда — великанов), исчезнувший с приходом переселенцев. В том же значении имя *чудь* употребляется и в фольклорной традиции разных финно-угорских народов, но, естественно, не является самоназванием ни одного из них<sup>24</sup>. Вероятно, сам этноним (и производная топонимия) распространился на Севере Восточной Европы в процессе славянской колонизации.

Проникновение славян на северо-запад Восточной Европы, по самым смелым датировкам, началось не ранее VI в. н. э. Путь славян лежал через этническую территорию их традиционных соседей и родственников — балтов, и балтские этнонимы в славянской традиции являются адаптацией самоназваний балтских племен. Видимо, как «чужие» воспринимались славянами в процессе колонизации финские племена северо-запада, носители культуры «каменных могильников», распространенных не только на территории «эстов» и ливов, но и на западе будущих Новгородской и Псковской земель. Здесь с ними впервые столкнулись носители культуры «длинных курганов», традиционно отождествляемые с кривичами, и носители культуры сопок, которые считаются словенами новгородскими. Можно предположить, что именно для обозначения этого финского населения был использован собирательный этноним *чудь*, укоренившийся затем в др.-рус. языке, и приобретший, наряду с широким, и более узкое значение: прибалтийско-финские племена, которые оказались этносом, связующим скандинавскую Русь и славян, и которых скандинавы называли *eistir*, «эстами»<sup>25</sup>.

<sup>23</sup> А. А. Шахматов. Введение в курс истории русского языка. Пг., 1916, ч. 1, с. 40; ср.: И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1903, т. 3, стлб. 1611–1612.

<sup>24</sup> См.: Н. А. Криничная. Предания об аборигенах края // Русский фольклор. Т. XX. Л., 1981, с. 45–61; ср.: Р. А. Агеева. Об этнониме «чудь»...; Она же. Страны и народы..., с. 86–115.

<sup>25</sup> Эта конкретная приуроченность этника не ограничила продуктивность его использования в исходном значении («чужой») в отношении к новым этносам: ср. заволочскую чудь в том же введении к ПВЛ (предположения о ее локализации в Заволочье в бассейне Северной Двины см.: В. А. Назаренко, О. В. Овсянников, Е. А. Рябинин. Средневековые памятники чуди заволочской // Советская археология, 1984, № 4, с. 197–216) и т. д. вплоть до былины о Добрыне, который покорил

Контакты скандинавских племен, среди которых поименована *русь* в космографическом введении к ПВЛ, и прибалтийских финнов были практически непрерывными в пределах балтийской культурно-исторической области начиная с неолита. Находки скандинавских древностей на островах Сааремаа (в др.-сканд. источниках *Eysysla*), Хиумаа (*Dagö*), на северо-западном побережье Эстонии (каменный могильник Прооза около Таллинна), на о. Тютерс в Финском заливе, а также древностей эстонской культуры каменных могильников на Готланде и в Средней Швеции (в том числе и на торгово-ремесленном поселении Хельгё, V–VIII вв.) и даже собственно каменных могильников могут свидетельствовать о постоянном присутствии скандинавов, прежде всего свеев, в Эстонии, и «эстов» на Готланде и особенно в Средней Швеции<sup>26</sup>. Отражением традиционных контактов жителей Свеаланда и эстов является также распространение этнонимического имени *Eistr* и его производных, засвидетельствованных шведскими руническими надписями XI в., а также значительное число «эстонских» топонимов в рунических надписях, сагах, географических трактатах<sup>27</sup>.

Дальнейшее продвижение скандинавов вглубь Восточной Европы по Неве, Ладожскому озеру и далее осуществлялось по территории, населенной финскими племенами, и отмечено их присутствием в Ладоге уже в сер. VIII в. Ладога и Приладожье стали ареалом формирования скандинаво-финско-славянских связей: в культуре волховских сопок прослеживается влияние финских и скандинавских традиций<sup>28</sup>, а в Юго-Восточном При-

«чудь белоглазую, сорочину, черкасов пятигорских, калмыков, татар, чукшей и аллюторов» (чукчи и аллюторцы); здесь чудь начинает список народов, расселенных от Северного Кавказа до Камчатки! (см.: Сборник Кириши Данилова. М., 1977, с. 106, 108, 442). Из последних работ по славяно-финским контактам см.: Е. А. Рябинин. Славяно-финно-угорские контакты на севере Восточной Европы в эпоху средневековья // *Uralo-Indogermanica*. I. М., 1990, с. 44–51; В. В. Седов. Славяне в раннем Средневековье. М., 1995, с. 209–252.

<sup>26</sup> См. обзор: J. Callmer. Verbindungen zwischen Ostskandinavien Finnland und Baltikum vor der Wikingerzeit und das Rus'-Problem // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas* 34 (1986), S. 357–369; Die Verbindungen zwischen Skandinavien und Ostbaltikum. Stockholm, 1985; *Archaeology. East and West of the Baltic*. Stockholm, 1995.

<sup>27</sup> Е. А. Мельникова. Древнескандинавские географические сочинения. М., 1986, с. 34, 43, 62, 65.

<sup>28</sup> В. Я. Конечный. Новгородские сопки и проблема этносоциального развития Приильменя в VIII–X вв. // *Славяне: этногенез и этническая история*. Л., 1989, с. 140–150.

ладожье формируется специфическая культура курганов, совмещающая скандинавские, финские, а затем и древнерусские черты, которую в последних исследованиях относят к «приладожской чуди»<sup>29</sup>. «Двойственное» положение руси на Балтийском море, среди варягов, и среди народов Севера Восточной Европы, отмеченное во введении к ПВЛ, вероятно, указывает на традиционную «внедренность» руси в землях чуди или на непосредственное соседство с ней, возможно, в Ладоге.

Перекрестная история этнонимов проливает дополнительный свет на относительную хронологию скандинаво-финско-славянских контактов, подтверждая первичность скандинаво-финских связей, с одной стороны, и славяно-финских — с другой, а также включение восточных славян в уже сложившуюся систему скандинаво-финских отношений.

Таким образом, объединение и обособление наименований *русь* и *чудь* в ПВЛ восходит, вероятно, к ранней славянской традиции, описывающей ситуацию на Северо-Западе Восточной Европы в период призвания варяжских князей (IX в.). Объединение разноэтничных племен Северо-Запада, в которое входила и чудь, нуждалось в установлении власти, нейтральной по отношению к племенным интересам и способной обеспечить защиту от нападений викингов. Естественным было обращение к руси — той группе скандинавов, которая была известна своими давними и тесными связями с одним из членов конфедерации, чудью. Напомним, что и в странах Западной Европы, Англии и Франции, договоры королей о защите их территорий от викингов в обмен на выделение земель для заселения заключались лишь с теми отрядами норманнов, которые уже оседали на близлежащих землях. Вероятно поэтому, что упоминание руси и чуди в числе племен, призывавших «по ряду» варяжских князей из-за моря, — не механическое повторение летописцем перечня из введения к ПВЛ, а следование той же традиции об особых связях руси и чуди<sup>30</sup>. Видимо, неслучайно заключение договора — «ряда» с русью поставило чудь в особое по сравнению с другими членами конфедерации положение, союзническое, а не данническое, которое сохранялось по меньшей мере до конца X в., когда в «Саге об Олаве Трюггвасоне» впервые сообщается о взимании подати с эстов в пользу русского князя.

<sup>29</sup> В. А. Назаренко. Об этнической принадлежности приладожских курганов // *Финно-угры и славяне*. Л., 1979, с. 152–156.

<sup>30</sup> Ср.: Н. Birnbaum. *Lord Novgorod the Great*. Berkeley; Los Angeles, 1981, p. 35.

Начиная с 1030 г. в ПВЛ и НПЛ появляются сообщения о походах русских князей в эстонские земли (Ярослава в 1030, Изяслава Ярославича в 1060), об основании города Юрьева, о взятии эстонского города Медвежья Голова и т. д. Вместе с обобщенным названием *чудь* появляются самоназвания отдельных эстских племен: *сосола*, *торма*, *ерева*; вместо кривичей и словен, выступавших вместе с чудью, с сосолой сражаются псковичи и новгородцы. И характер отношений, и их восприятие летописцем существенно изменяются. При этом походы на чудь совершают как новгородские, так и киевские князья: вероятно, эти походы имели целью установить новые отношения между Древнерусским государством и чудью. В начале XIII в. часть эстонской территории включается в Новгородскую землю, о чем пишет НПЛ под 1212 г. в связи с походом на чудь, «рекомую Торму», Мстислава, ставшего новгородским князем: «и поклонишася Чюдь князю, и дань на их взя» (НПЛ, с. 250).

Ю. И. СМЕРНОВ

УСТРОИТЕЛИ МИРА НА ПОКОСЕ  
(Коми-русско-латышские фольклорные параллели)

В фольклоре каждого народа нередки чудноватые произведения. Их иногда записывают собиратели-любители, а профессионалы к ним равнодушны. Из-за случайных фиксаций эти произведения кажутся находящимися где-то на периферии репертуара, что в свою очередь дает повод исследователям пренебрегать ими. И они остаются лежать погребенными в архивах или в старых изданиях.

К числу таких чудноватых произведений можно отнести зырянский рассказ, который мы назвали «Устроители мира на покосе». Нам известны две его версии, к сожалению, очень конспективно переданные любителем:

1. «Ен (добрый) и Омель (злой) разделили сенокос на две равные части. Ен вышел с долотом; Омель взял косу. Последний раньше кончил работу и ворвался на сенокос к Ену».

2. «Ен сумел приготовить косу, а Омель — долото. Сенокос между ними не был разделен, и кошенная трава составляла собственность работника. Ен накопил больше, но Омель ночью украл у него сено»<sup>1</sup>.

Перед странным сенокосом Ен и Омель, эти верховные языческие существа зырян, занимались более серьезными делами: Ен создал солнце, месяц и звезды; оба существа в виде голубей (!) сотворили из острова землю и из тины растительность; Омель создал земноводных, насекомых, «лесных людей», водяных, а также болота<sup>2</sup>. В этом рассказе нетрудно услышать перепевы легендарного дуалистического сюжета о сотворении мира, в прошлом очень популярного среди восточных славян, особенно среди русских. Немотивированные детали рассказа вроде голубиной ипостаси верховных существ прямо указывают на русское влияние.

<sup>1</sup> В. П. Налимов. Некоторые черты из языческого мирозерцания зырян // Этнографическое обозрение, 1903, № 2, с. 80–81.

<sup>2</sup> В. П. Налимов. Некоторые черты из языческого мирозерцания зырян..., с. 80.

Несколько иначе звучит рассказ о сотворении земли в записи 1927 г.: изначально было две лягушки, «слепая и глупая стала называться Еном, зрячая и хитрая — Омолем»; голубь, посланный Еном, добывает тину — ворон, посланный Омолем, ее отнимает; Ен ловит ворона (что выглядит алогизмом, следствием недостаточной подгонки в один рассказ элементов разного происхождения) и принимается душить его — «и тина упала вниз». «Из тины выросла земля. А из воды, пролившейся из клюва ворона, образовались моря и океаны»<sup>3</sup>.

Другие зырянские и, кажется, даже пермяцкие версии рассказа о сотворении мира также, похоже, испытали русское влияние<sup>4</sup>. Однако сам дуализм коми, — противопоставление Ена Омолу (Кулу) и обыгрывающие его какие-то сюжетные ситуации, — возник, наверное, независимо от русских. Тому имеются пусть редкие и скудные, но свободные от легенды богомильского толка подтверждения<sup>5</sup>. Больше того, по крайней мере однажды среди зырян была зафиксирована форма, эволюционно переходная от общего севернофинского мифа об утке-прародительнице мира к собственно зырянским рассказам о Ене и Омолу: утка выводит птенцов Ена и Омоя, которые затем сами занимаются устройением мира<sup>6</sup>. Этой единичной фиксации, строго говоря, недостаточно для того, чтобы увериться в таком эволюционном переходе. Нужны, разумеется, иные записи сходных текстов и как можно больше, ибо чем больше фиксируется вариантов и версий какого-либо текста, тем легче опознаются его эволюция и этническое происхождение. И при этом непременно необходимы сведения о времени и месте фиксации текстов. Все тексты, о которых говорилось выше, не сопровождаются указаниями на место их записи, что крайне затрудняет возможность связать усвоение и бытование этих текстов с конкретными историческими перипетиями.

Пока же ясно, что сложившийся у зырян и пермяков дуализм позволил им легко усвоить и приспособить к своим воззрениям русскую дуалистическую легенду о сотворении мира. Так произошла вторичная мифологизация заимствованного текста — явление, довольно заметное при частых и устойчивых контактах народов европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока с рус-

<sup>3</sup> Фольклор народа коми. Т. 1. Предания и сказки. Архангельск, 1938, № 1.

<sup>4</sup> Л. С. Грибова. Пермский звериный стиль. М., 1975, с. 29–30.

<sup>5</sup> А. Крупкин. Вераования пермяков-инородцев // Известия Архангельского общества изучения Русского Севера, 1911, № 4, с. 303.

<sup>6</sup> Л. С. Грибова. Пермский звериный стиль..., с. 87.

скими. Зная об этом, можно было бы заключить без какого-либо рассмотрения, что и связанный с дуалистической легендой рассказ об устроителях мира на покосе также заимствован, и тем вполне удовлетвориться.

Если же пойти дальше голословной логичности, то прежде всего нужно обратить внимание на странную позицию рассказа о сенокосе по отношению к дуалистической легенде: еще не завершив устройства мира, не создав человека, не наградив его ни огнем, ни орудиями, пригодными, с точки зрения древнего зырянина, для охоты и рыбной ловли, верховные существа вдруг вздумали заняться сенокосом, совершенно не нужным как им, так и древнему зырянину. Вторичность рассказа, вторичная его мифологизация представляется очевидной.

У зырян и пермяков изредка находили параллельные формы в виде рассказов о первожатве<sup>7</sup>. Все они уже не мифы, а предания, прикрепленные к чуди, которую коми в разных местах расселения считают то своими предшественниками, то этническими предками. Все известные нам сюжеты преданий коми о жатве чуди заимствованы от русских. В качестве иллюстрации здесь скажем лишь о более редком для европейского Севера сюжете. Пермяки рассказывали: «<...> Чуди протыкали нижний сустав стебля шилом или каким-нибудь другим острым орудием — так они жали <...>»<sup>8</sup>. Сходно, но живописнее про «чудей» рассказывали русские на нижней Вычегде: «Топоры у них деревянные, пилы деревянные. Жали — так шилом тыкали. Насеют ржи — и шилом скалывают. Один додумался: «Дай схожу серпом пожну. Покажу им». Нажал серпом и воткнул в сноп, — чтоб видели. Они давай! И подкараулили, поймали, хотели терзать его. Он серпом оборонился. Говорит: «Смотрите, как я буду делать». И жнет. Им все-таки пондравилось потом. И потом стали входить в человеческое (!)...» (записано летом 1974 г. от А. Е. Тропниковой 70 л. в д. Игнатовская Фоминского с/с Вилегодского р-на Архангельской обл.)<sup>9</sup>. В этих местах по р. Виледи еще в XVI–XVII вв. существовала волость Вилегодская Пермца, где постепенно ассимилировались остатки нижневычегодских зырян<sup>10</sup>. Поэтому можно подумать, что сюжет о первожатве изначально принадлежал коми и случайно уцелел в отдельных местах их бывшего расселе-

<sup>7</sup> См., например: Л. С. Грибова. Пермский звериный стиль..., с. 93–94.

<sup>8</sup> Л. С. Грибова. Пермский звериный стиль..., с. 93.

<sup>9</sup> Приводим по тексту из письма В. Кочетова, присланного тогда же.

<sup>10</sup> Л. П. Лапух. Формирование народа коми. М., 1972, с. 49–50.

ния. И это действительно было бы так, если бы сюжет о жатве шилом не фиксировался, — увы, спорадически, — среди восточных славян, причем там, где заимствование от коми никак не могло произойти. Так, в украинской легенде рассказывается: Господь Бог и святой Петр в своем извечном странствии по земле однажды заметили, что человек на ниве колет шилом каждый стебель — жнет таким способом; «так Бог и дал ему серп» (записано в с. Алексеевка Александровского у. Екатеринославской губ.)<sup>11</sup>.

Наши поиски русских текстов об устроителях мира на покосе привели к еще одному чудноватому произведению: «В одно время один мужичок уехал в поле пахать. А ведь в старое время на косах пахали, а у мужика нисколько косуля не пашет. Второй мужик подходит и говорит: „А у тебя косуля не пашет потому, что левая порточина не в сапоге“. Мужик-от отвернулся порточину подправить, а второй поставил косулю на правильную борозду (?). „Ну как?“ — „Да теперь хорошо пашет. У меня плохо пахала, потому что левая порточина выехала“. А разве это подмогло? Подмогло то, что товарищ сделал» (записали А. Копкова и С. Небыкова летом 1961 г. от В. С. Осина 74 л. в д. Загорье Кречетовского с/с Каргопольского р-на Архангельской обл.)<sup>12</sup>. Пахта косою как мотив, конечно, не совпадает с косьюю долотом, однако смысл произведений, содержащих эти мотивы, одинаков. Эти произведения, видимо, создавались в одной этнической среде для того, чтобы объяснять себе и молодежи, как, когда и кем создавались и применялись первые орудия. Нелепые, парадоксальные ситуации, в которые попадали те, кто первым или одним из первых стал их применять, призваны, — как обычно, в фольклоре, — опосредованным, т. е. деликатным образом внушать мысли о правильных действиях.

Еще один сюжет о косе встретился собирателям МГУ на Тубозере, находящемся в пределах дневного перехода как от восточного побережья Онежского озера, так и от Рагнозера, места действия следующего предания:

«Этот Рага был у нас такой житель на Рагнозере. В Москву бороться ходил. Трое суток в Москву на лыжах шел. В халупе заночует, халупу одной рукой поднимает и лыжи туда подпихиват, а утром опять лыжи вытащит и пойдет дальше.

<sup>11</sup> Сказки, пословицы и т. п., записанные в Екатеринославской и Харьковской губ. И. И. Манжурой. Харьков, 1890, с. 145.

<sup>12</sup> Архив кафедры фольклора МГУ, 1961 г., п. 2, тетр. 8, № 31.

Косу не точил, а траву косил. Потом сосед его увидел, что неточеной косой. На обед ушел богатырь Рага, он взял ему косу выточил. Как пришел [Рага] косить, три раза кругом повел: „Ох, черт возьми, если б я знал, кто косу испортил, того человека убил бы!“ Потом косит-косит, коса-то ходит легко: „Если б я бы знал, кто косу мне наладил, так я бы его поблагодарил!“ А этот сосед сидит: что будет с него? Услышал, да он из-за куста выскочил: „Я косу, — говорит, — наладил“. Он за это его поблагодарил.

И вот эти<sup>13</sup> разбойники к жене [Раги] приходили, когда муж в отлучке был. Собрались в бане к ночи и пришли к жене. Он пришел в баню, тряхнул — всех задавил этих разбойников. И жену убил» (записали Б. Исадченко и Н. Муратова летом 1960 г. от А. П. Якушева 75 л. в д. Туба Песчанского с/с Пудоожского р-на тогда Карельской АССР)<sup>14</sup>.

Здесь рассказ о косье неточеной косой дан в обрамлении воспоминаний о сюжетах преданий, посвященных известному фольклорному первоначальнику западной Пудогы Рахте Рагнозерскому. Будь собирательницы поопытнее и понастойчивее, они, наверное, смогли бы записать от рассказчика подробное изложение сюжетов «Рахта-борец» и «Рахта и разбойники», которые ранее на Тубозере фиксировали даже в былинной форме. Предания типа «Рахта-борец» и «Рахта и разбойники» бытовали среди карел, русских, зырян и пермяков<sup>15</sup>. На фоне нескольких десятков известных нам записей приведенный тубозерский текст резко выделяется сюжетом о косье неточеной косой — его нигде более не находили. По отношению к сюжетам типа «Рахта-борец» и «Рахта и разбойники» сюжет о косье вне всякого сомнения надо считать вставкой: ведь во всех текстах типа преданий о Рахте настойчиво подчеркивается, что герой был первопоселенцем или что он нарочно ушел с женой и ребенком в пустынные места и, следовательно, не имел никаких соседей.

Мотив косьбы неточеной косой соотносится с мотивом косьбы долотом. Его даже можно было бы принять за эволюционную производную последнего, если полагать, что противопоставление

<sup>13</sup> В слове «эти» виден след того, что весь рассказ — ответ на спрошенный собирательницами сюжет.

<sup>14</sup> Приводим по копии, снятой нами с полевой записи тогда же.

<sup>15</sup> Ю. И. Смирнов. Предание о Рахте Рагнозерском (АА \*967) по новым данным // Русский фольклор, т. XIII. Л., 1972. Здесь же помещены карты распространения в разной этнической среде версий сюжетов типа преданий о Рахте.

верховных существ на уровне мифологизированного текста сменяется помощью умелого человека неумелому на уровне предания. Переключки основных сюжетов преданий о Рахте Рагнозерском с зырянскими и пермяцкими могли лишь укреплять эти суждения и даже давать повод предполагать, что бытование этих сюжетов на территории между Онежским озером и бассейном р. Онеги обусловлено субстратом в виде каких-то этнических групп, родственных зырянам и пермякам.

Исходя из этого, мы просили участников фольклорных экспедиций МГУ постоянно спрашивать сюжет о косье наряду с другими обязательными для опроса жителей сюжетами. Кое-кто из собирателей не забывал спрашивать. Полученные же скромные результаты в виде каргопольского рассказа о пахоте косою и вилегодского предания о жатве шилом (см. выше) явно намекают на необходимость поиска источника зырянского текста о косье долотом за пределами этнической среды коми.

Прямые русские соответствия зырянскому тексту пока не отыскались ни на Русском Севере, ни где-либо еще. Точные соответствия неожиданно встретились в фольклорной традиции латышей. Рассказ о косье долотом был достаточно популярным в Латвии. Известно несколько десятков его вариантов, записанных по всему ареалу расселения латышей от балтийского побережья до мест, где они и поныне живут с белорусами и русскими<sup>16</sup>. Очень важно, что он органически входит в целый цикл дуалистических рассказов о деяниях Диева (бога) и Вэлна (черта) по сотворению мира и сущего на земле<sup>17</sup>. Вот один из самых простых латышских вариантов текста о косье, осложненного лишь заключительным этимологическим мотивом:

«У Диева и Вэлна были большие луга. У Диева было долото, а у Вэлна — коса. Надо было Диеву накосить травы. Взял Диев [без ведома Вэлна] Вэлнову косу и накосил себе травы. Удивился Вэлн: [ему показалось,] что Диев может долотом траву косить. Взял Вэлн Диево долото и давай по траве махать. А долото все в деревья вонзается. Деревья тогда были без веток. А с той поры начали у них ветви расти»<sup>18</sup>.

<sup>16</sup> Указания на вариант: K. A r ā j s, A. M e d n e. Latviešu pasaku tipu rādītājs. Rīga, 1977, № 1090. В международном указателе Аарне—Томпсона этот сюжетный номер пропущен.

<sup>17</sup> Лачплесис. Латышский эпос, воссозданный по народным преданиям / Изд. подгот. Я. Я. Рудзитис. М., 1975, с. 226—227, 303 и след.

<sup>18</sup> Лачплесис..., с. 305, № 116.

По другой версии Диев с помощью хитрости побуждает Вэлна обменять косу на долото — Вэлн косит траву долотом, «а чем быстрее косит, тем больше луг ковыряет, оттого на лугу кочки и появились»<sup>19</sup>.

Распространение сюжета по всему ареалу расселения народа, бытование его в виде разных версий, наличие эволюционных производных в форме анекдотов о мужичке и глупом черте, включение сюжета в большой цикл об устроителях мира — фольклорные факты такого рода совершенно определенно говорят о том, что сюжет о косье долотом давно укоренился в латышской фольклорной традиции. Совпадение латышского и зырянского текстов о косье долотом, разумеется, не случайно. Его невозможно объяснить независимым самозарождением. Влияние зырян на латышей также нужно исключить, если не прибегать к невероятным допущениям. К тому же зырянские тексты — несомненно более поздние в эволюционном плане, чем латышские легенды: в них отношения между устроителями мира даны в стяженной форме, а ключевого обмена косы на долото не происходит. Иначе говоря, зырянские тексты выглядят эволюционными производными по отношению к латышским, что наводит на мысль о заимствовании зырянами текста типа латышской легенды о косье устроителей мира.

Наряду с этим надобно подчеркнуть, что и латышская версия легенды о сотворении мира, послужившей исходным толчком для создания цикла об устроителях мира, тоже выглядит эволюционной производной<sup>20</sup>, но уже по отношению к русским версиям легенды богомильского толка. Подобно древним славянам, предки латышей изначально тоже исповедовали языческое многобожие. Христианизированный дуализм, с четким противопоставлением Диева и Вэлна, появился уже именно у латышей, как у сложившегося из разных этнических групп единого этноса, много позже принятия христианства от немцев, которые, как известно, легенды богомильского толка не знали. Зато ее хорошо знали восточные соседи латышей — русские. Они-то и передали латышам легенду о сотворении мира. В этом не может быть сомнения уже хотя бы потому, что тексты такого рода второй раз нарочно не придумать.

<sup>19</sup> Лачплесис..., с. 307, № 119; сходный вариант: Латышские народные предания: Избранное / Сост. А. Анцелане. Рига, 1962, с. 39—40.

<sup>20</sup> Лачплесис..., с. 303—304.

Вместе с легендой богомильского толка русские, наверное, передавали и другие дуалистические рассказы, к числу коих, по всей вероятности, относится текст о косье долотом. Прямым доказательством, конечно, была бы фиксация сюжета о косье долотом среди русских там, где не возникали их контакты с латышами.

Совсем недавно, при написании концовки этой статьи в первый раз, мы лишь выражали надежду на отыскание русского текста и указывали на районы расселения северных кривичей как на самые вероятные места его бытования. Оказалось, что такой текст был там уже записан — в 1890 г. Д. Н. Анучиным у 80-летнего старика, жителя д. Двинёц, что существовала тогда вблизи истока Зап. Двины и всего километрах в десяти от юго-западного побережья оз. Пёно, через которое проходит Волга: это места, названные в «Повести временных лет» Оковским лесом. Приводим соответствующий отрывок из статьи записавшего:

«Раз вышел супостат с Богом косить. У Бога — долото, а у супостата — коса. Супостат стал косить первым и накопил много. Видит Бог, что его дело худо. Позавтракали и прилегли отдохнуть. Супостат заснул, а Бог встал, украл косу и давай косить что есть мочи. Потом поставил косу на место и прилег. Супостат проснулся и увидал, что Бог накопил. „А твоя-то коса лучше моей, — сказал он, — давай-ко обменяемся“. С тех пор супостат и остался с долотом. Его время — бабье лето: что тогда накопит, то и его». — «Да как же он возьмет-то свое?» — спросил я. «А так: что не перекрестишь, то он и возьмет», — убедительно утверждал старик<sup>21</sup>.

Совершенно очевидно, что фиксация текста сделана неточно, походя, вне связи с другими произведениями дуалистической серии. Но даже и она очень важна. Текст отличается от латышских вариантов некоторыми деталями, но совпадает с ними мотивами хитрости Бога, а их, повторяем, одинаково второй раз нельзя придумать, — да и не нужно, когда можно заимствовать.

Привлекая внимание исследователей к сюжету о косье долотом и к поискам его восточнославянских вариантов, надеемся, что новые тексты еще отыщутся. А пока, независимо от результата поисков, отметим, что случаи, когда народ, передавший другим некий текст, сам почему-либо его утратил, нередки. Та же бого-

<sup>21</sup> Д. Н. Анучин. Из поездки к истокам Днепра, Западной Двины и Волги. Очерки // Северный вестник, 1891, № 8, с. 126–127. Некоторые подробности об этой поездке см. также в кн.: А. С. Попов. Загадки янтарной реки. Краеведческое путешествие на исток Западной Двины. М., 1989, с. 138–156.

мильская легенда о сотворении мира, полученная с Балкан восточными славянами, давно исчезла из фольклорного бытования среди южных славян<sup>22</sup>, однако продолжает бытовать кое-где у восточных славян и их соседей.

В последние годы мы узнаем все больше фактов переноса фольклорных произведений разных жанров со Псковщины или, шире, потомками северных кривичей в восточную часть Русского Севера, на пространство между бассейном р. Онеги и Приуральем<sup>23</sup>. Перенесение сюжета о косье долотом тем же путем и образом представляется наиболее вероятным, вполне объясняющим его последующее усвоение зырянками.

<sup>22</sup> Насколько известно, последний раз варианты богомильской легенды о сотворении мира записывали в западной Болгарии в начале нашего века.

<sup>23</sup> См., например: Ю. И. Смирнов. Колымское винограде // Русский фольклор в Сибири. Архитектоника текста. Новосибирск, 1990.



Л. ХОНТИ

### СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ЗАИМСТВОВАННАЯ СТРУКТУРА?

Венгерские числительные '11'–'19', '21'–'29' (например, венг. *tizenegy* '10' < *tíz* '10' + *-en* 'на [+ лок.]' + *egy* '1') представляют собой так называемый локативный тип образования числительных, который по соседству с венгерским ареалом употребим только в славянском (например, рус. *одинадцать* < праслав. \**jedinŭ* '1' + *na* 'на [+ лок.]' + *desęte* '10'), румынском и албанском ('11'–'19') языках. Встречается он и в языках других регионов (см. Reichenkron 1958).

Сходство венгерских и славянских (точнее сербских) образований впервые было отмечено в словаре венгерского языка Czuczor—Fogarasi 1862–1874 (2:1755). Затем сходное устройство количественных числительных было обнаружено в румынском и албанском (Simonyi 1907, 246). Венгерские исследователи лишь констатировали венгеро-славяно-румыно-албанские параллели, не задаваясь по существу вопросом о происхождении данной конструкции в том или ином языке. Вне Венгрии индоевропейцы (включая славистов) считали ее калькой (аналогическим по структуре образованием) в венгерском из славянского. При этом, как кажется, они не пытались сколько-нибудь обосновать этот тезис, в их построениях в лучшем случае мы имеем дело просто с указаниями на реально существующие соответствия, а вместо аргументации были вынуждены довольствоваться неприемлемыми, основанными на отрывочных знаниях суждениями по поводу числительных в других финно-угорских языках. Чтобы не быть голословным, я позволю себе в качестве примера привести чуть ли не самый скрупулезный анализ: «Что касается суффикса, венгерский использует *-n* (*-en*, *-on*), соответствующий немецкому „auf“ в локативном значении. Тем самым венгерское *tiz-en-egy* — буквальное подобие славянского *jedinŭ-na-desęte*... Коль скоро для финно-угорского в принципе не характерен такой локативный тип образования числительных, венгерские формы для ряда от 11 до 19 являются собой точную копию славянской модели. Таким образом, в данном случае в венгерском мы имеем дело с аналогическим образованием по славянской модели» (Reichenkron 1958, 162–163).

Поскольку этот способ образования числительных встречается и в других индоевропейских языках, Райхенкрон (Ibid., 116–167) считает возможным для балканских языков видеть в этом еще один пример общего наследия. Лишь «венгерский способ образования... отчетливо свидетельствует о непосредственном влиянии славянского образца для 11–19, который венгерский затем распространил и на ряд от 21 до 29» (Ibid., 174).

В последнее время у исследователей вновь пробудился интерес к проблеме происхождения венгерских форм для '11'–'19', '21'–'29'. Л. Киш, посвятивший славянским калькам в венгерском фундаментальную монографию, приходит к следующему заключению: «Нельзя полностью исключить возможность того, что славянские количественные числительные сыграли роль образца для венгерских названий ряда от 11 до 19. Но в таком случае необходимо отыскать ответ и на вопрос, каким образом эта конструкция распространилась и на числа третьего десятка» (Kiss 1976, 190). И Л. Киш, и И. Фодор (Fodor 1987) привлекли внимание к тому важному обстоятельству, что образованные таким или схожим способом числительные можно обнаружить и во множестве других языков мира. (Оба исследователя при этом ссылаются и на финно-угорские языки, но приводимые ими немногие примеры, вроде бы тяготеющие к той же, что и венгерские числительные, структуре, просто неверно трактовались в специальной литературе.) В противоположность Кишу, Фодор полагает, что венгерские формы суть собственно венгерские образования, так как, с одной стороны, во всех известных ему случаях заимствования числительных «речь скорее идет об отдельных элементах или группе элементов, образующих ряд, но не о морфо-синтаксической структуре» (Fodor 1987, 323), — и с другой стороны, «в период подлинного двуязычия венгерский язык мог бы скалькировать по славянскому образцу гораздо большее число структурных образований» (Ibid., 324).

Прежде чем высказывать окончательное суждение по поводу происхождения венгерских числительных от 11 до 19, следует, на наш взгляд, перечислить все возможные аргументы *pro* и *contra*.

За славянский источник говорят два факта:

а) действительно, налицо структурная параллель в образовании числительных от 11 до 19 в славянском и венгерском (что касается славянского, это наблюдение скорее исторического плана, так как внутренняя форма этих количественных числительных в большой мере затемнена и в лучшем случае лишь в незначительной степени может быть значима для говорящего);

б) со времени венгерского переселения (896 г. н. э.) славяно-венгерское соседство породило обстановку двуязычия в контактных областях.

Аргументы против славянского происхождения кажутся мне более весомыми:

а) локативный тип числительных с падежным суффиксом, послелогом или наречием со значением 'на (лат. или лок.)' зафиксирован и в других языках финно-угорского ареала: южномансийское *low-təmər-ät* '15', *low-təmər-kat* '16' (ср. *low* '10', *ät* '5', *kat* '6', *tätər* [послелог] 'на [лат.]'), шведско-саамское *akta lähkē nan - loñje nqlDne qkxta* '11' (ср. *lähkē* '10', *akta* '1', *nan - nqlDne* [послелог] 'на [лок.]'); примеры из старых письменных финских и эстонских памятников: фин. *saxi päälle yhdeksänkymmenen* '92' (ср. *yhdeksänkymmentä* '90', *kaksi* '2', *päälle* [послелог] 'на [лат.]'), эст. *neli pehle kak kümme* '24', *wiz küm mend päle seitse* '57' (ср. *kakskümmend* '20', *viiskümmend* '50', *neli* '4', *seitse* '7', *pääle* [предлог, наречие] 'на [лат.]').

Излишне говорить о том, что для этих форм не предполагается никакой иноязычный прототип: очевидно, ученые просто не отдавали себе отчета в том, что сложные количественные числительные такого типа встречаются и в других, помимо венгерского, финно-угорских языках (см. Honti 1986, 199–200). Структурное подобие или скорее совпадение в двух и более языках вряд ли является достаточным основанием для того, чтобы возводить это подобие или совпадение к прежнему двуязычию. Наконец, можно привести факты, которые не только не исключают взаимонезависимое развитие, но из вероятного делают его весьма правдоподобным. Общая основа для всех перечисленных индоевропейских и финно-угорских числительных кроется в самой системе, которой они следуют вместе с другими подобными словами, — а именно, в их «десятеричной» организации. Все они являются своего рода словесным выражением счета на пальцах: после конца первого десятка единицы второго добавляются «на» или «сверх» уже посчитанных (либо растопыренных, либо сжатых) пальцев (ср. северомансийское *at-xujp-luw* '15': *luw*, *low* '10', *at* '5', *xujər* 'лежа, лежащий', т. е. букв. 'пять [и] положенные десять').

б) Первые зафиксированные письменно примеры венгерских числительных для '11'–'19' и '21'–'29' полностью соответствуют ныне существующим формам. Со времени венгерского переселения до появления первых венгероязычных кодексов с такими числительными прошло добрых пятьсот лет, в течение которых

заведомо можно допустить внешнее влияние на образование венгерских *cardinalia*: тогдашние составные славянские числительные вполне могли служить образцом для них. Но само собой разумеется, что отсутствие искомым числительных в сравнительно незначительном количестве венгерских письменных памятников этого периода совсем не означает того, что таких названий не было вовсе. Просто частотность их в тексте в принципе гораздо ниже, чем для чисел низшего разряда — отсюда и более поздняя фиксация названий для чисел большей величины.

в) На мой взгляд, особую значимость приобретает наблюдение Фодора, согласно которому языки склонны заимствовать сами числительные, обозначения чисел, а не морфо-синтаксические структуры, лежащие в их основе. Калькирование числительных, т. е. структурно-аналогическое образование потому мне кажется неправдоподобным, чего не скажешь, например, об усвоении фразеологизмов. Ведь числительные, как всякие обозначения числа, всего лишь указывают на чистый денотат (количество) и не несут никакой образной выразительности (как в случаях типа венг. *fején találja a szöget* < нем. *den Nagel auf den Kopf treffen* букв. 'попасть по шляпке гвоздя', 'попасть в самую точку').

г) Хотя и не так необычен случай, когда в языке существует два или несколько альтернативных обозначений для больших величин (ср., например, лат. *viginti unus - viginti et unus - unus et viginti* '21'), числительные, употребляемые в венгерском литературном языке, единообразны и в древнейших письменных документах (см. Keresztesi 1935, 11–12 ff.), и в диалектах. Следовательно, нет нужды предполагать, что у венгров в последние 1100–1200 лет был еще и какой-то другой, отличный от современного, способ обозначения чисел.

Мне кажется также, что не следует отказываться от мысли о том, что венгерские переселенцы могли принести с собой в бассейн Карпат целиком всю свою систему числительных (за исключением, конечно, *millió* '1000000' < лат.). Тем самым и в отношении числительных ряда от 11 до 19 венгры, по-видимому, не зависели от каких бы то ни было иноязычных образцов и от их внутренней структуры. Так что мой ответ на вопрос, вынесенный в заглавие этой работы, *expressis verbis* звучит так: совпадение структуры числительных '11'–'19' в венгерском и славянском — совпадение и только.

В завершение следует отметить, что венгерский и аромунский языки, так же как и некоторые диалекты древнегреческого, оче-

видно отличным от славянского образом не ограничили этот локативный тип образования числительных лишь названиями единиц второго десятка, но и распространили его прежде всего на ряд от 21 до 29 (ср. венг. *huszonegy* '21' < *húsz* '20' + *-on* 'на [лок.]' + *egy* '1'). По мнению Райхенкрона, такое расширение конструкции допускается лишь языками, в которых «название для двадцати представляет собой изолированное образование, явно отличающееся от обычного устройства названий десятков от 30 до 90, ср. венг. *húsz* '20' при *harminc* '30', в последнем очевидна связь с *három* '3'» (Reichenkron 1958, 173). Мне кажется, что расширение этой локативной конструкции в венгерском проще всего объяснять *per analogiam*. На этот процесс могло оказать влияние и ритмическое подобие названий первых двух десятков (*tíz, húsz*; ср. *tizen-, huszon-*: ~ ~), с одной стороны, и одинаковое число слогов во всех остальных названиях десятков (*harminc — nyolcvan* '30'–'80'), с другой. Соображение о связи между расширением локативного типа образования на ряд '21'–'29' и изолированным положением в языке имени для '20' (говорящий не может разложить его на '2' и '10') мне представляется все же поверхностным. Так, ему противоречат, например, числительные '41', '47' в аварском и кельтском, где попросту смешаны «десятеричный» и «двадцатеричный» способы образования: авар. *gikoyalda tzo* '41', ср.: *gigo* '2', *ħogo* '20', *gikogo* '40', *tzo* '1' (Graham 1881, 323).

#### ЛИТЕРАТУРА

- Czuczor—Fogarasi 1862–1874 — G. Czuczor, J. Fogarasi. A magyar nyelv szótára. 1.–6. Pest, Budapest, 1862–1874.
- Fodor 1987 — I. Fodor. Stammen die ungarischen Zahlwörter *tizenegy — tizenkilenc* '11–19' und *huszonegy–huszonkilenc* '21–29' als strukturelle Lehnbildungen aus dem Slawischen? // *Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn. Festschrift für Attila T. Szabó. und Zsigmond Jakó / K. Benda, Th. von Bogyay, H. Glassl, Zs. K. Lengyel (Hrsg.)*. München, 1987, S. 317–325.
- Graham 1881 — C. Graham. The Ávar Language // *Journal of the Royal Asiatic Society*. Vol. XIII. London, 1881, Art. XI, p. 291–352.
- Honti 1986 — L. Honti. Szláv hatás a magyar számnévszerkesztésben? // *Nyelvtudományi Közlemények*, 88. Budapest, 1986, p. 196–207.
- Keresztesi 1935 — M. Keresztesi. A magyar matematikai műnyelv története. Debrecen, 1935.

- Kiss 1976 — L. Kiss. Szláv tükörszók és tükörjelentések a magyarban. Budapest, 1976.
- Reichenkron 1958 — G. Reichenkron. Der lokativische Zähltypus für die Reihe 11 bis 19 «eins auf zehn» // *Südostforschungen*, 17. München, 1958, S. 152–174.
- Simonyi 1907 — Zs. Simonyi. Die ungarische Sprache. Straßburg, 1907.

Л. А. ГИНДИН, И. А. КАЛУЖСКАЯ

## ОБ ОДНОМ УНГАРИЗМЕ В КАРПАТСКОМ АРЕАЛЕ:

<sup>+</sup>*marha*

Лексема <sup>+</sup>*marha*, распространенная в языках и диалектах карпато-северобалканского ареала, представляет собой довольно типичный пример миграционного термина, центром иррадиации которого является венгерская языковая территория. Помимо венгерского, указанное слово засвидетельствовано в румынском (главным образом, в Банате, Буковине, Марамуреше, Трансильвании и Молдове), молдавском, в карпатоукраинских диалектах и болгарских говорах Баната, вероятно, в словацком, а также в сербо-хорватском и словенском языках. Фактический материал может быть представлен следующим образом\*:

Венг. *marha* 'крупный рогатый скот' (MNYÉSZ IV, 942; Herman 1914, 250, 415; Сегед — Bálint 1957, II, 86; Орманьшаг — Kiss 1952, 365; также *morha*, с. Сапорпа в Орманьшаге — *ibid.*, *mārha*, Самошхат — Csűri 1935, II, 63–64; значение засвидетельствовано с конца XVII в. — MNYTESZ II, 845); 'домашние животные, приносящие пользу, доход' (обычно с определением, напр., *gyarjas marha* 'овца' букв. 'шерстяной скот', устар. — MNYÉSZ IV, 942); 'глупый человек, тупица; глупый, тупой (в роли определения)' (*ibid.*, Сегед — Bálint 1957, II, 86; *mārha*, Самошхат — Csűri 1935, II, 63–64); устар. 'имущество, главным образом, золотые и серебряные ценности' (MNYÉSZ IV, 942); 'вещь, предмет, товар' (ст.-венг. с первой пол. XV в. — MNYTESZ II, 845; Kniezsa 1955, 884–886); *mārha* 'скот, включая и лошадей' (чанго Молдовы — Wichmann 1936, 94); также *mārfa* 'товар' (говоры секлеров и чанго — MNYTESZ II, 844; *mārfa*, чанго Молдовы — Wichmann 1936, 94); 'багаж, упаковка' (говоры секлеров и чанго — MNYTESZ II, 844).

Рум. *mărfă* ж. 'рогатый скот (преимущественно быки и коровы); рабочий скот; домашние животные; скотина'; 'дикое жи-

вотное' (обычно с определением: *mărfă sălbatic*); уничижит. 'о грубом, вульгарном человеке'; устар. 'имущество, состояние, богатство (скот и движимое имущество)'; 'товар' (DLR VI, 126–128 с пометой: Трансильвания и Банат — *marhă, marvă, mară*); 'голова (единица) скота' (Tiktin II, 952, Банат и Трансильвания — *marhă*); *marhă* 'движимое имущество, утварь' (1688 г. — Tiktin II, 952); 'скот' (Марамуреш — ALRMag II, № 362); *marvă* 'скот' (Банат — ALRBan I, № 115 коммент.; также MCD I, 138); *mară* = 'marhă' (Банат — MCD I, 138); 'приплод' (р-н Оравица — DLR VI, 127); ср. молд. *marhă* ж. 'скот', 'корова' (ДД III, 58), *mărfă* 'товар' (ДМР 374).

Карп.-укр. *mārha* ж. 'крупный рогатый скот' (Бойковщина, Закарпатье — КДА 202–203, № 144), 'скотина' (Гринченко II, 405); *mārha* 'скот (общее название)' (р-н Турка — Караś 1975, 86); 'скот (только овцы)' (р-н Калуш — Караś 1975, 87), 'глупый человек' (Закарпатье — Lizanec 1970, 110); *mārha* 'скот, коровы, овцы, рогатый скот' (Вост. Словакия, Бойковщина — AGB 71–72, № 61); *maržina* ж. 'скот' (р-н Вижица, Сторожинец, Глыбокая — МСБГ 5, 57–58, там же: *lišová maržina* 'дикие звери, кроме хищников'; р-н Городенка — Караś 1975, 87); 'скотина' (Гринченко II, 405); 'крупный рогатый скот' (также *maržena, maržeta*, Вост. Закарпатье, р-н Калуш, Гуцульщина, Зап. Буковина — КДА 201–202, № 144); *maržena* 'скот' (р-н Косов — Караś 1975, 86); *maržyna, maržeta* 'скот' (Закарпатье, Гуцульщина — AGB 71–72, № 61); также *marfa* ж. 'у гуцульских древорубов: дерево, сбиваемое в плоты для сплава по реке' (Гринченко II, 407); 'товар', 'ткань фабричного производства', груб. 'сплетница', 'бездельница, лентяйка' (Буковина — МСБГ 5, 60).

(?) Слвц. *marcha* 'стерва' (SRPS I, 373; в SSJ отсутствует).

Болг. диал. *mārva* ж. 'рогатое домашнее животное', 'рогатый скот' (Банат — Стойков 1968, 137).

С.-хорв. *mārva* ж. собир. 'четвероногие домашние животные (кроме собаки, кошки), скот'; перен. уничижит. 'скотина (о человеке)' (РСКЖ 3, 300); *mārva* ж. рег. = *mārva* (РСКЖ 3, 304); *mārha* ж. 'торговля, товар', 'домашние животные, скот' (RJA VI, 472); *mārva* ж. (с XVII в.) 'вещь' (единожды у Вука); 'домашние животные, скот' (RJA VI, 493); *mārha* 'скотина, крупный рогатый скот' (только в словарях Микали и Стулича — RJA VI, 382).

Словен. *mārha* ж. 'скот' (р-н Валявец — Pleteršnik I, 551).

Венг. *marha* первоначально 'имущество, товар' → 'скот' заимствовано из верхненемецких (баварско-австрийских) диалектов, ср. др.-в.-нем. (бавар.) *markat, marchat, marchot* (∴ *mārkhāt* >

\* В статье использованы материалы картотеки Карпатского ареально-этимологического словаря, собранной коллективом авторов в составе: Л. А. Гиндин, И. А. Калужская, Г. П. Клепикова, Т. Ф. Семенова, Е. А. Хелимский, Е. Н. Овчинникова.

*márchat*) 'торговля, рынок, рыночный товар', ср.-в.-нем. *margt*, *marcht*, *market* 'рыночная площадь, рынок; торговля; товар, цена; центр города', бавар.-австр. *mqrkx* 'ярмарка' (MNYTESz II, 845; специально о немецком слове см.: Н. Protze. *Das Wort markt in den mitteldeutsche Mundarten*. Berlin, 1961). В свою очередь немецкие формы восходят к нар.-лат. (романск.) *mercātus*, точнее к его варианту *\*marcātus* (фриул. *markat*, франц. *marché* и пр.) 'рынок, торговля' < лат. *mercātus* 'торг, рынок и под.' (Kluge-Mitzka 462 f.; Meyer-Lübke № 5516). Венгерский заимствовал немецкую форму в виде *marhat* с последующим падением *-t*, переосмысленным как показатель аккузатива, и образованием основы *marha* (Kniezsa 1955, 884–886 со ссылкой на Ж. Шимоньи — Magyar Nyelvőr 45, 340; также Mollay 1982, 398–399). Зафиксированная в венгерских письменных памятниках эволюция значений: 'имущество, сокровище' [1358 г.], 'движимое имущество' [1508], 'товар' [1533] и только в конце XVI в. 'скот' [1585], 'рогатый скот' [1587] и т. д. (MNYTESz II, 845), находящая аналогии в других языках (ср. слав. *\*dobytzkъ* 'имущество' → 'скот' — ЭССЯ 5, 49; укр. бойк. *imín'я* 'крупный рогатый скот' — КДА 203–204, № 144), свидетельствует в пользу изложенной этимологии. Иные этимологические толкования венг. *marha* — из словен. *mrha* 'падаль, скот, кляча' (Bárczi 1941, 198) или из др.-в.-нем. *mar(i)ha* 'кобыла' (Lumtzer-Melich 1900, 175) менее вероятны (подробный разбор и критику см.: Kniezsa 1955, 884 сл.).

Из венгерского слово проникло в румынский. Наиболее ранние фиксации рум. *marfă* отражают значение 'имущество, товар' (1431/32 гг. — Tamás 1966, 516), с XVI в. — 'скот' (DLR VI, 126), то же — в валашских грамотах (Бернштейн 1948, 158). В карпатоукраинские диалекты параллельно заимствованы две лексемы: *márğa*, *маржіна* 'скот' < венг. *marha* (Балецкий 1963, 364–366; Lizanec 1970, 83, 110) и *мáрфа* 'товар', 'ткань фабричной выработки', 'партия леса' и пр. (Буковина) < рум. *marfă* (Vrabie 1967, 161; Nița-Armaș 1968, 89; ср. Прокопенко 1961, 75). В качестве обратного заимствования из румынского в венгерские диалекты секлеров и чанго Молдовы проникло *márfa* 'багаж, упаковка, товар' (Tamás 1966, 517; MNYTESz II, 844). Из венгерского — с.-хорв. *mârha* 'товар', 'скот', *mârva* то же (утрата *h* и возникновение *v* в hiatusе как в *bûha - bûva* 'блоха', *dûhân - dûvân* и пр. — Hadrovics 1985, 349–351); иначе — Schneeweis 1960, 41, где венг. *marha* < др.-в.-нем. *mar(i)ha*; RJA VI, 472 — непосредственно из др.-в.-нем. С.-хорв. *mârva* заимствовано в болгарские и румынские диалекты Баната: болг. *мáрва* 'рогатый скот' (Стой-

ков 1968, 137) и рум. *marvă* 'то же' (Gămulescu 1974, 153). Словен. *marha* 'скот', видимо, из венгерского (вопреки Pleteršnik I, 551, где без особой аргументации в качестве источника предполагается др.-в.-нем. *mar(i)ha*). К венгерскому источнику, видимо, можно отнести и приведенное выше слов. *marha* 'стерва'.

В славянской этимологической литературе (Miklosich 191; Pleteršnik I, 551, 611; RJA VI, 472; Skok II, 377; Бернштейн-Клепикова 1978, 29 и др.) имеется тенденция к смешению некоторых из рассмотренных выше лексем (прежде всего, сербохорватских) с созвучными и близкими по значению формами, продолжающимися, с одной стороны, слав. *\*mъr-/mъr-* из *\*mer-* 'умирать', с другой — др.-в.-нем. *mar(i)ha* 'кобыла', ср.-в.-нем. *mârhe*, нем. *Mähre* (Kluge-Mitzka 454) 'неряшливая женщина' (последнее значение зафиксировано уже в др.-в.-нем. — Grimm 10, s. v.). Мы имеем в виду польск. *marcha*, *mercha*, *myrcha* 'старый плохой конь, падаль, кляча', 'скот вообще', 'уродливая женщина', 'никуда не годный старик, несчастный человек' и под. (Варшавский словарь II, 879), 'труп, мертвечина', 'скот, скотина' (Linde 3, 42; ср. Sł. gw. р. III, 113, где приводится также *hullala marchy* 'окрик, обращенный к овцам' букв. 'эй, клячи', а не 'овцы' как в Бернштейн-Клепикова 1978, 29, где данная форма ошибочно соотнесена с *+marha*), также *myrxa*, *mърxa*, *marxa*, *maršyna*, *myršyna* 'плохое, бесполезное животное', 'падаль', 'ругательство' (AJPP № 181; подробно о польск. *marcha* с вар. *mърcha* 'слабая, хилая овца' и под. см.: Усачева 1975, 237); чеш. мор. (ляшск.) *marcha = mrcha* 'падаль' (Bartoš 192); слов. *mrcha* (диал. *mriha*) 'труп животного, падаль', 'о слабом, тощем животном, чаще всего лошади', 'ругательство (чаще о женщине)' (SSJ II, 190); укр. *мёрша* 'падаль' (Гринченко II, 419), *мёрха*, *мёрша* 'падаль', 'ленивый конь', 'слабый, худой конь, кляча' — КДА 82, № 12 (заметим, что *мёрха* территориально тяготеет к польскому пограничью, ср. его квалификацию в качестве польского заимствования в украинском — Miklosich 191, Berneker II, 19); сюда же словен. *mrha* 'падаль', 'скот, кляча, ругательство' (Pleteršnik I, 611). В приведенном ряду трудно провести четкое разграничение между омонимичными формами, поскольку контаминация столь близких по значению и эмоциональной окраске слов достаточно очевидна (вопреки: Brückner 328 и особенно Нолуб-Корецны 232, где утверждается, что чеш. *mrcha* 'падаль' — от *mъiti*, а *mrcha* 'кляча' — из нем. *Mähre*). Значение 'скот' у некоторых из перечисленных лексем определено вторично и развилось экспрессивно-метафорически из 'падаль', 'кляча', 'слабое,

болезненное животное' в соответствии с распространенной семантической моделью, ср. слав. \**xudoba* от \**xudъ*, приобретающее в некоторых языках (слвц., польск., русск.) значение 'скот' (ЭССЯ 8, 110–111).

#### ЛИТЕРАТУРА

- Балецкий 1963 — Э. Балецкий. О некоторых венгерских заимствованиях в украинском языке // *Studia slavica*, 1963, IX.
- Бернштейн 1948 — С. Б. Бернштейн. Разыскания в области болгарской исторической диалектологии. М., 1948.
- Бернштейн-Клепикова 1978 — С. Б. Бернштейн, Г. П. Клепикова. Общекарпатский диалектологический атлас. Принципы. Предварительные итоги // *Славянское языкознание. VIII Международный съезд славистов. Докл. сов. делегации.* М., 1978.
- ДД — Дикционар диалектал, I–V. Кишинэу, 1985–1986.
- ДМР — Дикционар молдовенеск-русек. Кишинэу, 1961.
- КДА — С. Б. Бернштейн, В. М. Иллич-Свитыч и др. Карпатский диалектологический атлас, I–II. М., 1967.
- МСБГ — Матеріали до словника буковинських говірок, 1–6. Чернівці, 1971–1979.
- Прокопенко 1961 — В. А. Прокопенко. Молдавские элементы в лексике украинских говоров // *Восточнославянско-молдавские языковые отношения.* Кишинев, 1961.
- РСКЈ — Речник српскохрватског књижевног језика, 1–6. Нови Сад, 1982 (Фототипско изд.).
- Стойков 1968 — Т. Стойков. Лексиката на банатския говор. София, 1968.
- Усачева 1975 — В. В. Усачева. Польские диалекты карпатского ареала и КДА // *Славянское и балканское языкознание. Проблемы интерференции и языковых контактов.* М., 1975.
- AJPP — M. Małeckі, K. Nitsch. Atlas językowy polskiego Podkarpacia. Kraków, 1934.
- AGB — Atlas gwar bojkowskich, I–VI. Warszawa etc., 1980–1986.
- ALRBan — Noul atlas lingvistic pe regiuni. Banat, I–. București, 1980–.
- ALRMar — Atlasul lingvistic român pe regiuni. Maramureș, I–III. București, 1969–1973.
- Bálint 1957 — S. Bálint. Szegedi szótár, I–II. Budapest, 1957.
- Bárczi 1941 — G. Bárczi. Magyar szófejtő szótár. Budapest, 1941.
- Czúri 1935 — B. Czúri. Szamosháti szótár, I–II. Budapest, 1935.
- DLR — Dicționarul limbii române, I–. București, 1913–.
- Gămulescu 1974 — D. Gămulescu. Elemente de origine sîrbocroata ale vocabularului dacoromân. București, 1974.

- Hadrovics 1985 — L. Hadrovics. Ungarische Elemente im Serbokroatischen. Budapest, 1985.
- Herman 1914 — O. Herman. A magyar pásztorok nyelv kincse. Budapest, 1914.
- Karás 1975 — M. Karás. Studia nad dialektologią ukraińską i polską. Kraków, 1975.
- Kiss 1952 — G. Kiss. Ormánysági szótár. Budapest, 1952.
- Kniezsa 1955 — I. Kniezsa. A magyar nyelv szlav jövevényszavai, I–II. Budapest, 1955.
- Lizanec 1970 — P. Lizanec. Magyar-ukrán nyelvi kapcsolatok. Uzshorod, 1970.
- Lumtzer-Melich 1900 — V. Lumtzer, J. Melich. Deutsche Ortsnamen und Lehnwoerter des ungarischen Sprachschatzes. Innsbruck, 1900.
- MCD — Materiale și cercetări dialektale, I. București, 1960.
- MNyÉSz — A magyar nyelv értelmező szótára, I–VII. Budapest, 1959–1962.
- MNyTESz — A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, I–IV. Budapest, 1967–1982.
- Mollay 1982 — K. Mollay. Német-magyar nyelvi erintkezések a XVI. század végéig. Budapest, 1982.
- Niță-Armaș e. a. 1968 — S. Niță-Armaș, N. Pavliuc, D. Gămulescu e. a. L'enfluence roumaine sur la lexique des langues slaves // *Romanoslavica*, 1968, XVI.
- Schneeweis 1960 — E. Schneeweis. Die deutschen Lehnwörter im Serbokroatischen in kulturgeschichtlicher Sicht. Berlin, 1960.
- SRPS — A. Isačenko. Slovensko-rusky prekladový slovník, I–II. Bratislava, 1950–1957.
- Tamás 1966 — L. Tamás. Etymologisch-historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänischen. Budapest, 1966.
- Tiktin — H. Tiktin. Dicționar român-german, I–III. București, 1903–1924.
- Vrabie 1967 — E. Vrabie. Influența limbii române asupra limbii ucrainene // *Romanoslavica*, 1967, XIV.
- Wichmann 1936 — J. Wichmann. Wörterbuch der ungarischen Moldauer Nordcsángó- und des Hétfaluer Csángódialektes. Helsinki, 1936.
- Остальные сокращения см. в ежегодниках «Этимология» (М., 1963–).

В. В. СЕДОВ

КОНТАКТЫ БАЛТОВ  
С ФИННОЯЗЫЧНЫМИ ПЛЕМЕНАМИ  
В ЭПОХУ РАННЕГО ЖЕЛЕЗА

Начало этнокультурного взаимодействия между крупнейшими этноязыковыми массивами Северо-Восточной Европы — балтами и финно-уграми обычно относят ко II тысячелетию до н. э. Однако балты в это время находились еще в стадии своего становления, они только что выделились из индоевропейской массы и только что начали закладывать основы самостоятельного этноса и языка. Поэтому имевшие в этот период место контакты балтов с финноязычными племенами, по-видимому, следует квалифицировать в большей степени как взаимодействия финноязычных племен с индоевропейцами, конкретнее с древнеевропейцами.

Ситуация стабилизировалась, как показывают археологические материалы, к началу железного века (VIII—VII вв. до н. э.). Складывается пограничье, определенно размежевывающее земли, заселенные финноязычными племенами и балтским этносом. Граница начиналась в Юго-Восточной Прибалтике, где проходила примерно по р. Даугаве, и далее на восток по междуречью Западной Двины и р. Великой к верховьям Ловати и Днепра. Несколько опускаясь к югу, она пересекала Оку недалеко от впадения в нее Угры и далее в восточном направлении шла по водоразделу Оки и Дона.

Балты заселяли обширную территорию от юго-восточного побережья Балтики на северо-западе до верховьев Оки на востоке и Среднего Поднепровья на юге. К началу железного века балтский этноязыковый массив был уже далеко не монолитным. Он дифференцировался на три основные группировки, к которым на окраинах примыкали периферийные диалектные образования. Основными группировками балтов были западная, археологически соответствующая культуре западнобалтских курганов (современная Калининградская обл., Северо-Восточная Польша и западная часть Литвы), срединная, представленная культурой штрихованной керамики (центральная и северо-западная части Беларуси, Восточная Литва и Юго-Восточная Латвия), и днепровская, которой принадлежат близкие между собой археологические культу-

ры — днепро-двинская, верхнеокская и юхновская (Верхнее Поднепровье со смежными землями Западнодвинского бассейна и верхняя Ока).

Общий ареал финно-угорского этноса простирался от Финляндии и Эстонии на западе до Нижнего и Среднего Приобья на востоке. В культурном отношении он был в эпоху раннего железа весьма неоднородным, свидетельствуя о давней дифференциации финно-угров на несколько языковых и диалектных образований. Ближайшими к балтам были племена культуры текстильной керамики.

Текстильная, или сетчатая, керамика получила свое название по оттискам на поверхности глиняных сосудов, напоминающим отпечатки грубой ткани. Появилась такая керамика еще во II тысячелетии до н. э., как полагают исследователи, на основе ямочно-гребенчатой посуды. Распространение текстильной керамики не было следствием каких-либо серьезных передвижений. Она зарождается в условиях формирования скотоводческо-земледельческой экономики, первоначально на относительно небольшой территории и в течение двух-трех столетий распространяется широко среди родственного населения. Общий ареал культур текстильной керамики простирается от Эстонии и юго-западных районов Финляндии до Среднего Поволжья. В археологической литературе сложилось никем не опровергнутое представление о принадлежности культур текстильной керамики к одному из крупных древних диалектно-племенных образований финноязычного населения, более того, текстильная керамика рассматривается как этнический маркер этого образования. Есть все основания отождествлять культуры текстильной керамики с финно-волжской языковой эпохой, когда будущие прибалтийско-финские и будущие поволжско-финские племена составляли еще единую языковую группировку.

Ареал текстильной керамики в I тысячелетии до н. э. отчетливо членится на две части. Культура его восточной части (Верхнее Поволжье и междуречье Волги и Оки) известна под названием дьяковской по одному из характернейших городищ этого периода, расположенного у села Дьякова, ныне вошедшего в городскую территорию Москвы<sup>1</sup>. Основными памятниками этой культуры являются городища, укрепленные в древности валами с деревянными стенками, с длинными наземными жилищами со столбовыми и плетневыми стенками. В инвентаре дьяковских го-

<sup>1</sup> Дьяковская культура. М., 1974.

родищ еще много костяных предметов и сравнительно мало железных изделий. Кроме текстильной керамики, весьма характерными находками являются глиняные грузики дьякова типа.

Западная часть ареала текстильной керамики включает прибалтийский регион (Эстонию, Северную Латвию и юго-западную часть Финляндии) и древние Новгородские земли<sup>2</sup>. Укрепленные поселения типа дьяковских с аналогичной текстильной керамикой известны здесь лишь в верхнем течении Западной Двины. Текстильная керамика весьма характерна для поселений I тысячелетия до н. э. и первой половины I тысячелетия н. э. бассейнов Мсты и Волхова, а также Приладожья. Однако здесь неизвестны городища, поселения не имели укреплений, хотя некоторые из них располагались на выступах высоких и крутых речных берегов. В западных районах ареала текстильной керамики она встречается и на открытых поселениях, и на городищах, в том числе она известна на таких городищах, как Асва на острове Сааремаа, Иру под Таллинном, Кландюкалнс около Риги, Псковском, Изборском и других. Однако исследования этих памятников показали, что их укрепления относятся к поздней фазе функционирования поселений, а в эпоху раннего железа они были неукрепленными. Орудия из кости, господствовавшие на рассматриваемых селениях, а также хозяйственная деятельность аналогичны в общих чертах дьяковской культуре. Поэтому некоторые прибалтийские исследователи рассматривают прибалтийско-новгородские древности культуры текстильной керамики как вариант дьяковской культуры.

Однако есть и существенное отличие. На всех поселениях прибалтийско-новгородского региона наряду с глиняной посудой с текстильными отпечатками постоянно встречается штрихованная керамика. Так, последняя обычна для всех поселений Эстонии, содержащих отложения I тысячелетия до н. э. и первой половины I тысячелетия н. э. На некоторых из них, например на городище Асва, керамика со штрихованной поверхностью количественно преобладает. Поселения раннего железного века, со-

<sup>2</sup> Х. А. Моора. О результатах исследования городищ в Эстонской ССР // Древние поселения и городища. Таллин, 1955, с. 88–95; Я. В. Станкевич. К истории населения Верхнего Подвинья в I и начале II тысячелетия н. э. // Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л., 1960, № 76, с. 7–151; Н. Н. Гурин. Древняя история северо-запада Европейской части СССР // Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л., 1961, № 87, с. 113–137, 326–329, 507–513; Я. Я. Граудонис. Латвия в эпоху поздней бронзы и раннего железа. Рига, 1967, с. 103–113.

держащие и текстильную, и штрихованную керамику, обычны и для других частей прибалтийско-новгородского региона, в том числе для Южной Финляндии, Приладожья, Ильменского бассейна, верховьев Западной Двины и Северной Латвии.

Штрихованная керамика в эпоху раннего железа была одним из характерных индикаторов срединной группировки балтов. Распространение ее в прибалтийско-новгородском регионе, заселенном финноязычным населением, может быть объяснено только инфильтрацией балтов в эти земли. Ее детали из-за пока слабой изученности поселений прибалтийско-новгородского региона не могут быть восстановлены. Трудно сказать, был ли это одноактный процесс широкого проникновения балтов в финноязычную среду или имел место многократный и длительный приток нового населения из балтского ареала. В пользу последнего предположения, кажется, говорит распространение в рассматриваемом финском регионе одежных посоховидных булавок, весьма характерных для балтского этноса.

Данные современных прибалтийско-финских языков определенно свидетельствуют о значительности балтского языкового воздействия на население прибалтийско-новгородского региона. Оно проявляется и в лексике, и в фонетике, и в грамматике и обнаруживается во всех без исключения прибалтийско-финских языках. Лексические балтские заимствования (их число достигает почти 300) относятся к самым разным областям жизни и быта прибалтийских финнов. Это и лексемы, связанные с природой, и термины, относящиеся к частям тела человека, к общественным и родственным отношениям, и слова, связанные с земледелием и скотоводством, с некоторыми техническими навыками. В грамматике прибалтийско-финских языков имеются особенности, вообще не свойственные финно-угорским языкам, но которые находят непосредственные соответствия в балтских языках<sup>3</sup>.

То обстоятельство, что древние балтские заимствования более или менее равномерно фиксируются во всех прибалтийско-финских языках, свидетельствует о балтском проникновении в область расселения той группы финноязычных племен, которые составили основу прибалтийско-финской этноязыковой общности. Длилось же балтское влияние на протяжении, нужно полагать, нескольких столетий.

<sup>3</sup> П. А. Аристе. Формирование прибалтийско-финских языков и древнейший период их развития // Вопросы этнической истории эстонского народа. Таллин, 1956, с. 12–14.



Согласно построениям одного из крупнейших исследователей финно-угорских языков Ю. Х. Тойвонена, разделение финно-волжской общности, следствием чего стал отрыв прибалтийских финнов от поволжских племен и их самостоятельное языковое развитие, произошло за тысячу лет до н. э. К этому выводу присоединился современный венгерский языковед П. Хайду, определяя начало прибалтийско-финской эпохи первыми столетиями I тысячелетия до н. э.<sup>4</sup>

В распоряжении науки нет каких-либо конкретных данных для высказанного в археологической литературе предположения о формировании прибалтийско-финского языка и этноса в условиях неолитической культуры типично гребенчато-ямочной керамики<sup>5</sup>. Эта мысль покоится исключительно на географическом моменте — ареал названной неолитической культуры в общих чертах соответствует территории обитания прибалтийско-финских племен в эпоху раннего средневековья, когда они впервые были зафиксированы письменными источниками. Однако область формирования прибалтийско-финского языка-основы не обязательно должна соответствовать или даже приближаться к территории позднейшего расселения племен, вышедших из этой языковой общности. Принять эту гипотезу не позволяет и анализ постнеолитических древностей Прибалтийского края.

Рассмотренные выше материалы раннего железного века показывают, что прибалтийско-финская этноязыковая общность сформировалась в той части обширного финно-угорского ареала, где в течение столетий имело место внутрорегиональное взаимодействие финского и балтского этнических компонентов. Материалы археологии говорят о том, что прибалтийско-финский язык-основа складывался не в результате территориального отчленения части племен — носителей культуры текстильной керамики, а в условиях внутрорегиональных контактов финского населения с балтами, которые имели место в течение длительного времени в Прибалтийско-Новгородском крае.

Обратная инфильтрация финноязычного населения на балтскую этническую территорию имела место, но была мало значительной. Ее следами являются, прежде всего, находки текстиль-

<sup>4</sup> П. Х а й д у. Уральские языки и народы. М., 1985, с. 78–82.

<sup>5</sup> Л. Ю. Я н и т с. К вопросу об этнической принадлежности неолитического населения территории Эстонской ССР // Вопросы этнической истории эстонского народа. Таллин, 1956, с. 142–171; L. J a a n i t s. Über die gemeinsame archäologische Kultur der ostseefinnischen Stämme // Сов. финно-угроведение. Таллин, 1974, № 4, с. 225–237.

ной керамики на ряде поселений днепро-двинской культуры в Смоленском Поднепровье (городища Новые Батеки, Владимировка, Холм, Лестровка, Неквасино), Полоцко-Витебском Подвинье (Городища Бураково, Зароново, Черкесово, Кубличи, Старое Село, Заговалино, Замошье, Барсуки, Абрамово и Урагово) и Себежском поозерье (Себеж)<sup>6</sup>. Процент текстильной керамики на днепро-двинских городищах колеблется от 0,2 до 7. Как правило, фрагменты текстильной керамики отделяются от днепро-двинской по окраске и консистенции глиняного теста, но иногда встречаются и обломки типичной днепро-двинской посуды с отпечатками текстиля. Последнее явно свидетельствует о том, что текстильная керамика в днепро-двинском ареале является не результатом обмена, а следствием проникновения небольших групп финноязычного населения в среду днепровских балтов.

Несомненный интерес для изучения контактов балтского населения с финским в эпоху раннего железа представляют находки грузиков дьякова типа. Такие предметы, изготовленные из глины, в большом числе встречаются на городищах дьяковской культуры. Назначение их окончательно не определено. Наиболее вероятным представляется предположение о связи грузиков дьякова типа с какими-то культовыми представлениями древнего финского населения Волго-Окского междуречья.

Грузики дьякова типа неоднократно встречены на ряде поселений днепро-двинской культуры и распространяются далее в ареале культуры штрихованной керамики на территории Литвы и соседних районов Беларуси<sup>7</sup>. Количество этих находок на поселениях балтов значительно меньше, чем на городищах дьякова типа, но все же они определенно свидетельствуют о контактах балтов с населением дьяковской культуры (в прибалтийско-новгородском регионе ареала текстильной керамики таких находок нет).

Следующий этап балто-финского взаимодействия характеризуется глубокими и неоднократными миграциями более или менее крупных групп балтского населения в области расселения поволжско-финских племен.

Во II в. до н. э. племена днепро-двинской культуры, проживавшие в Смоленском Поднепровье и смежных землях Верхнего

<sup>6</sup> В. В. С е д о в. Культура Днепро-Двинского междуречья в конце I тысячелетия до н. э. // Сов. археология, 1969, № 2, с. 121; В. И. Ш а д ы р о. Ранний железный век Северной Белоруссии. Минск, 1985, с. 80–82.

<sup>7</sup> В. В. С е д о в. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. М., 1970, рис. 10 (врезка); Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Vilnius, 1975, II, 22 psl., 6 žem.

Подвинья, расширяют свою территорию в восточном направлении<sup>8</sup>. Днепровские балты расселяются в бассейне реки Москвы и на верхней Волге, свидетельством чего является возникновение здесь новых крупных и мелких поселений и запустение многих прежних. Текстильная керамика при этом исчезает, ее заменяет гладкостенная глиняная посуда, обнаруживающая генетические связи с днепро-двинской. Существенно меняется и характер домостроительства. На смену длинным домам, состоящим из нескольких жилых и хозяйственных помещений, пришли односекционные жилища. Получает распространение традиция возведения оборонительных укреплений в комплексе с жилыми постройками, вписываемыми в них. На московских и верхневолжских городищах появляются предметы балтского происхождения, а также украшения и принадлежности одежды местного изготовления, но прототипы которых известны среди балтских древностей. Вместе с тем, сохраняются связи и с дьяковской культурой, в частности, хозяйственный уклад населения остается прежним. Этот период в истории Подмосковья и Верхневолжья в археологии называется позднедьяковским. Культура его явно сформировалась в условиях взаимодействия пришлых днепровских балтов с местным поволжско-финским населением. При этом последнее постепенно оказалось ассимилированным.

Импульсом для движения части днепровских балтов на верхнюю Волгу и в Москворечье послужила, нужно полагать, миграция племен культуры подклошевых погребений и поморской культуры в Припятское Полесье и Среднее Поднепровье, затронувшая частично и верхнеднепровские земли, результатом чего было сложение зарубинецкой культуры.

Балтский этнический компонент в западной части Волго-Окского междуречья еще пополнился во II–III вв. н. э., когда из Подесенья в верхнеокские земли продвигаются отдаленные потомки зарубинецкого населения. На верхней Оке складывается в результате новая культура — мощинская, которая в IV в. распространяет свое влияние на Москворечье, и ее импульсы достигают верхневолжских поселений<sup>9</sup>. Таким образом, на восточной окраине формируется культура племени голядь, известного по сведениям готского историка Иордана (VI в.) и древнерусских летописей

<sup>8</sup> П. Н. Третьяков. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М.; Л., 1966, с. 234–239.

<sup>9</sup> В. В. Седов. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья..., с. 42–48; Он же. Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982, с. 41–45.

(XII в.). Зарубинецкое население по своему происхождению связано с западнобалтским образованием, поэтому окскую голядь можно рассматривать как родственников известных галиндов.

Один из миграционных потоков балтов достиг рязанского течения Оки. К середине I тысячелетия н. э. здесь складывается метисная культура рязанско-окских могильников<sup>10</sup>. Анализ похоронной обрядности и вещевых инвентарей последних позволяет выделить в них погребения местных поволжских финнов (с северной ориентировкой и набором вещей, специфичных для финно-угорских древностей), пришлых балтов (по обряду трупосожжения или ингумации с восточной ориентацией и инвентарем, обнаруживающим аналогии в балтских древностях) и метисных (сочетание тех и других особенностей). Устанавливается, что миграция балтов шла из верхнеокских земель и западных районов Волго-Окского междуречья. Создается впечатление, что в Рязанском Поочье осела сравнительно крупная группировка балтского населения. Однако она все же постепенно растворилась в местной финноязычной среде.

Менее значительные группы балтов в то же время продвинулись далее в восточном и юго-восточном направлениях. Они влились в среду мордовского населения и оказались в конечном итоге ассимилированными. Однако они внесли определенный вклад в культуру раннесредневековой мордвы — целый ряд предметов мордовской женской одежды VII–XII вв. (головные венчики, шейные гривны, некоторые виды браслетов и перстней) имеет сходство с типично балтскими украшениями.

Крупная группировка балтов не позднее IV в. н. э. откуда-то из районов Днепровского левобережья переселилась еще далее в более восточные области Среднего Поволжья и частично Западного Приуралья, создав здесь именьковскую культуру<sup>11</sup>. Ее ареал — черноземные земли Среднего Поволжья от Самарской Луки на юге до низовьев Камы на севере, а на востоке он включал приуральские области до уфимского течения реки Белой. Племена именьковской культуры были в этом регионе первыми пашенными земледельцами, заселив наиболее плодородные земли, пустовавшие до этого.

<sup>10</sup> В. В. Седов. Рязанско-Окские могильники // Сов. археология, 1966, № 4, с. 86–104.

<sup>11</sup> П. Н. Старостин. Памятники именьковской культуры // САИ, вып. Д1–32. М., 1967; А. Х. Халиков. К вопросу об этносе именьковских племен // Памятники первобытной эпохи в Волго-Камье. Казань, 1988, с. 119–126.

По своему происхождению племена именьковской культуры в какой-то степени были далекими потомками зарубинецкого населения. Расселившись в средневолжско-приуральском регионе, эти племена вошли в непосредственное соприкосновение с носителями кушнаренковских древностей, которых можно более или менее надежно отождествлять с уграми-венграми, проживавшими в это время между Камой и Уралом. На севере именьковское население соседило с племенами азелинской культуры, на основе которых чуть позже сформировались средневековые мари — маришцы, а на западе — с мордовскими племенами. Появившиеся на средней Волге тюрки застали здесь именьковское население, проживавшее в этом регионе до рубежа VII и VIII в., когда в силу серьезных миграционных пертурбаций оно вынуждено было покинуть свои обжитые земли и в конечном результате раствориться среди различных племен. Следы проживания балтов в регионе именьковской культуры являются балтские элементы, обнаруживаемые в языках народов, с которыми они соприкасались. Так, значительный пласт балтизм имеет не только в мордовских, но и в маришском языке, на что обращали внимание многие лингвисты, в частности Б. А. Серебренников и А. Йоки. О балтской атрибуции носителей именьковской культуры говорят балтские заимствования в чувашском и особенно в венгерском языках. Видимо, отдельные водные названия балтского происхождения, фиксируемые некоторыми исследователями в Среднем Поволжье, оставлены именьковской группировкой балтов.

В самом начале средневековой поры контакты балтов с финно-угорским миром были нарушены мощными волнами славянской миграции, постепенно охватившей значительные области лесной зоны Восточной Европы.

## У. САЛО

### ПРАБАЛТИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИХ ЯЗЫКОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АРХЕОЛОГИИ

Известный эстонский археолог Харри Моора был первым, кто высказал мнение о соотнесенности прабалтийских заимствований в прибалтийско-финских языках с культурой шнуровой керамики. Эта культура распространилась в области гребенчатой керамики, то есть в северной Латвии, Эстонии и на юго-западе Финляндии, в середине III тысячелетия до н. э. Финские и эстонские археологи единодушно признают, что носителями новой культуры были индоевропейцы, тогда как более раннее население культуры гребенчатой керамики было финно-угорским; таким образом, группы того и другого населения находились по соседству на одних территориях. Эпоха шнуровой керамики (или культуры ладьевидных топоров) длилась в Финляндии не более 500 лет, до возникновения культуры Киукайс (2000–1300 г. до н. э.), в которой преобладали элементы гребенчатой керамики, хотя различимо и наследие шнуровой керамики. В Эстонии культура ладьевидных топоров просуществовала несколько дольше — до II тысячелетия до н. э., но и здесь носители шнуровой керамики были ассимилированы населением культуры гребенчатой керамики.

Мнение Мооры было поддержано большинством археологов, в частности, и по той существенной причине, что в археологическом материале данного региона не обнаруживается никаких других столь же значимых влияний со стороны расположенных к югу областей, где только и могла возникнуть прабалтийская культура.

Отношение финских языковедов к этой концепции было отчасти скептическим. Основания для этого лежат в хронологии: культура шнуровой керамики оценивается как слишком древняя, чтобы соответствовать прабалтийской языковой стадии. Подобная позиция опирается на более или менее общепринятую хронологию исторического развития индоевропейских языков, которая тем самым выглядит противоречащей данным археологии. Для устранения несоответствия хронологию следует удрежить. Такой пересмотр, во всяком случае, предполагают прабалтийские заимство-

вания в прибалтийско-финском, поскольку наиболее вероятный исторический фон их проникновения образуют, как мне представляется, культура шнуровой керамики и ассимиляция ее носителей населением гребенчатой керамики на рубеже III и II тысячелетия до н. э. Большая часть соответствующих слов была заимствована на территории Финляндии, Эстонии и Северной Латвии в эпоху распространения культуры шнуровой керамики или вскоре после этого. Для более подробного обоснования этого вывода я рассмотрю несколько лексических групп.

### 1. «Археологические» заимствования

Представляется возможным поставить некоторые прабалтийские заимствования в прямую связь с археологическими находками или феноменами:

Фин. *kauha* «черпак, большая ложка, используемая, например, при приготовлении и раскладке каши». Культурному кругу гребенчатой керамики были известны деревянные черпаки и ложки, в отличие от ложек из глины, найденных на некоторых поселениях шнуровой керамики (например, Киркконумми, Уусимаа). Возможно, они и послужили стимулом к заимствованию названного слова. Вероятно, дело было не столько в различии материала, сколько в особом предназначении ложек = *kauha*, так как носители культуры шнуровой керамики пользовались ими предположительно для приготовления каши. Черенки ложек из поселений гребенчатой керамики часто слишком коротки, чтобы использовать эти ложки при варке; следует, впрочем, сознаться, что длина черенков у ложек из поселений шнуровой керамики неизвестна. Кроме того, глиняные ложки выглядят не слишком практичными для варки. Как бы то ни было, налицо археологический аналог для вышеназванного заимствования.

Фин. *kirves* «топор» — вероятно, обозначение ладьевидного топора или четырехгранного рабочего топора. Носителям гребенчатой керамики были чужды обе эти формы, прямые лезвия которых предполагали иной способ крепления на топорнице и особый путь употребления. Можно думать, что слово *kirves* связано в первую очередь с ладьевидными топорами — красивыми и изящными изделиями, служившими как оружие и как символ культуры в целом. Подражания этим топорам, но не рабочим, появились и у носителей гребенчатой керамики. Использование ладьевидных и других топоров с отверстием для топорница продолжилось до культуры Киукайс и наступления бронзового века.

Эст. *kõblas* «кирка, мотыга» — предположительно название мотыги с поперечным по отношению к рукоятке лезвием и с отверстием для насадки. Мотыги этого типа характерны для старой области шнуровой керамики между Одрой и Даугавой, однако они по крайней мере частично моложе самой культуры шнуровой керамики и датируются второй четвертью II тысячелетия до н. э. Поэтому понятно, что они распространены не во всей области шнуровой керамики и в Финляндии отсутствуют. Изредка, однако, они встречаются на территории Эстонии, что соответствует и истории слова: заимствование известно только эстонскому языку.

Фин. *vaaja* «клин» — возможно, обозначало топор с широким обухом, колун. Находки колунув не очень многочисленны, но они встречаются, например, на территории Финляндии и Дании. Благодаря ширине обуха они особенно хорошо приспособлены для раскалывания древесины и поэтому применялись, вероятно, при изготовлении планок и досок. Некоторые из них имеют большую длину, чем обычные рабочие топоры, и пригодны в качестве клиньев. В Дании найден колун, глубоко заклиненный в деревянной колоде.

Фин. *ratas* «колесо» — заимствование, связанное, возможно, не только с большими колесами, но и с теми небольшими глиняными кружочками, которые найдены, в частности, на жилищах носителей шнуровой керамики. Кружочки имеют 5–6 см в диаметре и, видимо, служили игрушками или колесиками-веретенцами. Подобные колесики позднее особенно широко использовались для плетения шнуров. Обратим в этой связи внимание на то, что фин. *rihma* «нить, шнур» также относится к слою прабалтийских заимствований и что отписки шнура относятся к числу важнейших признаков шнуровой керамики.

Если финский глагол *louhia* «ломать» относится к прабалтийским заимствованиям (эта этимология не вполне надежна), то, возможно, он связан с ломкой камня, о которой свидетельствуют многие ладьевидные топоры финского типа. Единообразная зернистость материала этих топоров показывает, что изготавливались они не из случайно найденного, а из специально добытого камня. По данным геологов, ломался этот камень где-то в южной части области Сатакунта. Материал топоров и зубил, связанных с гребенчатой керамикой, варьировался гораздо сильнее, из чего можно заключить, что носители данной культуры не практиковали добычу материала в каменоломнях. Поэтому можно допустить, что ломка камня носителями культуры шнуровой кера-

мики послужила стимулом к тому, чтобы носители гребенчатой керамики заимствовали соответствующий глагол.

## 2. Прабалтийские заимствования из сферы животноводства

Среди прабалтийских заимствований в прибалтийско-финском представлено несколько названий домашних животных: фин. *härkä* «бык», *oinas* «баран», эст. *pahr* «кабан», фин. *vohla* «козленок», *vuohi* «коза» и *vuopa* «ягненок». Костные остатки в раскопках дают возможность оценить возраст этих заимствований.

В кислой почве Финляндии доисторические костные остатки сохраняются довольно плохо. Надежные находки костей коровы, овцы и козы относятся лишь к раннему бронзовому веку (800–600 до н. э.). Зуб быка, найденный на поселении Уотинмяки, может относиться к эпохе культуры Киукайс, но датировка его не достоверна. На острове Кёкар обнаружена кость свиньи, относящаяся к раннему бронзовому веку. И все же находки костей на территории Финляндии слишком спорадичны, чтобы создать точную картину.

В Эстонии, однако, кости коровы, овцы, свиньи и козы обнаруживаются уже в погребениях шнуровой керамики. Поскольку этих костей нет на более древних поселениях культуры гребенчатой керамики, хотя там часто встречаются кости диких животных, есть все основания считать, что животноводство распространилось в Эстонии вместе со шнуровой керамикой. Важно также отметить, что кости домашних животных представлены на позднегребенчатокерамических поселениях Тамула (Южная Эстония) и Лоона (остров Сааремаа). Находки костей из Лооны свидетельствуют о наличии свиноводства. Таким образом, население гребенчатой керамики научилось животноводству от носителей культуры шнуровой керамики. Этот археологический фон точно соответствует упомянутым выше названиям домашних животных, заимствование которых нужно в этой связи датировать эпохой ладьевидных топоров или поздней гребенчатой керамики; иначе пришлось бы считать, что эти названия не столь древние, как разведение соответствующих животных.

Наличие домашних животных предполагало, разумеется, и многое другое: скотоводы должны были быть знакомы с привычками и образом жизни животных, с приемами ухода за ними. Понятно поэтому, что к числу прабалтийских заимствований относятся и такие, как фин. *laukhi* «белое пятно на лбу», *muli* «комолая корова», *villa* «шерсть» и *vuota* «шкура (снятая)».

Важный компонент животноводства составляют выпас и другие формы кормления. Поэтому относящиеся к этой сфере прабалтийские заимствования могли проникнуть в тот же период, что и рассмотренная выше лексика: фин. *paimen* «пастух» и *torvi* «труба, пастушеский рожок», а равным образом фин. *heinä* «сено», *luhta* «заливной луг», *vihvilä* «ситник, различные виды осоки» и *ätelä* «отава». Сюда, вероятно, относится и фин. *apila* «клевер», поскольку клевер является важным кормовым растением. Через связь с животноводством объясняется и заимствование фин. *takiainen* «репейник», поскольку семена мелкого репейника распространяются, зацепляясь за шерсть домашних животных. Домашний скот, несомненно, уже в эпоху ладьевидных топоров преследовался власоедами и оводами, поскольку их названия в прибалтийско-финских языках (фин. *väive* и *kiiliäinen*) также относятся к числу прабалтийских заимствований.

Животноводство требовало также использования некоторых строений, в которых не нуждались охотники и рыболовы. Среди прабалтийских заимствований имеется несколько названий таких строений или их частей, и, по всей вероятности, они имеют тот же возраст, что и названия соответствующих животных. К этой группе слов относятся фин. *karsina* «закут (для телят и т. д.)», *tarha* «загон», *seiväs* «шест, жердь изгороди» и, возможно, *rako* «щель — например, в изгороди»; соответствующие слова современных балтийских языков имеют близкие значения. Без подобных сооружений, служивших одновременно для кормления и охраны скота, занятия животноводством были невозможны.

Особая группа прабалтийских заимствований состоит из слов, относящихся к упряжным животным и упряжи, а именно, фин. *juhta* «упряжное животное, (первоначально) запряженный бык», *jutta* «ремень, которым крепится ярмо к рогам быка», *aisa* «оглобля», *vehmaro* «дышло (в воловьей упряжке)». Прабалтийское происхождение имеют также фин. *reki* «сани» и названия деталей саней — фин. *kaplas* «копыл», *kausta* «боковая планка» и *ketara* «копыл (обычно более крупный, чем *kaplas*)». К этой сфере относится и фин. *kelä* «состояние санного пути, хорошее или плохое скольжение полозьев».

Нет уверенности в том, что прибалтийские финны уже в эпоху шнуровой керамики или вскоре после нее стали использовать упряжных быков, но, во всяком случае, усвоили они эту новую технику от балтов. Здесь археология оставляет нас без нужной информации, однако она помогает в решении вопроса о возрасте саней.

Носители культуры гребенчатой керамики использовали и раньше сани с одним полозом — наследие раннего мезолита. Вероятно, их название отражено в фин. *ahkiö* «сани-волокуша» — слове, восходящем к финно-угорской эпохе. Подобные длинные полозья представлены на всем протяжении гребенчато-керамической эпохи. Поскольку только слово *reki* обозначает во всех прибалтийско-финских языках зимнее средство транспорта с двумя полозьями, следует считать, что заимствование этого слова было связано с переходом к использованию двухполозных саней. Древнейшая находка, которая, судя по сохранившейся части, может быть идентифицирована как двухполозные сани, датируется второй половиной I тысячелетия до н. э., иными словами, концом бронзового или началом железного века. Хотя найден лишь один полоз, но обнаруженные вместе с ним задние копылья и боковые планки позволяют заключить, что это были сани или ручные санки с двумя полозьями. Высокая и крепкая средняя часть полоза, как и другие его детали, при сравнении с длинными полозьями гребенчато-керамической культуры свидетельствуют о принципиальном различии в конструкции саней. Хотя эта находка датируется слишком поздним временем для того, чтобы быть соотношенной хронологически с прибалтийским *reki*, однако другой материал (из Ноормаркку в Западной Финляндии) указывает, что полозья с высокой крепкой средней частью встречались уже и в эпоху культуры Киукайс, то есть около середины II тысячелетия до н. э. Тем самым прибалтийское заимствование *reki* связано, по всей вероятности, с появлением в прибалтийско-финском регионе двухполозных саней.

### 3. Прибалтийские заимствования из сферы земледелия

Как установлено, на большей части территории Европы население культуры шнуровой керамики занималось земледелием. Считается, что это занятие практиковалось также в Финляндии и Эстонии. Районы распространения данной культуры в Финляндии и места, выбиравшиеся для поселений, вполне пригодны для обработки земли, однако археологический материал чрезвычайно скуден: одно обугленное зерно из Эстонии, пыльца некоторых злаков из Финляндии. Древнейшее надежное указание на возделывание злаковых культур — обугленные зерна ячменя из Турку-Ниускала — относится к первой половине II тысячелетия до н. э., ко времени культуры Киукайс — наследницы гребенчатой и шнуровой керамики. О значении зерновых в питании говорят и кам-

ни-жернова культуры Киукайс. Они относятся к седлообразному типу, встречающемуся повсеместно на неолитических поселениях Европы. Находки пыльцы указывают, что в окрестностях поселения шнуровой керамики Перкиё (в Тавастланде) после их заселения увеличилась площадь безлесных участков. Это значит, что шла расчистка леса огнем под пашню, под пастбище или в иных целях. Это сопровождалось распространением можжевельника, характерного для пастбищ кустарника. Тем самым находит хорошие подтверждения представление о земледельческих занятиях носителей шнуровой керамики.

Таков, по-видимому, археологический «фон» прибалтийских заимствований — фин. *herne* «горох» и *ohra* «ячмень»; ячмень — злак, ранее других засвидетельствованный у предков прибалтийских финнов. При возделывании ячменя должны были быть известны и многие другие вещи, которые связаны с земледелием и названия которых имеют прибалтийское происхождение: фин. *halme* (этимология не вполне надежна) «хлеба на пожоге», *kuro* «пучок соломы», *pelu* «сечка», *siemen* «семя» и *siikanen* «костра». Сюда же можно отнести *korsi* «стебель», *ohdake* «чертополох» (сорняк, часто встречающийся среди злаков и причиняющий особые хлопоты при уборке урожая) и *vako* «борозда, особенно борозда при пахоте». Хотя пахота в Скандинавии была известна уже в ранне-неолитическую эпоху, однако в материалах культур шнуровой керамики Прибалтики или Финляндии не найдено на нее никаких указаний. Заимствование слова *vako* дает, правда, возможность выдвинуть соответствующее предположение, но не доказывает его: борозды могли проводиться и вручную. Следует, во всяком случае, отметить, что наиболее ранние названия плуга и его частей в прибалтийско-финских языках (фин. *aura* «плуг» и *vappas* «лемех») — прагерманские заимствования, относящиеся, вероятно, к эпохе бронзы. Не являлась необходимостью и распашка пожогов, так как семена могли перемешиваться под слоем золы и с помощью суковатой палки — примитивной бороны. Название бороны в прибалтийско-финских языках (фин. *äes*) рассматривается в работе Я. Калимы как балтизм. Наряду с этимологическими данными, и практические соображения говорят в пользу того, что употребление (суковатой) бороны необходимо при выращивании злаков на пожоге и что возраст у нее тот же, что и у практики пожога.

Земледелием были обусловлены и воздействия на внешнюю среду, которые, по-видимому, также отражены в лексике прибалтийского происхождения. Укажу на фин. *kataja* «можжевельник», слово, которое ряд исследователей считает прибалтийским заимст-

вованим. Хотя само по себе это растение должно было быть известно с незапамятных времен, заимствование слова можно соотнести с распространением можжевельника вследствие сведения леса пожаром.

Сходные умозрительные объяснения можно было бы предложить и в связи с фин. *metsä* «лес», если оно действительно является прабалтийским заимствованием. Поскольку лес являлся привычным окружением для носителей культуры гребенчатой керамики, не было, собственно говоря, никакой причины заимствовать это слово в связи с новизной понятия. Однако земледелие изменило отношение прибалтийских финнов к лесу: он стал не только местом охоты, но и объектом для сведения под новые свободные участки. Со всеми оговорками в слове *metsä* можно усмотреть указание на изменившиеся условия жизни.

Мне представляется возможным, что нечто подобное кроется и за теми прабалтийскими заимствованиями, которые характеризуют погоду и погодные явления: фин. *halla* «заморозки», *helle* «жара, зной», *kirsi* «мерзлота» и *routa* «мерзлота». Разумеется, эти явления природы были известны и раньше, но значение их для земледельцев гораздо больше, чем для охотников.

На более надежной почве мы оказываемся при рассмотрении балтизма *puuro* «каша»: тесная связь с земледелием не вызывает сомнений. *Puuro* — одно из самых старых названий пищи, приготовляемой из муки. Поскольку ячмень до сих пор широко используется для приготовления каши, возделывание ячменя в эпоху культуры Киукайс и жернова этого же времени явно указывают на употребление в пищу каши и тем самым позволяют отнести слово *puuro* к соответствующему хронологическому этапу. В этой связи следует отметить, что фин. *rieska* «свежий (особенно о молоке, о хлебе и других мучных продуктах)» также принадлежит к числу прабалтийских заимствований.

Одним из наиболее интересных балтизмов является фин. *hiiva* «дрожжи». Как известно, в крестьянских хозяйствах дрожжи применяются и для замеса теста, и в пивоварении. Поскольку, однако, ряд слов в прибалтийско-финских языках, относящихся к выпечке хлеба из теста с дрожжами, заимствован из прагерманского (например, фин. *leivä* «хлеб», *taikina* «тесто» и *arina* «под печи»), балтийское происхождение слова *hiiva* может служить указанием на то, что дрожжи вначале применялись только для варки пива. Название пива (фин. *olut*) рассматривается в прибалтийско-финских языках как заимствование, но исследователи пока расходятся в вопросе об источнике этого слова —

прабалтийском или прагерманском. С культурно-исторической точки зрения, как мне кажется, наличие слова *hiiva* говорит в пользу балтийской альтернативы, хотя несомненно, что и германское влияние сильно сказалось на развитии пивоварения у прибалтийских финнов (фин. *vierre* «сусло» и *mallas* «солод» представляют собой прагерманские заимствования).

О существовании пивоварения не сохранилось, естественно, никаких непосредственных материальных свидетельств. Однако небесполезную отправную точку дают в этом случае доисторические глиняные сосуды. В IV тысячелетии произошло важное изменение в формах глиняных сосудов: во многих культурах Европы появились небольшие выпуклые кубки с более или менее высоким горлышком, и в целом эти формы сохранялись до конца III тысячелетия (а на территории России и позднее). К числу новых форм принадлежали в Скандинавии также глиняные фляги с высоким горлышком, а на значительной части территории Европы — округлые амфоры с узким отверстием. В Скандинавии эти новые типы сосудов распространились одновременно с проникновением туда неолитического хозяйства в IV тысячелетии, тогда как в Прибалтике и Финляндии они появились лишь с культурой шнуровой керамики в середине III тысячелетия.

Здесь часто обнаруживаются кубки с горизонтальными отпечатками шнура на горлышке. Если теперь поставить вопрос, для чего использовались эти шнуровые кубки и как объяснить происхождение шнурового орнамента, то ответ может быть следующим: кубки служили как сосуды для пива, первоначально также для варки пива. То, что это были сосуды для питья, не требует специальных обоснований, однако допущение, что их применяли и для варки пива, не является столь же само собой разумеющимся. Известно, что пиво должно бродить в светонепроницаемом сосуде, поэтому можно предположить, что кубки первоначально накрывались кусками кожи или ткани, которые увязывались на горлышке горизонтально протянутым шнуром и затем заделывались воском. Позднее, когда при варке пива стали, вероятно, использоваться округлые амфоры или фляги (благодаря узкому отверстию они лучше приспособлены для этой цели), кубки продолжали служить только как сосуды для питья. Но они по-прежнему украшались отпечатками шнура, как бы в воспоминание об обмотке шнурами, которая некогда служила вполне практической цели. Тем самым возникновение шнуровых орнаментов можно связать с первоначальными техническими нуждами.

Сказанное выше носит, конечно, характер гипотезы. Но, во всяком случае, распространение кубков в обширных областях и в разных культурах, их большая популярность требуют объяснения. Одну из возможностей и составляет изложенная здесь версия о связи с варкой и употреблением пива. Эта версия хорошо увязывается и с наличием еще двух балтизмов в прибалтийско-финском: фин. *vaaha* «воск, в том числе пчелиный» и *rihma* «нить, шнур». А поскольку плетение веревок было известно уже в эпоху раннего мезолита (сеть из раскопок в Антреа), да и пчелиный воск вряд ли был новинкой, то, вероятно, у прибалтийских финнов были особые основания заимствовать эти слова. Конечно, варка и питье пива не исчерпывают перечня возможных причин: слово *rihma*, например, могло проникнуть вместе с более совершенной техникой плетения. Но, во всяком случае, о значении шнуров явственно свидетельствуют отпечатки на питьевых сосудах. В этой связи я хотел бы еще раз обратиться к слову *ohra* «ячмень»: пиво обычно варится из ячменя, говорится о ячменном пиве и в старинных финских фольклорных текстах. В эпоху культуры Киукайс ячмень выращивался в Финляндии на пожогах, и поэтому представляется, что есть достаточно оснований говорить о прабалтийском происхождении пивоварения у прибалтийских финнов.

К приготовлению мучных и молочных блюд относится еще одно прабалтийское заимствование, фин. *mäntä* «мешалка, мутовка маслбойки». Поскольку *mänty* «сосна» может считаться производным от данного слова, мы можем заключить, что подобные приспособления делались из стволов молодых сосен.

В заключение еще об одном балтизме, фин. *talkoo(t)* «соседская помощь». Подобная помощь требовалась главным образом при уборке урожая, будь то в том случае, если злаки перезрели и колосья начинали осыпаться, или в том, если урожай нужно было защитить от дождя или ночных заморозков. Помощь-*talkoot* со стороны соседей при уборке урожая широко практиковалась и в более поздние эпохи\*.

\* К лингвистическому анализу и более подробной документации балтизмов (прабалтийских заимствований) в прибалтийско-финских языках см. в первую очередь: J. Kalima. Itämerensuomalaisten kielten balttilaiset lainasanat. Helsinki, 1936; Suomen kielen etymologinen sanakirja, I-VI. osa. Helsinki, 1955-1978. (Примеч. ред.)

Л. БЕДНАРЧУК

## КОНВЕРГЕНЦИИ БАЛТО-СЛАВЯНСКИХ И ФИННО-УГОРСКИХ ЯЗЫКОВ В СТРУКТУРНОМ И АРЕАЛЬНОМ АСПЕКТЕ

### Вступительные замечания

Открытие Ф. Боппом (1816) общего происхождения большинства языков Европы, Ирана и Индии (отсюда название: индоевропейская семья, нем. Indogermanisch) путем их сравнения побудило ученых к поискам на основе того же сравнительного метода дальнейших родственных связей индоевропейских языков. Ввиду соседства на первом плане оказываются финно-угорские языки, образующие вместе с самодийской ветвью уральскую семью. В результате полуторавековой дискуссии, которую недавно подытожил А. Йоки (1973), был открыт ряд сходжений (конвергенций), главным образом, в лексике, определены также некоторые параллели из области морфологии и синтаксиса; не удалось, однако, установить регулярные фонетические соответствия, т. е. звуковые законы, которые позволили бы реконструировать праиндоевропейский язык.

Не подлежит зато сомнению, что с очень давних времен имели место контакты между индоевропейскими языками; сходжения между балтийскими, славянскими и соседними финно-угорскими языками издавна являются предметом оживленной дискуссии, в частности, вопрос об их времени, месте, а также о масштабах и направлении воздействия. Целью моей статьи является краткий разбор наиболее важных структурных конвергенций между балто-славянскими и финно-угорскими, в частности, прибалтийско-финскими языками, а также попытка ответить на вопрос, какие из этих конвергенций носят чисто типологический характер, т. е. возникли независимо друг от друга, а какие являются результатом влияния, и в чем именно это влияние заключается. Важным указанием служит здесь наличие или отсутствие данной черты в остальных индоевропейских и соответственно уральских языках, что позволяет установить направление влияния и тенденции развития. В заключительной части моей статьи я попробую ответить на вопрос, когда и на каком пространстве эти кон-



такты осуществлялись и как они трансформировались к настоящему времени.

### Фонетические конвергенции

#### 1. Симметрия вокализма

Хотя реконструкция инвентаря фонем и проблема долготы для прафинно-угорской эпохи вызывают определенные сомнения, бесспорно наличие следующих гласных: *i, e, ä, a, o, u* (Décsy 1965:155). Они образуют симметричную корреляцию палатальности «передний/задний»:

i	u
e	o
ä	a

Эта система связана с присущей языкам уральской семьи гармонией гласных, согласно которой передний или задний гласный начального слога имплицитно соответствует вокализму последующих слогов, в которых, кроме того, не выступают *i, u, o*. Причем *i* не был фонемой (Rédei 1974:51; Лыткин 1974:188), так как появлялся в соседстве с губными согласными. Что касается корреляции «краткий/долгий», то она выступает только в двух группах: угорской, где является определено инновацией, и прибалтийско-финской, которая хотя и имеет архаичный вокализм (очевидный, между прочим, по облику германских и балтийских заимствований), но присутствующие в ней долгие гласные не находят регулярных соответствий в других языках. Сейчас преобладает мнение, что в прафинно-угорском была долгота (Лыткин 1974:177–192), но существует и гипотеза В. Штейница (Steinitz 1944), согласно которой это была корреляция «гласный полного образования/редуцированный», сохранившаяся поныне в волжско-финских (марийский, мордовский) и хантыйском, в то время как корреляция «краткий/долгий» в прибалтийско-финском возникла под влиянием индоевропейского соседства. В. Штейниц (1944:137–141) обращает внимание на разительное сходство реконструированного им прафинно-угорского вокализма с праславянским (редуцированные = «еры»), не предполагая, однако, общего генезиса.

К инновациям прибалтийско-финской ветви относятся: фонологизация /*ü*/, появление гласного среднего ряда /*ə*/, переднего лабиализованного /*ö*/, развитие долготы, а также появление дифтонгов из долгих гласных, в чем Е. Уотила (Uotila 1986) усматривает импульс балтийских языков.

Совершенно иным был гипотетический праиндоевропейский вокализм. Он представлял собой треугольную систему с развитой корреляцией долготы и многочисленными дифтонгами:

<i>ī</i>	<i>ē</i>	<i>ū</i>	<i>ēi</i>	<i>ēu</i>
	<i>ě</i>	<i>ō</i>	<i>ōi</i>	<i>ōu</i>
	<i>ā</i>		<i>āi</i>	<i>āu</i>

Между тем в балтийских языках и в раннепраславянском (до второй палатализации и изменения *a > o*) возникла симметричная вокалическая система, в которой каждому переднему гласному соответствовал задний, как в финно-угорских языках:

прусский		литовский		латышский		раннепраславянский	
<i>ī</i>	<i>ū</i>	<i>ī</i>	<i>ū</i>	<i>ī</i>	<i>ū</i>	<i>ī</i>	<i>ū</i>
<i>ē</i>	<i>ō/ā</i>	<i>ē</i>	<i>ō</i>	<i>ē</i>	<i>ā</i>	<i>ē</i>	<i>ā</i>
		<i>ĕ</i>	<i>ā</i>	<i>ĕ</i>	<i>ā</i>		
<i>ei</i>	<i>ui</i>	<i>ei</i>	<i>ui</i>	<i>ei</i>	<i>ui</i>	<i>eN</i>	<i>aN</i>
<i>ai</i>	<i>au</i>	<i>ai</i>	<i>au</i>	<i>ai</i>	<i>au</i>	<i>ai</i>	<i>au</i>
		<i>ie</i>	<i>uo</i>	<i>ie</i>	<i>uo</i>	(ei > ī) (eu > 'au)	

Исчезновение долготы, монофтонгизация, появление еров, а позже исчезновение *ē* привели славянские языки к треугольной системе. Исключение составляет здесь, однако, белорусский язык, который благодаря одновременному аканью (*ò > a*) и яканью (*ĕ > ə*) приблизился в безударном слоге к краткому литовскому вокализму (Meillet 1934:53; Veenker 1967:25–37; Лекомцева 1980:157–168), а тем самым и к финно-угорскому. Похоже обстоит дело на Подляшье, а также в говоре Восточных Мазур (к юго-востоку от Великих Озер, где существовал когда-то ятвяжский язык), в котором старопольское краткое *ā* дает *ā*, и это палатализует предшествующий заднеязычный согласный, чего не происходит в случае континуанта долгого *ā*. Согласно К. Дейне (Dejna 1973:158–167), этот процесс охватил все Мазовше, а следом его является изменение начальных *ja-*, *ra-* в *je-*, *re-*. Если прибавить к этому распространённый здесь переход *y > i*, то для северо-восточного Мазовша и Мазур можно принять следующую систему вокализма:

i	u
e	o
ā	a

Отсутствие суженных гласных и корреляции округления (лабиальности), свойственных другим польским говорам, сближает эту систему с балтийским, белорусским и финно-угорским ареалом.

## 2. Палатализация и спирализация

Характерными чертами финно-угорского (и уральского) консонантизма можно считать: обилие спирантов и аффрикат, корреляцию палатальности, а также отсутствие звонких смычных (дискуссионным вопросом является наличие в прафинноугорском звонкого спиранта  $\delta$  и соответствующего палатального  $\delta'$ ). Д. Дечи (Décsy 1965:156) реконструирует его следующим образом:

p	t		k
	s	š	s'
		č	c'
w		j	γ
m	n	n'	ŋ
	l	l'	
	r		

Развитие этой системы в ветвях пермской, волжской и прибалтийско-финской пошло в направлении разрастания корреляции палатальности, а также числа спирантов и аффрикат. Появились также звонкие смычные, главным образом, в интервокальной позиции. Максимальный инвентарь, включающий не вполне фонологизированные и имеющиеся не в каждом языке (диалекте) согласные, для прибалтийско-финского можно представить вслед за А. Лаанестом (Laanest 1975:26) в следующем виде:

p	p'	t	t'		k	k'
b	b'	d	d'		g	g'
f	f'	s	s'	š	š'	h
v	v'	z	z'	ž	ž'	j
		c	c'	č	č'	
		ž	ž'	ž	ž'	
m	m'	n	n'			ŋ
		l	l'			
		r	r'			

Праиндоевропейский консонантизм значительно отличался от прафинно-угорского: он имел развитую корреляцию звонкости, придыхания, в нем не было щелевых согласных, за исключени-

ем  $s$ . Возможно, существовали, но уже не в период распада праязыка, ларингальные. Заднеязычные согласные могли быть лабиализованными, а возможно и палатализованными:

p	t	k	k'	k <sup>u</sup>		r	ɾ
(ph	th	kh	k'h	k <sup>uh</sup> )		l	ɭ
					s		
b	d	g	g'	g <sup>u</sup>		m	ɱ
bh	dh	gh	g'h	g <sup>uh</sup>		n	ɳ

Эволюция этой системы на балто-славянской почве пошла в направлении финно-угорского: возникли спиранты, аффрикаты, образовалась под влиянием  $j$  уже в прабалто-славянскую эпоху (Kuryłowicz, 1957) корреляция палатальности, в том числе среди слоговых сонантов:

p	p'	t	t'		k	k'
b	b'	d	d'		g	g'
		s	s'	(š	š')	
v	v'	z	z'	(ž	ž')	j
m	m'	n	n'			
		l	l'	ɭ	ɭ'	
		r	r'	ɾ	ɾ'	

Совершившаяся в поздний период праславянского палатализация повлекла за собой изменение мягких заднеязычных согласных в соответствующие аффрикаты и переднеязычные спиранты. Дальше всего оно пошло в польском и белорусском, где и зубные  $t'$ ,  $d'$  дали перед передними гласными аффрикаты  $c'$ ,  $z'$ . Подобным образом  $t'$ ,  $d'$  +  $j$  в восточнобалтийских языках перешли в спиранты и аффрикаты. Это привело к почти полной идентификации с прибалтийско-финским консонантизмом.

## 3. Фонотактическая конfluэнтность

Указанные процессы, касающиеся различительной функции звуков, повлекли за собой синтагматические изменения в области аллофонии и дистрибуции и привели к фонотактической конfluэнции (аккомодативности). Так было, по мнению И. Савицкой (Sawicka 1988), в праславянском, так обстоит дело в русском, белорусском и, в меньшей степени, польском. Конfluэнтный тип характеризует: слабое напряжение мышц, плавные движения языка, различные ассимиляции (например палатализации), упрощения, протезы,

внешние сандхи, многочисленные группы согласных, комбинаторные варианты. Его противоположностью является тип неконфлуэнтный: сильное напряжение мышц, четкие движения языка, выразительное произношение во всех слогах, немногочисленные ассимиляции, малое число групп согласных, бедная аллофония; центр этого типа — сербско-хорватский язык, а охватывает он итальянский и другие языки в бассейне Средиземного моря.

В свете данной классификации финно-угорские языки с их многочисленными палатализациями, богатой аллофонией, вокалической гармонией принадлежат к конфлуэнтному типу; таковы и восточнобалтийские языки. Стоит привести здесь характеристику артикуляционной базы польского языка в Литве, данную Г. Турской (Turska 1939/1982:87): слабое напряжение мышц, нечеткая артикуляция гласных, влияние соседних звуков на произношение, многочисленные ассимиляции, огромное количество комбинаторных вариантов — что могло бы указать на то, что современный литовский язык еще более конфлуэнтен, чем белорусский и «польшизна кресова».

Корреляция палатальности (гласные «передние/задние», согласные «мягкие/твердые») охватила всю фонетическую систему, включая слоговые сонанты, уже в прабалтославянскую эпоху и придала слову не известный дотоле на индоевропейской почве фонетический облик (Kuryłowicz 1957:112). Это явление В. К. Журавлев (1968:175) определяет термином «групповая палатальность» (мягкий согласный и следующий за ним гласный) и считает балто-славянской тенденцией. В типологическом аспекте оно сравнимо с гармонией гласных в финно-угорских языках, хотя о непосредственном влиянии речи быть не может.

Зато вполне вероятным представляется финно-угорское происхождение другого явления — колебания звонкости начальных согласных в восточнобалтийских языках. В. Кипарский (Kiparsky 1968) подобрал в латышском около 300 параллельных форм, в литовском около 50, а в ливском около 80 подобных примеров, причем в последнем это в основном балтийские заимствования. Источник этого колебания В. Кипарский видит в оглушающем (финно-угорского типа) произношении балтийских слов и в гиперкорректной тенденции, например лтш. *p/baka* 'посылка' > лив. *p/bak̄* 'то же'; лит. *k/gaurai* 'волосы', 'космы' > лив. *kora*, эст. *karv*, фин. *karva* 'шерсть'; лтш. *s/zuoste* 'соус' > лив. *sùòš/zùost* 'то же'. Частые колебания звонкости отмечены в латышском языке на пограничье с ливским, эстонским и водским, причем в так называемых ливских говорах латышского происходит спонтанное

озвончение конечного согласного, например: *nāk/nag* 'приходит', *labāks amats/labagz amadz* 'хорошее ремесло' (Rūdзите 1969:41). Это находит параллель в прибалтийско-финских языках южной группы, ср. фин. *lintu* 'птица' — эст. *lind*, лив. *linD*; фин. *uusi* 'новый' — эст. *už* (Laanest 1975:43). Подобное явление наблюдается в балтийской части Словарика «языческих говоров с Нарева» (Zinkevičius 1983) — языка, который, вероятно, употреблялся в районе Беловежской пуши в XVI–XVII вв. Во всех примерах балтийский инфинитив на *-ti* записан как *-d*, например: *ajgd* 'кончать', *danid* 'петь', *piaud* 'резать'; есть здесь и другие примеры колебаний звонкости. В Словарике записано несколько слов финно-угорского происхождения: *ajk* 'время' — эст. *aeg*, фин. *aika* 'то же'; *wal* 'был' — лив. *vol*, эст., фин. *ol* 'то же'; *tuolis* 'дьявол' — эст., фин. *tuli* 'огонь'; некоторые повторяются в латышском: *sini* 'грибы', лтш. *sēne* (sg.) — лив. *sēñ*, эст. *seen*, фин. *sieni* 'то же'; *wa /../'* 'надо', лтш. *vajaga* — лив. *vajāg*, эст. *vaja* 'то же'. В свете сказанного представляется, что это был прищлый балтийский этнолект с финского пограничья (Курляндия?), а не язык исконных жителей Подлясья, т. е. ятвягов.

## Морфологические конвергенции

### 1. Формообразование

Финно-угорские языки, как и другие агглютинативные, могут иметь в слове значительное число грамматических морфем, сохраняющих свой первоначально лексический статус, что позволяет переставлять или опускать их, как самостоятельные слова. Здесь нет, следовательно, резкой границы между словоизменением, словообразованием и словосложением. Существуют «многоярусные» окончания, по несколько в одном слове, а также сложные суффиксы — те и другие в передней и задней разновидности в соответствии с принципами гармонии гласных. Таким образом, здесь следует говорить не о словоизменении и словообразовании, а о формообразовании. Если под этим углом зрения посмотреть на балто-славянские языки, то в сравнении с другими индоевропейскими обращает на себя внимание богатство словообразования, а некоторые суффиксы, например деминутивные, могут «накладываться» друг на друга агглютинативным путем. Сходным образом, фонетические («передний/задний») варианты финно-угорских суффиксов находят параллели в дублетах, появляющихся в результате действия *j* (твердый и мягкий типы), что проявляется и в склонении, и в спряжении: основы на *-o/jo-*, *-ā/jā-*, в балтийском также на *-u/ju-*.

Следствием богатого формообразования является разрастание средней длины слова в балто-славянском, как в финно-угорском, тогда как другие индоевропейские языки вообще сокращают среднюю длину слова.

Давно замечено также, что позднейшие глагольные образования (добавим сюда и сложное склонение прилагательных) носят в балто-славянском агглютинативный характер, а присоединяемое к глаголу возвратное местоимение нисходит до роли форманта.

## 2. Локальные падежи

Финно-угорские языки имеют более развитую падежную систему, чем индоевропейские, а в историческую эпоху заметен процесс ее разрастания. На индоевропейской же почве существует обратная тенденция — к утрате склонения. Лишь балто-славянские языки сохраняют до сих пор первоначальное состояние без особых изменений, а в восточнобалтийском возникли новые локальные падежи. В соседних прибалтийско-финских диалектах количество падежей схожее, но по мере отдаления растет: ливский 8, южноэстонский 10, литературный эстонский 14, финский 15/17, венгерский 23. Для прафинно-угорской эпохи есть основания реконструировать только 8 форм для 6 падежей (Collinder 1965:51–57; Майтинская 1974:219–266):

NOMINATIVUS	-∅	
GENETIVUS	-n	
ACCUSATIVUS	-m	
LOCATIVUS I	-na/-nä	II -t/-tt
LATIVUS I	-k	II -ń
ABLATIVUS	-ta/-tä	

В прибалтийско-финской ветви заметен процесс увеличения числа локальных падежей: внутренних — *inessivus*, *illativus*, *elativus*, и соответствующих внешних — *adessivus*, *allativus*, *ablativus*. Все шесть новых падежей имеют составные окончания: старый *locativus* I, *lativus* II и *ablativus* выражают внутренние отношения после основы, заканчиваемой формантом *-s-*, внешние же отношения — после форманта *-l-*.

Две из этих пар падежей: *inessivus/adessivus* и *illativus/allativus* — находят зеркальные соответствия в восточнобалтийских языках, а именно в старолитовском, частично в современных восточных говорах и в латышском. Эти сходжения можно представить в следующей таблице:

падежи	внутренние	внешние
местные	INESSIVUS финский <i>-s + -na</i> (loc. I) литовский loc. + <i>-en</i>	ADESSIVUS <i>-l + -na</i> (loc. I) loc. + <i>-pi</i>
	ILLATIVUS финский <i>-s + -n</i> (lat. II) литовский acc. + <i>n(a) &lt; -en</i>	ALLATIVUS <i>-l + -n</i> (lat. II) gen. + <i>-pi</i>

Параллелизм между обеими группами языков заключается в двояком отношении между четырьмя падежами: «внутри (*inessivus/adessivus*) — снаружи (*adessivus/allativus*)» и «место (*inessivus/adessivus*) — направление (*illativus/allativus*)». Во всех случаях показателями являются составные окончания, отчасти параллельные структурно, причем в прибалтийско-финском отношении «внутри-снаружи» имеет свой показатель в элементе *-s/-l-*, а в балтийском в послелого *-en/-pi*. Существует и материальная близость: в обеих группах языков внутренние падежи имеют послелоги с элементом *-n-*, что может быть, однако, делом случая. Структурное же подобие объясняется финно-угорским влиянием на восточнобалтийские языки (Серебрянников 1959:243–246; Sabaliauskas 1963:112–113; Stang 1966:228–232; Laanest 1975:53–59).

## 3. Тенденция к утрате грамматического рода

Финно-угорские языки не знают грамматического рода, и влиянием ливского языка объясняется утрата женского рода в латышских диалектах, сложившихся на его субстрате (Endzelin 1922:341–343; Rūdžite 1969:31), что привело к отмиранию в них грамматического рода, поскольку средний род (сохраненный частично в прусском) исчез в восточнобалтийском. Опять-таки возникает подозрение, что здесь также могло сказаться финно-угорское влияние, как это принимает Г. Турска (Turska 1947–1948/1984:12). Следует помнить, однако, что отсутствие среднего рода — явление хорошо известное на индоевропейской почве, например в романском, кельтском. Не подлежит при этом сомнению, что утрата *neutrum* в севернобелорусских говорах (откуда и в литературном языке) и виленьской польщизне является результатом литовского влияния.

## 4. Виды и способы действия

Глагол как отдельная категория сформировался в уральских языках сравнительно поздно на базе именных форм (*participia*, *ge-*

rundia). Время и число причастия стали показателями соответствующих форм 3-го лица, а 1-е и 2-е образовались путем добавления местоименных суффиксов. Согласно правилам агглютинации, если подлежащее стоит во множественном числе, то глагол в функции сказуемого может быть употреблен в единственном числе, например фин. *kaikenlaiset linnut laulaa* 'birds of all sorts are singing' (Collinder 1965:54), возможна и обратная комбинация.

Система времен и наклонений была бедной. Indicativus не имел в принципе своего показателя, imperativus — суффикс *-k-*, а conditionalis *-n(e)-*. Было два времени: praesens (без показателя) и praeteritum на *-i-* (*-j-*) и *-s-*, функцию же futurum, как в славянском, выполнял praesens. Большую часть глагольных функций выполняли виды и способы действия, такие, как causativus, durativus, factitivus, frequentativus, ingressivus, momentalis, resultativus, terminativus. Наиболее распространенной была оппозиция «momentalis/frequentativus» (Szinyei 1910:121–128), которую можно считать видовой категорией, сопоставимой с оппозицией «совершенный/несовершенный» в славянских языках. В прафинно-угорском способы действия могли выполнять определенные временные функции: cursivus = praesens и futurum; terminativus, momentalis = praeteritum (Collinder 1965:58–64; Майтинская 1974:359–378). В отдельных языках способы действия преобразовались во времена, наклонения, залого, но до сих пор остаются важнейшей категорией финно-угорского глагола.

Полной противоположностью была позднеиндоевропейская глагольная система, имеющая пять времен (praesens, futurum, imperfectum, perfectum, aorist), четыре наклонения (indicativus, imperativus, optativus, coniunctivus) и два залога (activum, mediopassivum).

Эволюция балто-славянского глагола отчетливо устремлена к финно-угорской модели: редукция времен и наклонений, а также развитие способов действия и видовой оппозиции «совершенный/несовершенный», которая начала формироваться в прабалтославянскую эпоху, распространена в восточнобалтийском (Safarewicz 1936; 1938; Stang 1966:399–405) и регулярна в славянском.

##### 5. Verbum substantivum

Финно-угорские языки не имеют глагола «иметь», заменяя его выражением 'у меня есть', отсюда, вероятно, подобная конструкция в балтийском и русском (Veenker 1967:117–119). Нет в них и связки, а глагол *\*wole-* 'быть, существовать' имеет свою отрицательную форму *\*e/a-* 'не есть, не существует', которая об-

разуется отрицательное спряжение нормальных глаголов. Только прибалтийско-финские языки используют его и в функции связки, возможно под влиянием индоевропейского соседства (Tauli 1955; Décsy 1965:199), причем в эстонском 3 л. ед. числа *on* 'есть' выполняет и функцию 3 л. мн. числа 'суть'.

На функциональное сходство с лит. *yrà* 'есть/суть', лтш. *ir* 'то же' первым обратил внимание Р. Готью (1908–1909). В литовском существует также соответствующая отрицательная форма *nèrà* 'не есть/не суть'; лтш. *nav(aid)* имеет другое строение (Endzelin 1922:556–557). Согласно Х. Стангу (1966:412–416), это старое наречие или междометие с первоначальным значением 'существует', что сохранилось в семантике негативной формы в старолитовском и что в свою очередь свидетельствует о южноприбалтийско-финском (праэстонском) влиянии. Балтийской же инновацией является предположительное обобщение 3 лица ед. числа на мн. число под влиянием глагола *yrà/ir* — будучи изначально наречием, он не имел множественного числа, являясь наиболее частотным глаголом. Как уже упоминалось, окончание 3 л. мн. числа в финно-угорском не является обязательным, а схожее с балтийским употребление формы единственного числа в функции множественного мы видим в рус. *есть*, блр. *ёсць*.

## Синтаксические конвергенции

### 1. Структура предиката

В прауральском, а до настоящего времени в самодийском, обско-угорском и волжском, окончания лица, времени и способа действия присоединяются к предикату, в том числе к именному, т. е. выраженному существительным и прилагательным (Мещанинов 1949:38–49, 65). Это находит параллель в русском (Veenker 1967:109–117) и отдаленную аналогию в польском, ср. 1 sg. *dobry-m*, 2 sg. *dobry-ś*, 1 pl. *dobrzy-śmy*, 2 pl. *dobrzy-ście*.

В прибалтийско-финских языках функцию предиката может наряду с номинативом выполнить эссив, который отвечает на вопрос 'в качестве кого, как кто?', например фин. *opettajana* 'как учитель'. Обращалось внимание на подобное употребление инструменталиса в функции предиката в севернославянских языках (Vondrák, Grünenthal 1928:198–208). Наиболее распространен он в польском и русском, а также в литовском, который ближе к русскому в этом отношении. Э. Френкель (1928:198–208) интерпретирует это употребление как результат независимого развития, тогда как И. М. Эндзелин (1911:190–191) генезис предикатного инстру-

менталиса относит к прабалто-славянской эпохе. Если принять влияние финно-угорского эссива, то исходным в балто-славянском мог быть «instrumentalis identitatis» ('как тот-то'), богато представленный в старых памятниках.

## 2. Дебитивная конструкция

В латышском языке существует особое наклонение, выражающее долженствование, которое образуется путем агглютинации — соединением 3 л. praes. (инфинитива в случае глагола *būt* 'быть') с формой старого относительного местоимения *jā-* в качестве префикса, причем логический субъект стоит в дативе, а дополнение обычно в номинативе, например: *mān ja-būt* 'я должен быть', *šī zemīte* (ном.) *mān jā-min* 'эта земля мне для хождения' (Endzelin 1922:684–685, 752–753). В ливском языке дебитив является нормальным наклонением, со всеми временами, лицами и отрицательной формой (Vääri 1966:147), а в других прибалтийско-финских языках он образуется аналитически как соединение императива (1 или 2 л.) или инфинитива + неопределенное дополнение, выраженное в финно-угорских языках номинативом. Подобная дебитивная конструкция выступает в литовских, главным образом, архаичных восточных диалектах, в соседних белорусских, а также в северных русских говорах и в древнерусских памятниках, причем, чем ближе к финно-угорскому ареалу, тем подобие больше. Это сходство открыли независимо друг от друга П. Арумаа и В. Кипарский (1960; 1969), однако последний видит здесь индоевропейское наследие, законсервированное под влиянием финно-угорского соседства. География же явления и сходство конструкции свидетельствуют о влиянии. Итак, латышскому *jā-kurina krāsns* 'надо печь топить' соответствует лит. *reikia krosnis kurinti*, рус. *надо печка топить*, а эти формы финскому *pitää lämittää uuni* (ср.: Ларин 1963; Veenker 1967:120–126 и новейшие публикации: Birnbaum 1975–1983/1987:218–219, 302).

## 3. Употребление причастий

Как упоминалось выше, в большинстве финно-угорских языков нет формальной разницы между причастием и формой 3 л. Этим можно объяснить частое употребление причастий в функции личных форм глагола в северо-западных русских говорах, с участием сочинительного союза (Русская диалектология 1965:188–194). В белорусском, восточнобалтийском и в меньшей мере в других славянских языках причастие также может выступать в функции ver-

bum finitum, но это не обязательно финно-угорское влияние (Bednarczuk 1971:77–82). Финно-угорские языки, за исключением прибалтийско-финской ветви, не пользуются союзным гипотаксисом, а его роль выполняют неизменяемые формы причастий и другие *nomina verbalia* (Collinder 1965:64; Майтинская 1974:389). Подобное использование причастия хорошо известно в балто-славянских языках, но и в других индоевропейских языках тоже — это скорее всего параллель финно-угорскому.

Финно-угорским субстратом можно объяснить генезис восточнобалтийского *modus relativus*. В литовском его выражает *participium praesentis* без связки, например: *girdėjau tėvas ateisias* 'слышал, что отец придет'. В латышском это может быть также *participium praeteriti activi*: *kādam tēvam bijuši trīs dēli* 'patri cuidam dicuntur tres filii fuisse' (Endzelin 1922:757–763). На точное соответствие этой конструкции в ливском и эстонском обратил внимание В. Пизани (1959:215–217), цитируя указание А. Соважо (Sauvageot 1954:208–209), что для выражения неуверенности там выступает *participium praesentis*, например эст. *isa tulevat koju* 'le père serait rentré (à la maison)'. В обоих прибалтийско-финских языках это нормальное аналитическое спряжение (Laanest 1975:84).

## Место и время контактов

Рассмотренные конвергенции можно трактовать с типологической точки зрения — как чисто структурные сходства, а также в ареальном плане — как результат взаимного влияния. Если допустим вторую возможность, то встает вопрос о времени, месте и характере контактов, а также о взаимодействии в области лексики и топонимии, поскольку без него трудно говорить о грамматическом влиянии.

Балтийские заимствования в финно-угорских языках давно являются предметом изучения. В языках прибалтийско-финской ветви обнаружено их более 200 (из них около 1/5 также и в самском), в волжском же и пермском всего лишь по несколько слов (Thomsen 1890; Kalima 1934; Sabaliauskas 1963; Zinkevičius 1984:166–179). Славянские заимствования в прибалтийско-финском (Kalima 1955) более поздние, но даже В. Кипарский относит их начало к VI в. (1962:120). С другой стороны, открыто около 30 слов финно-угорского происхождения в балтийских языках, и некоторые из них балто-славянского или балтийско-севернославянского уровня (Bednarczuk 1976). Менее надежны финно-угор-

ские заимствования праславянской эпохи (Rozwadowski 1913; Lehr-Spławiński 1946:48; Shevelov 1964:623).

Это позволяет предполагать, что самые древние контакты с финно-угорскими языками могут восходить к прабалто-славянской эпохе; по окончании ее балтийские языки вошли в интенсивный контакт с прибалтийско-финской группой, южная ветвь которой (ливский, эстонский, водский) остается в прочном союзе с латышским языком до сих пор. Если праславяно-финно-угорские контакты нельзя считать несомненными, то связи северно-славянских диалектов с прибалтийско-финским и (?) волжской группой в высшей степени вероятны, а на русской почве продолжают по сей день.

Возможное место контактов очерчивает финно-угорская гидронимия Юго-Восточного Поозерья Балтики, заходящая далеко за пределы территории, занимаемой ныне прибалтийско-финскими языками, — в Латвию, Литву, Белоруссию и Мазуры (Rozwadowski 1948; Rūdzite 1968; Breidaks 1973; Arumaa 1977; Vanagas 1981); она достигает Нижней Вислы, причем чем дальше к западу, тем она становится все более редкой. На все это пространство наслонилась балтийская гидронимия с юго-востока, вероятно, с Верхнего Поднепровья (Топоров, Трубочев 1962). В свою очередь на балтийское население с той же стороны (очевидно под воздействием миграции степных народов) наслонились славяне, принимая финские гидронимы в балтийской форме, например: *Newel* — *Nevelis* — *Neva*; *Miadziol* — \**Mendelas* — *Mendes*, ср. фин. *neva* 'болото', эст. *mänd* 'сосна' (Bednarczuk 1984:34–36).

Заслуживает внимания тот факт, что распространенные ныне между Валдаем и Нижней Вислой различные этнолекты: финно-угорские (водский, эстонский, ливский), балтийские (литовский, латышский, до XVII в. «языческие говоры Нарева») и славянские (севернорусские, белорусские, польские говоры восточных Мазур, северо-восточные Мазовша, Подлясья) — обнаруживают структурные схождения между собой: 1) симметрию вокализма, 2) дифтонги, 3) интенсивную палатализацию, 4) фонотактическую конfluэнтность, 5) тенденцию к утрате грамматического рода, 6) неизменную связку, 7) дебитивную конструкцию, 8) распространение причастий. Эти схождения являются результатом взаимных контактов всех трех языковых групп, а общность эту можно назвать лигой Юго-Восточных Поозерий Балтики.

Затронутые в этой статье вопросы далеко не исчерпывают всей проблематики балто-славяно-финно-угорских языковых конвергенций. Для дальнейшей дискуссии может оказаться полезной

конфронтация хронологии развития рассматриваемых языков и диалектов (Décsy 1965; Zinkevičius 1984; Birnbaum 1975–1983/87), которую можно представить в следующей таблице.

### Конфронтация развития финно-угорских, балтийских и славянских языков

прауральский		до н. э.	4000	праиндоевропейский			
прафинно-угорский		2500					
							прафинно-пермский
прафинно-волжский		1500	прабалтийский		праславянский		
							прафинно-саамский
праприбалтийско-финский		н. э.	восточнобалтийские		севернославянские		
							северная группа: финский, вепсский, ижорский
южная группа: ливский, эстонский, водский		1000	ляшский		восточнославянские		

### ЛИТЕРАТУРА

- Arumaa 1977 — P. Arumaa. Zu baltisch-slavischen und finnisch-ugrischen Gewässernamen mit *ks* // *Annales Societatis Litterarum Estonicae in Suecia*, 1977, VII (1974–1976), p. 89–112.
- Bednarczuk 1971 — L. Bednarczuk. Indo-European parataxis. Kraków, 1971.
- Bednarczuk 1976 — L. Bednarczuk. Zapożyczenia ugrofińskie w językach bałtoślōwiańskich // *Acta Baltico-Slavica*, 1976, IX, p. 39–63.

- Bednarczuk 1984 — L. Bednarczuk. Wokół etnogenezy Białorusinów // Acta Baltico-Slavica, 1984, XVI, p. 33–48.
- Birnbaum 1975–1983/1987 — H. Birnbaum. Common Slavic: Progress and problems in its reconstruction. Columbus, Ohio, 1975–1983; X. Бирибаум. Православянский язык: Достижения и проблемы в его реконструкции. М., 1987.
- Breidaks 1973 — A. Breidaks. Прибалтийско-финские названия рек в Латгалии // Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. Rīga, 1973, III (307), l. 97–102.
- Collinder 1965 — B. Collinder. An introduction to the Uralic languages. Berkeley; Los Angeles, 1965.
- Décsey 1965 — G. Décsey. Einführung in die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Wiesbaden, 1965.
- Dejna 1973 — K. Dejna. Dialekty polskie. Wrocław, 1973.
- Endzelin 1911 — И. М. Эндзелин. Славяно-балтийские этюды. Харьков, 1911.
- Endzelin 1922 — J. Endzelin. Lettische Grammatik. Rīga, 1922.
- Журавлев 1968 — В. К. Журавлев. К проблеме балто-славянских языковых отношений // Baltistica IX/2, 1968, p. 167–177.
- Fraenkel 1928 — E. Fraenkel. Syntax der litauischen Kasus. Kaunas, 1928.
- Gauthiot 1908–1909 — R. Gauthiot. La phrase nominale en finno-ougrien // MSL XV, 1908–1909, p. 201–227.
- Joki 1973 — A. J. Joki. Uralier und Indogermanen. Helsinki, 1973.
- Kalima 1934 — J. Kalima. Itämerensuomalaisten kielten balttilaiset lainasanat. Helsinki, 1934.
- Kalima 1955 — J. Kalima. Die slavischen Lehnwörter im Ostseefinnischen. Berlin, 1955.
- Kiparsky 1960 — V. Kiparsky. Über das Nominativobjekt des Infinitivs // ZfslPh XXVIII, 1960, S. 333–342.
- Kiparsky 1962 — V. Kiparsky. Wie haben die Ostseefinnen die Slaven kennengelernt? // Commentationes Fenno-Ugricae in hon. P. Ravila. Helsinki, 1962, p. 223–230.
- Kiparsky 1968 — V. Kiparsky. Slavische und baltische b/p-Fälle // Scando-Slavica XIV, 1968, p. 73–97.
- Kiparsky 1969 — V. Kiparsky. Das Nominativobjekt des Infinitivs im Slavischen, Baltischen und Ostseefinnischen // Baltistica V/2, 1969, p. 141–148.
- Kuryłowicz 1957 — J. Kuryłowicz. O jedności językowej bałtosłowiańskiej // Biuletyn PTJ XVI, 1957, s. 71–113.
- Laanest 1975 — A. Laanest. Прибалтийско-финские языки // Основы финно-угорского языкознания. М., 1975, с. 5–122.
- Ларин 1963 — Б. А. Ларин. Об одной славяно-балто-финской изоглоссе // Lietuvių kalbotyros klausimai VI, 1963, p. 87–107.
- Lehr-Splawiński 1946 — T. Lehr-Splawiński. O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian. Poznań, 1946.

- Лекомцева 1980 — М. И. Лекомцева. Проблема балтийского субстрата аканья // Балто-славянские этноязыковые контакты. М., 1980, с. 157–168.
- Лыткин 1974 — В. И. Лыткин. Сравнительная фонетика финно-угорских языков // Основы финно-угорского языкознания. М., 1974, с. 108–213.
- Майтинская 1974 — К. Е. Майтинская. Сравнительная морфология финно-угорских языков // Основы финно-угорского языкознания. М., 1974, с. 214–382.
- Meillet 1934 — A. Meillet. Le slave commun. Paris, 1934 (2-ème éd.).
- Мещанинов 1949 — И. И. Мещанинов. Глагол. М.; Л., 1949.
- Pisani 1959 — V. Pisani. Zu einer baltisch-estfennischen Participialkonstruktion // Rakstu krājums veltījums akad. Jānim Endzelinam. Rīga, 1959, l. 215–217.
- Rédei 1974 — К. Редеи. Об отдельных ветвях финно-угорских языков // Основы финно-угорского языкознания. М., 1974, с. 50–52.
- Rozwadowski 1913 — J. Rozwadowski. Kilka uwag do przedhistorycznych stosunków Wschodniej Europy i praojczyzny indoeuropejskiej na podstawie nazw wód // Rocznik slawistyczny VI, 1913, s. 39–58.
- Rozwadowski 1948 — J. Rozwadowski. Studia nad nazwami wód słowiańskich. Kraków, 1948.
- Rūdžite 1968 — M. Rūdžite. Somugriskie hidronimi Latvijas PSR teritorijā // Latviešu leksikas attīstība. Rīga, 1968, l. 175–197.
- Rūdžite 1969 — М. Рудзите. Латышская диалектология. Рига, 1969. Русская диалектология. М., 1965.
- Sabaliauskas 1963 — A. Sabaliauskas. Baltų ir Pabaltijo suomių kalbų santykiai // Lietuvių kalbotyros klausimai VI, 1963, p. 109–136.
- Safarewicz 1936 — J. Safarewicz. L'aspect verbal en vieux-lituanien // Actes du IVe Congrès international de linguistes. Copenhague (1938), p. 210–213.
- Safarewicz 1938 — J. Safarewicz. Stan badań nad aspektem czasownikowym w języku litewskim // Balticoslavica III. Wilno, 1938, p. 1–27.
- Sauvageot 1954 — A. Sauvageot. (Rec.) O. Ikola. Viron ja liviin modus obliquuksen historia. Helsinki. 1953 // BSL L/2, 1954, p. 208–209.
- Sawicka 1988 — I. Sawicka. Fonologia konfrontatywna polsko-serbskochochowacka. Wrocław, 1988.
- Серебренников 1959 — Б. А. Серебренников. О некоторых возможных причинах происхождения иллативного значения у латышского локатива // Rakstu krājums veltījums akad. Jānim Endzelinam. Rīga, 1959, l. 243–246.
- Shevelov 1964 — G. Y. Shevelov. A prehistory of Slavic. Heidelberg, 1964.
- Stang 1966 — Ch. Stang. Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen. Oslo, 1966.
- Steinitz 1944 — W. Steinitz. Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus. Stockholm, 1944.
- Szinnyei 1910 — J. Szinnyei. Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Leipzig, 1910.



- Tauli 1955 — V. T a u l i. On foreign contacts of the Uralic languages // Ural-Altaische Jahrbücher XXVII/1-2, 1955, S. 7-31.
- Thomsen 1890 — V. T h o m s e n. Beröringer mellem de finske og de baltiske (litauisk-lettiske) Sprog. København, 1890.
- Топоров, Трубачев 1962 — В. Н. Т о п о р о в, О. Н. Т р у б а ч е в. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.
- Turska 1939/1982 — H. T u r s k a. O powstaniu polskich obszarów językowych na Wileńszczyźnie // Studia nad polszczyzną kresową, 1939, I, s. 19-121.
- Turska 1947-1948/1984 — H. T u r s k a. O braku rodzaju nijakiego w językach wschodniobałtyckich. Wybór pism. Toruń, 1984, s. 12.
- Uotila 1986 — E. U o t i l a. Baltic impetus on the Baltic-Finnic diphthongs // FUF XLVII, 1986, p. 206-222.
- Vanagas 1981 — A. V a n a g a s. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius, 1981.
- Vääri 1966 — Э. В я а р и. Ливский язык // Языки народов СССР: Финно-угорские и самодийские языки. М., 1966, с. 138-154.
- Veenker 1967 — W. V e e n k e r. Die Frage des finnougriischen Substrats in der russischen Sprache. Bloomington — The Hague, 1967.
- Vondrák, Grünenthal 1928 — W. V o n d r á k, O. G r ü n e n t h a l. Vergleichende slavische Grammatik<sup>2</sup>. II. Göttingen, 1928.
- Zinkevičius 1983 — З. З и н к я в и ч ю с. Польско-явтяжский словарь? // Балто-славянские исследования 1983. М., 1984, с. 3-29.
- Zinkevičius 1984 — Z. Z i n k e v i č i u s. Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius, 1984.

## Р. АНТТИЛА

НЕДОСТАЮЩИЕ ЗВЕНЬЯ В ЛЕКСИЧЕСКИХ ЦЕПОЧКАХ:  
ПереГОНка балто-славянских слов в прибалтийско-финский  
и их сКОЛки

Как известно, и.-е. корень \**g<sup>w</sup>hen-* 'бить, ударять' приобрел в балто-славянском значении 'гнать, гонять', отчасти разделяя его с рефлексами \**weġh-* 'двигаться'. Исходный корень 'гнать, гонять', \**ag-*, столь широко представленный в других и.-е. языках, был, по-видимому, полностью утрачен, но его семантический спектр приблизительно покрывается глаголами *ginti/giñti* и *gnать* (здесь и далее литовские, русские и финские формы выступают как представители соответственно балтийского, славянского и прибалтийско-финского). В балтийском аблаутные ступени *gin-/gen-/gan-* были дополнены вариантами *gyn-/gun-/gui-(n-)/gein-/gain-*, что дает нам обширный материал для изучения возможностей установить этимологическую связь с лексическим пучком фин. *kina/keno* и т. д. Используемый мною подход в известной мере напоминает «глобальный метод», недавно примененный Дж. Гринбергом в массовом сравнении языков, метод, не чуждый и ностратике. Я полагаю, что наличие обширных сетей слов, сходных одновременно по значению и по форме, создает предпосылки для выдвижения достаточно серьезных и требующих дальнейшей проверки гипотез. Можно ожидать, что по крайней мере половина выдвигаемых здесь версий такую проверку выдержит, хотя использование обширных пучков материала противоречит ныне действующей в лингвистических работах норме анализа индивидуальных соответствий. Кроме того, я задаюсь вопросом о возможных рефлексах и.-е. аблаута в прибалтийско-финской лексике. Как правило, финские исследователи исключали объяснение чередований иноязычным влиянием — например, исследование Л. Пости о германском влиянии на чередование ступеней согласных (Posti 1953) было встречено с большими сомнениями. Но сегодня, когда наблюдается новый расцвет исследований по заимствованиям в финском языке, отношение к таким объяснениям изменилось (см. Uotila 1986).

Рассматриваемые данные представлены в таблице (основанной на материалах SUSA — Архива словаря финских диалектов, Хельсинки):

Таблица 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	kena	keno	kina	kino	kinu	kinos	kines	kine	kanas	kuona	kuono
A. reon/vaenan keula/vaivas	□	▨	□	▨	▨	□	□			MOPIA	?
B. vino/viisto	□	▨	□	□						?	?
C. kiila		! TAM- UMEN	□	□	▨					?	?
D. niesto/ajos			□	□		□	□				
E. seitti			□	□	□	□	▨	▨		□	□
F. lima/kuola/ erite			□	▨	□	▨			?	▨	
G. korkea/var- teva/suora	□	▨									
H. kuljettaa/ laahata	□		□		□						
I. tinkiä/ kanjätä					□						
J. riita/viha			▨	□					?	kinu	
K. hakaa/ etsiä											□

A – передок саней/нос, штевень лодки; B – наклонный/косой; C – клин; D – сугроб/занос; E – паутина; F – слюва/пена у рта/, секреция; G – высокий/стройный; H – везти/тащить; I – попрошайничать; J – ссора/спор/злоба; K – искать

Рукопись 2-го изд. Этимологического словаря финского языка (по состоянию на август 1989 г.) упоминает *kina* ЗЕF (также в значении 'тонкий лед') и ставит под сомнение связь с *kina* ЗJ, для которого указывается возможное балтийское происхождение (Kallima 1936, s. 117–118). Известны мнения о том, что вся семантическая гамма для *kina* объясняется собственно финской омофонией (Sola 1970, s. 3) и что слово *kinos* 6D является исконным (Pohjala 1969, s. 60). О. Никкиля (Nikkilä 1983, s. 117–122) предполагает для 2ABG и 4–5A германский источник, а именно, *\*kenw-/\*keni-* 'щека' (это объяснение помечено штриховкой вправо вверх, а объяснение Я. Калимы — штриховкой вправо вниз). Это пригодно для семантического контекста 'нос/штевень лодки', но оставляет в стороне остальной материал, например, из колонок 9–11. Рассмотрим теперь данные подробнее, начиная со строки D:

D. О связи со значением 'гнать' свидетельствуют и англ. *snow-drift* 'сугроб, занос' при *drive*, и финская глосса *ajos* (наряду с *ajotus*, см. Pohjala 1969, s. 57): фин. *aja-* 'гнать, гонять' является

ним заимствованием из и.-е. *\*ag-* и удостоверяет этимологию типологически. Соответствие *kin- : gin-* безупречно.

E. 'Паутина' — всего лишь один из видов секреции (ср. F), что обуславливает связь естественным образом. Графа 10E дает форму *kuona*, которая соответствует *góna* 'стадо' и (также по значению) *gónyti* 'загрязнять, пачкать'. (Клетки с зубцовкой показывают наличие значений, например, 7E 'слабый' и 8E 'запутанная нить, тонкая лента; чутók' [наряду с 'паутина'].)

F. Именно этот круг значений подтолкнул меня к поиску глубинной связи с семантикой 'гнать'. Возведение англ. *ache/ake* 'болеть' к и.-е. *\*ag-* (Anttila 1986) находит существенную поддержку в немецких диалектах, где представлены в значениях 'нагнаиваться, гноиться, вызывать боль' *acken/äken/äcken/ ekken/eken/aeken* (и соответствующие имена *Ake/Ak/Aak/Äk/ Ääk/Eek/Eck*). То же существительное кроется и в фин. *äkämä* 'гноиник, фурункул', но, что еще более важно, обильные параллели дает *aja-* 'гнать' (с 14 дополнительными производными в значениях типа 'опухоль' и 10 словами с 'потогонными' и подобными значениями; SMSK, I). Семантическую связь подтверждают и другие финские (*viedä*) и шведские (*köra*) лексические единицы со значением 'гнать'.

Греч. гомер. *ázēi*, обычно переводимое как 'пыльный', может с равным успехом трактоваться как 'заплесневелый'. Отличия в строке F практически нет, так как *kuona* обозначает металлическую пыль, оседающую на наковальне (ср. 4F *tomukino* при *tomu* 'пыль'). Новогреч. *áza* 'духота, жара; зола, горечь' (ср. фин. *äkä*); угольная пыль, мякина' хорошо соответствует F; имеются и другие (не вполне ясные) формы, например, *azagiá* 'сажа, зола, пыль; паутина' или даже 'паук' (ср. E). Я реконструирую для этих форм *\*ag-yā-*, бесспорно родственное догерм. *\*ag-yo-* и т. д. Отметим также *kinata* 'болеть, беспокоить' (Sola 1970, s. 54).

*Kanas* 'плесень на пиве' (и многие другие формы с *kan-*) сопоставимы с лит. *gan-* (со значениями выпаса скота), тогда как *gónyti* сравнимо с *kuona* и *kuonailla* 'привередничать, отказываться есть' и по форме, и по значению. Связь с секрецией и с отгоном очевидна в русск. *гной* и в дистилляционной терминологии (*гнать, выгонка, перегонка, самогон*); ср. также *гоноболь* 'голубика' (от 'гонит боль'?).

G. Самым непосредственным указанием на связь этой строки с семантикой 'гнать' служит русск. *гонкий* (с огласовкой, исключаяющей прямое сравнение с финским) со значениями 'голенастый, прямой, высокий'. Это создает оптимальные предпосылки для привлечения эст. *kena* 'приятный, милый, красивый'.

Н. Специальных пояснений не требуется. Значения отвечают ситуации волочения, буксировки.

И. Наиболее удачная параллель — греч. *agúrtēs* 'нищий' (образованное от \**ag-* 'гнать' → 'собирать'). Близкие значения у русск. диал. *гоно́бить* и *гоно́шить* 'собирать, копить'.

Ж. Мы достигли той клетки, для которой был предложен балтийский источник — *gīlčas* 'спор, пререкания, спорщик' (и *gīlčyti* 'оспаривать'). В финском никаких следов *-t-* нет, поэтому будет правильнее привлечь *ginti/ginù/gýniau* 'защищать, оборонять, отстаивать, запрещать' (~ *giñti* 'гнать'). Наиболее близкой к *kina* засвидетельствованной формой является *gýna* 'защищающийся'. Значения типа 'упрекать' представлены и в славянском: русск. *нагоня́й*, *погонка*, др.-чешск. *hana*, *hanba*; ср. также *гнать* 'преследовать' (и фин. *äkä* 'злость, злоба, гнев').

Сюда же относится и круг значений, связанных с охотой, облавой, резней, например: *gónioti*, *gònyti*, *gunióti*, *gáinioti*; *гончая*, *погна́ть*, *загонщик*. В русском языке представлена и семантика соревнования: *гонки* (= фин. *ajot*), *бегать наперегонки*, *бежа́ть с кем в гон*; ср. фин. *kinanjuoksu* 'состязание в беге' и *kinat pääl* 'наперегонки' (Sola 1970, 42).

Вероятно, экспрессивной модификацией является *känä* 'неладь, перебранка'; ср. также *istua könöttää* 2G 'сидеть прямо в застывшей позе'.

К. Основа глагола *kuonata* там же, что в строке Е, а значение 'чуять, вынюхивать' явно квалифицирует его как охотничий термин (гон, преследование); недалеко отстоит и *kuonaella* 'с любопытством наблюдать за...' (ср. *äkä* в значении 'пыл, рвение'). Как уже отмечалось, по форме *kuona-* соответствует лит. *gon-* в *gònyti*, *gónioti* 'гонять, преследовать, охотиться', сближаясь с этими словами по значению в *kuonuttaa (-nn-)* 'размягчить, утомить, обессилить' (с толкованием *ajaa* [!] *uvvuksiin* 'загнать [!] до изнеможения'), перен. 'потихоньку будить, тормошить = *herätellä* (= *ajaa!*)'. Сходный оттенок значения находим в *kinua* (6) *kuitiks* 'изнемоочь (об овце, кормящей ягнят)'. Здесь же следует учесть *kuontua* 'проснуться, очнуться' и т. д.; 'встать с постели; напрячь, сосредоточить', и эст. *koondada* 'сосредоточить, сформировать', поскольку от значения собственно 'гнать' мы приходим к семантике, заключенной в формах типа *подогна́ть*, *пригна́ть* (по фигуре). В финской Библии глагол *kuonnuttaa* использовался до недавнего времени в значении 'ковать, выковывать' (сейчас он заменен на *takoa*). Сюда относится и ливск. *kùondê* 'сказать, объявить': ср. эст. *vene keelt ajata* 'говорить по-русски, букв. гонять русский язык' (фразеоло-

гизм, известный с *aja-* и в финских диалектах). Ливская форма объяснима синкопой гласного перед глагольным словообразовательным суффиксом *-ta-*: \**koona-ta-* (ср. Koivulehto 1989, 6–7).

При обсуждении настоящего доклада на конференции Тоомас Хельп указал на южно-эст. *kinele-* 'говорить', которое может содержать основу \**kena-* (I). Связь 'гонять': 'говорить' является чисто эстонской чертой, но аналогии имеются и среди рефлексов и.-е. \**ag-* (греч. *é* 'он сказал' и лат. *āio*; лтш. *jokus dzīt*, см. ниже). Возникает вопрос о том, не относится ли сюда же и эст. *kõne* 'речь', хотя связь с фин. *kone* (см. ниже) говорит против такой версии.

Основа *gona-* с широким диапазоном значений, хорошо соответствующих фин. *kuona-*, содержится не только в глаголах *gònyti* 'пачкать, загрязнять', *gònyti* 'упрекать, винить' (согласно Э. Френкелю, из польск. *ganić*) и *gònyti* 'защищать, оборонять; бороться, сражаться', но и в именах *naktigonè* 'ночное, ночной дозор' и *naktigonis/-inkas* 'ночной пастух', довольно точно коррелирующих с *kuonaella*. Существенно, что глаголы на *-yti* имеют презенс на *-a-*, например, *gona-*, что согласуется с частым в финском языке *a-*ауслутом. Окончание 3-го лица *-a* выступает и у других структурных типов глаголов, например, *dirba* 'он/они работает/-ют'. Возможно, этим по крайней мере отчасти объясняется частый *a-*ауслут в финских соответствиях, например, *kenata* (при *gèna*) и *kinata* (при *gìna*) в противопоставлении *kinuta* (с опорой на 1-е лицо *ginù*), хотя последнее довольно гипотетично.

Вернемся к 10–11А–С. Значение чего-то клиновидного у *kuona/kuono* 'морда, рыло' (эст. *koon*) достаточно близко семантике трех первых строк, но фонетический облик обособляет эти колонки от остальных. Предположение о германском источнике (О. Никкиля) здесь не срабатывает, тогда как балтийская версия объясняет и формальную сторону вопроса. Я объединяю колонки, трактуя 'морду, рыло' как \*'направление гонки'. Это удачно согласуется с 2BG, например, *kenokaula* 'изогнутая шея' отражает положение шеи у бегущей лошади. Далее, при таком положении — когда подбородок и шея выпрямляются в одну линию — голова окazyвается откинутой назад (*takakeno*). Из значения 'гнать' естественным образом вытекает даже значение *kuona* 'понимание', ср. *ajaa* 'понимать' и существительное *aju*. Для колонок 1–7 исходной для семантической экспансии оказывается идея направления, в котором загоняется клин; ср. *ajakka* 'клин'. Будучи вначале обозначениями лемеха в плуге, слова из этих колонок начинают далее использоваться применительно к саням (передок), лодке

(нос, штевень) и даже ободу колеса в телеге (*kinurauta* 5А 'железный обод колеса'). Семантическими параллелями могут служить *ajorurje* 'летучий кливер' (*purje* 'парус') и *ajorumi* 'бушприт' (*puomi* 'рея'). (*Keno* 2С 'небольшая лососевая рыба, таймень' в словаре Ганандера: отражает ли это название клинообразность формы или означает нечто вроде *ajokala* 'гонкая, быстроходная рыба'?)

Дает ли изложенная схема какие-либо импликации для собственно балтийского материала? Да, из нее явствует, что *giñtagas* 'янтарь' является исконным литовским словом, а не заимствованием (Трубачев 1980). Оно означает смолистые натеки (ср. F), как в фин. *pihkan ajo* 'отгонка смолы', *mänty aja sit pihkaa* 'сосна ведь выделяет (букв. гонит) смолу'. Далее, *gēbenē* 'прыщ, угорь' получает более удачную этимологию: это слово может трактоваться как метатеза из *\*genebē* (к форме ср. русск. *гоньба́*, чеш. *haňba*, лит. *ganýba*), а другое значение *gēbenē*, 'плющ', хорошо объясняется из '\*рост' (ср. этот смысл у нем. *treiben*, фин. *ajaa*). Возникает и предположение о том, что *gonjys* 'тритон' исходно связано с клеткой 10F. Фактически Э. Френкель констатирует эту связь, но дальнейшего сопоставления с *giñti* не делает.

Установленные выше связи позволяют заняться дополнительным поиском следов исчезнувшего *\*ag-* в балто-славянском. Нет ли каких-либо иных образований типа фин. *aisa* 'оглобля', балтийский источник которого в самих балтийских языках не сохранился? Фин. *oja, ojas* 'грядиль (плуга)' напоминает некоторые славянские формы (чеш. *oje*), но соотношение вокализма аномально. Поэтому финское слово может быть более ранним заимствованием из и.-е. *\*ou-os*, далее расширенного до *\*oi-s-ā*, балтийский рефлекс которого в конечном счете отражен в фин. *aisa*. Но есть и другое фин. *oja* — 'ручей, канава', слово, не получившее пока этимологического объяснения. Лучше всего возводить его к и.-е. *\*og-ā*. Довольно точными параллелями являются лат. *agmen* 'русло реки' и греч. эпиграфич. *húdatos agōgai* 'акведуки'. Таким образом, 'ручей' — это канал, по которому течет (отгоняется) вода (шире — любая жидкость). Фонетический переход *\*g > j* вполне регулярен, как показал Й. Койвулехто.

Ожидаемым балтийским рефлексом *\*ag-* было бы *\*až-*, и я уже давно подозреваю, что этот рефлекс может крыться за фин. *aho* 'поляна, просека' (обычно бывший пожар). Его предполагаемый источник — не сохранившееся балт. *\*ažā*, отраженное, возможно, и в *ahava* 'холодный весенний ветер'. И в данном случае О. Никкиля (Nikkilä 1988, 135–140) опередил меня предположе-

нием о германском источнике — 'зола', как в англ. *ashes*, или герм. *\*asjōn* 'горн' (от и.-е. *\*as-* 'гореть, пылать'); оба эти слова имеют бесспорные отражения в фин. *ahku* 'комочек золы, пепла' и *ahjo* 'горн'. Более ранним (и.-е. уровня) заимствованием из того же источника является *kaske-* 'пожог' (см. статью Й. Койвулехто в настоящем сборнике, № 6), основной термин подсечного дела — расчистки леса под пашню выжиганием — в финском языке. Что касается семантики, то мое объяснение слова *aho* концентрируется на идее расчистки, а объяснение Никкиля — на идее выжигания. Приемлемы оба. Моей версии недостает реально засвидетельствованной формы-источника в балтийском, версия Никкиля встречает некоторые формальные затруднения (в связи со ступенями чередования согласных), хотя оперирует с реальными источниками. Представляется, что оба объяснения заслуживают серьезного внимания.

Непосредственно *až-* как рефлекс *\*ag-* в литовском можно усматривать в прилагательном *āžnas* 'собственный, своеобразный; настоящий, подлинный, действительный'. Оно имеет каноническую и.-е. форму, как и его синонимы-гlossы: *tikras, ýnas, gūdnas* или даже *grýnas*. Суффиксы *\*-ro-/\*-no* — тематизации гетероклитических вариантов *\*-r/\*-n-*. В связи с *\*ag-* выше уже отмечалось *\*ag-r* (I), а назальный вариант *\*ag-n-* представлен в греч. *agōn* 'гонки' и *aga-* 'очень'. Основа *\*ag-n-* обозначает не только 'погоню', но и социальную группу участников погони («героических» кочевников), «племя» и т. п. Мне уже приходилось развивать в различных контекстах идею о том, что греч. *agathós* 'хороший' должно анализироваться как *\*ag-n-dhE-o-s* 'поддерживающий *aga*, социальную ячейку' (надеюсь подробно осветить эту идею в специальной работе). Подобный анализ дает для *āžnas* чрезвычайно архаичную исходную форму, *\*ag-n-o-s*, с вероятным значением типа 'принадлежащий к своей группе' (параллельно с *\*swe-dhE-os >* греч. *éthos* 'обычай' → *éthnos* 'отряд, племя'; ср. также лат. *genūinas* 'настоящий, подлинный'). Рождение в определенном социуме определяет подлинность, ценность, права и т. д. индивида. Нет ничего невозможного в том, что иногда очень древние термины сохраняются на протяжении многих тысячелетий; быть может, перед нами один из таких счастливых случаев.

Как это ни поразительно, но к таблице для пучка *kena* и под. можно, по-видимому, добавить еще три колонки — соответственно для слов *kona, kone* и *koni*. Самый очевидный случай — *kona* со значением строки F. У деривата же *kone* доминируют значения 'инструмент, орудие (и материал для его изготовления), приспособ-

собление, затея, крюк, изгиб, любопытный; хороший, приятный, милый (ср. эст. *kema*); средство, обычай, навык, магия'. *Kopериии*, *kopekoivu* — это 'береза, очищенная и разрубленная летом для зимних нужд' (ср. ниже *kaluriu* то же), что напоминает о лит. *genėti* 'обрубать сучья'. В основном та же семантика и у *kopi* 'своеобразный, забавный; навык, умение, магия, профессия'. Сюда же добавляются и *kopava*, *kopeva* 'забавный, любопытный, мудреный'. Отыменные глаголы нередко сохраняют окаменелые контекстуальные значения, и в данном случае представлена большая группа таких глаголов (*konata*, *konaida*, *konaila*, *koneilla*, *konella*, *konahtaa*, *konahdella*, *konehdella*, *konehtia*, *konuttaa*, *konastella*). Их значения группируются вокруг семантики 'дразнить, упрекать, ссориться, спорить, препираться, шутить, насмехаться, лукавить, хитрить, колдовать'; в литературном финском языке ни один из этих глаголов не употреблен. Достаточно ли есть оснований — с учетом общей для латышского и эстонского языков семантики «гонения слов» (лтш. *jokus dzīt* 'шутить', эст. *nalja ajama* 'зубоскалить, букв. шутку гонять'), — чтобы признать лексическое поле *giñti/ginti* основой для всех этих форм? Полагаю, что такое предположение привлекательно в силу следующих соображений: во-первых, вышеперечисленные значения практически тождественны значениям фин. *ajeerata* 'поднимать шум, суетиться, шумно возиться, выкидывать шутки, шутить, насмехаться, подтрунивать, винить, быть сварливым, дразнить, перебивать, беспокоить'. Это позднее заимствование, имеющее первоисточником лат. *agere*. Далее, некоторые из значений выдвигают на передний план семантику *giñti/ginti*: в общем значении 'браниться, ругаться, ссориться' содержатся также частные 'защищаться в споре' (*konahtaa*; ср. *ginti*) и 'спорить, вести спор, оспаривать', а также 'вести диалог (о двух собеседниках)' (*konella*; ср. вновь *ginti*, а также греч. *agōgeús* 'истец, обвинитель').

Фин. *konella* по своему образованию сближается с южно-эст. *kiņeļe* 'говорить', а в значении — с эст. *kõne* 'речь'. По существу, фин. *kone* и эст. *kõne* обычно «исподтишка» объединяются без решительных этимологических суждений. Упоминается и возможное родство с карел. (ливвик.) *kona* 'игра, танец', а Э. Итконен задается вопросом, чисто ли случайно соответствие между *kone* (< *\*koneš*) и саам. (Инари) *kuonas* 'опрятный, аккуратный' при близости последнего значения к значению 'приятный, милый' (SKK, s. 94). Значение 'опрятный' естественно возникает на основе значения 'навык', ср. фин. *tavallinen* от *tapa* 'навык, манера, привычка' (еще один балтизм) с эволюцией 'имеющий

манеры' → 'имеющий хорошие манеры' (ныне 'обычный, обычный'). Впрочем, карел. *kona* может быть связано с *koñaija* 'догонять (в игре)', являясь вместе с этим глаголом заимствованием из *гонять*, *гон* (или из *кон*, с учетом игровой семантики этого слова?).

Наконец, эст. *kõnerus* 'устройство для передвижения плуга' и фин. *konata* 'ехать верхом по плохой дороге' непосредственно приемыкают к семантике движения/езды (ср. Н), если даже *konauttaa* 'бить, ударять' — продукт случайного совпадения. Но *konata/konutaa* 'искать; разрушать' вновь напоминают нам о строке К, а значение 'быть, находиться' (*Misäs sä koko yön konasit, poika?* 'Где ты пробегал всю ночь, мальчик?') — от лат. *agere*. Отметим также, что лат. *prōdigium* 'чудо' (с корнем *-ag-*) оказывается удачной параллелью к фин. *kone* и под., тогда как *adagium* 'поговорка, пословица' (к *-āg-*, *āio*) — к эст. *kõne*. Кроме того, греч. эпитафич. *agōgē* 'заклинание, любовное заклятие' дает дополнительную семантическую поддержку для фин. и карел. *kone*. В итоге всего этого, гипотеза об исходной семантике 'гнать, гонять' балто-славянского типа применительно к пучку слов, связанных с фин. *kona*, получает довольно весомое обоснование.

Общую балто-славянскую семантику прибалтийско-финских форм не удастся соотнести с какими-либо конкретными формами-источниками в балтийском или славянском. Действительно, *kona-* может отражать балт. *gana-*, но данная основа представлена только в значениях, связанных с выпасом скота (а также в *ganōvas* 'погонщик, надсмотрщик' и *ganiōti* 'гонять, охотиться [интенс.]'). Поэтому версия о непосредственном заимствовании из балтийского выглядит малоправдоподобной. С другой стороны, в славянских языках широко представлена основа *gon-*, но слав. *o* не отражается в виде приб.-фин. *o* (ср. выше *ojas*). Поэтому мы вынуждены прибегнуть к реконструкции добалто-слав. *\*gonos*, формы, еще достаточно близкой к и.-е. *\*g<sup>u</sup>honos*. Из нее действительно могло развиться приб.-фин. *kona* (ср. такие и.-е. заимствования, как фин. *oja(s)* 'грядиль плуга', *porsas* 'поросенок', *orja* 'раб', *osa* 'часть').

\* \* \*

Еще один пучок слов с широкой сетью семантических связей группируется вокруг фин. *kelo 2A* и *kelle/helteen 6e* в представленной ниже таблице.

Таблица 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
a. kelo	u		kele?	keles	kelesi	kelle	kelles	kelli-	v	kelli	u	keltti	u	keltu	kild.	u	kild
b. kuorittu puu																	
c. lumeton jää/ peittämätön																	
d. vaatteet/ vähineet (4)																	
e. (pinta)(laut) halkeilu puu																	
f. kivekeet																	
g. kyljellä -e-/ selällä -e-																	
h. lekotella																	
i. seata																	
j. heilua																	
k. kela/ vintturi																	

a - сухой; b - ободранное дерево; c - лед без снега/непокрытый; d - одежда/утварь (4); e - (поверхность) (доска) расколотое бревно; f - яички, мошонка; g - на боку/спине, набок/назад; h - валяться; i - лежать (пластом, на спине); j - раскачиваться/колыхаться; k - катушка/барабанный ворот

Она характеризуется заметным разрывом между строками d и e, а в том, что касается фонетической формы — границей между колонками 4 и 5, отделяющей рефлекс *-l-* от рефлексов *-lt-* (с дальнейшим преобразованием *lt > ll*, *lt > ltt*). В несколько обособленном положении остается 1k. Таким образом, таблица оказывается разделенной на четыре доли (*skiltys!*) с преобладанием заполненных клеток в левой верхней и правой нижней долях. В связи с 6е обычно упоминается возможность балтийского происхождения (лит. *skiltis* 'доля, долька'), хотя заимствование не считается достоверным. Даже главный сторонник этой версии (Ojansuu 1927, 12–16) допускал, что *kelle* 6 и *kelles* 7 — различные корни и что в остальных колонках отражены и другие (не идентифицируемые) балтийские источники. «Изолят» слова внизу, 1k, признается заимствованием из балт. 'колесо' (др.-прус. *kelan*, лтш. *duceles*). Связь между формами с *-l-* и с *-lt-* до сих пор не устанавливалась, но я исхожу из гипотезы о такой связи.

Значения в строках a и b отражают, по сути дела, «пассивное» и «активное» снятие оболочки; весьма близкое значение «погруженный в воду, затопленный (лес, бревно)» представлено в 7a.

Состояние со снятой оболочкой прямо выводит на семантику строки c, то есть в c представлен лишь небольшой сдвиг сравнительно с a–b, причем здесь имеются и дальнейшие метафорические сдвиги (клетки с зубцовкой): например, *kellottaa* 8c 'делать что-либо беззастенчиво' (= 'в открытую?'). Идея отсутствия покрытия стоит за значениями 'сухая, ясная погода' 3c, 'сухая, ветреная погода' 6c, *kelle/kelleen* 6c (Э. Лённрот) 'сильный порыв ветра, холод', а также эст. *kile* 3c, *kille* 6c (Ф. Видеман) 'резкий, пронизывающий (о холоде, о звуке)'. Далее, от состояния без покрытия естественен переход к строке d, где представлены значения 'нижнее белье', а отсюда также 'в нижнем белье/нагишом' (*keltei [si] llään* 6) и 'лохмотья, отрепья' (*kelttu* 10, а также остальные значения в 6). В тяготеющих сюда же значениях 'снимать оболочку, кору' (*kelia* 2), 'вытирать (шерсть)' (*kelo[ti]a* 2) и 'шелушиться' (*kelteillä* 6) к пучку примыкают глаголы, располагающиеся по обе стороны от границы *-l-* : *-lt-* (ср. эст. *kiltuma* 'отваливаться слоями' с *-ltt-*).

В строке e мы переходим от снятия оболочки к расщеплению, особенно к срезанию с поверхности или вырубанию щепок, досок, планок и т. д. Другая основная семантика связана с расколом надвое крупных бревен. Эти центральные конкретные значения иррадируют, обуславливая появление обозначений всевозможных кусков (6, 7, 11) и щепочек (10, 11), а также детей (2, 4, 7), жира (7) или слабых, худых ничтожных людей (7) (ср. значение 'бедный' в строке c), постного, жилистого мяса (эст. 3, 6), пленок (эст. 1, 6, 11), волдырей (9), сушеной рыбы (эст. 10), глубоких складок (6) и т. д. (и отдельное дополнение к этому перечню дает f). Я не вижу сколь-нибудь серьезных трудностей в сопоставлении всех этих слов. Что касается формы, то *kelles* 7 соответствует двум возможным генитивам — *kelleksen* и *kelteen* (как в 6); другие суффиксы используются в колонке 7 (например, *-kkee-* и *-kkaa-*).

Строки g–j составляют наибольшую сложность для построения этого пучка. Узел проблемы состоит в соотношении колонок 6 и 8. Во второй из них представлены (далеко не полно) только глаголы, развившиеся из прежних обстоятельственных конструкций. Совокупность значений дает очень много для решения вопроса. Можно полагать, что определенная связь между 8 и 6 допускалась и ранее (ср. Häkkinen 1985, 109–110). Мне представляется, что рассматриваемые глаголы прежде всего должны были возникать в ситуациях, связанных с высыханием на корню и с обработкой древесины. В приведенной ниже таблице более подробно представлены основ-

ные соотношения между колонками 5–6 (= II) и 8 (= III) из предшествующей таблицы (строки g–j).

Таблица 3

	I	II	III	IV
<b>A</b> сторона/бок	<i>kylki</i>	<i>kelsi/kelle</i>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           ГЛАГОЛЫ  <i>kellahtaa</i>  <i>kellätä</i> (пер.)  <i>kellistää</i> </div>	<i>kela/kelo</i>
<b>B</b> набок	<i>kyljelleen</i> ( <i>seläleen</i> )	<i>kellelleen</i>		<i>ku kelaanen</i> <i>kelinkeliä</i>
<b>C</b> на боку	<i>kyljellään</i> ( <i>selällään</i> )	<i>kellellään</i> <i>kelteellään</i>		<i>kelös</i> <i>kelottaa</i>
<b>D</b> лежать на боку	<i>maata kyljellään</i> ( <i>selällään</i> )		<i>kelluilla</i> <i>kellikoita</i>	<i>olla kelalla</i> <i>kelukettaa</i>
<b>E</b> кататься на боку	<i>kierii kyljellään</i>		<i>kellehtiä</i>	<i>keluilla,</i> <i>keloilla</i>
<b>F</b> свисать и раскачиваться	<i>riippua ja heilua</i>		<i>kellua,</i> <i>kellutella</i>	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>
<b>G</b> плавать на воде	<i>kellua vedessä</i>		<i>kellua</i>	

В колонке IV показаны формы с негеминированным *-l-*, которые достаточно близки формам в II и III. Когда дерево стоит вертикально, то его боковая часть (*kylki* IA) расположена вокруг всего ствола. Когда оно падает, то валится набок (IIB), и это движение/положение характеризуется соответствующими глаголами (IIB). Падение, опрокидывание может рассматриваться как распластывание, ср. *kaatui ku kelaanen* 'свалиться как сухостой — нарочито, напоказ' или *tulla kelinkeliä* 'скувырнуться'. В целом мы видим, что в своей семантике *kelsi/kelle* следует за своим функциональным аналогом *kylki*. Это верно и для строки C (с адессивом, падежом стационарного положения). Если *kylki* для передачи акциональной семантики сочетается с *maata* 'лежать' (ID), то *kelsi* непосредственно образует — и в изобилии — глагольные дериваты (III). Это различие носит формально-грамматический, но не семантический характер, и я умышленно стираю общей рам-

кой в колонке III различия между строками B–D. Ситуация дерева/сухостоя (IVB) отчетливо выражена в IVC, где *kelossa* и *kelottaa* обозначают вывоз деревьев из леса волоком с помощью саней. Отметим, что семантика распростертого положения, беззаботного существования в D совмещается и со значением 'волочить ногу' (оба смысла — у глагола *kelluilla*, Э. Лённрот). Поваленный сухостой остается на месте, из чего естественным образом возникают и идея праздной жизни на одном месте, и идея затрудненного движения. Но при обработке бревен их приходится переворачивать — отсюда строка E. Показательны в этом отношении фразы типа *sillä kellehellä/kelteellä* 'по-прежнему, без изменений', букв. 'на той же стороне', без поворота. Попавший в воду сухостой хорошо заметен, поскольку обычно один конец погружен в воду, полузатоплен (7a), а другой торчит над поверхностью воды. Но, очевидно, это не единственное обстоятельство, повлиявшее на развитие «плавательных» значений (G). Другой импульс связан с образом полос ободранной коры, которые свисают и колышутся на ветру (IIIF, ср. *kellu* 9j; в современном литературном языке употребляется *killua* 'свисать'). Отсюда перенос на аналогичные движения на воде и в воде, например, *kala keloilee* 'рыба плещется' (1h, IVE). Эти формы перепутываются самым произвольным образом, например, *kellua* в своих значениях достигает строки D, и вся гамма форм ныне приобрела характерную для дескриптивной лексики размытость, нечеткость (*olla kelekseen* 4j 'бояться' может быть метафорой на основе значения 'трепетать'). Огорчительно, разумеется, что при построении семантической цепочки я вынужден опираться и на единственную пустую клетку IVF; вероятно, «содержимое» этой клетки перешло в соседние.

Представляется, что общий состав пучка подтверждает его происхождение от балтийской лексической парадигмы, включающей *skilti* 'раскалываться, трескаться, расщепляться, распадаться', *skilēs* 'потрескавшийся', *skiltis* 'доля, ломтик' (ср. эст. *kilduma* 11 'осколок'). В этой парадигме точно отражена семантика потери деревьями коры, их колки и рубки. Любопытно, что никто, по-видимому, не привлекал сюда же формы с интервокальным *-l-*, хотя еще более характерным свидетельством служат *skilä* 'лучина, осколок и т. д.' и, с иной ступенью аблаута, *skalà* 'лучина, дранка и т. д.', *skalinys* 'колода для щепания лучины', *skalūnas* 'сланец', *skalynas* 'нагромождение сланца или гальки'; ср. эст. *kilt/kilda* 10 'сланец; шифер, аспид' (ср. выше *kiltuma*).

Остается *1k kela/kelu* 'катушка, барабанный ворот'; для этого слова предположение об исходном значении 'колесо', казалось

бы, хорошо связывается с современным видом соответствующих устройств. Отметим, однако, эст. *kõlu* 'приспособление для тканья ремней' и ливск. *kelā* 'изгиб, искривление'. Семантика этих слов тяготеет уже не к колесу, а скорее к действиям с лентами или полосами. Поэтому я полагаю, что более правильное этимологическое решение кроется в том углу таблицы, который занимает слово *kela/kelu*: первоначально оно относилось к обдиранию бересты по окружности ствола. Ободранные таким образом полосы получались очень длинными и хранились в виде катушек, мотков, клубков (о подробностях технологии см. Valonen 1952). Якорные барабанные ворота на судах напоминают стволы деревьев.

За исключением *kallua/killä* 'свисать', в финском представлена только основа *kel-*, в эстонском *kil-* и *kõl-*. В целом в пределах одного языка чередований гласных немного, а детали этого явления неизвестны. Вероятно, в финском можно выделить и другие формы с *i*-огласовкой: *kilo* в *auringon k.* 'сияние солнца, солнечные отблески' может отражать идею «осколков» солнца, например, на воде, или же солнечного луча как кусочка, щепки солнца (ср. *säde* 'луч' при *säle* 'планка', *särö* 'щепка, кусочек' и карел. людик. *säres* 'галька'). Ю. Мягисте объясняет *kilo* 'килька' из *\*kilaiкала* 'сверкающая рыба', что предполагает основу *kila* (соответствующую лит. *skilā*). Затес на дереве обычно выделяется яркостью, что позволяет понять *kilopuu* 'чистая, не гнилая древесина'. Делая затес, определяют годность старых бревен. Отсюда можно перейти и к *kilovaari* 'крепкий, кряжистый старик' = *tervaskanto* букв. 'смолистый пенёк' (в современном языке *terväsvaari* букв. 'стальной старик'). *Kilonahka* 'замша' еще более непосредственно соотносится с отделением и снятием оболочки, равно как и *kilo(naika)* 'листопад'. Если сюда же относятся фин. *kilo* и эст. *kile* 'кисель', то, вероятно, их нужно объяснять из значения 'кислый', которое возникает на базе семантики 'режущий' (ср. лит. *kartūs*) или 'кусающий'. Разумеется, по мере дальнейшего расширения пучка возникают все новые проблемы — например, существует также глагол *kiilua/kiiltää* 'сверкать, сиять', не говоря уже о других оноματοпоэтических комплексах, например, *kilistä/kalista/kolista* 'звенеть, звякать/стучать, лязгать/греметь, грохотать'.

В литовской гамме форм, связанных со значением 'расщепляться', представлены варианты *skil-/skyl-/skel-/skël-/skal-*. Среди них первые два и четвертый должны давать фин. *-i-*, а первые три — также *-e-* (что и создает необъяснимое на финской почве чередование). Третий вариант дает эст. *-õ-*. Все эти способы реф-

лексации представлены выше. Проблема, однако, состоит в том, что за *kõl-* может крыться даже *skal-*. В славянском, за исключением *skel-* в *щель*, представлены варианты *skol-/skal-*: русск. *скалá, скáлка, скóлька* 'раковина', (о)скóлок. Этим формам соответствуют карел., вепс. *kalu* 'палица, палка, полено, кусок' (в современном финском языке *kalu* 'вещь, инструмент', но ср. упоминавшееся выше *kalupuu* 'дерево, очищенное и разрубленное летом для зимних нужд') и эст. *kalu* 'мусор, хлам'. Однако существуют более архаичные (и с более полным фонетическим составом) формы с *-v-*, например, *kalvo* 'палка, булава, шабер', *kalvin* 'шабер' и кар. *kalven* 'попынька', 'разводье' (все соотносятся с семантикой расщепления). Сопоставленный фонетический облик у русск. *скáлва* 'каменная круча' и др.-прус. *scolwo* 'щепка, лучина'. Гласный *-o-* первого слога в прусском не обязательно отражает *\*ā* (что соответствовало бы слав. *skal-*), а скорее объясняется вариантностью такого же характера, как в приоб.-фин. *a ~ o* на месте балт. *a* (слав. *o*). Создается впечатление, что имело место диссимилятивное сохранение *a* в *kalv(a)-* при развитии в остальных случаях в *kol(a)-*.

Семантический спектр фин. *kola* весьма близок значениям лит. *skalà* (а формальное соответствие безупречно): 'шест (*salko*, и.-е. заимствование; *seivās*, балтизм), используемый для шурования на риге; деревянная кочерга, приспособление в виде деревянной планки с рукоятью, используемое там же или для разгребания золы и т. д.; примитивные сани (*reki*, балтизм) с одним полозом или лыжи (сделанные из крени); долбленое корыто для пойки скота; (плоскодонная) лодка-долбленка; корыто; коробка, ящик; канава, желоб, продольная выемка, борозда; утоптанная тропа, колея'. Функционально и по форме сходством с кочергой обладают также *kola* 'тесло (для изготовления бочек)', *niiskola* 'приспособление для закрепления ниточки' (*niisi*, балтизм) и планки-перекладины в *kola* 'запруда (*toe*, балтизм) для рыбной ловли'. *Kolauuni* — это яма для варки дегтя; *uuni* 'печь', а первый компонент сложения относится к большим кускам дерева, складываемым в яму. Данная трактовка семантики поддерживается дериватами с *-o-* и *-e-*: *kolo* 'лопатка для наматывания спиралью (ср. *kela, kalvo* и *niiskola*), дрова, дерево с зарубкой, дерево с содранной для получения смолы корой, широкий санный полоз, запруда для рыбной ловли из планок, обгоревшее на поверхности дерево (поваленное)'; *kole* 'кора, дерево с содранной корой, желоб, инструмент (ср. *kalu*), сани'. Отметим также глагольные словосочетания *olla kolollaan* 'зиять, быть приоткрытым' (ср. *щель*



скáлить), 'быть ободранным на корню (о дереве)' и *tuohi on kollolaan* 'береста легко отделяется' (также *puu* [дерево] *on koleellaan* и *kuori* [кора] *lähtee koleehensa*). Основной же глагол — *kaloftja* 'обдирать кору с дерева, вырезать толстые щепки из круглого ствола'. Когда срез заживает, на его месте образуется щель, желобок или дыра (*kolo*; ср. лит. *skylė* 'дыра'), откуда и возникают значения 'канавка, желоб, канава'.

Прочерченная выше семантическая карта прекрасно согласуется со схемой, предложенной Лиукконеном (Liukkonen 1973) для фин. *reikä* 'дыра'. Он выводит это слово из лексической парадигмы лит. *riėkti* 'резать' (ср. *riekė* 'ломоть' и *ràika* 'борозда'). Семантическое развитие идет от резания к результату резания, к дыре. Перцептуально подобное развитие особенно естественно в ситуации с корой, когда на месте среза нарастает новая ткань: на продольных ободранных участках появляются желобки, выемки, а на месте небольших срезов или срубленных веток возникают дуплистые углубления, особенно если сердцевина ствола прогнила (*koloontua* 'отслаиваться' повторяет семантику *kelteillä*).

Глаголы с корневым *-a-*, *kalvaa*, *kalvia*, *kaluta*, *kaloftja* 'царапать, сбивать, грызть, обдирать', сохраняют после этого гласного *-v/u-* или по крайней мере *-o-*. *Kaloa* 'собирать сеть, наматывая ее на колышек (*puikkari*)' представляет собой интересный пример термина наматывания спиралью с *-a-* (остальные такие термины — имена: *kela*, *kola*, *kalvo*, *kalvin*).

Я не упоминаю здесь всех форм, обнаруживающих сходство с рассмотренными выше. Я и так уже далеко заступил за традиционную грань приличия для этимологических построений, но считаю, что это позволило обнаружить ряд новых фактов и возможностей. Детали чередования *i - e* нуждаются в дальнейшем изучении, которое позволило бы определить, в какой мере это чередование отражает исходный балтийский аблаут, а в какой обусловлено собственно прибалтийско-финскими явлениями субституции. Историческая связь достаточно очевидна. Рефлексы и.-е. аблаута типа *\*rowH-/ \*puH-* 'очищать' в фин. *pohta-* 'веять (зерно)' и *puhdas* 'чистый' были указаны Й. Койвулехто (№ 11, 12 из его статьи в настоящем сборнике), но до сих пор не было уделено достаточного внимания возможности обнаружить отголоски качественного аблаута в случаях типа фин. *kela/kola*. Балт. *ei* субституируется в прибалтийско-финском и через *ei* (*ie*), и через *ai* (Liukkonen 1973; Uotila 1983, 1986), но аналогичные примеры обнаруживаются и в случаях, которые не рассматривались в качестве заимствований (*seimi/saimi* 'ясли, кормушка' ~ *saima/soima* 'лодка').

Если в случае с *kona* отсутствие сопоставимых по семантике, а не только по форме, балтийских данных вынуждало думать о добалтийском заимствовании, то для *kola*, помимо слав. *skal-*, можно предполагать любой другой источник. Строго говоря, нельзя исключить в качестве такового и добалт. или поздней.-е. *\*skolā*, однако версия о балт. *skal-* более правдоподобна, несмотря на сложности, связанные с присутствием *o-* и *a-*огласовок с прибалтийско-финской стороны.

Можно также задаться вопросом, не способствовал ли порой балтийский аблаут появлению лексических пучков, которые считаются чисто дескриптивными, например, *kilistä/kalista/kolista*. Последние два слова явно терминологично связаны со стуком и грохотом лесоматериалов. В том же ключе можно трактовать эст. *kinamud konamud*, *kiltsid ja kaltsid*, *kila-kola*, *kili-koli*, *kolud kalud* или *kilud kalud* 'всякая ерунда, всякая всячина', чему соответствуют фин. *kiluinensa kaluinensa* 'то же' и *kole* 'мусор, хлам, непрочные вещи'. *Kole/kolheet* и *kale/kalhe/kalho* 'мякина' (по своему вокализму эст. *kõlu* может соответствовать любому из этих двух обозначений) стоят на грани дескриптивности и связанной с ней семантической размытости. Сходная окрашенность просматривается и в случаях типа *kuonata/konata*. В общем, легко понять, почему семантика *skil-/skel-/skal-* раскалывается и развивается в трех направлениях: с одной стороны, обработка древесины дает готовый материал для строительства и плотницких работ, с другой, в ходе этого же процесса появляются бесполезные щепки и стружки, то есть отбросы и мусор, с третьей, создаются инструменты определенного назначения.

Другая проблема состоит в проведении демаркационной линии между двумя возможными источниками заимствования. Выше упоминались предложенные О. Никкиля германские версии для части пучка *kona* и для *aho*. Фактически в случаях, подобных рассматриваемым нами, вполне возможна контаминация. Пучок *kela* также дает повод к таким колебаниям в выборе источника. Я намеревался включить в рассмотрение эст. *kelo/kelu/kelak* 'сухая, неплодородная почва' и фин. *kelhä* и т. д. 'твердая земля, поляна', однако Т. Итконен (Itkonen 1989) показал, что они могли быть заимствованы из германских продолжений и.-е. *\*skel-* 'сухой'. *Kelho* 'непрочная вещь, инструмент не по руке, гнилой зуб, старая поломанная деревянная чашка, труп животного', связанное с *kelhä*, уже может отражать существенное влияние со стороны *kelttu* 10–11, соотносимого со словами в колонках 5–7. Т. Итконен не настаивает на достоверности своей этимологии, но выглядит она убедительно.

тельно. Все это лишней раз демонстрирует трудности на путях этимологического поиска.

Я обнаружил дополнительные свидетельства исключительной интенсивности контактов между балтами (балто-славянами) и прибалтийскими финнами. Похоже, что мощность известного нам слоя лексики, отразившего эти контакты, нарастает едва ли не с каждым днем. Взять хотя бы перечень важнейших заимствований, выражающих в финском языке идею гонки/погоны (в весьма приблизительной хронологической последовательности): *ajaa, kopa, kema - kina, äkä, akkiloida - äkkiä, ajeerata, koñaija* (карел.), *riivata, kyörätä*. Пучок *kela/kola* связан с основополагающей технологией деревообработки, в которой большинство терминов — балтийские заимствования. Оба рассмотренных выше лексических пучка позволяют считать, что при более детальном изучении проблемы в прибалтийско-финском можно обнаружить следы балтийского аблаута\*.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Трубачев 1980 — О. Н. Трубачев. Из балто-славянских этимологий // Этимология 1978. М., 1980, с. 3-18.
- Anttila 1986 — R. Anttila. Deepened joys of etymology // Journal de la Société Finno-Ougrienne 80. Helsinki, 1986, p. 15-27.
- Häkkinen 1985 — K. Häkkinen. Suomen kielen sanaston historiallista taustaa. Turku, 1985.
- Itkonen 1989 — T. Itkonen. Virolais-suomalainen kuivan kamaran sanue // Virittäjä 93. Helsinki, 1989, s. 338-359.
- Kalima 1936 — J. Kalima. Itämerensuomalaisten kielten balttilaiset lainasanat. Helsinki, 1936.
- Koivulehto 1989 — J. Koivulehto. *Ehkä ja ehto, yskä ja ystävä* // Journal de la Société Finno-Ougrienne 82. Helsinki, 1989, p. 171-192.
- Liukkonen 1973 — K. Liukkonen. Lisiä balttilais-suomalaisten lainasuhteiden tutkimukseen // Virittäjä 77. Helsinki, 1973, s. 7-30.
- Nikkilä 1983 — O. Nikkilä. Beiträge zur Erforschung der germanischen Lehnwörter im Ostseefinnischen // Finnisch-Ugrische Forschungen 45. Helsinki, 1983, S. 17-125.
- Nikkilä 1988 — O. Nikkilä. *Aho: Omaa vai lainattua* // Suomi 143. Helsinki, 1988, s. 135-140.

\* Я благодарю Йорму Койвулехто, Евгения Хелимского и Юху Янхунена за замечания и комментарии, позволившие мне усилить мою аргументацию в этом расширенном тексте прочитанного на конференции доклада.

- Ojansuu 1927 — H. Ojansuu. Lisiä suomalais-balttilaisiin kosketuksiin // Suomi 4:20. Helsinki, 1927.
- Pohjala 1969 — M. Pohjala. *Kinos ja nietos*. Fil. kand. thesis. Helsinki, 1969.
- Posti 1953 — L. Posti. From Pre-Finnic to Late Proto-Finnic // Finnisch-Ugrische Forschungen 31. Helsinki, 1953, S. 1-91.
- SKK — O. I k o l a (toim.). Suomen kielen käsikirja. Helsinki, 1968.
- SMSK — Suomen murteiden sanakirja. Helsinki, 1985-.
- Sola 1970 — M. Sola. *Kina-sanueen semantiikka*. Fil. kand. thesis. Helsinki, 1970.
- Uotila 1983 — E. Uotila. Baltofennica III: Finnish *viekas, veikeä, vaikku* — Baltic *\*veika-* // Euroasiatica IV:6. Napoli, 1983.
- Uotila 1986 — E. Uotila. Baltic impetus on the Baltic Finnic diphthongs // Finnisch-Ugrische Forschungen 47. Helsinki, 1986, S. 206-222.
- Valonen 1952 — N. Valonen. Geflechte und andere Arbeiten aus Birkenrindenstreifen // Kansatieteellinen arkisto IX. Helsinki, 1952.

Т. ХОФСТРА

ГЕРМАНСКИЕ ЗАИМСТВОВАННЫЕ СЛОВА  
В ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКОМ  
И ДАЛЬНЕЙШИЕ ОТНОШЕНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЯ  
МЕЖДУ ГЕРМАНСКИМ И ПРИБАЛТИЙСКО-ФИНСКИМ

## 0. Вступление

Исследование влияния германского на прибалтийско-финский в области лексики должно опираться на более широкие связи как германского, так и прибалтийско-финского. По этому поводу я хотел бы обратить внимание на три круга проблем.

## 1. Теория бифуркации Веннемана

В настоящее время в германистике предметом дискуссии стала новая теория, предложенная Т. Веннеманом (Vennemann 1984). Попытки оспорить принятую реконструкцию индоевропейской консонантной системы то с одной, то с другой точки зрения предпринимаются уже не раз; Веннеман тут отнюдь не исключение. Однако в трактовке Веннемана совершенно по-новому обозначена роль в общегерманском верхненемецкого, этим хотя бы частично можно оправдать интерес, проявленный к этой теории прочими германистами. Согласно традиционным воззрениям, древневерхненемецкие смычные представляют собой дальнейшее развитие западногерманского консонантизма, который в общем и целом соответствовал общегерманскому состоянию, связанному с индоевропейским через «передвижение согласных».

Веннеман не считает древневерхненемецкий простым продолжением древнегерманского, но рассматривает его как одну из двух возможностей фонетического развития в период после того, как уже осуществилось частично то, что принято называть «передвижением согласных».

При этом верхненемецкий (именуемый Веннеманом верхнегерманским) отличен от нижнегерманского (который охватывает все разновидности германского, исключая верхненемецкий) иной трактовкой реконструируемых Веннеманом прагерманских (индоевропейских) глоттализированных глухих  $p' t' k'$ . Заметим, что существ-

ование глоттализированных звуков предполагают и другие ученые (см. ниже).

Обычно для индоевропейского реконструируют такие ряды смычных:

$p t k$  > герм.  $f p x$  (иногда  $b d g$ )  
 $b d g$  > герм.  $p t k$   
 $bh dh gh$  > герм.  $b d g$  (или  $b d g$ )

Изучение германских заимствований в прибалтийско-финском дает нам следующие соответствия:

герм.  $f p x$  ~ общефин.  $p t k$   
 герм.  $p t k$  ~ в анлауте: общефин.  $p t k$ ; после  $s$ : общефин.  $p t k$ ; в инлауте после гласного, носового, плавного: обычно  $pp tt kk$ , но также (особенно в древнейших заимствованиях)  $p t k$   
 герм.  $b d g$  ~ общефин.  $p t k$

Веннеман обобщил свою реконструкцию передвижений согласных (ПС) в компактной таблице (Vennemann 1984, 23):

Протогерманский 1	Протогерманский 2	Общегерманский	Общеве́рхнегерманский/ общени́жнегерманский	
$T^h$	$T^h$	$b$	$b$ (>D)	} верхнегерманское ПС
			$T^s$ (>SS)	
$T'$	$T'$	$T'$	$\varnothing$ (>T)	} нижнегерманское ПС
$\varnothing$	$\varnothing$	$\varnothing$	$b$ (>D)	
			$T^h$	
			$\varnothing$ (>D>D)	
ПС по закону Вернера	Общегерманское ПС	Внутригерманское ПС	(Верхнегерманское озвончение) (Верхнегерманская фрикативизация) (Верхнегерманское оглушение) (Нижнегерманская соноризация и фрикативизация)	

По Веннеману, глоттализированные  $p' t' k'$  сыграли важную роль и в образовании древневерхненемецких аффрикат, но подробно здесь об этом речь не идет.

Дальнейшее развитие глоттализированных  $p'$ ,  $t'$  и  $k'$  Веннеман относит приблизительно ко второй половине I тыс. до н. э. (Venne-



зорный, стыдный, злой, дурной, неуместный, робкий'; люд. *hui-ged* 'позор, стыд, непристойность'; вепс. *huiged* 'позор, стыд, позорное, стыдное'; лив. *uīD* 'позор, стыд'; юж.-эст. *huigama* 'стыдить, корить' и *hujutama* 'стыдить'. В ижорском и водском слово не зафиксировано.

А. Тайминен счел *huikea* скандинавским заимствованием, он сравнил его среди прочего с др.-исл. *hvika* 'колебаться' и швед. *vika* 'смягчать' (Taiminen 1979). Сразу же И. Хирвонен оспорил это построение, исходя прежде всего из семантики: *huikea* — слово скорее все-таки собственно прибалтийско-финское, образование дескриптивного характера (Hirvonen 1979, 51–56). Основываясь на значении 'стыд, позор', которое Л. Хакулинен (Hakulinen 1979, 318) восстанавливает и для общефинского, можно сопоставить *huikea* с общегерм. *\*swika*<sup>2</sup>. Ср. прибалт.-фин. *h* как рефлекс герм. *s* и *k* как рефлекс герм. *-k-* в фин. *hakea* 'искать' (~ общегерм. *\*sōkjan-*). Кроме того, следует заметить, что многие прибалтийско-финские слова с *hui-* являются германизмами, например, *huilu* 'флейта' (~ общегерм. *\*swiglōn-*).

Если глоттализация вела к геминации, то рефлекс этого процесса, который в конце концов прекратился в германском или, скорее, уже в отдельных германских языках, следовало бы искать как раз в древнейших заимствованиях. Этому можно противопоставить другую версию: возможно, что за периодом ослабленной глоттализации последовало ее усиление. В этот последний период и должны были развиться перечисленные Кортландтом процессы: преаспирация, западноготландская преглоттализация (*stōd*) и геминация в шведском (*veckā*). Древнейшие заимствования в прибалтийско-финском этого, однако, не подтверждают. Последовательность была скорее такой: 1) сначала передача общегерманских (в традиционном понимании) глухих простыми смычными и затем 2) передача глухих удвоенными смычными. Передача глухих простыми смычными вновь возникает в древнешведских заимствованиях.

На выбор остаются три возможности:

1. В истории германского был период, когда не имела места глоттализация, за которым вновь последовало восстановление глоттализации.

2. Ранние заимствования восходят к такому варианту германского, в котором сравнительно рано не стало глоттализированных,

<sup>2</sup> Ср. др.-исл. *svik* п. (мн. ч.) 'лицемерие, обман, измена', др.-шв. *svik*, *svek* п. 'обман, измена', др.-англ. *ge-swic* 'обиды', др.-в.-нем. *bi-swih* 'то же'.

в то время как многие особенности, которые отметил Кортландт, объяснимы из языка, сохранившего глоттализированные.

3. Германский уже в эпоху бронзы вообще не имел глоттализированных.

Последнее предположение гораздо проще остальных.

## 2. Возраст кельто-германских и латино-германских заимствований и роль готландского

Вопрос о возрасте тех заимствований в прибалтийско-финском, чей германский прототип, в свою очередь, является (или может быть) заимствованием из латинского или кельтского, следует рассматривать не только с точки зрения предложенной Венеманом концепции передвижения согласных. Следует также удостовериться, не могла ли часть этих слов (скажем, фин. *kauppa* 'торговля', герм. *\*kaup-* ~ лат. *caupō* 'торговец') быть заимствована уже в средние века из готландского, как это предполагается, например, в отношении фин. *kaupunki* 'город' (ст.-готл. *kaupungr*, производное от герм. *\*kaup-*; SKES I, 174). В учебниках и справочниках подчеркивается консерватизм готландской фонетики<sup>3</sup>, местонахождение самого острова — между Швецией и восточным побережьем Балтийского моря — и средневековая торговая активность Готланда заставляют серьезно отнестись к возможности готландского происхождения ряда прибалтийско-финских слов, на первый взгляд кажущихся ранними германскими заимствованиями.

Готландский практически не занимает никакого места в SKES; в указателе под пометой «Muinaisgotlanti» (VII, 2244) лишь семь отсылок. В трех из них готландский материал равноценен соответствующему скандинавскому: 1) *huutaa* 'кричать' (эст. *hüüda* 'то же') < ? сканд. *\*hūta*, ср. староготл. *huti*, норв. диал. *huta* 'то же, вопить, рыдать' (SKES I, 92); 2) *kaura*, *kakra* 'овес' (ижорск., карел., люд., вепс., водск., эст., лив.) < герм., ср. ст.-готл. *hagri* (вин. *hagra*), др.-шв. *hagragryn* и т. п., шв. диал. *hagre*, *-a*, *hāgri*, норв. диал. *hagre* с тем же значением (SKES I, 174); 3) *keksi* (эст., лив.) 'багор' (SKES I, 178) [сравнивается со словами из многих скандинавских языков и диалектов]. В четырех случаях, впрочем, готландское слово с фонетической или семантической точки зрения подходит лучше, чем слова из ос-

<sup>3</sup> Ср.: «Фонетическая система в целом очень архаична» (Wessén 1968, 115).

тальных скандинавских языков: 1) *kaupunki* 'город' < староготл. *kaupungr* 'базарная площадь', др.-шв. *kōpunger*, др.-исл. *kaupangr* с тем же значением (SKES I, 174); 2) *lammas* 'овца' (общеприб.-фин.) < герм., ср. готск. *lamb*, ст.-готл., нов.-готл. *lamb* 'овца' и другие германские слова со значением 'ягненок' (SKES II, 273)<sup>4</sup>; 3) *nasta* (также карел., эст.) 'штырь, пуговица' < сканд., ср. ст.-готл. *nast* 'крючок на платье', норв. диал. *neste* 'застежка', др.-англ. *nestila* 'завязка', др.-в.-нем. *nestilo*, *nestila* 'шнурок, бант' (SKES II, 368); 4) наконец, эст. *Ojamaa* 'Готланд' и — с сомнениями — фин. *vuojokivi* и в *Woian maa* [нач. XVII в.] 'о-в Эланд') рассматриваются как заимствования из ст.-гот. *ou* 'остров' (SKES VI, 1816).

Фин. *kaira* 'клин, бурав, жесткая суконка, полоса' — пример слова, почерпнутого из языка, сохранившего дифтонг *ai*, — из того же готландского, например. Это слово предполагает в исходной форме развитие *z > r* и сохранение *ai*. Речь не может идти о готском, сохранившем сибиланты, или о западногерманских языках, где *ai* монофтонгизировался либо во всех случаях, либо, по крайней мере, в позиции перед *r*, старым или новым. Не помогают и северогерманские шведские формы. Окончательный переход *z > R > r* в шведском, по всей видимости, произошел уже после 1000 г., монофтонгизация же *ai* через *æi* началась не позднее XI в. Но о староготландском *air* < *-aiz-* свидетельствуют ст.-готл. *pair* и *paira* (им. и род. п. мн. ч. указательного и личного местоимения 3-го лица муж. р.) в противоположность др.-шв. *pē(r)/pæ(r)* и *pēra*<sup>5</sup>. Однако проблема состоит в том, что, насколько мне известно, в староготландском не зафиксирован прототип фин. *kaira*; зато др.-шведский дает *gēre* 'клин, клинообразный кусок', ср. также др.-исл. *geirr* 'копье, дрот' и *geiri* 'клинообразная полоса на одежде'.

Небольшое число германских заимствований в прибалтийско-финском восходит к тем германским словам, которые в свою очередь почерпнуты или могли быть почерпнуты из кельтского. В указателе SKES обнаруживаем: 1) фин. *ammatti* 'профессия, ремесло' (также ижор., карел., водск.); по моему мнению, это

<sup>4</sup> Роль, которую играет в исследовании германских заимствований название овцы *lammas*, общеизвестна. Готланд. и готск. *lamb* означает, как и приб.-фин. слово, 'овца'; фонетически соответствующие слова из других германских языков означают 'ягненок'.

<sup>5</sup> Рунические шв. *pai(R)*, *pār* и *paiRa* (см. Noreen 1904, 115 и 393). Ср. также рунический текст на купели из Акиркебю (конец XII в.), где четыре раза встречается *paiR* и где есть специальный знак для *e*.

слово лучше всего объяснять как заимствование из (средне)нижненемецкого; 2) о фин. *rikas* (также ижор., карел., водск., эст. и лив.) речь пойдет ниже; 3) фин. *keihäs* 'копье' (также карел., люд., вепс.) и фин. *kaira* (также карел.) представляют собой разновременные передачи одного и того же слова: общегерм. *\*gaizaz* или — в случае *kaira* — *\*gaizan*, где *-z-* в северо- и западногерманском развилось в *-r-*. Хотя герм. *\*gaizaz* по форме и является индоевропейским наследием, значение слова обнаруживает кельтское влияние (см. Kluge-Mitzka 1967, 249); в этом возникшем под влиянием кельтского значения функционирует и *keihäs* в прибалтийско-финском. Более позднее значение, представленное и в северогерманском, отразилось впоследствии в фин. *kaira*, но, как мы видели, произошло это, вероятно, на рубеже I и II тыс.

К той же группе можно отнести и фин. *kihla* 'помолвка, обручение' (общеприб.-фин.). В словаре Kluge-Seebold 1989, 253 в связи с *Geisel* 'заложник' (< общегерм. *\*gīslaz* < *\*geislaz*) признается вероятным, «что германское слово заимствовано из кельтского». Похоже, что *kihla* — единственное заимствование германо-кельтского происхождения, получившее практически повсеместное<sup>6</sup> распространение в прибалтийско-финских языках. Насколько мне известно, среди слов, которые Койвулехто зачисляет в разряд германских заимствований и которые прибалтийско-финский разделяет с саамским и/или с мордовским и марийским, нет ни одного, в конечном счете восходящего к кельтскому. Поэтому с осторожностью следует относиться и к возможности германского прототипа кельтского происхождения для приб.-фин. *arpa* 'доля, жребий', саамск. *vuor'be* 'удача, жребий'. Если выбирать между предположением (см. в последнее время Kylstra 1988) о кельтском семантическом влиянии и на герм. *\*arba-/arbaz* 'наследство' и этимологией, предложенной Койвулехто (Koivulehto 1976, 249–251), я склоняюсь к последней. По-видимому, германские заимствования с прототипом, восходящим по форме или по значению к кельтскому, не относятся к пласту наиболее ранних заимствований из германского в прибалтийско-финский; с другой стороны, вряд ли возможно разделить приб.-фин. *arpa* и саам. *vuor'be* при том, что, как показал Койвулехто, германское и прибалтийско-финское слова близки друг другу и семантически.

Герм. *\*rik-* — своего рода пробный камень для теории Веннемана. В. Мейд так оценивает в свете концепции Веннемана воз-

<sup>6</sup> *Arpa* не имеет соответствия в людиковском.

возможность выведения этого слова из кельтского: «Объяснение заимствований типа герм. \**rik-* в рамках «новой» теории вызывает столько проблем, что ставит под сомнение пригодность самой этой теории» (Meid 1987, 11). Дело в том, что *i* в германском слове, восходящем к индоевропейскому корню \**rēg-*, \**rēg-*, может быть объяснено только через кельтское посредство; лишь там произошел переход и.-е. *ē* в *i*: ср. (в традиционной трактовке) и.-е. \**rēg-*/\**rēg̃io-s* > кельт. \**rīg-*/\**rīg̃io-*. Герм. *k* в соответствии кельт. *g* может быть объяснено только включенностью германского слова в германское передвижение согласных. Последовательность же: 1) *ē* > *i* (только кельт.); 2) заимствование кельт. *rik* в германский; 3) передвижение *k* > *g* (не только кельт., но и во многих индоевропейских языках), — по мнению Мейд, невыслима.

Многие германские заимствования восходят к германскому прототипу, который сам по себе является заимствованием из латыни; консерватизм фонетического облика прототипа заставляет вспомнить о готландском. Стоит упомянуть *kauppa* 'торговля, сделка' — слово, общее почти для всех прибалтийско-финских языков за исключением самого восточного — вепсского (нет его и в водском). Вполне допустимо предположить, что заимствование произошло существенно позже Р. Х. Что касается *au*, то готландское посредство было возможно и в средние века, т. к. готландский в противоположность др.-шведскому имел не *ō*, а *au*.

### 3. Германский, балтийский или славянский?

Германский, балтийский и славянский тесно связаны между собой внутри индоевропейской семьи: понятно, что у них немало взаимных лексических соответствий, так что не удивительно, что для некоторых прибалтийско-финских слов иноязычной природы конкурируют версии германского и балтийского и/или славянского происхождения.

Так, для следующих финских слов предлагаются и балтийские, и германские этимологии: *hulas*, *jo*, *kamppi*, *karja*, *kerta*, *kuve*, *liiva*, *napa*, *nauta*, *olut*, *parta*, *rastas/rästäs*, *rauta*, *ruis*, *tarha*, *terva*, *vaaja*, *vannas*, *varsi/varras* (ср. Hofstra 1985, 377). В большинстве случаев балтийский и германский прототипы родственны друг другу, например, для *jo*, *karja*, *napa*, *nauta*, *olut*, *parta*, *rastas*, *rauta*, *ruis*, *tarha*, *terva*, *vaaja*, *vannas*.

Число слов с хорошо обоснованными версиями германского и, наряду с этим, славянского происхождения существенно меньше. Отчасти причина в том, что славянское (русское) воздействие началось позже германского — в VI—VII вв. (Plöger 1973, 34; Décsy 1988, 626), тогда как первые прибалтийско-финско-германские контакты относятся, как убедительно и не раз продемонстрировал Койвулехто, уже к II тыс. до н. э. А потому естественно, что во время первых контактов носителей общезападного с носителями прото- или общезападного и прото- или общегерманского последние два были гораздо ближе друг к другу, чем германские и славянские языки в период первых прибалтийско-финско-славянских контактов, отразившихся в прибалтийско-финской лексике.

Признанная славяно-германская альтернатива — это фин. *vitsa* 'гибкий прут, перевясло' (во всех прибалтийско-финских) — рус. *ви́ца* или — герм. \**wipjā* > \**wipjō* > др.-исл. *við* 'перевясло (из ивы)' (Koivulehto 1979, 290). Фин. *muurahainen* 'муравей' (также карел., люд., вепс., эст.) сопоставляется с рус. *муравей* также, как с общегерм. \**mūra*/\**meuriōn* > др.-шв. *mūra* 'то же' (ср. также др.-исл. *maurr*); правда, как утверждает А. Плөггер (Plöger 1973, 320–321), связь с русским словом «крайне сомнительна» по фонетическим соображениям.

Три фонетически и семантически приемлемые интерпретации возможны и для *parta* 'борода' (кроме лив., во всех прибалтийско-финских языках). Эти возможности (герм., балт., слав.) SKES считает равнодопустимыми. Все предлагаемые прототипы тесно связаны между собой и восходят к реконструируемому традиционно и.-е. \**b<sup>h</sup>ard<sup>h</sup>ā* (для балт. и рус.) и соответственно \**b<sup>h</sup>ard<sup>h</sup>o-s*. В прибалтийско-финском названия частей тела заимствовались и из германской, и из балтийской, и из славянской лексики<sup>7</sup>. Коль скоро окончательно не установим источник, то нельзя точно определить и время заимствования<sup>8</sup>. Для *olut* 'пиво' (кроме люд., практически во всех прибалтийско-финских языках) источником могли служить не только балтийский, германский или славянский, но и диалекты иранского (Joki 1973, 294–295); все предполагаемые

<sup>7</sup> Из рус.: *kassa* 'прическа, коса' (рус. *коса*); из балт.: *hammas* 'зуб', *kaula* 'шея', *reisi* 'бедро'; из герм.: *hartia* 'плечо', *maha* 'желудок'; из герм. или балт.: *kuve* 'пах', мн. ч. 'бедра', *napa* 'пуп'.

<sup>8</sup> Датировка затруднена и во многих случаях, когда возможно только заимствование из германского. Так, фин. *haka* 'ограда, выгон' (также карел.) может отражать общегерм. \**xagan*, и получившуюся из него общесканд. форму, и, наконец, др.-шв. *haghi* (косв. *hagha*) 'забор, выгон'.

прототипы тесно связаны между собой. Странно, что *olut* отсутствует в списке балтизмов у С. Сухонена (Suhonen 1988).

Трудности с различением балтийского и германского прототипов для заимствований в прибалтийско-финский воскрешают в памяти один пассаж из работы Х. Краэ о происхождении древнейших гидронимов Центральной Европы и балтийского ареала: «Наречие Средней Европы II тыс. до н. э. еще не было столь „определено“, его языковой строй не столь окончателен, чтобы можно было „предвидеть“, станет ли оно некогда кельтским или германским, „италийским“ или иллирийским» (Krahe 1964, 85).

В конце стоит коснуться слова *udar, utare* 'вымя'. Койвулехто предположил для ряда прибалтийско-финских слов, имеющих параллели в мордовском и/или пермском, германское происхождение. По поводу подобных предполагаемых германизмов, распространившихся вплоть до волжского и пермского, в свое время я уже задавал вопрос, могли ли (и если да, то каким образом) некоторые прибалтийско-финские германизмы достичь волжского и/или пермского: здесь необходимо дополнительное объяснение (Hofstra 1985, 391–402). В некоторых случаях сходство между германскими словами, с одной стороны, и прибалтийско-финскими и волжскими, с другой, может быть лишь случайным. В прочих приводимых Койвулехто примерах подобие форм и значений может корениться и в заимствовании из германского. Весьма заманчиво к тому же проверить, нельзя ли, учитывая возможность прибалтийско-финско-волжско-финского распространения, связать опять-таки с германским какие-то из встречающихся не только в прибалтийско-финском, но и в марийском и/или мордовском слов, которые до сих пор считались «арийскими» заимствованиями.

Для засвидетельствованных во всех приоб.-фин. языках слов *utare* или *udar* 'вымя' предполагают обычно «арийское» происхождение, для сравнения ссылаются на др.-инд. *ūdhar* 'вымя' (ср. SKES V, 1512). Мордовск. *odar* и марийск. *wađar, wođar* имеют то же значение, что и *utare*; UEW (1988, 806) определяет эту лексическую группу как финно-волжскую, в качестве источника предлагая: «< общепар. или общепаран., ср. санскр. *ūdhar-* 'вымя, грудь', лат. *über*, ср.-в.-нем. *üter* 'вымя'». *Udar* некоторые считают балтизмом; по этому поводу А. Йоки замечает: «Хотя это слово как будто не представлено в иранских языках, но балтийское происхождение вряд ли можно предполагать» (Joki 1973, 332f). В иранском нет фонетически соответствующего этимона со значением 'вымя', в балтийском засвидетельствованы только производные. В

словаре Б. Коллиндера это слово сравнивается с др.-инд. *ūdhar-* п. без знака вопроса, однако отмечено: «...не исключено балтийское происхождение» (Collinder 1977, 149). В отдельных германских языках встречаются следующие формы: др.-в.-нем. *ūtar, ūtir*, ср.-в.-нем. *üter*, др.-сакс. *ūder*, др.-англ. *ūder* 'вымя'. Общим этимологическим знаменателем этих западногерманских форм является (общегерм.) *\*ūdera-*, *\*ūdara*<sup>9</sup>. То, что германское слово зафиксировано только в западногерманском, не исключает возможности германского происхождения приоб.-фин. *utare*, т. к. широкое распространение слова в прочих индоевропейских языках (индийский, греческий, латинский) позволяет допустить его наличие — по всей вероятности, наряду с аблаутным вариантом *\*eudara-* и в общегерманском. Передача общегерм. долгого приоб.-фин. кратким гласным встречается и в других заимствованиях, например, *hakea, rikas, kolea, runo*.

По распространенности *udar* сравнимо с *kärsiä* 'терпеть, переносить, страдать'. Последнее слово (с соответствиями в приоб.-фин., мордов. и марийск., а также саамск.) Койвулехто считает германским заимствованием (например, Koivulehto 1971, 606); хотя UEW и не принимает такой трактовки, она все-таки заслуживает поддержки.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Anttila-Embleton 1988 — R. Anttila & Sh. Embleton. Rev. of: V. V. Shevoshkin & T. L. Markey (eds.). Typology, Relationship and Time. Ann Arbor, 1986 // Canadian Journal of Linguistics 33, 1988, 79–89.
- Collinder 1977 — B. Collinder. Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm, 1977.
- Décsey 1988 — Gy. Décsey. Slavischer Einfluß auf die uralischen Sprachen // D. Sinor (Ed.). The Uralic Languages: Description, History and Foreign Influences. Leiden e. a., 1988, 616–637.
- Hakulinen 1979 — L. Hakulinen. Suomen kielen rakenne ja kehitys. 4-s painos. Helsinki, 1979.
- Hirvonen 1979 — I. Hirvonen. Onko ims. *huikea* skandinaavista alkuperää? — Sananjalka 21, 1979, 51–56.
- Hofstra 1985 — T. Hofstra. Ostseefinnisch und Germanisch. Groningen, 1985.

<sup>9</sup> Хотя в др.-в.-нем. нет примеров с *-ar-*, реконструкция *\*ūdara-* с *-a-* во втором слогe (Kluge-Seebold 1989, 192) вполне приемлема. *Euter* 'вымя' — древняя и.-е. основа на *\*r/n*, как *Wasser* 'вода', а последнее слово, часто встречающееся в раннесредневековых текстах, выступает как др.-в.-нем. *wazzar*, др.-сакс. *watar*.



- Joki 1973 — A. J. Joki. Uralier und Indogermanen. Helsinki, 1973.
- Kluge-Mitzka 1967 — F. Kluge, W. Mitzka. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 20. Aufl. Berlin, 1967.
- Kluge-Seebold 1989 — F. Kluge, E. Seebold. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 22. Aufl. Berlin e. a., 1989.
- Kortlandt 1988 — F. Kortlandt. Proto-Germanic Obstruents // *Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik* 27, 1988, 3–10.
- Koivulehto 1971 — J. Koivulehto. Germanisch-finnische Lehnbeziehungen. I // *Neuphilologische Mitteilungen* 72, 1971, 577–607.
- Koivulehto 1976 — J. Koivulehto. Vanhimmista germaanista lainakosketuksesta ja niiden ikäämisestä // *Virittäjä* 80, 1976, 33–47, 247–290.
- Koivulehto 1979 — J. Koivulehto. Lainoja ja lainakerrostumia // *Virittäjä* 83, 1979, 267–301.
- Krahe 1964 — H. Krahe. Unsere ältesten Flußnamen. Wiesbaden, 1964.
- Kylstra 1988 — A. D. Kylstra. *Arpa*-sanan alkuperästä // *S.-L. Hahmo e. a. (toim.). Omaa vai lainattua.* Helsinki, 1988, 9–16.
- Meid 1987 — W. Meid. Germanische oder indogermanische Lautverschiebung? // *R. Bergmann u. a. (Hrsg.). Althochdeutsch I: Grammatik, Glossen und Texte.* Heidelberg, 1987, 3–11.
- Meid 1989 — W. Meid. Das Problem von indogermanisch (b). Innsbruck, 1989.
- Nyky-suomen sanakirja. 5-s painos. Porvoo & Helsinki, 1976.
- Noreen 1904 — A. Noreen. Altschwedische Grammatik mit Einschluss des Altgutnischen. Halle, 1904.
- Plöger 1973 — A. Plöger. Die russischen Lehnwörter der finnischen Schriftsprache. Wiesbaden, 1973.
- Saareste 1958 — A. Saareste. Eesti keele mõisteline sõnaraamat I. Stockholm, 1958.
- SKES — Suomen kielen etymologinen sanakirja. I—VII. Helsinki, 1955–1981.
- Suhonen 1988 — S. Suhonen. Die baltischen Lehnwörter der finnisch-ugrischen Sprachen // *D. Sinor (Ed.). The Uralic Languages: Description, History and Foreign Influences.* Leiden e. a., 1988, 596–615.
- Taiminen 1979 — A. Taiminen. Itämerensuomalaisten kielten *huikea* // *Sanomia. Juhlakirja Eeva Kangasmaa-Minnin 60-vuotispäiväksi* 14.4. 1979. Turku, 1979, 285–326.
- UEW — K. Rédei. Uralisches etymologisches Wörterbuch. I—II. Budapest, 1986–1988.
- Vennemann 1984 — Th. Vennemann. Hochgermanisch und Niedergermanisch // *Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur* 106. Tübingen, 1984, 1–45.
- Vennemann 1987 — Th. Vennemann. Betrachtung zum Alter der Hochgermanischen Lautverschiebung // *R. Bergmann u. a. (Hrsg.). Althochdeutsch I: Grammatik, Glossen und Texte.* Heidelberg, 1987, 29–53.
- Wessén 1968 — E. Wessén. Die nordischen Sprachen. Berlin, 1968.

## К. РЕДЕИ

ДРЕВНЕЙШИЕ ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ  
В УРАЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ

**Место и время контактов.** В связи с контактами между уральцами и индоевропейцами можно поставить ряд принципиальных вопросов, касающихся как географии и хронологии этих контактов, так и фонетической адаптации заимствований.

Где находились исходные места обитания уральцев или финно-угров? На этот счет существуют две конкурирующие теории.

Согласно П. Хайду, уральская прародина в VI–IV тысячелетиях до н. э. локализовалась в Западной Сибири, между нижним и средним течением Оби и Уральскими горами. Разделение уральцев на финно-угров и самодийцев могло произойти не позднее 4000 г. до н. э. Затем часть населения оказалась в Европейском Приуралье, в бассейнах рек Печоры и Камы. Финно-угорский период длился приблизительно до конца III тыс. до н. э. Недостаток этой теории состоит в том, что она не объясняет ранние контакты с индоевропейским (доиндо-иранским, ранним праиндо-иранским) населением.

Согласно другой теории (Х. Оянсуу, Х. Паасонен, Э. Н. Сетяля, Ю. Тойвонен, А. Йоки, Э. Итконен), исходная уральская прародина занимала обширную территорию. Э. Итконен (Itkonen 1968, 11–34; 1969, 303–306) подчеркивает, что финно-угры вступили в контакт с индоевропейцами в Европе, и никоим образом не в Сибири. Его теория согласуется с концепцией археолога А. Х. Халикова, в соответствии с которой прародина уральцев и финно-угров простиралась от Волги до Урала, переходя через Урал в Сибирь, а прародина финно-угров — во всяком случае, ареал охотников на дикого оленя — протягивалась до Прибалтики и даже до Финляндии. Конечно, между Финским заливом и Уральскими горами могли жить и другие народы. Такая локализация исходного местобитания хорошо согласуется с данными о языковых контактах между уральцами (финно-уграми) и индоевропейцами.

Я не ставлю задачи подробно рассмотреть различные теории относительно прародины индоевропейцев. Ряд исследователей (Ю. Покорный — см. Scherer 1968, 181, 213, 305–306; Н. С. Трубецкой —

Ibid., 221; А. Шерер — Ibid., 300–303; А. Неринг — Ibid., 343, 388; Э. Пулграм — Ibid., 471) предполагает, что она располагалась в Восточной Европе, точнее, на юге России к северу и северо-западу от Черного моря и на восток до Каспийского моря. Согласно А. Шереру, «собственно прародину индоевропейского народа, точнее, языка этого народа, т. е. место, где произошло соединение различных, вероятно, по происхождению элементов с образованием характерного 'индоевропейского' языкового облика, правильнее всего искать в сравнительно ограниченном регионе по соседству с хабитатом уральцев, т. е. в центральной или южной части России» (Scherer 1968, 303). А. Неринг: «Если совместить все языковые и исторические или доисторические данные, то нельзя не прийти к выводу, что в определенный период так называемой индоевропейской предыстории все индоевропейские народы жили в регионе, протягивавшемся от Прикаспийской низменности на восток в Азию и на запад в Европу. Беря за основу эту территорию, экспансию восточных и западных групп легко объяснить как расширение исходного индоевропейского региона» (Scherer 1968, 397). Где бы ни находилась индоевропейская прародина, можно считать бесспорным, что доиндо-иранские или праиндо-иранские народы, у которых заимствовали лексику уральцы и финно-угры, жили в области к северу от Черного моря (Tomaschek 1883; Ю. Покорный — Scherer 1968, 182; Расторгуева 1966, 195; Gimbutas 1970, 155–197; 1963, 538–571). Локализация исходной индоевропейской прародины в Азии (см. Оранский 1960, 50–51; Расторгуева 1966, 195) не слишком вероятна (Ю. Покорный). В последнее время вопросы прародины и периодизации индоевропейской предыстории подробно рассмотрела М. Гимбутас. По ее мнению, индоевропейские импульсы первой курганной эпохи (Курган I) еще не достигли уральцев. В IV–III тыс. до н. э. — в среднюю курганную эпоху — культура курганов уже распространилась на обширной территории. Для этой эпохи уже нельзя говорить об индоевропейском праязыке. В уральском и финноугорском обнаруживаются следы доиндо-иранских и праиндо-иранских воздействий, относящиеся к экспансионной третьей курганной эпохе (Курган III, приблизительно 3500–3000 гг. до н. э.). Соседями доиндо-иранцев и праиндо-иранцев (а позднее иранцев), живших на севере степной зоны, были уральцы, а позднее финно-угры лесной зоны. Впоследствии культура курганов распространилась в степную часть Казахстана и в степи Западной Сибири. Наиболее типичным хозяйственным укладом в степи и лесостепи было кочевое скотоводство. К числу важнейших домашних животных относились коровы, овцы, козы,

свиньи, а самое главное — лошади. Такой исторический фон полностью соответствует той информации, которую можно почерпнуть из индо-иранских заимствований в финно-угорских языках.

Между различными стадиями языкового развития нельзя провести четких хронологических или географических границ: за праиндо-иранской эпохой последовали доиранская, праиранская, а затем древне- и среднеиранская эпохи. На всех этих стадиях происходила непрерывная передача культурных импульсов от живших южнее народов к финно-угорским народам, занимавшим более северные территории. В первой части своего исследования я рассматриваю древнейшие заимствования (доиндо-иранские, ранние праиндо-иранские и праиндо-иранские). Небольшая часть этих слов была заимствована в прауральский период (см. этимологии первой группы). В финно-угорскую эпоху контакты стали более интенсивными. Благодаря этому увеличилось и число заимствований (см. этимологии второй группы). Среди слов, которые с финно-угорской точки зрения должны рассматриваться как относящиеся к финно-пермскому или финно-волжскому слоям, имеется ряд таких, которые, судя по их фонетическому облику, следует считать заимствованиями из индо-иранского. Вероятно, эти слова были заимствованы очень рано — в конце финно-угорской или в начале финно-пермской эпохи (около 3000 г. до н. э.) и в течение финно-пермской эпохи (III тыс. до н. э.). С индоевропейской точки зрения также не возникает трудностей при трактовке этих заимствований как индо-иранских, поскольку распад индо-иранской языковой общности можно, видимо, отнести к началу II тыс. до н. э. (Расторгуева 1966, 195; Оранский 1979, 51–52). Эта периодизация приводит нас к заключению, что финно-волжские заимствования из индо-иранского также проникли еще в финно-пермскую эпоху. Если эти слова действительно восходят к поздней финно-угорской или финно-пермской эпохам, то это указывает на то, что исходная финно-угорская (а затем финно-пермская) прародина реально протягивалась далеко на запад — до Волги, а возможно и до Прибалтики.

С середины XVIII в. исследователи стали объяснять общие черты уральских и индоевропейских языков как результат их взаимного родства. Лишь позднее зародилась мысль о контактном происхождении этих черт. Первым безусловным сторонником контактной теории был В. Томашек. В XX в. часть лингвистов (Х. Паасонен, Э. Н. Сетяля) заняла осторожную позицию в отношении индо-уральской проблемы; другие (Ю. Тойвонен, Л. Хакулинен, П. Равила, Э. Итконен) в своих работах писали о кон-

тактной основе общих черт в языках двух семей. Гипотеза индо-уральского родства если и упоминалась вообще, то без солидаризации с ней.

Наиболее видным сторонником теории индо-уральского языкового родства был Бьерн Коллиндер, пытавшийся обосновать это родство в ряде своих работ (Collinder 1934; 1943; 1954; 1965). Он опирался на сходство в местоимениях, в некоторых морфологических элементах (аккузатив, аблатив, маркер мн. числа, ряд деривационных суффиксов) и на лексические этимологии. Сходного мнения придерживался А. Й. Йоки. В своей фундаментальной монографии («Уральцы и индоевропейцы», 1973) он объясняет ряд соответствий в местоимениях языковым родством (см. этимологии под № 47, 55, 63, 160, 179 — Joki 1973). Кроме того, в качестве древнейших общих элементов он рассматривает слова, отнесенные нами здесь к первой группе, а также ряд спорных или ошибочных этимологий. Б. Коллиндер (1965, 111–136) оперирует пятьюдесятью, А. Й. Йоки (1973) — не более чем двадцатью словами уральского или финно-угорского происхождения, которые должны свидетельствовать об индо-уральском родстве. Это различие в объеме корпуса связано с тем, что многие из этимологий Коллиндера ошибочны; кроме того, ряд слов, объяснявшихся ранее как наследие родства, Йоки трактует как индо-иранские или иранские заимствования.

Число морфологических элементов, рассматривавшихся как восходящие к общему языку-предку, чрезвычайно мало, и никакой системы они не образуют. Поэтому их нельзя использовать как доказательства родства двух языковых семей. Если они не заимствованы, то их внешнее сходство — не более, чем результат фонетического совпадения.

Что касается местоимений, то фонетические сходства обнаруживаются не только между уральским и индоевропейским, но и между местоимениями в уральских, алтайских, юкагирском языках и т. д. По своему происхождению местоимения — дейктические элементы, ввиду чего они развиваются фонетически не так, как имена и глаголы. Фонетические изменения у местоимений определяются также тем обстоятельством, что в каждом языке они образуют независимую, замкнутую систему и, изменяясь, оказывают взаимовлияние друг на друга. Фонетическое сходство между уральскими и индоевропейскими местоимениями обусловлено скорее всего звуковым символизмом. Таким образом, это сходство не пригодно для обоснования дистантного родства между языками.

Некоторые исследователи не исключают, что сходство в морфологических элементах и местоимениях можно объяснить заимствованием в том или другом направлении. Если это так, то индоевропейско-уральские контакты должны были начаться в уральскую эпоху. Согласно Ю. Покорному (см. Scherer 1968, 211, 305–306), можно предполагать наличие в индоевропейском финно-угорского компонента — финно-угорского субстрата. К природе языковой близости и языковых контактов в древнейшие эпохи относится мнение Н. С. Трубецкого: «Общие черты в рудиментарных элементах лексики и морфологии не свидетельствуют об общем происхождении, поскольку любые элементы человеческого языка могут заимствоваться и поскольку, в особенности на низких стадиях развития, самые рудиментарные слова и морфемы переходят из одного языка в другой. П. Кречмер был в свое время прав, подчеркивая, что между заимствованиями и языковым родством имеется только хронологическая разница» (см. Scherer 1968, 215). Ср. также мнение о присутствии в индоевропейском праязыке различных компонентов, в частности финно-угорского и кавказского (Scherer 1968, 205).

Слова, включенные нами в первую — относящуюся к прауральской эпохе — группу, рассматривались Коллиндером и Йоки как свидетельства языкового родства. Следует, впрочем, упомянуть, что в двух более ранних работах Коллиндер склонялся к трактовке этих слов как заимствований (Collinder 1960, 37; 1962, 40). Некоторые исследователи (например, Hakulinen 1979, 349–351) указывают на проблематичность индоевропейских связей этих слов, другие же (например, Toivonen 1952; 1953) в своих работах об урало-индоевропейских связях вообще не высказываются по их поводу. Количество этих слов столь незначительно — их всего семь, — что их нельзя рассматривать как серьезное свидетельство в пользу общности происхождения уральских и индоевропейских языков. Исследователи урало-индоевропейских контактов полагали, что существуют индо-иранские (или, возможно, праиранские) заимствования, относящиеся к финно-угорской эпохе, но не к прауральской эпохе. Распространено мнение, что уральский праязык не мог заимствовать лексику из все еще единого индоевропейского праязыка ввиду хронологических и особенно географических причин. Но, как уже отмечалось выше, ряд исследователей придерживается локализации индоевропейской прародины на юге России к северу и северо-востоку от Черного моря. Если данная гипотеза верна, то вполне вероятно, что оба праязыка — индоевропейский и уральский — с незапамятных времен соседствовали и контакти-

ровали друг с другом. В таком случае следует считаться с той возможностью, что источником древнейших заимствований был непосредственно индоевропейский язык. Контакты могли происходить в областях к северу от Черного моря, на границе степей и лесной зоны, в которой жили уральцы. Но до тех пор, пока индоевропейцы не пришли к удовлетворительным выводам касательно локализации прародины, этот вопрос приходится оставить открытым. По нашему мнению, можно с высокой долей вероятности предположить, что слова первой группы восходят если не к праиндоевропейскому, то по крайней мере к доиндо-иранскому — к языковому состоянию, близкому праиндоевропейскому (ок. 4000 г. до н. э.). Это предположение правдоподобно и с географической точки зрения: во вторую курганную эпоху (приблизительно 4000–3500 гг. до н. э.) доиндо-иранское или праиндо-иранское население занимало обширный регион в Северном Причерноморье (ср. Joki 1973, 360 и сл.). Еще одним свидетельством доиндо-иранского происхождения может служить то, что реконструируемые уральские праформы этих слов очень сходны с реконструируемыми индоевропейскими праформами. Поразительное фонетическое сходство между уральскими и индоевропейскими реконструкциями также говорит в пользу версии о заимствовании. (В случае языкового родства ожидалась бы более значительная фонетическая дивергенция!) В доиндо-иранской лексике еще сохраняется индоевропейская триада гласных (\**ẽ*, \**õ*, \**ã*), а палатальные (\**k̃*, \**k̃h*, \**g̃*, \**g̃h*) еще не превратились в сибиланты. Что касается ауслата, то следует отметить, что индоевропейские консонантные основы приобретали в прауральском конечный гласный *e*. Таким образом, прауральские этимологии, включенные в первую группу, составляют первый (древнейший) слой индоевропейских заимствований в уральских языках.

Среди этих слов только одно (№ 6) относится к сфере культурной лексики. Остальные связаны с элементарными понятиями; заимствование подобных слов обусловлено билингвизмом в зоне контакта, а также экономическим и культурным престижем носителей языка-источника.

Вторую группу составляют финно-угорские этимологии — всего 18 слов. 12 из них представляют собой доиндо-иранские или ранние праиндо-иранские, а 6 — праиндо-иранские заимствования. Они попали в финно-угорский праязык не позднее 3000 г. до н. э.

Внутри этой группы по фонетическим критериям можно выделить два хронологических слоя. Для доиндо-иранских и ранних праиндо-иранских заимствований первого слоя характерно

сохранение индоевропейской триады гласных (\**ẽ*, \**õ*, \**ã*) и отсутствие сибилантизации палатальных (\**k̃*, \**k̃h*, \**g̃*, \**g̃h*). Архаическое состояние вокализма наблюдается и в словах под № 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ? 18, 22, 23, 24, 25. На индоевропейские палатальные \**g̃*, \**g̃h* указывает субституция этих согласных финно-угорскими согласными \**j*, \**k*, \**γ*, \**w* (№ 8, 9, 22, 24). Сюда же можно отнести и этимологию № 15, поскольку ф.-у. \**n̄c̄* может отражать не только доиндо-ир. (или раннее праиндо-ир.) \**n̄s̄*, но и предшествующую стадию \**n̄k̄* (= \**nk̄*). В одном случае (№ 16) находим праиндо-ир. *r* вместо и.-е. *l*.

В более молодых праиндо-иранских заимствованиях индоевропейские палатальные уже превратились в сибиланты (\**k̃*, \**k̃h*, \**g̃*, \**g̃h* > \**s̄*, \**sh̄*, \**z̄*, \**zh̄*), а гласные \**ẽ*, \**õ*, \**ã* все совпали в праиндо-ир. \**ã*. Праиндо-иранскую сибилантизацию отражают этимологии № 19, 20, 21; во всех этих словах можно одновременно предполагать сохранение исходного гласного \**e*. К № 10 и 11 фонетические критерии неприменимы; в них ф.-у. \**a* соответствует праиндо-ир. \**ã*. В одном случае (№ 24) на месте (ранне)праиндо-ир. *e* находим ф.-у. *i*.

Можно также отметить, что в финно-угорском к индоевропейским консонантным основам добавлялись, как правило, гласные \**a*, \**ä*, \**e* или гласный, качество которого не поддается определению (з).

Третью группу составляют финно-пермские и финно-волжские этимологии. Финно-пермский период длился, по-видимому, с конца III до середины II тыс. до н. э., а финно-волжский период — с середины II до середины I тыс. до н. э. (Согласно мнению М. Корхонена (Korhonen 1976, 11–13; 1984, 63–66), финно-пермский период завершился в начале II тыс. до н. э. К этому времени, разумеется, предки прибалтийских финнов уже могли достичь Прибалтики: расширение области обитания не означает распада языкового единства. По Корхонену, финно-волжская эпоха завершилась в середине II тыс. до н. э.) К третьей группе относятся 39 слов. Нами были приняты во внимание только бесспорные и очень вероятные этимологии — те, для которых финно-пермское или финно-волжское происхождение является с позиций сравнительного финно-угроведения очевидным. Число слов индоевропейского происхождения, относящихся к этой группе, может, конечно, быть гораздо большим. В отдельных случаях я отнес к ней слова, представленные только в прибалтийско-финских, или волжских, или пермских языках, порой и представленные всего в одном языке. Несмотря на их ограниченную распространенность, фоне-

тические критерии индоевропеистики указывают на (ранне)праиндо-иранское или (ранне)праиранское происхождение соответствующих слов. Применительно к ним следует считаться с двумя возможностями: а) слово в других языках оказалось утраченным; б) индоевропейское слово проникло лишь в ограниченную часть региона, заселенного носителями прафинно-пермского или прафинно-волжского языков. В пользу второго объяснения говорит то, что приток новых индо-иранских и иранских заимствований был особенно характерен для пермских и волжских, а не для «окраинных» прибалтийско-финских и угорских языков. Этим объясняется и то, почему значительная часть индо-иранизмов и иранизмов обнаруживается только в западных финно-угорских языках — в финно-пермской и финно-волжской ветвях. В этой связи я хотел бы подчеркнуть, что в финском языке есть всего 9 слов этой группы (№ 27, 46, 51, 53, 57, 58, 60, 61, 64), которые могут быть индо-иранского, либо раннепраиранского либо праиранского происхождения. Из них 8 имеют соответствия и в других финно-пермских или финно-волжских языках. Слово № 27 с его прибалтийско-финскими соответствиями отражает праиндо-иранский или ранний праиранский источник. С учетом сказанного выше можно полагать, что и это слово было заимствовано в финно-пермский или финно-волжский период. Поскольку в прибалтийско-финском не удастся выделить никаких непосредственных иранских заимствований, можно констатировать, что после распада финно-волжского языкового единства у прибалтийских финнов не было контактов с иранцами (ср. Лыткин 1975, 88).

Внутри третьей группы также можно различить два слоя, оба из которых включают и финно-пермские, и финно-волжские этимологии. Первый слой составляют ранние праиндо-иранские заимствования. В них индоевропейские палатальные уже сибилантизировались, однако вокализм архаичен — сохраняется индоевропейская триада гласных (\**ē*, \**ō*, \**ā*). Таковы № 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 52, 54, 55, 59, 60, 63.

Второй слой содержит праиндо-иранские, ранние праиранские и праиранские заимствования: № 26, 27, 31, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 64.

Среди слов третьей группы — ряд важных культурных терминов: «оглобля» (26), «зерно» (30), «кастрированный боров» (37), «свинья, поросенок» (42), «соль» (47), «мякина» (51), «бык, вол» (56), «вымя» (59), «топор, молоток» (62). Эти слова показывают, что в конце финно-угорской или в начале финно-пермской эпохи уже существовали определенные хозяйственные и культурные

различия между восточной (впоследствии угорской) и западной (впоследствии финно-пермской) группами. Нельзя, конечно, исключить ту возможность, что некоторые из этих слов (что отмечается в отдельных статьях) были заимствованы не из индо-иранского, а из более позднего языкового состояния — праиранского. Поздний праиндо-иранский и ранний праиранский могли в языковом отношении очень мало различаться. Поскольку с финно-угорской точки зрения удовлетворительны обе гипотезы, надлежащее объяснение данной проблемы является задачей индоевропеистов.

Индоевропейские заимствования сгруппированы в моей работе по разным хронологическим слоям (уральский, финно-угорский, финно-пермский, финно-волжский) в соответствии с их распространением в уральских языках. Такая группировка и периодизация могут быть поставлены в соответствие с различными стадиями, выделяемыми для индоевропейской языковой эволюции на основе археологических и фонетических критериев. Принимая во внимание археологическую периодизацию и фонетические процессы, можно разграничить четыре отличимых друг от друга хронологически и лингвистически уровня.

Первый слой образуют доиндо-иранские заимствования уральского праязыка. Некоторые слова, оцениваемые с точки зрения их распространения как финно-угорские, также могут быть заимствованы из доиндо-иранского; в этом случае их следует относить к прауральскому, а не к финно-угорскому уровню. Если, однако, придавать решающее значение отсутствию этих слов в самодийских языках, то их можно возводить к раннему праиндо-иранскому, по сути дела идентичному или очень близкому к доиндо-иранскому. Фонетические критерии для разграничения этих двух языковых состояний фактически отсутствуют: индоевропейская триада гласных и палатальные сохраняются без изменений. Таким образом, второй слой можно отграничить от первого только на основе распространения заимствований в финно-угорских языках. Третий слой включает ранние праиндо-иранские слова, в которых индоевропейские палатальные уже превратились в сибиланты, тогда как триада гласных все еще сохраняется. Подобные слова отражены в качестве заимствований в финно-пермских и финно-волжских языках. С учетом архаического облика индоевропейских прототипов не исключено, что часть заимствований, отраженных этими языками, проникла не в финно-пермский или финно-волжский, а в финно-угорский период. Если, однако, они все же были заимствованы в финно-пермский пери-

од, на что указывает их распространение, то источником их мог являться индо-иранский диалект с архаическим вокализмом. С учетом архаического облика индо-иранских прототипов, этимологии, представленные в финно-волжских языках, могут отражать заимствования финно-пермского или даже финно-угорского периода. С точки зрения индоевропеистики четвертый слой состоит из слов, в которых палатальные уже сибилантизировались, а гласные \**ē*, \**ō*, \**ā* совпали в индо-иранском \**ā*. Некоторые слова, относящиеся к этому слою, были заимствованы в конце финно-угорской эпохи (ок. 3000 г. до н. э.), другие — в начале финно-пермской эпохи (ок. 3000 — 2500 гг. до н. э.). Слова, оцениваемые на основе их распространения как финно-волжские, не могли быть в действительности заимствованы в финно-волжскую эпоху (с середины II до середины I тыс. до н. э., или ок. 2500 — 1500 гг. до н. э.) — ибо этот хронологический интервал соответствует уже праиранскому периоду, — а проникли по крайней мере в финно-пермский, если не в финно-угорский период.

Небезынтересно, пожалуй, сгруппировать обсуждаемые слова по разграничиваемым таким образом слоям. Это позволит нам увидеть, выделение каких хронологических слоев возможно с индоевропейской точки зрения, вне учета дистрибуции рефлексов соответствующих этимологий в уральских языках. При отсутствии фонетических критериев одна этимология порой может быть отнесена к двум или даже трем слоям — подобная ситуация обозначается вопросительным знаком перед номером этой этимологии.

1) Доиндо-иранские заимствования: № 1, 2, 3, 4, 5, 7. — Этот слой содержит прауральские этимологии.

2) Доиндо-иранские или ранние праиндо-иранские заимствования: № 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25. — Слой содержит финно-угорские этимологии.

3) Ранние праиндо-иранские заимствования (триада гласных еще сохранена, палатальные уже сибилантизированы): № ?28, 29, ?30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 52, 54, 55, 59, 60, 63. — К этому слою принадлежат финно-пермские и финно-волжские этимологии.

4) Праиндо-иранские заимствования: № 10, 11, 19, 20, 21, 26, ? 27, ? 28, ? 31, 44, 48, ? 50, ? 51, ? 53, ? 56, ? 57, ? 58, ? 61, ? 62, ? 64. — Финно-угорские, финно-пермские и финно-волжские этимологии.

5) Ранние праиранские или праиранские заимствования: № ? 27, ? 30, ? 31, 46, ? 48, ? 50, ? 51, ? 53, ? 56, ? 57, ? 58, ? 61, ? 62, ? 64. — Финно-пермские и финно-волжские этимологии.

## Индоевропейские заимствования\*

### Первая группа

1. ПУ \**miγe-* 'дать; продать' (фин. *myy-*) < доИИ \**mei-* 'обменять; меновое изделие', \**meig<sup>u</sup>-* 'обменять' (др.-инд. *mināti*).
2. ПУ \**muške-* (\**moške-*) 'мыть' (эст. *mōske-*) < доИИ \**mozge-* ~ \**mezge-* (др.-инд. *mājjati*).
3. ПУ \**nime* 'имя' (фин. *nimi*) < доИИ \**en(o)m<sub>1</sub>-*, \*(*o*)*nom<sub>1</sub>-*, \**nōm<sub>1</sub>-*, по предположению ларингалистов: \**h<sub>1</sub>neh<sub>3</sub>m<sub>1</sub>-*, \**h<sub>1</sub>neh<sub>3</sub>men-*, \**h<sub>1</sub>nēh<sub>3</sub>men-* (др.-инд. *nāma*).
4. ФУ \**se<sub>1</sub>ne* (\**sōne*) 'жила' (фин. *suoni*) < доИИ \**snē<sub>1</sub>-(e)r-*, \**sen-* или \**se/one-(w-)* (др.-инд. *snāva (-an-)*).
5. ФУ \**toγe-* 'принести, дать' (фин. *tuo-*) < доИИ \**doγ<sup>w</sup>-*, \**dow-*, \**dō-*, соотв. \**dō-* : \**də* , \**dō-u* : \**dəu* (др.-инд. *dā-* : *dādāti*).
6. ПУ \**waške* 'некий металл, ? медь' (фин. *vaski*) ≥ тох. \**was*, \**wās* : А *wās* 'золото', *wsā-yok* 'золотой — о цвете', В *yasa* (*y-* < \**w-*) 'золото'.
7. ПУ \**wete* 'вода' (фин. *vesi*) < доИИ \**wed-*, \**wod-*, \**ud-* (авест. *vaidi-*).

### Вторая группа

8. ФУ \**aja-* 'гнать, охотиться' (фин. *aja-*) < доИИ или раннеПИИ \**agō-* : \**ag-* (др.-инд. *ājati*).
9. ФУ \**arwa* (\**arγa*) 'цена, стоимость' (фин. *arvo*) < доИИ или раннеПИИ (др.-инд. *arghāḥ*).
10. ФУ \**asr<sub>3</sub>r<sub>3</sub>* 'господин, вождь' (морд. *azoro*) < ПИИ \**asura-* др.-инд. *āsuraḥ*).
11. ФУ \**kan<sub>3</sub>-* 'сыпать, бросать; копать' (коми *kundī-*) < ПИИ \**kan-* (др.-инд. *khānati*).
12. ФУ \**kota* 'шалаш, чум, дом' (фин. *kota*) < доИИ или раннеПИИ \**kota* (авест. *kata-*).
13. ФУ \**mekše* 'пчела, *Apis mellifica*' (фин. *mehiläinen*) < доИИ или раннеПИИ \**mekš-* (др.-инд. *mākṣā*).
14. ФУ \**mete* 'мед' (фин. *mesi*) < доИИ или раннеПИИ \**médhu-* (др.-инд. *mādhu*).
15. ФВ, ? ФУ \**o<sub>1</sub>ca* ~ \**o<sub>1</sub>ca* 'часть, доля; делить' (фин. *osa*) < доИИ или раннеПИИ \**onśo-* (др.-инд. *ámśaḥ* 'доля').

\* Подробно соответствующие этимологии рассмотрены в работе: Rédei 1986.

16. ФУ \**ora* 'шило' (фин. *ora*) < доИИ или раннеПИИ \**ōrā* (др.-инд. *ārā*).
17. ФУ \**orpa(s)* ~ \**orwa(s)* 'сирота; вдова' (фин. *orpo*) < доИИ или раннеПИИ \**orbho(-s)* (др.-инд. *ārbhaḥ*).
18. ФУ \**repā(čz)* 'лиса' (фин. *repo*) < ? доИИ или раннеПИИ \**reupōšo-* (зап.-ИИ \**raupāša-*) (др.-инд. *lōpāsāḥ, rūpakā-*).
19. ФУ \**śasra* (≥ \**śarsa*) 'тысяча' (удм. *śurs*) < ПИИ \*(*sa-*)*žha-sra-* (др.-инд. *sahāśram*).
20. ФУ \**śata* 'сто' (фин. *satu*) < ПИИ \**śata(-m)* (др.-инд. *śatām*).
21. ФУ \**śorwa* 'рог' (фин. *sarvi*) < ПИИ \**śruva, śruva* (авест. *srvā-, srū-*).
22. ФУ \**teke-* 'делать' (фин. *teke-*) < доИИ или раннеПИИ \**dhē-, dhē<sub>1</sub>-* или \**dhək-* (др.-инд. *dādhdātī*).
23. ФУ \**wetä-* 'вести, тянуть' (фин. *vetä-*) < доИИ или раннеПИИ \**uedh-, ued-* (авест. *vad-*).
24. ФУ \**wiγe-* 'брат, нести' (фин. *vie-*) < доИИ или раннеПИИ \**uegh-* 'тянуть, ехать' (др.-инд. *vāhati*).
25. ФУ \**wosa* 'товар, продажа' (фин. *osta-*) < доИИ или раннеПИИ \**uos-, ues-* (др.-инд. *vasnām*).

## Третья группа

26. ФП \**ajša* 'оглобля' (морд. *ažija, ažja*) < ПИИ \**aiša* (др.-инд. *išā*).
27. ФП или ФВ \**ajwa* (или \**ajva* ?) 'один, одинокий; именно, только' (фин. *aiva*) < ПИИ или раннеПИИ \**aiva* (др.-инд. *ékaḥ, evā*).
28. ФП \**antz* (\**ontz*) 'молодая трава, дерн, росток' (мар. *ođar*) < (ранне)ПИИ (др.-инд. *āndhaḥ*).
29. ФП \**ertäs* ~ \**ertä* 'бок, сторона' (саам. *ærte*) < раннеПИИ \**erdhas* и \**erdha-* (др.-инд. *ārdha-ḥ*).
30. ФП \**jewä* (> ФВ \**jüwä*) 'зерно, злаки' (фин. *juvä*) < раннеПИИ \**jeua-* или раннеПИИ \**jeva-* (др.-инд. *yávaḥ*).
31. ФП, ФВ (возможно, только волжск.) \**kara-* 'копать' (морд. *kara-*) < ПИИ или ПИ/ДИ (авест. *kar-*).
32. ФВ \**kečträ* ~ \**kešträ* 'веретено; ? прясть' (фин. *kehrä*) < раннеПИИ \**ketstro-, kēstro-* (Коивулеhto), \**kerstro-* (Mayrhofer) (др.-инд. *cāttram, cattram*).
33. ФП \**martas(e)* 'мертвый, умирающий; смертный, человек, мужчина' (фин. *marras*) < раннеПИИ \**mrtas* или \**martas* (др.-инд. *mārtah*).

34. ФП \**mertä* 'человек, мужчина' (морд. *mirde*) < раннеПИИ \**mrta-* или \**merta-* (др.-инд. *mārtah*).
35. ФВ \**niḍa-*, \**niḍä-* или \**niḍa-*, \**niḍä-* 'прикрепить, приклеить, привязать' (фин. *nito-*) < ? раннеПИИ \**ned-* : \**ned-* или \**nedh-* (др.-инд. *nāhyati, naddhrī*).
36. ФВ \**oγke* 'удочка, крючок' (фин. *onki*) < ? раннеПИИ (др.-инд. *añkāḥ*).
37. ФВ \**oraše* '(кастрированный) боров' (фин. *oras*) < ? раннеПИИ \**vorōž(ho)-* (др.-инд. *varāhāḥ*).
38. ФП \**orja* 'раб' (фин. *orja*) < раннеПИИ (др.-инд. *ariḥ, aryāḥ* и т. д.).
39. ФП \**oska* или \**oksa* 'вяз; ясень' (морд. *ukso, uks*) < ?? раннеПИИ (ср. арм. *hači* и т. д.).
40. ФП \**pakas(e)* 'бог' (морд. *raz, pas, pavas*) < раннеПИИ (др.-инд. *bhāgaḥ*).
41. ФП \**pakas(e)* 'счастье' (морд. *pavas*) < раннеПИИ (др.-инд. *bhāgaḥ*).
42. ФВ, ? ФП \**poršas* (\**porčas*) 'свинья, поросенок' (фин. *por-sas*) < раннеПИИ \**poršos* (авест. *pərəsō*).
43. ФП \**puntaksz* ~ \**punta* 'дно, почва' (мар. *pənḍaš*, коми *pjid*) < раннеПИИ \**bhundas* и (ранне)ПИИ *bunda-* (др.-инд. *budhnāḥ*).
44. ФП, ФВ, праморд. \**rava* 'река' (морд. *rav, ravo*) < ПИИ \**sravā-* или иран. \**rava-* (др.-инд. *srāvati*).
45. ФВ \**rešmä* 'канат' (морд. *rišme*) < раннеПИИ \**rešmi-* (др.-инд. *raśmiḥ*).
46. ФП \**saja* 'тень' (удм. *saj*) < ПИ \**sāya* (др.-инд. *chāyā*, пехл. *sāyag*).
47. ФП \**salz* (\**sala*) 'соль' (фин. *suola*) < раннеПИИ \**sal-* (др.-инд. *salilā-*).
48. ФП \**sasare* '(младшая) сестра' (морд. *sazor*) < ПИИ или раннеПИИ \**śas-ar-* (др.-инд. *śāsā (-ar-)*).
49. ФП \**setz* (\**sejtz*) 'мост, пол' (морд. *sed*) < раннеПИИ (др.-инд. *śetuḥ*).
50. ФП, ФВ \**śaka* или \**śawa* 'коза' (морд. *šeja, śava*) < ПИИ или раннеПИИ (др.-инд. *chāgaḥ*).
51. ФП \**śuka* 'мякина, щетина' (фин. *suka*) < ПИИ или раннеПИИ \**śūka-* (др.-инд. *śūkaḥ*).
52. ФП \**taiwas(e)* 'небо' (фин. *taivas*) < ПИИ \**daivas* (др.-инд. *devāḥ*).
53. ФП \**tarna* 'трава, сено' (фин. *taarna, tarna*) < ПИИ или ПИ (др.-инд. *tṛṇam*).

54. ФП *\*tarwas(e)* 'серп' (морд. *tarvaz*) < ? раннеПИИ *\*dhar-gas* или *\*darghas* (др.-инд. *taravāriḥ*).
55. ФП *\*terne* 'молозиво; ? теленок' (фин. *terni*) < ? ранне-ПИИ (др.-инд. *tarṇakaḥ*).
56. ФП *\*uškz* 'бык, вол' (коми *əš, ęšk-*) < ПИИ или ПИ (др.-инд. *ukṣā*).
57. ФП *\*utare* 'вымя' (фин. *udar*) < ПИИ или ПИ (др.-инд. *ūdhar-*).
58. ФП *\*waṛka* 'ручка (сосуда)' (фин. *vanka, vanko*) < ? ПИИ или раннеПИ *\*vanka-* (др.-инд. *vaṅka-*).
59. ФП *\*warkas(e) ~ \*werkas(e)* 'волк' → 'черт' (морд. *veṛges, veṛgas*) < раннеПИИ *\*vṛkas* (др.-инд. *vṛkaḥ*).
60. ФП, ФВ *\*warsa* 'самец : жеребенок, теленок' (фин. *varsa*) < раннеПИИ *\*vrsā-* > *\*vṛšā-* (др.-инд. *vṛṣā- (-an-)*).
61. ? ФП, ФВ *\*wasa* 'теленоч' (фин. *vasa*) < ПИИ или раннеПИ *\*vasa-ka* (др.-инд. *vatsáḥ*).
62. ФП *\*wašara* 'топор, молоток' (фин. *vasara*) < ПИИ или ПИ *\*vašra-* (др.-инд. *vájraḥ*).
63. ФП *\*wermen(e)* ? 'ткань, одежда, снаряжение' (фин. *vermen*) < ? раннеПИИ *\*vermen-* (др.-инд. *várman-*).
64. ФП *\*viša* 'яд' ⇨ 'зеленый, желтый' (фин. *viha, vihanta, vihreä*) < ПИИ или ПИ *\*viša* (др.-инд. *viśam*).

Сокращения: ДИ — древнеиранский, ИИ — индо-иранский, ПИ — праиранский, ПИИ — праиндо-иранский, ПУ — прауральский, ФВ — финно-волжский, ФП — финно-пермский, ФУ — финно-угорский.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Лыткин 1975 — В. И. Лыткин. Пермско-иранские языковые контакты // ВЯ, 1975, № 3, с. 84–97.
- Оранский 1960 — И. М. Оранский. Введение в иранскую филологию. М., 1960.
- Оранский 1979 — И. М. Оранский. Иранские языки в историческом освещении. М., 1979.
- Расторгуева 1966 — В. С. Расторгуева. Иранские языки // Языки народов СССР. Индоевропейские языки. М., 1966, т. 1.
- Collinder 1934 — B. Collinder. Indouralisches Sprachgut. Uppsala, 1934.
- Collinder 1943 — B. Collinder. Indouralisches Nachlese. Uppsala, 1943.
- Collinder 1954 — B. Collinder. Zur indo-uralischen Frage. Uppsala, 1954.

- Collinder 1960 — B. Collinder. Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm, 1960.
- Collinder 1962 — B. Collinder. Introduktion till de uraliska språken. Uppsala, 1962.
- Collinder 1965 — B. Collinder. Hat das Uralische Verwandte? Eine sprachvergleichende Untersuchung. Uppsala, 1965.
- Gimbutas 1970 — M. Gimbutas. Proto-Indo-European Culture: The Millennia B. C. // Indo-European and Indo-Europeans. The University of Pennsylvania Press, 1970.
- Hakulinen 1979 — L. Hakulinen. Suomen kielen rakenne ja kehitys. 4. painos. Helsinki, 1979.
- Itkonen 1968 — E. Itkonen. — In: O. Ikola (ed). Suomen kielen käsikirja. Helsinki, 1968.
- Itkonen 1969 — E. Itkonen. Zur geographischen Ausdehnung der finnisch-ugrischen Urheimat // Ural-Altäische Jahrbücher, Bd. 41, 1969, S. 303–306.
- Joki 1973 — A. J. Joki. Uralier und Indogermanen. Helsinki, 1973.
- Korhonen 1976 — M. Korhonen. Suomen kantakielen kronologiaa // Virittäjä, 1976, s. 3–18.
- Korhonen 1984 — M. Korhonen. Suomalaisten suomalais-ugrilainen tausta historiallis-vertailevan kielitieteen valossa // Suomen väestön esihistorialliset juuret. Bidrag till kannedom av Finlands natur och folk. Helsinki, 1984, s. 84–97.
- Rédei 1986 — K. Rédei. Zu den indogermanisch-uralischen Sprachkontakten. Wien, 1986.
- Scherer 1968 — A. Scherer (ed.). Die Urheimat der Indogermanen. Darmstadt, 1968.
- Toivonen 1952 — Y. H. Toivonen. Zur Frage der finnisch-ugrischen Urheimat // Journal de la Société Finno-Ougrienne 56/1, 1952, p. 3–41.
- Tomaschek 1883 — W. Tomaschek. Ethnologisch-linguistische Forschungen über den Osten Europas // Das Ausland, 1883, S. 701–706.



## Й. КОЙВУЛЕХТО

РАННИЕ ИНДОЕВРОПЕЙСКО-УРАЛЬСКИЕ  
ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ

Индоевропейско-уральские контакты имели место начиная с прауральской эпохи. Это обстоятельство признает и К. Редей, выделяющий группу и.-е. заимствований общеуральского (прауральского) времени (Rédei 1986, 40–43). Помимо исторической фонетики, критерием в этих случаях служит распространение заимствований: эти слова обнаруживаются и в самодийском, и с учетом межъязыковых фонетических соответствий удается реконструировать прауральские формы. Для некоторых из семи входящих в эту группу этимологий сохраняются, впрочем, проблемы с фонетическим соотношением с предполагаемым и.-е. («доиндоиранским») источником, прежде всего в отношении вокализма. Так, например, остается необъясненным, как соотносится ур. *i* в *\*nime* 'имя' с и.-е. праформами, которые, как известно, не содержат никакого *i* (ср. *\*h<sub>1</sub>neh<sub>3</sub>men-*, Mayrhofer 1986, 126; *\*en(o)mn-*, *\*(o)nomn*, *\*nōmn*, IEW, 321; см. еще Гамкрелидзе–Иванов 1984, 937). Напротив, среди рассматриваемых у Редей случаев не создают трудностей ур. *\*moške-* 'мыть' = эст. *mōške-* (марийские и пермские формы указывают, однако, на *\*u*, ввиду чего Редей в качестве основного варианта дает реконструкцию *\*muške-*; подобная нерегулярность естественна, если речь идет о заимствованиях) из и.-е. *\*mozg-* (точнее, из каузатива-итератива и.-е. *\*mozg-éye/o-*, представленного в др.-инд. *majjáyati* 'погружает, окунает' или из итератива типа и.-е./добалт. *\*mozg-ah<sub>2</sub>-ye/o-*, представленного в лит. *mazgóti*, *mazgóju* 'мыть', к и.-е. корню *\*mezg* 'окунуть') и ур. *\*wete* 'вода' (из и.-е. *\*wed-[er/en-]*); аналогично ур. *\*toɣe-* 'принести, дать' (из и.-е. *\*doh<sub>3</sub>-*, Sköld 1960, 26–33, ср. др.-инд. *dá-dāti* 'даёт', греч. *δί-δοῦμι* 'даю' — следует, конечно, исходить из нередуцированной формы; заимствование относится к ур. или, возможно, только к ф.-у. эпохе: см. Sammallahti 1988, 550 и ср. Janhunen 1981, 248). — Существование и.-е. заимствований общефинно-угорского распространения признается уже с давних пор (вторая группа согласно Rédei 1986, 43–49).

Ниже я привожу еще несколько новых и.-е.-ур. контактных этимологий, для которых с учетом распространенности следует предполагать ур. древность.

1. Ур. *\*pehe-*, представленное в морд. *pije-* 'вариться', коми *pi-* 'варить(ся), кипеть, кипятить', манс. *pāj-* 'вариться', (произв.) *pājt-* 'варить', венг. *fő-* 'вариться', (произв.) *főz-* 'варить', сам. *\*pi-* 'созревать, вариться' (Janhunen 1981, 245: *\*pexi-*; UEW, 368: *\*peje-*): из и.-е. *\*b<sup>h</sup>eh<sub>1</sub>-(ye/o-)*, представленного в герм. *\*bē-je/a-* > д.-в.-н. *bā(j)en*, ср.-в.-н. *bā(j)en*, н.-в.-н. *bāhen* 'парить, сушить'; сюда же причастие и.-е. *\*b<sup>h</sup>eh<sub>1</sub>-to-* 'нагретый' > герм. *\*bafa-* 'баня, ванна'; и.-е. основа *\*b<sup>h</sup>eh<sub>1</sub>-* 'греть' и под., сюда же с расширением греч. *φῶγω* 'жарю', герм. *\*bake/a-* 'печь' (IEW, 113). К соотношению транзитивных и интранзитивных значений ср. нем. *kochen* 'варить(ся)', *sieden* 'кипеть, кипятить', *braten* 'жарить(ся)', совмещающие оба типа значений. В прауральскую эпоху еще не было огнеупорных сосудов для варки пищи, и еда варилась — фактически грелась, парилась — в специальных закрытых ямах. Древнескандинавское название таких ям — *seyðir*, к герм. *\*seuþa-* 'кипятить, варить'.

2. Ур. *\*pune-/puna-*, представленное в фин. *puno-* 'плести', саам. *bodne-* 'прясть, плести', морд. *pona-* 'плести', мар. *pāne-*, *pune-* 'вить, плести' (также в удм., коми, хант., манс.), венг. *fon-* 'прясть; плести', сам. *\*pān-* 'плести' (Janhunen 1981, 245: *\*puni-/punā-*; UEW, 402: *\*puna-*): из и.-е. глагольной основы с нулевой ступенью аблаута *\*pn-e/o-* (к корню *\*[s]pen-*), которая представлена в балто-славянском: лит. *pinti*, *pinù* 'плести', лтш. *pīt*, *pinu* 'то же', русск. *пясть*, *пну* 'натягивать'. К тому же корню восходит герм. *\*spenna-* 'прясть'. В уральском после лабиального *p* был вставлен в качестве слогоносителя (с тем, чтобы была достигнута структурно необходимая двусложность глагольной основы) огубленный гласный *u*.

3. Ур. *\*suxe-*, представленное в саам. *sukkâ-* 'грести' (также в мар., коми, хант., манс.), сам. *\*tu-* 'грести' (Janhunen 1981, 245: *\*suxi-*; UEW, 449: *\*suɣe-*): из и.-е. глагольной основы с нулевой ступенью аблаута *\*suH-e/o-* (к корню *\*sewH-* 'гнать, подгонять'), представленной в др.-инд. *suváti* 'приводит в движение, подгоняет, побуждает, возбуждает', а также 'наделяет, позволяет': 'грести' = 'приводить в движение лодку' (ср. также др.-инд. *sūta-ḥ* 'возница, конюший'). Второе значение др.-инд. слова идентично семантике фин. *suo-* 'наделять, позволять', которое фонетически точно возводится к урал. *\*suxe-*: ср. фин. *juo-* 'пить' < ф.-у. *\*juxe* (> саам. *jukkâ-* 'то же'). Очевидно, что и фин. *suo-* заимствовано

из и.-е. \*suH-e/o- (сепаратное, параллельное заимствование?). Значение 'грести' выражается в прибалтийско-финском суффиксированной формой \*sūγ-ta- > фин. *souta-*. Венг. *evez* с тем же значением может отражать полногласную ступень и.-е. \*sewH- (венг. -z- — суффикс).

4. Ур. \**tukta*, представленное в саам. (с метатезой) *totko* 'лодочные, корабельные шпангоуты' (шведско-саам.), мар. *tāktā* 'шпангоут, распорка (лодки)', коми *tik* 'перекладина', хант. *tōγāt*, *tōγāt* 'перекладина в лодке, челноке', манс. *toxt*, *tokt* 'то же', венг. *tat* 'корма; поперечная доска-распорка, одновременно служащая сиденьем в челноке', сам. \**tētā* 'перекладина, сиденье в лодке' (Janhunen 1981, 227: \**tuktā*; UEW, 534: \**tuktV*). Ур. слово должно находиться в связи с лтш. (диал.) *tukte*, *tukta*, *tukts* (\**tuks*) 'кривые брусья внутри лодки', мн. ч. *tukti* 'лодочный каркас', *tukta* также 'стойка в телеге' (ME IV, 258, дополн. II, 701), лит. (диал.) *tūktas*, *tuktā* 'дверная петля'. Нужно только установить направление заимствования. Разница в распространенности слов — с одной стороны общеуральской, с другой только (?) балтийской — говорит, казалось бы, о направлении урал. > балт. Но имеются два обстоятельства, указывающие на обратное. Во-первых, семантика: если бы балт. слово было заимствовано из ур. (точнее, из раннеприб.-фин.) источника в качестве технического термина с четким значением, то семантическое развитие в сторону лит. 'дверная петля' выглядело бы странным, тогда как в случае автохтонности слова оно легко объяснимо (ср. нем. *Angel* 'петля', собственно 'изгиб'). Во-вторых: балт. слово вряд ли можно этимологически разобщить с герм. \**puftōn-* 'скамья, банка в лодке' (> д.-в.-н. *dofta*, др.-сканд. *þofta* и т. д., заимствовано в приб.-фин. как фин. *tuhto* 'скамья, банка в лодке') и герм. \**pustōn-* 'то же' (> д.-в.-н. *dosta*); с и.-е. -k- к этой же группе образований относится полная аблаутная ступень в и.-е. \**teuko-* > герм. \**reuha-* > др.-сканд. *þjó* 'бедро, ляжка', к семантике ср. исл. *þjó* (также) 'загнутая часть косы, привязываемая к рукоятке' — норв. *tjo*, швед. диал. *tju* 'то же', далее лит. *tāukas* 'кусок жира' (таким образом имеем: и.-е. \**tewk-/tūk*, \**tewb<sup>h</sup>-/tub<sup>h</sup>-*, [?] \**tews-/tus*, ср. IEW, 1080ff.). Тем самым можно постулировать уже добалт./и.-е. \**tuk-to-/tūk-tā* (= *-tah<sub>2</sub>*) наряду с догерм. \**tub<sup>h</sup>-tā* (и \**tus-tā*), а мотивирующим оказывается значение типа 'укрепление, уплотнение': шпангоуты, распорки и перекладки служили для растягивания в ширину и укрепления тонкобортного челнока, и противопоставление реалий 'шпангоут' (на западе уральского мира) — 'перекладина' (на его востоке) обусловле-

но различием между двумя соответствующими архаическими способами укрепления (см. Sirelius 1913). Таким образом, заимствование в направлении и.-е./добалт. > ур. выглядит, пожалуй, более вероятным, чем в противоположном направлении (?).

В рассмотренных выше примерах 1, 2, 4 предполагаемый и.-е. оригинал представлен исключительно в германском или в балто-славянском. Специфическая близость к германо-балто-славянскому проявляется и в таких заимствованиях, которые имеются только на западе уральского языкового мира, особенно в прибалтийско-финском или в финно-мордовском, и в соответствии с принятыми представлениями датируются более поздней эпохой. Многие из них связаны с понятиями примитивного земледелия.

5. Раннеприб.-фин. \**ewäs* (\**eväs*), представленное в фин. *eväs*, род. п. *evään* (часто во мн. ч.) 'провизия в дорогу, съестные припасы, (диал.) пропитание, харчи' (имеется также в карел., ливик., водск.): из и.-е./добалт. \**yewo-s* (им. п.), представленного в лит. *jāvas* 'злак', др.-инд. *yáva-ḥ* 'злак, зерно, ячмень' и т. д. Будучи производной основой на *-äs*, приб.-фин. слово уже самой своей структурой заставляет думать о заимствовании. Анлаутный *j-* должен был исчезнуть в приб.-фин. эпоху (непосредственно при заимствовании или в ходе вторичного развития): древних фин. слов с анлаутными *je-* или *ji-* не существует (ср. № 13). К семантическому соотношению 'зерно, ячмень' ~ 'провизия, пища' ср., например, др.-прусс. *moasis* 'ячмень' = лтш. *māize* 'хлеб; пища, пропитание', *ceļa māize* 'провизия в дорогу' ~ лит. *miežis* 'ячмень'. Фин. *eväs* следует рассматривать как заимствование, проникшее в более западных регионах (и позднее?), чем фин. *juvä* < фин.-перм. \**jüwä* как отражение того же и.-е. слова (давно известная этимология, см. Rédei 1986, 50–51); поскольку в последнем случае имела место лабиализация \**je-* > \**jü-*, *j-* смог сохраниться.

6. Раннеприб.-фин. \**kaske*, представленное в фин. *kaski*, род. п. *kashen* 'пожог, подсека' = 'пашня с золой на месте выжженного леса; (также) подготовленный к пожару сухой лес', (диал.) 'молодой лиственный лес' (также в карел., людик., вепс.: 'пожог, подсека', в эст. и лив.: 'береза'): из и.-е./догерм. именной основы \**h<sub>2</sub>azg-V-*, представленной в д.-в.-н., др.-сканд. *aska* 'зола' и т. д. Исходной основой является и.-е. \**h<sub>2</sub>as-* 'жечь; высушивать'. К семантике ср. фин. *palo* 'пожар; пожар', к фин. *pala-* 'гореть'. Значение 'береза' в эст. и водск. вторично: старые пожарища зарастают преимущественно березняком.

7. Фин.-морд. \*kaswa-, представленное в фин. kasva- 'расти, возрастать' (общеприб.-фин.), морд. kaso- 'то же' (UEW, 129): из и.-е. \*h<sub>2</sub>awks-e/o-, представленного в греч. αἰῶω 'умножаю; расту', медиум αἰῶμαι 'расту', тох. В auks-, А oks- 'расти', лит. áukštas 'высокий' (старое причастие). Здесь мы имеем s-овое расширение к и.-е. \*h<sub>2</sub>awg-, представленному в лит. áugti, áugu 'расти' и т. д. В фин.-морд. недопустимое трехконсонантное сочетание -wks- упростилось с метатезой до -sw- (поскольку сочетание \*\*ws- было невозможным), при этом -ks- упростилось до -s-; упрощение -ks- в -s- при морфологических процессах имеет место и в современном финском языке.

8. Мар. kuška- 'расти' (UEW, 129) нельзя связать с фин.-морд. \*kaswa- (№ 7) в соответствии с фонетическими законами. С учетом и.-е. данная проблема решается: в данном случае и.-е. -ks- сохранено, но подверглось метатезе, как и в случае с мар. üškäž, üšküž 'бык' из индо-ир. \*ukṣan (> др.-инд. ukṣā и т. д.). В качестве и.-е. источника можно предполагать либо \*h<sub>2</sub>awks-e/o- (как в № 7; с утратой w), либо форму с нулевой ступенью аблаута \*h<sub>2</sub>uks-e/o-, представленную в др.-инд. úkṣati 'растет'. Мар. š фонетически закономерно из s. Таким образом, фонетическая нерегулярность соотношения между фин.-морд. и мар. глаголами объясняется параллельным заимствованием из и.-е., что придает данным этимологиям особую убедительность.

9. Фин.-морд. \*kesä, представленное в фин. kesä 'лето', саам. gässe 'то же', морд. Э kize 'то же', М kizä 'лето; год' (UEW, 660–661): из и.-е. \*h<sub>1</sub>es-en- 'время уборки урожая, лето'; основа на -en- представлена во вторичном производном ст.-сл. jesenь 'осень' и т. д., с o-ступенью в гот. asans 'урожай, лето'. Здесь мы имеем исходную гетероклитическую основу на -r/n-. В основе лежит, по-видимому, и.-е. \*h<sub>1</sub>es- 'быть, существовать': 'урожай' — это основа существования, жизни (ср. фин. elo 'жизнь; урожай'). И.-е. основа на -en- или, соответственно, -r/n-гетероклиза не обнаруживает в \*kesä никакого n-ового рефлекса, так же обстоит дело в более поздних герм. заимствованиях, равно как и в раннем заимствовании ур. \*wete 'вода'. Необходимость в слове, обозначающем 'лето' как 'время уборки урожая', возникла вместе с зачатками земледелия. Урал. словом со значением 'лето' было \*suŋe.

10. Доперм. = фин.-перм. \*pe(w)šenV, представленное в удм. piž 'сито' (pižni- 'просеивать'), коми (верхнесысольск.) роž, (язв.) piž 'то же' (požn-al- 'просеивать'): из и.-е./доиндо-ир. \*pewH-eno-, представленного в др.-инд. pavana- 'сито; очистка зерна', к и.-е. \*pewH-

'чистить'. В пермских языках -n- отражен только в глагольных производных, в имени он фонетически закономерно исчез в ауслаутном положении: ср. удм., коми piž, piž 'мука' — удм., коми pižn-al-, pižn-al- 'обсыпать мукой'; исходный -n- отражается в манс. pasən 'мука' (UEW, 408) — и.-е. \*pis-eno- > ст.-сл. pšeno 'пшено'.

11. Раннеприб.-фин. \*pošta- (← \*po[w]š-ta-), представленное в фин. pohta- 'просеивать зерно' (также в карел., вепс., водск., эст.): из и.-е./догерм. каузатива-итератива \*powH-éye/o-, представленного в герм. \*fauja- > д.-в.-н. fewen (fouwen), ср.-в.-н. vöuwen 'просеивать, чистить (зерно)', др.-инд. paváyati 'чистит, очищает'. В раннеприб.-фин. заимствованный переходный глагол был снабжен семантически адекватным суффиксом -ta-, как и многие другие заимствованные глаголы. Суффиксация дала \*pošta- ← \*powše- + -ta-: ср. фин. nosta- 'поднимать' ← nouse- 'подниматься' + -ta-. — Тожественные по значению морд. Э ponžavto-, М pon<sup>d</sup>žaftê могут быть возведены к и.-е. \*pu-n-eH/\*pu-n-H-, которое отражено в др.-инд. punāti 'чистит' < \*pu-n-eH-ti, punānti 'чистят' < \*pu-n-H-enti. Морд. o < u фонетически закономерно; -vto-, -ftê- является суффиксом.

12. Раннеприб.-фин. \*puštas, представленное в фин. puhdas, род. п. puhtaan 'чистый' (общеприб.-фин.): из и.-е. причастия \*puH-to-s, представленного в др.-инд. pūtá-h 'чистый, очищенный' (Sköld 1960, 37–40); в герм. не сохранилось (ср., однако, № 11).

13. Фин.-морд. \*inše, представленное в производном от этой основы фин. ihminen 'человек' (< \*inhi-m-inen, имеются и другие производные, общеприб.-фин.) и в морд. Э inže, М inži 'гость' (UEW, 627): из и.-е./догерм./доиндо-ир. \*ǵnh<sub>1</sub>-, \*ǵnh<sub>1</sub>-e/o-, \*ǵnh<sub>1</sub>-ye/o-. Из этих трех праформ первая отражена в др.-инд. jā-h 'отпрыск, потомок, создание, существо', вторая — в герм. \*kuna- > др.-сканд. kon-r 'сын, знатный человек', третья — в герм. \*kunja- > др.-сканд. kyn 'род, семья, порода', др.-англ. cynn 'род, порода; семья, народ' и т. д.; здесь мы имеем именные производные с нулевой ступенью аблаута к и.-е. \*ǵnh<sub>1</sub>- 'рождать, производить на свет', ср. параллельно с o-ступенью др.-инд. jāna-h 'создание, человек' = греч. γένος 'рождение; отпрыск'. И.-е. \*ǵn- (где -n- является слогоносителем) субституируется в заимствовании через \*in-. Выбор в качестве слогоносителя палатального гласного i (утраты слоговости не должно было происходить!) был обусловлен палатальностью и.-е. ǵ-; сам этот согласный должен был быть субституирован через j- (ср. ф.-у. \*aja-

'гнать' из и.-е. \**ag-e/o-* 'то же'), который, однако, не мог сохраниться в анлауте перед *i* (ср. № 5). Аналогичная субституция отражена в раннеприб.-фин. \**imeš* > фин. *ihme* 'чудо' (обще-приб.-фин.): из добалт. \**gn(h<sub>3</sub>)-m-* > балт. \**žim-* > лит. *žymė* 'знак, след'; ср. др.-сканд. *kyn* 'чудо' или лит. *žinià* 'известие, весть; искусство, волшебство', произведенные от того же и.-е. корня \**gnh<sub>3</sub>-* 'знать'. — К семантике 'гость' в морд. ср., например, фин. *kansa* 'народ' = вепс. *kanz* 'семья, потомство' = саам. *guos'se* 'чужестранец, гость' (< герм.), или удм. *murt* 'человек, мужчина; чужак, посторонний' (< и.-е./доиндо-ир.). Фин.-перм. слова со значениями типа 'человек, мужчина, род, народ, гость' часто представляют собой, как и следовало ожидать, заимствования. Об иноязычном происхождении говорит и сохранение *i* в морд.: в старой исконной лексике наблюдается соотношение приб.-фин. *i* = морд. *e*.

Примеры, количество которых, к сожалению, ограничивается рамками доклада, показывают, что с древнейших времен урало-язычное население поддерживало контакты в первую очередь с носителями тех индоевропейских диалектов, из которых впоследствии развились германские и балто-славянские языки (с и.-е. культурами шнуровой керамики и боевых топоров). Особенно явно свидетельствуют об этом древнейшие и.-е. заимствования финно-угорского Запада (раннеприбалтийско-финский, финно-мордовский). Глубокая древность контактов подтверждается, в частности, и ур. (ф.-у.) и фин.-перм./раннеприб.-фин. рефлексам и.-е. ларингалов. Различия рефлексов в инлауте — с одной стороны, ур./ф.-у. *-x-* = *-γ-* (а также *-k-*), с другой стороны, фин.-перм./раннеприб.-фин. (ф.-у.) *-š-* — отражает разные хронологические этапы: урал./ф.-у. *-x-* в позднейшие эпохи практически повсеместно исчез (имея уже исходно фонотактически ограниченную дистрибуцию), тогда как фонема *š* не входила в древнейший уральский инвентарь фонем (Janhunen 1981, 251; Sammallahti 1988, 482, 490). В анлауте в качестве рефлекса ларингалов выступает фин.-перм. *k-* (аналогичным образом в ранних герм. заимствованиях мы находим *k-* как субститут герм. *χ-*, см. подробнее Koivulehto 1988). Мои результаты согласуются и с данными археологии (см., например, Dolukhanov 1986).

#### ЛИТЕРАТУРА

Гамкрелидзе-Иванов 1984 — Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984, кн. I-II.

- Dolukhanov 1986 — P. M. Dolukhanov. Natural Environment and the Holocene Settlement Pattern in the North-Western Part of the USSR // *Fennoscandia archaeologica* 3 (1986), p. 3-16.
- IEW — J. Pokorny. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern; München, 1959.
- Janhunen 1981 — J. Janhunen. Uralilaisen kantakielen sanastosta // *JSFOu* 77, (1981), s. 219-274.
- Koivulehto 1988 — J. Koivulehto. Idg. Laryngale und die finnisch-ugrische Evidenz // *Die Laryngaltheorie und die Rekonstruktion des indogermanischen Laut- und Formensystems*, hrsg. von A. Bammesberger. Heidelberg, 1988, S. 281-297.
- Mayrhofer 1986 — M. Mayrhofer. Indogermanische Grammatik: Lautlehre. Heidelberg, 1986.
- ME — K. Mühlenschach, J. Endzelin. Lettisch-deutsches Wörterbuch. Riga, 1923-1932, t. I-IV. Erg. I-II. Riga, 1934-1946.
- Rédei 1986 — K. Rédei. Zu den indogermanisch-uralischen Sprachkontakten. Wien, 1986.
- Sammallahti 1988 — P. Sammallahti. Historical Phonology of the Uralic Languages // *The Uralic Languages*, ed. by D. Sinor. Leiden; New York; København — Köln, 1988, p. 478-554.
- Sirelius 1913 — U. T. Sirelius. Primitive konstruktionen an prähistorischen schiffen // *FUF* 13 (1913), S. 1-6.
- Sköld 1960 — T. Sköld. Drei finnische Wörter und die Laryngaltheorie // *KZ* 76, (1960), S. 27-42.
- UEW — K. Rédei. Uralisches etymologisches Wörterbuch. Budapest, 1986 ff, I ff.

А. В. ДЫБО

## К КУЛЬТУРНОЙ ЛЕКСИКЕ ПРААЛТАЙСКОГО ЯЗЫКА

ПА \*tir- 'хорошо жить': ТМ \*dirga- 'жить в достатке, обьедаться', \*dirā-mi 'толстый', Тю \*dirig 'жизнь'.

Ниже приводится предварительная выборка лексики праалтайского (трех материковых семей) языка по тематическим классам, наполнение которых может быть информативно для выводов об образе жизни праалтайцев. Внутри каждого класса выделены тройные и парные сопоставления по всем сочетаниям семей.

## Природа

ТМ ~ Мо ~ Тю: 1. \*t'uk'p'ar- 'пыль, земля': ТМ \*tuKala, Мо \*toγar-ag, \*toγar-sun, Тю \*toprak; 2. \*siaŕ- 'плохая земля': ТМ \*siru-n 'песок', Мо \*siru-γa 'земля, пыль, почва', Тю \*siaŕ > \*sāz, чув. šur 'болото'; 3. \*bur- 'пыль, глина': ТМ \*bura-ki 'пыль, снежная пыль', Мо \*bur-gi- 'подниматься, клубиться (о пыли), порошок (о снеге)', Тю \*bōŕ 'пыль, песок, глина'; 4. \*buk'z- 'остров': ТМ \*buKa-čan, Мо \*buka 'канал', Тю \*bük 'роща у проточной воды, мокрый луг, холм'; 5. \*ata- 'переваливать через горы': ТМ \*ala 'перевал', \*ala- 'переваливать', (?) Мо alu-s 'с другой стороны', Тю \*aš- 'переваливать'; 6. \*tiol'a 'камень': ТМ \*žolo, Мо \*čila-γun, Тю \*tial' > \*tāš, чув. čul.

ТМ ~ Тю: 1. \*t'or' 'земля, пыль': ТМ \*tur, Тю \*tōz; 2. \*gaKz 'болото': ТМ \*gaKa-hta 'клюква', Тю \*kak; 3. \*tere- 'речка': ТМ \*deren 'верховье реки', Тю \*dere 'река, долина'; 4. \*taŕ-ŕ- 'брод': ТМ \*dagu- 'переправляться вброд', \*dagur/n 'брод', Тю \*dajoz 'мель'; 5. \*t'eri- 'дно': ТМ \*terin 'обух', Тю \*terin 'дно, глубокий'; 6. \*t'eγu-ŕ/n 'озеро': ТМ \*teγur/n 'озеро', Тю \*teγiz 'море'; 7. \*k'ül- 'гореть': ТМ \*xul-duj- 'гореть, пламя', Тю \*kül 'зола'.

ТМ ~ Мо: 1. \*mür- 'вода': ТМ \*mū, Мо \*müren 'река'; 2. \*lamu- 'водоем': ТМ \*lāmu 'море', Мо \*namug 'болото'; 3. \*kew/p'e- 'равнина': ТМ \*keβ/fe-kte, Мо \*keγe-re 'степь'; 4. \*p'ülne- 'пепел, зола': ТМ \*fulne-kte, Мо \*füne-sun.

Мо ~ Тю: 1. \*k/k'ada 'скала': Мо \*kada, Тю \*када; 2. \*p'oj 'долина, лес': Мо \*foi 'лес', Тю \*ōj 'долина, низина, котловина';

3. \*gowl 'долина, середина': Мо \*gowl, Тю \*kōl; 4. \*p'ioltu- 'звезда': Мо \*φodu-n, Тю \*jultu-ŕ.

## Сезонные явления

ТМ ~ Мо ~ Тю: 1. \*γer- 'свет, светить': ТМ \*γeri 'свет', Мо \*gere- 'светить', Тю \*jar- 'светить'; 2. \*dulz- 'теплый': ТМ \*dul- 'пригревать', Мо \*dula-γan 'теплый', Тю \*jilig 'теплый'.

ТМ ~ Тю: 1. \*nara 'теплый': ТМ \*nama, Тю \*jara; 2. \*sioXu- 'холодный': ТМ \*siaxu-ra- 'замерзать', Тю \*soguk 'холодный'; 3. \*toγo- 'замерзать': ТМ \*doγo-, Тю \*doγ-; 4. \*t'epü 'непогода': ТМ \*teβu-kse 'облако, пасмурность', Тю \*tipü 'метель'; 5. \*p'iagz- 'непогода': ТМ \*figin 'вихрь, буря', Тю \*jag- 'идти (о дожде)'; 6. \*k'ad- 'дуть (о ветре)': ТМ \*xeduj-, Тю \*kād 'метель, метелить'; 7. \*γaŕa- 'ясная погода': ТМ \*nāŕa 'ясное небо', Тю \*aŕaz/aγaz 'ясная погода, засуха'.

ТМ ~ Мо: 1. \*beigi- 'замерзать': ТМ \*bejgi-, Мо \*beγere-; 2. \*p'eGü- 'жаркий': ТМ \*feku-, СрМо he'ü-si- 'страдать от жары'; 3. \*žiuv- 'лето': ТМ \*žiβa, Мо \*žun < žuun; 4. \*aga 'дождь, воздух': ТМ \*aga > Ма aga 'дождь', Мо \*aγaγar > Письм. Мо aγar, Халха agaar, Ордос. aGāri и под. 'воздушное пространство'; 5. \*kure/a: ТМ \*kure- 'ветер, буря', Мо \*kura 'дождь'.

Мо ~ Тю: 1. \*t'ün- 'темное время': Мо tüne 'темнота', Тю \*tün 'вечер'; 2. \*ür- 'светить': Мо \*ör 'рассвет', Тю \*ürüŕ 'белый'; 3. \*k/k'iar- 'снег': Мо \*kir-mag, \*kir-aγu 'иней', Тю \*kiar > \*kār, чуваш. jur 'снег'; 4. \*k/k'öl- 'быть прохладным': Мо \*köl-de- 'заморозить', Тю \*köle- 'давать тень'; 5. \*k/k'üz- 'холодное время': Мо \*küj-tü-n 'холод', Тю \*küz 'осень'; 6. \*boro- 'мести (о вьюге)': Мо \*boro-γan 'буран' (заим. в ТМ), Тю \*boro-; 7. \*zAl- 'ветер': Мо \*sal-kin, Тю \*jel.

## Флора

ТМ ~ Мо ~ Тю: 1. \*niwer- 'кустарник': СТМ \*niβek 'карликовая береза, тальник', Мо \*nüγer-sun 'кустарниковая ольха', Тю \*jiv-ŕek 'ольха'; 2. \*puta 'прутья': ТМ \*p'oto 'тальник, верба', Мо \*φuda 'тальник', Тю \*pütak 'ветка'; 3. \*nīmu- 'черемуха': ТМ \*jim-ge-kte < \*nīm-ge-, Мо \*žimu-sun, Тю \*jumurt; 4. \*boXr- 'бобовое растение': ТМ \*boxri 'дикий горох', Мо buγur-čak, Тю \*burč- 'стручок'; 5. \*okt'a 'трава': ТМ \*okto 'лекарство', Мо \*ota, Тю \*ot; 6. \*tarigan

'злак': ТМ \**dargan* 'пырей', Мо \**tarijan* 'посевы', Тю \**darig* 'просо'; 7. \**žigd*- 'ягода': ТМ \**žikte*, Мо \**židge-ne*, Тю \**žigδ-lak*; 8. \**naqa* 'орех': ТМ \**naqi-kta*, Мо \**žiyak*, Тю \**jaqak*; 9. \**k'usi*- 'мелкий орех': ТМ \**xosi-kta* 'желудь', Мо \**kusi* 'кедр', Тю \**kusuk* 'мелкий орех'; 10. \**dil-gü* 'древесный сок': ТМ \**dilgu*, Мо \**žilii*, Тю \**jülü*.

ТМ - Тю: 1. \**p'ia* 'дерево': ТМ \**fia* 'береза', Тю \**aj-gač*; 2. \**bolgi* 'кедр': ТМ \**bolgi-kta* 'кедрач', Тю \**bōš* 'кедр'; 3. \**k'ewir*- 'ясень': ТМ \**xibagda*, Тю \**kävürü-č*; 4. \**deke*- 'растение, используемое для плетения': ТМ \**deke* 'тальник, изделия, плетеные из него', Тю \**jeken* 'камыш, изделия, плетеные из него'; 5. \**talk*- 'прутья': СТМ \**talgi*- 'валежник', Тю \**tālk* 'ива, ветка'; 6. \**sia/aig*- 'ива': ТМ \**sia-kta* < \**siag-kta*, Тю \**sEg-üt*; 7. \**meile*- 'рябина': ТМ \**mile-kte*, Тю \**b/mele-š*; 8. \**merü* 'вид ягоды': ТМ \**meru*- 'виноград', Тю \**mürü* 'ежевика, земляника'; 9. \**k'ant'ü*- 'конопля': ТМ \**xonta-kta* 'конопля, крапива', Тю \**kāntir*<sup>1</sup>.

ТМ - Мо: 1. \**mor*- 'дерево': ТМ \**mō*, Мо \**mo(r)-dun*; 2. \**kaw*- 'береза': ТМ \**kaβi* 'береста', Мо \**kuu-sun* 'береза'; 3. \**uGi*- 'береста': ТМ \**uki*- 'драть бересту', Мо \**ujil-sun* 'береста'; 4. \**olir/n*- 'дикая яблоня': ТМ \**ulin-kta* 'дикая яблоня, груша', Мо \**olir* 'дикая яблоня, слива'; 5. \**p'uli*- 'осина, тополь': ТМ \**fuli* 'осина, тополь, ясень', Мо \**qulija-sun* 'осина, тополь'; 6. \**čalз*- 'боярышник': ТМ \**žali-kta*, Мо \**dolugana*; 7. \**burga*:- ТМ \**burgan* 'прибрежные заросли', Мо \**burga-sun* 'тальник'; 8. \**sibe*- 'хвоц': ТМ \**siβe-k*, Мо \**sibel*; 9. \**k'ulз*- 'тростник': ТМ \**xulgu-kta*, Мо \**kulu-sun*; 10. \**uipte* 'корень': ТМ \**qujpte*, Мо \**ünde-sün*.

Мо - Тю<sup>2</sup>: 1. \**kadun* 'береза': Мо \**kadun*, Тю \**kadīn*; 2. \**t'og-  
ra*- 'широколиственное дерево': Мо \**toγorai* 'вид тополя', Тю \**toz*/\**tograk* 'осина, тополь'; 3. \**art'i*- 'арча, можжевельник': Мо \**arči*- 'арча', Тю \**art-uč* 'можжевельник'; 4. \**bögзr*- 'сборная костянка': Мо \**bōγerel*- 'малина, костяника', Тю \**bögürt-len* 'ежеви-

<sup>1</sup> Ср. также предложенное С. А. Старостиным сопоставление ТМ \**murgu* 'ячмень' < \**mudg*-, Ма *muži* (заимств. в орош., уд., ульч., нан.), солон. *murgil* 'яровое поле', Тю \**bugdai* 'пшеница' (сюда, видимо, не имеет отношения чув. *rəti*, баш. *burai* 'полба', связанные с бродячим названием полбы — ср. и.-е. \**pūr*-). Сравнение осложнено следующими моментами: а) для Тю следует предполагать нерегулярную метатезу \**dg* > \**gd* (ср. \**būdāik* 'большой' при ТМ \**burgu* 'толстый'); б) Мо *bugdai* 'пшеница' следует в таком случае считать тюркизмом; в) более ранним тюркизмом (до метатезы; не этимолоном, т. к. ПА \**m* > Мо \**m*) оказывается Мо *budaγa-n* 'зерно, крупа, каша, просо'.

<sup>2</sup> Не учитываются такие, например, случаи, как Тю *alma*-, Мо *alima* 'яблоко', Тю *arpa*, Мо *arbai* 'ячмень', Тю *bugdai*, Мо *bugdai* 'пшеница', где очень высока вероятность поздних заимствований.

ка'; 5. (?) \**balt'ir*- 'дыгиль, борщевник': Мо \**balčirgana* (возможно, из Тю), Тю \**baltirgan*; 6. \**k/k'ialga*- 'камыш, ковыль': Мо \**kilayana*, Тю \**kašak*; 7. \**t'ümke*: Мо \**tüŋge* 'стерня', Тю \**tömkek* 'корень, пень'; 8. \**k/k'ap'u*- 'кора': Мо \**kaγu-da-sun*, Тю \**kāruk*; 9. \**lap*- 'лист': Мо \**lab-čün*, Тю \**jaγur-gak*; 10. \**kawuř*- 'солома, мякина, шелуха': Мо \**kaγura-sun*, Тю \**kabuř*.

## Фауна

ТМ - Мо - Тю: 1. \**bukз*- 'олень, бык': ТМ \**bučan* < \**buku-čan* 'самец изюбра', Мо \**bugu* 'олень' (заим. в тюрк. *bugu* 'олень'), Тю \**būka* 'бык' (заим. в монг., ТМ); 2. \**sojk*- 'олень, лань': ТМ \**sok-žen* 'олень', Мо \**sogu* 'самка изюбра', Тю \**sojkun* > *sigin* 'олень'; 3. \**eli* 'мелкий олень': ТМ \**el-γe-ken* > \**enγe-ken* 'теленоч оленя', Мо \**ili* 'оленок', Тю \**Elik* 'олень, косуля'; 4. \**p'ök'e-r* 'бык, вол': СТМ \**huke-n* 'крупный рогатый скот', Мо \**qiker* 'бык, вол', Тю \**ökür* 'бык, вол'; 5. \**t'uku-l*- 'детеныш рогатого копытного': ТМ \**tuku-čan* (< \**tukul-čan*) 'оленок', Мо \**tugul* 'теленоч', Тю \**toklu* 'ягненок'; 6. (??) \**k'iar'a*: ТМ \**xiafa* 'теленоч оленя 1,5–2 лет'<sup>3</sup>, Мо \**gakai* 'свинья' (табуистическая метатеза из \**kaγai*?), Тю (кыпч.) \**kaban* 'дикая свинья' (< \**kā-ran*? Аз., турк. формы могут быть кыпчакизмами, тув. *xаван* может отражать долготу; монг. *qaban*, видимо, из Тю); 7. \**t'aul*'- 'заяц': ТМ \**tu-ksa* < \**taul-ksa*, Мо \**taul-ai*, Тю \**tawiš-γan*; 8. \**t'uraG*- 'врановая птица': ТМ \**turakaj*, Мо \**turaγun*, Тю \**tori-gaj*; 9. \**šib*- 'мелкая птица': ТМ \**č/šibi*- 'воробей, ласточка', Мо \**siba-γun* 'птица', Тю \**čib/m-čik* 'воробей'; 10. \**žebu*- 'оса, пчела': ТМ \**žēβu* 'оса', Мо \**žōγei* 'пчела', Тю \**čibün* 'шершень, пчела'; 11. \**k'ur*- 'червяк': СТМ \**xure*, Мо \**koro-kai*, Тю \**kūr-t*.

ТМ - Тю: 1. \**mul-Han*: ТМ \**mulkan* 'самец дикого оленя, лось около 3 лет', Тю \**bolan* 'лось'; 2. \**gulu*- 'детеныш копытного': ТМ \**gulu-ke-čen* 'самка дикого оленя, лось продуктивного возраста', Тю \**kulun* 'жеребенок'; 3. \**n/ninta* 'собака': ТМ \**ninda*, Тю \**jit*; 4. \**kaγ-či*- 'сука': ТМ \**kači-kan* 'щеноч', Тю \**kačičik*; 5. \**ülгзk*- 'мелкий пушной зверь': ТМ \**ulguki* 'бурундук', Тю \**üšek* 'соболь, куница, рысь'; 6. \**žumrз*- 'грызун': ТМ \**čundu-ki* 'мышь-малютка' (с неясным оглушением), Тю \**jumran* 'суслик' (заим. в монг. *žumran*); 7. \**k'ul*'- 'птица': ТМ \**xoli* 'ворон', Тю

<sup>3</sup> Возможно также, что это — самодийское заимствование, ср. ур \**kewe*: саам. *kieuwa*, мотор. *keibe* и др. 'оленуха северного оленя' UEW 152.

\*kuš 'птица'; 8. \*giak'ojn- 'ястреб': ТМ \*giaxujɯ, Тю \*köjken-ek 'пустельга' (с мегатезой); 9. \*garz 'гусь, лебедь': ТМ \*gāru, Тю \*kāz; 10. \*noŋga- 'гусь': ТМ \*noŋɣa-ki, Тю \*jarygak; 11. (?) \*kuGu 'лебедь': ТМ \*küku, Тю \*kugu (ср. Мо \*kuna); 12. \*dewrun 'птенец': ТМ \*deβerun, Тю \*javrun; 13. \*k'ap'Vn-: ТМ \*xafin- 'оса', ДТю qabun 'шмель'; 14. \*kujz- 'насекомое, паразитирующее в шкуре животного': ТМ \*kuji-kta 'личинки овода', Тю \*kuja 'моль'; 15. \*n/níawłž- 'гнида': ТМ \*nielži-ke, Тю \*javl'/lčak; 16. \*pālu 'рыба': ТМ \*falu (> ма. falu 'рыба, похожая на леща'), Тю \*bālik.

ТМ - Мо: 1. \*oro- 'олень': ТМ \*oro-n 'домашний олень', Мо \*oron-go 'вид антилопы'; 2. \*mori-n 'лошадь'<sup>4</sup>: ТМ \*morin, Мо \*morin; 3. \*nio/oik'ai 'собака': ТМ \*nioxe 'кобель', Мо \*nokai 'собака'; 4. \*luka- 'детеныш рыси': ТМ \*luka, СМо \*nogu-γal; 5. \*solz-: ТМ \*šolči-ki 'хорек', Мо \*solongo 'колонок'; 6. \*naułž- 'детеныш': ТМ \*naułža- 'ребенок, молодой', Мо \*žulža-gan; 7. \*nieku- 'утка': ТМ \*niekuj, Мо \*nigu-sun; 8. \*ak'a 'гагара, нырок': ТМ \*axa (niekuj), Мо \*aka-γuna; 9. \*kōri- 'ворон': ТМ \*kōri 'мифическая птица-медиатор', Мо \*keri-jen 'ворон'; 10. \*kōk'e-: ТМ \*kuxe-kaj 'сойка', Мо \*kōkeγei 'кукушка'; 11. \*moik- 'змея': ТМ \*mujki, Мо \*mogaj; 12. \*žujga 'рыба': ТМ \*žōjo 'ленок', Мо \*žuga-sun 'рыба'; 13. \*niurga: ТМ \*nuijrga 'хариус', Мо \*žirga 'нельма'; 14. \*ibo- 'ракушка': ТМ \*iβo-kta, Мо \*iba-γu.

Мо - Тю: 1. \*adug 'живность': Мо \*aduγu- 'скотина', Тю \*adug 'медведь'; 2. \*arkar- 'горный баран': Мо \*argali, Тю \*arkar; 3. \*t'ek'e 'козел, в т. ч. дикий': Мо \*teke, Тю \*tākā; 4. \*nimaga- 'коза, в т. ч. дикая': Мо \*n/jimaγan, Тю \*jimga; 5. \*k/k'ojn- 'овца': Мо \*koni-n, Тю \*kojn; 6. \*k/k'uč- 'баран, валух': Мо \*kuča 'баран-производитель', Тю \*koč; 7. \*irge 'валух': Мо \*irge, Тю \*irk; 8. \*k/k'uri- 'ягненок': Мо \*kuri-kan, \*kuri-ska 'ягнячья шкура', Тю \*kozi; 9. \*üjni-gen 'корова': Тю \*ijn-(g)ek < \*üjn-gek 'корова', \*in-gen (слово ограничено представлено, почему рефлекссы, указывающие более определенно на \*ij-, отсутствуют) 'верблюдица' (заимствовано в монг. iγgen, eγge, откуда тув. eγgen), Мо \*üni-jen 'корова'; 10. \*biča- 'телиться', \*biča-gu 'теленка': Тю \*biča-, \*biča-gu, Мо \*biraγu; 11. \*adgir- 'жеребец': Мо \*ažir-ga, Тю \*aδgir; 12. \*agta 'ездовая лошадь': Мо \*agta 'мерин' (заимствовано в Тю, ТМ)<sup>5</sup>, Тю \*at 'лошадь'; 13. \*dap'a- 'жеребенок': Мо

<sup>4</sup> Довольно убедительные аргументы в пользу того мнения, что ТМ форма является заимствованием из Мо, см. в статье: Новикова 1979, с. 71.

<sup>5</sup> Сомнительно заимствование из перс., см. Joki LW 59.

\*daγa-γan, Тю \*japak; 14. \*elži- 'осел': Мо \*elži-gen, Тю \*āšek; 15. \*t'ebe 'верблюд': Мо \*teme-γen, Тю \*tebe<sup>6</sup>; 16. \*t'or- 'детеныш': Мо \*torai 'поросенок', Тю \*torum 'верблюжонок, теленок'; 17. \*göl'i- 'щенок': Мо \*göli-ge, Тю \*köš-ek 'детеныш, верблюжонок'<sup>7</sup>; 18. \*sil'- 'рысь': Мо \*silüγi-sün, Тю \*sīs > якут. uuc; 19. \*k/k'üren- 'хорек': Мо \*kürene, Тю \*küzün; 20. \*üdpi- 'удод': Мо \*öbüg, Тю \*üδpik; 21. (Возможно, заимствовано из праТю в праМо) \*t'ak'ija 'курица': Мо \*takija, Тю \*tahja; 22. \*t'oiγa- 'дрофа': Мо \*toγu-dag, Тю \*toj; 23. \*angi- 'вид дикой утки': Мо \*aygir, Тю \*aγit; 24. (?) \*sirke- 'паразит': Мо \*sirke 'вошь', Тю \*sirke 'гнида' (возможно, заимствование); 25. \*böge: Мо \*böγe-sün 'вошь', Тю \*böγ 'тарантул, скорпион'; 26. \*bük'z- 'муха': Мо \*büküne 'мошка', Тю \*būke-lik 'голубая муха, овод'.

#### Части тела животных и под.

ТМ - Мо - Тю: 1. \*k'udur- 'хвост': ТМ \*xujr-gen, Мо \*kudur-, Тю \*kidru-; 2. \*niγa- 'шерсть': ТМ \*niγa- 'пух', Мо \*noγa-sun. Тю \*juγ; 3. \*ömur- 'яйцо': ТМ \*umu-kta < \*umur-kta, Мо \*ömde-γen < \*ömre-, Тю \*jumur-tka (под влиянием контаминации с \*jumur 'круглый'); 4. \*siγra 'двойная кость голени парного копыта': ТМ \*sira 'двойная кость предплечья, голени', Мо \*siγira, Тю \*siγrak; 5. \*nuŋga 'помет': СТМ \*noŋga, Мо \*žunga-g 'помет молодых животных', Тю \*jij 'жидкий кал'.

ТМ - Тю: 1. \*ɯje- 'подшейный волос': ТМ \*ɯje-lte, Тю \*öjek; 2. \*poku- 'зоб': ТМ \*fuku-gan, Тю \*bokagu (заим. в Мо bakaγu 'зоб (болезнь)'); 3. \*t'erz- 'шкура': ТМ \*terge-kse 'ровдуга', Тю \*teri 'шкура'; 4. \*t'ül- 'линять': ТМ \*tul-du- 'сбрасывать рога (об олене)', Тю \*tüle- 'линять (о птицах)'; 5. \*moK- 'помет': ТМ \*muKe- 'вонять', Тю \*bok 'помет' (заим. в Мо bog 'то же').

ТМ - Мо: 1. \*kenk- 'передняя часть туши': ТМ \*keγte-, Мо \*kenkir-; 2. \*k'oγda- 'задняя часть туши': ТМ \*xunda > ма. unda 'мясо-филе', Мо \*k'oγdo- 'круп'; 3. \*t'uirz- 'рыбья икра': ТМ \*tuirse, Мо \*türi-sün; 4. \*nuijz- 'линять': ТМ \*nuij-, Мо \*žulu-; 5. \*p'arga-l/n 'навоз': ТМ \*fargan > ма. fazān, Мо \*φargal.

<sup>6</sup> Прочая «верблюжья» терминология: Тю \*bugra 'самец верблюда' = Мо, Тю \*torum 'верблюжонок 2 лет' = Мо, Тю \*bota 'верблюжонок' = Мо botuγan, Тю \*at-Han 'холощенный верблюд' = Мо, по-видимому, так же как Тю \*ingen 'верблюдица' (и ряд еще более очевидных случаев), заимствованы в Мо из Тю.

<sup>7</sup> Формы с -č- — следствие контаминации с \*kičig 'маленький'.

Мо - Тю: 1. \**t'ujrз*- 'непарное копыто': Мо \**tuu-r*, Тю \**tujr-ak*;  
2. \**deli*- 'грива': Мо \**deli-n*, Тю \**jail*; 3. \**dalu*- 'подгривный жир лошади': Мо \**dalun*, Тю \**jal*; 4. \**delzn*- 'вымя': Мо \**delen*, Тю \**jelin*; 5. \**k/k'ajn*- 'крыло': Мо \**kai* 'передняя нога с лопаткой' (разделочный термин), \**kan-cui* 'рукав', Тю \**kajnat* 'крыло'; 6. \**saγ* 'птичий помет': Мо \**saγga-sun*, Тю \**saγ*.

### Охота, рыболовство, собирательство

ТМ - Мо - Тю: 1. \**gok'e* 'крюк': ТМ \**goxo* 'крюк, багор' (заим. в Мо \**goku* 'тж'), Мо \**gökej* 'рыболовный крючок', Тю \**kö-ken* 'засов, задвижка'; 2. \**gow*-: ТМ \**gob-зо*- 'охотиться с собакой', Мо \**guji*- 'искать, стремиться, просить', Тю \**kob*- 'гнать, преследовать'.

ТМ - Тю: 1. \**t'urkз*- 'попасть в ловушку': ТМ \**turku*-, Тю \**tu-zak* 'силос'; 2. \**оγ*- 'подкрадываться': ТМ \**γoγca*- 'идти по следу, высматривать, подкрасться', Тю \**ōγ*- 'подкрадываться'; 3. \**t'uGi*- 'верша': ТМ \**tūki*- 'рыбачить в узкой протоке маленькой сетью', Тю \**tug* 'запруда, верша'; 4. \**ag*- 'сеть': ТМ \**aγa* < \**ag-na* 'сеть для подледного лова', Тю \**āg* 'сеть'; 5. \**t'ap*- 'собирать': ТМ \**taβ-/tam*-, Тю \**top-la*-.

ТМ - Мо: 1. \**ökoi*-: ТМ \**ukuj* 'рыболовная снасть', Мо \**ögö-si* 'невод'; 2. \**t'uG*-: ТМ \**tuk*- 'подниматься, ходить на промысел', Мо \**tuγur*- 'предпринимать'; 3. \**ñ(i)am* 'след': ТМ \**ñām*- 'распугивать след', Мо \**žima/žama* 'путь, дорога, тропа'.

Мо - Тю: 1. \**abз* 'охота': Мо \**aba* 'охота' (загонная); Тю \**āb* 'охота'; 2. \**udз*- 'преследовать': Мо \**uda*- 'преследовать зверя', Тю \**uδ*- 'преследовать'; 3. \**aγe*- 'следить': Мо \**ana*- 'следить, подкарауливать', Тю \**āγe*- 'присматривать'.

### Животноводство

ТМ - Мо - Тю: 1. \**telwi* 'дикий': ТМ \**delmi* 'дикий, необъезженный', Мо \**dolgin* 'ретивый (о коне), легкомысленный', Тю \**tELbe/tāili* 'глупый, сумасшедший'; 2. \**ñilu*- 'недоуздок': ТМ \**jilma* < \**ñilma*, Мо \**žiluyā*, Тю \**jular*; 3. \**nail*- 'ехать верхом': ТМ \**najl-ma*- > \**ñamña*- 'ехать верхом', Мо \**namna*- (< \**nal-ma*-?) 'стрелять с коня; гнаться, преследовать', Тю \**jāil*- 'ехать/бежать рысью'; 4. \**p'ara*- 'оглобля, сани': ТМ \**fara* 'сани, оглобля', Мо \**φaral* 'оглобля', Тю \**ariš* 'оглобля'.

ТМ - Тю: 1. (?) \**t'ujrз*-: ТМ \**tujruj* 'ремни (на которые что-либо подвязывается, привешивается)', Тю \**tirke* 'торока'; 2. \**nap*- 'подстилка под седлом': ТМ \**nama*- < \**naβa*- 'вьючить', Ма \**namki* 'потник, попона' (ср. \**jar*- 'покрывать').

ТМ - Мо: 1. (?) \**neme*- 'седло': ТМ \**nēme*, Мо \**eme-γel* (заимств. в ТМ *emegen*).

Мо - Тю: 1. \**saga*- 'доить': Мо \**saγa*-, Тю \**sag*-; 2. \**aguγ*- 'молозиво': Мо \**aγurag*, Тю \**aguz*; 3. \**dap'ak* — 'войлок': Мо \**daγuki*, Тю \**jarak*<sup>8</sup>.

### Земледелие

ТМ - Мо - Тю: 1. \**t'ari*- 'возделывать землю': ТМ \**tari*, Мо \**tari*, Тю \**tar-lag* 'поле'. Ср. еще названия растений.

### Хозяйственная деятельность

ТМ - Мо - Тю: 1. \**elbe*- 'грести, копать': ТМ \**elbe*-, Мо \**ele*-, Тю \**eš*; 2. \**saG/Xu*- 'вычерпывать': ТМ \**soko*-, \**soko-fun* 'черпак для вычерпывания воды из лодки', Мо \**saγulga* 'ведро', Тю \**sogu-l*- 'убывать (о жидкости)'; 3. \**sek*- 'стелить': ТМ \**sek/x-le*-, Мо \**segse-g*, Тю \**sEki* 'подстилка'; 4. \**t'aG*- 'чинить': ТМ \**taku*- 'чинить, латать', Мо \**taγa-ra*- 'подходить, быть в пору', Тю \**tag-ra*- 'улучшать, зашивать'; 5. \**ñil*- 'скоблить, полировать': ТМ \**ñila*-, Мо \**žilgü*-, Тю \**jš*-; 6. \**p'eik*- 'точить, полировать': ТМ \**feik-fe*-, Мо \*(h)*ege-γü* 'напильник', Тю \**ēike*-; 7. \**žö*- 'перевозить': ТМ \**žuge*-, Мо \**žöγe*-, Тю \**jü*- 'нагружать'; 8. \**paG/Xu*- 'упаковать': ТМ \**faku*- 'закрывать, завязать, застегнуть', Мо \**baγu*- 'завязать' (озвончение начального \**p*- под влиянием поствелярного — см. ОСНЯ III 92), Тю \**bāg* 'узел, связка'; 9. \**boGi*- 'связать': ТМ \**boki*-, Мо \**boγu*-, Тю \**bog*-.

ТМ - Тю: 1. \**kaKu*- 'мять кожу': ТМ \**kaKu*-, Тю \**kak-ma* 'тип кожи'; 2. \**kob*- 'строгать': ТМ \**kuβa*-, Тю \**kob-ša*-; 3. \**č'aG/Xi*- 'паковать': ТМ \**čaKuj*- 'обернуть, упаковать, связать', Тю \**čig*- 'связать узел, поклажу'.

<sup>8</sup> Общее монгольско-тюркское название стремени \**döjreŋge* (Мо \**dörüγe*, Тю \**jujzäŋge*) сложно возводить к праалтайскому состоянию по экстралингвистическим причинам (по мнению этнографов, стремя было изобретено лишь в III в. до н. э.).



ТМ ~ Мо: 1. \**up'a* 'тесло': ТМ \**ufa*; Мо \**aγuli*; 2. \**siwa-* 'вбить клин': ТМ \**siβa-ki* 'клин', Мо \**siγa-*; 3. \**p'esi* 'рукоятка, корень': ТМ \**fesi*, Мо \**φesin*; 4. \**k'uGi-*: ТМ \**xukuj-* 'завернуть, обернуть', Мо \**kuji-la-* 'свертывать в рулон'.

Мо ~ Тю: 1. \**aid-* 'дубить кожу': Мо \**ad-sa-ga* 'невыделанная (= предназначенная к выделке) шкура', Тю \**äid-* 'дубить'; 2. \**žel-* 'клей': СрМо \**žilsun*, Тю \**jelim*; 3. \**tüjrz-* 'нанизывать': Мо \**dürü-*, Тю \**düjz-*; 3. \**t'uγu-* 'завязывать': Мо \**tanu-*, Тю \**ta/oγ-*.

### Плетение, прядение, ткачество

ТМ ~ Мо ~ Тю: 1. \**tok'u-* 'вить, плести': ТМ \**duxu-* 'вить веревку', Мо \**toku-* 'плести', Тю \**doku-* 'ткать'.

ТМ ~ Тю: 1. \**t'op-* 'мотать': ТМ \**tum-* < \**tuβ-* 'наматывать', Тю \**töp-la-* 'крутить, вить'; 2. \**p'öri-* 'плести'; ТМ \**fori-* 'плести сеть', Тю \**ör-* 'плести, вить'.

Мо ~ Тю: 1. \**el-*: Мо \**elt-le-* 'ткать, вязать', Тю \**eš-* 'сучить, прясть'; 2. \**egere-* 'прясть': Мо \**eγere-*, Тю \**ägir-*; 3. \**ere-*: Мо \**ere-* 'закручивать', Тю \**ärił-* 'прясть'.

### Пицца

ТМ ~ Мо ~ Тю: 1. \**seme-* 'внутренний жир': ТМ \**seve-* 'топить жир', Мо \**seme-žin* 'сальник' (заим. в ТМ \**seme-sun*), Тю \**sämiz*, \**sämri-* 'топить жир'.

ТМ ~ Тю: 1. \**al-* 'пицца': СТМ \**ala-* 'вкусный', Тю \**aš* 'пицца'; 2. \**p'et'e-*: ТМ \**fete* 'жир морского зверя', Тю \**ät* 'мясо'.

ТМ ~ Мо: 1. \**nimu-* 'жир, мазать': ТМ \**jimu-*, Мо \**nünžige* < \**nüm-ži-ge* 'жирная пицца'; 2. (?) \**ogu-* 'ступка': Ма *ogo*, Мо \**oγur*; 3. \**niuk'u-* 'месить тесто': ТМ \**nixu-*, Мо \**niku-*.

Мо ~ Тю: 1. \**awart-* 'квашеное': Мо \**aγar-čag*, \**aγar-mag* 'вид творога', Тю \**abirt-ki* 'вид пива'; 2. \**k/k'imuř-* 'напиток из молока': Мо \**kimura-γan* 'кипяченое молоко с водой', Тю \**kimiz* 'кумыс'; 3. \**bota-* 'каша': Мо \**buda-γan*, Тю \**bot-ka*; ср. еще: 4. \**ele-* 'сеять, веять': Мо \**ele-* 'развеиваться по ветру', Тю \**äl-ge-* 'просеивать'; 5. \**eřu-*: Мо \**irü-* 'растирать', Тю \**ez-* 'давить, измельчать'; 6. \**ögi-*: Мо \**üji-* 'измельчать', Тю \**ögi-* 'молоть'; 7. \**op'a* 'порошок, мука': Мо \**oγo* 'порошок', Тю \**op'a* 'мука, пудра'.

### Одежда

ТМ ~ Тю: 1. \**et'z-*: ТМ \**etu-* 'надевать', \**etu-ke* 'одежда', Тю \**ätek* 'подол'; 2. \**ñalma-*: ТМ \**ñalma-* 'куртка', Тю \**jalma* 'кафтан'; 3. \**t'ok'u-* 'застежка': ТМ \**toxon* 'пуговица', Тю \**toku* 'пряжка'.

ТМ ~ Мо: 1. \**k'eze-*: ТМ \**xeže-* 'распарывать', Мо \**kejen* 'кромка ткани'; 2. \**k'iGe-*: ТМ \**xixen* 'серьга', Мо \**keγe* 'украшение'.

Мо ~ Тю: 1. \**k/k'ed-* 'одеваться': Мо \**kedüre-* 'надевать', Тю \**käδ-*; 2. \**dak'u* 'шуба': Мо \**daku* (заимств. в ТМ), Тю \**jaku*; 3. (?) \**t'on-*: Мо \**tonug* 'сбруя', Тю \**tōn* 'одежда'.

### Жилище

ТМ ~ Мо ~ Тю: 1. \**palGa-* 'огороженное поселение': ТМ \**falga*, Мо \**balaga-sun* < \**balγa-* (озвончение нач. \**p-* под влиянием пост-велярного?), Тю \**balg* > \**balig* 'город'.

ТМ ~ Тю: 1. \**ik'o-*: ТМ \**ixon* 'поселок', Тю \**uk* 'род' (чув. *jāx*; Тю заим. в Мо *ug* 'род'); 2. \**p'ew/be-*: ТМ \**feβe* 'шалаш, чум', Тю \**eb* 'дом'; 3. \**elbe-*: ТМ \**elbe-* 'покрывать чум шкурами', Тю \**ešik* 'дверной занавес'.

ТМ ~ Мо: 1. \**koγla-* 'дымоход, кан': ТМ \**kōlan*, Мо \**koγulai*; 2. \**nejg-*: ТМ \**nej-* 'скрыть покрывку с чума', Мо \**neγe-* 'открывать, отворять'.

Мо ~ Тю: 1. \**t'amz*: Мо \**tama* 'стена', Тю \**tām* 'дом, крыша'.

### Социальные отношения

ТМ ~ Мо ~ Тю: 1. \**nialma-* 'человек': ТМ \**nialma-*, Мо \**nar-mai* 'все', Тю \**jalγuk* < \**jalm-guk*; 2. \**eme* 'женщина': ТМ \**eme/me-te* 'самка, мать', Мо \**eme*, Тю \**eme* 'самка, мать'; 3. \**edin* 'хозяйин': ТМ \**edin*, Мо \**éžin*, Тю \**eđi*; 4. \**et'ike* 'старший родственник': ТМ \**etike-j* 'старик, свекор', Мо \**ečige* 'отец', Тю \**eteke* 'дядя'; 5. \**eke* 'старшая родственница': ТМ \**ekej/keke* 'старшая сестра', Мо \**ege-či* 'мать', Тю \**eke*; 6. \**ak'z* 'старший брат/дядя', ТМ \**axu*, Мо \**aka*, Тю \**āka*; 7. \**deGu* 'младший родственник': ТМ \**dexu-* 'сын младшей сестры' (в \**dexu-eme* 'младшая сестра', \**dexu-ama* 'муж младшей сестры', букв. «мать *dexu*», «отец *dexu*»), Мо \**deγü* 'младший брат', Тю \**jeg-en* 'сын младшей сестры матери' (заим. в монг. *žege* 'то же'); 8. \**ök'e* 'младшая родствен-

ница': ТМ \**uxe* 'жена младшего брата/дяди', Мо \**ökin* 'дочь', Тю \**öke* 'младшая сестра, брат'.

ТМ ~ Тю: 1. \**keli* 'свойственник': ТМ \**keli* 'свояк', Тю \**kälñ* 'невестка'; 2. \**tai-* 'род жен': ТМ \**dan* 'род, откуда берут невест', Тю \**Tājgi* 'дядя по матери'; 3. \**eile* 'люди': СТМ \**ile* < \**eile* 'человек', Тю \**eil* 'народ'.

ТМ - Мо: 1. \**nek'u* 'младший не прямой родственник': ТМ \**ne-xi* 'сын/дочь сестры матери младше *ego*', Мо \**nekun* 'раб, домо-чадец', (?) \**neke-lei* 'незаконный ребенок'; 2. (?) \**ažin* 'младший родственник': ТМ \**ažin* 'первенец', Мо \**ažin* 'жена младшего брата по отношению к жене старшего брата'; 3. \**abis-*: ТМ \**absi* 'зять', Мо \**abisun* 'жена старшего брата по отношению к жене младшего брата'.

Мо - Тю: 1. \**ere* 'мужчина, самец': Мо \**ere*, Тю \**ār*; 2. \**epe-*: Мо \**ebej* 'самка, мама', Тю \**āpe* 'мать, тетка'; 3. \**at'i* 'младший родственник не-первой степени': Мо \**ači* 'сын младшего брата', Тю \**atī* 'внук'; 4. \**aba* 'отец', \**aba-gaj* 'дядя по отцовской линии', Тю \**aba* 'отец, дядя, дед по отцовской линии'; 5. \**k/k'ude* 'свойственник': Мо \**kuda-* 'сват', Тю \**küdegü* 'зять'; 6. \**t'ulk-* 'вдовец, вдова': Мо \**tulguj*, Тю \**tulk*.

### Социально-экономические отношения

ТМ - Мо - Тю: 1. \**t'ojγz-*: 'угощать': ТМ \**toje-*, Мо \**toγa-*, Тю \**toj* 'пир'.

ТМ - Тю: 1. \**enču-*: ТМ \**enču-ken* 'дарованное имущество, наследство', Тю \**ēñči* 'подарок, приданое'; 2. \**sap-* 'дарить': ТМ \**saβli-* 'угощать', Тю \**sāp-* 'подарок, приданое, добавка'; 3. \**γōm-* 'советовать, помогать': ТМ \**ñiñγe-* 'советовать', Тю \**öme-* 'помогать' (заим. в Мо \**ömeg* 'помощь'); 4. \**et'e-* 'воспитывать': ТМ \**ete-w-* 'стеречь, оберегать', \**ete-xi* 'нянчить', Тю \**ēit-* 'воспитывать'.

ТМ - Мо: 1. (?) \**žioXz* 'монета': ТМ \**žiaxa*, Мо \**žoyu-sun*; 2. \**miak'*z- 'кланяться': ТМ \**miax-la-*, Мо \**meküi-*.

Мо - Тю: 1. \**doli-* 'покупать, выкупать': Мо \**doli-* 'покупать', \**dolig* 'выкуп', Тю \**julug* 'калым'; 2. \**sui* 'цена': Мо \**süi* 'калым', Тю \**sui* > *sij*, *sij* 'доля, подарок, любовь'; 3. \**töge-* 'лгать': Мо \**dö-γeg* 'насмешка, издевательство', Тю \**tögün* 'лукавство, ложь'<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Очевидно, что Мо *beleg* 'подарок' заимствован из Тю \**beleg* 'подарок; подарок гостя хозяевам', которое, по-видимому, является производным от ПА глагола \**bele-* 'приготовлять, подготавливать': ТМ \**bele-xi-*, Мо \**bele-d-ke*.

### Духовная культура

ТМ - Мо - Тю: 1. \**ñiru-* 'рисовать, чертить, писать': ТМ \**ñiru-*, Мо \**žiru-*, Тю \**jaz-/čiz*.

ТМ - Мо: 1. \**jeke-*: ТМ \**jeke-* 'петь ругательные песни', Мо *jege-γü* 'ирония'; 2. (?) \**peze-* 'плясать': ТМ \**fēže*, Мо \**beje-le-* (с неясным озвончением начала).

Мо - Тю: 1. \**k/k'op'ur* 'струнный инструмент': Мо \**koγur*, Тю \**koruz*; 2. \**bödi-* 'плясать': Мо \**böžig* 'танец', Тю \**büdi-*.

### Игры

ТМ - Мо - Тю: 1. \**al'ču-* 'альчик': ТМ \**al'žu-kan*, Мо \**alču* 'выигрышная сторона альчика', Тю \**ašik*; 2. \**siaka* 'битка, крупный альчик': ТМ \**siaka* > Ма *sajxa*, Мо \**siaga*, Тю \**siaka* > *saka*, чуваш. *šok*; 3. (?) \**t'awa-* 'плоска (положение альчика плоской стороной вверх)': ТМ \**taβa* > 'плоская сторона бабки', Мо \**taцkai*, \**taγa*, Тю \**taba-k* (казах. *tava*, ккал. *tawwa*, хакас. *tax* > \**tabak*).

ТМ - Тю: 1. \**k'aGur-* 'кукла': ТМ \**xaku-xan*, Тю \**kagur-čak*.

Мо - Тю: 1. \**t'op-* 'шар, мяч': Мо \**topči*, \**tobur*, Тю \**top*.

### Оружие

ТМ - Тю: 1. \**γañ-*: ТМ \**γana* 'копье, стрела', Тю \**jañ* 'лук'.

Мо - Тю: 1. \**k/k'uiñ-* 'ножны': Мо \**kuji*, Тю \**kñ* < \**kujn*.

### Война, борьба

ТМ - Мо - Тю: 1. \**dagi-* 'ссориться': ТМ \**dagi-ra-* 'галдеть, буянить', Мо \**dajin* 'война', Тю \**jagi-* 'война, враг'; 2. \**or-* 'бороться': ТМ \**γōr-* 'бороться', Мо \**ura-lda-* 'соревноваться', Тю \**oz-* 'превзойти'; 3. \**ñan-* 'нападать': ТМ \**ñen-či-*, Мо \**žanu-* 'угрожать', Тю \**jāñi-* 'угрожать'.

### Верования и обряды

ТМ - Мо - Тю: 1. \**t'ölki* 'вещий сон': ТМ \**tolkin* 'сновидение', Мо \**tölgü* 'предсказание', Тю \**Tūš* 'сновидение'; 2. \**t'ap'k'i-* 'совер-

шать обряды': ТМ *\*taxu-* 'шаманить, лечить', Мо *\*taji-* 'поклоняться', Тю *\*tap-* 'поклоняться'; З. *\*p'iru-* 'просить, молиться': ТМ *\*firu-*, Мо *\*hirü-ye-* 'благословлять', *\*hiru-ya* 'предзнаменованье', Тю *\*ir-* 'просить, молиться, гадать'.

ТМ - Тю: 1. *\*niabi* 'призрак, покойник': ТМ *\*ñaβi*, Тю *\*jebin*.

Мо - Тю: 1. *\*k/k'ut* 'дух, душа, доля': Мо *\*kutug* 'счастье', Тю *\*kut* 'душа, удача'.

Приведенные списки лексики, как нам кажется, достаточно хорошо демонстрируют облик природного окружения праалтайцев и их образа жизни. Обращает на себя внимание то, что однородность картин, которые можно получить, исходя из тройных сопоставлений и из каждого типа попарных сопоставлений, говорящая в пользу родства рассматриваемых праязыков и единовременности распада материкового праалтайского, в одном случае дает сбой. А именно, при единообразии терминов, свидетельствующих о наличии у праалтайцев вьючных и тягловых домашних животных, имеется подскок количества тюрко-монгольских сближений, касающихся молочного животноводства и овцеводства (ср. наличие общих наименований домашних животных по полу и возрасту, продуктов животноводства). Поскольку большая часть таких сопоставлений по фонетическим причинам не может объясняться как имеющая контактное происхождение, остается предполагать утеру соответствующей терминологии тунгусо-маньчжурами, перешедшими на оленеводство (по этнографическим данным, в первые века н. э. заимствованное ими у самодийцев вместе с вьючным седлом — см. Материальная культура. М., 1989, с. 110). По крайней мере два из ТМ терминов для домашнего оленя — *\*oron* 'домашний олень' и *\*ençe-ken* 'теленок домашнего оленя' — восходят к наименованиям диких животных. То, что половозрастная терминология, относящаяся к корове, овце или козе, не была перенесена на домашнего оленя, а исчезла, и создалась новая половозрастная терминология для оленя, свидетельствует о перерыве скотоводческой традиции (ср. отсутствие доения в оленеводстве самодийского типа — Материальная культура..., с. 108).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Здесь приведены надежные, с нашей точки зрения, алтайские сопоставления, предложенные Н. Н. Поппе (VGAS), Г. Рамstedтом (KWb), М. Рясняном (VEWT), С. А. Старостиным (Старостин 1991), ССТМЯ, а также автором настоящей статьи.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Новикова 1979 — К. А. Новикова. Названия домашних животных в тунгусо-маньчжурских языках // Исследования в области этимологии алтайских языков. Л., 1979.
- ССТМЯ — Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. I-II. Л., 1975-1977.
- Старостин 1991 — С. А. Старостин. Алтайская проблема и происхождение японского языка. М., 1991.
- Joki LW — A. J. Joki. Die Lehnwörter des Sajansamojedischen. Helsinki, 1952.
- KWb — C. J. Ramstedt. Kalmückisches Wörterbuch. Helsinki, 1935.
- UEW — K. Redei. Uralisches etymologisches Wörterbuch. Budapest, 1986-1989.
- VEWT — M. Räsänen. Versuch eines etymologisches Wörterbuchs der Türk-sprachen. Helsinki, 1969.
- VGAS — N. Poppe. Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen, 1. Wiesbaden, 1960.

Ю. ЯНХУНЕН

### КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ИНДО-УРАЛЬСКИМ СРАВНЕНИЯМ ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ

Сравнения между любыми двумя или более языковыми семьями могут быть результативными только при выполнении трех основополагающих требований. Во-первых, внешние обстоятельства исследуемых языковых связей должны быть объяснимы с географической и исторической точек зрения. Во-вторых, любые конкретные допущения, сопровождающие сравнения, должны быть в согласии с тем, что вообще известно о синхронии и диахронии сравниваемых языковых семей. В-третьих, корпусы сравниваемых языковых данных должны быть взаимосовместимы в том смысле, что каждая из языковых семей должна иметь равные возможности предоставления материала для внешнего сравнения.

В случае с индо-уральским сравнением первое требование в целом удовлетворяется. Индоевропейская и уральская языковые семьи издавна находятся в географическом соседстве, а два соответствующих праязыка, вероятнее всего, могут датироваться примерно одним и тем же временем. Более того, налицо обильные свидетельства конкретных взаимодействий между этими двумя языковыми семьями на уровне их ветвей, например, между германским и прибалтийско-финским или между иранским и угорским. Вполне естественно продолжить сравнительный поиск на предмет обнаружения свидетельств таких языковых связей, которые относились бы к более отдаленному прошлому.

Нет никакой изначальной ошибки и в гипотезе о том, что индоевропейский и уральский в конечном счете могут быть родственны друг другу генетически. Это было бы логичным выводом, если бы между двумя праязыками действительно удалось установить достаточно обширный корпус сравнений. В этой связи, впрочем, могут возникнуть проблемы, касающиеся культурных обстоятельств такого генетического родства. Современные датировки относят и индоевропейский, и уральский праязыки к эпохе неолита, а это значит, что их общий язык-предок следовало бы датировать существенно более далеким прошлым, мезолитом или даже верхним палеолитом.

Конечно, соблазнительна возможность идентифицировать донеолитический праязык, но еще нужно доказать, что подобная глубина во времени вообще может быть достигнута методами сравнительного языкознания. Можно предполагать, что ранние стадии культурного развития характеризовались наличием большого числа мелких и сравнительно изолированных языковых коллективов<sup>1</sup>. Уральский и индоевропейский — всего лишь два случайно сохранившихся представителя из множества неизвестных доисторических языков Евразии. Нет никакой априорной причины предполагать, что именно эти два доисторических языка случайно были связаны генетическим родством.

Идея индо-уральского генетического родства выглядит еще менее правдоподобной в рамках ностратических сравнений. Судя по всем критериям, ностратический праязык следовало бы относить к среднему или верхнему палеолиту. Хотя предполагается, что этот праязык сосуществовал с рядом других современных ему праязыков, представлялось бы странным, если бы все языки современной Евразии действительно восходили к весьма малому числу палеолитических идиомов. Во всяком случае, пока нет культурных свидетельств в пользу допущения о столь ранних процессах языковой экспансии.

Необходимо признать, что культурно-исторические соображения могут дать лишь самую общую отправную точку. Если окажется, что лингвистические свидетельства дают иную ориентировку, то наше понимание культурной истории потребует соответствующих корректив. И здесь мы подходим ко второму требованию касательно результативности сравнений между языковыми семьями: лингвистические данные должны быть достаточно убедительными. Это вряд ли можно сказать о существующих индо-уральских сравнениях, поскольку в привлекаемом языковом материале на удивление часты ошибки и неправильные интерпретации в том, что касается деталей хронологии и диахронической регулярности. Сходное положение отмечается в других сферах дистантного сравнения, особенно в общеностратических исследованиях.

Нет смысла приводить здесь какие-либо конкретные примеры, так как почти все работы по дальним генетическим связям, вклю-

<sup>1</sup> Важность учета донеолитических демографических моделей в гипотезах, касающихся дистантных языковых связей, была подчеркнута в работе Микко Корхонена (M. Korhonen. Über die vorgeschichtlichen Bedingungen für die Annahme der «Paläo-Ursprachen» // *Congressus Quartus Internationalis Fenno-Ugri-starum*, pars 2, Budapest 1980, p. 64-65).

чая и выступления в пользу индо-уральской гипотезы, пестрят случаями неудовлетворительного анализа исходного материала<sup>2</sup>. Существенное в данном контексте практическое обстоятельство состоит в том, что большинство лингвистов специализируются только по одной языковой семье, тогда как материал других языковых семей доступен им только через «вторые руки». В результате данные разных языковых семей часто приводятся на неодинаковом уровне с точки зрения критики источников. Всеохватывающая критическая оценка первичных данных может в таких случаях привести к устранению всякой фактической основы для каких-либо позитивных выводов по сравнению.

Обсуждавшиеся до сих пор требования просты в своей основе и даже могут показаться слишком тривиальными, чтобы заслуживать обсуждения. На деле, никакой серьезный лингвист-компаративист не обойдет вниманием вопрос о внешних обстоятельствах исследуемых им языковых связей и не станет умышленно пренебрегать стандартными принципами критики источников и лингвистической методологии. Тем не менее, налицо тот факт, что эти тривиальные требования очень часто нарушаются. Доведенный до абсурда предел таких нарушений мы видим в таких небезызвестных диковинах, как урало-пенутианские или финско-древнеегипетские сравнения.

Единственной реалистичной реакцией на разработки вышеупомянутого типа представляется сдержанность. Наука склонна исправлять собственные ошибки, и можно надеяться, что из сегодняшней путаницы в конечном счете возникнет здоровое осмысление перспектив поисков дальнего родства и других дистантных сравнений. В качестве позитивного момента можно также отметить, что даже неправильные в своей основе сравнения способны стимулировать новаторскую мысль, ведущую к подлинным открытиям.

Несколько менее тривиальные обстоятельства связаны с требованием, которое касается технической совместимости материала сравниваемых языковых семей. В применении к индо-уральским лексическим сопоставлениям это предполагает, что обнаружение возможного соответствия для уральского слова

<sup>2</sup> Интересно, что имеются значительные расхождения в интерпретациях даже между самими сторонниками ностратической гипотезы, как это продемонстрировано критической рецензией Евгения Хелимского на монографию Аллана Бомхарда (E. Helimski. A «new approach» to Nostratic comparison // Journal of the American Oriental Society, 107. 1, 1987, p. 97–100.

в индоевропейском должно быть столь же вероятным, как и обнаружение соответствия для индоевропейского слова в уральском. Если бы обнаруживать соответствия в одном из направлений было легче, то это неизбежно приводило бы к искажениям в корпусе сравнений. Такие искажения существенно ухудшили бы шансы добиться убедительных выводов не только в генетическом плане, но и в плане изучения древних ареальных контактов. Вопрос состоит в том, вполне ли совместимы уральский и индоевропейский материалы или нет.

При взгляде на эти две языковые семьи сразу обнаруживается ряд существенных различий. Первое различие определяется тем количественным фактом, что индоевропейские языки — очень большая семья с 10–17 основными ветвями, объединяющими почти двести отдельных языков. Напротив, уральская семья — семья среднего размера, включающая лишь 6–7 крупных ветвей и около 30 отдельных языков. Поэтому суммарное количество языкового материала, охватываемого сравнительной индоевропеистикой, в несколько раз больше, чем корпус уральских данных.

Большое различие существует и между традициями таксономии в уралоистике и индоевропеистике. Если уральская семья обычно рассматривается как система с бинарной организацией упорядоченных диахронических стадий, по поводу соответствующего бинарного подразделения индоевропейской семьи консенсуса не существует. Следовательно, нет и четких критериев для выделения бесспорно праиндоевропейского этимологического фонда. Хотя лексическая единица, параллельно засвидетельствованная в нескольких ветвях, обладает, естественно, большей сравнительной значимостью, чем единица, засвидетельствованная только в одной из ветвей, тем не менее материал для внешних сравнений на праиндоевропейском уровне часто черпается из отдельных ветвей индоевропейской семьи.

В индо-уральских сравнениях преобладают ссылки на германские, балтийские, славянские и индо-иранские данные, но нередко опорой служат и данные из греческого, латинского, кельтских и тохарских языков. Если бы даже с уральской стороны неизменно фигурировали бы только бесспорно прауральские этимологии, подобные сравнения оказываются в опасной близости к ситуации, известной как омникомпаративизм. Совсем не трудно найти лексические параллели, если объектами сравнения служат гетерогенные скопления более или менее независимых друг от друга данных, а не единый четко ограниченный корпус данных. Это неблагоприятное обстоятельство неизбежно уменьшает ценность индо-уральских

сравнений, даже если в иных отношениях они выглядят методологически корректными.

Ситуация далее осложняется, если и уральская языковая семья вводится во внешнее сравнение через отдельные ее ветви<sup>3</sup>. Простой математический расчет показывает, что шансы обнаружить сходные слова в уральском и индоевропейском увеличиваются не менее чем в 60 раз, если мы оперируем материалом отдельных ветвей, а не только праязыков. При таком подходе число индо-уральских параллелей можно, вероятно, увеличивать до бесконечности. Более того, следуя тому же принципу, данные любой другой языковой семьи также можно инкорпорировать в ту же сеть сопоставлений.

Из изложенных выше соображений вытекает, что пока надежнее всего было бы ограничить использование сравнений на уровне ветвей теми специфическими случаями, которые касаются контактов на уровне отдельных ветвей. В других же случаях параллельное использование данных из нескольких ветвей рискованно, поскольку придает излишнюю мощь аппарату сравнения. А излишняя мощь влечет за собой недостаточную доказательность и уменьшает обоснованность выводов.

Та же проблема избыточной мощности аппарата сравнения встает, если принять во внимание типологические различия между праиндоевропейским и прауральским. Если уральский праязык реконструируется как фонологически и фонотактически простой агглютинативный язык, то для праиндоевропейского постулируется много осложняющих моментов, в том числе исключительно богатая консонантная парадигма, сложные просодические и фонотактические схемы, а также система аблаута. Каждое из этих типологических свойств приумножает шансы обнаружения внешних параллелей для индоевропейских лексических единиц.

Типологическая несовместимость уральского и индоевропейского особенно существенна с точки зрения исследований, посвященных древнейшим ареальным контактам между двумя языковыми семьями. Поскольку культурные влияния шли в Евразии главным образом в направлении с юга на север, то и большинство заимствований из сферы культурной лексики проникало из индоевропейского в уральский, а не наоборот. На уральской почве эти заимст

<sup>3</sup> Фактически имеются аргументы против традиционного бинарного подразделения уральской языковой семьи, в последнее время систематизированные Тапани Салмином (T. Sa l m i n e n. Classification of the Uralic languages // Castrenianum toimitteita, 35. Helsinki, 1989, p. 15–24).

ния обычно подвергались ряду фонологических упрощений, что в значительной мере затемняло исходный индоевропейский облик соответствующих лексем. Если исходить из индоевропейских форм, то можно легко идентифицировать такие упрощения, тогда как поиск в противоположном направлении гораздо более сложен.

Примером могут служить исследования последнего времени по поиску новых этимологий древних индоевропейских заимствований в уральских языках, ведущиеся с возросшей опорой на ларингальную теорию<sup>4</sup>. Эта теория, мощное орудие сравнительной индоевропеистики, становится особенно опасной при обращении к внешним сравнениям. В сочетании с возможностями, которые предоставляют различные индоевропейские ступени аблаута, корневые расширители и префиксация, она, похоже, до крайности упрощает задачу обнаружения новых, приемлемых с точки зрения техники сравнения, индо-уральских соответствий.

Изложенные аргументы приводят к мысли о наличии глубокой несовместимости между уральской и индоевропейской языковыми семьями. Чем более древними являются изучаемые связи, тем больше проблем создается этой несовместимостью. Ныне главная проблема состоит в том, что по мере того, как постулируется все больше и больше индо-уральских лексических параллелей, становится все труднее установить пределы сравнительного исследования. А при отсутствии пределов не будет и результатов.

<sup>4</sup> Использование ларингальной теории в индо-уральских ареальных сравнениях было доведено до крайностей в работах Йормы Койвулеhto, см. например: J. Koivulehto. Idg. Laryngale und die finnisch-ugrische Evidenz // Die Laryngaltheorie und die Rekonstruktion des indogermanischen Laut- und Formensystems. Heidelberg, 1988, S. 281–297.

Е. Е. КУЗЬМИНА

**ФИННО-УГРЫ И ИНДО-ИРАНЦЫ:  
ДИНАМИКА КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ**

1. Вопрос о связях финно-угорских и индоиранских народов был поставлен еще в XVIII–XIX вв. Языковые данные были обобщены Ё. Korenchy (1972), А. J. Joki (1973), К. Rédei (1986), J. Koivulehto (1987). Т. Барроу (1976), В. И. Абаев (1972), J. Harmatta (1981) показали древность не только иранских, но и индоарийских связей финно-угорских языков. Попытка Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова (1984) дать иную интерпретацию этим фактам не получила поддержки со стороны лингвистов.

2. Другим источником изучения контактов финно-угорских (в особенности угорских) и индоиранских народов являются общие черты в их мифологии, исследованные Б. Мункачи, К. Карьялайном, А. Каннисто. В исследованиях Э. А. Грантовского и Г. М. Бонгард-Левина (1960, 1983), Л. Г. Герценберга (1975) и в особенности В. Н. Топорова (1975, 1981), А. Ю. Айхенвальд и др. (1982) значительно расширен круг сопоставляемых образов и убедительно показан двусторонний характер связей, см. также: Popular Beliefs... 1968; Ancient Cultures... 1976.

3. Однако финно-угорско-индоиранские взаимосвязи до сих пор не анализировались комплексно с учетом всех имеющихся данных, включая археологические, хотя только такое исследование может выявить хронологическую стратиграфию и географический ареал контактов, что имеет принципиальное значение для уточнения как финно-угорской, так и индоиранской прародин.

4. Древнейший пласт индоиранских заимствований фиксирует общеиндоиранские или индоарийские и протоиранские термины, связанные с производящим хозяйством: 'козел', 'баран', 'двугорбый верблюд', 'жеребец', 'жеребенок', 'поросенок', 'теленок', 'вымя', 'шкура', 'шерсть', 'ткань', 'веревка', 'пряслище', 'зерно', 'ось', 'пиво', 'серп', 'шило', 'молоток' ('булава'), 'лестница' ('мост'); общественными отношениями: *асура* ('бог, богатый, господин, герой'), *даса* ('не-арий, чужой, раб'), 'человек', 'сестра', 'сирота', 'имя', 'цена', числительные; религиозными представлениями: 'небо', 'бог' ('счастье'), *ваджра* (оружие Индры), 'мертвый' ('смертный'), 'поч-

ка' (часть тела, игравшая особую роль в погребальном обряде ариев), 'мед', 'конопля', 'мухомор', экстагические напитки шаманов (Барроу 1976; Абаев 1972; Korenchy 1972; Joki 1973; Csillaghy 1974; Harmatta 1981; Koivulehto 1987). Поскольку прародина финно-угорских народов единодушно локализуется в лесной зоне Евразии, а угров — у Урала (Чернецов 1953, 1963; Основы... 1974; Ancient Cultures... 1976), эти факты могут быть увязаны с археологическими свидетельствами о распространении в лесной зоне производящего хозяйства.

Зачатки производящей экономики, развитая металлургия бронзы и пластическое искусство фиксируется на памятниках предтаежной зоны Урала и Обь-Иртышья (Ростовка, Преображенка, Самусь IV, Крохалевка и др.), датируемых XIV–XIII вв. до н. э. и появившихся, вероятно, в результате андроновского импульса с юга, и, главным образом, — в культурах XIII (XII)–IX вв. до н. э. Черкаскуль (замараевская, межовская), Сузгун, Еловка, Черноозерье, в которых при сохранении господства рыболовства и охоты выявлены кости коня, крупного и мелкого рогатого скота, зачатки земледелия (Чернецов 1957; Генинг и др. 1973; Матющенко 1973а, 1973б; Матющенко, Синицына 1988; Косарев 1974, 1981; Мошинская 1976, 1978; Кузьмина 1981; Молодин 1985; Молодин, Глушаков 1989; Обыденков 1986). Эти культуры, объединяемые названием «андронидные», сформировались на местной основе под воздействием андроновской общности.

В свете новых данных (Зданович 1973; Генинг 1977; Смирнов, Кузьмина 1977; Кузьмина 1988), эта общность сложилась в степях Урала, Западного и Северного Казахстана в XVII–XVI вв. до н. э. в результате импульса из Поволжья и южнорусских степей и на петровско-новокумакском этапе представляла собой высокоразвитую культуру, знавшую скотоводство (бык, овца, конь), земледелие, металлургию, колесницы, имевшую стратифицированное общество и сложную мифологическую систему, по специфическому комплексному сочетанию признаков сопоставимые с индоиранскими.

5. В XV–XIII вв. андроновская общность, включавшая памятники алакульского, федоровского и смешанных типов, охватила всю степную зону.

Гипотеза В. Н. Чернецова (1953а, 1963) о выделении особой федоровской культуры и ее угорской принадлежности не может быть принята в свете новых данных и открытия федоровских памятников на юге Средней Азии. Вместе с тем, его предположение об участии в формировании угров южного степного компонента получает подтверждение в материалах андронидных культур, что подтвер-

ждает прослеживаемая ретроспективным методом их связь с культурой современных угров (Могильников 1983).

6. Аналогичные процессы освоения охотничье-рыболовецкими племенами производящей экономики протекали в Приуралье и Поволжье под воздействием срубной культурной общности, родственной андроновской (Халиков 1969).

7. С первым этапом финно-угорско-индоиранских контактов во II тыс. до н. э. правомерно связать общность представлений о священных горах Урал — Рипа и реке Волга — Ра (индийская Раса, авестийская Рангха), перенесенных при дальнейшей миграции индоиранцев на другие географические объекты (Грантовский 1960; Грантовский, Бонгард-Левин 1983; Абаев 1972; Доватур и др. 1982; Членова 1983, 1989; Markwart 1938; Christensen 1943; Ghirshman 1977), а также почитание древнейших общих индоиранских божеств, засвидетельствованных в Ригведе, Авесте и у переднеазиатских ариев XIV в. до н. э.: Индры (в финно-угорские языки заимствовано название его оружия-атрибута *ваджры*), Варуны, сопоставимого с обско-угорским верховным богом Нуми-торумом по функциям и связи с конной колесницей, и Митры (общиндоиранский эпитет), функции которого у манси воплощает Мир-Суснэ-хум, соотносимый с белым конем. Связь с конем показывает, что коневодство было заимствовано финно-угорскими народами вместе с комплексом религиозных представлений (Кузьмина 1977а; Мошинская 1979), а колесница датирует мифологему II тыс. до н. э.

8. Культ конных близнецов — Насатя лингвистически у финно-угоров не засвидетельствован, а археологически отражен лишь в скифское время — в образе спаренных коньков. Но, вероятно, его также можно возвести к древнейшей эпохе, поскольку он имеет древние индоевропейские истоки и связан с архаичным культом богини-матери — сырой земли и воды (в частности реки), то предстающей в антропоморфном облике с двумя близнецами или конями, то перевоплощающейся в водяное животное, которое называется общим индоевропейским термином (Гамкрелидзе, Иванов 1984, II) и соотносится то с бобром (иранская богиня реки Анахита, изображаемая в бобровой шкуре — «Ардвисур-Яшт»), то с гидрой (прародительница скифов, змееногая нимфа, дочь Днепра), то с водяной черепахой (осетинская Дзерассы — дочь повелителя вод Дон-бетыра); кости бобра есть на всех андронидных поселениях и на памятниках андроновской общности (Кузьмина 1988).

Култ бобра, его связь с плодородием и богиней-матерью, соотносимой с рекой, в частности — Волгой, широко представлен у финно-угорских народов (Скалон 1951; Членова 1989).

К этой же древнейшей эпохе возводимы культ священной рыбы Волги *Кара*, фантастического лося *шарабхи*, вероятно, заимствованные индоиранцами у финно-угров (Барроу 1976; Бонгард-Левин, Грантовский 1983), представления о духе ветра, соотносимом с индоиранским *Вата*, мировом столпе и мельнице *сампо*, культ верблюда и хищной птицы *Корс*.

9. Второй этап рассматриваемых контактов — сако-скифская эпоха, когда лингвистически фиксируются иранские заимствования преимущественно в угорские языки. Они охватывают лексику, связанную с хозяйством: 'корова', 'молоко', 'кнут', 'рог', 'питаться', 'дом', ('землянка', от иранского глагола 'копать'), 'золото' (позже — 'металл', 'железо'), 'серебро', 'нож'; религией: 'бог' ('богатство'), 'очаг', 'песнопение'; социальными отношениями: 'мужчина', 'младшая сестра'; военным делом: 'всадник', 'меч', 'доспех'. Археологически эти связи нашли яркое отражение в ананьинской, саргатской и более поздней усть-полуйской культурах, относимых к уграм, прежде всего, — в произведениях, отражающих влияние скифского звериного стиля (Збруева 1952; Чернецов 1953б, 1957; Мошинская 1976). М. Н. Погребова и Д. С. Раевский (1989) показали наличие прямых контактов «отложившихся скифов» Геродота с ананьинцами, Л. И. Корякова (1987) выделила в саргатской культуре погребения сакских воинов-всадников.

К этому периоду закономерно относить культ огня, трансформацию Мир-Суснэ-хума в образ воина-всадника под влиянием поздней иконографии Митры и формирование некоторых особенностей шаманского культа, общих только с иранскими народами (Домусульманские верования... 1975).

10. Сложившиеся в скифскую эпоху образы: антропоморфная личина, конный всадник, конь, пара коньков, двугорбый верблюд, лев, противостоящие звери у дерева, хищная птица, сцена терзания представлены в пермском стиле и доживают в угорском искусстве до современности, как и жертвоприношения коня, лося, бобра в святилищах (Мошинская 1976; Оборин 1976; Мировоззрение... 1985; Религиозные представления... 1987).

11. Третий этап угорско-иранских связей, возможно, датируется поздним временем и связан с распространением у угров некоторых манихейских концепций, в частности — о конце света. Но эта проблема нуждается в дальнейшем изучении (Мировоззрение... 1985).



## ЛИТЕРАТУРА

- Абаев 1981 — В. И. Абаев. К вопросу о прародине и древнейших миграциях индоиранских народов // Древний Восток и античный мир. М., 1972.
- Айхенвальд и др. 1982 — А. Ю. Айхенвальд, В. Я. Петрухин, Е. А. Хелимский. К реконструкции мифологических представлений финно-угорских народов // Балто-славянские исследования 1981. М., 1982.
- Барроу 1976 — Т. Барроу. Санскрит. М., 1976.
- Бонгард-Левин, Грантовский 1983 — Г. М. Бонгард-Левин, Э. А. Грантовский. От Скифии до Индии. М., 1983.
- Гамкрелидзе, Иванов 1984 — Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов. Индо-европейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984, кн. I-II.
- Генинг 1974 — В. Ф. Генинг. Могильник Синташта и проблема ранних индоиранских племен // Сов. археология, 1974, № 4.
- Генинг, Ещенко 1973 — В. Ф. Генинг, Н. К. Ещенко. Могильник эпохи поздней бронзы Черноозерье I // Из истории Сибири. Томск, 1973, вып. 5.
- Герценберг 1975 — Л. Г. Герценберг. Шаманизм у иранцев и угрофиннов // Финно-угорские народы и Восток. Тарту, 1975.
- Грантовский 1960 — Э. А. Грантовский. Индоиранские касты у скифов. М., 1960.
- Доватур, Каллистова 1982 — А. И. Доватур, Д. П. Каллистова и др. Народы нашей страны в «Истории» Геродота. М., 1982.
- Домусульманские верования... 1975 — Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. М., 1975.
- Збруева 1952 — А. В. Збруева. История населения Прикамья в ананьинскую эпоху // МИА, 1952, № 30.
- Зданович 1973 — Г. Б. Зданович. Керамика эпохи бронзы Северо-Казахстанской обл. // Вопросы археологии Урала. Свердловск, 1973, вып. 12.
- Корякова 1987 — Л. И. Корякова. О социальном уровне племен саргатской культуры // XVII Всесоюзная финно-угорская конференция. Устинов, 1987.
- Косарев 1974 — М. Ф. Косарев. Древние культуры Томско-Нарымского Приобья. М., 1974.
- Косарев 1981 — М. Ф. Косарев. Бронзовый век Западной Сибири. М., 1981.
- Кузьмина 1977а — Е. Е. Кузьмина. Распространение коневодства и культа коня у народов Старого Света // Средняя Азия в древности и средневековье. М., 1977.
- Кузьмина 1977б — Е. Е. Кузьмина. В стране Ковата и Афрасиаба. М., 1977.
- Кузьмина 1981 — Е. Е. Кузьмина. Происхождение иранцев в свете новейших археологических данных // Этнические проблемы Центральной Азии. М., 1981.
- Кузьмина 1987 — Е. Е. Кузьмина. Дионис у усуней // Центральная Азия: Новые памятники письменности и искусства. М., 1987.
- Кузьмина 1988 — Е. Е. Кузьмина. Культурная и этническая атрибуция пастушеских племен Казахстана и Средней Азии эпохи бронзы // ВДИ, 1988, № 2.
- Матющенко 1973а — В. И. Матющенко. Андроновская культура на Верхней Оби. Томск, 1973.

- Матющенко 1973б — В. И. Матющенко. Еловско-ирменская культура. Томск, 1973.
- Матющенко, Синицына 1988 — В. И. Матющенко, Л. И. Синицына. Могильник Ростовка вблизи Омска. Томск, 1988.
- Мировоззрение... 1985 — Мировоззрение народов Западной Сибири по археологическим и этнографическим данным. Томск, 1985.
- Могильников 1983 — В. А. Могильников. Об этническом составе культур Западной Сибири в эпоху железа // Этнокультурные процессы в Западной Сибири. Томск, 1983.
- Молодин 1983 — В. И. Молодин. Бараба в эпоху бронзы. Новосибирск, 1983.
- Молодин, Глушков 1989 — В. И. Молодин, И. Г. Глушков. Самусьская культура в Верхнем Приобье. Новосибирск, 1989.
- Мошинская 1976 — В. И. Мошинская. Древняя скульптура Урала и Западной Сибири. М., 1976.
- Мошинская 1978 — В. И. Мошинская. Современное состояние вопроса о роли южного компонента в древней истории населения Крайнего Севера и Западной Сибири // Этнокультурная история населения Западной Сибири. Томск, 1978.
- Мошинская 1979 — В. И. Мошинская. Некоторые данные о роли лошади в культуре населения Крайнего Севера Западной Сибири // История, археология и этнография Сибири. Томск, 1979.
- Оборин 1976 — В. А. Оборин. Древнее искусство народов Прикамья: Пермский звериный стиль. Пермь, 1976.
- Обыденков 1974 — М. Ф. Обыденков. Поздний бронзовый век Южного Урала. Уфа, 1986.
- Основы... 1974 — Основы финно-угорского языкознания. М., 1974, т. 1.
- Погребова, Раевский 1987 — М. Н. Погребова, Д. С. Раевский. К вопросу об «отложившихся скифах» // ВДИ, 1989, № 1.
- Религиозные представления... 1987 — Религиозные представления в первобытном обществе. М., 1987.
- Скалон 1977 — В. В. Скалон. Речные бобры Северной Азии. М., 1951.
- Смирнов, Кузьмина 1977 — К. Ф. Смирнов, Е. Е. Кузьмина. Происхождение индоиранцев в свете новейших археологических открытий. М., 1977.
- Топоров 1975 — В. Н. Топоров. К иранскому влиянию в финно-угорской мифологии // Финно-угорские народы и Восток. Тарту, 1975.
- Топоров 1981 — В. Н. Топоров. Об иранском влиянии в мифологии народов Сибири и Центральной Азии // Кавказ и Средняя Азия в древности и средневековье. М., 1981.
- Халиков 1969 — А. Х. Халиков. Древняя история Среднего Поволжья. М., 1969.
- Чернецов 1953 — В. Н. Чернецов. Древняя история Нижнего Приобья // МИА, 1953, № 35.
- Чернецов 1957 — В. Н. Чернецов. Нижнее Приобье в I тыс. н. э. // МИА, 1957, № 58.
- Чернецов 1963 — В. Н. Чернецов. К вопросу о месте и времени формирования уральской общности // Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum. Budapest, 1963.

- Членова 1983 — Н. Л. Членова. Предыстория «торгового пути» Геродота // Сов. археология, 1983, № 1.
- Членова 1989 — Н. Л. Членова. Волга и Южный Урал в представлениях древних иранцев и финно-угров во II — нач. I тыс. до н.э. // Сов. археология, 1989, № 2.
- Ancient Cultures... 1976 — Ancient Cultures of the Uralian Peoples. Budapest, 1976.
- Christensen 1943 — A. Christensen. Le premier chapitre du Vendidad et l'histoire primitive des tribus iraniennes. København, 1943.
- Csillaghy 1974 — A. Csillaghy. I prestiti iranici nelle lingue ugro-fenniche e il problema dell'appartenenza uralo-altaica // Paideia XII, 1974.
- Ghirshman 1977 — R. Ghirshman. L'Iran et la migration des Indo-Aryens. Leiden, 1977.
- Harmatta 1981 — J. Harmatta. Proto-Iranians and Proto-Indians in Central Asia in the 2. mill. B.C. // Ethnic Problems of the History of Central Asia in the Early Period. Moscow, 1981.
- Joki 1973 — A. J. Joki. Uralier und Indogermanen. Helsinki, 1973.
- Koivulehto 1987 — J. Koivulehto. Zu den frühen Kontakten zwischen Indogermanisch und Finnisch-Ugrisch // Linguistische Studien A 161/II. Berlin, 1987.
- Korenchy 1972 — É. Korenchy. Iranische Lehnwörter in den obugrischen Sprachen. Budapest, 1972.
- Markwart 1938 — J. Markwart. Wehrot und Arang. Leiden, 1938.
- Popular Beliefs... 1968 — Popular Beliefs and Folklore Traditions in Siberia. Budapest, 1968.
- Rédei 1986 — K. Rédei. Zu den indogermanisch-uralischen Sprachkontakten. Wien, 1986.

Я. ГУЯ

## К СОПОСТАВЛЕНИЮ КУЛЬТУР УРАЛЬСКОЙ И ИНДОЕВРОПЕЙСКОЙ ЭПОХ

0.1 Культура (пракультура) индоевропейцев известна уже в течение продолжительного времени (см. из новейших работ Гамкрелидзе, Иванов 1984). Благодаря недавно появившимся этимологическим словарям (Janhunen 1977, UEW) возникает возможность реконструировать и пракультуру уральских (финно-угорских, самодийских) этнических групп. Хорошо известно, впрочем, что систематическое исследование и реконструкция определенной пракультуры — далеко не простая задача.

Наибольшая проблема состоит в том, что зачастую культурная лексика не является устойчивой частью исконного словарного состава языка. Например, в венгерском языке к древнейшему — праяральскому — слою лексики относится около 100 слов, например, *aj-*: *ajak* 'губа', *al* 'под-', *ángy* 'жена брата...', *avat-* 'дать проникнуть...', *az* 'тот' и т. д. Если сравнить эти слова с известным глоттохронологическим списком Сводеша, то обнаруживается, что круг сохранившихся в венгерском языке слов уральского происхождения едва выходит за семантические рамки этого списка. В венгерском языке, таким образом, сохранилась лексика, в наименьшей мере связанная с культурой. Из этого следует, что рассмотрение слов уральского происхождения дает лишь очень ограниченные возможности использовать материал без дополнительных данных в качестве основы для исторического исследования (Gulya 1974, 171–172). Хотя положение улучшается, если принимать во внимание и данные других, а в конечном счете всех уральских языков, все же пример венгерской лексики служит предостережением против излишнего оптимизма. Проблематично, далее, и то, насколько сохранена в современных языках первоначальная семантика слов и насколько достоверно и полно зафиксирована она в лексикографических источниках. (Это касается в первую очередь урало-финских языков.) Не приходится уже и говорить о том, сколь трудна реконструкция исторических архетипов в сфере семантики. Фактически исследователи, занимающиеся праисторией культуры, лишены возможности непосредственно опереться на свидетельства языка.

Трудности такого рода при лингвистическом подходе можно, вероятно, преодолевать двумя путями:

— не рассматривая слова (этимологии) в отрыве друг от друга, а пытаясь увидеть в них элементы семантических структур и исследуя их как части семантической сетки: при этом возможные лакуны в этой сетке можно надеяться восполнить на основе системных соображений. В рамках подобного подхода можно даже с опорой на изолированные слова попытаться обнаружить общие признаки системы, что способно привести к лучшему пониманию целого фрагмента определенной пракультуры (многие превосходные примеры этого рода можно найти в цитированной книге Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова);

— к новым результатам можно прийти при сопоставлении отдельных наличествующих у нас сведений о пракультурах. Обнаруживающиеся при этом совпадения и расхождения могут либо увеличить достоверность имеющихся выводов, либо привести к постановке новых вопросов, что в дальнейшем окажется плодотворным при изучении каждой из сопоставляемых друг с другом культур. В данном случае речь идет о возможности сопоставления культур уральской и индоевропейской эпох в целом или отдельных их компонентов.

В этой связи необходимо заметить, что подобное исследование является независимым (хотя и не в полной мере) от того, какой концепции в отношении этнической истории и локализации прародины того или иного народа мы придерживаемся. Поэтому для ставящихся здесь целей будет достаточным постулировать, что: а) носители уральского праязыка обитали в лесной зоне Северо-Восточной Европы — Северо-Западной Сибири; б) носители индоевропейского языка заведомо расселились юго-западнее и являлись носителями (более) южной по характеру и по происхождению культуры.

0.2 Основопологающим правилом для исследований по праистории, опирающихся на данные языкознания, служит импликация, согласно которой из существования в определенный период некоторого слова следует наличие в этот период предмета или понятия, обозначаемого этим словом. В символической записи это правило выглядит так:

(1) СЛОВО → ПРЕДМЕТ/ПОНЯТИЕ

На основе сказанного выше это бесспорное правило следует дополнить правдоподобным и достаточно очевидным (но требующим обязательного учета в исследованиях по праистории) утверждением: если для определенного периода (нам) неизвестно слово, обо-

значающее определенный предмет или понятие, из этого не следует, что в этот период соответствующего предмета или понятия не существовало:

(2) СЛОВО → ПРЕДМЕТ/ПОНЯТИЕ

Как вхождение отдельных слов в совокупные семантические структуры, так и сопоставление различных пракультур друг с другом, равно как и экстралингвистические данные (из археологии и других «палео»-дисциплин) могут подтолкнуть нас к поиску неизвестного слова (этимона), которое вписывалось бы в выкристаллизовывающуюся картину изучаемой культуры. Эту методологическую возможность символически отражает запись:

(3) \*ПРЕДМЕТ/ПОНЯТИЕ → \*СЛОВО

1. С XVIII в. числительным придавалось особое значение в генетическом изучении языков и языковых семей. Поэтому для начала можно обратиться к этому материалу. Перечни числительных можно в порядке примера представить (с некоторыми упрощениями) в следующем виде:

	Праиндоевропейский	Прафинно-угорский	Прасамодийский
1	(различн.)	? <i>ikte</i>	<i>op</i>
2	<i>t'uo-</i>	<i>kakta</i>	<i>kitä</i>
3	<i>t<sup>h</sup>rei-</i>	<i>kolme</i>	<i>näkâr</i>
4	<i>k<sup>h</sup>-et<sup>h</sup>ue/or-</i>	<i>neljä</i>	<i>tettä</i>
5	<i>p<sup>h</sup>enk<sup>h</sup>-e</i>	<i>witte</i>	<i>sâmpâ</i>
6	<i>s<sup>e</sup>ek<sup>h</sup>s-</i>	<i>kutte</i>	<i>mâktât</i>
7	<i>sep<sup>h</sup>th<sup>m</sup></i>	(различн.)	<i>sejtwâ</i>
8	<i>ok<sup>h</sup>thō-(n)</i>	(различн.)	(‘2 × 4’)
9	<i>ney(e)n-</i>	(различн.)	(композиц.)
10	<i>t<sup>e</sup>ek<sup>h</sup>m-</i>	(различн.)	<i>wüt</i>
100	<i>k<sup>h</sup>mt<sup>h</sup>om</i>	<i>sata</i>	<i>jür</i>

В связи с числительными можно отметить следующее: 1) рассматриваемые числительные носят во всех трех группах абстрактный характер; 2) в двух основных группах уральских языков, финно-угорской и самодийской, числительные различны, однако возводимы к общим прафинно-угорским и прасамодийским архетипам. Причина этого остается — по крайней мере пока что — загадочной. 3) Ф.-у. *sata* — индоевропейское заимствование; и.-е. слово «семь»

может быть семитским заимствованием, а из и.-е. оно проникло в угорскую ветвь ф.-у. языков (ср. манс. *sāt*, хант. *läwät, tärät*, венг. *hét*). 4) В ранее соседствовавших пермской и угорской ветвях ф.-у. языков имеются еще два особенных числительных: \**monē* '10' (с и.-е. параллелями, ср. и.-е. \**monēgh-* 'много') и \**kušz* '20'.

2. Другую примечательную группу лексики составляют термины родства. В прауральском обнаруживаются следующие термины родства (см. Gulya 1983, 1 и UEW):

[1] <i>anž-</i> 'теща, свекровь'	[9] <i>koje</i> 'супруг'
[2] <i>aña</i> 'жена старшего родича'	[10] <i>kälzwz</i> 'золовка, невестка'
[3] <i>appe</i> 'тесть, свекор'	[11] <i>koska</i> 'бабушка'
[4] <i>šešä</i> 'дядя'	[12] <i>miñä</i> 'невестка, сноха'
[5] <i>ekä</i> 'брат отца'	[13] <i>natz</i> 'деверь, шурин'
[6] <i>ičä</i> 'старший кровный родственник'	[14] <i>niřä</i> 'жена, женщина'
[7] <i>emä</i> 'мать'	[15] <i>wäřz</i> 'зять'
[8] <i>imž</i> 'старшая /кровная/ родственница'	[16] <i>inäjpři</i> 'отец/мать мужа/жены' (по Янхунену, сложение [1] + [3])

Несмотря на сравнительно небольшое число слов, удается распознать признаки древнейшей уральской системы родства. Можно утверждать с большой долей вероятности, что все признаки, определяющие современные системы родства, были представлены в большей или меньшей степени уже в прауральском и сохранены «до сегодняшнего дня» (см. Gulya 1983, 2, 5–7). Архаичная система терминов родства обнаруживается прежде всего в хантыйском и мансийском, в самодийских языках, и с некоторыми отклонениями в саамском. Замыкающими в этом ряду оказываются венгерский и, очевидно, в еще большей мере финский язык, хотя число сохранившихся в последнем уральских терминов родства довольно велико. Примечательно, что в древнейшей лексике уральских языков вообще не представлены такие слова, как «отец», «брат», «сестра», хотя для других языковых семей (например, индоевропейской) они весьма типичны (см. Гамкрелидзе, Иванов 1984, т. II, 763–765).

В двух случаях ([1] *anž-* 'теща, свекровь' и [13] *natz* 'деверь, шурин') в самодийском по сравнению с финно-угорским изменено указание на пол. В обоих случаях самодийские термины родства применяются к мужчинам, тогда как финно-угорские — к женщинам. Вполне возможно, что за этой сменой указания на пол стоят изменения в социальной структуре.

3. Далее будут рассмотрены слова, связанные с обозначением оружия и боевых действий. По данным предварительного обследования (Böger 1989), применительно к уральскому речь идет о следующих словах:

[1] <i>joŋ(k)sz</i>	'лук (для стрельбы)'
[2] <i>kurz</i>	'нож; ? меч'
ср. <i>kečz</i>	'нож'
[3] <i>tuřkz</i>	'стрела с булавовидным наконечником'
[4] <i>ñeļe</i>	'стрела'
[5] <i>ořtz</i>	'острие, копье'
[6] ? <i>päjcž</i>	'топор'
[7] <i>woča</i>	'ограда, забор; запор для рыбной ловли'

Приведенные уральские слова большей частью связаны с охотой и рыбной ловлей, либо обозначают орудия повседневного обихода («нож», «топор»). Лишь слово, относящееся к значительно более поздней финно-волжской эпохе, \**šota* 'борьба, сражение, война; бороться, сражаться', впервые однозначно указывает на бои между людьми (Böger 1989). Напротив, в индоевропейском можно обнаружить целый ряд названий оружия и слов, связанных с ведением боевых действий (Гамкрелидзе, Иванов 1984, т. II, 739–741, 884), в частности:

[e]nsi-	'меч'
pheleķhu-	'боевой топор; топор'
phol-	'щит'
gh-en-	'убивать, уничтожать, охотиться'
se/oru-	'добыча; захватить (добычу)'
lau-	'добыча; захватить (добычу)'
laH(υ)o-	'народ, войско, поход'
uer-	'защищать(ся)'

Однако в прауральской лексике все же имеется одно слово (см. Joki 1973, 275; Гамкрелидзе, Иванов 1984, т. II, 932–933; UEW 218–219), которое непосредственно может указывать на наличие орудия для убийства людей — *kurz* 'нож' (фин. также: 'ударное орудие, булава, меч', энецк.: 'кинжал'). Это слово известно также и.-е. языкам (лит. *kiřvis* 'топор', гот. *hairus* 'меч', др.-исл. *hjorr* id., хетт. *kuruzzi-* 'режущий инструмент') и, возможно, языкам других групп (тюрк., монг., юкаг.). Вероятно, это миграционный термин, в конечном счете ведущий свое происхождение с юга или из Средней Азии.

4. В том, что метод «структурной семантики» (см. выше, и особенно Гамкрелидзе, Иванов 1984, т. II, 457–462), дополненный сравнением древнейших культур различных этносов, обладает большой ценностью как средство лингвистического изучения доисторических культур, убеждает и следующий пример:

В индоевропейском и его потомках имеются многочисленные обозначения «человека» (или же «мужчины, мужа» и т. д.), например, нем. *Mann*, арм. *mard*, лат. *homō* и др. Многие из этих и.-е. слов были заимствованы различными финно-угорскими языками и служат соответствующим народам часто в качестве этнонимов, родовых названий, а также как название одной из фратрий у угров (например, венг. *magyar/Magyar*, манс. *māńśi*, хант. *mańt' - mōś*, удм. *-murt: udmurt*, мар. *mari(j)*, морд. *mirdé* и др.; ср. также фин. *marras/martaa* - 'умирающий, мертвец' и т. д.). (Из литературы вопроса см. Joki 1973; Гамкрелидзе, Иванов 1984, т. II, особенно 474–476, 480–481, 925–926, 931; UEW.) В классификации этих слов обычно определенную роль играет семантический признак «смертный», и многие из них образованы от корня *\*mer-*, *\*mor-* со значением «умирать». Для слов в отдельных группах значимы и другие бинарные признаки, в частности, «разумные существа - боги» или «земля - небо», которые одновременно указывают на известные мифологические связи. К этому разряду относится, среди прочих, и основа *\*manu-* со значением «человек, предок людей» (см. Гамкрелидзе, Иванов 1984, т. II, 475, 481).

При сравнении друг с другом упомянутых здесь и.-е. и финно-угорских слов выявляются два значимых обстоятельства:

1) вышеназванные и.-е. заимствования финно-угорских языков происходят на «западе» (т. е. в финском, мордовском и пермском) от и.-е. *\*mer-*, *\*mor-* 'умирать', а на «востоке» (т. е. в угорском) они возводимы к и.-е. *\*manu-* 'человек';

2) мифологические аспекты (признаки) основы *\*manu-* однозначно говорят в пользу того, что угорские слова (хант. *mańt' - mōś* 'название одной из фратрий...', а также венг. и манс. соответствия) действительно представляют собой индоевропейские заимствования также и с точки зрения мифологии.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Гамкрелидзе, Иванов 1984 — Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984, т. I–II.  
 Böger 1989 — J. Böger. Zur Etymologie der Waffenwörter im Finnischen. Göttingen, 1989 (Mskr.).

- Gulya 1974 — J. Gulya. Östörténet és szemantika // Nyelvtudományi Értekezések, 1974, 83.  
 Gulya 1983 — J. Gulya. Survival-Erscheinungen in den Verwandtschaftstermini der uralischen Völker // Ural-Altäische Jahrbücher (Neue Folge), 1983, Bd. 3.  
 Janhunen 1977 — J. Janhunen. Samojedischer Wortschatz. Helsinki, 1977.  
 Janhunen 1981 — J. Janhunen. Uralilaisen kantakielen sanastosta // Journal de la Société Finno-Ougrienne, 1981, 77.  
 Joki 1973 — A. J. Joki. Uralier und Indogermanen. Helsinki, 1973.  
 Pokorny 1959, 1969 — J. Pokorny. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1959, 1969, Bd. I–II.  
 Swadesh 1955 — M. Swadesh. Towards greater accuracy in lexico-statistic dating // International Journal of American Linguistics 1955, XX.  
 UEW — K. Rédei. Uralisches etymologisches Wörterbuch. Wiesbaden, 1986–1988.

**В. В. НАПОЛЬСКИХ**

**ПРОИСХОЖДЕНИЕ  
СУБСТРАТНЫХ ПАЛЕОЕВРОПЕЙСКИХ КОМПОНЕНТОВ  
В СОСТАВЕ ЗАПАДНЫХ ФИННО-УГРОВ**

...the trees and the grass do not remember them. Only I hear the stones lament them: deep they delved us, fair they wrought us, high they builded us; but they are gone. They are gone.

*J. R. R. Tolkien*

Вопрос об обстоятельствах и времени появления финно-угров на берегах Балтики является самым сложным с точки зрения соответствующей языковым фактам гипотезы об их восточном происхождении<sup>1</sup>. Поэтому принципиальное значение имеет схема генезиса западных финно-угров, суть которой изложена ниже<sup>2</sup>.

В центре и на северо-западе Русской равнины, в Восточной Прибалтике, в южной части Финляндии и Карелии в середине и во второй половине II тысячелетия до н. э. происходили сложные и интенсивные этноязыковые процессы, обусловленные усилением активности и подвижности человеческих коллективов в начале эпохи бронзы, значительным похолоданием и увлажнением климата, наступлением на юг и запад темнохвойной тайги, одновременно — широким распространением земледелия и скотоводства, начавших доминировать в комплексном хозяйстве лесного населения, повсеместным распространением бронзолитейного производства. Это естественно приводило к острому «соперничеству» этносов и языков, сопровождалось взаимоассимиляцией старых групп и сложением новых многокомпонентных образований. Именно таким новообразованием стало сообщество носителей культуры текстильной (сетчатой) керамики, которых с достаточной уверенностью можно считать прямыми языковыми предками финно-волжских народов. Основным формообразующим компонентом в сложении языка и

<sup>1</sup> См., напр.: П. Н. Третьяков. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М., 1966, с. 59.

<sup>2</sup> По-видимому, впервые была детально обоснована и изложена — по археологическим материалам — О. Н. Бадером: О. Н. Бадер. Бассейн Оки в эпоху бронзы. М., 1970, с. 146–154.

этнического лица этих групп не могли быть протобалты — носители фатьяновской, балановской и прибалтийской культуры шнуровой керамики: неблагоприятные изменения экологической обстановки вызвали кризис их высоко специализированного скотоводческо-земледельческого хозяйства; по этой же причине не имела успеха и интрузия на север ираноязычных племен, отразившаяся в возникновении и угасании поздняяковской культуры. Носители культур волго-окской и прибалтийской типичной ямочно-гребенчатой керамики (далее — ЯГК) если не были полностью истреблены протобалтами, то оказались вытесненными в наиболее глухие, невыгодные в хозяйственном отношении районы, едва ли имели при этом достаточно развитое производящее хозяйство и бронзовую металлургию, столкнулись с чуждым для них новым экологическим окружением — темнохвойной тайгой и не имели никаких шансов сохранить свой язык и этническое лицо. Лишь в центральных и северных областях Карелии и Финляндии, где природно-хозяйственная ситуация оставалась относительно стабильной, сохранялась преемственность населения и культуры (культура ЯГК — культура асбестовой керамики). Носителями хозяйственных и культурных доминант, сыгравшими решающую роль в сложении этноса (этносов) культуры текстильной керамики, были создатели культур гаринско-волосовской общности, влияние которых еще в предшествующий период ощущалось вплоть до Финляндии («синдром Пюхенсилтя») и безусловно усилилось вследствие развития сейминско-турбинского феномена; именно в них следует видеть финно-пермских предков финно-волжских народов<sup>3</sup>.

Данная схема позволяет соединить противоречивые, казалось бы, данные языка, антропологии и археологии, в том числе и указывающие на наличие в составе прибалтийских финнов и самов субстрата, который в языковом отношении не принадлежал к уральской и индоевропейской семьям в их определенных на сегодня границах — палеоевропейского. Обоснованию гипотезы о палеоевропейском субстрате был посвящен доклад на конференции «Балто-славянские языки и проблема урало-индоевропейских связей»<sup>4</sup>, в котором я попытался продемонстрировать ряд черт в язы-

<sup>3</sup> Подробнее см.: В. В. Напольских. Проблема формирования финноязычного населения Прибалтики (К рассмотрению дилемм финно-угорской предыстории) // Исследования по этногенезу и древней истории финноязычных народов. Ижевск, 1990, с. 40–67.

<sup>4</sup> В. В. Напольских. Палеоевропейский субстрат в составе западных финно-угров // *Uralo-Indogermanica*. М., 1990, ч. 2, с. 128–134.

ке<sup>5</sup>, антропологии и культуре, противопоставляющих прибалтийских финнов и саамов другим финно-уграм, но сближающих их с соседними индоевропейскими народами, которых эти явления также отделяют от других индоевропейцев.

Согласно изложенной схеме, на роль палеоевропейцев претендуют прежде всего носители культур волго-окской<sup>6</sup> и прибалтийской типичной ЯГК, асбестовой керамики — очевидно, прямые потомки носителей прибалтийской типичной ЯГК<sup>7</sup>, а также носители культуры арктического неолита Крайнего Севера Фенноскандии, которые, по-видимому, являются прямыми потомками создателей мезолитической культуры комса<sup>8</sup>. Все эти группы являются, видимо, аборигенами региона с древнейших времен, едва ли могут быть связаны с индоевропейцами и не могли, в силу описанных выше обстоятельств, дать начало побе-

<sup>5</sup> Например, происхождение чередования ступеней в прибалтийско-финско-саамских языках, имеющее общий для всей группы исток (см.: P. Ravila. Problem des Stufenwechsels im Lappischen // FUF, 1960, Bd. 33, S. 324), Л. Пости объяснял действием закона Вернера вследствие перехода германцев на финно-угорскую речь, однако парадокс заключается в том, что в связи с фиксированным ударением на первом слоге закон Вернера не может действовать в прибалтийско-финских и саамских двусложных словах (см.: L. Posti. From Pre-Finnic to late Proto-Finnic // FUF, 1953, Bd. 31, S. 76–78). Кроме того, такое объяснение предполагает субстратное германское влияние на прибалтийско-финско-саамский праязык (ср.: V. Tauli. On foreign contacts of the Uralic languages // UAJb, 1955, Bd. 27, S. 22), между тем, как объем и характер германских заимствований, их фонетический облик, так и исторические соображения позволяют при всем желании говорить лишь о суперстратном (контактном) влиянии (см.: J. Koivulehto. Vanhimmista germaanista lainakosketuksista ja niiden ikäämisestä // Virittäjä, 1976, 80), причем наибольшая его интенсивность приходится, по-видимому, уже на период после распада прибалтийско-финско-саамского единства. К высказанному мною в указанной выше работе мнению о типологическом параллелизме чередования ступеней в западных финно-угорских языках и передвижения согласных в германских, возникшем вследствие влияния палеоевропейских языков (мнение А. Мейе в отношении германских), могу добавить, что аналогичные явления в островных кельтских языках (лениция и т. д.) также объясняли влиянием палеоевропейского субстрата (J. Pokorny. Das nicht-indogermanische Substrat im Irischen // Zeitschrift für celtische Philologie. Halle, 1915, Bd. 16). Наличие индоевропейских «предпосылок» (см.: J. Baudiš. On the character of the Celtic languages // Revue celtique. Paris, 1923, v. 40, p. 123) нисколько не исключает такой возможности.

<sup>6</sup> Тезис не нов, см.: П. Н. Третьяков. Волго-окская топонимика и вопросы этногенеза финно-угорских народов // СЭ, 1958, № 4.

<sup>7</sup> Г. А. Панкрушев. О племенах с асбестовой керамикой в Карелии и Финляндии // Вопросы советского финно-угроведения. Петрозаводск, 1974, т. 1, с. 20–21.

<sup>8</sup> В. Я. Шумкин. Западные и восточные традиции культуры аборигенного населения северной Фенноскандинавии // Uralo-Indogermanica. М., 1990, ч. 2, с. 11–13.

дившим здесь к рубежу I–II тысячелетий до н. э. финно-угорским языкам.

Пытаясь ниже проследить генезис палеоевропейских субстратных компонентов, я буду исходить из допущения о том, что археологические культуры каменного века и их генетические и контактные связи могут отражать существование реальных этноязыковых единиц и развитие реальных этнографических процессов, — понимая всю его недоказанность и априорность<sup>9</sup>. Это приходится делать, поскольку проблема практически не разработана, а археологический материал позволяет наметить перспективы исследования.

На неолитическом уровне культура волго-окской ЯГК является, видимо, аборигенной для междуречья Оки и Волги; в III тысячелетии до н. э. носители этой традиции расселяются отсюда на север, следствием чего становится сложение ряда родственных культур в лесах Восточной Европы от Балтики до Вычегды и Печоры<sup>10</sup>. Однако к моменту образования культуры текстильной керамики племени культур ЯГК в ряде районов были ассимилированы или вытеснены иными группами и сохранялись как реальный фактор этнических процессов лишь в Костромском озерном крае (оз. Галичское и др.), в Каргополье, в Прибалтике и Карелии<sup>11</sup>.

Образование прибалтийских культур типичной ЯГК связано с расселением на северо-запад носителей волго-окской ЯГК<sup>12</sup>. Однако в ее сложении огромное значение имели культуры ранней гребенчатой керамики (нарвская, сперрингс), восходящие к местному мезолиту и в ряде районов (особенно на севере Финляндии и Карелии) в пережиточном виде сохранившиеся до середины II тысячелетия до н. э., оказав влияние (сперрингс) на формирование культуры асбестовой керамики<sup>13</sup>. Влияние этого компонента необхо-

<sup>9</sup> См.: В. В. Напольских. Палеоевропейский субстрат в составе западных финно-угров..., с. 128.

<sup>10</sup> П. Н. Третьяков. Финно-угры, балты и славяне..., с. 40–42; С. В. Ошибкина. Неолит Восточного Прионежья. М., 1978, с. 153; В. П. Третьяков. Культура ямочно-гребенчатой керамики в лесной полосе Европейской части СССР. Л., 1972, с. 120–128.

<sup>11</sup> В. П. Третьяков. Культура ямочно-гребенчатой керамики..., с. 132.

<sup>12</sup> E. Šturms. Der Ursprung der kamm- und grubkeramischen Kulturen Osteuropas // CmBl, 1955, Bd. 3, S. 243–244; Л. Ю. Янитс. Поселения эпохи неолита и раннего металла в приустье р. Эмайыги. Таллинн, 1959, с. 336–337; Н. Н. Гурина. Древняя история северо-запада Европейской части СССР // МИА. М.; Л., 1961, № 87, с. 156–157.

<sup>13</sup> Л. Ю. Янитс. Поселения эпохи неолита..., с. 340; Х. А. Моора. Вопросы сложения эстонского народа и некоторых соседних народов в свете данных археоло-

димо иметь в виду для территорий Латвии, Эстонии, Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, Карелии, Финляндии, Каргополя и Восточного Прионежья.

Влияние трех основных субстратных компонентов на генезис западных финно-угров во второй половине II тысячелетия до н. э. показано на рис. 1 (см. с. 207)<sup>14</sup>. Данная схема довольно удачно согласуется с выводами языкознания<sup>15</sup>.

На мезолитическом уровне указанные три компонента имеют с археологической точки зрения следующие истоки. Население севера Фенноскандии происходит от создателей мезолитической культуры комса, которая сложилась в результате миграции с юга вдоль западного побережья на север Скандинавии в конце палеолита — начале мезолита древнейших групп носителей аренсбургской традиции<sup>16</sup>.

Другой импульс пост-аренсбургского населения шел вдоль южного побережья будущей Балтики и достиг к VII тысячелетию до н. э. Восточного Прионежья, а несколько ранее — освободившегося от ледника юга Финляндии и Карелии, следствием чего стало образование цепи достаточно близких друг другу культур «круга маглемозе»: маглемозе в Англии, Северной Германии и Дании, кунда в Латвии и Эстонии, аскола-суомусъярви в Финляндии и Карелии и типа Нижнее Веретье в Восточном Прионежье<sup>17</sup>. Именно от этих культур — естественно, с различными инородными влияниями — непосредственно происходят названные выше раннеоли-

логии // ВЭИЭН, с. 61; Г. А. Панкрусев. Неолитические племена Карелии // МИА. Л., 1973, № 172, с. 73; Н. Н. Гурина. Древняя история северо-запада Европейской части СССР..., с. 163; T. E d g g e n. Jäkärilä-gruppen. En västfinsk kulturgrupp under yngre stenålder // SMyA, 1966, 64, s. 147.

<sup>14</sup> Несмотря на последовательные утверждения В. Я. Шумкина (см., напр.: В. Я. Шумкин. Западные и восточные традиции..., с. 10) о том, что формирование саамов происходило на крайнем севере Фенноскандии, я предпочитаю помещать первоначальный ареал их формирования на юге — учитывая бесспорные данные о присутствии древнего саамского топонимического пласта в Заволочье (см.: А. К. Матвеев. Древнее саамское население на территории севера Восточно-Европейской равнины // КИМН, с. 7-13).

<sup>15</sup> Ср., напр., схему М. Корхонена: M. K o r h o n e n. Johdatus lapin kielen historiaan. Helsinki, 1981, s. 32.

<sup>16</sup> В. Я. Шумкин. Западные и восточные традиции..., с. 11.

<sup>17</sup> E. Š t u r m s. Der Ursprung der kamm- und grubkeramischen Kulturen Osteuropas..., S. 244-246; С. В. Ош и б к и н а. Мезолит бассейна Сухоны и Восточного Прионежья. М., 1983, с. 155-156, 161-165, 268-272; О и а ж е. Неолит Восточного Прионежья..., с. 159-160.

тические культуры (нарвская в Эстонии и керамики сперрингс в Финляндии и Карелии), что может отражать и этноязыковую преемственность<sup>18</sup>. Таким образом, арктический и раннеолитический прибалтийский субстратные компоненты имеют в конечном счете общий исток в финальном палеолите Дании — Северной Германии<sup>19</sup>, чем, возможно, и объясняется некоторое сходство индустрий комса и аскола-суомусъярви<sup>20</sup>.

Гипотеза о происхождении культуры волго-окской ЯГК от волго-окского мезолита пост-свидерской традиции<sup>21</sup>, несмотря на появившиеся возражения<sup>22</sup>, остается, по-видимому, наиболее правдоподобной и сегодня. Учитывая, что археологические материалы (облик каменных индустрий) ей не противоречат, что отсутствуют основания выводить каменную индустрию культуры волго-окской ЯГК из мезолита других районов<sup>23</sup>, что переход от мезолита к неолиту в регионе носил в целом плавный характер<sup>24</sup> и в то же время в конце мезолита в Волго-Окском междуречье господствует бутовская культура, в которой можно видеть прямую наследницу свидерских традиций<sup>25</sup>, можно полагать, что носители культуры волго-окской ЯГК являлись в значительной мере потомками проникшего в этот район с запада в VIII тысячелетии до н. э. свидерского населения. Это движение началось в XI-X тысячелетии до н. э. вследствие глобальных изменений природных условий одновременно с описанным выше расселением носителей аренсбургских традиций<sup>26</sup> из Средней Европы. Свидерские и мезолитиче-

<sup>18</sup> L. J a a n i t s. Die frühneolithische Kultur in Estland // Congressus secundus internationalis fenno-ugristarum. Helsinki, 1968, pars 2, p. 12; E. Š t u r m s. Der Ursprung der kamm- und grubkeramischen Kulturen Osteuropas..., S. 247; V. L u h o. The population and prehistory of Finland // Ancient cultures of the Uralian peoples. Budapest, 1976, p. 119.

<sup>19</sup> См. также: V. L u h o. The population and prehistory of Finland..., p. 116.

<sup>20</sup> В. Ф. Филатова. Кремневые наконечники стрел в мезолите Карелии // СА, 1987, № 3, с. 21.

<sup>21</sup> E. Š t u r m s. Der Ursprung der kamm- und grubkeramischen Kulturen Osteuropas..., S. 251; В. П. Третьяков. Культура ямочно-гребенчатой керамики..., с. 42-50; С. В. Ош и б к и н а. Неолит Восточного Прионежья..., с. 155-156.

<sup>22</sup> См., напр.: Д. А. Крайнов. Фатьяновская культура в этногенезе балтов // ИДИВН, с. 40.

<sup>23</sup> В. П. Третьяков. Культура ямочно-гребенчатой керамики..., с. 42.

<sup>24</sup> Л. В. Кольцов. Некоторые итоги изучения мезолита Волго-Окского междуречья // СА, 1965, № 4, с. 26.

<sup>25</sup> Мезолит СССР. М., 1989, с. 86.

<sup>26</sup> См.: В. Я. Шумкин. Западные и восточные традиции..., с. 10.



ские пост-свидерские группы достигли на северо-востоке Сухоны и даже Печоры<sup>27</sup> и оказали значительное влияние на формирование культур кунда, нарвской и керамики сперрингс<sup>28</sup>.

Таким образом, по своим мезолитическим (точнее — постпалеолитическим) истокам палеоевропейский субстрат в составе западных финно-угров представляется состоящим из двух компонентов, которые можно условно назвать северноевропейским (аренбургская традиция) и восточноевропейским (свидерская традиция) — см. рис. 2 на с. 208. Генезис этих компонентов теряется во тьме тысячелетий палеолита Средней Европы, однако общий их исток в конечном счете не исключен.

Имеет смысл попытаться соотнести немногочисленные имеющиеся данные о языке, культуре и антропологии палеоевропейского субстрата с выводами археологии — не претендуя на решение проблемы, а лишь для того, чтобы наметить перспективы дальнейших исследований.

Два выделенных компонента отличались, по-видимому, антропологически: для северноевропейского, по крайней мере в Прибалтике, был характерен резко долихокефальный, широколицый, высокорослый европеоидный тип<sup>29</sup>, а для восточноевропейского — брахикранный с широким, уплощенным и низким лицом, близкий лапоноидному<sup>30</sup>, также являющийся древним европейским европеоидным вариантом<sup>31</sup>. Северноевропейский компонент присутствует, таким образом, в антропологических типах прибалтийских финнов, отчасти мордвы и коми-зырян, а восточноевропейский — в той или иной степени у всех финно-волжских и даже пермских народов. Это в целом согласуется с археологической картиной, представленной на рис. 1 и 2.

Поскольку в составе саамов следует предполагать преобладание северноевропейского компонента, их антропологический облик как

<sup>27</sup> С. В. Ошибкина. Мезолит бассейна Сухоны и Восточного Прионежья..., с. 40–42; Л. П. Хлобыстин. Крайний северо-восток Европейской части СССР в эпоху неолита и ранней бронзы // МИА. Л., 1973, № 172, с. 57–59.

<sup>28</sup> Д. А. Крайнов. Фатьяновская культура..., с. 38–39; В. Ф. Филатова. Кремневые наконечники стрел..., с. 25–26; Р. К. Римагнене. Палеолит и мезолит Литвы. Вильнюс, 1971, с. 175.

<sup>29</sup> Р. Я. Денисова. Генезис балтов // ИДИБН; С. В. Ошибкина. Мезолит бассейна Сухоны и Восточного Прионежья..., с. 201–202.

<sup>30</sup> К. Ю. Марк. Вопросы этнической истории эстонского народа в свете данных палеоантропологии // ВЭИЭН, с. 222–224.

<sup>31</sup> В. П. Якимов. Начальные этапы заселения Восточной Прибалтики // ТИЭ. М., 1956, т. 32, с. 267–271.

будто не укладывается в данную схему. Это противоречие можно объяснить тремя обстоятельствами. Во-первых, длительная изоляция предков саамов на крайнем севере Фенноскандии привела к тому, что их антропологический тип не подвергся процессу «балтизации», хотя и происходит в основном от того же ствола, что и беломоро-балтийская раса, но претерпел ряд изменений, приведших к возникновению «монголоидоподобных, но не монголоидных» черт<sup>32</sup>. Во-вторых, учитывая высказанную выше мысль о необходимости помещения ареала первоначального формирования саамов на юге, доля участия в их генезисе восточноевропейского компонента представляется не такой уж малой, особенно в связи с тем, что численность носителей этой традиции, проникавших в Карелию и Финляндию в мезолите и неолите, была весьма значительной. В-третьих, наконец, в антропологическом типе саамов присутствует, очевидно, еще один компонент — восточного происхождения (близкий собственно монголоидному, но отличный от него), определяющий антропологическую специфику уральских народов<sup>33</sup>. Проникновение этого компонента в Фенноскандию могло произойти (по археологическим данным) в III тысячелетии до н. э.<sup>34</sup> из Сибири. Лингвистическим отражением этого могут быть общие элементы в лексике саамского и северносамодийских языков, отражающие циркумполярные реалии<sup>35</sup>. Мнение об участии наряду с другими и какого-то восточного тундрового компонента в генезисе саамов высказывалось и раньше<sup>36</sup>.

Развитие своеобразных фонетических явлений (чередование ступеней и др.) в кельтских, германских и западных финно-угорских языках можно, по-видимому, относить за счет языкового влияния северноевропейского компонента, судя по географии их распрост-

<sup>32</sup> V. V. Bunak. Rassengeschichte Osteuropas // Rassengeschichte der Menschheit. München; Wien, s. a., Bd. 4, S. 24–25; B. Lundman. Ergebnisse der anthropologischen Lappenforschung // Anthropos. Wien, 1952, Bd. 47, S. 128–129.

<sup>33</sup> А. А. Зубов. Место саамов в одонтологической систематике финно-угорских народов // Материалы VI Международного конгресса финно-угроведов. М., 1989, т. 1, с. 171–172; Ю. Д. Беневоленская. Некоторые особенности строения затылочной области черепа у саамов // КИМН, с. 61–62; А. Г. Козинцев. Этническая краниоскопия. Л., 1988, с. 58, 140.

<sup>34</sup> В. Я. Шумкин. Западные и восточные традиции..., с. 12.

<sup>35</sup> Е. А. Хелимский. Древнейшие венгерско-самодийские языковые параллели. М., 1982, с. 50.

<sup>36</sup> V. V. Bunak. Rassengeschichte Osteuropas..., S. 11; H. Pohlhausen. Zum Problem der nordgermanisch-lappischen Beziehungen // CmBl, 1957, Bd. 3, S. 116–117.

ранения. Видимо, не лишены смысла поиски субстратной палеоевропейской лексики, сопоставимой с таковой в саамском, — в германских и кельтских языках. Под новым углом зрения может быть рассмотрена в этой связи и проблема уникального реликта — неиндоевропейского языка пиктов, зафиксированного в огамической эпиграфике Шотландии<sup>37</sup>.

С восточноевропейским компонентом может быть связано распространение среди прибалтийских финнов, саамов, коми-зырян и мордвы мифа о возникновении мира из яйца, чуждого другим финно-уграм и, как мне представляется, древнейшей финно-угорской традиции<sup>38</sup>, поскольку именно для культур развитой и поздней ЯГК характерны имеющие, видимо, сакральный смысл изображения водоплавающих птиц на глиняной посуде и в мелкой пластике<sup>39</sup>. Впрочем, существуют и другие возможности объяснения происхождения и этого мифа, и изображений птиц.

#### ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ВЭИЭН — Вопросы этнической истории эстонского народа. Таллин, 1956.  
 ИДИБН — Из древнейшей истории балтских народов. Рига, 1980.  
 КИМН — К истории малых народностей Европейского севера СССР. Петрозаводск, 1979.  
 КСИА — Краткие сообщения Института археологии АН СССР.  
 МИА — Материалы и исследования по археологии СССР.  
 СА — Советская археология. Москва.  
 СЭ — Советская этнография. Москва.  
 ТИЭ — Труды Института этнографии АН СССР. Новая серия.  
 ЯГК — ямочно-гребенчатая керамика.  
 CmBl — Commentationes Balticae. Bonn.  
 FUF — Finnisch-Ugrische Forschungen. Helsinki.  
 SMuA — Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja. Helsinki.  
 UAJb — Ural-Altische Jahrbücher. Wiesbaden.

<sup>37</sup> The problem of the Picts. London, 1955, p. 130–155.

<sup>38</sup> См.: В. В. Напольских. Древнейшие финно-угорские мифы о возникновении земли // Мировоззрение финно-угорских народов. Новосибирск, 1990, с. 6–8.

<sup>39</sup> См.: Н. Н. Гурина. Водоплавающая птица в искусстве неолитических лесных племен // КСИА. М., 1972, вып. 131.

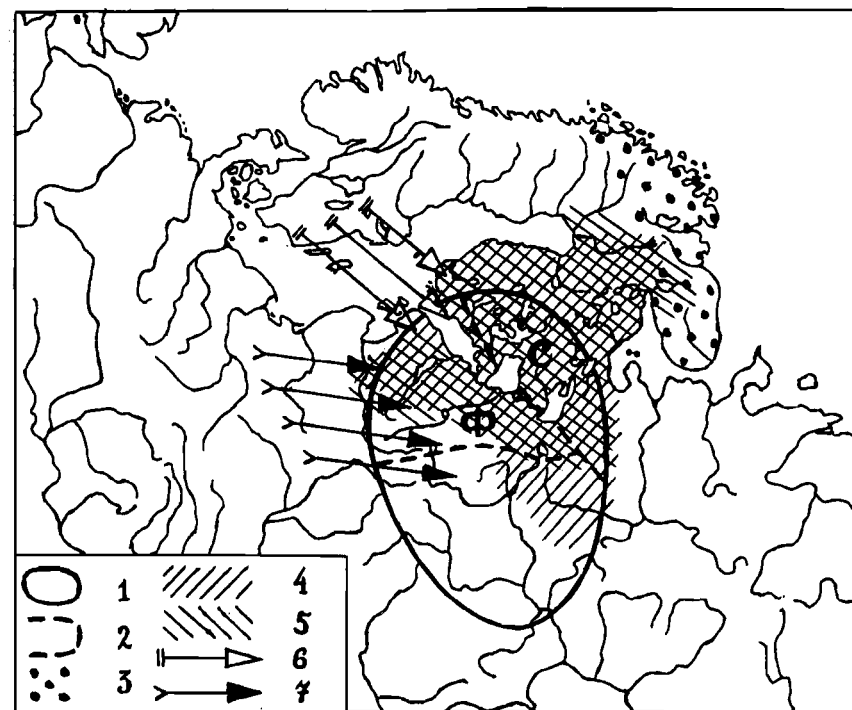


Рис. 1  
 Неолитические субстратные компоненты  
 и формирование западных финно-угров

Условные обозначения:

- 1 — первоначальный ареал финно-волжской общности (культура текстильной керамики во второй половине II тысячелетия до н. э.);
- 2 — ареалы первоначального формирования прибалтийских финнов (Ф) и саамов (С) в рамках финно-волжской общности;
- 3 — арктический субстратный палеоевропейский компонент;
- 4 — палеоевропейский субстратный компонент — носители культур ЯГК;
- 5 — палеоевропейский субстратный компонент ранне-неолитических культур Прибалтики, Финляндии и Карелии;
- 6 — раннее германское влияние;
- 7 — собственно балтское (позднее) влияние.

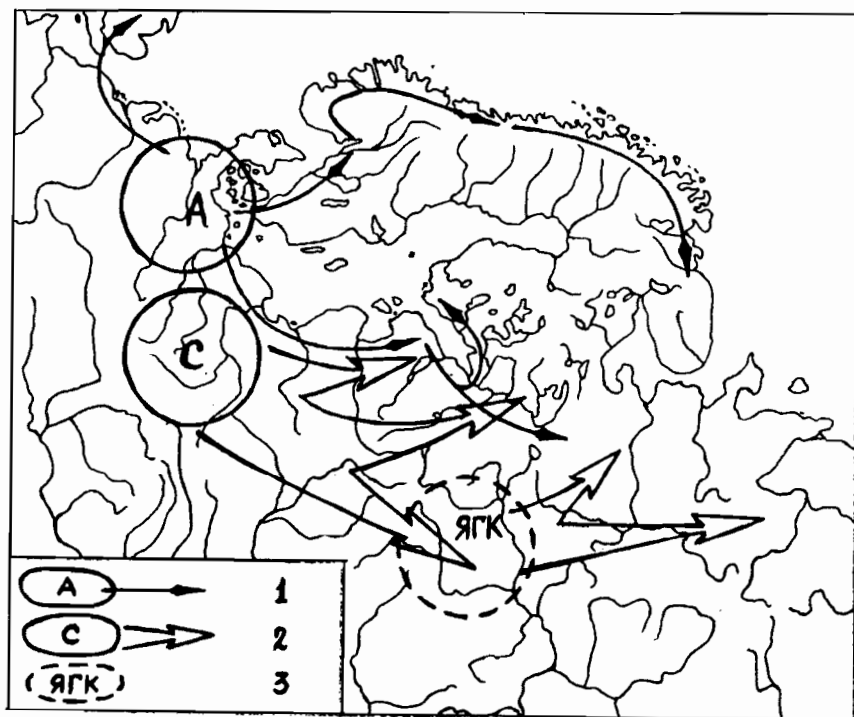


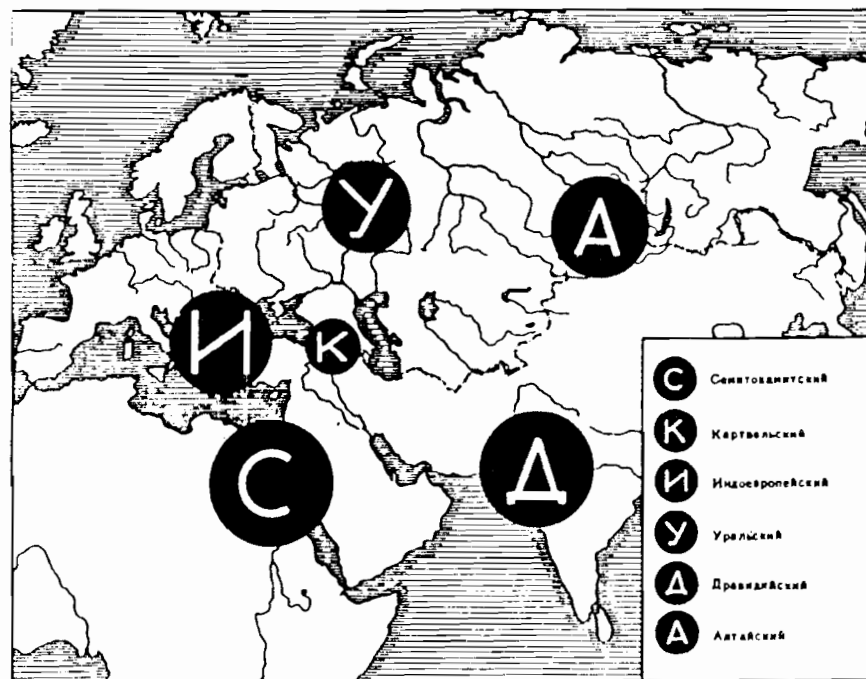
Рис. 2  
Источники палеоевропейских субстратных компонентов  
в палео- и мезолите

Условные обозначения:

- 1 — первоначальный ареал и распространение северноевропейского (аренбургская традиция) компонента;
- 2 — первоначальный ареал и распространение восточноевропейского (свидерская традиция) компонента;
- 3 — район формирования культур ЯГК волго-окского типа.

Л. А. ГИНДИН

«КАРТА ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ПРАРОДИН  
ШЕСТИ НОСТРАТИЧЕСКИХ ЯЗЫКОВ»  
В. М. ИЛЛИЧ-СВИТЫЧА  
И СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ИНДООЕРОПЕЙСКОЙ ПРАРОДИНЫ



Карта-схема № 1

«Карта предполагаемых прародин шести ностратических языков»  
В. М. Иллич-Свитыча

Данная карта найдена в черновиках В. М. Иллич-Свитыча и опубликована издателем в «Опыте сравнения ностратических языков» (М., 1971, т. 1, с. 45). На ней индоевропейская прародина, как и прародины других ностратических языков, схематично обозначена в виде правильно затушеванной окружности, которая по-

крывает приблизительно территорию Карпат, Балканы, Элладу, Западную и Центрально-Западную Анатолию, т. е. области, находящиеся в Восточном Средиземноморье или тяготеющие к нему в культурно-историческом отношении. Это чрезвычайно оригинальное и, как мы увидим ниже, далеко обогнавшее свое время пространственное построение ставит по меньшей мере один глобальный вопрос, оставленный В. М. Иллич-Свитычем без ответа: каковы хронологические рамки предложенной им ареальной конфигурации индоевропейской прародины? Попытаемся восстановить ход мысли ученого.

1. Очевидно, что на карте помещены прародины праязыков-потомков ностратических языков и что эта картина на несколько тысячелетий отстоит от эпохи ностратического единства, датированного А. Б. Долгопольским<sup>1</sup> VIII тысячелетием до н. э. и располагаемого, по его словам, в Передней и Южной Азии, ср. мнение Е. А. Хелимского: «Этот период отделен от нас не одним десятком тысячелетий, его ареалом был Южный Прикаспий»<sup>2</sup>.

2. С другой стороны, построение Иллич-Свитыча явно относится ко времени до II тысячелетия до н. э., т. к. он не мог учитывать общепринятую датировку появления греков в Элладе не ранее 1900 г. до н. э. (рубеж раннеэлладского и среднеэлладского периодов), а лувийцев — на противоположной стороне Эгейского моря в Западной Анатолии около 2500 г. до н. э. (рубеж Трои I/II).

3. На более глубокую датировку индоевропейской прародины в очерченном регионе определенно указывает наличие на юге Балканского п-ова догреческого индоевропейского населения с высокой культурой, заселявшего, за исключением Эпира и других районов Северной Греции, территорию Эллады с Эгейскими островами на протяжении всего раннеэлладского периода (3100–1900 гг. до н. э.). Все сказанное не могло быть неизвестно В. М. Иллич-Свитычу.

Дополню изложенное воспоминанием об одном моем разговоре с ним, состоявшемся в кабинете этимологического словаря славянских языков Института русского языка приблизительно в 1965–1966 гг. При обсуждении проблем индоевропейской прародины в связи с моей готовящейся монографией по догреческому субстрату и его уже опубликованной знаменитой статьей «Древнейшие индоевропейско-семитские языковые контакты»<sup>3</sup>, он, глядя на стенную

<sup>1</sup> Наука и человечество. М., 1972, с. 113.

<sup>2</sup> Знание — сила, 1973, № 10, с. 37.

<sup>3</sup> Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964.

физическую карту Балканского п-ова и Малой Азии, сказал: «А почему бы не поместить индоевропейскую прародину на Балканах и в западной части Анатолии?» По контексту разговора можно определенно судить, что в тот момент В. М. Иллич-Свитычем владела мысль найти пространственное обоснование индоевропейско-семитским и индоевропейско-картвельским языковым связям; ср. пассаж в его рецензии на книгу Дж. Девото «Происхождение индоевропейцев», что «материал, касающийся связей индоевропейского с неиндоевропейскими языками юго-западной Азии, может быть в настоящее время существенно расширен с учетом прежде всего материалов семитских и картвельских языков»<sup>4</sup>.

Продолжая в последующие годы осмысливать проблемы хронологической и пространственной проекции и.-е. прародины в абсолютном исчислении, я непреднамеренно и базируясь на совершенно иных основаниях пришел во многом к идентичным результатам. Поскольку для определения протоэтнического ареала индоевропейцев необходимы экстралингвистические, хорошо датированные точки отсчета, мною были избраны следующие моменты, возникшие на пересечении междисциплинарных данных. 1. Практическая автохтонность индоевропейской (эвентуально фракийской) гидронимии на территории исторической Фракии (шире — юго-востоке Балкан) в совокупности с наблюдаемым археологами культурно-историческим континуитетом. 2. Существование довольно значительных фрако-лувийских топонимических связей, относящихся к преданатолийскому, европейскому периоду хетто-лувийцев; *terminus ante quem* — приход лувийцев в Трою II около 2500 г. до н. э. Четкая привязка фракийского компонента топонимического соответствия к территории Балкан позволяет постулировать протоареал лувийцев по соседству, на северо-востоке от фракийцев. При этом следует учесть, что часть тождеств могла возникнуть в процессе движения лувийцев на северо-запад Анатолии (Троада и пр.) через территорию, занятую фракийцами, например, Езеро<sup>5</sup>. 3. Наличие в составе населения гомеровской Трои лувийцев, пережитком которых являются ликийцы Зелей, прослеживаемые по тексту «Илиады»<sup>6</sup>. 4. Диалектная расчле-

<sup>4</sup> В. М. Иллич-Свитыч. [Рец. на кн.:] G. Devoto. Origini indoeuropee // Этимология 1966. М., 1968, с. 387.

<sup>5</sup> J. Mellaart. Anatolia and the Indo-Europeans // JIES. V. 9, № 1–2, 1981, p. 148 f.

<sup>6</sup> См.: Л. А. Гиндин. Лувийцы в Трое (опыт лингвофилологического анализа) // ВЯ, 1990, № 1.

ненность арийцев на индоариев и иранцев по крайней мере на рубеже IV/III тысячелетий до н. э., судя по уже анахронистическим индоарийским (не индоиранским) вкраплениям в хурритских и хеттских текстах XV–XIV вв., в то время как начало проникновения индоарийцев в Месопотамию и в сопредельные области к западу может датироваться по некоторым данным XVIII–XVII вв. до н. э.

Теперь попробуем представить в конкретных хронологических и географических параметрах динамическую картину периодов относительной стабилизации индоевропейской территориальной протоэтнической общности, чередующихся с периодами ее миграционного членения. Следует учитывать, что в акт консолидации этой общности в результате дивергентно-конвергентных процессов могли быть вовлечены, помимо собственно индоевропейского этнолингвистического ядра, этносы и языки отдаленно родственные, а также так называемые индоевропеоидные, возникшие под влиянием ареальных контактов.

В процессе становления исторически засвидетельствованных индоевропейских языков правомерно выделить, в известном приближении, три основных эпохи.

Первая эпоха — протоиндоевропейская, эпоха стабильного существования уже диалектно расчлененной индоевропейской общности, характеризующаяся территориальным единством составляющих ее этносов и длящаяся приблизительно с конца V тысячелетия вплоть до начала пространственной диффузии протоиндоевропейских этнологических компонентов на рубеже IV–III тысячелетий до н. э. (конец позднего халколита — начало фазы 2 б раннебронзового века согласно Дж. Мелларту)<sup>7</sup>. На протяжении этой эпохи индоевропейский этнос следует расположить в пределах Балкан и примыкающих с северо-востока Причерноморских степей. При этом степные пространства обитания протоиндоевропейцев-скотоводов могли простирались до предгорий Кавказа<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> J. Mellaart. Prehistory of Anatolia and its relations with the Balkans // L'ethnogenèse des peuples balkaniques. Symposium international sur l'ethnogenèse des peuples balkaniques. Plovdiv, 23–28 avril, 1969. Sofia, 1971.

<sup>8</sup> Относительно «прародины» индоевропейцев на Балканах с примыкающими территориями Северного Причерноморья ср.: Л. А. Гиндин. Древнейшая ономастика Восточных Балкан. Фрако-хетто-лувийские и фрако-малоазийские изоглоссы. София 1981, с. 25; Л. А. Гиндин. К генетической принадлежности «пеласгского» догреческого слоя // ВЯ, 1971, № 1, с. 47 сл.; В. Ф. Леман. Индоевропеистика сегодня // ВЯ, 1987, № 2, с. 18: «Очагом индоевропейцев в конце IV тысячелетия несом-

По всей вероятности, этот ареал мог включать и область Троады периода Трои I (верхняя граница — 3200/3000 гг. до н. э.), заселенной протофракоидными племенами. Археологические данные последнего десятилетия позволяют предположить уже для первой половины IV — начала III тысячелетия до н. э. проникновение отдельных групп (ранних) протоиндоевропейцев на территорию Анатолии<sup>9</sup>. Юг Балканского п-ова в это время был занят индоевропейским населением, этнически близким протофракийским племенным группам континентальных Балкан<sup>10</sup>. Таким образом, для описываемой эпохи вырисовывается определенный протоиндоевропейский Балкано-Западноанатолийско-Эгейский макрореал.

Следует отметить, что данный регион целиком входит в недавно постулированную археологами Циркумпонтийскую зону (Н. Я. Мерперт) или провинцию (Е. Н. Черных), включающую, огрубленно говоря, территории вокруг Черного моря: юго-восточные Балканы, с прилегающими областями Карпат, степные районы Северного

венно была Южная Россия»; И. М. Дьяконов. О прародине носителей индоевропейских диалектов, I // ВДИ, 1982, № 3, с. 12; И. М. Дьяконов специально на «круглом столе» (изложение см.: А. А. Молчанов. Симпозиум «Античная балканистика» // ВДИ, 1985, № 1, с. 222): прародина индоевропейцев на Балканах; И. М. Дьяконов. О прародине носителей европейских диалектов, II // ВДИ, 1982, № 4, с. 24: в Балкано-Карпатском регионе (V–IV тысячелетия до н. э.); созвучные идеи недавно высказал О. Н. Трубачев, обосновывая «дунайско-северобалканскую концепцию индоевропейского протоэтнического ареала» (см. О. Н. Трубачев. Этногенез славян и индоевропейская проблема // Материалы V Международного конгресса по фракологии. Москва 18–22 октября 1988 г. София, 1990) и др. авторы.

<sup>9</sup> J. Mellaart. Anatolia and the Indo-Europeans..., p. 135 ff., с признанием возможности «прихода хеттов в Восточную Анатолию» около 3500 г. до н. э. (или ранее?)» (с. 141), при опоре на работу: G. Steiner. The Role of the Hittites in Ancient Anatolia // JIES, 1981, v. 9, No 1–2, p. 150 ff; ср. также: M. M. Winn Shan. Burial Evidence and the Kurgan Culture in Eastern Anatolia c. 3000 B. C.: An Interpretation // Ibid., p. 113 ff.; J. J. A. Kar. The Indo-Europeans and Their Impact on Anatolian Cultural Development // Ibid., p. 94 ff. О «протоиндоевропейской» теории догреческого субстрата П. Кречмера см.: Л. А. Гиндин. Язык древнейшего населения юга Балканского полуострова. М., 1967, с. 22 и сл.

<sup>10</sup> См.: Л. А. Гиндин. К проблеме генетической принадлежности «пеласгского» догреческого слоя... Sakellariou M. B. Peuples prehelléniques d'origine indo-européenne. Athènes, 1977. Idem. Les Thraces par rapport aux Pelasges et à certains ethnés grecs // Actes du deuxième Symposium International de Thracologie. Roma, 1980, и др. авторы; ср.: В. И. Георгиев. Исследования по сравнительно-историческому языкознанию. М., 1958, с. 281. Относительно прихода индоевропейского догреческого населения в Эгеиду и на юг Балканского п-ова см.: В. С. Титов. К изучению миграций бронзового века // Археология Старого и Нового Света. М., 1988, с. 121 сл., там же см. синтез мнений; ср.: J. Mellaart. The End of the Early Bronze Age in Anatolia // AJA. V. 62, No 1, 1958, p. 28 ff.

Причерноморья и Прикаспия, Кавказ, Анатолию, без центральных и юго-восточных районов<sup>11</sup>. Наиболее маркированным признаком Циркумпонтийской «культурно-исторической провинции», по мнению Черных, было единство «родственных металлургических и металлообрабатывающих очагов»<sup>12</sup>.

В свою очередь Балкано-Анатолийский ареал по обе стороны Мраморного моря являлся одновременно западной частью Циркумпонтийской макрзоны и восточной периферией Средиземноморья. Именно здесь, в этом регионе, где взаимно переплетались культурные изопрэгмы, идущие с Севера на Юг и с Запада на Восток (соответственно наоборот), и осуществлялась культурно-историческая интеграция, могла произойти консолидация одного из очагов индоевропейской пракультуры и праязыка в результате хронологически одновременных дивергентно-конвергентных процессов<sup>13</sup>. Несомненно эти процессы должны были затрагивать и диалекты языков разнородственных (например, догреческий индоевропейский и греческий) и совсем неродственных (например, хеттский и хаттский, и даже картвельский и семитский), оказавшихся в ареальных или субстратно-суперстратных отношениях, которые и привели к собственно языковому выравниванию и интеграции<sup>14</sup>.

Распределение протои.-е. этносов, имевших впоследствии прямое отношение к этому ареалу, см. на карте № 2.

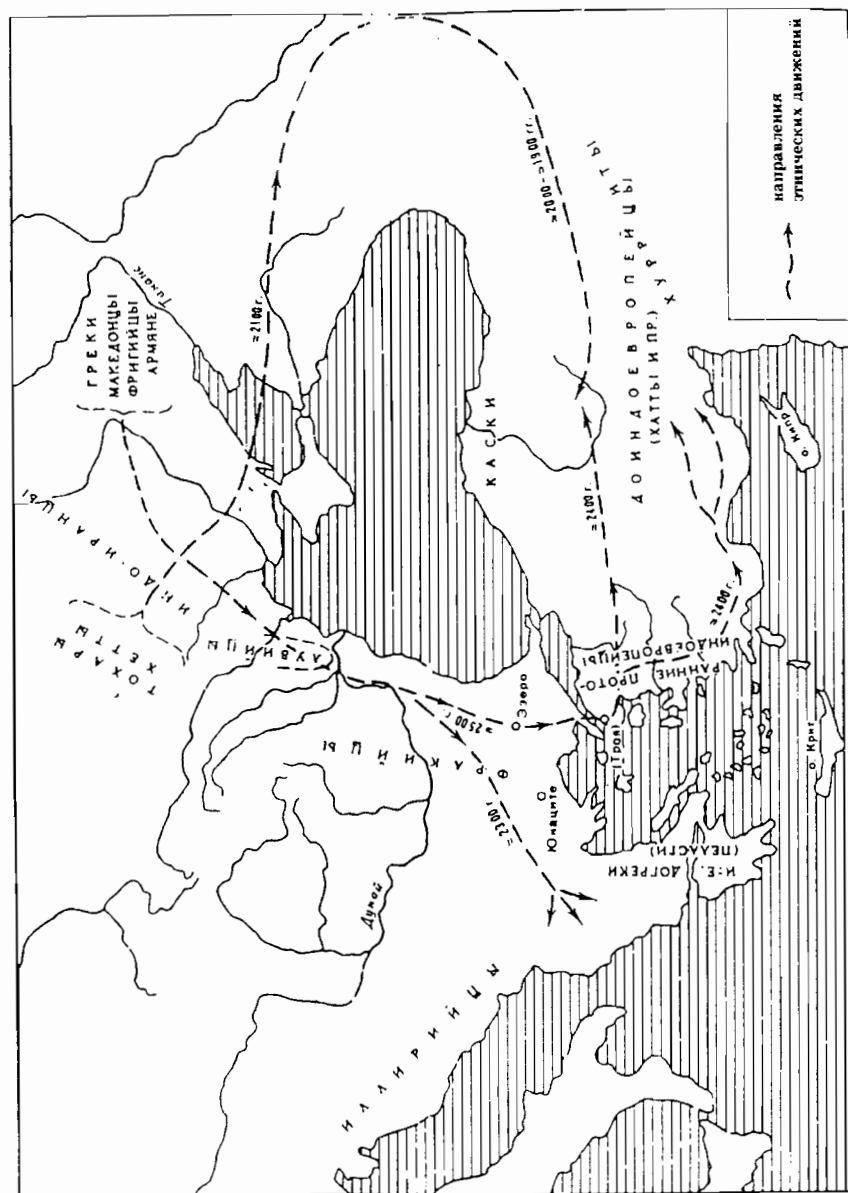
Вторая эпоха — праиндоевропейская, с начала III тысячелетия до рубежа III/II тысячелетий до н. э. (раннебронзовый век с начала фазы 2 до конца) — период распада индоевропейской этноязыковой общности и дальнейших последовательных миграций.

11 Н. Я. Мерперт. Об этнокультурной ситуации IV—III тысячелетий до н. э. в Циркумпонтийской зоне // Древний Восток: Этнокультурные связи. М., 1988, с. 28 сл.; ср.: Н. Я. Мерперт. Этнокультурные изменения на Балканах на рубеже энеолита и раннего бронзового века // Античная балканистика. Симпозиум. Тезисы докладов. М., 1980; Е. Н. Черных. Циркумпонтийская провинция и древнейшие индоевропейцы // Древний Восток. Этнокультурные связи. М., 1988, с. 38.

12 Е. Н. Черных. Циркумпонтийская провинция..., с. 22.

13 Ср. монографию: J. P. Mallory. In Search of the Indo-Europeans. Language, Archaeology and Myth. London, 1989.

14 Ср. мысль Н. Я. Мерперта о процессе становления «конкретных групп индоевропейцев» со всем комплексом археологических и лингвистических показателей, связанных с контактной зоной «центрально-европейских, степных, балкано-дунайских, анатолийских культурных общностей». — Н. Я. Мерперт. Об этнокультурной ситуации..., с. 32.



Карта-схема № 2. Протоиндоевропейская эпоха (конец V — рубеж IV/III тыс. до н. э.)

1. Первыми приходят в движение пралувийцы (собственно лувийцы, пракикийцы и пр.). Они распространяются по юго-восточной полосе Балкан, включая, вероятно, культуру Езеро<sup>15</sup>, на юг через проливы и Анатолию сначала в Троаду, разрушают Трою I (около 2500 г. до н. э.), населенную, по-видимому, уже прафракийцами, частично заселяют ее, а затем двигаются далее в юго-западные, южные и восточные области Анатолийского п-ова, неся повсеместно вплоть до Тарса и Киликии, включая долину Коньи, огромные разрушения, смену населения и культуру Трои II. Это еще более утверждает единство Балкано-(Западно)-Анатолийского ареала, начавшего складываться, как уже писалось, еще в протои.-е. эпоху. Проследовавшая через Трою основная масса лувийцев оставляет в Троаде племена пракикийцев-зелейцев (собственно «луккийцев»), киликийцев Киллы и Подплакийских Фив и лелегов Педаса в виде анахронистических для гомеровских поэм этнических вкраплений. Какие-то группы лувийцев продвигаются по Кикладам и другим Эгейским островам в Центральную и Южную Грецию (ср. ликийцы-термилы Крита, догреческие карийцы греческой традиции в метрополии и т. д.), составив так называемый хетто-лувийский суперстрат и греческий адстрат<sup>16</sup>.

2. Уход пралувийцев открывает дорогу одним или двумя веками позже для движения основной массы прагреков с близко родственными им на этом уровне племенами прамакедонцев и прафригийцев, прапеонцев (= протоармян) на юг Балканского п-ова — приблизительно территория Эпира и Древней Македонии, т. е. район современной северо-западной Греции и юг современной Югославии. Направление движения этой «аугментной» греко-арийско-армянско-фригийской ареальной праиндоевропейской общности, видимо, географически фиксируется повторением гидронима \*Aξίος — главная река области пеонов (район Дардано-Македонии и приток Истра в Нижней Мезии (современная Добруджа), происходящего из и.-е. \*n-ksei-no- (авест. *axšaena* «темный, черный», то же прилагательное в греч. названии Черного моря \*Εὐξείνως Πόντος — эвфемизм из старого \*Aξίως «черное»), главный приток Аксия

<sup>15</sup> J. Mellaart. Anatolia and the Indo-Europeans..., p. 149.

<sup>16</sup> Л. А. Гиндин. Язык древнейшего населения юга Балканского полуострова, с. 22, с литературой; Он же. Некоторые вопросы древнего балканского субстрата и адстрата // Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976.

носил название \*Ερίων (совр. *Црна река* «Черная река»), город при впадении Аксия в Истр — \*Aξι-οπα, болг. *Черна вода*.

На движение прагреков из Причерноморских степей, где три самых больших реки: Τάν-αἴς — Дон, Δάν-απρις — Днепр, Δάν-αστ-ρις — Днестр образованы от основы \*don- (иран. (осет.) *don* «вода, река», ср. авест. *danu-* «река, поток», др.-инд. *danu* «tröpfelnde Flüssigkeit, Tau») указывает, по мысли М. Сакеллариу<sup>17</sup>, распространение фактически по всей Греции, островам и Малой Азии элемента -δανος в составе нескольких гидронимов и гомеровский этноним Δάναιοι с многочисленными производственными; к образованию этнонима ср. название скифского племени Δανδάριοι, жившего на берегу Меотийского озера<sup>18</sup>. Если это справедливо, то одна из упомянутых рек в своем среднем и нижнем течении может служить восточным рубежом распространения прагреков в данный период. Для нас здесь особенно важен гидроним \*Απιδανός, засвидетельствованный в Фессалии и Трое, который хорошо толкуется в качестве древнего типа сложения как «река-вода»; к первому элементу ср. др.-прусс. *ape* «река», *apus* «источник» и проч. *Ιάρδανος* также засвидетельствовано в Греции и Малой Азии (в Лидии)<sup>19</sup>. Какая-то часть прагреков стала одним из основных этнических компонентов строителей Трои VI (1800–1300 гг. до н. э.), пришедших в северо-западную Анатолию вслед за пралувийцами (около 2400 г.). Движение этой ветви прагреков произошло, видимо, сразу после ухода пралувийцев и до начала движения основного массива прагреческого этноса на Балканский полуостров. Согласно авторитетной гипотезе К. Блегена, обе части прагреков появляются на восточной и западной стороне Эгейского моря одновременно, неся технику «сероминийских» сосудов и введение ездовой лошади. Эти две ветви на протяжении всего последующего периода не прекращают связей между собой. Исходные земли, откуда двинулись греки, Блеген явно склонен искать на Балканах (т. е. на юго-востоке Европы), полагая, что «further exploration and excavation in the lower Balkan may yet bring to light new illumination evidence»<sup>20</sup>. Меллаарт, в отличие от Блегена, до недавнего времени считал, что все греки вслед

<sup>17</sup> M. B. Sakellariou. Les proto-grecs. Athènes, 1980, p. 172 ss., 255 ss.

<sup>18</sup> В. И. Абаев. Историко-этимологический словарь осетинского языка. М.; Л., 1958, т. 1, с. 367.

<sup>19</sup> V. I. Georgiev. Die altgriechischen Flussnamen. Sofia, 1958, S. 8; J. Tischler. Kleinasiatische Hydronymie. Wiesbaden, 1977, S. 30.

<sup>20</sup> C. W. Blegen. Troy and the Trojans..., 1963, p. 145–146, и др. работы.

за лувийцами проследовали в Северо-Западную Анатолию и вытеснили лувийцев на Восток; последние, достигнув Бейджесултана (долина Меандра), уничтожают старую неиндоевропейскую цивилизацию и вводят новую культуру в Бейджесултане XII, внося «прото-сероминийскую» технику изготовления сосудов. Столкнувшись с встречным движением хеттов около 1900 г., распространявшихся из прикаспийских степей через Кавказ, лувийцы начали откатываться в обратном направлении и вступили в новое соприкосновение с греками, населяющими Трою, которые переняли способ изготовления «сероминийской» посуды, зародившейся в Анатолии и в конце Трои V — начале Трои VI появившейся в Троеде<sup>21</sup>. В Элладу греки уже пришли сушей и морем из Северо-Западной Анатолии. В настоящее время Меллаарт<sup>22</sup> кардинально пересмотрел изложенную гипотезу. Отрицая датировку проникновения хеттов в Анатолию столь поздним временем, он, вслед за Г. Штейнером<sup>23</sup>, относит этот процесс к середине IV тысячелетия до н. э. Разрушения начала II тысячелетия до н. э. в Центральной Анатолии Меллаарт связывает с движением некоей второй волны лувийцев с северо-запада Анатолии. Что же касается греков, то, по всей видимости, справедливо высказывание Дж. Кэски: «В настоящий момент гипотеза К. Блегена о том, что народ той же самой культуры достиг Трои и греческого материка приблизительно одновременно, более приемлемо, чем любое другое»<sup>24</sup>.

3. В свою очередь, перемещение прагреков и близких к ним генетически и ареально племен открывает путь хеттам (если придерживаться традиционной датировки их прихода в Анатолию), которые по Причерноморским степям и Кавказу, через Дербентский проход Прикаспия продвигаются в центральные районы Анатолии. После чего по всему Северному Причерноморью распространяются, веро-

<sup>21</sup> J. Mellaart. The End of the Early Bronze Age..., и др. работы. Подробно об этой сколь смелой, так и сложной гипотезе, впрочем не лишенной рационального зерна, см.: Л. А. Гиндин. Язык древнейшего населения юга Балканского полуострова..., с. 30 сл.

<sup>22</sup> J. Mellaart. Anatolia and the Indo-Europeans..., p. 145.

<sup>23</sup> См. сноску. 9.

<sup>24</sup> J. K. Caskey. Crises in the Minoan-Mycenaean World // Proceedings of the American Philosophical Society, 1969, vol. 113, № 6, p. 437; ср. В. С. Титов. К изучению миграций бронзового века // Археология Старого и Нового Света. М., 1982, с. 122 сл.; относительно пребывания прагреков в Малой Азии с новыми соображениями в пользу гипотезы Блегена см. специальную главу в работе: Л. А. Гиндин, В. Л. Цымбурский. Гомер и история Восточного Средиземноморья. М., 1996.

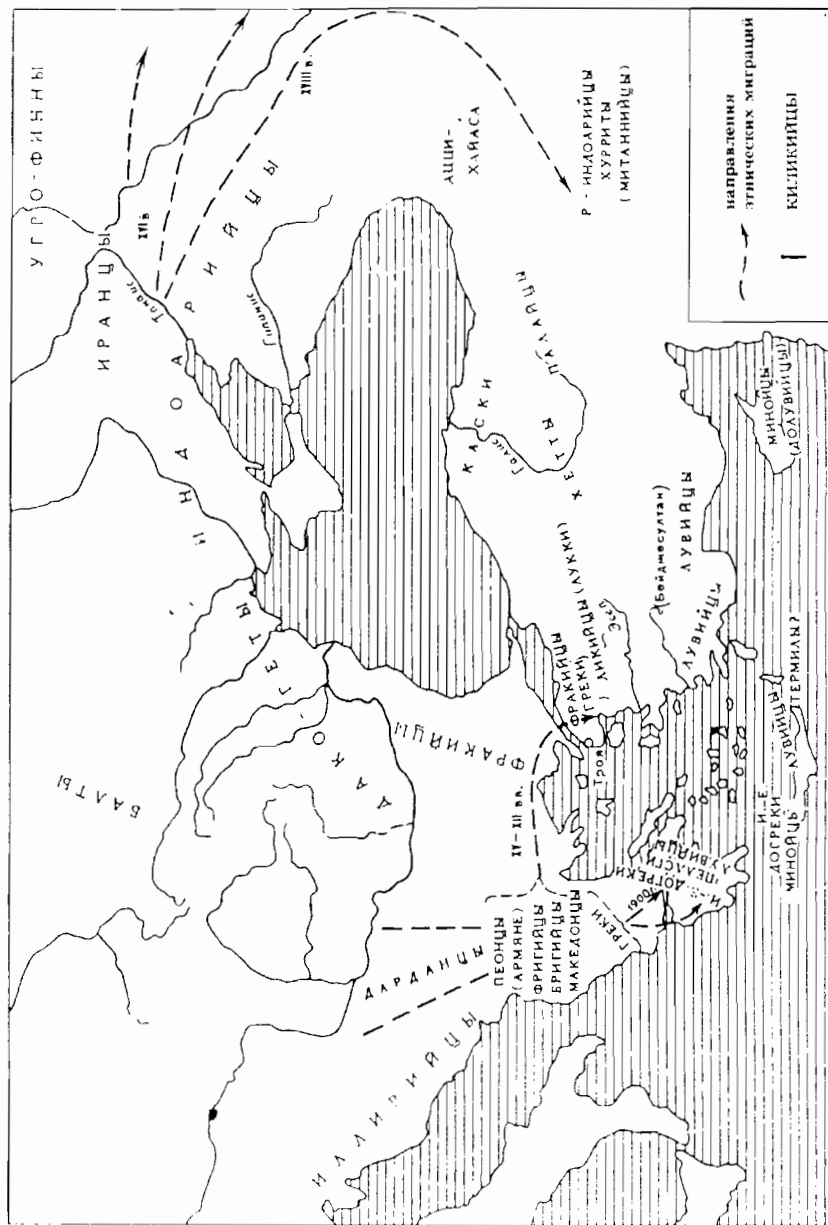
ятно, уже разделенные арийцы. Границу их с северо-востока обозначают общеарийские и порознь — индоарийские и иранские заимствования в угро-финских языках, располагавшихся в Волго-Окском междуречье и Прикамье по крайней мере с IV—III тысячелетий до н. э.<sup>25</sup> Распределение праиндо-е. этносов см. на карте № 3.

Третья эпоха — историческая, с конца III — начала II тысячелетия по 1200 г. до н. э. (с начала среднебронзового до конца позднебронзового века). Лувийцы и хетты занимают все Анатолийское плато. Греки захватывают целиком Элладу с островами (Крит, Кипр, Киклады, Родос, Лемнос, Имброс и т. д.) и осуществляют процесс колонизации Западной Анатолии как в минойский, так и в микенский периоды (1450 г. — последняя четверть XIII в. до н. э.), появившись в хеттских клинописных источниках под названием *Aḫḫijavā*. В русло этой колонизации укладывается и Троянская война<sup>26</sup>. Фригийцы, мисийцы, вифинцы покидают свой праиндоевропейский ареал на юге Балкан и заселяют места исторического обитания в северо-западной части Малой Азии с последней трети II тысячелетия до эпохи «переселения народов» (XII в. до н. э.) включительно; после крушения Хеттского царства фригийцы расселяются по всей его территории (Великая Фригия); праармяне — в Хайасе (засвидетельствованы с начала XIV в. до н. э.). Лувийцы (*Lu(w)iija*), хетты (*Ḫatti*), ликийцы (*Lukkā*), карийцы (*Karkiša*), *Arzawa*, *Aššuwa* (греч. Ἀσία «Великая Лидия», по Форреру, включавшая Трою — *Taruišša*), Илион (*Wiluša*) конституируются в Западной Анатолии. К сожалению, географическая реконструкция, произведенная по хеттским источникам с учетом данных греческой традиции, весьма приближительна. Отдельные отряды индоариев, говоривших на каком-то раннеиндоарийском диалекте, за-

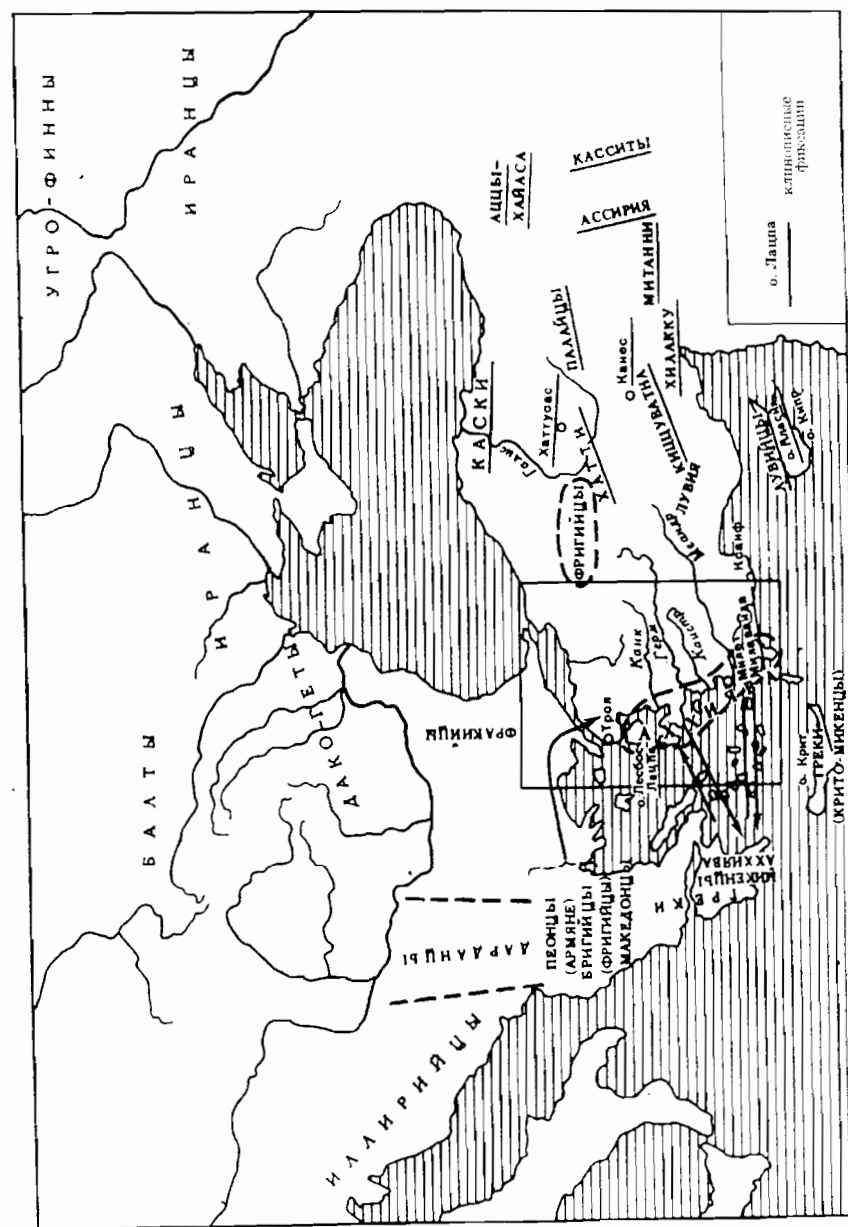
<sup>25</sup> Суммарный перечень индоевропейских, в подавляющем числе индоиранских, заимствований в финно-угорские языки помещен в словаре Б. Коллиндера (B. Collinder. Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm, 1955); помимо того, см. А. J. Jok i. Uralier und Indogermanen. Helsinki, 1973. Из более ранней литературы (библиографию которой см. также: В. М. Иллич-Свитыч. Опыт сравнения ностратических языков. М., 1971) заслуживает особого внимания, кроме известных работ Г. Якобсона, статья Калимы (J. Kalima. Über die indoiranischen und baltischen Lehnwörter der ostseefinnischen Sprachen // Festschrift für H. Hirt. II. Heidelberg, 1936); о протоиндоиранском ареале в Юго-Восточной Европе достаточно развернуто, особенно в части арийских заимствований в угро-финских языках, см.: В. И. Абаев. К вопросу о прародине и древнейших миграциях индоиранских народов // Древний Восток и античный мир. М., 1972, с. 26 и след.

<sup>26</sup> Подробно см.: Л. А. Гиндин. Троянская война и Аххива хеттских клинописных текстов // ВДИ, 1991, № 1.

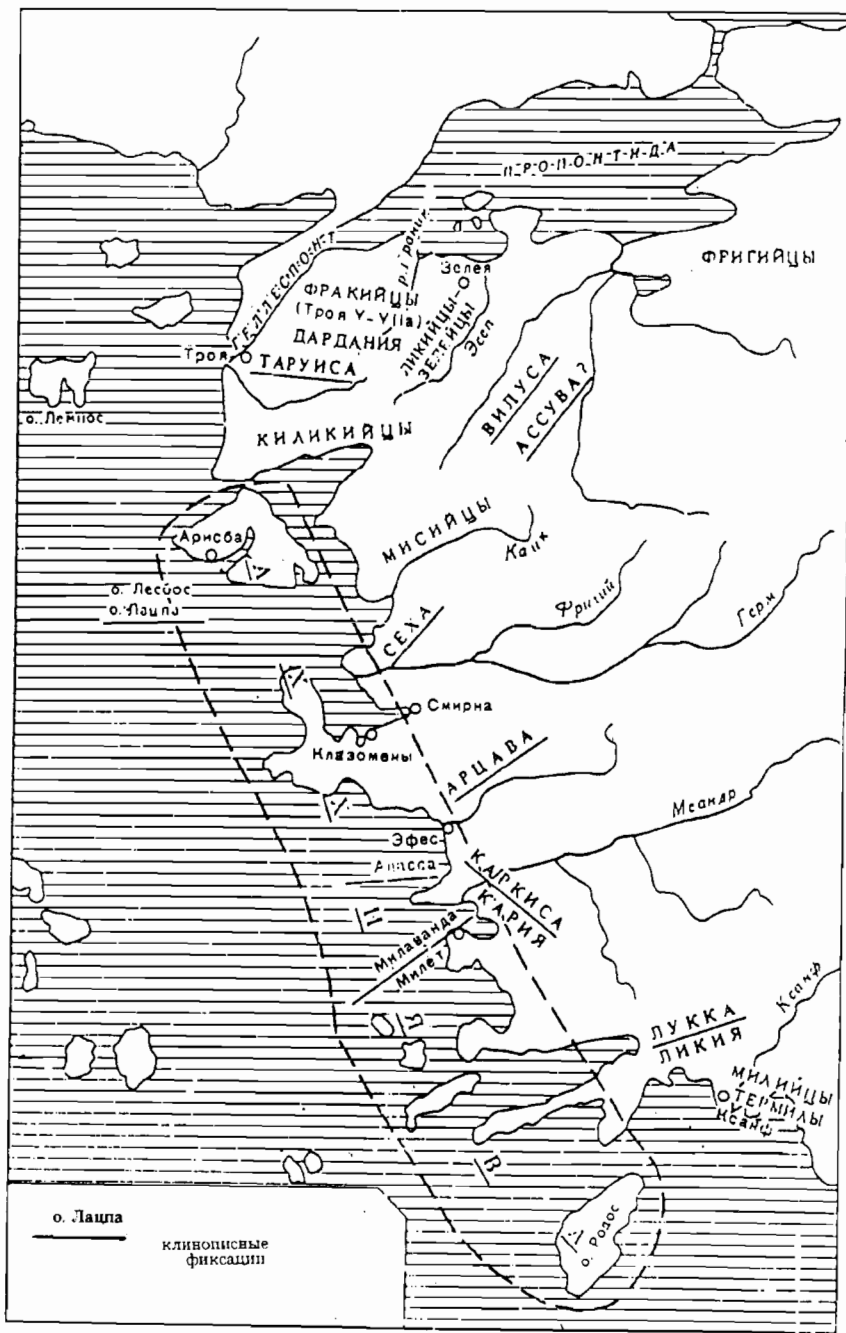




Карта-схема № 3. Праиндоевропейская эпоха  
(начало III — рубеж III/II тыс. до н. э.)



Карта-схема № 4. Историческая эпоха  
(рубеж III/II — 1200 г. до н. э.)



Врезка к карте-схеме № 4

свидетельствованном в виде некоторого числа имен собственных, имен богов и двух десятков апеллативов в хурритских текстах XV–XIV вв. до н. э., появляются в Междуречье в хурритском государстве Митанни; основная масса индоариев с середины II тысячелетия или несколько раньше — в Пенджабе. Все северное Причерноморье безраздельно занято племенами иранской принадлежности с небольшими вкраплениями племенных реликтов индо-ариев, согласно П. Кречмеру<sup>27</sup> и О. Н. Трубачеву<sup>28</sup>. Конкретное распределение исторических и.-е. этносов см. на карте № 4.

<sup>27</sup> P. Kretschmer. Varuna und die Urgeschichte der Inder // WZKM XXXIII, 1–2; Idem. Zum Ursprung Gottes Indra // Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Wien, phil.-hist. Klasse, 64, Jg., 1927, Nr. VII, 1928; Idem. Weiteres zur Urgeschichte der Inder // KZ, 1928, 55. Против с серьезными аргументами: W. Eilers, M. Mayrhofer. Namenkundliche Zeugnisse der indischen Wanderung? Eine Nachprüfung // Die Sprache, 1960, VI, 2.

<sup>28</sup> О. Н. Трубачев. О синдах и их языке // ВЯ, 1976, № 4; Он же. Лингвистическая периферия древнейшего славянства. Индоарийцы в Северном Причерноморье // ВЯ, 1977, № 6.

Е. А. ХЕЛИМСКИЙ

URALO-INDOGERMANICA:  
БАЛТО-СЛАВЯНСКИЕ ЯЗЫКИ  
И ПРОБЛЕМА УРАЛО-ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ СВЯЗЕЙ

Значительную часть содержания этого сборника составили доклады участников международной конференции под вынесенным в заголовок данной статьи названием, которая прошла в Москве с 18 по 22 июня 1990 года. Она была проведена сектором структурной типологии Института славяноведения и балканистики АН СССР в качестве 3-й балто-славянской конференции (ср. Этнолингвистические балто-славянские контакты 1978; Балто-славянские этноязыковые отношения 1983), в соответствии с решениями и благодаря материальной поддержке Отделения литературы и языка и Отделения истории Академии наук СССР. Оргкомитет конференции возглавил Вяч. Вс. Иванов.

Проблематика конференции собрала 49 участников из 24 городов Австрии, Венгрии, ГДР, Италии, Латвии, Нидерландов, России, США, Украины, Финляндии, ФРГ, Чехословакии, Эстонии, объединив на междисциплинарной основе индоевропейцев и урало-финнов, лингвистов и фольклористов, археологов и историков. Ее проведение в Институте славяноведения и балканистики можно рассматривать как очередное проявление традиционного интереса исследователей Института к вопросам индоевропейско-уральских связей, затронувшего и затрагивающего в той или иной мере практически все аспекты этих связей. Фундаментальное значение имеет обоснование В. М. Иллич-Свитычем (1967; 1971–1984) древнейшего урало-индоевропейского языкового родства (в рамках ностратической теории). Разработки в этом направлении продолжили В. А. Дыбо и члены руководимого им Ностратического семинара при Институте. Вопросы контактов между индоевропейцами, а затем балто-славянами, с одной стороны, и финно-угорскими народами, с другой, занимают существенное место в исследованиях Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова — в частности, на страницах монографии «Индоевропейский язык и индоевропейцы» (Гамкрелидзе, Иванов 1984) и этимологического словаря «Прусский язык» (Топоров 1975–1990). В работах М. И. Лекомцевой, Т. М. Николаевой и других исследователей проведено структурно-типологи-

ческое сравнение балто-славянских и финно-угорских языков в сфере фонологии и акцентологии. Использованию финно-угорских данных для изучения исчезнувших славянских (паннонского) и балтийских («ятвяжского») языков, а также для анализа новгородских берестяных грамот посвящены работы Е. А. Хелимского. Исследования А. А. Зализняка и С. Л. Николаева по архаическим славянским диалектам Русского Северо-Запада показали важность привлечения данных древних заимствований из этих диалектов в прибалтийско-финские языки. Исключительно важное — во многих отношениях центральное — место принадлежит венгерскому материалу в проблематике «Общекарпатского диалектологического атласа» (С. Б. Бернштейн, Г. П. Клепикова). Цикл важных исследований по истории ранних славяно-венгерских отношений опубликовал историк В. П. Шушарин. В исследованиях Н. И. Толстого и других специалистов по этнолингвистике и обрядовому фольклору славян большое внимание уделено принципиально важным финно-угорским параллелям. Весь опыт этих разработок, равно как и исследований других отечественных и зарубежных ученых, показал, что изучение балто-славянских языковых и культурно-исторических связей тесно, во многих случаях неразрывно смыкается с проблематикой этноязыкового взаимодействия между славянами, балтами и их индоевропейскими предками, с одной стороны, и финно-угорскими (уральскими) народами, с другой.

Перед конференцией ставилась задача широкого обсуждения и уточнения существующих представлений о характере, интенсивности и результатах связей между индоевропейскими и финно-угорскими этнолингвистическими комплексами в различные исторические эпохи и на различных территориях (при этом, однако, проблематика новейших и современных контактов была оставлена за рамками конференции). Этой задаче был подчинен регламент заседаний, предусматривавший ограничение времени на зачитывание докладов\*, но не на их последующее обсуждение; такой порядок работы заметно оживил и интенсифицировал дискуссии, продолжавшиеся в отдельных случаях (например, после доклада Й. Койвулеhto) до полутора-двух часов.

К глубокому сожалению, среди участников конференции уже не могло быть ни членов ее оргкомитета Пауля Аристэ и Бориса Александровича Серебренникова, известных своими многочислен-

\* Некоторые доклады, опубликованные в сборнике предварительных материалов конференции (UI I-II), непосредственно на заседаниях не зачитывались или излагались реферативно.

ными трудами по урало-индоевропейской проблематике, ни Аулиса Й. Йоки, автора наиболее фундаментальной монографии «Uralier und Indogermanen» (Joki 1973). Память этих ученых, скончавшихся в 1989–1990 годах, участники почтили минутой молчания при открытии первого заседания конференции.

Программа была построена по территориально-хронологическому (а не дисциплинарному) принципу и включала заседания по пяти темам: «Славяне и финно-угры» (с отдельным заседанием «Венгры и славяне»), «Балты (балто-славяне) и финно-угры», «Германцы и финно-угры», «Восточные индоевропейцы и уральцы», «Индоевропейско-уральское языковое родство и древнейшая этнокультурная история Евразии». В этой же последовательности — по мере углубления хронологической перспективы — строится и данная статья, совмещающая хронику конференции, отдельные комментарии к публикуемым далее докладом и краткий обзор соответствующих тематических циклов.

### Славяне и финно-угры

Современные ареалы славяно-финно-угорского языкового и этнокультурного взаимодействия сформулировались во второй половине первого тысячелетия н. э. в результате славянской колонизации псковско-новгородских земель, расселения восточных славян в лесной полосе Восточной Европы и прихода венгров в Подунавье. В дальнейшем эти ареалы не претерпели существенных изменений, несколько расширившись по мере дальнейшего продвижения русского населения на северо-восток и в Сибирь, сопровождавшегося в ряде регионов частичной или даже полной (заволочская чуда, меря, мурома) ассимиляцией местного финно-угорского населения.

В целом археологические и летописные данные позволяют достаточно полно и непротиворечиво воссоздать историю этого взаимодействия, резюмированную в докладе Е. А. Рябинина (Ленинград) «Славяно-финно-угорские контакты на севере Восточной Европы в эпоху средневековья» (UI I, 44–51); см. также статьи итогового характера в сборнике материалов советско-финляндского симпозиума (Финно-угры и славяне 1979). Один из аспектов взаимодействия, освещенный в публикуемом докладе Е. А. Мельниковой и В. Я. Петрухина (Москва), — особый статус чуди-эстов во взаимоотношениях между скандинавами-русью и новгородскими славянами, который обеспечил чуди положение союз-

ников, а не данников, в составе конфедерации восточнославянских племен, которая была создана русью (это положение сохранялось по крайней мере в X в.). Вполне понятно, что в смешанной — но все же с преобладанием лингвистов — аудитории дискуссия по этим докладам сосредоточилась главным образом на вопросах этнонимии. В частности, К. Редей (Вена) и М. Йоалайд (Таллинн) коснулись известной этимологической контroversы: с одной стороны, название *чудь* может объясняться как германизм (готск. *þiuda* «народ», *thiudi* у Иордана), с другой стороны, оно трактуется и как заимствование из саам. *čudde*, *čutte* «чудь» с собственно саамской внутренней этимологией (из новейшей литературы см.: Агеева 1990, 86–115). Е. А. Хелимский в связи с докладом Е. А. Рябинина обратил внимание на «орфографическую» деталь, принципиально влияющую на понимание летописных сообщений раннего периода: в них речь несомненно идет о взаимоотношениях чуди (веси, мери...) с русью, а не с Русью; морфологическая однотипность названий *русь*, *чудь*, *весь*, *либь*, *водь*, *сумь*, *емь* далеко не случайна. Прозвучало и предложение провести специально совещание по этнической ономастике Европейского Севера (Я. Гуя, Гёттинген).

Результаты изучения старых лексических заимствований славянского (русского) происхождения в прибалтийско-финских языках в течение последних ста лет суммировались в монографиях Й. Микколы (Mikkola 1894, 1938), Я. Калимы (Kalima 1952; немецкий перевод: Kalima 1956), А. Плёгер (Plöger 1973). Следует, однако, отметить, что эти ученые, как и В. Кипарский, посвятивший ранним славяно-финским языковым контактам ряд статей и уделивший им немалое внимание в своей «Русской исторической грамматике» (Kiparsky 1952, 1956, 1963), исходили из традиционных представлений о группировке славянских языков и о Приднепровье как исходном ареале расселения восточных славян. Новый ракурс в изучении ранних славяно-финских языковых контактов открывают фундаментальные результаты, к которым в последнее время пришли и археологи (Седов 1979, 118–119; Седов 1982), и лингвисты (Зализняк 1988; Николаев 1988): псковские кривичи и новгородские словене пришли на Русский Северо-Запад с запада, а не с юга, а их диалекты (отраженные в языке берестяных грамот и, реликтивно, в современных говорах) занимали изолированное положение в славянском мире, составляя севернославянскую ветвь, сближающуюся скорее с западно-, нежели с восточнославянскими диалектами. В докладе С. Л. Николаева и Е. А. Хелимского (UI I, 41–43) проанализировано от-

ражение севернославянских фонетических особенностей в славизмах прибалтийско-финских языков; специальное внимание уделено возможности использования этих заимствований для разграничения первичных славянских *o*-основ и *u*-основ мужского рода. Новый подход к интерпретации славянских заимствований в прибалтийско-финском встретил поддержку как славистов, так и финно-угроведов; определенный скепсис по поводу постулирования севернославянской ветви выразил, однако, Г. Бирнбаум (Лос-Анджелес), в докладе которого (публикуется) предполагается движение восточных славян из Приднепровья в направлении Чудского озера и озера Ильмень.

В рамках конференции доклад Г. Бирнбаума открывал собой цикл выступлений по проблеме финно-угорского субстрата в русском языке и в топонимии Русского Севера. Значительное место докладчик уделит фактическому материалу из фундаментальной монографии В. Фезнкера (Veenker 1967), подчеркивая, вслед за В. Кипарским, возможность консервирующего воздействия «финского холодильника» по отношению к некоторым индоевропейским архаизмам русского языка (конструкции типа *у меня есть*, диал. *земля пахатъ*). Развернутый перечень явлений в грамматике русского языка и его диалектов, связываемых (достоверно или предположительно) с влиянием финно-угорского субстрата, содержался в материалах к докладу самого В. Фезнкера (Гамбург); ср. более ранний вариант этого перечня в Veenker 1967, 163–169.

Важнейшим элементом публикуемого в настоящем томе доклада А. К. Матвеева (Свердловск) представляется аргументированная констатация того факта, что в гидронимии севернорусского региона (приблизительно между территориями современных Архангельской и Московской областей) надежно идентифицируется субстрат только финно-саамского типа (частным случаем которого оказываются и так называемые «мерянские» гидронимы, ср. Ткаченко 1985). В докладе, в отличие от своих предшествующих работ, А. К. Матвеев уже с полной решительностью говорит о бесперспективности поиска угорских и самодийских элементов гидронимии далеко к западу от Урала. Следует отметить, что этот вывод вполне согласуется и с современными представлениями об этногенезе и этапах расселения уральских народов (ср. Хелимский 1982, 56–62; 1989б), и неоднократно предъявлявшиеся результаты подобного поиска — списки изолированных, часто не принимающих во внимание историческую фонетику сопоставлений (из последних работ см. Атаманов 1990) — не вызывают, к сожалению, ничего, кроме глубокого скепсиса.

Ф. И. Гордеев (Йошкар-Ола) отметил ряд параллелей в дорусской субстратной топонимии Центральной России и топонимии на территории распространения марийского языка (UI I, 60–62). Докладчик справедливо воздержался от радикальных этноисторических выводов, поскольку значительная часть топооснов (*Нурм-, Кичм-, Немд-* и др.) равно непрозрачна с точки зрения русского и марийского языков. Выступление М. Йоалайд (Таллинн) «Топонимы южновепсской территории в народном и официальном употреблении», широко использовавшее материал писцовых книг и других древнерусских документов, содержало полезные рекомендации для изучения топонимии районов поздней русской колонизации (UI I, 52–59). Слишком гипотетическими и потому крайне шаткими оказались, по оценке А. К. Матвеева, этимологические построения в опубликованном (хотя и не прочитанном на конференции) докладе В. П. Яйленко (Москва) «Прибалтийско-финские основы названий Новгородской земли Славно, Ильмень, Мера» (для лимнонима *Ильмень*, ранн. *Ильмерь*, обычно выводимого из приб.-фин. \**Ilma-järvi* «Божье/Небесное/Мировое озеро», автор предлагает иную приб.-фин. версию: \**Ül(a)meri* «Верхнее море») (UI I, 35–40).

Критически были встречены и этимологии из текста доклада О. Б. Ткаченко (Киев) «К этнокультурному аспекту древнейших финно-угорских славизмов» (UI I, 23–27), где выдвинут тезис о том, что славяно-финно-угорские контакты возникли задолго до н. э. и славянские заимствования имелись уже в финно-пермском праязыке. Например, несостоятельность выведения фин. *järvi* «озеро» < прафин. \**jä yera/-ä* < протослав. \**jä yera/-o* (> слав. *jezero*) и промежуточных реконструкций в этой цепочке отметили Й. Койвулеhto (Хельсинки), Е. А. Хелимский, Л. Ваба (Таллинн).

Четырьмя лингвистическими докладами была представлена на конференции карпатская — славяно-венгерская — проблематика. Л. Хонти (Гронинген) рассмотрел известную гипотезу об образовании венгерских сложных числительных типа *tizenegy* «11», букв. «один на десяти (десяти-на-один)» под славянским влиянием и опроверг ее убедительными аргументами (использование этой же структурной модели в других финно-угорских языках, помимо венгерского, а в венгерском — построение по этой модели числительных третьего, а не только второго десятка), получившими поддержку участников довольно оживленного обсуждения этого доклада. Некоторые материалы Общекарпатского диалектологического атласа, позволяющие прочертить межъязыковые изо-

гlossы лексических унгаризмов, рассматривались Г. П. Клепиковой в докладе «Роль венгерского языка в процессах этнолингвистических взаимодействий в зоне Карпат (ареальный аспект)» (UI I, 72–74).

П. Н. Лизанец (Ужгород) в своем обзорном докладе «Восточнославянско-венгерские этноязыковые связи» (UI I, 83–88) сочувственно охарактеризовал работы, посвященные выделению среди ранних славянских заимствований венгерского языка восточнославянизмов по культурно-историческим критериям — на основании предположения о первичном знакомстве венгров-кочевников с соответствующими реалиями и понятиями еще в период их пребывания в южнорусских степях, в соседстве с восточнославянскими племенами (Перени 1956; Bárczi 1963, 48–49). Возражая ему в ходе дискуссии, автор данной статьи отметил, что в качестве возможных восточнославянизмов в этих работах выделяются только слова общеславянского характера, лишенные фонетических или иных диагностических признаков (венг. *kereszt*, *német*, *bab*, *rozs* из слав. *krъstъ*, *нѣтьсь*, *bobъ*, *ръзь* и под.), тогда как при наличии в ранних славянизмах венгерского языка диалектологически релевантных признаков они неизменно указывают на источники южно- и западнославянского, но не восточнославянского типа. Поэтому трудно предполагать, что контакты с восточными славянами в эпоху миграций — скорее всего, непродолжительные и маргинальные — могли вообще сколь-нибудь заметно отразиться в венгерском языке (см. также Хелимский 1989а). Признание «паннонско-славянского» (позднепраславянского диалекта, исчезнувшего впоследствии в результате ассимиляции паннонских славян венграми), а никак не восточнославянского, не древнеболгарского, не древнесловацкого и т. д. основным источником ранних славянских заимствований в венгерском языке характерно также и для доклада, представленного на этимологический круглый стол конференции (Е. А. Хелимский, К корпусу ранних славянских заимствований венгерского языка — UI I, 76–82). Доклад включил в себя 18 этимологий, строящихся на основе уточненной сетки фонетических соответствий между праславянским, паннонско-славянским, древневенгерским и современным венгерским (см. Хелимский 1988) и на активном использовании материала, охваченного «Этимологическим словарем славянских языков» под ред. О. Н. Трубачева. Следует вообще отметить, что данные этого словаря и другие новейшие славистические исследования позволяют внести немало корректив в фундаментальный сводный словарь И. Книежи «Славян-

ские заимствования венгерского языка» (Книезса 1974) и другие исследования венгерских авторов, а также существенно пополнить и уточнить этимологии славянских топонимов на территории исторической Венгрии (из многочисленной литературы см. в первую очередь словарь географических названий Л. Кишпа — Kiss 1988). С другой стороны, и сам венгерский материал мог бы существенно более полно, чем это до сих пор принято, привлекаться в славянских этимологических словарях в качестве репрезентанта одного из исчезнувших архаичных славянских диалектов — для этого, разумеется, следует отказаться от господствующего в венгерской славистике взгляда на этот материал как на мешанину заимствований из разных славянских источников (болгарских, сербохорватских, словенских, словацких, восточнославянских и пр.).

### Балты и финно-угры

Очерчивая круг проблем, связанных с изучением древнейших балто-финно-угорских контактов, и высказанных на этот счет гипотез, В. Н. Топоров в своем докладе «О характере древнейших балто-финно-угорских контактов по материалам гидронимии» (UI I, 101–107) отмечает: «Общая идея может быть сформулирована в несколько заостренном и почти парадоксальном варианте обмена двух этих этнолингвистических элементов (балтийского и финского) местами: балты пришли на свою «прибалтийскую» родину с востока (и, значит, вторично) и встретили здесь на значительной территории прибалтийско-финский субстрат; финноязычные же народы пришли в Центр Восточной Европы с востока и встретили здесь балтов, язык которых стал для них субстратом. Хотя хронологические, а отчасти и пространственные рамки описываемой мены очень приблизительны, все-таки, видимо, трудно ошибиться, предположив, что между III и I тысячел. до н. э. (для отдельных мест и позже) балты и финны были не только соседями, но и во многих случаях жили вперемежку на одной и той же территории, что приводило к активным контактам — вплоть до смешений (в обе стороны); существенно напомнить, что археологические данные свидетельствуют о двустороннем распространении этнокультурных элементов: с востока в Прибалтику и из Прибалтики на восток» (UI I, 104–105).

В контексте этого «парадоксального варианта обмена» могут быть рассмотрены и оценены многие выступления и обсуждения на «балто-финно-угорском» и следующем, «германо-финно-угорском»

заседаниях. Следует отметить, что — как и на ряде других финно-угроведческих конференциях последнего времени — выявилась отчетливая поляризация мнений по вопросу о времени заселения Северо-Восточной Прибалтики предками прибалтийских финнов и, соответственно, о хронологическом соотношении балтского и финно-угорского этноязыковых элементов в этом регионе. Традиционная концепция этногенеза народов уральской семьи и их контактов с индоевропейцами предполагает относительно позднее — не ранее I тысячелетия до н. э. — окончательное отделение предков прибалтийских финнов от волжских финнов (предков мордвы и марийцев); этому отделению предшествовали контакты с древними индо-иранцами, а за ним последовало массовое заимствование балтизм — вероятно, около середины I тысячелетия до н. э. — и, позднее (приблизительно на рубеже н. э.), германизмов; см. Setälä 1926; Toivonen 1953; Хайду 1985, 80. Этой концепции практически во всех отношениях противостоит точка зрения, постулирующая непрерывную этнокультурную преемственность на территориях расселения прибалтийских финнов от рубежа IV–III тысячелетий до н. э. (эпоха культуры ямочно-гребенчатой керамики) до наших дней, см. Аристэ 1956; Моора 1956; Suomen väestön 1984. Она радикально меняет датировки всех эпох, предшествовавших прибалтийско-финской — от уральской до финно-волжской, — вынуждая углублять их; позволяет строить гипотезы о контактах с ранними индоевропейскими диалектами догерманского и добалто-славянского типов (см. серию исследований Й. Койвулехто, вплоть до статьи в настоящем сборнике и Koivulehto 1991, а также их обобщение — Hofstra 1985); вынуждает решать вопрос о субстратно-суперстратных отношениях между балтами и прибалтийскими финнами в соответствии с археологическими свидетельствами о приоритете ямочно-гребенчатой керамики по отношению к протобалтской культуре ладьевидных топоров III–II тысячелетий до н. э. (Viitso 1983). Возникает множество проблем (а если рискнуть назвать вещи своими именами — неразрешимых противоречий), которые некоторые исследователи пытались снять принятием компромиссного варианта хронологии (Korhonen 1976) или предположением о конвергентном характере прибалтийско-финских языков, обусловленном смешением племен ямочно-гребенчатой керамики с пришедшими в Прибалтику в I тысячелетии до н. э. также финно-угорскими племенами текстильной керамики (Viitso 1983).

В этой ситуации многим участникам прошедшей конференции более корректным и продуктивным представлялось следова-

ние традиционной концепции, то есть непризнание носителей ямочно-гребенчатой керамики языковыми предками прибалтийских финнов (что, естественно, никоим образом не мешает допускать их участие в прибалтийско-финском этногенезе в качестве одного из этнических компонентов) и идентификацию в качестве таковых носителей текстильной керамики в западной части его ареала. Это нашло отражение в докладе В. В. Седова (Москва) «Балты и финно-угры в древности» (доклад строился как серия комментариев к диапозитивам-картам, показывающим распространение индоевропейских и финно-угорских археологических культур в разные эпохи, а также ареалы вероятного контактирования этих культур) и еще более четко — в его статье «Контакты балтов с финноязычными племенами в эпоху раннего железа», публикуемой в настоящем сборнике, в работе В. В. Напольских (Ижевск), где с культурой ямочно-гребенчатой керамики связывается палеоевропейский субстрат в составе прибалтийских финнов (UI II, 132), в выступлениях по ходу дискуссии П. Вереша (Будапешт), подчеркнувшего когерентность и взаимосвязь всех элементов локализации и хронологии уральских племен, и Е. А. Хелимского.

Для Й. Койвулехто (Хельсинки), напротив, тезис о раннем пребывании прибалтийско-финских племен в Прибалтике существен в обосновании «догерманских» этимологий ряда финских слов (Koivulehto 1983, 1991 и др.; ср., впрочем, уже неоднократно звучавшую критику этих этимологий — Хелимский 1985: 292; Ritter 1990 и др.). К признанию данного тезиса склонялся в ходе дискуссии и Р. Анттила (Лос-Анджелес), ср. Anttila 1989, 14.

Столь существенная для освещения истории балто-финно-угорских отношений археологическая сторона вопроса (ср. Крайнов 1987; Финно-угры и балты 1987) рассматривалась также в докладах И. А. Лозе (Рига) «Этнокультурная ситуация в бассейне верхнего и среднего течения Даугавы и Днепра в эпоху ранней бронзы» (UI I, 95–100), У. Сало (Турку) «Прабалтийские заимствования прибалтийско-финских языков с точки зрения археологии»: эта работа, публикуемая в настоящем сборнике, показывает интересные археологические соответствия имеющегося лингвистического материала (соответствия эти можно, по-видимому, трактовать не только в контексте контактов между носителями шнуровой и гребенчатой керамики, как это делает У. Сало, но и в контексте контактов шнуровой керамики с текстильной).

Типологическим и ареальным аспектам языковых сходжений между балто-славянским и финно-угорским был посвящен пуб-

ликуемый в сборнике доклад Л. Беднарчука (Краков); к сожалению, сам докладчик, известный своими работами в данной области и в сфере выявления возможных лексических финно-угризмов раннего времени в балтийском и славянском (Bednarczuk 1976 и др.), не участвовал в конференции. Т. М. Николаева охарактеризовала «Балто-финноугорско-славянско-балканские просодические схождения» (UI I 109–110), указав ряд попарных и множественных параллелей в ударении и восходящей фразовой мелодике между языками четырех крупных восточноевропейских ареалов (ср. Николаева 1989). Дополнительный белорусский материал к финно-балто-славянской изоглоссе употребления конструкции с именительным падежом прямого дополнения (см. Veepker 1967, 120 ff.) приведен в докладе Т. М. Судник «Nominativus cum infinitivo в белорусских говорах» (UI I, 116). Р. Эккерт (Берлин) в докладе «Балто-славяно-финно-угорские соответствия в терминологии бортничества» (UI I, 111–115) рассмотрел семантические соответствия в лексике древней промысловой сферы, охватывающие обширный регион от Прибалтики до Волго-Камья. К сожалению, этот доклад оказался на конференции практически единственным, который затронул важную и пока недостаточно исследованную проблему взаимодействия балтов с волжскими финно-уграми (см. Vaba 1983).

Среди материалов этимологического круглого стола по теме «Балты и финно-угры» особенно оживленно обсуждался доклад Р. Анттилы, публикуемый в данном сборнике и посвященный возможным прибалтийско-финским отражениям балтийских (балто-славянских) основ с корнями \*gVn- 'гнать' и \*skVl- 'раскалывать(ся)'. Этимологический поиск автора основан на методологически чистом переносе приемов индоевропейской корневой этимологии в сферу изучения индоевропейских заимствований в уральских языках. Исходя из того, что:

а) исследуемые корни представлены с балто-славянской стороны в вариантах и дериватах с весьма разнообразными аблаутными огласовками (i/e/a/ī/u/ui/ei/ai...) и с не меньшим разнообразием тематических расширителей, а поэтому потенциально могли бы выступать в качестве заимствований в столь же широком диапазоне фонетических обликов;

б) семантика производных от этих, а также от тождественных им по значению корней заполняет гигантские диапазоны (так, для \*gVn- она включает значения 'гнать, гонять', 'сугроб, занос', 'стадо', 'загрязнять, пачкать', 'гноиться, вызывать боль', 'гнойник, опухоль', 'плесень', 'пыль', 'духота, жара', 'зола', 'го-

речь', 'стройный, высокий', 'собирать', 'нищий', 'спорить', 'защищать, запрещать', 'упрекать, винить', 'охотиться', 'бежать', 'говорить', 'пасти', 'понимать', 'выделять', 'расти', 'ручей, канал', 'поляна, просека' — и этот перечень еще далеко не полон, а каждое производное значение обрастает кустом собственных семантических дериватов), —

Р. Анттила в обоих случаях находит возможным объяснить как заимствования из балто-славянского (и продукты дальнейшего семантического развития) несколько десятков прибалтийско-финских слов. Отсутствие точных формально-семантических аналогов-источников компенсируется вполне убедительными (с точки зрения современной индоевропейской этимологической традиции, представленной, например, словарем Ю. Покорного) ссылками на реально засвидетельствованные факты словообразования и семантической деривации.

Автору данного обзора этимологические построения в докладе Р. Анттилы не представляются приемлемыми (если даже одно или два из рассматриваемых прибалтийско-финских слов действительно являются балтизмами, это не меняет дела). Правда, ни в одном конкретном случае эти построения нельзя опровергнуть утверждением, что такая-то форма, такое-то производное значение или такой-то способ рефлексии при заимствовании принципиально невозможны. Но проведенные сопоставления девальвируются тем обстоятельством, что практически в любом языке, контактировавшем с балто-славянскими или не имеющем к ним ни малейшего отношения, можно обнаружить десятки корней и основ, которые по фонетическим и семантическим параметрам так же «близки» к \*gVn- и \*skVl-, как и прибалтийско-финские формы в работе Р. Анттилы, ср.:

\*gVn- в ненецком языке (все формы цитируются из словаря: Терещенко 1965; расщепление \*k- на χ- перед задними и ś- перед передними гласными являются относительно поздним процессом в истории ненецкого языка, см. Mikola 1988, 231):

хӓн	'нарта, сани'
хана-	'увезти'
хӓнӓ-	'просить взаймы'
хане-	'охотиться, промышленять'
хӓнӓр-	'легко и быстро двигаться, бегать; говорить не задумываясь'
ханзо	'изголовье (в чуме)'
ханз"(д)	'полоз'
хун	'длина, протяженность'



хунă	'убежать'
хынзець	'защитить, отгонять кого-л.; не допустить, уберечь'
хынра	'враждовать, ссориться'
хынра	'принести, привезти; отогнать, отвести'
хыnum	'попросить пощады, взмолиться'
хэндѣ	'смотреть зло, косо'
хэндлѣй	'покатость, наклонная плоскость'
сѣнзари	'вспыльчивый, раздражительный'
сюн	'пар, испарения, дым'
сюнка	'маленькая нарта (которую тянут за собой люди, идущие пешком)'
сянзѣ	'топленое сало из костей и внутренностей оленя'

и т. д.

\*skVI- в нивхском языке (все формы цитируются из словаря: Савельева, Таксами 1970):

калҗала, қалҗала	'светлый'
келадь	'лежать развалась'
кельр	'деревянный челнок для намотки тонкой сети'
килкс, кчилкс	'челнок для вязания сети'
кулҗа	'рулон материи'
кыл	'часть нар, ближайшая к стене'
кылмр	'доска'
қалф	'жердь'
қалмриш	'доска'
қалҗ	'поперечная планка мачты у парусной лодки'
қол	'ствол'

и т. д.

В эти перечни включены только те (и далеко не все) ненецкие и нивхские слова, непосредственные семантические соответствия которых можно найти среди балто-славянских и прибалтийско-финских форм с соответствующим фонетическим архетипом, цитируемых Р. Анттилой; при использовании же дальнейших семантических аналогий «нити» можно было бы протянуть еще к множеству основ в этих языках.

Вполне понятно, что ни ненецкие, ни нивхские слова в этих псевдоэтимологических перечнях не имеют никакого отношения к балто-славянским формам (некоторые из них взаимосвязаны внутри перечня или имеют собственно ненецкую или собственно нивхскую этимологию — но в данном случае существенно не это). Ду-

мается, что возможность получения такого обилия заведомо «паразитических» результатов при следовании той этимологической логике и использовании тех приемов, которые продемонстрированы в докладе Р. Анттилы, заставляет усомниться в адекватности этой логики и этих приемов, причем относится это не только к проблематике поиска заимствований, но отчасти и к этимологической практике современной индоевропеистики в целом.

Э. Утила (Хельсинки — Неаполь) в своем докладе предложила балтийские этимологии для фин. *suhta* «мера», связывая это слово с лит. *sùktas* 'повернутый, скрученный', и фин. *hinta* 'цена' — в связи с лит. *šim̃tas* 'сто' (UI I, 134–140). Хотя фонетически предполагаемые прототипы достаточно близки прибалтийско-финским формам, в семантическом обосновании Э. Утила пытается компенсировать отсутствие прямого соответствия между значениями построением семантических цепочек в духе Покорного-Анттилы. Доклад Л. Вабы (Таллинн) «Сепаратные балтизмы в прибалтийско-финских языках» (UI I, 141–142; см. также Vaba 1990) сопровождался чрезвычайно содержательной таблицей, показывающей дистрибуцию 374 надежных или вероятных балтийских лексических заимствований в отдельных прибалтийско-финских языках (эстонский — северо-восточный, северный и южный; ливский — лифляндский и курляндский; водский; финский); специальные комментарии были посвящены древним балтизмам регионального характера.

### Германцы и финно-угры

На этом заседании, как уже упоминалось, особенно длительную и содержательную дискуссию вызвал публикуемый в настоящем сборнике доклад Й. Койвулеhto «Ранние индоевропейско-уральские языковые контакты». Доклад содержит новые этимологические предложения касательно: а) возможных индоевропейских заимствований прауральской эпохи, отраженных и в финно-угорских, и в самодийских языках (в этой связи см. ниже комментарии к докладу К. Редеи) и б) финно-мордовской и прибалтийско-финской лексики с возможными индоевропейскими аналогами германо-балто-славянского типа. В ходе дискуссии Г. Бирнбаум высказал сомнение в том, что поздние индоевропейские диалекты сохраняли ларингалы, как это предполагают этимологии из доклада Й. Койвулеhto (см. теперь и Koivulehto 1991). К. Редеи (Вена) счел проблематичным сам факт столь массовых заимст-

ний в уральские языки, охватывающих, согласно этимологиям Й. Койвулехто, и значительную часть уральской базисной лексики; Е. А. Хелимский и Ю. Янхунен (Хельсинки) отметили гипотетичность слишком многих деталей в предложенных этимологиях; см. также Хелимский 1995. В свою очередь, Й. Койвулехто отметил в обоснование и в защиту своих этимологий повторяемость и системность предполагаемых фонетических соответствий между раннеиндоевропейскими источниками и уральскими формами, указал на важность фонотактических критериев.

Вошедший в настоящий сборник доклад Т. Хофстры (Гронинген) был посвящен использованию данных по заимствованиям в прибалтийско-финские языки для решения проблем истории германского консонантизма. С серией этимологических наблюдений — дополнений и маргиналий к «Этимологическому словарю финского языка» (SKES) — выступил В. А. Терентьев (Москва); ему принадлежит, в частности, интересная трактовка фин. *rauta* «железо» как заимствования из славянского (кривичского) источника, соответствующего русск. *руда*, но относящегося к эпохе до стяжения дифтонга *au* в *u* (UI II, 30–32). Формирование в ходе многовекового соседства языковых и семиотических феноменов, характерных для языкового союза, рассматривалось в докладе Ш. Рота (Будапешт) «Прибалтийско-финско-германские этноязыковые взаимоотношения и проблемы «вторичного» изоморфизма», зачитанном на конференции в отсутствие самого докладчика.

Не смогли, к сожалению, участвовать в конференции и оба автора помещенных в сборнике предварительных материалов докладов по германо-саамской проблематике — археолог В. Я. Шумкин из Ленинграда («Западные и восточные традиции культуры аборигенного населения Северной Фенноскандии», UI II, 10–15) и лингвист Х. Фромм из Оттобрунна («Прасаамский и ранние языковые контакты в балтийском регионе», UI II, 16–22).

### Восточные индоевропейцы и уральцы

Не вызывает сомнения, что ранние по времени контакты индо-иранцев и, возможно, некоторых других групп восточных индоевропейцев с финно-уграми особенно интересны с точки зрения тех возможностей, которые их изучение открывает и для собственно лингвистической реконструкции, и для палеолингвистики. Это отражает количество и фундаментальность исследований, посвященных соответствующему языковому материалу, в

первую очередь — индо-иранским (арийским) заимствованиям в финно-угорских языках, ср. Munkácsi 1901; Jacobsohn 1922; Koenig 1972; Joki 1973; Rédei 1986.

Концепция и важнейшие выводы, а также краткая сводка материала последней из этих монографий представлены в докладе К. Редее, который публикуется в настоящем сборнике. Отличительная черта авторского подхода, характерная в целом для этимологической литературы последних лет в уралоистике, — очень высокие требования к достоверности сопоставлений, «отсев» проблематичных и сомнительных этимологий. Систематизация индо-иранских заимствований у К. Редее основана на их распространенности в финно-угорских языках; естественно, что при всей своей объективности данный критерий может в каких-то случаях исказить хронологическую перспективу, объединяя заимствования более ранние, но сохранные только в одной из групп финно-угорских языков, с заимствованиями более поздними, проникшими уже непосредственно в эту группу. Специального внимания заслуживают слова — в значительной своей части базисные глаголы! — которые автор относит к древнейшему слою заимствований из индоевропейского (доиндо-иранского) в прауральский. При обсуждении доклада на конференции отмечалось, что в данной группе лексики гораздо более естественно видеть наследие урало-индоевропейского (ностратического) родства и что сама возможность территориальной смежности и языковых контактов праиндоевропейского и прауральского достаточно сомнительна.

Иной вариант систематизации индо-иранских заимствований в финно-угорских языках — по наличию тех или иных архаизмов в предполагаемых арийских формах-источниках — разрабатывался в последние годы А. В. Лушниковой (Москва), см. Лушникова 1990 (во многом в развитие идей В. И. Абаева — Абаев 1981 и др.). Однако и этот подход к рассмотрению материала не обходится без трудностей и противоречий: в нем фактически не учитывается то обстоятельство, что последовательность и ход фонетических процессов в тех арийских диалектах III–I тысячелетий до н. э., которые были распространены в евразийской лесостепи и оказывали непосредственное влияние на языки финно-угров, могли существенно обособлять их и от «иранских» (доиранских), и от «индийских» (доиндийских) диалектов.

На конференции А. В. Лушникова прочла доклад «К проблеме ударения в финно-угорских языках» (UI II, 46–52), где рассматриваются соответствия индо-иранского и финно-угорского

(прежде всего коми-язьвинского) ударения, а также проблема рефлексии и.-ир. *\*r/\*r*.

Несколькими чрезвычайно удачными (и важными в культурно-историческом ракурсе) этимологическими находками обогатил фонд известных индо-иранских заимствований в финно-угорских языках В. Блажек (Пржибрам, Чехословакия), см. UI II, 40–45. Представляется, что все дальнейшие исследования по данной проблематике будут обязательно учитывать установленные им источники финно-морд. *\*akš(š)terz* «бесплодный» (фин. *ahtera*, морд. *ekšter, äšter*) из и.-ир. *\*a-kšaitra-* (др.-инд. *á-kṣetra-* «невозделанный — о поле»), манс. *\*mūj* «гость» и хант. *\*maj* «свадьба» из и.-ир. *\*maya-* (др.-инд. *māyaḥ* «наслаждение», авест. *mayah-* «*Ve-gattung*»), манс. *P šešwé* «заяц» при др.-инд. *śaśá-* id., финно-перм. *\*ši(k)šta* «воск» (морд. *kšta*, удм. *śuš*) из и.-ир. *\*ši(k)šta-* (др.-инд. *siktha-*).

Обзорный доклад Е. Е. Кузьминой (Москва) «Финно-угры и индо-иранцы: динамика культурных связей» печатается в настоящем сборнике. В докладе И. Г. Добродомова (Москва) «Буртаский язык — исчезнувший аланский диалект в Среднем Поволжье» (UI II, 64–70) представлен разнообразный материал финно-угорских и тюркских языков Поволжья, интерпретируемый на основе предположения об аланском характере языка буртасов, упоминаемых как народ Среднего Поволжья в трудах арабо-персидских географов IX–X вв. и в некоторых других источниках. Ряд смелых, но не получивших сколь-нибудь детальной разработки топонимических этимологий содержался в докладе Т. М. Гарипова «Иранские этимоны в урало-поволжской ономастике» (UI II, 60–63).

Лишь маргинально была затронута на конференции проблематика урало-индоевропейских контактов в Минусинской котловине и прилегающих районах юга Западной Сибири — контактов, с которыми могут быть связаны и следы индоевропейского влияния в самодийских языках (см. Jahninen 1983), и, возможно, появление определенных «урало-алтайских» черт в тохарском (ср. Ivanov 1985). В отсутствие Э. Б. Вадецкой (Ленинград) можно было лишь «принять к сведению» выводы из ее доклада «Южно-самодийские компоненты культуры древнего населения Присаянья» (UI II, 71–80), где предполагается смена населения в этом регионе в начале-середине II тысячелетия до н. э., обусловленная приходом носителей окуневской культуры, предположительно самодийцев, на смену индоевропейцам-афанасьевцам.

## Ностратика и древнейшая этнокультурная история Евразии

На прошедшей конференции проблематика индоевропейско-уральского сравнения в ностратическом ракурсе была представлена лишь небольшим числом докладов и скорее обозначена, нежели подвергнута детальной разработке. Это в целом отвечало намерениям организаторов: с одной стороны, Институтом славяноведения и балканистики и другими научными учреждениями Москвы периодически проводятся специальные конференции по ностратике и другим вопросам дистантного сравнения языков (из последних см.: Лингвистическая реконструкция 1989; Славистика. Индоевропеистика. Ностратика 1991); с другой стороны, в принципе сложно вычленивать «чисто» индоуральские темы из общего комплекса проблем ностратики, развернутое обсуждение которых в рамках урало-индоевропейской конференции не представлялось возможным.

В докладе «Об отдаленном родстве в пределах семьи: анатолийский и индоевропейский, юкагирский и уральский» (UI II, 84) Вяч. Вс. Иванов остановился на классификационно-генеалогических вопросах (анатолийский в противопоставлении прочим и.-е. языкам не составляет единства, ср. хеттскую и лувийскую ветви; в составе урало-юкагирской семьи юкагирский представлен диалектами, между которыми наблюдаются значительные отличия в лексике) и рассмотрел несколько анатолийских и юкагирских архаизмов ностратического происхождения (релятивные имена с посессивными местоимениями типа хет. *kattan-met* 'со мной' и др.). Одно из возможных миграционных объяснений отдаленности хеттской и лувийской ветвей друг от друга было предложено Л. А. Гиндиным (см. его доклад в настоящем сборнике), который в контексте ностратических идей В. М. Иллич-Свитыча рассмотрел вопросы прародины и миграций индоевропейцев. Согласно этому объяснению, во второй половине III тысячелетия до н. э. лувийцы переселяются из Северного Причерноморья в Анатолию через Балканы и Трою, а хетты — через Северный Кавказ и Закавказье.

А. А. Ким и О. А. Осипова (Томск) в докладе «Проблема общности индоевропейских и уральских языков в области склонения» высказывают предположение, что и.-е. консонантные основообразующие показатели, материально сходные с уральскими падежными показателями, следует объяснять «как первичные падежные маркеры, а их чередование — стремлением языковыми средствами выразить различные пространственные градации»

(UI II, 107). Доклад очевидным образом ориентирован на глоттогонический подход к материалу, что выглядит довольно спорным, особенно с учетом продемонстрированных ранее возможностей непосредственного сравнения фонетически и функционально близких деклинационных морфем в и.-е. и уральском (Сор 1975, где существенно — хотя не всегда надежно — пополнен перечень сопоставлений из Иллич-Свитыч 1971: 10–12; Collinder 1964: 35–46 и др.).

В рамках этимологического круглого стола по ностратической проблематике были представлены и обсуждены «Некоторые новые ностратические этимологии» И. Хегедюш из Печа (UI II, 96–100; интересны, в частности, сопоставления и.-е. \*kʷos- 'кашлять' с урал. \*kuse- id., и.-е. \*tonk- 'уплотнять' с урал. \*turke- 'сжимать' и ряд других), доклад В. Э. Орла (Москва) «К ностратической перспективе уральского, алтайского и афразийского» (UI II, 95) с серией афразийских дополнений к индоевропейско-уральским и урало-алтайским сравнениям, доклад В. В. Шеворошкина (Энн-Арбор) «Уральский вокализм и дистантное сравнение» (UI II, 85–94). В этом последнем докладе отмечается, что возможность опоры на архаичный уральский вокализм при сверхглубокой реконструкции не исчерпывается, возможно, ностратическим уровнем: иллюстрацией служат материалы, в которых В. В. Шеворошкин дополняет ностратические этимологии и ностратико-синокавказские этимологии (Starostin 1989) параллелями из вакашских и салишских языков.

Скептическое отношение к имеющимся свидетельствам древнейшего урало-индоевропейского родства прозвучало в выступлении Ю. Янхунена (см. в настоящем сборнике). Такое родство представляется Ю. Янхунену маловероятным уже в силу того, что уральский и и.-е. праязыки — всего лишь два случайно сохранившихся представителя из множества неизвестных доисторических языков Евразии, и их родство могло бы быть, соответственно, лишь маловероятной случайностью.

Думается, однако, что такое рассуждение опирается на чисто механическую трактовку доисторических процессов распространения и исчезновения языков, приписывая им энтропию случайных процессов, и не учитывает фактор «параллельного» массового смывания старых языков и культур новыми. Хорошо известны случаи, когда в результате миграций происходит распространение на огромной территории большого числа близких, но не тождественных языков при полном или почти полном исчезновении неродственных им языков прежнего населения. Характер-

ные тому примеры — индоевропеизация европейского континента и ряда регионов Азии (а в более позднее время — индоевропеизация Америки), тюркизация Великой Степи и Средней Азии, распространение языков банту в Африке южнее экватора и языков пама-ньюнга в Австралии. В одних случаях очевидно, в других — вероятно, что причины «параллельного» смывания экстралингвистические: культурное и/или военное превосходство носителей «новых» языков, их взаимодействие и взаимная поддержка благодаря осознанию — по крайней мере на первых порах — общности происхождения в противопоставлении себя носителям «старых» языков (с которыми подобного взаимодействия не возникает).

Вслед за В. М. Иллич-Свитычем и А. Б. Долгопольским, многие сторонники ностратики полагают, что где-то между X и VI тысячелетиями до н. э. происходило «параллельное» смывание значительной части тех языков (и культур), которые существовали в Евразии ранее, языками (и культурами) выходцев из Передней Азии, связанных ностратической общностью происхождения. Исходный толчок этому процессу могла дать неолитическая революция в Передней Азии (или ее зачатки) с сопутствующим убыстренным ростом населения, ср.: Дыбо, Терентьев 1984. Продвигаясь в другие, более северные регионы Евразии, носители ранних ностратических языков могли в неблагоприятных условиях утрачивать привнесенные неолитической революцией навыки ведения производящего хозяйства, однако по общему уровню своей материальной культуры (и, вероятно, вооружения) они должны были превосходить местное население, в своем цивилизационном развитии соответствовавшее уровню верхнего палеолита или мезолита. Это обусловило потенцию к параллельному ассимиляционному смыванию этого населения — несомненно, оставившего после себя антропологический, культурный и языковой субстрат, — после чего и могла сложиться ситуация, когда на обширных пространствах Евразии имелось множество мелких и сравнительно изолированных друг от друга языковых коллективов, все или большинство из которых пользовались родственными языками ностратического происхождения, в их числе — (ранними) праи.-е., прауральским, праалтайским и т. д.

Процесс в известной мере повторился на очередном этапе (наступившем не ранее IV–III тысячелетий до н. э.), когда началось «параллельное» смывание большинства из этих ностратических языков, равно как и возможных реликтов доностратического языкового ландшафта, и.-е. языками (в Европе и Южной Азии) и

уральскими языками (в центральной части лесной зоны Евразии). Причины этого также должны были быть экстралингвистическими — например, они могли заключаться в наличии у предков индоевропейцев особо совершенных для той эпохи вооружения и транспортных средств и в том, что предки уральцев выработали особенно эффективные приемы охоты и рыболовства.

Оспаривая данный тезис Ю. Янхунена, хотелось бы, однако, одновременно поддержать его озабоченность тем обстоятельством, что сам по себе характер сравниваемых корпусов и.-е. и уральской лексики таков (особенно с и.-е. стороны), что благоприятствует появлению неограниченно большого числа псевдоэтимологий; помогают в этом, к сожалению, и принятые в индоевропеистике методы корневой этимологизации и семантической мотивировки этимологий (см. выше о сопоставлениях прибалтийско-финского материала с балто-славянским у Р. Анттилы: псевдоэтимологизация с одинаковой легкостью внедряется в исследование и заимствований, и генетических связей между языками).

Существенные стороны этнической и культурной истории Евразии в те эпохи, о которых шла речь в нашем комментарии к докладу Ю. Янхунена, были освещены в докладах С. В. Ошибкиной (Москва) «Древнейшие этнокультурные образования на севере Восточной Европы» (UI II, 119–127), Е. Н. Черных и С. В. Кузьминых (Москва) «Древнейшая металлургия Северной Евразии: Проблема взаимосвязей производящих центров» (UI II, 135–141) — в докладе рассмотрена историческая перспектива сейминско-турбинского феномена, исследованного авторами в специальной монографии (Черных, Кузьминых 1989). В. В. Напольских (Ижевск) сделал интересную и удачную попытку обобщить данные языка, топонимии, антропологии, мифологии, палеоклиматологии, археологии, характеризующие в различных аспектах «Палеоевропейский субстрат в составе западных финно-угров» (UI II, 128–134); согласно разрабатываемой в докладе гипотезе, до второй половины II — первой половины I тысячелетия до н. э. в Восточной Прибалтике жило население, говорившее на языках неизвестной принадлежности (во всяком случае, не уральских и не и.-е.) и ассимилированное в разных районах финно-уграми (предками прибалтийских финнов) и индоевропейцами. Тем самым достаточно широкий этнокультурный контекст приобретает предположительно палеоевропейская субстратная лексика в прибалтийско-финских языках, выделенная в работах П. Аристе (Ariste 1971, 1972: 5–23). Доклад Я. Гуи (Гёттинген) «К сопоставлению культур уральской и индоевропейской эпох» (см. в насто-

ящем сборнике) можно рассматривать как преамбулу к сопоставительной индоевропейско-уральской лингвопалеонтологии, круг специфических проблем которой еще подлежит уточнению.

#### ЛИТЕРАТУРА

- Абаев 1981 — В. И. Абаев. Доистория индоиранцев в свете арио-уральских языковых контактов // Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности (II тысячелетие до н. э.). М., 1981.
- Агеева 1990 — Р. А. Агеева. Страны и народы: происхождение названий. М., 1990.
- Аристе 1956 — П. А. Аристе. Формирование прибалтийско-финских языков и древнейший период их развития // Вопросы этнической истории эстонского народа. Таллин, 1956.
- Атаманов 1990 — М. Г. Атаманов. Самодийские элементы в топонимии Удмуртии // Материалы VI Международного конгресса финно-угроведов. М., 1990. Т. 2.
- Балто-славянские этноязыковые отношения 1983 — Балто-славянские этноязыковые отношения в историческом и ареальном плане: Тезисы докладов 2-й балто-славянской конференции. М., 1983.
- Гамкрелидзе, Иванов 1984 — Т. В. Гамкрелидзе, Вяч. Вс. Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984, т. 1–2.
- Дыбо, Терентьев 1984 — В. А. Дыбо, В. А. Терентьев. Ностратическая макросемья и проблема ее временной локализации // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. М., 1984, ч. 5.
- Зализняк 1988 — А. А. Зализняк. Древненовгородский диалект и проблемы диалектного членения позднего праславянского языка // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. М., 1988.
- Иллич-Свитыч 1967 — В. М. Иллич-Свитыч. Материалы к сравнительному словарю ностратических языков // Этимология 1965. М., 1967.
- Иллич-Свитыч 1976, 1984 — В. М. Иллич-Свитыч. Опыт сравнения ностратических языков. Введение. Сравнительный словарь. [Ч. I–III.] М., 1971, 1976, 1984.
- Крайнов 1987 — Д. А. Крайнов. Фатьяновская культура // Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М., 1987 (Археология СССР).
- Лингвистическая реконструкция 1989 — Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока: Материалы и тезисы докладов Международной конференции. М., 1989, ч. 1–3.
- Лушникова 1990 — А. В. Лушникова. Стратификация ирано-уральских языковых контактов. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1990.
- Моора 1956 — Х. А. Моора. Вопросы сложения эстонского народа и некоторых соседних народов в свете данных археологии // Вопросы этнической истории эстонского народа. Таллин, 1956.

- Николаев 1988 — С. Л. Николаев. Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. 1. Кривичи // Балто-славянские исследования 1986. М., 1988.
- Николаева 1989 — Т. М. Николаева. Об одном сходстве славянской и финно-угорской фразовой интонации // Славянское и балканское языкознание: Просодия. М., 1989.
- Перени 1956 — И. Перени. Взаимоотношения между венграми и восточнославянскими племенами // *Studia Slavica* II. Budapest, 1956.
- Рот 1973 — А. М. Рот. Венгерско-восточнославянские языковые контакты. Budapest, 1973.
- Савельева, Таксами 1970 — В. Н. Савельева, Ч. М. Таксами. Нивхско-русский словарь. М., 1970.
- Седов 1979 — В. В. Седов. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979.
- Седов 1982 — В. В. Седов. Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982.
- Славистика. Индоевропеистика. Ностратика 1991 — Славистика. Индоевропеистика. Ностратика: К 60-летию со дня рождения В. А. Дыбо. Тезисы докладов. М., 1991.
- Терещенко 1965 — Н. М. Терещенко. Ненецко-русский словарь. М., 1965.
- Ткаченко 1985 — О. Б. Ткаченко. Мерянский язык. Киев, 1985.
- Топоров 1981 — В. Н. Топоров. Об иранском влиянии в мифологии народов Сибири и Центральной Азии // Кавказ и Средняя Азия в древности и средневековье. М., 1981.
- Топоров 1975–1990 — В. Н. Топоров. Прусский язык: Словарь. М., 1975–1990 [т. 1–5].
- Финно-угры и балты 1987 — Финно-угры и балты в эпоху средневековья. М., 1987 (Археология СССР).
- Финно-угры и славяне 1979 — Финно-угры и славяне: Доклады первого советско-финляндского симпозиума по вопросам археологии 15–17 ноября 1976 г. Л., 1979.
- Хайду 1985 — П. Хайду. Уральские языки и народы. М., 1985.
- Хелимский 1982 — Е. А. Хелимский. Древнейшие венгерско-самодийские языковые параллели. М., 1982.
- Хелимский 1985 — Е. А. Хелимский. [Рец. на кн.:] *Symposium Saeculare Societatis Fenno-Ugricae*. Helsinki, 1983 // Сов. финно-угроведение XXI, 1985, № 4.
- Хелимский 1988 — Е. А. Хелимский. Венгерский язык как источник для праславянской реконструкции и реконструкции славянского языка Паннонии // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов: Докл. сов. делегации. М., 1988.
- Хелимский 1989(а) — Е. А. Хелимский. Изучение ранних славяно-венгерских языковых отношений // Славяноведение и балканистика в странах Зарубежной Европы и США. М., 1989.
- Хелимский 1989(б) — Е. А. Хелимский. Самодийская лингвистическая реконструкция и праистория самодийцев // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. М., 1980, ч. 2.

- Хелимский 1995 — Е. А. Хелимский. Сверхдревние германизмы в прибалтийско-финских и других финно-угорских языках // Этноязыковая и этнокультурная история Восточной Европы. М., 1995.
- Черных, Кузьминых 1989 — Е. Н. Черных, С. В. Кузьминых. Древняя металлургия Северной Евразии (сейминско-турбинский феномен). М., 1989.
- Этнолингвистические балто-славянские контакты 1978 — Этнолингвистические балто-славянские контакты в настоящем и прошлом. Конференция 11–15 декабря 1978 г.: Предварительные материалы. М., 1978.
- Anttila 1989 — R. Anttila. Pattern explanation: Survival of the fit // *Diachronica* VI: 1, 1989.
- Ariste 1971 — P. Ariste. Die ältesten Substrate in den ostseefinnischen Sprachen // Сов. финно-угроведение VII, 1971, № 4.
- Ariste 1981 — P. Ariste. Keelekontaktid: Eesti keele kontakte teiste keeltega. Tallinn, 1981.
- Bárczi 1963 — G. Bárczi. A magyar nyelv életrajza. Budapest, 1963.
- Bednarczuk 1976 — L. Bednarczuk. Zapozyczenia ugrofińskie w językach baltosłowiańskich // *Acta Baltico-Slavica* IX, 1976.
- Collinder 1964 — B. Collinder. Sprachverwandtschaft und Wahrscheinlichkeit: Ausgewählte Schriften. Uppsala, 1964.
- Čop 1975 — B. Čop. Die indogermanische Deklination im Lichte der indouralischen vergleichenden Grammatik. Ljubljana, 1975.
- Hofstra 1985 — T. Hofstra. Ostseefinnisch und Germanisch: Frühe Lehnbeziehungen im nördlichen Ostseeraum in Lichte der Forschung seit 1961. Groningen, 1985.
- Ivanov 1985 — V. V. Ivanov. Tocharian and Ugrian // *Studia linguistica diachronica et synchronica*. B. etc., 1985.
- Jacobsohn 1922 — H. Jacobsohn. Arier und Ugrofinnen. Göttingen, 1922.
- Janhunen 1983 — J. Janhunen. On early Indo-European-Samoyed contacts // *Mémoires de la Société Finno-Ougrienne* 185. Helsinki, 1983.
- Joki 1973 — A. J. Joki. Uralier und Indogermanen. Helsinki, 1973.
- Kalima 1936 — J. Kalima. Itämerensuomalaisten kielten balttilaiset lainasanat. Helsinki, 1936.
- Kalima 1952 — J. Kalima. Slaavilaisperäinen sanastomme. Helsinki, 1952.
- Kalima 1956 — J. Kalima. Die slavischen Lehnwörter im Ostseefinnischen. B., 1956.
- Kiparsky 1952 — V. Kiparsky. The earliest contacts of the Russians with the Finns and Balts // *Oxford Slavonic Papers* III, 1952.
- Kiparsky 1956 — V. Kiparsky. Suomalais-slaavilaisten kosketuksien ajoituksesta // *Virittäjä*, 1956, № 1.
- Kiparsky 1963 — V. Kiparsky. Russische historische Grammatik. Bd. I. Die Entwicklung des Lautsystems. Heidelberg, 1963.
- Kiss 1988 — L. Kiss. Földrajzi nevek etimológiai szótára. 4. kiad. I–II. köt. Budapest, 1988.
- Kniezsa 1974 — I. Kniezsa. A magyar nyelv szláv jövevényszavai. 2. kiad. I–II. köt. Budapest, 1974.

- Koivulehto 1983 — J. Koivulehto. Seit wann leben die Urfinnen im Ostseeraum? Zur relativen und absoluten Chronologie der alten idg. Lehnwortschichten im Ostseefinnischen // *Mémoires de la Société Finno-Ougrienne* 185. Helsinki, 1983.
- Koivulehto 1991 — J. Koivulehto. Uralische Evidenz für die Laryngalthorie. Wien, 1991.
- Korenchy 1972 — E. Korenchy. Iranische Lehnwörter in den obugrischen Sprachen. Budapest, 1972.
- Korhonen 1976 — M. Korhonen. Suomen kantakielen kronologiaa // *Virittäjä*, 1976, № 1.
- Mikkola 1894 — J. J. Mikkola. Berührungen zwischen den westfinnischen und slavischen Sprachen. Helsinki, 1894.
- Mikkola 1938 — J. J. Mikkola. Die älteren Berührungen zwischen Ostseefinnisch und Russisch. Helsinki, 1938.
- Mikola 1988 — T. Mikola. Geschichte der samojedischen Sprachen // *The Uralic languages: Description, history and foreign influences*. Leiden etc., 1988.
- Munkácsi 1901 — B. Munkácsi. Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. Budapest, 1901.
- Plöger 1973 — A. Plöger. Die russischen Lehnwörter der finnischen Schriftsprache. Wiesbaden, 1973.
- Rédei 1986 — K. Rédei. Zu den indogermanisch-uralischen Sprachkontakten. Wien, 1986.
- Ritter 1990 — R.-P. Ritter. Das Ostseefinnische «im Kreise der germanischen Sprachen». Zur neuen Konzeption in der germanisch-finnischen Lehnwortforschung // *Vorträge und Referate der finnougriischen Arbeitstagung 9.-11. Mai 1989 in Hamburg*. Wiesbaden, 1990.
- Setälä 1926 — E. N. Setälä. Suomen sukuisten kansojen esihistoria // *Suomen suku I*. Helsinki, 1926.
- SKES — Suomen kielen etymologinen sanakirja. I–VI. Helsinki, 1955–1978.
- Starostin 1989 — S. Starostin. Nostratic and Sino-Caucasian // *Explorations in language macrofamilies* / Ed. by V. Shevoroshkin. Bochum, 1989.
- Suomen väestön 1984 — Suomen väestön esihistorialliset juuret. Helsinki, 1984.
- Toivonen 1953 — Y. H. Toivonen. Suomalais-ugrilaisesta alkukodista // *Virittäjä*, 1953, № 1.
- UI — Uralo-Indogermanica. Балто-славянские языки и проблема урало-индоевропейских связей. Материалы 3-ей балто-славянской конференции, 18–22 июня 1990 г. Ч. I–II. М., 1990.
- Vaba 1983 — L. Vaba. Baltische Lehnwörter der Wolgasprachen im Lichte neuerer Forschungsergebnisse // *Сов. финно-угроведение XIX*, 1983, № 2.
- Vaba 1990 — L. Vaba. Die baltischen Sonderentlehnungen in den ostseefinnischen Sprachen // *Itämerensuomalaistet kielikontaktit: Itämerensuomalainen symposium 7. kansanvälisessä feno-ugristikongressa Debrecenissä*. Helsinki, 1990.
- Veenker 1967 — W. Veenker. Die Frage des finnougriischen Substrats in der russischen Sprache. Bloomington, 1967.

- Veres 1988 — P. Veres. A finnugor őshaza meghatározása az újabb adatok fényében // *Uralisztikai tanulmányok 2*. Budapest, 1988.
- Viitso 1983 — T. - R. Viitso. Läänemeresoomlased: Maahõive ja varaseimad kontaktid // *Mémoires de la Société Finno-Ougrienne* 185. Helsinki, 1983.
- Viitso 1990 — T. - R. Viitso. On the earliest Finnic and Balto-Slavic contacts // *Itämerensuomalaistet kielikontaktit: Itämerensuomalainen symposium 7. kansanvälisessä feno-ugristikongressa Debrecenissä*. Helsinki, 1990.

А. А. ЗАЛИЗНЯК

ОБ ОДНОМ РАНЕЕ НЕИЗВЕСТНОМ  
РЕФЛЕКСЕ СОЧЕТАНИЙ ТИПА \*ТърТ  
В ДРЕВНЕНОВГОРОДСКОМ ДИАЛЕКТЕ

Основной рефлекс, который праславянские сочетания типа \*ТърТ дают в древненовгородском диалекте XI–XII вв. (т. е. эпохи до падения редуцированных), — это сочетания ТъръТ, ТълъТ, ТьръТ, ТьлъТ (причем перед твердыми зубными ьръ очень рано переходит в ьръ). Вот некоторые примеры из берестяных грамот этого периода: *кѣ(р)ѣчагоу* 379, *ж Търъцина* 516, *мълъви* Ст. Р. 7, *кълътѣкъ* 335, *въ дълѣгъ* 675, *дълѣжъне* 725, *смъръди* 247, *отъ Чьрънка* 113, *отъ Твьръдаты* 84, *смъръда* 247, *жълътое* Ст. Р. 8; также из грамот со смещением букв ь, ь с о, е — *ѡ Тороцина* 225, *корозьно* 638, *молови* 665, *въ дъложьницъ* 449, *берековеска, ѡдережи* 624 и т. п.

После падения и прояснения редуцированных рефлексы данного типа превращаются: а) в сильной позиции в *ToroT, ToloT, TereT, TeroT, TeloT*, например (из берестяных грамот XIII–XV вв.), *2 горошка* 'два горшка' 220, *горончаро* 445, *полъсть* 500, *верешь* 361, *церецею* 689, *цетверотк[e]* 521 и т. п.; б) в слабой позиции в *TorT, TolT, TerT, TelT*, например, *торговала* 510, *молви* 5, *верши* 50, *цетворты* (во = [в'о]) 169, *жолтого* 288 и т. п. Сильная и слабая позиция для раннедревненовгородского ТъръТ (и т. д.) определяются, говоря несколько огрубленно, по тому же принципу, что и для редуцированных вообще: сильная позиция — перед последующим слабым редуцированным, слабая — в прочих случаях. (По гипотезе С. Л. Николаева, фактическое распределение двусложного и односложного рефлексов в данном случае частично зависит также от акцентологических условий; но для настоящей работы это обстоятельство непосредственного значения не имеет.)

Второй тип рефлексов для праславянского \*ТърТ (и т. д.), представленный в раннедревненовгородских источниках, — это «классическая» др.-русс. модель ТърТ, ТълТ, ТьръТ. В отличие от книжной письменности, в берестяных грамотах она встречается существенно реже, чем первая. Вполне вероятно, что из тех немногих примеров этой модели, которые всё же обнаруживаются в новго-

родских берестяных грамотах XI–XII вв. (см. Изуч. яз., § 55), по крайней мере часть представляет собой просто книжные орфограммы. Но если даже такой тип рефлексов был редок в самом Новгороде, он явно существовал в говорах восточной части древненовгородского государства (т. е. ильменско-словенских).

После падения и прояснения редуцированных этот тип рефлексов в слабой позиции дает тот же результат, что и рефлексы первого типа. В сильной позиции получается тот же эффект, что в слабой, т. е. ситуация здесь такая же, как в современном русском литературном языке (*холм, холма, верх, верха* и т. п.).

Указанные два типа рефлексов хорошо известны и упоминаются здесь нами лишь в качестве точки отсчета.

В связи с находками в Новгороде новых берестяных грамот встал вопрос о том, не существовали ли на древненовгородской территории также иные рефлексы праславянских сочетаний типа \*ТърТ, не совпадающие ни с одним из указанных двух типов.

В берестяной грамоте № 722 (первая четверть XIII в.), найденной в 1990 г., встретилось написание *во хлостѣхо* 'в холстах' (в грамоте представлен обычный для бытовых систем письма графический эффект замены ь на о). В грамоте № 731 (середина XII в.), найденной в 1991 г., встретилось сразу два написания этого же типа: *мловила* 'молвила' и *во брозѣ* (из \*вз бързѣ) 'срочно', 'спешно' (в этой грамоте тоже представлен графический эффект ь → о).

С этими примерами можно сравнить также написания *не дльжънъ* 'не должен' и *къ Вльчъкови* 'к Волчку' в грамоте № 336 (первая половина XII в.). Возможно, к этому же ряду принадлежит имя собственное *на Пръжневици* в грамоте № 526 (середина XI в.), если оно является производным от \*пързнити 'загрязнять', 'портить' (см. Фасмер, III, 329, статья *пързный*).

Разумеется, написания *дльжънъ, Вльчъкови* можно объяснить и иначе — как орфографические старославянизмы (и именно так они раньше и объяснялись). Однако для примеров *во хлостѣхо* 722 и *мловила, во брозѣ* 731 такое объяснение неприменимо, поскольку здесь и орфограмма иная, и сам принцип бытового письма предполагает независимость от книжной орфографии.

Что же стоит за необычными написаниями *хлостѣхо, мловила, брозѣ* — особые рефлексы, где гласный элемент следует за л, р (а не предшествует им, как обычно), или еще одна, ранее не отмеченная, графическая условность древнерусского письма?

При решении этого вопроса важнейшим аргументом служат данные современных говоров. Они показывают, что мы имеем



здесь дело действительно с особыми фонетическими рефlekсами, а не с графической условностью. Как обнаруживается, в северно-великорусских говорах существует целый ряд слов с рефlekсами рассматриваемого типа. Приводим материал по СРНГ (с некоторыми дополнениями из Пск. слов. и ЭССЯ).

*Осло́п* 'большая палка, дубина', 'великорослый, но глупый человек', 'болван, остолоп' Север., Вост., Нижегород., Твер., Волог., Перм., Сиб., но также и Южн., Курск., Орл., Тул., Дон. (ср. *остоло́п* 'столб', 'высокий пенёк', 'великорослый, но глупый человек', 'упрямец' и т. п. Новг., Смол., Твер., Волог., Костром., Влад., Вят., Казан., Тул., Курск.) и его производные, в частности: *ослопа́н* 'остолоп', 'лентяй' Онеж., Арх., Перм., Ср. Урал, *ослопе́н* Новосиб., *ослопень* Новг., *ослопи́на* Север., Вост., Урал, Костром., Вят., Арх., Перм., Сиб., *осло́нье* Север., Вост. Слова этой группы отмечены также в памятниках (начиная с XV в.) — см. в Слов. XI–XVII, 13 статьи *ослопъ*, *ослопие*, *ослопина*, *ослопный* (также *ослопозъ*). Этимологическое тождество слов *осло́п* и *остоло́п* представляется очевидным (корень \**stǫlp-*); выраженное А. А. Шахматовым (1915, с. 281) сомнение в этом тождестве целиком основано на тезисе о том, что *ло* из \**ǫl* на русской почве невозможно (заметьте, что Шахматов прямо пишет: «*остолопъ* при *ослопъ* для меня неясно»). Утрата *t* в сочетании *stl* (такая же, как в польск. *stupa*, чеш. *sloup*) совершенно естественна, ср. [слат'] из *стлать*.

*Клоч* (Р.ед. *клоча́*) 'кочка', 'поросший мхом островок' и др. Север., Арх., Новг., Карелия (также картотека Пск. слов.), также *клочь* 'кочка' и т. д. Арх., Ленингр., Карелия, *клочи́* 'кочки' Арх., Ленингр. и производные, в частности: *клочо́к* 'кочка', 'бугорок' Олон., Север., Арх., Ленингр., Коми АССР, *клочу́ха* 'кочковатый участок покоса' Арх., *кловча́тый* 'кочковатый' Арх., *кловня́г* 'место, покрытое кочками' Пск., *кловье*, *кловья́* 'кочки в болоте' Арх., Новг., Пск., Киров. Ср. другой ряд: *колч* (Р.ед. *колча́*) 'кочка', 'бугорок, поросший мхом или травой' Ряз. (также картотека Пск. слов.), *ко́лча́* 'кочка' (без указ. места), 'кочковатое место' Тамб., *ко́лчи́* 'ухабы, комья мерзлой грязи', 'кочковатое место' Тул., Курск., Акм., *колчо́к*, *ко́лчик* 'кочечка' Ряз., *колчки́* 'комья замерзшей грязи' Куйбыш., Ворон., *колчу́шка* 'кочка' Ряз., *колчева́тый* 'ухаби́стый', 'кочковатый' Пск., Курск. Есть еще и третий ряд: *кльч* (Р.ед. *кльча́*) 'засохший ком земли' Эстония (также картотека Пск. слов.), Оренб., *кльчья́* 'комки замерзшей грязи' Калуж., 'кловья́' Пск., Твер. ЭССЯ дает *колч* в статье \**klǫčь* (13, с. 184), *клоч* и *кльч* — в статье \**klǫčь* (10, с. 78), но практически все инославянские параллели для *клоч*, *кльч* (прежде всего сло-

вен. *kǫlčь*, *kǫlča*, чеш. *klučь*, словц. *klčь*) совпадают с теми, которые даны в качестве параллелей для *колч*. Иначе говоря, реконструкция \**klǫčь*, отличного от \**klǫčь*, в действительности основана только на русских диалектных формах с *ло*, *лы*.

*Кропа́ть* 'чинить обувь, одежду', 'штопать' Арх., Онеж., Олон., Карелия, Твер., Пск., Волог., Влад., Перм., Казан. (несколько иное распространение имеет вторичное значение, в котором данное слово известно и в литературном языке, — 'делать мелкую, трудоемкую работу медленно и неумело', 'копаться, возиться': Моск., Орл., Ворон., Влад., Твер., Волог., Перм.), *кропа́ться* 'копаться', 'карабкаться' и др. Влад., Новг., Пск., Твер., Волхов и Ильмень, *кропа́ный* 'поношенный, чиненый' Арх., Олон., Ленингр., Волог., *кропа́нь* 'починка старья' и др. Арх., *кропа́ч* 'неискусный портной или сапожник', 'портной, перешивающий старую одежду' Перм., Волог. Ср. другой ряд: *ко́рпа́ть* 'чинить одежду' Твер., Пск. (также 'шить на руках, ковырять' — картотека Словаря брянских говоров), 'заниматься какой-либо работой', 'копаться' Твер., Пск., Смол., *ко́рпа́ч* 'мастер, делающий рукавицы' Нижегород., также в «акающей» записи *карпа́ть* 'ворошить' и т. п. Брян., *карпа́ться* 'копаться, возиться' Зап.-Брян.; сюда же литературное *ко́рпéть*. Фасмер (статья *кропа́ть*) ссылается на Бернекера, Маценауэра и Малиновского, объединяющих *кропа́ть* с *ко́рпа́ть* и *ко́рпéть*, и добавляет: «но остается необъясненным фонетическое отклонение». ЭССЯ возводит *ко́рпа́ть* к \**kǫrpati* (13, с. 237–238), а *кропа́ть* — к \**kropati* (13, с. 7); но первое слово представлено практически во всех славянских языках, второе же реконструировано только на основе приведенных выше русских диалектных форм (если не считать сев.-зап.-блр. *кrapа́ць* 'начинать, фаршировать', которое непосредственно соседствует с псковской зоной).

Слово *дресва́* 'крупный песок', 'песок с камешками', 'мелкий щебень', 'гравий' вошло в литературный язык; в СРНГ отмечается (с некоторым разветвлением значений) как Сиб., Том., Перм., Вят., Самар., Влад. Варианты — *дресфа́* 'дресва' Сиб., *дресла́* 'то же' Амур., *дрества́* (в СРНГ, 8 слово пропущено, хотя на него есть ссылка от слова *жества́* в СРНГ, 9; реальность слова подтверждается словарными статьями *дрества*, *дрествица*, *дрествяный* в Слов. XI–XVII, 4, а также топонимом *Дрествянка* в НПК, II, 591); далее, с озвончением — *дрэва́* 'то же' Вят. Имеются также производные: кроме уже упомянутых — *дрэви́ще* Арх., *дрэвочка* Вят. (не считая вошедших в литературный язык *дрэвя́ный*, *дрэвя́ник* и просторечного *дрэвя́к*). Этому ряду противостоят *дверста́* 'дресва' Арх., Олон., *дверства́* 'то же' (без указания места), *двер-*

стяной (дверстяной) Арх. Согласно ЭССЯ, 5, все эти варианты восходят к \**dbrstva* (связанному с \**dbrstati*, производным от \**dbrati*). Как можно видеть, в русском языке это слово связано с северными говорами, и преобладают варианты с *-re-*.

В некоторой связи (точный характер которой еще не установлен) с предыдущим словом находится также другая серия названий дресвы, отличающаяся от первой тем, что вместо начального \**d* она имеет \**g* (в ЭССЯ, 5, с. 226 об этой серии сказано просто: «также с измененной формой...» [далее следуют варианты с \**g*]). Сюда относятся: *грества́* 'дресва' Пск., Твер., Калуж., *гресва́* Новосиб., производные *грествя́ный* Пск., Твер., *грествя́ник* Новг., *грестви́вый* (*грестли́вый*, *грестля́вый*) Пск., Твер. Им противостоит ряд с *-er-*: *гверста́* Новг., Пск., Великолук., Твер., Олон., Волог., *гверства́* Новг.; далее, со звонкими согласными — *гверзда́* Петерб., *гверда́* (Пск. слов., 6; гдовское); кроме того, многочисленные производные — *гверстя́ный*, *гверстя́ник*, *гверстью́*, *гверсти́ца*, *гверстли́вый*, *гверздли́вый*, *гверди́вый* и др. (с теми же зонами распространения, что и для производящих слов). Имеется также вариант с начальным *ж*: *жерства́* 'дресва' Зап., Смол., Сев.-Зап., Южн., *жерста́* Смол., Зап. Как и в вариантах, восходящих к \**dbrstva*, варьирование согласных в данной серии определяется главным образом перемещением \**v* внутри основы. Наиболее старыми следует считать варианты \**grstva* (откуда *жерства́*) и \**gvvrsta*. Вариант *грества́* возник из *гверста́* (метатеза разрядила здесь труднопроизносимый комплекс *гвр*); но чаще *гверста́* устранялось более простым способом — предпочтением параллельного варианта *гверста́*.

*Мрѡда́* 'рыболовная сеть', 'верша' Перм. — вариант к *мѡрда́* 'то же' Арх., Олон., Север., Волог., Костром., Вят., Свердлов., Сибирь; ср. также *ме́рда*, *ме́рда́*, *мере́да*, *мере́да́* 'то же'. Слово заимствовано из финно-угорского источника, ср. фин. *merta*, эст. *mõrd*, лив. *mõrda* 'верша' (Фасмер, статья *ме́рда*). Очевидно, в славянской адаптации здесь существовали варианты \**m̥rda*, \**m̥rda* и \**merda*. *Мрѡда́*, как и *мѡрда́*, восходит к первому из них.

*Осречать́* 'осерчать': ср. *чарь* ('царь') *осреца́л дѡжа́* (Пск. слов., 3, с. 45, статья *ввести́*).

К рассматриваемому ряду скорее всего принадлежит также слово *бревно́*. По поводу праслав. формы в данном случае существуют большие разногласия; конкурируют реконструкции \**brvьno*, \**brvььno*, \**brvьььno*, см. Фасмер (статья *бревно́*), ЭССЯ (3, с. 72–73). Южнослав. материал для решения этого вопроса ничего дать не может. В зап.-слав. зоне находим, с одной стороны,

чеш. (и ст.-чеш.) *břevno*, указывающее на \**rb*, с другой — польск. *bierwiono*, *bierzwiono*, ст.-польск. *birzwno*, *bierzwno*, указывающее на \**br*. В вост.-слав. зоне на первый взгляд противопоставлены русск. *бревно́* и укр. *бервенѡ́*, *бервнѡ́*, блр. *бервянѡ́*, *бернѡ́*. Но в действительности на великорусской территории наблюдается примерно такое же распределение вариантов с *re* и с *er*, как в *клоч/колч*, *кропáть/корпáть*. Варианты с *re*: *бревни́на* Олон.; *бревѣ́нник* Волог., Вят., Перм., Новг., Прионеж., Моск.; *бревѣ́нный* Олон.; *бревна́* 'бревно' Симб.; *бревѣ́нки* Волог.; *бревѣ́шка*, -о Иван., Нижегород., Пск.; *бревѣ́шко* Моск.; *бревнѣ́шка* Ряз. Варианты с *er*: *бервнѡ́* Южн., Ряз., Курск., Саратов., Тамб., Зап.; *бернѡ́* Южн., Курск., Орл., Калуж., Тул., Ворон., Тамб., Ряз., Моск., Брян., Зап., Смол., Пск.; *бервенѡ́* Южн., Ряз., Калуж., Зап., Смол., Пск.; *бервенѣ́шко* Пск.; *бервенѣ́шка* Твер.; *бервенѡ́* Смол.; *бервень* Смол.; *бернѣ́шка* Смол.; *бе́рнушко* Курск., Орл., Калуж. (Особо стоят *бервенѡ́* Курск., Ворон., *бервенѡ́* Пск.) Таким образом, все вост.-слав. формы могут быть выведены из \**brvьno*.

Специально отметим, что ссылка на *брьвььно* 59г, -а 59г в Остромировом евангелии никоим образом не может служить основанием для реконструкции \**brvььno*. В Остромировом евангелии сочетаниям типа \**TrGT* соответствует запись по одной из следующих моделей (перечисленных по убывающей частоте): 1) скръьь (ст.-слав. модель), 2) скр̣ььь, 3) скърьььь, 4) скърььь (единичное отъвр̣ьзе 39б не в счет). Модель 3 встречается в памятнике в общей сложности более 40 раз, ср., например, записи *вьрььжть*, *вьрььжж*, *дърььзнжвъ*, *зьрььно*, *пърььси*, *испърььва*, *съмърььти*, *пърььсты*, *дърььзаи*, *вьрььтоградѣ*, *мълъьнии*, *дълъьжъьни* и т. д. Отсюда ясно, что запись *брьвььно* никак не противоречит реконструкции \**brvььno* (хотя, конечно, противоречит реконструкции \**brvьььno*).

Рассматривая приведенный материал, легко установить, что перечисленные здесь диалектные слова в основном распределены по следующему географическому принципу: рефлекс типа *TrGT* представлены на севере и в Сибири, типа *TorT* — на юге; в северо-западной зоне и в смоленских говорах встречаются оба типа. Особенно отчетливо это распределение выступает в парах *клоч* — *колч* и *бревно́* (точнее, диалектные производные от этого варианта) — *бервнѡ́*. В целом, если не считать слов, попавших в литературный язык, рефлекс типа *TrGT* обнаруживают явную связь с территорией древненовгородского государства, а также со смоленской зоной.

Заметим, что приведенный список можно было бы без особого труда расширить за счет слов с несколько менее ясной историей.

Мы предпочли, однако, здесь от этого воздержаться, чтобы не растворить более надежные примеры среди менее надежных. Укажем лишь (без обсуждения) еще несколько «кандидатов» на участие в приведенном списке. Северное слово *дрѣгать* 'дергать', 'дрыгать', *дрѣгаться* 'дергаться', возможно, связано с \**dyrg-* (а не \**dyeg-*). Название птицы *крохаль* едва ли связано с *кроха*; скорее оно восходит к \**kǫrxati* 'крякать, хрюкать и т. п.' или связано с \**kǫrkǫ* 'шея'. Сибирское *крох* 'хряк', вероятно, связано с тем же \**kǫrxati* или с \**xǫrkati* 'храпеть', 'хрипеть'. Сибирское *дребалызнуть* прозрачно соотносится с *дербалызнуть*. Правда, экспрессивный характер большинства названных слов заставляет относиться к ним с известной осторожностью. Особо стоит пара *стѣржень* — *стрѣжень*; имеет ли она отношение к рассматриваемой здесь проблеме, пока неясно.

Среди топонимов, зафиксированных в НПК, есть такие, где, возможно, тоже отразился рефлекс типа *TroT*. Так, в частности, показательно колебание в *Стержинском десятке* (II, 861) — *Стрежинский десяток* (II, 866); вообще в этом корне многократно представлено как *-er-*, так и *-re-*, ср. *Стержъ* (II, 689), *въ Стержъскои жъ волости* (II, 701) — *Стрежъ* (II, 870), *Стрежино* (II, 870) и др. Возможно, один и тот же корень представлен: в *Берново* (I, 438; V, 369), *Берняково* (VI, 322), *Бернятино* (VI, 332) и в *Бренево* (VI, 321 и др. — часто), *Бренюха* (VI, 551); в *Дертина* (V, 73, 74), *Дертицыно* (I, 52) и в *Дретенский погост* (IV, 237 и др.), *Дретець* (V, 494), *Дретовно* (III, 362); в *Скорбово* (I, 505) и *Скробово* (I, 115), *Скробовичи* (III, 751), *Скробцово* (II, 507). Но, разумеется, данные топонимики имеют в рассматриваемом вопросе лишь вспомогательное значение, поскольку корни здесь могут идентифицироваться лишь предположительно.

После доклада о рефлексах типа *TrǫT* из праслав. \**TǫrT*, сделанного мною в 1991 г. на филологическом факультете МГУ, М. Н. Шевелева сообщила мне о наличии написаний с *lo*, *ro* в изучаемой ею рукописи конца XIV в. новгородского происхождения — «Житии Андрея Юродивого» (РГАДА, Типогр. № 182). С ее любезного согласия привожу здесь собранный ею вместе с руководимыми ею студентами материал данной рукописи по рефлексам типа *TroT* из праслав. \**TǫrT*.

Сочетания типа \**TǫrT* в нормальном случае представлены в этом памятнике обычными для русских рукописей данного времени написаниями, например, *на торгу*, *полно*, *молния*, *молци*, *церкви*, *перьстомь*, *померькну<sup>T</sup>* и т. п.; написаний южнославянского типа (*на тръгу*, *плъно* и т. п.) в рукописи практически нет.

На этом фоне встретились следующие нестандартные написания: *на трогу* 'на торгу' 20, *троговнож* 30 об., *проты* 'одежды' (В.мн.) 19, *того прота* 'той одежды' 22, *кросту* 'гроб' 61, *помродавъ* 'усмехнувшись' 24 об. (в других списках *помордавъ*), *млониа* 21 (Р.ед.), 54 (И.ед.), 54 (В.мн.), *млониа* (И.ед.) 54, *млонию* 54, *влочець* 'волчец' 27, *вресту* 'сверстника' 36, *мрезци* 'мерзкие' 62, *мрезьката* 62, *помрекне<sup>T</sup>* 62, *припретъ* 'на паперти' 61, *чръмно* 61 об. В нескольких случаях буква после *r* выскоблена: *гр-дъ* 'горд' 24, *ис кр-сты* 'из гроба' 61, *къ кр-сти* 'к гробу' 61; очевидно, редактор пытался устранить таким способом нестандартные написания с *ro*. Написания с *ro*, *lo*, *re* в этом памятнике не могут быть объяснены как орфографическая условность: они отличаются как от стандартных позднерусских написаний с *or*, *ol*, *er* (*ерь*), так и от орфограмм южнославянского происхождения с *rǫ*, *lǫ*. За ними явно стоят сочетания с [ro], [lo], [r'e].

Еще один пример этого же рода отмечен в Геннадиевской Библии 1499 г.: *помлочае<sup>T</sup>* 'успокаиваетесь' (Иов, 37, 17; см. Срезн., II, 1168, статья *помълчати*<sup>2</sup>).

Особая проблема связана с тем, что, как известно, орфограммы с *rǫ*, *lǫ*, *ry* (например, *кръмити*, *длѣгъ*, *врѣхъ*) в раннедревнерусский период были частью, хотя и факультативной, церковнославянской правописной нормы. Как мы теперь видим, в говорах существовали и фонетические рефлексы типа [rǫ], [lǫ], [ry]; однако под толщей условных книжных написаний с *rǫ*, *lǫ*, *ry* выявить какие-либо следы таких рефлексов в рукописях этого периода, разумеется, невозможно.

Из совокупности приведенных фактов можно сделать вывод, что в древненовгородской зоне наряду с двумя указанными в начале статьи типами рефлексов для праслав. \**TǫrT* (и т. д.): *TǫrǫT* и *TǫrT* — существовал еще один тип, а именно, *TrǫT*. В эпоху падения и прояснения редуцированных этот тип рефлексов развивался по общим правилам, т. е. в нормальном случае давал *TroT*, *TloT*, *TreT*.

В некоторых случаях мы находим (по говорам) *ry*, *ly* вместо ожидаемого *ro*, *lo*, ср., например, выше *кльч* (наряду с *кloch*). Но этот эффект не имеет непосредственной связи с развитием \**TǫrT* в *TrǫT*: он затрагивает (в тех же говорах) *ǫ* разного происхождения, ср., в частности, *мольня*, *вдыль*, *гылѣк*, *одынье* и прочие примеры с *ы* из *ǫ*, рассматриваемые в работе Николаев 1988 (с. 122–128).

К какой части древненовгородской территории следует относить рефлексы типа *TrǫT*, пока еще неясно. Не исключено, что

очагов такой рефлексии было несколько. Наиболее вероятно сосуществование нескольких типов рефлексии в одном и том же говоре или по крайней мере в близко соседствующих говорах. В сущности мы имеем здесь дело с разными фонетическими реализациями слоговых /r/ и /l/: с вокалическим призвуком спереди, сзади или с обеих сторон. Ситуация сходна с той, которая характерна для болгарского и македонского, где *z* в принципе может появляться как слева, так и справа от плавного (а в говорах — и по обе стороны от него), причем правила распределения (опирающиеся в основном на характер консонантных сочетаний в словоформе) довольно зыбки и различаются по говорам.

Таким образом, в этом пункте, как и в ряде других, ситуация в древненовгородской зоне может быть описана и истолкована только исходя непосредственно из праславянского (а не из предполагаемого правосточнославянского).

#### ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- Изуч. яз. — А. А. Зализняк. К изучению языка берестяных грамот // В. Л. Янин, А. А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984–1989 гг.). М., 1993, с. 191–321.
- Николаев 1988 — С. Л. Николаев. Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. I. Кривичи // Балто-славянские исследования 1986. М., 1988, с. 115–154.
- НПК — Новгородские писцовые книги. СПб., Пг., 1859–1915, т. I–VI и указатель.
- Пск. слов. — Псковский областной словарь с историческими данными. Л., 1967–, вып. 1–.
- РГАДА — Российский государственный архив древних актов в Москве.
- Слов. XI–XVII — Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975–, вып. 1–.
- Срезн. — И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. СПб., 1893–1903, т. I–III.
- СРНГ — Словарь русских народных говоров. М.; Л., 1965–, вып. 1–.
- Фасмер — М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. М., 1964–1973, т. 1–4.
- Шахматов 1915 — А. А. Шахматов. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915.
- ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. М., 1974–, вып. 1–.

С. КАРАЛЮНАС

#### ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД БАЛТО-СЛАВЯНСКОЙ ЛЕКСИКОЙ (балт. \*kurti, слав. \*kuriti)

Семантическая и формальная близость балт. \*kurti 'топить, разводиться огонь' и слав. \*kuriti 'топить; дымить' давно установлена<sup>1</sup>, их этимологические соответствия в других и.-е. языках (готск. *haúri* 'уголь', др.-исл. *hyrr* 'огонь', арм. *krak* 'то же' < \*kur-ak) определены<sup>2</sup>. Несмотря на это, многое в деталях осталось неясным, например, как согласовать корневой вокализм балт. \*kurti, возводимого к балт. корню \*kr- (ср. лтш. *sa-cerēt* 'сотворить') или к и.-е. \*k<sup>h</sup>r- 'делать' (ср. др.-инд. *kr<sup>h</sup>óti*, *karóti* 'он делает') с нулевым вокализмом, и слав. \*kuriti, отражающего и.-е. \*kour-? Объяснение усложняется еще контрверсией о существовании корней типа \*kour- (с дифтонгом *ou* перед плавным) в индоевропейском. Предполагается, что в лит. *kùrti*, лтш. *kuřt* и прус. *kūra* отражается признак лабиальности и.-е. *k<sup>h</sup>* (> балт. *ku*), переведенный в вокалическую структуру корня (\*kur-ti)<sup>3</sup>, и что эта вокализация послужила основой перевода из апофонии *e/o* (*k<sup>h</sup>er-/k<sup>h</sup>or-* 'делать') в апофонию *-u*-ряда на базе и.-е. нулевой ступени с последующим развитием в славянском и балтийском<sup>4</sup>. Но, во-первых, осталось невыясненным то, по какой модели этот перевод состоялся. Во-вторых, и.-е. лабиовеллярные *k<sup>h</sup>*, *g<sup>h</sup>*, *g<sup>h</sup>h* в балтийских языках, судя по этимологически точным соответствиям, потеряли свой губной тембр<sup>5</sup>. Представляется по-

<sup>1</sup> F. Miklosich. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886, S. 148.

<sup>2</sup> E. Berneker. Slavisches etymologisches Wörterbuch. I. Heidelberg, 1908–1913, S. 652; R. Trautmann. Baltisch-Slavisches Wörterbuch. Göttingen, 1923, S. 145. Подробный обзор исследований с анализом богатого материала см.: В. Н. Топоров. Прусский язык. Словарь. (К–L), М., 1984, с. 300–307.

<sup>3</sup> В. Н. Топоров. Прусский язык..., с. 306; Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1987, вып. 13., с. 125 (далее — ЭССЯ).

<sup>4</sup> ЭССЯ 13, с. 125.

<sup>5</sup> J. Endzelynas. Baltų kalbų garsai ir formos. Vilnius, 1957, p. 33; Chr. S. Stang. Vergleichende Grammatik der Baltischen Sprachen. Oslo; Bergen; Trømsø, 1966, S. 90.

этому вполне возможным, по сути дела, также регулярное развитие и.-е. *\*k<sup>u</sup>r-* > балт. *\*kr-* > *kur-*, в котором появление вокалического элемента *u* у сонанта могло обусловиться его позицией после *k*<sup>6</sup>. В-третьих, сопоставление слав. *\*kuriti* и балт. *\*kurti* было бы возможно лишь в том случае, если *\*kuriti* считать каузативом (итеративом), образованным от слав. *\*kǫr-* (= балт. *\*kur-*) по аналогии. Вот почему Э. Бернекер считал нужным восстановить славянский глагол *\*kǫrti*, тождественный лит. *kùrti*<sup>7</sup>. Но основа *\*kǫr-* в славянском не засвидетельствована, что делает данное предположение весьма сомнительным. По этой причине часто повторяемое сопоставление слав. *\*kuriti* и балт. *\*kurti* Хр. Стангу не кажется достоверным («kann nicht als sicher gelten») <sup>8</sup>, а Э. Френкель его вообще отвергает <sup>9</sup>.

Делались также попытки объяснения другого порядка. Так как корни типа *\*kour-/ \*keur-* в индоевропейском, скорее всего, исключались, В. Махек полагал, — правда, он говорил только о словц. *pri-kùřit* 'прибежать' и лит. *kùrti (-ia)* 'быстро бежать, мчаться', — что в словц. *pri-kùřit* сохранился целым старый *u* (как в лит. *kùrti*) из-за «ономатопоэтического» характера этого слова (в «экспрессивно-ономатопоэтическую» лексику им включались также слова, обозначающие быстрое движение) <sup>10</sup>.

Некоторые трудности в объяснении слав. *\*kuriti* и балт. *\*kurti* связаны также с тем, что в южнославянских языках представлены лексемы, отражающие праслав. *\*keur-*, ср. болг. *чуря* 'дымить, чадить', *чурь* 'дым, чад' (у Герова), макед. *чури* 'дымить(ся), курить', *чур* 'дым, чад', сербохорв. *чурити* 'дымить, коптить', *џур* 'дым' <sup>11</sup>. По В. Н. Топорову, вопрос об их отнесении к рассматриваемой группе балто-славянских слов требует специального разыскания <sup>12</sup>. Можно с уверенностью сказать, что без подходя-

<sup>6</sup> J. Kuryłowicz. L'apophonie en indo-européen. Wrocław, 1956, p. 227–243; Idem. O jedności językowej bałto-słowiańskiej // BPTJ, 16, 1957, s. 81–94; Е. Курилович. О балто-славянском языковом единстве // ВСЯ, 3, 1958, с. 23–24.

<sup>7</sup> E. Berneker. Slavisches etymologisches Wörterbuch..., S. 652.

<sup>8</sup> Chr. S. Stang. Lexikalische Sonderübereinstimmungen zwischen dem Slavischen, Baltischen und Germanischen. Oslo; Bergen; Trømsø, 1971, S. 31.

<sup>9</sup> E. Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg; Göttingen, 1962, S. 319 (далее — LEW).

<sup>10</sup> V. Machek. Graeco-slavica // Lingua Posnaniensis, V, 1956, p. 65.

<sup>11</sup> ЭССЯ 4, 1977, с. 133–134.

<sup>12</sup> В. Н. Топоров. Прусский язык..., с. 304.

щего истолкования происхождения данных лексем, обнаруживающихся на периферии славянского языкового ареала и поэтому принимающих вид архаичности, никак нельзя считать решенным вопрос об этимологическом объяснении слав. *\*kuriti* и *\*kurg*. Установка на специальное разыскание предполагает, разумется, также рассмотрение семантической стороны, что, однако, связано с серьезными трудностями, вытекающими из разветвленных и даже в некоторой степени противоположных значений данных лексем. Так, например, упомянутые южнославянские слова характеризуют значения 'дымить, чадить, коптить', 'дым, чад', т. е. отсутствуют значения 'поджигать, разжигать', 'топить', 'огонь', на что, к сожалению, не обращалось должного внимания. Между тем рус. *курить* (и *күрить*) в разговорной народной речи отличается богатством и многообразием значений: 'топить (баню)', 'окуривать', 'коптить (рыбу)', 'кружиться, куриться, мести' (о снеге); 'бушевать, свирепствовать' (о ветре); 'портиться' (о погоде); 'кружиться, куриться (о пыли), пылить', 'ехать, бежать быстро', 'дымить', 'вонять', 'мутить (воду)', 'производить бедствие, вред, разорение', 'проказить, делать что-либо необдуманно', 'обманывать' <sup>13</sup>. У рефлексивного глагола *курить* в говорах зафиксировано значение 'идти длительно и мелкими каплями (о дожде)', в то время как блр. диал. *курыць* 'гореть без огня, дымить...' и болг. диал. *ч'урее* 'сохнуть, чахнуть' свидетельствуют об обратном.

Такая многозначность и противоречивость данных и обуславливает объективные трудности в семантической реконструкции.

Но, с другой стороны, ничем иным как неразработанностью семантико-содержательного аспекта, по-видимому, следует объяснить тот факт, что в новейшем индоевропейском словаре лит. *kùrti (-ia)* отнесено к трем отдельным и.-е. корням, а именно: *kùrti* 'разводить огонь, разжигать' вместе с лтш. *kuřt (kuřu)* 'то же' — к *\*kur-* 'жара, огонь, топливо'; *kùrti* 'строить, создавать' — к *\*kur-* 'делать' и *kùrti* 'быстро бежать, мчаться' — к *\*kur* 'бежать, мчаться' (наряду с параллельным вариантом *\*kurs-* в лат. *currō, -ere* 'бежать', ср.-в.-нем. *hurren* 'бежать, мчаться') <sup>14</sup>. Как уже отмечалось, об отдельном корне для лит. *kùrti* и словц. *pri-kùřit* 'прибежать' думает и В. Махек, сопоставляя их с тем же лат. *currō, -ere* (с якобы экспрессивной геминатой *-rr-*

<sup>13</sup> Словарь русских народных говоров. Л., 1980, вып. 16, с. 127–128.

<sup>14</sup> S. E. Manu. An Indo-European Comparative Dictionary. Hamburg, 1984/87, p. 591.

вопреки общепризнанному *-rr-* из *\*rs-*), а также греч. *χέρω* и *χέρω* 'встречать, наталкиваться на к.-л., достигать'<sup>15</sup>, что вряд ли можно считать удачным<sup>16</sup>, в то время как Э. Френкель рассматривает значение 'быстро бежать, мчаться' как часть содержания полисемантического глагола *kūrti (-ia)*<sup>17</sup>.

Указанные неясности и трудности как формального, так и семантического характера, касающиеся сопоставления балт. *\*kurti* и слав. *\*kuriti*, оправдывают целесообразность нижеследующих замечаний, основанных на поисках, в частности, внутрисистемных структурных и семантических соотношений лексических единиц.

В североаукштайтских говорах литовского языка употребляются следующие глаголы: *kuriótis* (3 л. наст. вр. *-iójasi*) 'ходить, блуждать, плутать', *kūryti (-ija)* 'быстро бежать; торопить, погонять, побуждать', *kūrinti* 'быстро идти', а также *skūrinėti (-ėja)* 'гулять, ходить'<sup>18</sup>. В латышском языке имеется *skurināt* 'трясти, шевелить, двигать; трепать (волосы); искать вшей в голове; (рефл.) тереться, чесаться' [семасиологически ср. лтш. *purināt* 'трясти, двигать, шевелить; торопить, побуждать': *matuos purināt* 'трепать, ерошить волосы'], ср. еще приставочную форму *ap-skurināt* 'со всех сторон двигать, шевелить (например, с палкой в кустах что-нибудь отыскивая)<sup>19</sup>. В литовском ему соответствует *kūrinti (-ina)* 'двигать, шевелить, торопить'; (рефл.) тереться, чесаться'<sup>20</sup>, по-видимому, из *\*kūrinti* со спорадическим переходом *ū* в *ui* в позиции перед *i* — как, например, в литературном языке), употребляемом в этих же говорах (Линкува, Йонишкис). Другими случаями эпентетической ассимиляции в североаукштайтских говорах<sup>21</sup> могут служить, например,

<sup>15</sup> V. M a c h e k. Graeco-slavica..., p. 64–66.

<sup>16</sup> Сопоставление с греч. словами опровергнуто Х. Фриском (см.: H. F r i s k. Griechisches etymologisches Wörterbuch. II. Heidelberg, 1970, S. 56), а с латинским — Э. Френкелем (см.: LEW, S. 319).

<sup>17</sup> LEW, S. 319.

<sup>18</sup> Lietuvių kalbos žodynas. VI. Vilnius, 1962, p. 950, 952; XII, 1981, p. 1142 (далее — LKŽ).

<sup>19</sup> K. M ū l e n b a c h s. Latviešu valodas vārdnīca/ Redīgējis, papildinājis, tarpinājis J. Endzelīns. III. Rīgā, 1927–1929, l. 906 (далее — ME); J. E n d z e l i n s un E. N a u z e n b e r g a. Papildinājumi un labojumi K. M ū l e n b a c h a Latviešu valodas vārdnīcai. I. Rīgā, 1934–1938, l. 114 (далее — EH).

<sup>20</sup> LKŽ VI, p. 782.

<sup>21</sup> О данном явлении в западножемайтских говорах см.: K. B ū g a. Rinkiniai raštai. III. Vilnius, 1961, p. 228 (далее — RR).

лит. диал. *pūiris* 'порошно, гниль', *pūilis* 'то же'<sup>22</sup>, соотносимые с корнем глагола *pūti* (3 л. наст. вр. *pūva, pūna, pūsta*) 'гниль; тлеть, разлагаться', ср. *pūrai* 'гной', *pūlis*, мн. *pūliai* 'то же'<sup>23</sup>.

Лит. *kūryti, kūrinti, skūrinėti, kuriótis* и лтш. *skurināt* (ср. еще *skuras* 'дрожь, трепет'), по-видимому, представляют отдельный корень *\*(s)kur-/\*(s)kūr*, выражавший трение, трепетание, соотв. движение, движение, к нему восходит, скорее всего, также лит. *kūrti (-ia)* 'быстро бежать, мчаться'. Из германских языков сюда примыкают, например, др.-исл. *skora* 'тереть, чистить; подгонять, ускорять, подвигать', др.-в.-нем. *fir-scurigen* 'отвергать, изгонять', ср.-в.-нем. *schürgen* '(по)двигать, толкать, гнать', с которыми давно сопоставляется лтш. *skurināt*<sup>24</sup>. В дальнейшем можно предположить связь с др.-инд. *sku-*, в древнем языке имевшим значение 'рыться, помешивать, ковырять, дергать'<sup>25</sup>.

Балт. *\*kurti* представлен во всех трех балтийских языках: лит. *kūrti* (3 л. наст. вр. *kūria*, 3 л. пр. вр. *kūrė*) 'разводить (огонь)', разжигать, топить', 'создавать, сотворить, строить', '(рефл.) поселяться', 'обогащать'<sup>26</sup>, лтш. *kuřt* (1 л. ед. ч. наст. вр. *kuřu*, 1 л. ед. ч. пр. вр. *kūru*) 'разводить (огонь), разжигать, растапливать; (рефл.) топиться (о печи)<sup>27</sup> и прус. *kūra* 'сотворил' (3 л. пр. вр.)<sup>28</sup>.

Характерно ареальное распределение значений рассматриваемого глагола в балтийском. Судя, правда, по единственной фиксации глагола *kūra* в третьем катехизисе<sup>29</sup>, в прусском языке

<sup>22</sup> LKŽ X, p. 857.

<sup>23</sup> О лит. *pūiris* так уже: K. B ū g a. RR I, p. 301

<sup>24</sup> A. J ó h a n n e s s o n. Isländisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1956, S. 819; ср. также: J. de V r i e s. Altnordisches etymologisches Wörterbuch. 2. verb. Aufl. Leiden, 1962, S. 499.

<sup>25</sup> M. M a y r h o f e r. Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch der Altindischen. III. Heidelberg, 1976, S. 508.

<sup>26</sup> LKŽ VI, p. 974–979.

<sup>27</sup> ME I, l. 326; EH I, l. 679.

<sup>28</sup> V. M a ž i u l i s. Prūsų kalbos paminklai. II. Vilnius, 1981, p. 197, 284. О лит. *-ē*: прус. *-ā* в исходе форм 3 л. пр. вр. см.: Chr. S. S t a n g. Das slavische und baltische Verbum. Oslo, 1942, S. 199–200; I d e m. Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen..., S. 375–376; и особенно подробно: В. Н. Т о п о р о в. Прусский язык..., с. 300–302. Вряд ли удачно чтение *kūra* как /*kūre*/, см.: W. R. S c h m a l s t i e g. An Old Prussian Grammar. University Park and London, 1974, p. 161, 181.

<sup>29</sup> V. M a ž i u l i s. Prūsų kalbos paminklai..., p. 197.

засвидетельствовано значение '(со)творить'. В древнелитовских текстах<sup>30</sup>, как и в современном языке, обнаруживаются значения 'создавать, сотворить, строить', 'разводить (огонь), разжигать', в то время как в латышском языке представлено 'разводить (огонь), разжигать; топить, растапливать'.

Судя по единственной фиксации, разумеется, было бы рискованно утверждать, что прусский язык никогда не знал значения 'разводить (огонь), разжигать, топить', так же как и предполагать, что в латышском никогда не существовало значения 'создавать, сотворить, строить'. В. Н. Топоров обратил внимание на следы в латышском значения 'создавать, сотворить' в производном *kūrējs* 'возжигатель', но и 'творец', которое точно соответствует лит. *kūrėjas* 'творец, создатель; строитель'<sup>31</sup>.

Существуют и другие данные, свидетельствующие о том, что в латышском было представлено значение 'создавать, сотворить, строить', и позволяющие даже судить о первичном значении балт. \**kurti*.

В древнелитовском письменном языке (например, в переводе Библии Й. Бреткунаса) *už-kurti* имело значение 'жениться'. В современном языке оно сохранилось в производных *užkurys* (диал. также *ūžkurys*) 'примак, зять', *užkuriomis eiti* 'идти в примак'. Это особый вид брака и состояния в браке: по словам К. Буги, «*ūžkurys*'ом называют такого мужчину, который берет жену не в свой собственный дом, а сам переходит жить в хозяйство жены»<sup>32</sup>. По этой причине *ūžkurios* в современном языке означает вступление в семью или в дом жены. При этом важно то, что как сам социальный институт, так и его названия находят соответствия в латышском лингвокультурном ареале, ср. лтш. *uzkuris* 'тот, который живет у родителей своей жены; тот, который женится на вдове' (основа на *-iĵo-*, ср. лит. *užkurys*), *uzkurs* 'то же' (основа на *-o-*), *ūzkurs*<sup>2</sup> 'второй муж жены' (ср. лит. *ūžkurys*), *uzkurās iet* 'жениться на вдове или девице и остаться в ее семье', *uzkuruos iet* 'то же', *uzkurība* 'обычай вступления в родство путем женитьбы'<sup>33</sup>.

Эти слова образованы от приставочных форм лит. *už-kūrti*, лтш. *uz-kuřt*<sup>34</sup>. Семиотическую сторону деривационного процес-

30 К. Вūга. RR II, p. 127.

31 В. Н. Топоров. Прусский язык..., с. 303.

32 К. Вūга. RR II, p. 322.

33 ME IV, l. 347, 411; EH II, l. 726.

34 Ср.: LEW, S. 319.

са и в его основе лежащей социальной процедуры К. Буга охарактеризовал следующим образом: «*Ūžkurys*, с этимологической точки зрения, является таким мужем, который идет в оборудованное, благоустроенное, готовое хозяйство (*i užkurta ūki*)»<sup>35</sup>. Предположение К. Буги подтверждается фактом лтш. *uz-kuřt* '(einen Haushalt, Hof) in die Höhe bringen oder in gutem Stand halten'<sup>36</sup>. Показательны в этой связи свидетельства литовского языка — см., например, запись А. Юшки (Юшкевича), относящуюся к середине XIX в.: *Girtuoklis šinkorius kitus kùria, t. y. kelia, o save ničija* 'Пьяница шинкарь других поднимает, а себя уничтожает'<sup>37</sup>. Данное значение закреплено в литовском языке в интранзитивном глаголе *pra-kùrti (-sta)* 'оживать, обогащаться'.

Значимость приведенных данных состоит также в том, что они свидетельствуют о существовании и в латышском языке значения 'обогащать, благоустраивать, поднимать', соотв. 'строить, создавать' у рассматриваемого глагола. Мало того, в латышском языке сохранились следы первичного значения 'брать, схватить', ср. лтш. *kùriņš jemand der, ohne Rücksicht aut andere zu nehmen, sich das Beste (resp. Bessere) aneignet*<sup>38</sup>.

Лит. *kùrti (kùria)* и лтш. *kuřt (kuřu)* в значении 'разводить огонь, разжигать; растапливать' весьма часто даже в современных языках употребляются с дополнением *ugni, uguni*. Предполагается, что такое употребление является первоначальным<sup>39</sup>. Данное предположение вполне возможно, потому что по своей глубинной структуре формула *kùrti ūgni, kuřt uguni* совпадает с фразами *kurti laivā, trobā, butā* 'строить судно, дом, квартиру', а это в свою очередь, по-видимому, предполагает обозначение ритуала разжигания огня как процесса устройства, созидания, что подтверждалось бы данными языка: ср. *Ugni aplink apkuri* (arpedi malkomis puodā) 'Огонь кругом разводишь (обложишь дровами горшок)'; *Prikūriau pečiū, t. y. pridėjau pilnā pečiū medžio* 'Разжег печь, т. е. наложил полную печь дров'<sup>40</sup>. На эту особенность семантической структуры глаголов лит. *kùrti*, лтш. *kuřt* обратил

35 К. Вūга. RR II, p. 322.

36 EH II, l. 726.

37 LKŽ VI, p. 974.

38 EH II, l. 584.

39 И. М. Эндзелин. Славяно-балтийские этюды. Харьков, 1911, с. 19 (= J. Endzelins. Darbu izlase. II. Rigā, 1974, l. 186); E. Blesse. Zum lett. *uguns* 'Feuer' // KZ 75, 3/4, 1958, S. 192.

40 LKŽ VI, p. 975, 977.

внимание еще К. Буга: «Оба наших *kūrti*, т. е. *trōbq* и *ūgnī kūrti*, по происхождению являются одним и тем же словом. В древности словом *kūrimas* обозначалось то же, что и 'делание', 'образование'. Наше слово *kūrti* и латышское *kuŗt* немцы переводят высказыванием '*Feuer anmachen*'»<sup>41</sup>. То, что лит. *kūrti ūgnī*, лтш. *kuŗt uguni* в своей глубинной структуре означает 'делать, строить огонь', подтверждает как лтш. *ieraūdztit uguni* 'разводить огонь' (наряду с *ie-raūdztit* '(по)заботиться, устраивать, производить'), так и нем. *Feuer anmachen* 'разводить огонь' (при *machen* 'делать, совершать, производить'), *Feuer anstiften* 'то же' (при *stiften* 'учреждать, основывать; причинить, натворить'). Опущение объекта действия как следствие постепенного расширения и обобщения значения центральной части фразы могло привести к *kūrti*, *kuŗt* 'разжигать, растапливать', тем самым к его интранзитивному варианту лит. *pra-kūrti* (-*sta*) 'оживать, обогащаться', лтш. *kurt* (наст. вр. *kurstu*, пр. вр. *kuru*) 'топиться'.

Следовательно, существуют серьезные доводы в пользу того, что значение 'создавать, сотворить, строить' литовско-латышского глагола *\*kur-ti* древнее значения 'разводить (огонь), разжигать, топить', что подтверждалось бы также внутрисистемными соотношениями данных лексем.

Лит. *kuōras* 'башня; большая вежа; копна из десяти снопов', *kuorỹs* (вин. п. ед. ч. *kuōri*) 'копна из десяти снопов; вежа, запрещающая проезд дорогой; вежа, указывающая, где проходит дорога'<sup>42</sup> имеют соответствия в остальных балтийских языках: лтш. *kuōre*, *kuōra*, *kuōris* 'вершина горы; конек; воткнутый кол с комом соломы, вежа; изгиб, выгиб, закругление', *skuoriens* 'конек', *skuors* 'то же'<sup>43</sup>, прус. *coaris* 'закром для снопов'<sup>44</sup>. Этимологическое тождество данных лексем доказывается тем, что аналогические значения сосуществуют в содержании одного и того же слова также в других случаях, ср., например, лит. *stūl̄pas* 'столб; кол; башня; сарай для злаков или сена...'; лтш. *skara*, *skare*, *skars* '(острая) башня, колокольня', *skara* 'упертые, составленные жерди для копны или стога; колья для развешивания и просушки невода'; лит. *gubà* 'копна', лтш. *guba* 'копна, куча, ворох', *gubenis*, *gubens*, *gubene* 'куча; сарай для соломы,

<sup>41</sup> К. В ū g a. RR II, p. 128.

<sup>42</sup> LKŽ VI, p. 918.

<sup>43</sup> ME II, l. 347-348; III, l. 910; EH II, l. 688.

<sup>44</sup> Начиная с А. Беценбергера, общепринята конъектура *toaris*, см. обзор исследований: В. Н. Т о п о р о в. Прусский язык..., с. 101-103.

пристройка к риге или хлеву, куда кладут сено или солому'<sup>45</sup>. Так что перед нами скорее случай полисемии. К этому гнезду лексем относятся, кроме того, лтш. *āiz-kuōre* 'заграждение', *āiz-kuōrēt* 'крыть крышу, конек с отрепками, мхом, иногда дерном; загораживать, преграждать, отделить; от-, обкалывать, отмечать вехами'<sup>46</sup>, а также *skūra*, *skūre*, *skūris* 'свод над печкой овина'<sup>47</sup>.

Данный круг лексем получает свое этимологическое объяснение в отождествлении их, во-первых, с глаголами лит. *kūrti* (*kūria*, *kūrė*) 'создавать, творить, строить', прус. *kūra* 'сотворил' (3 л. прош. вр.), в приставочных формах имеющими в литовском значении, близкие значения упомянутых слов, ср. *ap-kūrti* 'обставить; обстроить; окружать, строя', *pri-kūrti* 'пристроить здание к другому зданию', *uŗ-kūrti* 'об-, застроить верх здания'; во-вторых, с латышским глаголом *ķeŗt* (*ķeŗu*, *ķeŗu*) 'хватать, схватывать; ловить; достать, доставать, касаться; (рефл.) зацепляться, защемляться', восходящим к *\*kvert* и сохранившимся в диалектах, ср. диал. *kvērt* 'то же'<sup>48</sup>. Их семантическое и формальное [чередование *ue* : *u* в корне; (ср. еще лтш. *kurēt* (-*u*, -*ēju*) 'топить; топиться, гореть'] соотношение поясняет аналогия с глаголами лтш. *tvēŗt* (*tvēŗu*, *tvēŗu*) 'хватать, схватывать, ловить...', лит. *tvėrti* (*tvėria*, *tvėrė*) 'хватать, схватывать; делать забор или какое-либо заграждение; создавать, творить, строить...', ст.-слав. творити 'творить' при лит. *turėti* (*tūri*) 'иметь; держать, ..', лтш. *turēt* (-*u*, -*ēju*) 'держать', прус. *turīt* 'то же'.

Лит. *kuōras*, *kuorỹs*, лтш. *kuōre*, *kuōra*, *kuōris*, прус. *coaris*, а также лтш. *skuoris*, *skuoriens*, по-видимому, восходят к прабалт. *\*kuōr-* таким же образом, как, например, лит. *guōlis*, *guolỹs* 'постель; логовище', лтш. *guōļa* 'гнездо, ложе...' при лит. *gualis* 'постель, кровать' (в древнелитовских текстах), *gulėti* (*gūli*) 'лежать', лтш. *gulēt* (-*u*, -*ēju*) 'спать, лежать' и лит. *žūolis* 'бревно, шпала' при лит. *žūlti* (-*sta*) 'склоняться, наклоняться, сгибаться', лтш. *zvēļt*<sup>2</sup> (*zvēļu*, *zvēļu*) '...наклонять, склонять, нагибать' отражают исходные корневые морфемы *\*guōl-* и *\*žūōl-*<sup>49</sup>. Лтш.

<sup>45</sup> Об исторической связи значений 'сарай' и 'куча (копна, стог)' см.: К. В ū g a. RR I, p. 525-526.

<sup>46</sup> ME I, l. 35.

<sup>47</sup> ME III, l. 908.

<sup>48</sup> ME II, l. 355.

<sup>49</sup> Подробнее об этом см.: S. K a r a l i ū n a s. Baltų kalbų struktūrų bendrybės ir jų kilmė. Vilnius, 1987, p. 186-187.



*skūra*, *skūre* и *skūris* представляют алломорфу *\*(s)kūr-* с продленным *ū* (← *u*).

Лит. *kūrti* (*kūria*, *kūrė*), лтш. *kuīt* (*kuŗu*, *kūru*), прус. *kūra* и лтш. *ķēft* (*ķeŗu*, *ķeŗu*) [продолжающие более древнюю форму корня *\*kuer-* (ср. лтш. диал. *kvērt*), что хорошо объясняет отсутствие перехода *k* в *s* перед *e*] соотносятся чередованием корневого вокализма *u* : *ue* с продлением его в определенных морфологических категориях, прежде всего в формах прошедшего времени, в *u* : *uē*. Чередование такого рода вокализма не является исключением в балтийском, кроме указанного лит. *tvērti* (*tvēria*), лтш. *tvēft* (*tveŗu*) : лит. *turėti*, лтш. *turēt*, прус. *turīt*, ср. еще лит. *dūlti* (*dūla*, *dūlsta*) 'превращаться в порошок, перегнивать в россыпь (о дереве); тлеть, куриться', *dulėti* (3 л. наст. вр. *-ėja*, *dūla*, *dūli*) 'то же' : *dvēlti* (*dvēlia*, *dvēlē*) 'портить воздух' (см. еще ниже); лит. *kūpti* (*-ia*) 'сгребать в кучу, делать кучу', *kūpti* (*-sta*) 'скисать, подниматься при скисании', лтш. *kūpt* (*kūpu*) 'свертываться (о молоке), бродить; сжиматься в ком, слипаться', лит. *kūpėti* (*kūpa*, *-ia*) 'кипеть; выливаться через край из посуды от кипенья; кинуть, скисать, подниматься при скисании; буйно расти', лтш. *kūpēt* (*-u*, *-ēju*) 'кипеть; пышно расти' : лит. *kvēpti* (*-ia*, *kvēpia*) 'вдыхать, выдыхать; пахнуть', лтш. *kvēpt* (*-stu*) 'дымиться; пахнуть; окуривать; покрываться сажей' (о взаимоотношении данных значений см. ниже).

Если представленная здесь гипотеза является правдоподобной, то слав. *\*kuriti* не может иметь ничего общего с балт. *\*kurti*.

Нижеследующие замечания, касающиеся слав. *\*kuriti* (*sq*) и *\*kurǫ*, носят весьма гипотетический характер. При их рассмотрении следует, однако, иметь в виду следующее: во-первых, слав. *\*kuriti*, *\*kurǫ* и *\*čuriti*, *\*čurati*, *\*čurǫ*, как уже отмечалось в научной литературе, являются однокоренными и между собой соотносятся регулярным чередованием *ou/eu* в корне<sup>50</sup>. Во-вторых, на основании того, что *\*čuriti*, *\*čurati* и *\*čurǫ* в южнославянских языках имеют значения 'дымить, чадить, коптить', 'дым, чад', можно предполагать, что такие значения у продолжателей *\*kuriti* и *\*kurǫ*, как 'поджигать, разжигать', 'топить', 'пыль, жар', — не говоря о значениях 'пламя', 'огонь', которые у рассматриваемых слов вообще отсутствуют, — являются вторичными, как это имело место, например, в рус. *пыл*, *пыль*, укр. *пил* 'пыль', блр.

<sup>50</sup> F. Sławski. Słownik etymologiczny języka polskiego. III. Kraków, 1964–1966, s. 425; Л. В. Куркина. К реконструкции этимологических связей основ с дифтонгом на *-u-* // Этимология 1971. М., 1973, с. 59; ЭССЯ 4, 1977, с. 134.

*пыл* 'жар', 'пыль', польск. *pył* 'мелкая пыль', возводимых к и.-е. *\*p(h)ū-* 'дуть'<sup>51</sup>. Другими словами, некоторые значения могут быть результатом внутрисистемного развития отдельных славянских языков. Например, появление значений 'поджигать, разжигать', 'топить' могло быть следствием развития и обобщения более древнего значения 'тлеть, гореть без огня, дымить' (см. ниже), засвидетельствованного блр. диал. *куруць*. Как показывает русск. диал. *куруть* 'ехать, бежать быстро, поднимая дорожную пыль', значение 'пылить (сильно)' могло послужить основанием для появления значения '(быстро) бежать', как, например, у слов. *pri-kūrit* 'прибежать'. Если в представлении древнего славянина первый снег приравнялся к пыли, праху, то можно допустить следующее развитие: 'пылить (сильно)' → 'кружиться, куриться (о пыли)' → 'кружиться, куриться, мести (о снеге)' → 'бушевать, свирепствовать (о ветре)' — 'портиться (о погоде)' (ср. план содержания рус. диал. *куруть* и *күрүть*). В отглагольных производных такого рода значения могли стать преобладающими, ср. рус. диал. *кура* 'вьюга, метель; пурга, буран; поземка; падающий хлопьями снег, снегопад; непрерывно падающий снег', 'бесперывный мелкий дождь', 'буря', 'вихрь, сильный ветер с пылью', *күрева* (и *курева*) 'метель, вьюга', 'дождь при сильном ветре', 'поднявшаяся в воздух пыль'<sup>52</sup>.

В-третьих, в отдельных славянских языках засвидетельствованы периферийные значения, такие, как, например, в блр. диал. *куруць* 'гореть без огня, дымить...', сербохорв. *čurati* 'дуть', болг. диал. *ч'урее* 'сохнуть, чахнуть'<sup>53</sup> и даже значение 'гнить' в блр. *күрак* 'щепка (гнилая)', этимологически соотносимым с блр. *куруць* 'пылить, дымить...' <sup>54</sup>. В производных иногда сохраняются более древние значения производящей основы.

Теперь следует обратиться к анализу соответствующих данных литовского языка, в котором представлено имя *kauras* 'плесень на жидкости; отвердевший слой жира в невытой кухонной посуде'<sup>55</sup>. Однокоренными глаголами являются лит. *kaurėti* (*-ėja*, *-i*) и *kaurėti* 'плесневеть, покрываться плесенью; покрываться

<sup>51</sup> М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. М., 1987, т. III, с. 418.

<sup>52</sup> СРНГ 16, с. 107, 117.

<sup>53</sup> ЭССЯ 4, с. 134; 13, с. 124.

<sup>54</sup> Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Мінск, 1989, т. 5, с. 165.

<sup>55</sup> А. Юшкевич. Литовский словарь с толкованием слов на русском и польском языках. Пг., 1922, вып. 3, с. 58; LKŽ V, p. 441.

слоем отвердевшего жира (о кухонной посуде), *kauróti* (-ója) 'пачкать, марать, делать кое-как; жрать'<sup>56</sup>, *ap-kauróti* (-ója) 'заплесневеть' и *už-kaurinti* (-ina) 'запачкать, замарать, загрязнить'<sup>57</sup>. Данные глаголы употребляются не только тогда, когда речь идет о молоке, сыре (ср.: *Pienas apsi-kaurójęs* 'заплесневевшее молоко'; *Sūris apkaurėjęs* 'сыр, покрытый плесенью') или о посуде (ср.: *Kaurėte prikaurėję puodai* 'заросшие, покрытые слоем грязи горшки'; *Prikaurėjęs bliūdas, nemazgotas kelias dienas* 'миска, покрытая застарелой грязью, невытая несколько дней'). Они употребляются также в контекстах, в которых говорится о разных других предметах, ср.: *Langai apkaurėję nuo drėgmės* 'Окна помутнели от влаги, сырости'; *Pienas, drabužiai apkaurėję, dulķėmis, pelėsiiais apsitraukę* 'Молоко, платье, сплошь покрытые налетом пыли, плесенью'.

Лит. *káuras, kaurėti* (-ėja, -i), *kaurėti, kauróti* (-ója), *užkaurinti* < балт. *\*kau-r-* в свою очередь неотделимы от следующих лексем: *kaužai* 'зеленоватый мельчайший мошок на загнивающих веществах'<sup>58</sup>, *kaužalas* 'перекисшее пористое молоко или что-нибудь другое', *kaužėti* (-ėja) 'подниматься, вздуваться при скисании; плесневеть', *kaužóti* (-ója) 'киснуть, скисать, пениться, становиться пористым; подниматься, вздуваться при скисании', *kaužúoti* (-úoja) и *kaužuoti* (-uoj) 'то же' < балт. *\*kau-ž-*; *kiaužai* 'гниль, сор', *kiaužalaī* (вин. п. мн. *kiaužalus*) 'то же', *kiaužóti* (-ója) 'подниматься, вздуваться; становиться пористым, рыхлым', *iš-kiaužyti* (-ija) 'стать ноздреватым' < балт. *\*keu-ž-*. На основании данного материала можно предположить, что исходным значением корня *\*kau-ž-/\*keu-ž-*, как и его варианта *\*kau-r-*, явилось 'киснуть, скисать (что-нибудь скисшее, например, молоко); плесневеть; подниматься, вздуваться при скисании; становиться пористым, рыхлым'.

В литовском языке, кроме того, представлены слова *kiaūgždas* (и *kiáuģdas*) 'гниль, гнилое дерево; нечто ноздреватое', мн. *kiaūgždai* (и *kiáuģdai, kiaugždaī*) 'зерно без ядра; гниль', соответствующими глаголами которых являются *kiaugždėti* (3 л. наст. вр. *kiáuģžda, -ėja*) 'становиться ноздреватым, пористым, рыхлым; сохнуть, высухать; опоражняться (о зерне)', *kiaūgžti* (3 л. наст. вр. *-gžda*) 'хохлиться, ерошиться, вздуваться, подни-

маться'<sup>59</sup> при *kiugždėti* (*kiūgžda*) 'сохнуть, высухать; чахнуть, хиреть' и *iš-kugždėti* (3 л. наст. вр. *-kugžda, -ėja*) 'высохнуть, высухать, выгнить, выгнивать, делаться легким'<sup>60</sup> с нулевой ступенью корневого вокализма. Параллельные формы *iš-kiuždėti* (*-kiužda*) 'высохнуть, высухать' и *iš-kuždėti* (*-kužda*) 'делаться пористым, рыхлым, делаться пылью' указывают на то, что в данных словах представлен корень *\*keu-žd-/\*ku-žd-* со вставочным *-g-*, а формы *kiugždėti* и *iš-kiuždėti* свой палатализированный *k̄* обобщили из форм с *\*kiaū-* < и.-е. *\*keu-/\*kēu-*<sup>61</sup>. Корень *\*keu-žd-/\*ku-žd-*, значение которого можно определить как 'сохнуть, высухать; становиться пустым (о зерне); гнить, выгнивать, трухляветь; становиться ноздреватым, рыхлым', на самом деле, является корнем *\*kau-ž-/\*keu-ž-*, включившим суффикс *-d-*. Варианты корня как *\*kau-ž-/\*keu-ž(d)*, так и *\*kau-r-* образовались в балтийском при помощи распространителей *-ž-* (< и.-е. *\*g'(h)*) и *-r-*.

Что касается семантической стороны, данный балтийский корень существует в двух разновидностях: I. *\*kau-ž-/\*keu-ž-* и *\*kau-r* 'киснуть, скисать; плесневеть; подниматься, вздуваться при скисании; становиться пористым, рыхлым'; II. *\*keu-žd-/\*ku-žd* 'сохнуть, высухать; опоражняться (о зерне); гнить, выгнивать, трухляветь; становиться ноздреватым, рыхлым'.

Если к этому балтийскому корню в данных его вариантах относились бы слав. *\*kuriti, \*kurь, \*čuriti, \*čurati* и *\*čurь* < и.-е. диал. *\*kou-r-/\*keu-r-*, с комплексом значений, представленным в II. *\*keu-žd-/\*ku-žd-*, — как это ни странно, — совпадали бы значения вышеуказанных славянских слов, а именно: болг. диал. *ч'урее* 'сохнуть, чахнуть', блр. *кuryць* 'гниль, прогнивать' [← *к'урак* 'щепка (гнилая)'], а то, что органическими ответвлениями данного семантического ядра явились бы, по-видимому, также те значения, которые имеют, например, блр. диал. *кuryць* 'гореть без огня, дымить...', сербохорв. *čurati* 'дуть', а также другие значения продолжателей слав. *\*kuriti* [например, рус. диал. *кyр'ить* 'мутить (воду)'] и *\*čuriti*, явствовало бы из следующих семантических параллелей: 1) русск. *тлеть, тлевать* 'гниль, разрушаться гниением, перегнивать; слеживаться, задхлеть, преть, созревать // гореть под спудом, без пламени, обугливаться и обра-

<sup>56</sup> А. Юшкевич. Литовский словарь..., с. 58–59; LKŽ V, p. 441.

<sup>57</sup> LKŽ V, p. 442.

<sup>58</sup> А. Юшкевич. Литовский словарь..., с. 60; LKŽ V, p. 452.

<sup>59</sup> А. Юшкевич. Литовский словарь..., с. 98; LKŽ V, p. 684, 911.

<sup>60</sup> LKŽ VI, p. 777.

<sup>61</sup> К. Вūга. RR III, p. 697.

щаться в пепел'<sup>62</sup>; 2) греч. τύφομαι 'дымить, тлеть; τύφω 'дымить, чадить, курить, напускать дым; сожигать медленным огнем', τύφος 'дым, чад', др.-исл. *duft* 'пыль', норв. *duft*, *dyft* 'мелкая пыль, мучная пыль', ср.-в.-нем. *tuft* 'испарение, чад; туман; роса', нем. *Duft* 'испарение, туман; запах, аромат'<sup>63</sup>; 3) др.-исл. *ím* 'пыль', норв. *ím* 'запах', *íma* 'чадить, дымить, пускать пар; пахнуть', фарер. *ím* 'сажа, копать на котле', швед. диал. *ema* 'пленка на молоке', исл. *íma* 'пыль', швед. *imme*, *imma* 'пар, дым, чад'<sup>64</sup>; 4) лит. *dūlis*, *dūlys* 'туман, омраченный парами воздух; газ; густой дым; дым для окуривания пчел; древесная гниль, порохо древесное (для окуривания пчел)', лтш. *dūlis* 'дымарь', лат. *fūlīgō* 'сажа' (< \**dhūli-*), лит. *dūlėti* (3 л. наст. вр. *-ėja*, *dūla*, *dūli*) 'тлеть, истлевать, трухляветь, трухлеть, гнить, загнивать, дряблеть; тлеть, куриться', *dūliuoti* (*-iuoja*) 'дымиться, куриться; окуривать, подкуривать (пчел)', лтш. *dūlēt* (*-ēju*) 'окуривать, подкуривать (пчел); (рефл.) тлеть, дымиться'. Кроме того, корень \**dul-/\*dūl-*, содержащий распространитель *-k-*, представлен в лит. *dūlkė* 'пыль', находящемся в аблауте с лит. *dvelkti* (*-ia*) 'дуть'<sup>65</sup>, а также в лтш. *duļķe* 'мелкие частички соломы или мякны; отбросы льна', мн. ч. *duļķes* 'муть, осадок', считающемся заимствованием из литовского<sup>66</sup>.

Показательно то, что польск. *kurzysko*, производное от *kurzyć*, имеет значение 'древесная гниль, которой окуривают пчел'<sup>67</sup>.

В случае отнесения к данному балтийскому корню слав. \**kuriti*, \**kurь* и \**čuriti*, \**čurati*, \**čurь*, в связи со значениями I. \**kau-ž-*/*\*keu-ž-* и \**kau-r-* 'скиснуть, скисать; плесневеть; подниматься, вздуться при скисании; становиться пористым, рыхлым' интерес представляет сосуществование значений 'киснуть, скисать // квасить; дубить', 'гнить; гноить' и 'курить (табак); окуривать (пчел); пускать дым, дымить' в содержании одного и того же слова или словоформ, ср. например, лит. *ráugti* (*-ia*) 'квасить, солить; дубить': *pri-ráugti* 'накурить (избу)', *už-ráugti* 'окурить (пчел)'; лтш. *raudzēt* (*-ēju*) 'солить, квасить; гноить': *raudzēt tabaku* 'курить та-

<sup>62</sup> В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1980, т. IV, с. 408.

<sup>63</sup> H. Frisk. Griechisches etymologisches Wörterbuch..., II, S. 950.

<sup>64</sup> J. de Vries. Altnordisches etymologisches Wörterbuch..., S. 285; A. Jóhannesson. Islandisches etymologisches Wörterbuch..., S. 3.

<sup>65</sup> R. Trautmann. Baltisch-Slavisches Wörterbuch..., S. 62; LEW, S. 109.

<sup>66</sup> ME I, I. 513.

<sup>67</sup> Słownik języka polskiego. I. Wilno, 1861, s. 569; ЭССЯ 13, с. 123.

бак (*laist*, *radīt nelielus dūmus*) (ср. еще *raudzētājs* 'курильщик'); лтш. *ie-rauguōt* 'дубить': *rāuguōt2 tabaku* 'курить табак'; лтш. *rūgt* (*-stu*) 'киснуть, скисать': 'подниматься (о дыме), дымиться' (: *dūmi rūga* 'дым поднимался'); лтш. *rūdzināt* 'квасить, солить': 'пускать дым (*dūmus taisīt, laist*)'. Вследствие этого сопоставление с данными балтийскими словами др.-исл. *rjúka* 'курить; дымить(ся); испаряться', др.-в.-нем. *riohhan* 'курить', др.-англ. *reosan* 'дымиться, испаряться' представляется вполне обоснованным<sup>68</sup>.

То, что значения 'киснуть, скисать // квасить; дубить', 'гнить // гноить', 'плесневеть, покрываться гнилью', 'становиться пористым, ноздреватым, рыхлым', 'сохнуть, высыхать', 'тлеть, гореть без огня, дымить', 'коптить, чадить', 'дымить, окуривать', 'дуть', 'пылить' и даже 'моросить', соотв. 'гниль', 'гнилое дерево, порохо', 'плесень', 'пленка, слой жира (на молоке); слой отвердевшего жира (на невытой кухонной посуде)', 'густой дым', 'сажа, копать', 'пыль', 'первый выпавший снег', 'газ', 'испарение, чад', 'туман, мгла', 'морось' являются близкородственными и составляют семантическую филиацию, подтверждала бы серия значений, обнаруживающаяся в таких этимологических соответствиях, как, например, лит. *dujā* 'морось, туман, мгла; гнилое дерево, порохо; рыхлая почва; боровые пески; илистая почва; слой сметаны на молоке, сливки', 'пылинка', *dūjos* 'газ', *ap-duīti* (3 л. наст. вр. *-duja*, *-dūja*) 'покрываться туманом, мглой; заплесневеть, подгнивать', *iš-duīti* 'становиться рыхлым, пористым', др.-ирл. *dē* 'дым', лат. *suf-fiō* 'коптить; окуривать' < \**-dhū-ijō*, тох. А *twe*, В *tweye* 'пыль; испарение, чад', ст.-слав. *до҃н҃жти* и др.<sup>69</sup>, а также семантическая филиация, представленная в рус. *порохоно* 'гнилое дерево', укр. *порохоно* 'то же', *порохонь* 'то же', чеш. *práchno* 'гниль, тлен, труха', *práchněti* 'покрываться гнилью, плесневеть, тлеть', словц. *práchno* 'трут, труха', польск. *próchno* 'гниль', рус. *порох*, др.-рус. *порохъ* 'пыль', рус. диал. *поро́ха* 'первый выпавший снег', *поро́ша* 'то же', укр. *порох* 'пыль', *поро́ша* 'первый выпавший снег', блр. *порох* 'пыль; прах', болг. *прах* (*ѣт*) 'пыль', сербохорв. *прах* 'пыль, порошок', словен. *práh* 'то же', чеш., словц. *prach* 'пыль; порошок, прах', польск. *proch* 'то же', которые чередованием корневого вокализма соотно-

<sup>68</sup> B. Jēgers. Verkannte Bedeutungsverwandtschaften baltischer Wörter // KZ 80, 1966, S. 143; F. Kluge. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 22. Aufl. von E. Seebold. Berlin; New York, 1989, S. 600.

<sup>69</sup> R. Trautmann. Baltisch-Slavisches Wörterbuch..., S. 62; LEW, S. 109; J. Pokorný. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. I. Bern; München, 1959, S. 262-263.

сятся со словен. *pršėti* 'моросить', чеш. *pršėti* 'идти (о дожде), сыпаться (градом)', словц. *pršat'*, польск. *pierszyć* 'моросить'<sup>70</sup>.

В связи с этим интересную семантическую параллель представляют также, например, лит. *kūpėti* (*kūpa*, *kūpi*) 'кипеть; выливаться через край из посуды от кипения; киснуть, скисать, подниматься при скисании', лтш. *kūpēt* (-u, -ēju) 'дымиться, пылиться; чадить, коптить', *sa-kūpēt* 'коптить, окуривать; заплесневеть (о чем-нибудь мокром); покрываться пылью' (ср. еще лтш. *kūpekli* 'дым для отпугивания пчел и комаров; пыль; сажа от лампы на стенах'), слав. \**kypēti* (ст.-слав. *кыпѣти* 'кипеть', блр. *кiпeць* 'кипеть', диал. 'гнить, портиться' и т. д.), лтш. *kūpt* (-stu) 'дымиться; плесневеть', *sa-kūpt* 'заплесневеть; (высоко) подняться (о дыме)' (: *sakūpusi maize* 'зеплесневелый хлеб'), лит. *kūpinti* (*piena*) 'творожить (молоко)', лтш. *kūpināt* (*pienu*) 'створаживать (молоко)' при лит. *kvēpti* (-ia, *kvēpia*) 'вдыхать, выдыхать, пахнуть', лтш. *kvēpt* (-stu) 'дымиться; пахнуть; окуривать; покрываться сажей' (ср. еще лтш. *kvēpji* 'сажа; сажа и пыль; густой дым, чад'), лтш. *kvēpināt* 'курить (сигару); коптить, окуривать; запылить'<sup>71</sup>.

На основании приведенного материала можно заключить, что регулярное выступление серии рассматриваемых значений, их существование в содержании одного и того же слова или его словоформ, а также однокорневых лексем следует интерпретировать, по-видимому, как проявление близкородственности данных значений, определенной семантической филиации. С другой стороны, это в свою очередь предполагает, скорее всего, этимологическое родство лексем, имеющих данные значения. Если бы слав. \**kuriti*, \**kurь* и \**čuriti*, \**čurati*, \**čurь* относились к рассматриваемому балтийскому корню, семантико-содержательные различия балтийских и славянских лексем были бы вполне объяснимы на фоне выявленной здесь семантической филиации даже в обеих семантических разновидностях балтийского корня, т. е. I. \**kau-ž-/\*keu-ž-*, \**kau-r-* и II. \**keu-žd-/\*ku-žd-*. Ближайшими этимологическими соответствиями славянских лексем были бы, разумеется, лит. *kauras* 'плесень на жидкости; отвердевший слой жира на невытой кухонной посуде', *kaurėti* (-ėja, -i) и *kaurėti* 'плесневеть, покрываться плесенью; покрываться слоем отвердевшего жира (о кухонной посуде)', *kaurōti* (-oja) 'пачкать, марать, делать кое-как; жрать', *ap-kau-*

<sup>70</sup> М. Фасмер. Этимологический словарь..., с. 332-333.

<sup>71</sup> R. Trautmann. Baltisch-Slavisches Wörterbuch..., S. 147; LEW, S. 325-326; ЭССЯ 13, с. 265.

*rōti* (-oja) 'заплесневеть' и *už-kaurinti* (-ina) 'запачкать, замарать, загрязнить'. При этом лит. *kaurėti* (-ėja, -i) и *kaurėti* формально точно соответствовали бы укр. *купіти* 'быть пыльным, пылить', блр. *кўраць* 'курить; дымить; окуривать дымом; пылить, поднимать пыль; выделять пыль', *кўрацца* 'дымиться; выделять пыль', диал. *кўрэць*, *кўрэты* 'дымить; тлеть, дымить; подгорать'<sup>72</sup> (< слав. \**kurēti*<sup>73</sup>), а лит. *kauras* — словц. *kūr* 'дым, пар, пыль столбом', рус. диал. *кур* 'чад, дым', ил, муть', укр. диал. *кур* 'дым', блр. диал. *кур* 'пыль; копоть, сажа' (< слав. \**kurь*). Кроме того, в данной лексико-семантической микросистеме в случае отнесения сюда также рассматриваемых славянских лексем получили бы свое объяснение и южнославянские слова: болг. *чўра* 'дымить, чадить', *чўрз* 'дым, чад', макед. *чури* 'дымит(ся), курить', *чур* 'дым, чад', сербохорв. *чурити* 'дымит, коптить', *čur* 'дым' < праслав. \**keu-r-* являлись бы регулярными апофоническими вариантами с корневым вокализмом *eu* при слав. \**kuriti*, \**kurь* < праслав. \**kou-r-*, таким же образом, как, например, лит. *kiaušōti* (-oja) 'подниматься, вздуваться; становиться пористым, рыхлым', *kiaušai* 'гниль, сор' < \**keu-ž-* — при *kaužėti* (-ėja) 'подниматься, вздуваться при скисании; плесневеть', *kaužōti* (-oja) 'киснуть, скисать, пениться, становиться пористым; подниматься, вздуваться при скисании', *kaužai* 'зеленоватый мельчайший мошок на загнивающих веществах' < \**kou-ž-*. При допущении исходного балто-славянского \**kaurēt(e)i* 'гнить, трухляветь, тлеть // гореть без огня, тлеть, дымить' наряду с апофоническим вариантом \**keurēt(e)i* 'сохнуть, высыхать' (например, в болг. диал. *ч'урée* 'сохнуть, чахнуть') следует, однако, предположить, что семантическая актуализация произошла на основании преобладания значений 'гореть без огня, тлеть, куриться, дымить // сохнуть, тлеть, трухляветь, перегнивать в россыпь, в пыль (о дереве)' в славянском и значений 'гнить, тлеть // киснуть, скисать' в балтийском, что и могло предопределить значительные отклонения в семантическом развитии лексем данного корня в балтийском и славянском.

<sup>72</sup> Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе паграніча. Мінск, 1980, т. 2, с. 586-587.

<sup>73</sup> ЭССЯ 13, с. 120.

В. Н. ТОПОРОВ

## БАЛТИЙСКИЙ ЭЛЕМЕНТ В ГИДРОНИМИИ ПООЧЬЯ. III\*

## I. А. Верхнее левобережное Поочье

## I. Левые притоки Оки

**Птора**, р. ГБО 36 — По-видимому, из \**Пѣтора* < \**Pūt-ar-*. В этом случае напрашивается предположение о связи с лит. *Pūtrinė, Pūtrinis, Putrinka; Pūtrinė, Putriai, Putrėliai, Pūtrišiai, Pūtriškė, Pūtriškės, Pūtriškiai, Putriškis; Putr-ā-ravis*, видимо, и *Pūtrežiai* (LUEV 130; Liet. hidr. dar. 159, 164, 245–246; LHEŽ 269–270; LATSŽ 253–254); лтш. *Putras, уре, Putrupe; Putras-plava, Putrsdiķis, Putras-ēzers, Putras-luōms, Putras-peļķe, Putras-upe, Putras-upīte, Putr-upe, Putrene; Putras, Putrāni, Putrinieki (Putriniki), Putriši* (LVV s. vv.; Latv. apdz. nosauk. 127–128; Latv. UN 3, 29–30; LVK); лтг. *Putrāni, Putreni, Putreišu, Putriši, Putraši, Putrišu ez., Putriņezers, Putriņa, Пуприно, Putriniki, Putreniki, Пупреники, Пуприники, Пупринишки, Putrōmniški, Putromniški, Putrāmniškas, Putramiszki, Putraniszki; Putriču s., Putriči, Пупричи, Пупреник* (PN Latg. 405–406). Старые южноварм. формы, отражающие прусский субстрат (*Putrinen*, 1576. Генненб.; *Putrinen*, 1629; *Putrinen*, 1701, см. Top. roľudn. Warm. 173, 211), едва ли сюда относятся: они, как и современное их продолжение *Butryny*, нем. *Wutrien* (ср. *Wotrientn*, 1412; *Wutrin*, 1564; *Wutrinen*, 1615; *Wutrin* 1625 и др.), ср. *Slown. nazw geogr. PZP 30*, отражают прусск. \**Wutrinai* (: *wutris* 'кузнец'), ср. прусск. *Vutraynen*, ок. 1270, *Utreyn; Utren*, ок. 1400; *Wutterkum*, 1419; *Woterkeim*, 1481, позже — *Wotterkeim* (APON 211). Неясно мазур. *Potrinnek See, Patrinek*, но форма *Patranken*, 1429 (*Slown. nazw Mazur. II*, 340) делает сомнительной возможность отнесения сюда этого гидронима. Неясен и первый элемент мекленб.-гольшт. топонимов *Putremetze, Putrecolze* (МН 115, 120). — Соответствующие названия как литуанизмы отмечены и на белорусской территории, к юго-вост. от современного литовского ареала, в Гродн. и Минск. обл., ср. *Пупрышки (Пупришки), Пупрычы (Пупричи), Пупрына* (Кратк. топ. слов. Белор. 313–314; Лекс. балт. 8; Лі-

тоўск. элем. 29; Слоўн. назв. Минск. 221; Слоўн. назв. Гродз. 200 и др.). — Этот же корень представлен и в балт. ономастике. Ср. лит. *Putrà, Pūtrius, Putrỹs, Pūtris, Putrūnas, Putriūnas, Putrunskas, Putrińskas, \*Putrinas, Putreikà*, вероятно, *Putrameńtas* (LPŽ II, 544–545; Liet. antrop. 186); лтш. *Puttre*, 1580, 1582–94; *Putter*, 1578; *Pwttersz*, 1507; *Putters*, 1497; *Putteren*, 1515; *Put(t)erin*, 1473, 1478; *Putrin* (LPV I, 232–233); куршск. *Puttere*, 1355–1362; *Putre*, 1528; *Pudtrin*, 1582–1585; *Puttrin*, 1522 (KF 329); ср. белор. ономастические литуанизмы *Пўтра, Пупрò, Пўтрык, Пупр, Пупрòў, Пўтрыч, Пупрòнка, Пупрòнак, Пупранкòў, Пупрòн* (Белар. антрап. 2, 339), ср. русск. *Пуприн* (Dict. Russ. PN, s. v.). Не вполне ясны прусск. ном. прогр. *Potrite; Potare*, 1408; *Patare* (APN 79) при топонимах соотв. *Poteriten*, 1346, *Potriten*, 1403, позже — *Potritten* и *Potarren*, 1361, позже — *Potar-See*, совр. *Potary* (APON 132; *Slown. nazw Mazur. II*, 129), ср. *Поторы* (Спрогис 256: \**Patari*), ср. окск. *Птора*. — Если это окское название связано с приведенными здесь балт. примерами, то в основе всех этих примеров лежит тот же исходный элемент, что и в лит. *putrà* 'жидкая каша', 'похлебка', 'пойло', 'размазня' и т. п., лтш. *putra* и т. п.; это балт. слово попало в смежные слав. языки (ср. польск. *putra*, блр. *пўтра, пўтро*, русск. *пўтра, пўтря, пўтро, пўтор, пурт* и др., укр. *пўтря*. Слов. Балт. 20–21; ср. также русск. *пупреть* 'бранить', 'делать выговор', пск., твер., видимо, что-то вроде 'разнести в пух и прах', 'стереть в порошок', 'размазать', 'превратить в полужидкую субстанцию' и т. п.), но и финск. (фин. *puuro*, эст., вепс. *puur*). Семантическая мотивировка гидронимов и топонимов с элементом *Put-r-* — месиво, хлябь, зыбь, трясина, нечто расползающееся, неустойчивое, дефектное, ср. лит. *pūtarnoti* 'болтать' (о речи), *pūtarnyti*, (: *pūtarna* 'болтун'), *pūtarauti, pūtaroiti* и т. п. (LKŽ 10, 1118–1119, 1139–1143), *pūtrioti, pūtrinti, putrinėti, pūtryti, putròti* 'чавкать' и др., лтш. *putrāt, putruôt* и др. (ME 3, 443). К элементу *-r-* ср. лит. *pūtelis* (но и *pūtera*), лтш. *pūtelis* и др. На и.-евр. уровне источником всех этих форм можно считать \**peu-*: \**rou-*: \**pū-*, объединяющее два круга значений 'вспухать', 'раздаваться', 'разжижаться' и т. п. и 'гнить', 'издавать гнилостный запах', т. е. 'разлагаться' (Рок. 1, 847–849, ср. LEW 681–682 и 680). — {\**Put-ar-a*}.

**Пакой**, л. в. Пторы ГБО 36, ср. *Пакой, Покой*, л. р. Середи. ГБО 26. Неясно в двух отношениях — в том, что касается возможной связи с *Пока, Пака, Пакуша*. ГБО 30, 118 (ср. Балт. элем. II, 50), и в том, что касается возможного источника (или

\* Начало см.: Балто-славянские исследования 1986. М., 1988, с. 154–177; Балто-славянские исследования 1987. М., 1989, с. 47–69.

источников) всех этих форм. Учитывая общий достаточно густой балт. контекст и сам «жанр» этого объекта (*пакой* представляет собой то, что в гидрографической терминологии называется «верх», т. е. исток реки, ее верх, верховье, вершину; овраг, росточь; ср. СРНГ 4, 159), можно предположить, что в основе названия лежит нечто аналогичное лит. *prakója* 'подножка', *prakóje* 'основание', *prakóje* 'место под ногами', *prakójis* и т. п. (LKŽ 9, 190–192), лтш. *prakāja* (ME 3, 42–43), где префикс *ra-* сочетается с обозначением ноги — *kója/kāja*. Применительно к гидронимической ситуации (в частности, в русской традиции) элемент «нога» указывает не столько на низ, сколько на своего рода «приставку», отвод, ответвление, часто именно верхнее (и по вертикали, ср. *ноги* как верхняя часть плуга. СРНГ 21, 263, так и по горизонтали — часть водного объекта, ответвление от него или некий участок, предшествующий «стационарной» части этого объекта), ср., с одной стороны, *нога́* 'длинный залив озера, выступ болота'. СРНГ 21, 263 (ср. *Нагатино* на юго-вост. Москвы или *Nogat* в устье Вислы) и, с другой, *отно́га* 'ответвление', 'рукав реки' (*от этой речки отходит течение воды, называется отного*), 'старица'; 'проток реки'; 'залив удлинённой формы'; *отно́жина*, *отно́жинка*, *отно́жка* и под. (СРНГ 24, 248–249). Одним из видов *отного* является *отвёршек*, особенно характерный для рассматриваемого ареала. «Местность рек Оки, ...Жиздры, — говорится в описании Калужской губ., — перерезана значительными оврагами, образовавшимися от стока дождевой и снежной воды — овраги эти называются вершинами, или отвершками, или верхами, имеют направление к рекам или речкам и по мере приближения к ним становятся шире и глубже». *Отвёршек*, согласно СРНГ 24, 134, обозначает как ответвление оврага, начало углубления его, большую впадину, образовавшуюся от действия сточных вод, так и «приток реки в самом ее начале» (ср. *верх*, значительное число «верховых», «вершинных» водных названий в Поочье, ср. ГБО 305 /индексы/, в частности, и *Отвершек*. ГБО 98, *Отвершек*. ГБО 264). Собственно говоря, *отного* (*отножка*)-*отвёршек* обозначает то же или нечто смежное, что и литовское слово близкой сходной структуры; ср. название озера *Pakojys*, *Pā-kojis* (при *Kója*, *Kojēlė*, *Kojėliškių ėžeras* и др.). LUEV 77, 115; LHEŽ 161, 240; LATSŽ 218 (*Pakójai*), с одной стороны, и, с другой, апеллятивы *prakója*, *prakóje* 'подножье' в таких контекстах, чреватых метафорически-метонимическими ходами, как, напр.: *Ant jo [piliakalnio] šiaurinio galo graži vinkšna su kitais krūmynais riogso, o pakojėj Prūdupe vakarų pusėj į Šesupe*

*įsravena* (Basanav. Iš gyvenimo velių bei velnių 193) или *Nuo pat pakojos kalno Ararat... bais didelė upė ...prasideda* (Kurschat. Keleiwis isz Karalaučiaus). LKŽ 9, 190, т. е. часть реки или ручья у подножья горы или холма до «стационарного» русла → «подножия» река (или ручей) — *Подножная*, пом. прогр. реки (или ручья); к лит. *ra-kójui* ср. русск. *по-ногу*, *по-но́жно*, *по-но́жи*, *по ноге* и под. Разумеется, речь идет лишь об одной из возможностей, которая отпадает, если будет доказана связь *Пакой/Покой* с *Пака/Пока*, *Опока/Опака* и т. п. — {\**Pa-kai-/koi-/?*}

**Вилюши**, в., л. р. Оки. ГБО 37. — Вероятный балтизм: к корню *vil-*, отраженному, видимо, и в ряде других гидронимов Поочья (ср. Вилейка. ГБО 267 — лит. *Vilėikis*, *Vilėikupis*, *Вилейка* : *Вилия*, *Vilija* и др.). Впрочем, примеры, относящиеся к совр. балт. ареалу, в значительной степени двусмысленны, даже наиболее точно отвечающие окскому *Вилюши*, ср. лит. *Viliūšiai*, *Viliūšiškės* (LATSŽ 345), *Viliūšiai* и под. С одной стороны, приходится считаться с подлинно и несомненно гидронимическим корнем \**vil-*, как в лит. *Vilija*, *Vilėikis* и т. п.; с другой, несомненные примеры корня *vil-*, отсылающего к личным собств. именам — как балтийским (ср. *Vil-butās*, *Vil-gailas*, *Vil-gardas*, *Vil-mantas*, *Vil-tautas* и т. п.), так и германским (ср. *Vilius*, сокращ. от *Will/i/-helm*), польским (ср. пом. прогр. *Wilusz*, *Wiluszek* и др. SSNO VI, 109), см. LVKŽ 372–375; LPŽ II, 1209–1220; Liet. antrop. 127, 140, 218, 228, 237 и др.; сходная ситуация и в других балт. языках. Во всяком случае контекст, в котором окский гидроним *Вилюши* может получить объяснение, должен включать в себя и балт. топонимы типа лтг. *Vilūši/Viliši*, *Вилюши*, *Vil(u)ši* (PN Latg. 557) и балт. пом. прогр. типа *Viliūšis*, *Vilūšis*, *Viliušius*. — В известной мере то же относится к другим окским гидронимам с элементом *vil-*, ср.: *Вилюн*, *Вилюнской*. ГБО 25: лит. *Viliūniškis*, река, болото, *Viliūnų ež.*, озеро, *Viliūndriškis* (LUEV 195; Liet. hidr. dar. 175, 178, 266 [личное имя собств. → название поселения → гидроним]; LHEŽ 384, но и пом. прогр. *Viliūnas* (*Willun*, *Willuhn*, *Wiluns*, *Willūns* и др.). LPŽ II, 1216 и др. — {\**Vil'-uš-*}.

**Локатец**, оз. ГБО 37. — Связь с русск. *локоть*, *локотец* допустима (во всяком случае хотя бы вторично), поскольку, в частности, *локоть* диалектно обозначает крутой изгиб, излучину реки (*Речка вся в локтях, течет локтями, вдалась или выдалась локтем*. Даль, ср. СРНГ 17, 114), то же и в лит. *alkūnė* 'локоть', но и 'поворот реки', 'изгиб', 'излучина' (ср.: *Minija čia didelė alkūnė daro*. LKŽ 1, 106); правда, в случае *Локатец* речь идет не

о реке, а об озере. Существенно далее к востоку, в рязанских пределах, отмечены *ручьи Локотцы*, река *Локодец*, *Локотец*. ГБО 126 (ареал, где число балтизмов резко сокращается), ср. также *Локтевка*, *Локотня*, *Локотовка*. ГБО 86, 97, 105, 121. Тем не менее заслуживает внимания и попытка «балтийского» осмысления названия *Локатец* путем увязки его с названиями типа *Локна*, *Локня*, *Локнава*, *Локнова*, *Локонской*, *Локненской*, *Локнинской* и под., обычно считающимися балтийскими, — из \**Lukn-*, о котором см. LHEŽ 197–198 (с двояким объяснением литовских фактов); Пр. яз. 5. 396, 401; Балт. Элем. I, 170 и др. Ранее в связи с днепр. *Локоть*, *Локатен*, *Локчъ Б. и М.* было высказано предположение о том, что кажущаяся их связь со словом *локоть* является результатом народно-этимологического переосмысления исходного названия (ЛВВП 193). В настоящее время об этом можно говорить с большей уверенностью. В частности, она основывается на более чем вероятной связи названий корня \**Luk-* с его расширителями — *-t-*, *-št-*, с одной стороны, и *-n-*, с другой. Верхнеднепр. *Локатен* (вероятно, из \**Luk-ten-*, \**Luk-tin-*) фиксирует одновременное сочетание *-t-* и *-n-*, которое (правда, с расширением элемента *-t-* с помощью *-š-*) обнаруживается и в многочисленных вост.-балт. примерах, ср. лит. *Lukštýnas*, *Lukštinė*, *Lukštýnė*, *Lukštinėlis*, *Lukštinis*, *Lukštinis*, *Lukštin-ka*, *Pālukštinė* и др. (Luev 95; Liet. hidr. dar. 43, 129, 157; LHEŽ 198; LATSŽ 166, 222), лтш. *Lukstiņas*, *Lukstiņš*, *Luksteņi*, *Lukstenieki*, *Lukstinieki*, *Lukstiņi*, *Lukstiņa-plāva* и др., *Lukštēni* (LV I, 2, 346–347); лтг. *Lukstiņi*, *Лукстуны*, *Lukstiņš*, *Luksteņi*; *Lukstineica*, *Lukstinīki*, *Lukstinieki*, *Лукстеники*, *Лукштыники*, *Lukštāni*, *Лук(у)штаны*, *Lukštānu ez.*, *Лукштаново* (PN Latg. 292–293). Такое же сочетание элементов *-t-* и *-n-* при этом корне отмечено и на старой прусской территории (ср. *Lukcianka*, *Lukcionka*, ручей, п.р. Маронг. Słown. nazw Mazur. II, 224) и в Поочье (*Локотня*. ГБО 97, 105). Это обстоятельство дает известные основания предполагать, что в источнике *Локня* и под. и *Luknā* и под. мог некогда содержаться и элемент *-t-* — \**Luk-t-* & *-n-*, ср., напр., \**Luk-ūt-īn-(i)a* > \**Лъкътъня(а)* > *Локотня* и *Локня(а)*. Но непереносное присутствие *-t-* в подобных случаях едва ли правомерно, тем более для балт. *Lukn-* и под. Скорее можно полагать, что «русская» ситуация сигнализирует о притяжении к названию *локтя* (ср. характерное отсутствие *-t-* в прусском обозначении локтя — *alkunis*, ср. и вост.-балт. — лит. *alkūnė*, *elkūnė*, лтш. *ēlkuons*, *ēlkuonis*, *ēlkuone*, но и формы с *-t-*, но без *-n-*: прусск. *woaltis*, *woltis*, лит. *ūolektis*, *uoлектis*, лтш. *uōlektis* и

др.). — В свете сказанного окск. *Локатец*, *Локотец*, как бы продолжающие и/или имитирующие \**Лъкътъць* (с ориентацией на обозначение локтя), могли по происхождению вписываться в круг форм, в частности и прежде всего гидронимических, типа прусск. *Lukte*, ручей, 1340; *Lucten*, место, 1384, позже — *Locken* (APON 91), совр. польск. *Łukta* (нем. *Locken*) в Острудзск. повете (Słown. nazw geogr. PZP 1, 178), как и в круг вост.-балт. фактов, лишь немногим отличающихся от зап.-балт., ср. лит. *Lukštā*, *Lūkštas*, *Lukštėlė*, *-is*, *Lukštu ūpė*, *Lūkštupis*, *-īs* (LUEV 95; Liet. hidr. dar. 30, 117, 227, 267; LHEŽ 198); лтш. *Lukstai*, *Lukstes*, *Luksts pl.*, *Luksta-ezērs*, *Luksta-upe*, *Luksta-plāva*, *Lukstu-ezērs*, *Lukste upe* (LV I, 2, 345–346); лтг. *Luksti*, *Лукстм*, *Lukszty* и др. (PN Latg. 292–293); ср. и ном. прогр. типа ст.-лтш. *Brūien luxte*, *Grohte luxte*, *Saddyn luxte*; *Mickels Luwksstings* (LPV 1, 206); ст.-лит. \**Lukštis*, \**Lukščionis*, *Lūkštas*, *Lukštā*, *Lukštinskas* (Liet. antrop. 163, 250; LPŽ II, 116); ср. Пр. яз. V, 401–402. — {\**Luk-ut-ik-*}.

**Высса**, р., л. реки Оки, вар. *Выса*. ГБО 37. — Среди окских гидронимов с исходом на *-са* подавляющее большинство составляют неслав. и небалт. примеры, но неиндоевроп. названия. Внешние признаки этих последних очевидны, ср. гидронимы на *-кса*: *Ковакса*, *Аржакса*, *Кукакса*, *Шилакса*, *Макса*, *Таракса*, *Екса*, *Пекса*, *Берекса*, *Верщекса*, *Падокса*, *Шилокса*, *Токса*, *Кукса*, *Шилькса*, *Рыкса*, *Тарыкса*, *Тартыкса*, *Малаякса*, *Керякса*, *Мелтякса* и др., а также иного типа — *Конбаса*, *Ленгаса*, *Сахмаса*, *Тахмаса*, *Чяхмаса*, *Кубжеса*, *Стенереса*, *Ирмиса*, *Атмиса*, *Шелдайса*, *Шаркайса* и др. Вместе с тем в Поочье практически почти нет того типа четких балтизмов на *-еса*, *-оса*, которые отмечались в Верхнем Поднепровье (*Лучеса*, *Волчеса*, *-аса*, *Водоса*, *Ведоса*, *Очеса*, *-аса* и др.) и которые имеют надежные соответствия как в совр. балт. ареале, так и на смежных с ним территориях (басс. Зап. Двины вне Латвии, басс. Немана вне Литвы и т. п.), относительно недавно населенных славянами (см. ЛВВП 155–156). Исключения или случаи, подозреваемые в «балтийскости», очень скудны (ср. окск. *Ороса*, *Ароса* — днепр. *Оросса*, *Ореса*; окск. *Виндроса* — лит. *Vindra*, *Vindrūnė*, окск. *Таруса* — наличие балт. гидронимического корня *Tar-* и суфф. *-us-*). Зато в Поочье отмечен ряд «коротких» гидронимов с исходом на *-са* (причем чаще всего в графической передаче выступает гемината *-сс-*) и с неясной словообразовательной структурой слова, ср. *Таса*, *Ресса/Реса*, *Исса/Иса*, *Лисса/Луса*, *Высса/Выса*, *Васса*, *Уса* и некоторые другие. Еще интереснее, что подобный

же тип гидронимов отмечен в басс. Зап. Двины и Немана, причем и за пределами совр. балт. ареала; в ряде случаев совпадает не только гидронимический тип, но и сами гидронимы, ср. *Исса*, *Лисса*, *Ус(с)а*, *Эсса*, *Дрисса* (ср. окск. *Дрисела*, *Дрисенка*), а также *Плис(с)а*, *Несса*, *Труса* и под., которые скорее всего балт. происхождения и нередко именно так и объясняются. — Окск. *Выс(с)а* в балт. перспективе скорее всего восходит к *\*Ūsa*, которое на слав. почве в достаточно отдаленный период должно было дать *\*Выса* (с протетическим В-). В балт. языках, действительно, существует гидронимический корень *Ūs-*, ср. лит. *Ūsiai*, *Ūsŷs*, озеро, *Ūsytis*, река, *Ūsupis*, *Ūsupŷs*, *Ūsa*, болотистый лесок, *Ūsia-raistis*, *Ūsŷnė* (LUEV 180; Liet. hidr. dar. 68; LHEŽ 355); лтш. *Ūsu-ęzers*, озеро, *Ūsene* (LVK); лтг. *Ūss*, *Usas*, *Уса*; *Ūsains*, *Ūsāni*, *Усаны* (PN Latg. 534–535); м. б., прусск. *Wuse*, 1303; *Wosen*, 1289, *Wusen*; *Wusen*, озеро, 1464, позже *Wusen-See* (APON 209: с иной интерпретацией); *Wuselauken*, 1357, *Woselowken*, 1374, позже — *Wuslack*; *Wusewiten*, 1360, *Woysewiten*, *Woszewyten*, ок. 1400; *Wusiniz*, 1302; *Wusiwaio*, луг, 1305 (APON 209, 211); ср. *Wysne*, 1326 (?). Słown. nazw Mazur. II, 78 и др. К этим примерам следует, вероятно, добавить и некоторые собственно топонимические типа лит. *Ūsėliai*, *Ūsaĩ*, *Ūsiškės*, м. б., и *Usėnai* (с кратким *u*), лтш. *\*Ūsaiķi* (: *ūsaiķnieki*), см. LATSŽ 324; Latv. ardz. posauk. 167 и др., а также некоторые названия на смежной белорусской территории, ср.: *Усяны*, *Высяны*, *Усєніс*, *Вўсєнікі*, *Усá*, *Вусá* и др. (Кратк. топ. слов. Белор. 386; Слоўн. назв. Гродз. 56; Слоўн. назв. Мінск. 269; Літоўск. элем. 41, 50 и др.), адаптированные славянским населением этих мест достаточно поздно. Но наиболее точное соответствие окск. *Выс(с)а* — гидроним *Wyssa*, *Wysa*, вар. — *Wys*, *Wis(s)a*, *Wissa Bach*, *Erlen Bach* в басс. Бебжи (HW 464), на территории с густым балт. субстратом. Сам факт переключки гидронимов Верхнего Поочья и славянских территорий, смежных с совр. балт. ареалом, показателен (ср. В.-Słown. zw. jęz. 371–380): речь идет об определенной гидронимической изоглоссе. Однако конкретное объяснение *Выс-*: балт. *Ūs-* связано с существенными трудностями. Ванагас LHEŽ 355 полагает, что балт. гидронимы с корнем *Ūs-* скорее всего происходят от лит. *ŷsai* 'усы' (ср. лтш. *ŷsas*, то же) и в таком случае имеют «конфигурационное» значение. Несомненно, что в ряде случаев названия на *Ūs-* ассоциируются со словом, обозначающим усы, но, видимо, в этом случае приходится думать о «народно-этимологическом» осмыслении непонятого слова. Показательно, что тот же самый процесс обнаруживает себя в связи

с также непонятым мифологическим именем с омонимичным (по меньшей мере) корнем — лтш. *Ūsiņš*, *Ūsinis*, *Ūsenis*, *\*Ūss* (ср. Gen. sg. *Ūsa* в *Danco Ūsa stilingi / Ābolaini kumeliņi*. MLLG XVI, N36), *Ūsitis*. Даже в тех случаях, когда диалектная форма имени Усиньша не совпадает с достаточной точностью с обозначением усов, соответствующий мотив нередко продолжает подчеркиваться (*Jeuseņam garas ŷses*; / *Jdūd maņ puseiti*: /.../ *Ūstobeņi izslaucet*'). Не исключено, что разгадка подлинного источника и названия *Выс(с)а* и имени *Усиньша* связаны друг с другом, и в обоих случаях нужно исходить из и.-евр. *\*aues-*, *\*aus-*, *\*ues-*, *\*šs-* (Pok. 1, 86–87) 'сиять', 'блестеть', прежде всего об утренней заре, ср. лит. *aušrà*, *auštrà* (: *aūšti*), лтш. *austra*, *austrums*, *ausma*, ст.-слав. за оустра то πρωι, оустръ, польск. *uścić* 'блестеть', но и др.-инд. *uśas*, авест. *usā*, др.-греч. ἠώς, αὔωσ, лат. *aurora*, др.-англ. *ēastre* и др. Разнообразие апофонических вариантов (*au* : *u* — *ū*, ср. жем. *apyūšriai*) в известной степени снимает сложности, связанные с вокализмом (ср. др.-инд. *uśas*, но *Ūšā* и *Pratyūšā* и т. п.). Если это так, то *Высса* <*\*Ūsa* могло бы означать водный объект как блестящий или утренний, восточный (ср. лит. *Aušrà*, *Aūšr-upis*, лтш. *Austruone*, *Austrene*; ср. особо русск. *Утроя*, о чем писал Фасмер). Менее вероятно, пожалуй, связь с лит. *usnīs* 'бодяк', лтш. *usne*, ст.-русск. *ушь*, вероятно, к и.-евр. глаголу со значением 'жечь'; в этом кругу слов также представлены разные апофонические варианты (*\*eu* : *\*ou* : *\*ū* : *\*ū*), ср. др.-греч. εῦω (< *\*eusō*): др.-инд. *ośati* : *uśná-*, лит. *usnīs*, лтш. *usne* : лтш. *ūsne*, лат. *ūrō* и т. п. Впрочем, не исключена дальняя связь между словами со значением 'жечь', 'зажигать' (в частности, о заре) и 'блестеть' (так сказать, 'быть зажженным', 'пламенеть'). — {*\*Ūsa*}.

Локня, п.р. Позни. ГБО 37, см. Локна. ГБО 25 и др.

Недвинка, о. ГБО 37. — Возможно, балт. происхождения. Гидронимическое *\*ned-*, *\*nad-* усматривалось в днепр. *Надва*, *Недна*, *Недно* (ЛВЛП 167, 196, 198). Ср. лит. *Nedėja*, *Nedingis* (LUEV 108; Liet. hidr. dar. 111, 168; LHEŽ 226), *Nedingė* (LATSŽ 199); лтш. *Nediene* (LV I, 2, 475); лтг. *Nadviški*, *Nadviškava*, *Nadvyški* (?) (PN Latg. 334); прусск. *Neydowe*, 1332, *Nedwe*, 1438; *Nedowen*; позже — *Needau* (APON 107, ср. ном. propr. *Neyduse*); висл. *Nede*, *Nidy* (?); *Nida*, *Niede*, *Neide* (?); *Nida*, *Nidka*, *Neida*, *Nyde* (?) (HW 494, 551, 754, 756); мазур. *Neide*, *Neida*, *Neda*, *Neden*, *Nieden* и др. (Słown. nazw Mazur. II, 171, 192, 285, 307, 323, 327 и др.); днепр. *Надва*, *Недна*, *Недно* и т. п. Эти примеры отсылают к разным возможностям. На и.-евр. уровне уместно



иметь в виду три возможности: 1) \**ned-* 'звучать', 'шуметь' и т. п., ср. др.-инд. *nadī* 'река', 'поток' (: *nādati* 'шуметь'), др.-балк. *Néda*, *Néσtos*, мессен. *Nédων*, реки и др.; 2) \**nedo-* 'тростник' (др.-инд. *nadá-*, лит. *néndrė*, лтш. *našļi* < \**nad-slis* и др.); 3) \**neid-* : \**nid-* 'течь', 'устремляться' (др.-инд. *nedati*, кельтск. *Nida*, река, лит. *Niedà*, *Niēdis*, *Niedūs*, лтш. *Niedīņ-çzērs*; прусск. *Neyde*, *Nyda*; днепр. *Нудалька*, *Нуделька* и т. п. При общей неясности и правдоподобной возможности разнообразных «притяжений» выбор между этими вариантами остается затруднительным. — {\**Nedv-*; \**Niedv-* : \**Neidv-* ?}.

**Кирекрейка**, л. р. Кирекрея, р. ГБО 37. — Неясно. Вероятно, ономастического характера. В балт. перспективе можно было бы думать или о некоей «переделке» из чего-то типа лит. *kūr-kūlē*, *kuřkulas*, -aī и под. 'лягушечья икра' и под. (: *kuřkti* 'квакать') — тем более, что в непосредственном соседстве находятся *Жабинка*, *Жабына*, *Жабка* и т. п. (ГБО 38, 40, и др.), или о связи с чем-то вроде лит. *kiřkilas*, *kirkilis* 'тот, кто кричит, скрипит, издает пронзительные звуки' (: *kiřkti*, *kirkinti*, *kirkėti*, ср. *girgzdėti* и т. п.). Допустимо думать об отглагольном образовании (с суфф. или с удвоением, ср. *kurkūlyti*, *kurkuliūoti*, или \**kur-kur-*, \**kir-kir-* — ?). — {\**Kurk(u)r-eik-a* или \**Kir-k(i)r-eik-a* ?}.

**Вежовка**, л. р. ГБО 37. — Элемент *Веж-* представлен более чем в десятке гидронимов Поочья, большая часть которых выглядит как славянская (*Вежа*, *Веженка*, *Вежишня*, *Вежище*, *Вежное*, *Вежня*, *Вежать*, см. ГБО 66, 106, 128, 193, 268); иное дело — *Вежбол*, *Вежболка*, *Вежболовка*, *Вежбола* (ГБО 208); неясно — *Вежга* (ГБО 240). «Славянское» в *Вежовка* и под. несомненно, и его связывали обычно с *вежа* в значении 'грань', 'рубеж', 'межа' (еще в 1827 г. Макаров высказывал предположение: «Некоторые реки и ручьи, носящие имена вожи, важи, или вяжи, не переименовались ли из вежи, которая весьма близко подходит к известной нам меже и по тому уже, что всякая река и ручей сама по себе обозначают живое урочище, т. е. черту или градь какого-либо места?»). Разумеется, семантическая мотивировка выбора подобных названий могла быть и иной. Существенно, однако, что корень гидронима был *Вѣж-* (: *вѣжа*). Он дает основания и для попыток балт. интерпретаций этих названий, по крайней мере, определенной части. Соседство «раковых» названий (ср. *Вежище*. ГБО 128 — *Раковое*. ГБО 127; *Веженка*. ГБО 66 — *Раковой*. ГБО 61, 62; *Вежа*. ГБО 106 — *Раковка*, *Ракушка*. ГБО 112, 118 и др.) делает допустимым предположение-гипотезу о связи этих гидронимов с балт. названием рака, ср. лит.

*vėžys* (: *vėžiāuti*, *vėžinėti*), лтш. *vėzis*, ср. эстонск. балтизм *wähi* (к этимологии и, следовательно, к возможностям семантической мотивировки обозначения рака ср. LEW 1235–1236). «Раковые» названия в балт. гидронимии широко распространены, ср. лит. *Vėžys*, *Vėžius*, *Vėžių upėlis*, *Vėžupė*, *Vėžiupis*, *Vėžupis* (10 названий), *Vėžupis* (3 названия), *Vėžupys*, *Vėžus*, *Vėžius*, *Vėžukas*, *Vėžiškė*, *Vėžėlupis*, *Vėžežeris*, *Vėžgriovis*, *Vėžlankis*, *Vėžravis* (LUEV 192–193; Liet. hidr. 32, 33, 69, 175, 194, 195, 217, 228, 230–232, 256, 271; LHEŽ 376), ср. также топонимы *Vėžaičiai* (5 названий), *Vėžėliai* (3 названия), *Vėžėliai*, *Vėžiniškai*, *Vėžiūnys* (3 названия), *Vėžionys*, *Vėžiškės* (2 названия), *Vėžiškė*, *Vėžiškiai*; *Vėžiupiai*, *Vėžežeris*, *Vėžlaukis*, *Vėžėlaukis*, *Vėžiakiemis*, *Vėžiakojis* (LATSŽ 342); лтш. *Vėžu upe*, *Vėžupe*, *Vėžu valks*, *Vėžaunīca*, *Vėžovīca* (*Вежауница*, *Вежовница*), *Vėždūka* (Latv. UN 4, 53–54); *Vėži* (Latv. apdz. nosauk. 175); лтг. *Vėži*, *Веже*, *Veženki*, *Vežniki*, *Веженки*, *Вежнику*, *Wiežonki*, *Vėzs/Vėžu krugs*, *Vėža-krogs*, *Вежа-Круга*, *Vėžu-grīva*, *Veīžu-greiva*, *Vėža-jānis*, *Vežu-kalni*, *Vėža-koļns*, *Vėžukoļns* (PN Latg. 554–555), ср. днепр. *Вежня* (TŽ 1, 1923, 7, 41; ЛАВП 179), рядом *Вежечка*? К окск. *Вежга* ср., м. б., лит. *Vėžgė*, признаваемое неясным (LHEŽ 376). — {\**Vėž-*}.

**Шерна**, п. р. ГБО 37. Ср. *Шернадинка*, *Шернятка*, *Счернятка*. ГБО 37 и *Шерна*. ГБО 200, 269, а также *Шерна*, л. п. Клязьмы (Катал. Моск. губ. 1625). — Неясно. Хотя эти названия известны и в нижнем Поочье, в густом финноязычном окружении, гипотеза о балт. происхождении могла бы быть поддержана и в отношении словообразовательного гидронимического типа (ср. -ad-: лит. *Pil-adis*, *Sal-adis*, *Šil-adis*, *Maūč-iadis* и др. Liet. hidr. dar. 71–72; прусск. *Lang-odis*, *Keyt-yode*. APON 247 и др.), и в отношении корневой части: ср., с одной стороны, лит. *Šernupė*, *Šernupis*, *Šernupalis*, м. б., *Šerniokštis* (LUEV 163; Liet. hidr. dar. 89, 228, 230; LHEŽ 329); *Šernaī* (трижды), *Šerninė*, *Šerniškiai*, *Šernūpė*, *Šeřnupis*, *Šernupys*, *Šernū Būdà* (LATSŽ 302); лтг. *Серны*, 1784 (PN Latg. 451); прусск. *Sernaw*, 1419; *Serenappe*, 1420 (APON 155, 156); мазур. *Szernicke*, 1748; *Schernicke*, 1595 /Hennenb./ (Słown. nazw Mazur. II, 346); висл. *Szernicke*, в басс. Нарева (HW 534) — к лит. *šernas* 'дикий кабан' или, с другой стороны, лит. *Širnopis*, *Širnopys* (LUEV 165; LHEŽ 332), *Širn-iā-pievis* (Сведас.), — м. б., к *širnas* 'злой' (LHEŽ 332.) — {\**Šerna* или \**Širna* ?}.

**Кванка**, л. р. Долгуши. ГБО 37. — Скорее всего балтизм, видимо, ономастического характера. В основе, вероятно, лежит балт. *kvank-*, о несобранном, беспорядочном человеке, разине, о

соответствующей походке и манере речи (последнее — сфера звукопроизводства — могла мотивировать обозначение жабы, ср. лит. *kvānkė* [*Kad kvānkės kurkia, tai bus lietaus*. LKŽ 6, 1041]; в таком случае окск. *Кванка* еще один вариант «жабьих» вод, ср. тут же *Жабинка, Жабьина*. ГБО 38, поблизости *Жабка*. ГБО 40 и др.). Ср. лит. *kvānka, kvānkalas, kvānkynė, kvānkis, kvānkius, kvanklā, kvanklīs, kvānkus, kvānkšis* и др. при *kvānkti* 'слабеть' (в частности, о слабом течении), *kvānktis* 'толочься', 'тесниться', 'с трудом пробиваться', *kvānkinti, kvankinėti, kvanklinėti, kvankseti, kvanksoiti, kvānkteletė, kvānktelti* и др. (LKŽ 6, 1041–1043), также и междометия — *kvānkt, kvānkšt, kvankst*. Однако ни в литовской гидронимии, ни в литовской топонимии названий с этим элементом не отмечено. Правда, в латышском ареале подобные названия изредка встречаются, ср. лтш. *Kvaņķi, Kvacene, Kvaņkstes* (LV I, 2, 196), ср. лтш. *kvaņka, kvaņķis, kvaņcis, kvencis, kvaņkstēt, kvenkstēt* и др. (ME 2, 351; Erg. 689–690); лит. *kvaksėti*, лтш. *kvakstēt* обозначают, в частности, и кваканье лягушек (*Kvaksi kai varlē lūge; Toj varlē rakuokšt rakuokšt po lova ir kvaksi sau*. LKŽ 6, 1036); ср. русск. диал. *квѣкѣть, квѣкѣть* наряду с *квѣкать, квѣкать*, о лягушках (СРНГ 30, 157, 168–169). — Вместе с тем стоит помнить и о другой возможности объяснения окск. *Кванка* — из *\*Tvanka*, к лит. *tvankà* 'запруда', 'плотина' (ср. *tvānas* 'потоп' /: *tvanėti, tvanoti*/ и вост.-слав. балтизм — блр. *твань*, о топком, вязком месте; русск. *твань, тванья, твалья*, но и *квань* /!/, калуж. Даль; укр. *твань, тваль*. Слов. балт. 40; наличие калужск. *квань* примечательно и потому, что *Кванка* находится в калужских пределах). Элемент *tvān(k)-, tven(k)-* используется и в балт. гидронимии; ср. лит. *Tvankà* (: *Tvaniūs*), *Tvenktis* (к *tveñkti* 'запрудить'). LUEV 176; LNEŽ 351. Калужский гидроним *Квань* в свое время был объяснен Фасмером из лит. *tvānas* (Beitr. z. hist. Völkerk. Osteur. I, 1932). — *{\*Kvanka или \*Tvanka ?}*.

*Угра*, л. р. Оки. ГБО 37, ср. село *Угра*. — Эта река в басс. Оки оказывается отмеченной в ряде отношений. Прежде всего *Угра* (наряду с Москвой) оказывается самой длинной рекой в Верхнем и Среднем Поочье. Вместе с тем именно истоки *Угры* и ее верхнее течение вынесены далее всего к западу, и в этом отношении *Угра* резко выделяется среди других рек басс. Оки, текущих с запада на восток. *Угра* отличается и от других рек этого ареала своей исключительной извилистостью (количество изгибов, поворотов на единицу длины). Всё среднее течение *Угры* (собств., до ее поворота к югу, перед впадением в Оку) состоит из

таких изгибов; подобные изгибы характерны и для Москвы (от впадения Рузы до г. Москвы включительно), но протяженность такой части реки меньше, чем в случае *Угры*; тем более это относится к 3–4 сравнительно коротким участкам течения Оки. *Угра* единственная из крупнейших рек басс. Оки, которая практически не имеет производных от нее названий (единственное исключение — *Угорская*. ГБО 38) и ни разу не повторяет здесь своего названия. Наконец, в этом ряду стоит отметить и сложность этноязыковой интерпретации названия *Угра*. Что касается последней, то сразу же следует исключить как несостоятельное иногда встречающееся в литературе мнение о связи *Угра* с этническим названием угров (др.-русс. *угре*, ср. также и *югра*), о котором см. Урал. ЯН 33–35. Другое предположение — о связи названия реки с и.-евр. продолжениями корня *\*uegʷ-: \*ugʷ-* с расширением *-r-* (ср. др.-инд. *ugrā-* 'могущественный': *úḡṣati* 'расти' /при *ukṣāti* 'орошать', 'обрызгивать', 'осемять'/, др.-греч. *ὕγρος* 'влажный', 'сырой', 'текущий' /о воде/, ср. также лат. *ūmor* <*\*ūgʷ-smos* и др.) — не может быть сколько-нибудь доказательно отвергнуто, но оно ставит в тупик исследователя ввиду полной неясности относительно того этноязыкового элемента, которому это название принадлежало. Ни в балт., ни в слав. продолжатели этого и.-евр. корня в такой форме не отмечены, и поэтому указанное предположение на этом этапе исследований следует признать слишком абстрактным (Griech. u. Alteur. 409). Наиболее очевидной реальностью нужно считать явление ареального характера — наличие соответствий (тоже единичных) окск. *Угра* на совр. балт. территории, что увеличивает количество уже отмечавшихся «калужско(окско)» — балтийских гидронимических параллелей. С балт. стороны в качестве таких параллелей можно назвать лит. *Ugra*, река в р-не Обеляй (LUEV 177; LNEŽ 352) и лтш. *Ugraja*, луг. *Ugrīņup*, река (LVK); лтш. *Ugra*, река (Latv. UN 4, 40) может быть заподозрено в аутентичности из-за варианта *Urga* (ср. *Urga, Caunupīte*. Latv. UN 1, 35), но, с другой стороны, апеллятивный характер *urga* ('ручеек', 'ручей') и широкая употребительность этого элемента в латышской гидронимии и топонимии дают возможность естественного объяснения замене *Ugra* на *Urga* (нельзя также исключать, что название *Ogre, Uogre* [*Ugra* находится именно в этом районе], хотя бы косвенно, свидетельствует в пользу первичности варианта *Ugra* в том, что касается последовательности согласных). Эти вост.-балт. гидронимы (лит. *Ugra*, лтш. *Ugrīņup, Ugraja*) Ванас предположительно («Gali būti») считает финноугризмом, ссыла-

ясь при этом на Серебренникова (ВЯ, 1970, № 1, 58 /нужно — 50/), приводящего к *Угра* параллель на Севере России — *Угреньга*. В целом «финно-угорский» характер *Угра* (прежде всего окской) спорен, и обращение за ответом в эту сторону определяется прежде всего не столько положительными данными финно-угорских языков, сколько неясностью и/или недостаточной надежностью иных, более близких объяснений. Как бы то ни было, положение не представляется столь уж сложным, и сами сложности, кажется, имеют свой основной локус не в истолковании гидронима *Угра*, но в более широком круге этимологических вопросов. Как минимум приходится признать «балтийскость» названия *Угра* хотя бы в том плане, что окское название имеет точные соответствия именно на балт. территории и только на ней. Но, естественно, есть основания пытаться обнаружить «балтийскость» названия *Угра* и в более интенсивном, генетическом плане. Прежде всего в этом случае следует обратить внимание на русское название реки, выступающей как лтш. *Ogre*, *Üogre*, п.р. Зап. Двина (нем. *Oger*), — *Угр* (ср. RR III, 543). Из этого соотношения следует, что русск. *Угр*- реально могло передавать старую балт. форму, стоящую за *Ogre*, *Üogre*, т. е. \**angur*- 'угорь' (позже вытесненное словом *zutis* в лтш.), ср. лтш. *Añģeri*, *Añgar*, *Añģer* (LV I, 1, 30; лит. *Angeringis*, луг); *Ēņgure*, река, *Engur-up*, *Ēņģers-up*, *Ēņgures*- или *Ēņguru-ežers*; *Ēnguri*, *Ēņģer-gals*, *Ēņgur-ciems*, *Ēņgurnieki* (LV I, 1, 274; ė- < a-), ср. *Cersangere*, *Angere* (Grenzen 135, 188); куршск. *Angere*, 1253, stagnum; ср. *die andersche see*; *an der Angerschen See*; *Angherbeke*, 1353 (KF 206); прусск. *angurgis* 'угорь' [= *anguris*], *Angerow*, 1305; *Angerap* (APON 10); трудно сказать, относятся ли сюда же *Wogrym*, 1258, *Wogirim*, 1322, *Wugerim*, 1322, *Wagram*, 1519, позже — *Wogram* (APON 206); лит. *ungurys* 'угорь' (< \**angurys*), гидронимы *Ungurys*, *Unguraitis*, *Ungurinis*, *Unguriškė*, *Ungurupė* (LUEV 177; Liet. hidr. dar. 31, 77, 159, 175; LHEŽ 353); *Unguriai*, *Ungurinė*, *Ungurynė*, *Unguriškė*, *Unguriškės* (LATSŽ 323). Вероятно, сюда же нужно отнести названия нескольких поселений в Витебск. и Гродненск. обл. — *Угрынь*, *Угрыньки*, *Угрыни* (Кратк. топ. слов. Белор. 382). Если же *Угра* связана с этими балт. гидронимами, восходящими к \**angur*-/\**anger*-, и, следовательно, обозначается как «река угрей», то идея поиска в этом названии финно-угорского наследия отпадает, поскольку само балт. название угря было заимствовано рядом этих языков (ср. финск. *ankerias*, эст. *anger/as*/, *angerias*, *angerja*, ливск. *aņģār*, *aņģrāz* и др., но вепск. *ugar*, *ugar̄kala*). В этой перспективе, возможно, заслуживают внимания окск. *Ун-*

*кар*, *Ункор*, *Ункорка* (ГБО 190–192, 232–233). Существует и более широкий «внутренний» контекст названия *Угра*, если верна семантическая мотивировка его. Речь идет о примерах подобных названий с анлаутом V-: ср. прусск. *Wangrapia* при *Angrapia*, *Angerap* (APON 195), *Wangerithen* (APON 194) или лит. *ungurys* 'угорь' при *vingurys* с тем же значением (: лит. *vingrūs* 'извилистый', 'изворотливый', *ving(r)is* 'изгиб', *vingiūoti* 'извиваться', 'петлять' [ūpė vingiūoja или vingiūotas upėlis], 'змеиться', прусск. *wingriskan* 'обман', 'коварство'; в этом случае славянские примеры типа русск. *Угорь*, ц.-слав. *хгориць*, словен. *ogor* с.-хорв. *ūgor*, чеш. *úhoř*, но польск. *węgorz*, в.-луж. *wuhoř* и др. лишь внешне соответствуют балт. ситуации. В басс. Оки дважды отмечено название речки *Выгорка* (ГБО 46, 74), причем один раз в басс. Угры, — что дает некоторые (впрочем, довольно слабые) основания допускать исходную форму \**Выгорка* (: *Угра*). — О попытке связать название *Угра* с языком носителей фатьяновской культуры, близким балтийскому, ср. Zur Frage 497–498. — {\**Ugra*}.

**Добрица**, л. р. ГБО 38; здесь же р. *Добричка*, дер. *Добрица*, *Добричка*; ср. также в Поочье *Добренка* (ГБО 39, 105), *Добренья* (ГБО 224), *Добринка* (ГБО 26, 42, 95), *Добричка* (ГБО 38, 43), *Добрынка* (ГБО 15, 26, 39, 89, 100), *Добрынской* (ГБО 15), *Добрынь* (ГБО 75), *Добрянка* (ГБО 40, 41). — Наряду с возможностью объяснения из слав. \**Dobr*- или \**Dabr*- с разными суфф., нельзя исключать и предположений о балт. происхождении этих гидронимов — из \**Dabr*- или \**Dubr*-, о чем см. Балт. элем. I, 159–160, 171 и др. — {\**Dabr-ik*- или \**Dubr-ik*-}.

**Бушенка**, л. р. ГБО 38; здесь же о. *Бученской*, дер. *Бушня*; в непосредственном соседстве — *Бушавка* (ГБО 39). — Исходная неясность — источник второго согласного — вынуждает считаться с двумя вариантами — *Buš*- и *Buč*- : *But*-, каждый из которых не исключает и «балтийских» объяснений. В первом случае ср. лтш. *Bušene*, рл., *Bušenieki*, *Bušani*; *Bušavas-ežers* (: *Бушавка*), *Buševu-ežers*; *Buša*, *Bušas*, *Buši*, *Buši-majas* (LV I, 1, 148, ср. *Būši*, *Būšnieku-ciems* /?/ I, 1, 152; ср. Latv. apdz. nosauk. 30); лтг. *Бушанишки*, *Buseniški*, *Buseniškas*; *Бушаки*, *Бушеки* (при озере *Бешене*, 1784); *Бушовка*; *Буш*, *Буша*; *Буши*, *Buši*; *Bušiški* (вар. — *Buciškas*, *Butiški*, *Бутишки*), *Buszyski*, 1765 (PN Latg. 70, 74); лит. *Бушайти* (Спрогис 33) и др. Во втором — лтш. *Buča*, *Buči*, *Buču-krumi*, *Buču-kruogs*, *Butschene*, *Bučiņkruōgs*, *Bučin-lūcis*, рл. (LV I, 1, 138–139; ср. *Būcēni*, *Būcis*; *Būc-ṗlava*, *Būc-puōrs*; *Būcene*; *Būčas*, *Būči*. I, 2, 150 /?/); лтг. *Buciniki*,

*Bucenieki, Бутиники, Буценек, Буценики; Buciniškas, Buteniški, Butiniški, Buciniški* и др. (PN. Latg. 70); лит. *Bučiaī, Bučionai, Bučionys, Bučiškė, Bučiskiai, Bučiūnai, Bučėliai, Bučėliškė; Būciškė, Būciniškė*, а также топонимы с элементом *But-* (LATSŽ 40–41, 45–47; следует еще раз подчеркнуть, что принадлежность части этих названий к «владельческим», произведенным от личных имен, не может быть негативным свидетельством в отношении «малых» гидронимов: речь идет прежде всего о самом типе языковых образований, но в ряде случаев допустимо думать и о более прочной связи, отсылающей к имени того, с кем связывался тот или иной топонимический или гидронимический объект, что в свою очередь может рассматриваться как существенный хронологический критерий); *Bučīņ upēlis, Būc-upelis* (LUEV 22; LHEŽ 71–72); прусск. *Butszeyn*, 1419 (APON 25, ср. nom. propr. *Butcze*). — Ср. Балт. элем. I, 161, 165. — {\**Buš-en-/in-*, \**Buč-en-/in-*, \**But-en-/in-*}.

**Селиченка**, л. р. ГБО 38, вар. — *Селеченка*, здесь же дер. *Селечина, Селитьба, Селибка (Селинка)*. — Ср. также в Поочье, в частности, по соседству *Селенка* (ГБО 31, 46), *Селенинь* (ГБО 41), *Селена* /?/ (ГБО 170), *Селенское* /?/ (ГБО 125), *Селин* (ГБО 155), *Селена* (ГБО 90, 155), *Селинка* (ГБО 45, 47, 62, 155), *Селинской* (ГБО 43, 62, 127, 138, 150, 213), *Селибенка* (ГБО 35), *Селитинка* (ГБО 116), *Селитенское* (ГБО 128), *Селитчина* (ГБО 97), *Сельна* (ГБО 25, 31, 62), *Сельня* (ГБО 31), *Селна* (ГБО 85, 170), *Селня* (ГБО 88, 170), *Селянка* (ГБО 116), *Селятинка* (ГБО 116); м. б., *Силенка* (ГБО 117, 215), *Силино* (ГБО 147, 191, 232), *Силинской* (ГБО 75), *Силиченка* (ГБО 30). — Ближайшие параллели — лтш. *Sēlīte, Sēllīte; Sēlīte* (Latv. UN 4, 9; LVK). — О других примерах гидронимов с корнем *Sel-*, *Sil-* см. Балт. элем. II, 48, 49, 54; Б.-сл. сб. 234, 252 и др. — {\**Sel-it-en-/in-*; менее вероятно — \**Sil-it-en-/in-*}.

**Светинка**, дважды в басс. Белевки, л. р. Угры (ГБО 38). — Наряду с объяснением из слав. источников (\**svět-*) возможно и предположение о балт. происхождении. При этом речь могла бы идти о двух вариантах соотношения этого гидронима с балт. фактами, один из которых исходит из связи с балт. \**švait-* (\**šveit-*): \**švit-* : \**šviet-*, соотв. \**svait-* (\**sveit-*): \**svit-* : \**sviet-*, а другой — из связи с балт. \**švent-*, соотв. \**svent-*. При выборе из этих возможностей существенно учитывать общую ситуацию — исключительную скудость «светлых» вод в Поочье (всего несколько примеров — *Светлое, Светелка, Светец, Светой* /?/, *Светцовка* /?/. ГБО 39, 76, 202, 225, 227, расположенных к тому же в основном

существенно ниже по течению Оки; напротив обильны «темные», «черные» воды, ср. ГБО 386, 396–397), с одной стороны, и, с другой, широкое распространение «святых» вод, которые, однако, за одним-двумя исключениями (*Святой*. ГБО 71, ср. *Святцовка* — *Светцовка*. ГБО 39) именно в Верхнем Поочье отсутствуют. Соответственно *Светинка* могла бы объясняться из тех же источников, что и балт. «светлые» гидронимы типа лит. *Svaitūtas, Svaitūtas, Svaitūtėlė, Svaitiņgis; Švitinys, Švitinis, Švitūkas, Svitōžis* (ср. блр. *Свiтязь*); видимо, *Svetūs* (< \**Svietus*), *Šveistė* и др. (LUEV 158, 170; Liet. hidr. dar. 88, 125, 165, 168, 211; LHEŽ 322–324, 338); лтш. *Svite, Svitene, Svumene, Švitene* (ZfslPh. 11, 1934, 149; Latv. Un 4, 30, 33); прусск. *Switthe*, 1344, позже — *Schwitten* (APON 180), или же балт. гидронимов со значением 'святой' — типа лит. *Šveintas, Šventė, Šventėlė, Šventėlis, Šventišius, Šventoji, Šventainė, Šventupė, Šventupis, Šventūpis, Šventupys, Šventvandenis, Šventežris, Sventiniņķu ēžeras* и др. (LUEV 169–170; Liet. hidr. dar. 50, 51, 56, 62, 73, 89, 114, 116, 117, 172, 178, 247, 249, 250–252, 256, 265, 270; LHEŽ 337–338); лтш. *Sventāja (Свентая), Sventaja, Sventoje; Svete (Свенте); Sventoja* (Latv. UN 4, 28); куршск. *Swente*, 1387, *Swenthe, Swence* (к значению ср.: *fluvius Heiligena*, 1328 и др.); *Schwente*, 1502; *Swentale*, 1390 (KF 171–172); прусск. *Swent*, XV век; *Swentyn*, 1297, *Swentin; Swentegarben*, 1351 (APON 178–179) и др. Особенно показателен в связи с *Светинка* гидронимический тип, представленный, с одной стороны, лит. *Švitinis, Švitinys*, лтш. *Svitene, Švitene* и, с другой, прусск. *Swentyn*, лит. *Šventiniņķu ēžeras* и др. В случае связи с балт. названиями «святых» вод возможно думать или о своего рода субституции типа \**Svent-in/\*Svent-in-> Светинка* (ср., однако, о возможности \**Šventytė* > \**Святица* > *Svetyčià* LHEŽ 323), или о таком же преобразовании \**svent-*, какое имело место в латышском, ср. *Svete, Svēupe, Svētupīte, Svētaine (Светайне), Svētavots* и под. (Latv. UN 4, 28–29). — {\**Svet-in-*, \**Sviet-in-*, \**Sve(n)t-in-?*}.

**Солянка**, р. в левобережье Угры. ГБО 38; в непосредственном соседстве *Солна, Солка*, ГБО 38, 39, далее *Солной*. ГБО 59, 251, *Солинка*. ГБО 119 и др. — Наряду со слав. источниками этого гидронима можно думать и о балт. \**Sal-in-* (Б.-сл. сб. 248; ср. ЛАВП 209), ср. лит. *Salinė, Salinėlis, Salinis*, а также *Sālantas, Salā* и др. (LUEV 141; Liet. hidr. dar. 36, 71, 79, 81, 93, 144, 159, 185, 190, 271; LHEŽ 287–288); лтш. *Salīņupīte, Saliena, Saļanka, Saļanka, Salija* и др. (Latv. UN 4, 5, 18); лтг. *Salīņa, Salīņi; Saleņu az., Saliniki, Salenieki, Salīši* и др. (PN Latg. 441–442);

куршск. *Salene*, 1253, *Zalnen*, 1338 (KF 151) и др.; мазур. *Salent See*, *Sallanten*, *Sallen* (Słown. nazw Mazur. II, 174); висл. *Salno* (HW 702, 764) и т. п. — {\**Sal-in-*}.

Угорская, л. р. ГБО 38, см. выше *Угра*.

Капорка, л. р. Угры. ГБО 38, ср. *Капорка*. ГБО 214. — Неясно. Наряду с объяснением их слав. источников (ср. *копѣрка*, *копѣрко* и под. СРНГ 14, 293), допустимо рассмотрение этого гидронима и под балтийским углом зрения. В этом случае ср. прусск. *Caporne*, 1287, *Capurne*, позже — *Caporn*; *Sur-kapurn*, 1315, *Sur-kepurn*, *Sur-ken-purn*; *Sor-kapurn*, 1360, *Sor-kaporn* (APON 56, 177; Пр. яз. III, 214–215); лит. *Kapūrna* (Draugija 83, 268); лтш. *Kapura* (Latv. Un 2, 14), но и, видимо, *Kāpur-kalns*, *Kāpurs*, *Kāpara-kalns* (элемент *-par-*, *-pur-* иногда объясняют и из *purv-*); ср. также *Kap-kalns* и под. (IV I, 2, 47, 84–85); лтг. *Karparkalns*, *Kapari* (PN Latg. 198); мазур. *Koperniczka* и др. (Słown. nazw. Mazur. II, 143). В основе этих балт. гидронимов и топонимов — апеллятивы, ср. прусск. *caperne*, место погребения у старых пруссов, лит. *kapūrnas* 'возвышенное место, поросшее мохом', *kapūrna*, *kapurnė* 'могила', *kapurniai* 'кладбище' и др., т. е. образования с довольно редким суфф. *-ur-*, расширенным элементом *-n-* (ср. лит. *kāpas*, лтш. *kaps* без суфф.). К семантике ср. окск. *Могильня*. ГБО 44, 86; *Могильянка*. ГБО 250; *Могильной*. ГБО 240; *Могилка*. ГБО 250 и др., а также *Кладбище*. ГБО 203; *Кладбищенской*. ГБО 238. Впрочем, возможны и другие объяснения. — {\**Kap-ar-*}, {\**Kap-ur-*}.

Турейка, л. р. Угры. ГБО 38, ср. также *Турейка*. ГБО 97. Ср. выше *Туря* (Балт. элем. I, 172–173; II, 56). — {\**Taur-eik-*}.

Сарочка, л. р. Турейки. ГБО 38, вар. — *Сорочка*. — Ср. *Сарочин* (ГБО 22), *Сарочинка* (ГБО 107), *Сарочинской* (ГБО 114); *Сороча* (ГБО 35), *Сорочка* (ГБО 35, 38), *Сорочинка* (ГБО 74, 112), *Сороченка* (ГБО 107). — См. Балт. элем. II, 65, — {\**Sar-t-ia*}, {\**Sar-at-ia* (?)}

Солка, л. р. Угры, Солна. ГБО 38, ср. выше *Солянка*.

Сельчанка, л. р. Чернавки. ГБО 38. — Ср. *Сельчанка* (ГБО 93), *Селиченка* (ГБО 30, 39, 45) и др. — См. Балт. элем. II, 48 и др. — {\**Sel-it-en-*}

Верговка, л. р. Оки ГБО 38; здесь же дер. *В. Вергова*, *М. Вергова*. — М. б., сюда же *Верыгинка* (ГБО 39) и некоторые другие названия. — В основе этого названия помимо слав. источника могут лежать и продолжения балт. *\*Verg-* или *\*Virg-*. В первом случае ср. лтш. *Vėrgupe*, *Vėrgupis*, *Vergulica* (Latv. Un 4, 52); лтг. *Verguleckoj* (PN Latg. 551); лит. *Vergilālė* (LUEV 191); прусск.

*Wergelin*, 1411–1419, м. б., *Wergenow*, 1255, но позже — *Wargenaw*, 1398, *Wargenau*, 1504 (APON 199) и др.; ср. лит. *Ver-gūčiai* (LATSŽ 341); блр. *Вергаў* (Мікратап. Бел. 42) *Вердзялішкі* (Літоўск. элем. 17); во втором случае — лтш. *Virga*, *Virgulīca*, *Virgulīca* (Latv. Un 4, 59), *Virdzīte*, *Virdzes* с. (LVK); лтг. *Wyr-gulica* (PN Latg. 573); лит. *Viřgė*, *Virgupis* (LUEV 198; LHEŽ 387; Liet. hidr. dar. 62); *Virgainiai* (LATSŽ 348) и др. Последние примеры, как предполагается, связаны с лтш. *virga* 'заболоченный дуг', лит. *virgėti* 'мерцать', 'пестреть'; 'шевелиться', 'двигаться' (ср. *virginti*), что, м. б., объясняет и глагольную форму во фразе *sudraba upite gačām virdz*. Гидронимы с корнем *Verg-* могут отражать апофонический вариант с нулевым вокализмом того же самого корня (ср. *vėrgti* — *pa-virgti* — *vařgas*), но могут, конечно, быть связанными с тем же корнем, что в лит. *vėrgti*, *vergėti*. — {\**Verg-*}, {\**Virg-*}.

Гордота, л. р. Угры. ГБО 38. — Вероятно, балтизм: из *Gard-* с суфф. *-at-*; о суфф. *-at-* см. Liet. hidr. dar. 97 (ср. лит. *Am-atà*, лтш. *Am-ata*; лит. *Rob-atà*, прусск. *Rob-otthen* и т. п.). К корню *Gard-* ср. лит. *Gārdupis*, *Gārdinas*, *Gārduva*, *Gārdena*, *Gārdėliai*, *Gārd-a-balė*, *Gardai*, *Gārdas* и т. п. (LUEV 43; Liet. hidr. dar. 118, 127, 132, 155, 212; LHEŽ 106–107); лтш. *Gārde*, *Gārdite*, *Gārdene*, *Gārdele*; *Gardupe*, *Gardenas-upite*, *Gardauņa* и т. п. (LV I, 1, 297, 307; Latv. Un 1, 60); лтг. *Gardauņas ez.*, *Gardupes*, *Гардова* (PN Latg. 138); куршск. *Garde*, 1253 (KF 100), ср. LKK II, 1959, s.v.). — {\**Gard-ata*}.

Окатовка, л. р. Гордоты. ГБО 38, ср. 222; *Акатовка*. — Ср. также *Акатовская* (ГБО 43), *Акатов* (ГБО 120), *Акатовской* (ГБО 167). — Вероятно, балтизм. Ср. лтш. *Akatu-ezers*, *Akatis*, *Akates*; *Akacis ez.*, *Akac-pūrs*, *Akačpurvs*; *Akaši*, *Akašu-purvs* и др. при *Aka*, *Aka-purvs*, *Aka-straits*, *Aka-ļaviņa* и т. п. (LV I, 1, 13; мнение о финноязычном происхождении представляется сомнительным); лтг. *Акомы*, *Akati*, *Akates*, *Akatnieki*, *Akatniki* (PN Latg. 9); прусск. *Akicz*, 1349 (: лтш. *Ace*), но особенно *Akotin*, 1294 (APON 8, с сомнительным истолкованием), к лтш. *aka* 'колодец', жем. *akas* и т. п. — {\**Ak-at-*}.

Чеусенской, руч., Чеусен, оз., в басс. Окатовки. ГБО 38. — Ср. также *Чеусовская* (ГБО 142), *Чеуховка* (ГБО 95)? — Неясно. Элемент *-ус* скорее всего отсылает к той этноязыковой среде, которой обязаны распространенные в том же Поочье, но существенно восточнее, названия на *-ус* типа *Киструс*, *Калдус* и под. Но положение гидронимов *Чеусенской*, *Чеусен* в Поочье и расширение *-ен-* дают известные основания для проверки их на бал-

тийскость. Эмпирически речь могла бы идти об источнике, подобном непосредственно лит. *Čiáuša* (ср. *Човша*. Спрогис, 326), ср. LUEV 25; LHEŽ 77, или тем формам, которые ему исторически предшествовали, т. е. \**Kiauša* и т. п., ср. *Kiaušai*, *Kiaušagalys* (LATSŽ 132), *Kiauš-kalns*, но особенно *Kiaušinē* (\**Čaus-in-*, \**Čeus-in-* > \**Чauc-ьн-* > \**Чaucен-*), к *kiáušas* 'черепа', *kiaušinis* 'яйцо' (согласно Ванасагу), но, вероятно, скорее к *kiaūsti* 'хиреть', 'чахнуть', 'перестать расти', *kiaūšinti* 'тащиться', 'волочиться', 'плестись' (и то и другое значение довольно обычно мотивируют наименования еле текущих, с трудом пробивающих себе путь рек); впрочем, предлагаемое объяснение не отвергает предыдущего, но является более точным и интересным в пределах данного выбора. Ср. также лтш. *Čaušauka*, река (м. б., *Čauši*); *Ķāūsa*, *Ķāūsis*, *Ķāūši*, *Ķāūš*, *Ķāuselī* (LV I, 1, 178; I, 2, 199), но и *Kāūši*, *Kāūšelī* и т. п., *Kāuša-purvs*, *Kauš-ezers* (LV I, 2, 69: сюда же, разумеется, и лит. *Kaušỹs*, *Kaušelis*, *Kāuš-upis*, *Kauš-ežeris*, *Kaušāpelkēs upēlis*. (LUEV 71; Liet. hidr. dar. 69, 117, 245; LHEŽ 150); *Kaušiai*, *Kaušiniai*, *Kāušai*, *Kāušai*, *Kāušėnai*, *Kāušiškės* и под. LATSŽ 127); возможно, сюда же прусск. *Kewsis*, озеро, 1354; *Kausis* (APON 62). — {\**Čaus-in-*, \**Čaus-in-*; \**Kaus-in-*, \**Kauš-in-*}.

Колденка, в басс. Угры. ГБО 38; м. б., сюда же *Калдинское* (ГБО 128). — Если не из слав. (ср. *Колоденка*. ГБО 86; *Колоденской*. ГБО 85, 141; *Колодин*. ГБО 192; *Колодной*, *Колодний*, *Колодное*. ГБО 127; *Колодня Б.* и *М.* ГБО 85, 141 и т. п.), то напрашиваются балт. параллели. Ср. прусск. *Kalden*, 1289; *Kaldeyn*, 1331, *Kalideyn*; *Calden*, 1333; *Caldina*, 1333, позже — *Kallen* (APON 53); лтш. *Kāldenica* (LV I, 2, 12); лит. *Kāldinės*. Латышскую форму Эндзелин пытается объяснить (со знаком вопроса) из эст. *kaldene* с идеей обрывистого, ниспадающего движения. Не исключена, однако, видимо, и гипотеза о связи с *kald-* (: лит. *kāldinti*), от *kālti* 'ковать', 'долбить'; 'обтесывать' (в частности, камни — *kāldinti*. LKŽ 5, 128). Ср. в Поочье *Долбилов*, *Долбиловка*, *Долбиловская*, *Долбиловский* (ГБО 31, 83, 143) и т. п. — {\**Kald-en-*, \**Kald-in-*}.

Добренка, л. р., в басс. Угры. ГБО 39, вар. — *Добрынка* (рядом сельцо *Доброе*, *Добря*). — Проблема выбора между объяснениями из слав. и балт. в подобных гидронимах как в Поочье, так и в басс. Верхнего Днепра, стоит и в связи с *Добренка*. См. Балт. элем. I, 159–160. — {\**Dabr-en-/in-*, \**Dubr-en-/in-*, в балт. перспективе}.

Корея, п. р. Угры. ГБО 39, вар. — *Карейка*. — Возможно обсуждение реконструкции исходной формы в виде \**Kurēja* (: \**Kur-eik-a*),

которая на слав. почве дала бы \**Кърѣя* (: \**Кърейка*) > *Корея* (: *Корейка* > *Карейка*). Такая реконструкция подтверждалась бы отчасти наличием в Поочье гидронима *Курей* (ГБО 145), а отчасти балт. параллелями (в частности, и на вост.-слав. территории, ср. *Курейка*, л. п. Осьмы, в басс. Днепра, см. ЛАВП 191), ср. прусск. *Koreyn*, 1373; *Careynen*, 1378; *Caryne*, 1396; *Kureyn*, 1405, позже — *Correynen*; ср. *Korieyten*, 1396; *Koreyten*, 1397; *Kurieyten*, 1405 и др., но и *Curicken*, 1460; *Curow*, 1297 (APON 70, 76, 77); лит. *Kurỹs*, *Kurēlis*, *Kurėnų upėlis*, *Kurėnų ežeras* (LUEV 84; LHEŽ 173–174); лтш. *Kurēns*, *Kurele*, *Kurelis*, *Kuriņas* (LV I, 2, 179), ср. лит. *Kuriniaī*, *Kurėnai* и т. п. Как некий ресурс должны быть учтены и балт. гидронимы с долгим вокализмом корня, ср. лит. *Kūrà*, *Kūris* (LUEV 84; LHEŽ 173–174); лтш. *Kūra*, *Kūra-plate*, *Kūrāni*, *Kūrēni*, *Kūriņš*, *Kūriņa-ezers*, *Kūrītis ez.* (LV I, 2, 189); лтг. *Kūrēni*, *Kūrāni*; *Kūriņa ez.* (PN Latg. 258) и др. — {\**Kur-ēja*, \**Kur-eik-a*}.

Неделька, Неделка, в басс. Угры. ГБО 39. Сюда же окск. *Недна*. Возможные балт. соответствия см. Балт. элем. I, 161–162; ЛАВП 199.

Деменка, п. р. Дебри. ГБО 39. — Возможно, к лит. *Dėmė*, *Diemė*, *Dėmenas*, *Dėmenas* (LUEV 29; Liet. hidr. dar. 132; LHEŽ 84); прусск. *Demita*, 1301 (APON 27). — Связывают с лит. *dėmė*, о загрязненном, запачканном месте (LKK 5, 1962, 194). — {\**Dem-en-*}.

Бушавка, п. р. Дебри, с. *Бушава*. ГБО 39. — См. выше *Бушенка*.

Вобста, л. р. Угры. ГБО 39. — Если этот вариант аутентичен (другие названия этого гидронима — *Волоста*, *Вольста*, *Волста*), то напрашивается сравнение с днепр. балтизмом *Обста*, вар. — *Обеста*, *Обуста*, *Абеста* (см. ЛАВП 175, 199). Ср. лит. *Adistà*, *Abisdrà* (\**Abis-dra*, см. LKK 3, 1960, 291, или \**Abist-ra*) (LUEV 1; LHEŽ 35); м. б., сюда же лтш. *Abaiņa*, *Abaine*, *Abaiņa-ēzers*; *Abava* (LV I, 1, 1; Latv. UN 1, 7); куршск. *Above*, 1338 (*Aboam...* *Aboae*, 1237). KF 73; прусск. *Abinge*, 1364 (APON 7). — {\**Abista*}.

Волста, л. р. Угры, вар. — *Вольста*, *Волоста*, *Вобста* (см. выше. ГБО 39; тут же с. *Волста*. — Ср. также *Волостя* в верхнем правобережном Поочье при преобладающих вариантах с суфф. *-om-*: *Волоть*, *Волота*, *Волотя*, *Волотя*, ср. дер. *Волоть* (ГБО 84). — Несомненный балтизм, хотя некоторые детали допускают возможность разных объяснений (объяснение Б.-сл. сб. 1972, 224 / \**Val-asta* и под./ сейчас едва ли можно считать удов-

летворительным). В основе названия *Волста*, *Волоста* и под-скорее всего лежит балт. обозначение болотистого места, заросшего ольшанником, имеющее форму *alū(k)st-* (ср. *alūksn-*: лтш. *aluksna*, *aluksnis*, при *āksna*, *āksne* и под., лит. *āksna*, *alksnā*. LKŽ 1, 104; *Aluksne* : *Alūksne* : *Al/u/ksna*. ME I, 67–68; EH 67–68). Эта исходная форма на слав. почве могла давать или *Олыста* (< \**Alū/k/sta*), или *Волста*, *Волоста* (< \**Ol̥sta* < \**Alu/k/sta*). Первая разновидность (*Олыста*) реально представлена топонимом из Псковской II летописи (под 6792 г.) при лтш. *Alūksta*, *Aluiste*, XIII в. (Grenzen 98), но и *Alūksne* (к мене *-st-* : *-sn-*), см. RR I, 500; II, 108; III, 500, 501, 511, 535, 625, 638, 880–881, 890. Ср. также лтш. *Aluokstes*, *Alūkstes*, *Alūksti*, *Aluokste*, река, *Alostanotachos*. Kurl. SB 1880, 71 (вероятно, *Aluosta nuotaks*), *Aloxy*, 1811 (LV I, 1, 24; Latv. Un 1, 14); куршск. *Aloiste*, 1338; *Alouste*, 1338; *Allauxte*, 1350; *Alloesten*, 1350; *Alostanotachos*, 1230 (KF 76). Вторым вариантом (*Волста*, *Волоста*, ср. также не вполне ясный гидроним *Волостенія*, в басс. Стыри, Ровенск. обл., где, в частности, известны и другие балтизмы) предполагает балт. форму с кратким вокализмом \**alu/k/sta* (к протетическому *V-* в названиях от этого корня, ср. лтг. *Olksna*, но и *Volksna*, *Олксна* — *Волксна* (PN Latg. 349, 562), ср. *Aluksne*; ср. и третий вариант вокализма — лтш. *Alouste*, 1338 (Grenzen 446), *Aluokste*, *Alaūksts* (: русск. *Алыстѣ*. Grenzen, 98) и т. п. — {\**Alu/k/sta*}.

**Уропинской**, озеро. ГБО 39. — Неясно. Ср., однако, лит. *Ūr-upis* (LUEV 180; LHEŽ 355; ср. также *Ūr-upiai*, луг). Ванагас связывает первый элемент с лит. *ugas* 'старый', 'бывший', целое *ur-upė* обозначает старицу, ср. в том же значении лит. *sėn-upė*, *sėn-vagė*. — {\**Ur-up-in-?*}.

**Солка**, см. выше *Солна*, *Солянка* и др.

**Залазенка**, п. р. Светелки. ГБО 39. — Возможно, балтизм. Ср. днепр. *Залазенка*, *Залазинка*, *Залазна*, *Жалож*, *Жалижка*, *Жилжа*, *Жиложка*, *Жилжанка* (ЛАВП 187, 188), которые рассматривались как слав. адаптация балт. «железных» вод. Ср. лит. *Gelėžė*, *Gelėžis*, *Geležinis*, *Geležiuikas*, *Geležius*, *Geležis*, *Geležė*; *Gelėž-upis*, *Gelež-upis*, *Gelež-ravis*, *Gelž-upis*, *Gelež-upis*, *Geležin-upis*, *Geležyn-upis* (LUEV 45; Liet. hidr. dar. 62, 63, 65, 68, 69, 127, 160, 193, 234, 237, 243, 275; LHEŽ 111, 112); лтш. *Dzelzupe*, *Dzelzupīte*, *Dzelzs vārti*; *Dzelze*, *Dzelzskalns*, *Dzelzsupīte*, *Dželzu-straits*, *Dzelzu-upe*, *Dzelžu-purvs*, *Dzelzupe* и т. п. (LV I, 1, 252–253; Latv. UN 1, 50–51); лтг. *Dzelziši*, *Dzelzupe*, *Dzelzupe*, *Dzelža-kaļns*, *Дельжа-Ворты*; *Dželzupe*, *Дзельзупе*, *Dzaldzupia* и др. (PN Latg. 120, 121) и т. п. — {\**Gelaž-in-*, \*(*D*)*zel-az-in-/-en-*}.

**Матарушка**, л. р. Озеренки, п. р. Угры. ГБО 39, здесь же село *Маторы*, *Матары*. — Ср. также *Маторин* (ГБО 58), *Матра* (ГБО 195), *Матырка*, *Матыринской*, *Матырской* (ГБО 160, 191), *Мотра*, *Мотря* (ГБО 195), *Моторинка* (ГБО 79). Возможно, сюда же — *Матренка*, п. п. Ламы; *Матренка* п. п. Ламы; *Матренская* (ГБО 125), см. Б.-сл. сб. 1972, 233. — Заслуживает внимания возможная балт. перспектива. Ср. лит. *Matarà*, *Mataròs ēžeras*, *Matarū ēžeras*, *Matarūcių ēžeras*, *Matarūcià*, *Matrūnà* < м. б., и *Moterà*, *Mótertis* и др. (LUEV 98, 106; Liet. hidr. dar. 136, 141, 174, 177, 202; LHEŽ 206–207, 220). Более сомнительны *Matāriškis*, *Moteriškė*. Ср. также лтш. *Matari*, *Matriņa*; м. б., и *Māter-ļava*, *Mātriene*, *Matriņa*, *Mātar-ceļš* (LV I, 2, 383, 397); лтг. *Motori*, *Мотару*, *Мотори*, *Мотары*, *Моторы*; *Mōtrīne*, *Motrīna*, *Мотрина*, *Мотриня*, *Матрини*, *Матрина*, *Motryni*, *Motrinās ez.*, *Motrinēs* и др. (PN Latg. 328); прусск. *Moter*, 1312; *Motern*, 1361; *Motirn*, 1373; *Motren*, 1405; *Mottern*, 1460, позже — *Moterau* (APON 102) и др. Трудно согласиться с мнением о происхождении этих названий из и.-евр. \**mad-* 'мокрый', 'сырой'. Скорее речь должна идти о балто-слав. \**mat-*, о быстром, энергичном движении 'мотательного' характера. Ср. русск. *моторный* 'проворный', 'ловкий'; 'подвижный', 'энергичный', 'быстрый' при *моторить*, соотв. лит. *mātaras*, *matārus*, *matarūoti*; *mōturas*, *mōturti*, *matūrintis*, лтш. *matara*, *matars* и т. д. Но тот же круг значений предполагается и в образованиях без суф. *-ar-* (*-or-*), ср. русск. *мотать(ся)*, лит. *matóti* 'быстро идти', 'спешить' (: *matūs* 'проворный', 'ловкий'), лтш. *matuóti* 'спешить' и т. п.; ср. в этом случае лтш. *Matupīte*; *Mata-pūrs*, *Matu-laņka*, *Matu-leja*; *Matęs-ļava* и т. п. (LV I, 2, 382, 383; Latv. UN 2, 53). — {\**Matar-ušk-*; \**Mat-ar-in*, \**Matr-*}.

**Жижала**, л. р. Угры. ГБО 39; вар. — *Жижила*. — М. б., сюда же *Жежелна*, *Жежеленка*, *Жежелня*, *Жежелской* (ГБО 137, 146); *Жижевка* (ГБО 75). Ср. также *Жизна* и под. (Балт. элем. II, 60). — Ср. лит. *Žiežulis*, *Žiežulinis*, *Žiežulnà*, *Žiežulnūs*, а также *Žiežmuō*, *Žiežmójus*, *Žiežmarà*, *Žiežmārė*, *Žiežmarėlė* и др., но и *Žižmà*, лтш. *Zizma*, *Zizmas* и под. (LUEV 205–206; Liet. hidr. dar. 65, 66, 94, 125, 159, 165, 184, 186, 191; LHEŽ 402, 405). Ср. *Жажелка* в басс. Березины (RR III, 549; ЛАВП 187; Б.-сл. сб. 1972: 224). При том, что допустимо думать о наличии отдельных специализированных случаев, в целом, видимо, речь идет об ономотопеическом образовании, сходном с лит. *žiežti* 'ворчать', 'бурчать', 'бормотать' и т. п. — {\**Žiž-al-*, \**Žiž-el-in-/-en-* и под.; георетически возможный источник и \**Gēg-ul-* (ср. лит. *Gegulė*,

река), \*Gieg-al- (ср. лит. *Pa-giegala*, *Gieglaitis* < \*Giegalaitis), особенно \*Gieg-/\*Geg- & -il-/-el-).

**Кунава**, в басс. Угры. ГБО 39, вар. — *Кунавка*, *Куновка*. — Ср. также *Кунавка* (ГБО 46), *Куней* (ГБО 21, 64, 65, 146, 152), *Кунец Б.* (ГБО 65) и др. — Среди возможных балт. соответствий — лит. *Kunà, Kūnà, Kūnià, Kūnas, Kunēlipis, Kūnupis, Kunēlė, Kuniā-balis, Kunia-raistis* (LUEV 83; LHEŽ 172); лтш. *Kuņa pl., Kuņas-aste pl., Kuņas-bedre, Kuņas-kalns, Kuņas-purvs, Kuņas-vals, Kuņas-mežs, Kuņu-diķis, Kuņaiši, Kuņenes pl., Kunīņas pl.* и др. (LV I, 2, 175–176), но и *Kūņ-ure* (I, 2, 189); м. б., прусск. *Kunyan*, 1325, *Kunayn*, позже — *Konneggen* (APON 76), скорее всё-таки из немецкого. Вероятно, этот круг примеров разнороден по происхождению, и поэтому говорить об их этимологии с должной надежностью затруднительно; тем не менее наиболее естественной выглядела бы связь с лит. *kunė* 'болото', 'трясина', 'зыбь'. {-\*Kun-}.

**Дряголовка**, в басс. Угры. ГБО 39, тут же дер. *Дряголовка*. — Ср. *Дрягинской* (ГБО 60). — Похоже на слав. «переделку» балт. источника. Наиболее вероятны его варианты — из балт. *Drėg-* (: лит. *drėgnas* 'сырой', 'влажный' /: *drėgti* 'становиться сырым, влажным'/, лтш. *drėgns, drėgs* и т. п.), ср. лтш. *Dreģi*, особенно *Dreģeļi* (LV I, 1, 224); лтг. *Dreģeļi, Дрегели, Drėģeļi* (PN Latg. 109) или из балт. *Dirg-*, которое может быть элементом того же апофонического комплекса (ср. *dirgti* 'мокнуть', 'увлажняться' /: *drėgnas, drėgti*/, но и 'распускаться', ср. *dirginti* и др.). В последнем случае ср. лит. *Dirgalis, Dirgėlai, Dirgalonys* (LATSŽ 62); прусск. *Dirgowithe*, 1305 (APON 28). — Ср. днепр. *Дрегонка, Дригиня* (но и *Дорогонка, Дороганка, Дорожанка, Дерезна, Дерезенка* и т. п.), см. ЛАВП 183, 184, 185. — {-\*Dreg-al-/-el-, \*Dirg-al-/-el-?}.

**Толжа** л. р. Карытки, в басс. Угры. ГБО 39. — Неясно *Толша, Толшня* (ГБО 142, 211). — Еще Фасмер Beitr. z. hist. Völk-erk. OE I, s. v. объяснял этот гидроним из \*Тължа < лит. *Tilžė*, приток Немана; ср. также *Tilžytė, Tilžutė, Tilžėlė, Tilžintė, Tilžinta* (LUEV 173; Liet. hidr. dar. 61, 115, 170, 179, 210; LHEŽ 345); лтш. *Tilža* (Latv. UN 4, 36); лтг. *Tilža, Tilžas, Тильжа, Тилженик, Тылженики, Тылжа, Tylža; Tilžurpīte, Tilžbērzeni* и др. (PN Latg. 519), к лит. *tilžus* 'размокший', 'размякший': *tilžti* 'мокнуть', 'размякать'. — {-\*Tilža}.

**Менка**, п. р. Карытки. ГБО 39, вар. — *Менца*; здесь же дер. *Менка*. — См. Балт. элем. I, 162.

**Сопма**, п. р. Карытки. ГБО 40. — Ср. *Сопака* (ГБО 89). — Неясно. В балт. перспективе могли бы быть обсуждены два ва-

рианта — \**Sup-in-a* (> \**Съльна* > *Сопма*) и \**Sap-in-a* (> \**Сопна* > *Сопма*). К первому ср. лтш. *Supē, Supenka, Супенка* (Latv. UN 4, 26); лтг. *Supē, Supenka, Supinka, Супинка* (Latv. UN 4, 26); лтш. *Supē, Supenka, Supinka, Супинка, Supāni, Supēni, Supāni ure, Супаны* (PN Latg. 495); лит. *Supūnė, Supoji* (LUEV 157; LHEŽ 320) и под.; предполагается связь с лит. *sūpti* 'качать', 'колыхать', 'волновать', *sūpytis* и под. К второму варианту ср. прусск. *Sapoten*, 1402–1408; *Sopoythen*, 1413 (APON 151); лтш. *Sapa* (Latv. UN 4, 6), лтг. *Sapiņas ez.* (: \**Sop-yn-*) и др. (PN Latg. 443). Разумеется, могут предлагаться и иные объяснения.

**Никота**, п. р. Карытки. ГБО 40, тут же *Никиша* [*Никисма?*]. — Возможно, к слав. корню *ник-* (о «никнущих», хиреющих, исчезающих речках), ср. в Поочье и за его пределами частые *Понивка, Пониовка, Поникушка, Пониковец, Поникуша* и т. п. Но нельзя исключить в качестве источника и балт. *nik-* с тем же значением; ср. лит. *Nykà, Nykūtė, Nūkis, Nikis, Nikys; Nikājė, Nikājis, Nikājas, Nikājus, Nikaja* (LUEV 110; Liet. hidr. dar. 58, 64, 80, 81, 209; LHEŽ 230); лтш. *Nica, Nice, Nicawa* (LV I, 2, 480–481); прусск. *Nysape*, 1336; *Nicappen*, 1336 (APON 108: *nik- & ape*); к лит. *nūkti* 'уменьшаться', 'слабеть', лтш. *nikt.* — {-\*Nik-ata или \*Nik-uta > \*Никъта > Никота}.

**Истра**, в басс. Карытки. ГБО 40. — Тут же — *Истринские постоянные дворики*. — Ср. *Истра, Б. Истра* (ГБО 106), *М. Истра* (ГБО 107), *Истрица, Б. Истрица, М. Истрица* (ГБО 106, 107), *Истрец М., Истреца М.* (ГБО 107). — Несомненный балтизм. Ср. лтш. *Istra*, река и озеро (LV I, 1, 368; Latv. UN 1, 73); лтг. *Istra, Istras c.; Jistra; Истра, Истрица* (PN Latg. 171); лит. *Įsrà, Įstrà, Įsrutis, Isrutis, Įstras; Ystra, Ystras* (LUEV 58; Liet. hidr. dar. 210; LHEŽ 131–132); прусск. *Inster, Instrud, Instrut*, 1340, *Inster-pisken*, 1400 и др. — К \**in-* & \**ser-* (\**str-*). Ср. RR I, 503–504; III, 514, 525–526; Пр. яз. III, 51–52; LHEŽ 131–132 и др. — {-\*In-stra}.

**Вобжа**, р. в басс. Никоты. ГБО 40. — Ср. *Вопша, Вопшинской* в нижнем Поочье (ГБО 248, 264). — Восходит, видимо, к балт. названию «осиновой» реки, ср. прусск. *abse*, лит. *āpušė, ēpušė*, лтш. *apse*. Ср. прусск. *Absowe*, 1263; *Absmedie*, 1359; *Abswangen*, 1419; *Abiswange*, ок. 1420; *Apuswangen*, 1425, позже — *Ab-schwangen, Absynuken*, 1378 (APON 7); лит. *Āpšė, Apsuonà, Ap-singis, Apušė, Āpušis* и под. (LUEV 7; Liet. hidr. dar. 30, 155, 168, 204, 207; LHEŽ 45–46); лтш. *Apsa, Opsas-ēzērs, Apse, Apšu-diķis, Apšu-lāma, Apšu-leja pl., Apšumežs, Apšu-ļava, Apšu-purviņš, Apšupe, Apšupis; Apsene pl., Apsenes-diķis, Apsenīca pl., Apsite pl.,*



*Apsšišu-ure* и др. (LV I, 1, 38–41; Latv. UN 1, 16); лтг. *Apsas, Apses, Apsiši, Apsites, Apsinas, Apsene*, Анциньш, *Apša, Apši, Абша, Анша, Apšina, Apšinica, Apšiniki* и др. (PN Latg. 19–20); куршск. *Abschallen*, 1582–1583; *Apsen*, 1355–1362; *Absenwalke*, 1434; *Appasde*, 1424 и др. (KF 73, 78–79); днепр. *Обиша* (: *Обша* в басс. Зап. Двины), см. ЛАВП 199, ср. также RR I, 415; *Sraw* 1932, 656. Возможно, сюда же относится и лит. *Abistà*, см. выше *Вобста*. Это название представляет существовавшим в том смысле, что оно объясняет сохранение *b* в ряде названий перед глухим согласным (ср. прусск. *Absowe*, куршск. *Abchallen* и т. п.) и причины этого сохранения (наличие гласного, который разъединял это *b* и последующий глухой согласный), а также позволяет допускать «фонетичность» таких вариантов, как прусск. *Abiswange* наряду с *Abswangen*. Поэтому целесообразно считается с двумя вариантами корневого согласного и с тремя вариантами вокализма (*u, i, #*), откуда — *\*Abis-*, *\*Abus-*, *\*Abs-* и *\*Apus-*, *Aps-*. Поэтому *Вобжа* может скорее всего объясняться из *\*Abis-* > *\*Обьш-* > *Вобжа* (остаётся добавить, что наряду с элементом *-s-* реально засвидетельствован и *-š-*, ср. литовские примеры, после *i* и *u*).

**Молотка**, п. р. Никоты. ГБО 40; вар. — *Молодка, Молотка*, ср. тут же — село *Молотка, Молота, Слободка Молодка*. — Выбор наиболее достоверного с исторической точки зрения варианта затруднен, так как при любом решении приходится считаться с «народно-этимологическими» операциями. В случае приоритета варианта *Молодка* (ср. в Поочье *Молодня, Молодняна, Молодонь, Молодильня, Молоденка, Молоделка* и т. п.) существуют учет таких балт. фактов, как лит. *Maldupis, Maldžiupis, Maldėnis* (LUEV 97; Liet. hidr. dar. 133; LHEŽ 202); *Maldeikiai, Maldėnai, Maldėniai, Maldūčiai, Maldūnai, Maldžiūnai, Maldiniškis* (LATSŽ 168); лтг. *Maldupe, Maldupīte, Malduguņu ure; Maldi, Mālda-pūrs, Maldu-ļava* (Latv. UN 2, 51; LV I, 2, 373); прусск. *Maldenekaun*, 1423 (APON 93); висл. *Maldanin, Maldanei(n)en See* (HW 477; Słown. nazw Mazur. II, 284) и др. Согласна Ванасу, к лит. *māldas* 'камыш', 'тростник'. Если аутентична форма с *-m-*, уместна проверка соотношения *Молотка, Молота* с лит. *Māltupis, Moltupis* (LUEV 97; LHEŽ 203); лтш. *Mālta, Maltupīte, Māltas-ēzērs, Māltani, Malteņi, Maltenieki; Maltav-ure, Maltaves-ļava* и под. (LV I, 2, 375; Latv. UN 2, 51–52); лтг. *Malta, Мальта, Maltečka; Maltuve, Moltouniki, Мальтовники* (PN Latg. 307, 325); прусск. *Molteyn*, 1374–1379; *Malteinen*, 1384; *Multen*, 1419, позже — *Molthainen* (APON 100); мазур. *Molteyn, Moltin*, 1391 и др. (Słown. nazw. Mazur. II, 107, 146,

173); висл. *Moltin* (HW 499). Возможно, к лит. *mālti*, 'молоть', лтш. *mālt*, слав. *\*molti*. — {*\*Mald-*, *\*Malt-*}.

**Сежа**, л. р. Оки. ГБО 40, также *Сежа* в басс. Сежи. — Ср. *Сежа, Сежка Сух.* (ГБО 71), *Сежиковка* (ГБО 44) — Неясно. — В слав. перспективе предполагался бы источник в виде *\*Sed-ja* или *\*Seg-ja* (ср. Б.-сл. сб. 1972, 224), остающийся без надежной интерпретации. За неимением лучшего напрашивается сопоставление с днепр. *Сенжа* (ЛАВП 157, 207, 240), которое, однако, нуждается в иной этимологической трактовке, нежели предложенная ЛАВП 207. Если настаивать на связи *Сежа* и *Сенжа*, то в *Сежа* необходимо признать неорганическое развитие вокализма. Само название *Сенжа* на и.-евр. горизонте можно было бы связать или с *\*seng<sup>u</sup>-* 'падать', 'опускаться', 'убывать' (Рок. 1, 906) и конкретнее предполагать развитие *\*Seng-ja* > *Сенжа* (> *Сежа*) [семантическая мотивировка названий рек подобного типа принадлежит к числу обычных], или с *\*seng<sup>u</sup>h-* 'петь' (Рок. 1, 906–907), ср. готск. *siggan*, др.-исл. *syngva*, др.-англ., др.-сакс., др.-в.-нем. *singan, singen* и т. п. Слабая точка этих сопоставлений — отсутствие надежных балт. или слав. отражений этих и.-евр. корней. Впрочем, можно предложить в качестве рефлекса последнего из них прусск. *singuris* 'щегол', сопоставляемое с лтш. *žiguris* 'воробей' с неясным *ž*, очевидно, ономастического происхождения. В этом слове *-ur-* является суффиксом (ср. лит. *Ind-urà* : *Indus*; *Lung-uris* : *lūngis, lungiūoti*; *Duob-ūris* : *duobė* и т. п., см. Liet. hidr. dar. 207), а *sing-* оказывается корнем, обозначающим отмеченную звукопроизводительную деятельность, которая особенно характерна именно для щегла, ср. словен. *ščegljač* 'щегол': *ščegljati* 'щебетать', чеш. *stehlik* 'щегол': *štěhovati* 'щебетать' и т. п. (ср. возможное соотношение щегла с глаголом *ского́лить, скоготать*). В этом контексте сто́ит упомянуть прусск. «щегловую» топонимику — *Singoren*, 1299; *Singurbrast*, 1343, букв. — «щегловый брод» (APON 157), ср. пом. пропр. *Singor* (APON 92). «Щегловые» реки есть и в Поочье, ср. *Щеглов, Щегловка, Щегловский, Щеглятьевка* (ГБО 67, 74, 83, 98). Все это, разумеется, не выходит за пределы гипотетического рекогносцирования. — {*\*Senža* ?}.

**Осма**, р. в басс. Сежи. ГБО 40. — Ср. также *Осьма, Восма, Восьма* (ГБО 144), *Осменской, Восменской, Восминской, Восемской* (ГБО 144, 145), возможно, *Осьмушной* (ГБО 33), *Османовка* (ГБО 98, 156). Несомненный гидронимический балтизм, отмеченный ранее и для Верхнего Поднепровья, ср. *Осьма, Восьма* (ЛАВП 165, 181, 200) и для Подмосковья — *Восма*, л. п. Безпу-

ты (Катал. Моск. 1503), см. Б.-сл. сб. 1972, 255, и для басс. р. Великой (*Осмониха*), см. Гидр. СЗ 194. Ср. лит. *Ašmenà, Ašmenų upėlis* (Liet. hidr. dar. 59, 131, 145; LHEŽ 50); лтш. *Asmenų-gėžers, Asmenīte, Asmenųpīte* (LV I, 1, 44; Latv. UN 1, 18); лтг. *Asmeni* (PN Latg. 23); м. б., куршск. *Assme*, 1334 (KF 82). Этот круг примеров должен быть расширен за счет лит. *Ašmonių upėlis* (LUEV 8), лтш. *Asmaņi* (характерно, что *Asmenųpīte* «iztek no Asmaņa ez.». Latv. UN 1, 18), м. б., окск. *Османовка*. Характерно, что в самом ближайшем соседстве с Осмой находится *Каменка* (ГБО 40), не говоря об особом сгущении «каменных» рек именно в этом «микроареале», ср. ГБО 39–46. — {\**Asma*, \**Asmen*-, \**Asman*-}.

**Добрянка**, л. р. Сержи. ГБО 40. — См. выше *Добренка, Добринка, Добрынка* и др.

**Веля**, р. в басс. Сержи. ГБО 40. — См. выше *Велья* — Балт. элем. II, 173, 174, 258–259.

**Воря**, л. р. Угры. ГБО 40. — Ср. *Воря* (ГБО 198), *Ворька* (ГБО 40), *Вора* (ГБО 198). — Как балтизм отмечены днепр. *Вора, Ворок, Варик, Варка, Варя* (ЛВЛП 178, 181) и подмоск. *Воря* (Катал. Моск. 1575, 1805), см. Б.-сл. сб. 1972, 256. — Ср. лит. *Vārė, Vārės ež., Vārius upė, Varėlis, Varėnė, Varėnà, Vareniiukas, Variekà, Varikėlis, Varinė, Variuonė, Veruonė, Vārupis, Varupė, Varupelis; Varai, Vārai, Varėlės, Varėliai, Varėlis* и др. (LUEV 185, 188; Liet. hidr. dar. 121, 123, 129, 130, 134, 163, 194, 197, 205; LHEŽ 362–363); лтш. *Varīte, Vaŗa-purvs* (Latv. Un 4, 45; LVK); куршск. *Waren*, 1334; *Warynge*, 1462 (KF 178, 179) и др.; ср. лит. *Vorupė, Voryčià* (LUEV 200) как возможный резерв, см. LHEŽ 363 (здесь же и попытка этимологического истолкования балт. названий). — {\**Var-ia*}.

**Добрянка**, в басс. Сежи. ГБО 40, в соседстве с другой речкой этого названия в том же бассейне. — См. выше.

**Ворька**, л. р. Вори. ГБО 40. — См. *Воря*. — {\**Var-ik*-, ср. днепр. *Варик*, лит. *Variekà* и т. п.}.

**Волей**, руч. в басс. Ворьки. ГБО 40. — Неясно. Ср., однако, балт. названия с корнем *Val-*: лит. *Valinė, Vāl-iupis, Valpė, Vālpis, Valų upėlis, Vāl-upis (Vāl-upis), Val-upys* (LUEV 185; LHEŽ 361: из пом. progr. *Valà, Vālius* и под. ?); лтш. *Valupīte* (Latv. UN 4, 44); лтг. *Valaiņi, Валејни* (PN Latg. 543); куршск. *ad rivulum dictum Wale*, 1362; *in rivum Wale*, 1390 (KF 177–178); лит. *Vālpis* при *Vāl-iupis* выдвигает проблему интерпретации прусск. *Walpis*, река, 1354 (APON 193, с иной трактовкой). — {\**Val-e(j)-*}.

**Апочка**, п. р. Ворьки. ГБО 40. — Ср. *Апочка* (ГБО 82, 131, 179), *Апочь* (ГБО 131), *Апочской* (ГБО 131), *Апочинка* (ГБО 85,

99), *Апочинские* (ГБО 85), *Апошня* (ГБО 86); *Опочка* (ГБО 82, 131), *Опоченка* (ГБО 82, 85), *Опочинка* (ГБО 83, 99), *Опочинской* (ГБО 131), *Опочня* (ГБО 89), *Опока* (ГБО 82, 89, 99, 118); ср. *Опочинка* в Подмоскowie (Катал. Моск. 1345). — Наряду с возможностью истолкования этих названий как славянских, нельзя не считаться с допустимостью балтийских интерпретаций, как это было сделано в связи с днепр. *Опочка*, ср. *Апелка* (ЛВЛП 176, 199), и, возможно, с другими гидронимами, в которых скрыто балт. название реки (лит. *ùrė*, лтш. *ure*, прусск. *ape*), ср. *Речица* (ГБО 40) в ближайшем соседстве. «Речные» названия балт. рек хорошо известны. — Разумеется, возможны и другие интерпретации (ср. *Пока, Почь* и под.). — {\**Ap-*}.

**Вырьевка**, р. в басс. Потаповки. ГБО 40, тут же — дер. *Вырьевка, Вырья*, ср. *Вырьевка*, р. (ГБО 230). — Сюда же *Выра, Выра М., Выра Гостунская, Вырка, Вырка Б., Вырка М.* (ГБО 28–29). — См. Балт. элем. I, 174, 175.

**Полодь**, л. р. Угры. ГБО 40. — См. *Полодь* (ГБО 21), *Неполодь, Неполодное, Неполодской* (ГБО 21, 22), балт. элем. I, 167.

**Соматенка**, р. в басс. Полоди. ГБО 40. — Ср. *Саматик* (ГБО 244)? — Неясно. — Оправданы поиски балт. источника. Один из вариантов, отсылающий к «моховой» мотивировке гидронима, которая могла бы быть поддержана многочисленными здесь «м(о)ховыми», «мшаными» и под. названиями, — связь с лит. *sam(an)-*, относящимся именно к «моховой» теме, ср. *samėti* 'обомшеть', 'покрываться мхом', *samanoti, sãmanoti : sãmana, sãmanos* 'мох' (к этимологии см. LEW 761). В таком случае ср. лит. *Sãmė, Sãmis, Samavà, Samãuka, Samãvas ež.*, но и *Sãmànė, Samanėlis, Samaninė, Samaninis, Samanyno ėžeras, Samãnis, Samanių ėžeras, Samãnius, Samanųpis* (LUEV 141–142; Liet. hidr. dar. 63, 66, 91, 102, 103, 126, 157, 181, 220, 227, 268; LHEŽ 289–290); прусск. *Samnicz*, ручей, 1321 (APON 150: из \**Samanits*? — к лит. *sãmanos* с суфф. *-it-*, ср. лит. *Samanytė*); *Samelauken*, ок. 1400; *Samlawken, Somelauke*, 1303 ?/? (APON 168: к *same* 'земля'); лтг. *Samaniški, Самонишки, Самунишки, Саманова; Sameņi, Самены*; м. б., *Somi, Sami, Soms*, озеро (PN Latg. 442–443, 471). В контексте связи *sam-* и *kat-* (LEW 761) существенным может оказаться прусск. *katato* 'фенхель', род укропа (при лит. *kiminai* и балт. *Kim-* в гидро- и топонимии, о «моховых» объектах), см. Пр. яз. IV, 365–367). В этом случае *katato* оказывается в известной мере параллельным образованием к \**Sam-at*, к которому могло бы восходить *Соматенка* (о *katato* см. Пр. яз. IV, 187–189). — {\**Sam-at-in/-en-*}.

**Кочеса**, р. в басс. Полоди. ГБО 40. — Учитывая суфф. *-es-*, характеризующий довольно значительную и при этом архаичную группу балт. гидронимов (ср. *Brad-esà, Gub-esà, Lank-esà, Lauk-esà, Pel-esà, Raud-esà* и т. п., см. Liet. hidr. dar. 136–137, а также днепровские гидронимические балтизмы, см. ЛАВП 152–153, 155–156), целесообразно и в окск. *Кочеса* видеть балт. наследие. Несмотря на архаичность словообразовательного типа на *-es-*, возникает соблазн увидеть в этом гидрониме «кошачью» тему (ср. окск. *Кошка, Кошкин, Кошкинской, Котов, Котовское, Котовской* и под.), но в балт. исполнении. В этом отношении ближайший круг параллелей представлен в латышской гидронимии — *Kaķ-aviõts, Kaķ-ezers, Kaķ-upe, Kaķ-upīte*, ср. *Kaķ-plava, Kaķ-uīga, Kaķ-piõrs; Kaķu-aka, Kaķu-bedre, Kaķu-dīķis, Kaķu-ezers, Kaķu-leja* р., *Kaķu-plava, Kaķu-plaviņa, Kaķu-purvs, Kaķena-purvs, Kaķenu-bedre, Kaķenes-leja, Kaķenes-purvs*; но и *Kaķis, Kaķi; Kaķēni, Kaķīne, Kaķīci, Kaķīte, Kaķīša-kruogs, Kaķīš-ezers, Kaķīš-ciems* и т. д. (LV I, 2, 8–11; Latv. UN 2, 10); лтг. *Kaķēni, Kaķīši, Kaķ-puriņš; Kač-pūreņš, Kačupe, Качупе, Качупинка, Kača-tēce, Kača-plava* (PN Latg. 189–191) и др. В этом ряду лит. *Kač-upis* (LUEV 65; LHEŽ 142) выглядит довольно странным при всей «формальной соответствии» приведенным формам — тем более, что «кошачьи» названия представлены иным рядом — *Katinēlis, Katīn-upis, Kātino upēlis, Kātu-upis, Kāt-ežeris* и т. п.; *Kač-upys, Kač-upis, Kač-iupė* и т. п. (LUEV 65, 70; LHEŽ 140–141, 149–150). Мягкость *ķ* в лтш. *kaķis* хорошо объясняло бы *ч* в окск. *Кочеса*. Прусские примеры, восходящие к *catto* 'кошка', см. Пр. яз. III, 266–269; о *catto* — там же, 269–273. Обращает на себя внимание разнообразие словообразовательных моделей при корне *\*kat-* в прусских местных названиях и в пом. propr. — Менее вероятна связь *Кочеса* с вост.-балт. гидронимами с долгим вокализмом корня типа лит. *Kōkė*, лтш. *Kāķis, Kāķu-dīķis, Kāķurpi, Kāķenes*, ср. и прусск. *Koken* (LHEŽ 161–162). Наконец, стоит обратить внимание на днепр. *Кокес* на левобережье Десны (вар. — *Косось*), см. ЛАВП 191, где этот гидроним сопоставляется с прусск. *Kuke* (: *sawx* 'чёрт'). Во всяком случае «внешне» именно *Кок-ес* : *Коч-еса* образуют ближайшую параллель. — В целом далеко от ясности. — {\**Kokėsa*}.

**Саполенка**, р. в басс. Полоди. ГБО 40. — Ср. *Сапаенка* (ГБО 93), *Сапов* (ГБО 77), *Сапака* (ГБО 89), *Сапотов* (ГБО 133). — Вероятно, балтизм, объясняемый из лит. *sāp-al-iōti* 'болтать', 'нести вздор', 'бредить', *sāp-al-ioti, sapālius* 'болтун', 'пустомеля', *sapāila, sāpalas, sapaliōkas, sapaliōnė* и т. п. (LKŽ 12, 141–142;

LEW 762). Этот корень, значение которого определяет акустический эффект течения реки, видимо, присутствует как в некоторых гидронимах (ср. прусск. *Sapoten*, 1402–1408. APON 151; м. б., лтш. *Sapa*. Latv. UN 4, 6; м. б., *Sapātīškės*. LATSŽ 272, *Sapiškis*. LUEV 142), так и в личных именах (прусск. *Sapelle*, 1299. APN 90; *Sap-el-* при *\*Sap-al-* в *Саполенка*). — {\**Sap-al-in-/-en-*}.

**Кзанья**, р. в басс. Полоди. ГБО 40. — Учитывая *Кза* (ГБО 210), целесообразно выделить элемент *-an-* (*ня*). В *-an-* допустимо видеть балт. название реки, ср. прусск. *ape*. Названия с элементом *ap-* предполагаются с большим или меньшим вероятием для днепр. *Апелька, Напона, Описна, Опочка, Вонь* и др. (ср. ЛАВП 171, 176, 197, 199 и др.). При допущении балт. элемента во втором элементе гидронима *Кзанья* уместно проверить и первый элемент *Кз-*, который, судя по всему, восходит к *\*Гз-* < *\*Гъз-* < *\*Guž-* или *\*Guz-* (при учете мены *ž* : *z*, отмеченной для этой и соседней с нею территорий). В этом случае анлаутная группа *Гз-/Гж-*, вероятно, должна объясняться так же, как в *Гжать* (ср. *Ажелка, Гжелка, Гжелька, Гжолка, Гжунь* и др.), о чем см. ЛАВП 14, 175, 182; LKK II, 1959, s. v. *Гжать*, где эти названия выводятся из балт. (не вполне ясно *Гза*, приток Колокши около Юрьева-Польского, ср. на рѣке *Гзѣ*. Тверск. летоп., 1223 г.: *\*Гъза* < *\*Guz-*?). Другое дело — точный балт. источник их. Одна из возможностей выбора — балт. *\*gud-(i)-el-*, ср. лит. *Gūdupis* (ср. *Gūdupis*), *Gūdupelis, Gudēlupis* [*\*gud-* & *\*up-* при *\*gud-* & *\*ap-* в *Кзанья* при предлагаемой трактовке], *Gudinių upėlis, Gudiniškių upėlis, Gudėlių ēžeras, Gudžionių ēžeras, Gūdežeris, Gūdgrabė, Gūdintakis, Gudmėšla, Gūdravis, Gūdas, Gudinis* (LUEV 54; Liet. hidr. dar. 49, 115, 122, 129, 163, 188, 238, 243, 261, 267; LHEŽ 125–126); лтш. *Gudas, Gude, Gudi, Gudu-purvs; Guddel*, 1811, *Gudeliški, Gudeļi, Gudēļi, Gudenieki; Gudnieki, Gudēni, Gudiņi, Gudingi, Gudiškas* (LV I, 1, 336–337); лтг. *Gudeļi, Guduļi, Гудули* (PN Latg. 160); куршск. *Gudden*, 1386 (KF 106); прусск. *Gudeniten*, 1393; *Gudeiten; Gudniten*, 1424; *Gudicus*, 1342; *Gudynyken*, 1409; *Gudenykin*, 1411–1419 (APON 47). Об истолковании значения элемента *gud-* в этих названиях ср. LHEŽ 125–126 (остается добавить, что неясности остаются пока в силе). — Другая возможность выбора — балт. *\*guž-/guz-*, ср. лит. *Gužų ēžeras, Gužupėlis* [*\*guž-* & *\*up-* при *\*gz-* & *\*ap-* в *Кзанья*], *Gužupys*, (LUEV 55; Liet. hidr. dar. 130, 219, 261; LUEV 128); лтш. *Guza, Guzas, Guzani, Guziņi* (LV I, 2, 340); лтг. *Guzas, Guži, Guzi, Гузы, Гузова; Guzinki, Guzenki, Гузенка, Гузенки* (PN Latg. 162). Значение элемента *guž-/guz-* в этих случаях определяется более чем вероятной свя-

зью с лит. *gūžas* 'аист'. В таком случае *Кзапня* должна была бы толковаться как «аистовая» река. Менее вероятен третий вариант — балт. \**gug-* & \**ur-* [при \**gz-* & \**ar-* в *Кзапня*], ср. лтш. *Gugu-sils, Gug-sils, Guģenieki* (LV I, 1, 337, лит. *Gugiaī* (LATSŽ 95) и т. п. — {\**Gud-ar-in-*, \**Guž(z)-ar-in-*).

Истра, л. р. Амутенки. ГБО 40. — См. выше.

Желонья, р. в басс. Истры. ГБО 40; тут же — *Желаненка*, р. и *Желонья*, погост. — Ср. также *Желанейка* (ГБО 33, 44). — См. *Желанейка*. Балт. элем. II, 58–59.

Колтянка, р. в басс. Истры. ГБО 40. — М. б., сюда же *Колоча*, *Колочи* (ГБО 112), *Колочь* (ГБО 98, 112), *Колочка* (ГБО 211); менее ясны *Колчи* (ГБО 233), *Колчин* (ГБО 64), *Колчев* (ГБО 117), *Колчевка* (ГБО 156); *Калчи* (ГБО 173) и др. — Вероятный балтизм. — Ср. лтш. *Kaļtene, Kaltenīca* р., *Kaļtenieki, Kaltiķi, Kaltiķ-ēzērs, Kalte, Kaltas* (LV i, 2, 26); лтг. *Kalti, Калтинки* (PN Latg. 194); куршск. *Calten*, 1253; *Kalten*, 1503; *Calten*, 1290; *Kaltewalke*, 1350 (KF 109); лит. *Kaltānis, Kaltis, Kaltupis, Kalčià, Kalčiū ēžeras, Kaltokupis* (LUEV 65, 66; LHEŽ 143–144); прусск. *Caltwange*, 1419 позже — *Kaltwangen* (APON 54). Сюда же — *Колоча*, п. п. Москвы, см. Б.-сл. сб. 1972, 245 (здесь же указывается альтернативный вариант — из \**Kalk-*, ср. лтш. *Kalka*, наревск. *Kalk*. HW 494/?/). Предлагается сравнивать эти названия с обозначением песчаного места в глубоком озере, где могут плавать лошади и где рыбаки расстилают свои сети — лтш. *kalte* (LV I, 2, 26), к *kālst* 'сушить'. — {\**Kalt-en-*}.

Цеделка, р. в басс. Истры. ГБО 40, вар. — *Цыдель*; тут же — *Б. Цыдель*, л. р. Угры (ГБО 40) и *Меншая Цыделка* (ГБО 40). — Несомненный балтизм. Ср. лтш. *Ciduļupe, Ciduļi* (LV I, 1, 165; ср. также *Қиде, Қидеңи, Қид-сала*, в связи с которыми обсуждается вопрос о ливском влиянии, ср. ливск. *kid/ūd* 'рыбьи кишки' или эст. *Kide-maa; Kidurga*. Latv. leks. attist. 185; ср. также *Kiddul*, см. *Ciduļi*. I, 2, 218); лит. *Kidul-upis*, м. б., *Kidė, Kidėlė, Kid-a-raistis, Kidiškės, Kiduliai* и др. (LUEV 74; Liet. hidr. dar. 117, 243; LHEŽ 156; LATSŽ 133); днепр. *Кидель* (ЛЯВП 190). О сближении *Цыдель* с лтш. *Ciduļupe*, лит. *Kiduliai* см. SPAW 1934, 363). Следует, однако, помнить, что при бесспорности балт. связей гидронима *Цыделка* сами балт. факты нуждаются в более строгой дифференциации (в частности, ряд *Kid-*названий объясняется из личных имен). — {\**Kid-el-*}.

Б. Цедель, л. р. Истры. ГБО 40. — См. *Цыделка*.

Меншая Цыделка, р. в басс. Б. Цыдели, ГБО 40. — См. *Цыделка*.

Сволонка, р. в басс. Баберки. ГБО 40. — Возможный балтизм. Ср. лит. *Svalė, Svalià, Svāliškis, Svōlis* (LUEV 158; Liet. hidr. dar. 177; LHEŽ 322–323); прусск. *Swolow*, река, 1351–1382 (APON 180: к лтш. *svals* 'чад', ср. *svelt*). Наряду с *a*-вокализмом отмечены и названия с нулевым вокализмом, ср. лит. *Svilainė, Svilynas* (в связи с *Сволонка* существен элемент *-n-*), *Svilė, Svilė, Svylà, Svilaitė, Sviltūvės, Svil-ravis, Svil-balė, Svil-a-balis* и др.). К «чадным» речкам Поочья ср. *Чада, Чадна, Чадной, Чадовка, Чадин* и др. (ГБО 93, 130, 190, 229, 252). Суфф. *-an-* в балт. гидронимии редок (ср. *Kalt-ānis: Kaltis, Kam-anys, Siem-anys*. Liet. hidr. dar. 92); существенно, однако, что отмечен гибридный балто-слав. суфф. *-an-ka* (ср. лит. *Berž-ánka, Babr-ánka, Bálv-anka: Bálvis* и под.). — {\**Sval-an-*}.

Чалька (Чалка), п. р. Угры. ГБО 41, здесь же — *Черная Чалка*, село *Чаль*, *Белая Чалка* (ГБО 41). — Ср. также *Чалка* (ГБО 105, 130). — Учитывая распределение Чал-гидронимов и изолированность русск. глагола *чальить* в слав. кругу (как и ненадежность тюркской этимологии этого слова), уместно хотя бы в самом общем виде обозначить возможный балт. резерв. Естественнее всего он концентрировался бы вокруг \**Kēl-* (> *Чал-* для ранних случаев аккомодации; > *Кел-* — для более поздних). Этот элемент, видимо, можно связывать с лит. *kėlti* 'поднимать', 'переправлять' и т. п., *kilti* 'подниматься', 'повышаться' (в частности, об уровне воды в реках), 'возникать', *kilnóti* 'передвигать' и т. п., сюда же *kėlias* 'дорога' (ср. нем. *Weg: be-wegen*), *kelnas* 'челн', *kálnas* 'гора' и под. (см. LEW 237–238), лтш. *celt, cilt*, лат. *celsus* (< \**keld-tos*), *-cellere* и т. п. Возможно, именно этот корень присутствует в лит. *Kėle, Keļ-ežeris* (LUEV 71; LHEŽ 151); лтш. *Cēlis, Cēļēn-ēzērs, Cēliša-kalns* (LV I, 1, 163); прусск. *Kellincz*, ручей, 1363; *Kellionyn*, 1419; *Killionyn*, 1426; *Kellionithen*, 1425; *Kellythen*, 1419; *Kellegarben*, 1411–1319 и под. APON 60: некоторые этимологические объяснения не вполне убедительны; ср. Пр. яз. III, 305). — В этом контексте вызывают интерес днепровские гидронимы *Чолкна*, вар. — *Чолна; Амкильня* (ЛЯВП 176, 212–213), возможно, отсылающие к идее источника, начала (\**Кьл-н* < \**Kil-n-*), ср. окск. *Келенка* (ГБО 105, 138, ср. *Келенской*), о которой см. Б.-сл. сб. 1972, 240–241, — {\**Kēl-*}.

Колучня, р. в басс. Угры. ГБО 41; вар. — *Получня*; здесь же — дер. *Колуча*. — Скорее всего балтизм: или преобразование того же источника, который лежит выше, или отражение чего-то вроде \**Kal-ut-(i)-*, м. б., и \**Kal-uk-(i)-*, ср. прусск. *Kalkstein*, 1285, позже — *Kalkstein; Kalxte*, лес, 1460 (APON

54). К корню *Kal-* ср. лит. *Kal-ùpė, Kāl-upis* (LUEV 66; LHEŽ 144); лтш. *Kalupe, Kalups, Kalupa-çzçrs, Kalupka* (LV I, 2, 26; Latv. UN 2, 11–12); лтг. *Kalups, Kolups, Kalupes c., Kalupa ez., Kolupka, Kalupka, Колупница, Kolupie* и т. п. (PN Latg. 193, 221); М.б., куршск. *Kalaten, Calaten, 1253; Kaletenn, 1560; Khalen, 1551; dorp Calitzen, 1495* (KF 108); ср. также прусск. *Kalow, 1400; Kalyen, 1419; Calis, 1303* (APON 54, с разными объяснениями)? Во всяком случае выбор определенного источника пока затруднителен.

**Медынка**, ручей в басс. Колучни (Получни). ГБО 41. — Ср. *Медынь, Медынка, Медынской* (ГБО 43, 46), *Медвенка, Медвенской* (ГБО 32, 46, 80, 112, 182), *Медуничной, Медунишной* (ГБО 112), *Медуха* (ГБО 95), м. б., *Меденка* (ГБО 116) и некоторые другие примеры. О *Меденка* в Подмоскowie (Катал. Моск. 602) и др. см. Б.-сл. сб. 1972, 243. — Естественно предположение о связи с «медовой» темой и со слав. источником. Вместе с тем нужно отметить, что форма \**Med-ün-* равно относится и к слав. и балт. языковому слою (ср., с одной стороны, русск. *медыня* [Как гулял в саду Иван князь... Подкосил медыню сладкую], ср. *медынка* 'шмель'. СРНГ 18, 75, а с другой, лит. *medūnas* 'любитель меда', *medūninis* 'сладкий', 'медового вкуса'. О суфф. *-ün-* /*-ын-* см. Liet. hidr. dar. 202–203; ЛАВП 112, 119. В ареальном аспекте существенно, что *Медынь, Медынка* примыкает к зоне концентрации гидронимов на *-ын-* в басс. Сожа, который является местом наиболее густого скопления балтизмов, хотя среди гидронимов на *-ын-* большинство безусловно славянского происхождения. Тем не менее балт. перспектива в связи с *Медынка* намечается не только применительно к балто-славянскому уровню. Учитывая названия, не предполагающие принадлежности к *и-*основам (*Меденка, Медянка* /ГБО 244, 277/, *Мединской* /ГБО 83, 217/, *Медишной* /ГБО 265/, *Медица* /? ГБО 79/ и др.), можно констатировать, что *Мед-*гидронимы в Поочье, как и *Med-*гидронимы на балт. территориях, по меньшей мере двусмысленны, и эта двусмысленность связывается прежде всего со старым балт. элементом. Именно здесь названия на *Med-* в принципе могли ассоциироваться как с медом, так и с обозначением леса, дерева, затем и межи («лес-межа»). Исключая полярные случаи (ср., с одной стороны, лит. *Medaūs Pėlkė* /'мед'/, а с другой, *Mėdinas upė, Mėdinis /Miškis/, Medinė, Medinka, Medin-upė, Medin-upis, Medin-upelis* и др. /'лес-дерево'/, остается значительное число примеров, где точная идентификация по происхождению затруднительна (ср. лит. *Medāinis, Medėlis,*

*Medėva, Medikis, Medujā, Meduvys, Mėd-upis, Med-upys* и др. [LUEV 99–100; Liet. hidr. dar. 334 /индскс/; LHEŽ 208–209]; лтш. *Mėdaine, Mėd-upis, Med-upite, Mėdus-straits, Meds-purvs* и др. [LV I, 2, 398]; иное дело — прусск. *Med-*названия, в основном — «лесные», ср. *Medelauke, 1371* /; лит. *Mėdlaukė/, Medėnikėn, 1338; Medėnithen, 1405; Medytėn; Medėnouwe, 1263; Medėnen, 1320; Medien, 1339; Medyn, 1340*, позже — *Medien; Mediolauks, 1289* [APON 96] или куршск. *Medda, 1253, Medde* [KF 125] и др.). Сама же указанная двусмысленность создавала почву для дальнейших переосмыслений *Med-*названий, причем их направление в Поочье односторонне — от «лесных» к «медовым», поскольку в русском языке слова этого корня с «лесными» значениями отсутствуют (правда, Фасмер указывает в своем словаре русск. диал. *межа* 'лесок'; однако это значение, взятое из неизвестного источника и в СРНГ отсутствующее, актуально не соотносится с корнем *med-*), и, следовательно, любое *Med-*название тяготеет к истолкованию его как «медового» или «медного». - {\**Med-ün-*, \**Med-in-*?}.

(Продолжение следует)

#### ДОПОЛНЕНИЯ К СПИСКУ СОКРАЩЕНИЙ (Балто-славянские исследования 1986, с. 157–159)

- Балт. элем. — В. Н. Топоров. Балтийский элемент в гидронимии Поочья // Балто-славянские исследования 1986. М., 1988; Балто-славянские исследования 1987. М., 1989.
- Белар. антрап. — М. В. Бірыла. Беларуская антрапанімія. П. Мінск, 1969.
- В.-Слов. зв. яз. — Bałto-słowiańskie związki językowe. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1990.
- Dict. Russ. PN — Dictionary of Russian Personal Names. Compiled by Morton Benson. Pennsylvania Univ., 1964.
- Гидр. СЗ — Р. А. Агеева. Гидронимия Русского Северо-Запада как источник культурно-исторической информации. М., 1989.
- Grenzen — A. Bielenstein. Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert. Ein Beitrag zur ethnologischen Geographie und Geschichte Russlands. SPb., 1892.
- Griech. u. Alteur. — W. P. Schmid. Griechenland und Alteuropa im Blickfeld des Sprachhistorikers // Anatypos apo ten epistemonike opeterida... Thessaloniki, 1983.
- Катал. Моск. — И. А. Здановский. Каталог рек и озер Московской губ. М., 1926.

- Latv. apdz. nosauk. — V. D a m b e. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga, 1990.
- Latv. leks. attīst. — Latviešu leksikas attīstība. Rīga, 1968.
- Latv. UN — Latvijas PSR ūdensteču nosaukumi. 1–4 burtn. Rīga, 1986.
- Liet. antrop. — Z. Z i n k e v i č i u s. Lietuvių antroponimika. Vilniaus lietuvių asmenvardžiai XVII a. pradžioje. Vilnius, 1977.
- Літоўск. элем. — М. В. Бірыла, А. П. Вангаас. Літоўскія элементы ў беларускай анамастыцы. Мінск, 1968.
- LPŽ — Lietuvių pavardžių žodynas. I–II. Vilnius, 1985–1989.
- LVK — Картотека местных названий Латвии (Институт языка и литературы Академии наук Латвии), см. LHEŽ 24.
- LVKŽ — K. K u z a v i n i s, B. S a v u k u n a s. Lietuvių vardų kilmės žodynas. Vilnius, 1987.
- Мікрат. Бел. — Мікратапанімія Беларусі. Матэрыялы. Мінск, 1974.
- Обратн. слов. ГБО — Г. П. С м о л и ц к а я. Обратный словарь гидронимов бассейна Оки. I–II. М., 1988.
- Рок. — J. P o k o g n y. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1949.
- Слов. балт. — Ю. А. Л а у ч ю т е. Словарь балтизмов в славянских языках. Л., 1982.
- Слоўн. назв. Гродз. — Я. Н. Р а п а н о в і ч. Слоўнік назваў населеных пунктаў Гродзенскай вобласці. Мінск, 1982.
- Слоўн. назв. Мінск. — Я. Н. Р а п а н о в і ч. Слоўнік назваў населеных пунктаў Мінскай вобласці. Мінск, 1981.
- СРНГ — Словарь русских народных говоров. М., 1965–, вып. 1–.
- SSNO — Słownik staropolskich nazw osobowych. Pod. red. W. Taszyckiego. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1965–1980, t. 1–5.
- Урал ЯН — П. Х а й д у. Уральские языки и народы. М., 1985.
- Zur Frage — L. K i l i a n. Zur Frage eines westfinnischen Substrats in Litauen aus der Sicht von Archäologie und Hydronymie // Zeitschrift für Ostforschung 35. Jg. 1980, Hf. 4.

В. Н. ТОПОРОВ

## БАЛТИЙСКИЕ СЛЕДЫ НА ВЕРХНЕМ ДОНУ

Исследования балтийского элемента в гидронимии Центра России за последние два десятилетия привели к обнаружению значительного количества новых балтизмов (не менее 400), зафиксировали особый тип этноязыковой ситуации балтов в этом ареале, отличный от того, что было установлено для Верхнего Поднепровья<sup>1</sup>, и позволили отнести восточную границу балтийской гидронимии на широтах Калуги–Рязани или несколько южнее Тулы–Шацка верст на 300 к востоку<sup>2</sup>. Разумеется, эти результаты далеки от окончательности, многое нуждается и в дополнительной лингвистической проверке и во введении в культурно-исторический и археологический контекст этого ареала, и решение этих задач, несомненно, должно быть продолжено. Но существуют и задачи, так сказать, «предыдущего» уровня, связанные с гидронимической «эмпирией» указанных восточных пределов распространения балтийского элемента в Центре России. Конкретно речь идет еще об одном анклаве в ареале балтийской гидронимии на этой территории. Ему и посвящена эта предварительная заметка.

Стимулы к постановке этого вопроса двойкой природы. С одной стороны, они связаны с конкретной эмпирией этого анклава, где удалось обнаружить ряд гидронимических балтизмов, сама необходимость поиска которых в этом месте была далеко неоче-

<sup>1</sup> См. В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.

<sup>2</sup> Речь идет в данном случае о восточной границе некоего целостного массива, хотя и становящегося по мере приближения к своим восточным пределам все более и более разреженным. Что же касается отдельных балтизмов, то они были отмечены и еще далее к востоку, см. заметку автора этих строк — О характере древнейших балто-финноугорских контактов по материалам гидронимии // Uralo-Indogermanica. Балто-славянские языки и проблема урало-индоевропейских связей. Материалы 3-й балто-славянской конференции, 18–22 июня 1990 г. Часть 1. М., 1990, с. 101–107, ср. *Осьма, Восьма, Вобля, Блиденка, Дрисела, Дугна, Вепрея, Серена* и т.п. в Нижнем Поочье.

видна. С другой стороны, стимулы коренились и совсем в другой области — в рефлексии над характером этой границы балтийской гидронимии на ее юго-восточном участке. С этого, очевидно, и следует начать.

Если учесть результаты, полученные в ходе исследования балтийской гидронимии Поочья (три публикации на эту тему уже появились и не менее трех других должны появиться) и указанные балтизмы в Нижнем Поочье, т. е. далеко за пределами той территории, которую уместно определять как целостный массив балтийской гидронимии, то обращает на себя внимание пространство между восточной границей Окского бассейна на западе (Неручь, Зуша, Плава на правом берегу Оки) и течением Цны на востоке или, говоря приблизительно, между Новосилем и Тамбовом. Это пространство, собственно, и определяется дугой, выпуклой частью своей повернутой на север и имеющей основание в виде прямой, проведенной между указанными городами (или даже в более общем виде между Орлом и Тамбовом) или несколько южнее между Курском и верховьями Цны. Длина этой прямой («хорды») около 300 верст с запада на восток, глубина этого пространства до 200 верст с севера на юг.

Собственно говоря, внимание исследователя, изучающего проблему восточных пределов балтийской гидронимии, это пространство привлекает тем, что оно, как считается, «пусто» от гидронимических балтизмов или, если учесть вероятную балтийскую природу названия Цна (< \**Tusna*, через стадию \**Tъсна* > \**Tсна*, Цна) и балтизмы Нижнего Поочья, образует «провал» в балтийском гидронимическом массиве, требующий особого учета и соответствующего объяснения. Это «провальное» пространство, опознаваемое лингвистически по «отсутствию» гидронимических балтизмов, нагляднее всего воспринимается при взгляде на карту бассейна Оки<sup>3</sup>: наиболее восточные притоки в верховьях Оки, наиболее южные притоки в Среднем Поочье и наиболее западные притоки Цны, т. е. Нижнее Поочье, «негативно-исключительным» образом определяют дугу этого пространства. Археологически это пространство определяется для середины I тысячелетия до н. э. территорией между мощинской культурой на западе, в Поочье на Угре, являющейся балтийской по проис-

<sup>3</sup> См., например, Г. П. Смолдикова. Гидронимия бассейна Оки (список рек и озер). М., 1976. вклейка между стр. 8 и 9.

хождению<sup>4</sup>, и финно-угорскими этнически культурами на востоке, за Доном, в мордовском ареале. И это археологическое определение указанного пространства тоже носит «негативно-исключительный» характер, отчасти фиксируемый уже Иорданом: определяя границы распространения айстийского (балтийского) элемента, для середины I тысячелетия нашей эры он указывает западный предел — юго-восточное побережье Балтийского моря, у устья Вислы и восточную границу — территорию, занимаемую акацирами, крупнейшим из гуннских племен, оставшихся, видимо, в этой части бассейна Дона после ухода основной массы гуннов на запад, в Паннонию, а затем и дальше вплоть до Франции<sup>5</sup>. Таким образом, балтийский элемент распространялся на огромной территории от юго-восточной Балтики до бассейна Дона. Такой же «негативно-исключительный» характер носит оп-

<sup>4</sup> Карту археологических свидетельств мощинской культуры см. в книге: В. В. Седов. Восточные славяне в VI-XIII вв. М., 1982, с. 35 (карта 7). Как известно, мощинская культура складывалась при взаимодействии местной культуры Верхнего Поочья, с инфильтрирующимся пришлым «зарубинецко-почепским» элементом из Подесенья. Одной из характерных черт мощинской культуры является курганный погребальный обряд. Хотя вопрос его происхождения представляется современному исследователю открытым, нужно учитывать, что, во-первых, для IV-VII вв. н. э. мощинский регион курганных захоронений представлял собой изолированный островок и что, во-вторых, в IV-V вв. ближайшими к мощинскому региону были курганы на современной территории Литвы, см. В. В. Седов. Восточные славяне..., с. 41-45, особенно с. 44; ср. также В. В. Седов. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. М., 1970, с. 42-44; Т. Н. Никольская. К этнической истории бассейна верхней Оки // КСИА, 1966, вып. 107, с. 9-16 и др.; ср. П. Н. Третьяков. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М.; Л., 1966, с. 294-296; Он же. У истоков древнерусской народности. Л., 1970, с. 60. — Лингвистический анализ гидронимии в ареале мощинской культуры также обнаруживает исходный балтийский слой. Ср. В. В. Седов. Балтская гидронимика Волго-Окского междуречья // Древнее Подмосковье. М., 1971, с. 99-113 и ряд работ пишущего. — Особо стоит отметить такую характерную особенность мощинской культуры, как предметы, украшенные выемчатой разноцветной эмалью. Как показал еще Х. А. Моора, эти предметы связаны с Юго-Восточной Прибалтикой, точнее — с галиндо-судавским ареалом, а хронологические рамки их в Поднепровье и Поочье определяются IV-VI вв. и даже (ранние подвески-лунницы с выемчатой эмалью) концом III в., ср.: Г. Ф. Корзухина. Предметы убора с выемчатыми эмальями V — первой половины VI в. н. э. в Среднем Поднепровье // САИ, вып. 1-43. М., 1978; И. К. Фролов. Лунницы с выемчатой эмалью // Из древнейшей истории балтских народов (по данным археологии и антропологии). Рига, 1980, с. 111-116, а также: В. В. Седов. Восточные славяне..., с. 44-45.

<sup>5</sup> Ср. М. И. Артамонов. История хазар. Л., 1962, с. 55-57, 71; В. В. Седов. Восточные славяне..., с. 45.

ределение рассматриваемого ареала и применительно к концу I — началу II тысячелетия нашей эры, когда к западу от него оказываются северяне, к северу вятичи, а к востоку мордва, но уже обнаруживается связь археологических находок, характеризующих территорию северян к западу и бассейн Дона на востоке (боршевско-роменская культура VIII—X вв.), или даже вятичско-донские археологические переклички<sup>6</sup>. Но, пожалуй, наиболее показательной в этом плане и наиболее совпадающей с указанной выше дугой оказывается южная граница расселения вятичей в VIII—X вв. на участке между Свапой и Окой недалеко от впадения в нее Пры<sup>7</sup>.

Осью этого «пустого» пространства служит течение Дона в его верхней части, практически до впадения в него Воронежа. Определенное подобным образом, это пространство заставляет снова обратиться к своему окружению и прежде всего к ареалу, граничащему с ним с севера и, следовательно, лежащему еще в пределах бассейна Оки. Два хронологических среза в свете поставленного здесь вопроса представляются особенно поучительными. Первый из них относится ко II тысячелетию до нашей эры, второй — к I тысячелетию нашей эры (несколько уже — ко II—VII вв. н. э.). Первый срез существует потому, что в это время ближайшим соседом обозначенного верхнедонского пространства с севера оказывается южная оконечность ареала фатьяновской культуры<sup>8</sup>. А именно эта культура идентифицируется (или во всяком случае на серьезных основаниях подозревается) с балтийским элементом, впервые фиксируемым в этом месте Восточной Европы. Как известно, исследователи приводят убедительные балтийские параллели к особенностям фатьяновской

<sup>6</sup> Ср.: В. В. Седов. Восточные славяне..., карта 19 (территория северян X—XII вв. и археологических раскопок), карта 20 (распространение роменской и боршевской культур), карта 38 (расселение восточных славян в IX—XII вв.), с. 134—135, 271. Однако нужно отметить территориальную «прерывность» роменско-боршевской культуры, отчасти прерываемой памятниками салтово-маяцкой культуры.

<sup>7</sup> В. В. Седов. Восточные славяне..., с. 147, карта 22.

<sup>8</sup> Ср., например, карту № 20 в кн.: M. Gimbutas. Baltai priešistoriniai laikais. Vilnius, 1985, p. 51, а также соответствующие карты и разделы, посвященные распространению фатьяновской культуры, в кн.: Д. А. Крайнов. Древнейшая история Волго-Окского междуречья. Фатьяновская культура II тысячелетия до н. э.; Е. И. Горюнова. Этническая история Волго-Окского междуречья. М., 1961 и др. Ср. также: M. Gimbutas. The Prehistory of Eastern Europe. Cambridge, 1956.

культуры (ср., в частности, прибалтийские параллели фатьяновским могильникам), сходства прибалтийского и фатьяновского антропологического типа, переклички в предметах материальной культуры (например, втульчатые топоры) и т. п. Ранние балтийские культуры и фатьяновская культура обнаруживают между собой не только связи, параллели, переклички, но выстраиваются в единый хронотопический контекст, главное событие которого приход «фатьяновцев» с запада, видимо, с балтийских территорий (из Прибалтики, Белоруссии, с верховьев Днепра). Более того, с достаточным вероятием указываются конкретные пути этого прихода «фатьяновцев», в зависимости от которых так или иначе дифференцируется обширный ареал фатьяновской культуры на более частные локальные группы. В интересующем нас случае речь должна идти о «южных» фатьяновцах, пришедших с запада по деснинско-окскому пути. Гидронимия этого района и территорий вдоль указанного пути, несомненно, балтийская, и это обстоятельство делает еще более вероятным мнение, в соответствии с которым «фатьяновцы» отождествляются с протобалтами, во всяком случае с той их частью, которая устремилась на восток<sup>9</sup> и вступила в непосредственный контакт с финноязычным элементом. И второй хронологический срез, относящийся уже к I тысячелетию нашей эры с гораздо большей достоверностью и конкретностью, фиксирует в Поочье между устьем Москвы и устьем Цны как присутствие балтийского языкового элемента (прежде всего в гидронимии<sup>10</sup>, так и очевидные следы «рязанско-окского» (видимо, мещерского) варианта археологической культуры поволжско-финских племен, о которой прежде всего можно судить по характерным могильникам<sup>11</sup>.

Всё сказанное до сих пор в связи с темой этой заметки существенно в двух отношениях: во-первых, ближайший (более того — непосредственно смежный) к верхнедонскому ареалу с севера и запада был, несомненно, балтийским, что было показано в

<sup>9</sup> Проблема балтийских заимствований в финских языках Поволжья, как и наличие гидронимических балтизмов в массиве финноязычной гидронимии этих мест, также естественнее всего объяснялись бы при принятии балтийской принадлежности «фатьяновцев» или их непосредственных преемников в этом же ареале.

<sup>10</sup> В другом месте уже писалось об актуальном присутствии балтийского элемента в окско-рязанском локусе, в частности, о бесспорных лексических балтизмах в русских говорах этого района.

<sup>11</sup> См. Финно-угры и балты в эпоху Средневековья. М., 1987, с. 92—97 и др.



работах по балтийскому элементу в Поочье, и, во-вторых, устойчивость на протяжении двух-трех тысячелетий конфигурации, вычлняющей «верхнедонское» пространство, ограниченное дугой от «балтийского» (с запада и севера) и от «финноязычного» (с востока и с севера), определялась распространением носителей перечисленных выше археологических культур в пределах данного речного бассейна; междуречье же (между южными притоками Оки и верховьем Дона) оказалось относительно «пустым» не только гидронимически, но и, насколько можно судить по литературе, археологически. И тем не менее логика решения задачи этноязыковой идентификации некоего ареала по гидронимическим данным обязывает ставить вопрос — в пределах верхнедонской дуги — о восточных и южных границах распространения балтийского элемента и о западных и южных границах финноязычного ареала. Второй вопрос здесь не рассматривается, хотя сразу же следует заметить, что финноязычные элементы в верхнедонском локусе присутствуют и, видимо, должны рассматриваться как отражение «прамордовского» субстрата. В отношении же балтийского элемента в этом локусе задача на этом этапе сводится к ответу на вопрос о присутствии балтийского элемента в верхнем течении Дона.

Представляется, что на этот вопрос можно ответить положительно, и, если это соответствует действительности, то этот ответ нужно признать высоко информативным: на этом участке Центра России границы распространения балтийской гидронимии отодвигаются на 300–400 верст к югу или, исторически, вероятно, точнее, верст на 200 и более к востоку (как бы продолжая в этом направлении балтийский локус в Посемье). Однако для более конкретного суждения необходима взвешенная оценка ситуации в Верхнем (а отчасти и Среднем) Подонье, поскольку кое-какие балтизмы могли захватываться уже «послебалтийским» (славянским) населением и переноситься в ходе своего продвижения в бассейн Дона. Разумеется, однако, что и эта «вторичная» балтизация (даже «чужими» руками) должна найти свое отражение в общей картине.

Положительный ответ на поставленный выше вопрос о присутствии в Подонье балтийского гидронимического слоя пока может быть основан приблизительно на двух-трех десятках примеров, одна часть которых представляется достаточно убедительной, другая — в разной степени вероятной (и во всяком случае не имеющей пока более надежного объяснения). Вот некоторые из таких гидронимов. В самых верховьях Дона дважды отмече-

ны речки под названием *Дриска* (ДБ 1)<sup>12</sup>. Похоже, что этот гидроним фиксирует уменьшительное образование от *Дрис(с)а*, хорошо известной реки в бассейне Зап. Двины (блр. *Дрыса*) и озера в Россонском р-не Витебской обл. Иногда сюда же относят лит. *Drisvetà > Drisvėtėlė* (LUEV 32; LHEŽ 91; из \**Drisu-*, *u*-основный вариант от \**Dris-*), объясняемое, впрочем, и иначе. Практически сюда же может относиться и днепр. *Дресна*, вар. *Дресенка*, из \**Дрыс(ь)н-* < \**Dris-in-* (ЛВЛП 185 предлагает иное объяснение, ср. лтш. *Driksne*). Бесспорно к ряду *Дриска*, *Дриса* нужно присоединить в Поочье *Дрисенка* (ГБО 31), *Дрисела*, *Дриселово*, *Дрисилово* (ГБО 127), о чем см. Балт. элем. II, 51.

В самом верхнем течении Дона отмечено название речки *Смолка* (ДБ 1), которое, вероятно, нужно объяснить как балтизм, подобно тому как это делает Трубачев в связи с *Смолка* (вар. *Цмолка*) в бассейне Горыни, см. НПУ 100, 263; *Смолка* < *Цмолка* < \**Kim-al-*, ср. \**kimal-* 'шмель'. Ср. в Поочье *Смолок* (ГБО 171), *Смолковский* (ГБО 104); сложнее ситуация с днепр. *Смолюсть* (ЛВЛП 208).

Похоже, что балтизмом является и *Табола*, тут же *Мокрая Табола*, *Сухая Табола* (ДБ 1), которое уместно сравнить с лит. *Tabālis*, *Tabalėlis*, *Tabalinis*, *Tabaliūkas*, *Tobòlis*, названия озер (LUEV 170; LHEŽ 338–339), ср. также названия целого ряда болот, лугов и т. п. — лит. *Tabālė*, *Tabālės*, *Tabāliai*, *Tabalynas*, *Tabalinė*, *Tabalinės*, *Tabalys*, *Tābalos*; ятв. *Tobolowo*, озеро около Аугустова (ср. также *Tabalniki*, озеро недалеко от Сейнай. Falk Ze stud. 1973, 49); лтг. *Tabolova/Tabulova*, *Tabalova*, *Таболова*, *Табалово*, *Таболово* (PN Latg. 513); м. б., прусск. *Toben*, 1469 (APON 184: \**Tāb-* > \**Tōb-* как один из вариантов, ср. *Tabun*, 1276, имеющее и вост.-балт. параллели). Не вполне ясны связи с великопольскими водными названиями типа *Taboła*, *Toboła*, *Toboly*. Ванас объясняет литовские гидронимы из *tābaloti*, *tabalūoti* 'метаться в стороны', 'биться', 'колыхаться', 'волноваться' и под. Характерны окск. *Таболка* (ГБО 133), *Таболовка* (ГБО 134).

*Деготенка* (ДБ 1) довольно точно отвечает лит. *Degūtinė* (> \**Дегътън-* > *Деготен-*), ср. также *Degūtė*, *Degūt-intakis*, *Degūt-duobis* (LUEV 29; LHEŽ 83); лтш. *Deguta*, *Deguta-kalns*, *Degutas-līcis*, *Degut-duobs*, *Degutišķi*, *Degutnīca* (LV I, 1, 207). С корнем *Deg-* известны гидронимы и в других балтийских языках, в частности в балтийской гидронимии Поднепровья. В По-

<sup>12</sup> См. П. Л. М а ш т а к о в. Список рек Донского бассейна. Л., 1934 (далее — ДБ).

очье отмечены *Деготня* (ГБО 67, 89), *Деготное* (ГБО 195), *Деготильное* (ГБО 195).

Остается не вполне ясным гидроним *Мжара*, собств. *Б. Мжара* и *М. Мжара* (ДБ 1). Корневой части, если она (что весьма вероятно) из \**Мъж*- < \**Miž*-, соответствует лит. *Mižė, Mižavas, Miž-upis, Miž-upėlis, Miž-upys, Miž-a-raistis, Miž-daubis* (LUEV 104; LHEŽ 219); лтш. *Miz-upė, Mizene, Mizaiņi, Mizēņi, Mizaiši* и др. (LV I, 2, 443) и др. Элемент *-ar-* вызывает определенные сложности в плане поиска параллелей (ср., однако, лтш. *Mizėri*, но *Mizari*, с долгим корневым вокализмом. LV I, 2, 442, 445, но и *Mizenes, Mizenīte, Mizeņ-laukas* и т. п.), ср. в Поочье *Мжара* (ГБО 217), но и *Мжай* (ГБО 113), *Мжут* (ГБО 92), *Мзовка* (ГБО 117).

Гидроним *Доробинка* (ДБ 2, ср. по соседству *Доробин*) мог бы быть проинтерпретирован как балтизм в свете лит. *Darbėnai* (LATSŽ 54), ср. лит. *Darbà, Dařb-upis, Dárbulė* (LUEV 27; LHEŽ 80); лтш. *Darba-kalns* (LV I, 1, 195; PN Latg. 108); куршск. *Darbe*, 1523 /?/ (KF 89) и др. -Из \**Darb-in-*. Предполагается связь с архаичными значениями корня *darb* — 'драть', 'вить', 'плести', 'скручивать' и т. д.

*Сквирия* (ДБ 2) отсылает, вероятно, к днепр. *Сквира, Сквириятянка, Сквириета*, чье название объяснялось в свое время из балт.: метатеза \**Skirv-* > \**Skvir-* (см. ЛАВП 207). Впрочем, можно исходить и из сравнения с лит. *Skvirblỹs*, ср. также *Skverblỹs, Skverbla, Skvarblỹs* и под. (LUEV 151; LHEŽ 307), в которых элемент *-b(-l)-* словообразовательный. Сосуществование *skvir-b-* (*skvir-b-inti*) и *skvar-* (*skvarinti* 'побуждать', 'торопить' и т. п., ср. и *Skvarblỹs*. LUEV 151; LHEŽ 307) дает известные основания для реконструкции балт. \**skvir-*, откуда \**Skvir-in-*. Впрочем, не исключены и объяснения из слав. (ср., кстати, окск. *Скворка, Сквора, Скворенка*. ГБО 22, 54, 209, подробнее см. Балт. элем. I, 168).

Также и *Мечь, Меча* (*Ситова Меча*) может оказаться не только славизмом, но и балтизмом, из \**Met-ja* : к лит. *mėsti* 'бросать', 'метать' (в частности, в связи с характером течения), лтш. *mest*, ср. прусск. *metis*, о метании-бросании, но и слав. \**mesti*. Ср. прусск. *Metynge*, м. б., *Metkeim, Metekayme* (APON 98), ятв. \**Mete* или \**Metis* (> *Necko*, озеро. Falk Pruss-Iatv. 1973, 28; Acta V.-sl. 10, 1976, 122); лит. *Metelỹs, Metelytė* (LUEV 102; LHEŽ 212-213, ср. *Mėt-a-pievis*); лтш. *Metis-plava, Metenis; Mėtani, Meteņi, Metenitis* и др. (LV I, 2, 423); лтг. *Metenis*, болото, *Meteņi mežs* (PN Latg. 318) и др. Ср. днепр. *Метелка* (ЛАВП 195-196); окск. *Меча* (ГБО 162, 170), *Мечань* (ГБО 127),

*Мечинской* (ГБО 170) и др., ср. также тургеневский рассказ «*Касьян с Красивой Мечи*».

*Латышек* (ДБ 2), хотя, видимо, и позднего происхождения, отсылает к сфере балтийской этнонимии, что находит параллель в этнонимических обозначениях *литва* и *курша* в соседнем окско-рязанском локусе.

*Турмень* (ДБ 2) /?/ не вполне ясно, но, похоже, результат экспрессивной палатализации из \**Турмень* (< \**Турт-ьнь* < \**Turt-in-*). Если это так, ср. село *Турмень* в Ефремовском уезде Тульской губ., по соседству с *Турмень*. — Возможно, к балт. *Turt-*, ср. лит. *Turtai* (LATSŽ 322). Учитывая соотношение *Tūr-upis : tūrėti* (LHEŽ 350), ср. \**Turt-in-* : *tūrti, turtėti* и под. Неясны окск. *Турманка* (ГБО 196, 263; \**Turt-* & \**ap-* ?), *Туртавской* (ГБО 259, 267).

Не раз встречающийся гидроним *Сосна* (ср. *Быстрая Сосна*. ДБ 2, *Тихая Сосна, Сосенка*. ДБ 5 и др.) скорее всего балтийского происхождения. Ср. лит. *Sasnà*, м. б., *Sasnavà, Sasnapis* (LUEV 143; LHEŽ 291-292), прусск. *Sassyn*, 1294; *Sasne*, 1315; *Zossin*, 1350; *Sassenen, Sasnen*, ок. 1400, позже — *Sassen; Sassow*, 1333; *Sassio*, 1405, позже — *Sassau; Sassenpile*, 1303 (*Ha-senberg*, 1338, позже — *Haasenberg*). APON 152: к *sasins* 'заяц'; м. б., лтг. *Sōsiņi, Soseņi, Сосены, Сосени* (PN Latg. 472) и др. Ср. днепр. *Сосна* (ЛАВП 209, с иным объяснением); окск. *Сосна* (ГБО 23, 41, 140), *Сосенка* (ГБО 23, 29, 31, 34, 36, 46, 99, 108, 113, 116, 138, 160, 161, 163), *Сосенка* (ГБО 116) и др. при «заячьих» названиях славянского происхождения. Разумеется, и гидронимы типа *Сосна* осмыслялись русским населением не в анимальном, но в вегетативном коде.

О названии речки *Щигор* (ДБ 2, ср. г. *Щигры*), допускающем и славянское и балтийское объяснение, см. в другом месте.

Гидроним *Скороденка* (ДБ 3), имеющий параллели и в безусловно славянском круге, вполне может здесь, как и в Поочье (ср. ГБО 139, 147; *Скородинка*. ГБО 93; *Скородня*. ГБО 139, 172 и др.), объясняться из балтийского источника, как это было сделано в отношении днепр. *Скородка* (ЛАВП 208). — Ср. лит. *Skardėnis*, а также *Skařdis, Skařdzius, Skařdziai, Skardėlis, Skařd-upis, Skard-upỹs* и др. (LUEV 147; LHEŽ 301); лтг. *Skordi, Скардова, Скорды* (PN Latg. 458); прусск. *Zkarde, Scharde*, позже — *Skroda; Schardaniten*, 1308; *Schardenyken*, 1379, позже — *Scharnigk; Schardenithen*, 1332 и др. (APON 159-160); ср. лит. *skařdis* 'обрыв', 'крутой берег' и т. п.

*Кшень* (ДБ 3), допускающее разные объяснения (ср., в частности, *Кшенья Урля* в Поочье. ГБО 256), может быть и отражением

балт. \**Kuš-in-* (с \**Къш-ын-*). Ср. лит. *Kūš-upis* (LUEV 85; LHEŽ 175-176), которое — в том, что касается корня, — связывают с лит. *kušėti* 'двигаться', 'шевелиться', ср. лтш. *kustēst, kustīgs* 'подвижный', 'резвый'.

Гидроним *Кастора* (ДБ 3), будучи не до конца ясным, допускает поиск балтийских параллелей (\**Kast-ar-*), ср. названия с элементом *Kast-* типа лит. *Kastinė, Kastinis* (LUEV 70; LHEŽ 149); лтш. *Kastes-upe*, но, м. б., и *Kasteris*, озеро, *Kastires-ezeri; Kastarne* [?/] (LV I, 2, 56), лтг. *Kasteres, Kastiris, Kastire, Kastires ez., Кастырь* и др. (PN Latg. 209).

Речное название *Пальна* (ДБ 3) может объясняться как балтизм. Как таковой интерпретировался днепровский гидроним *Пальня, Паленка*, другие варианты — *Полна, Полня, Польна* и даже *Пальма* (ЛАВП 202), сопоставлявшееся с прусск. *Polgene-waie* (второй компонент — *wayos* 'луг'). APON 129. Ср. также лит. *Palā, Palangā, Palėja, Paliūtė, Palūnas, Palūnis* (LUEV 116; LHEŽ 241); лтш. *Pala, Palejas* и др.; лтг. *Paleji, Palejiņa* (PN Latg. 361); м. б., куршск. *Palenn* [?/], 1529 (KF 134) и др. — Из \**Pal-in-*?

Речное название *Верейка* (ДБ 3), вероятно, выводится из балт. \**Ver-eik-* при \**Ver-ej-a*. В таком случае ср. прежде всего образования типа лтш. *Vērēja, Verijas*, лит. *Verija* и под., а также лит. *Verỹs, Vėrė, Veretā, Vereibė, Ver-upė, Ver-upỹs, Vėr-upis, Verėnos, Veriėšė, Veringā* и др. (LUEV 191-192); лтш. *Werren, Vėres kalns, Vėris, Vėrepurs* и др. (LVK); прусск. *Wereyn*, 1362 (APON 199); ср. *Веряя* в Подмоскowie (город на западе Московской обл., но и к востоку от Москвы, около Лыткарина и даже около Орехово-Зуева), окск. *Верейка* (ГБО 86), *Верейской* (ГБО 161); собственно говоря, нельзя исключать в качестве источника и балт. *Vir-*, ср. лит. *Viriūs, Virinta* (LUEV 198; LHEŽ 387); лтш. *Virāne, Virānīte* (Latv. UN 4,58); лтг. *Virica* (PN Latg. 558); прусск. *Wirgeiten*, 1464 (= \**Wirjeiten*), *Wiriten*, 1324 (APON 203) и под. Ванас связывает названия на *Ver-* с лит. *virti* 'кипеть', 'бурлить' (ср. *verėnas*), лтш. *viřt*, но для ряда конкретных примеров допускает возможность иных объяснений или признает некоторую их неясность.

Гидроним *Ведуга* в Верхнем Подолье (ДБ 3), ср. рядом п. овр. *Водяной*, конечно, отсылает к днепр. *Ведога, Ведуга, Ведьга, Удуга, Удога, Вудуга*, объясняемым как бесспорные балтизмы (ЛАВП 157, 179) и сопоставляемым с лит. *Vedegā, Vadagā, Vadagėlis*, ср. *Vedegėlė, Vedegynė* (LUEV 182, 189; LHEŽ 358, 369) — при том, что есть и *Vadā, Vādė, Vādas, Vadinis, Vaduvā, Vadvā, Vadaksnis,*

*Vadakstā, Vadaktā* и т. п. (LUEV 182; LHEŽ 357-358). Ср. также лтш. *Vadakste, Vadakstis* и др. (Latv. UN 4, 43); заслуживают особого внимания не вполне ясные *Vidaga, Videga* (Latv. UN 4, 54). Однако существуют неясности относительно понимания семантической мотивировки этих названий. Скорее всего все-таки в основе лежит «водяной» признак (лит. *vanduō*, лтш. *ūdēns*, прусск. *unds, wundan*, слав. \**voda*, но предлагаются и иные связи — с лит. *vadā* 'залежная земля в лесу', лтш. *vada*; лит. *vāda* 'сухое русло, превращающееся после сильного дождя в ручей или реку'; или лит. *vedegā* 'тесло'.

Речное название *Лопайка* (ДБ 4) в точности совпадает с лит. *Lapaika* (LATSŽ 152) и, вероятно, может быть отнесено к кругу «лисыных» наименований, нередких в Подонье (ср. *Лона*. ГБО 28 [?/]). В этом случае ср. лит. *Laropjā*, река и озеро, а также ряд примеров, в отношении которых разделение «лисыных» (лит. *lāpė*) названий от «лиственных» (лит. *lāpas* 'лист') не всегда легко достижимо или даже вообще возможно. Поэтому в связи с примерами типа *Лопайка* и под. уместно помнить не только о тех, которые с большей вероятностью являются «лисыными» (ср. лит. *Lapaiñiā*, лтш. *Lapaine*, прусск. *Lapaunen*, 1405; *Lapkaunen*, 1419; *Lappegarbe*, 1331; *Lapsalov*, 1322 и др. APON 82-83), но и о тех, которые скорее всего связаны с названием листа (ср. лтш. *Lapas-ėzėrs, Lapa-ėzėrs, Lapu-ļava, Lapu-upe* и т. п.). См. LHEŽ 180-181. Уместно напомнить о днепр. (в бассейне Десны) *Лопанка* на стыке балтийского и иранского ареалов, ср. по соседству *Ропша* (от иранского названия лисицы) и калькирующее ее русское название — *Лисичка*, см. ЛАВП 157, 193-194.

Дважды встречающееся в верховьях Дона название *Матыра* и дважды отмеченное там *Матренка* (ДБ 4, 5) напоминают такие названия в Поочье, как *Матра, Матарушка, Маторин* (ГБО 39, 58, 195) и, конечно, «матренкины» воды. По-видимому, все они имеют балтийские корни. Ср. лит. *Matarā, Matarōs ėžeras, Matarū ėžeras, Mataryčiā, Matāriškis, Matrūnā* (LUEV 98; LHEŽ 206-207); лтш. *Matari; Matriņa, Mātriene* (LV I, 2, 382, 383); лтг. *Motori, Mōtrīne, Motrina, Мотрина, Мотриня, Motryni, Motrinas ez., Matrynia, Motrines ru.* и др. (PN Latg. 328); прусск. *Moter*, 1312; *Motern*, 1361; *Motrin*, 1373; *Motren*, 1405; *Mottern*, 1460, позже — *Moterau* (APON 102). См. также Балт. элем. II, s. v. *Матарушка*. К этимологическим связям ср. LHEŽ 206-207 и др.

Гидроним *Скобенка* (ДБ 4), естественно, дает основание для попытки объяснения его из славянского материала, но истолко-

вание его как балтизма имеет, пожалуй, за себя больше оснований. Ср. прусск. *Scabelle*, ручей, 1390 (APON 159); лит. *Скабянѣва* (Спрогис); *Skabeikiai, Skabūčiai* (LATSE 178); лтш. *Skābe, Skabi* (Latv. apdz. nosauk. 145); лтг. *Skabji, Skabi, Скабы; Skōbi; Скоборно*, при озере *Скаберне; Skōbuļi, Скобули* и др. (PN Latg. 455, 458); куршск. *Schabpur*, 1525 (KF 163; *skābs* 'кислый' & *pūrvs* 'болото') и др. — К лит. *skabyti, skōbti* 'киснуть', *skabūs*; лтш. *skabit, skabrs* и под. (см. LEW 791). — Из балт. \**Skab-in-*.

Верхнедонской гидроним *Снежеток* (ДБ 4), конечно, неотделим от днепр. *Снежет, Снежить, Снежать* (в бассейне Десны), см. ЛАВП 208 и от окск. *Снежед, М. Снежед, Снежед Сухая, Снежед Сухой, Снежедь, Снежить, Снежет, Снежетской, Снежецкой* и др. (ГБО 61, 63, 64). С известным вероятно ЛАВП 208 допускает объяснение из балтийского источника, о котором можно судить по лит. *Snaigynas* и под., ср. также *Snaigūpė, Sniėginis, Sniėgiškis* (LUEV 152; LHEŽ 309); лтг. *Sniedzene, Sniedzini, Sniedzins* и др. (PN Latg. 467). — Скорее всего из балт. \**Snaig-et-*, т. е. «снежное» название (: лит. *snaigyti, snaiģioti, snaigė, snaiģė* при *sniėgas* и т. п.), но не исключено объяснение и из славянского источника.

*Плавица, Плавушка* в Верхнем Подонье (ДБ 4) переключаются с окск. *Плавица, Плавица М., Плавица Сух., Плава, Плавка* и др. (ГБО 71, 72, 74, 86, 212) и с днепр. *Плавия*, озеро в бассейне Сергуча, л. п. Березины (ЛАВП 201). — Ср. лит. *Plavys, Plavėlė; Plavėjaĩ, Plāvos, Plavũ upėlis* (LUEV 126; LATSŽ 244); прусск. *Plovis*, 1285, позже — *Plowenz* (APON 126). — Объяснения — LHEŽ 261.

*Малейка* (дважды — ДБ 5, 6), возможно, отражает тот словообразовательный тип и тот корень, которые составляют литовский топоним *Maleikėnai, Maleikėniai* (LATSŽ 168). Из балтийской гидронимии ср. также лит. *Māl-upis, Mal-ūpis, Malynas, Malinis, Malinukas, Malalė, Malynė, Malinės, Mālinis* (LUEV 97; LHEŽ 202–203); лтш. *Malas-dīķis, Malas-mežs, Malenes pļava, Malīņu-ezērs; Purva-mala, Sila-mala, Mež-malas, Kalnmalē* и др. (LV I, 2, 372–373); лтг. *Maleika* (: *Малейка*), *Malėji, Malenka* и др. (PN Latg. 303); м. б., прусск. *Malyn*, XIV в. (APON 94) и др. — Из \**Mal-eik-*; к объяснению корня ср. LHEŽ 203.

Этот круг гидронимов Верхнего Подонья<sup>13</sup>, подозреваемых в балтийском происхождении, составляет предварительно выде-

<sup>13</sup> См. теперь В. Н. Топоров. О балтийской гидронимии Верхнего Подонья // *Linguistica Baltica* 1, 1992, с. 225–240.

ленное ядро, многие элементы которого нуждаются в дальнейшем рассмотрении. Существенно, что они, как правило, продолжают сходные примеры окских и/или днепровских балтизмов. Заполняя относительно равномерно то «пустое» пространство, ограниченное с запада, севера и востока полудугой, они так или иначе становятся определенными индексами этого пространства, что не мешает им вступать в межареальные отношения, иначе говоря, активно участвовать во «вторично» выстраиваемых «соединительных» под-ареалах. Эти отношения могут строиться и как «противительные», но, однако, отсылающие к некоему единству на более высоком уровне, или же, наоборот, как «согласительно-идентифицирующие». Пример первого типа — *Волга-матушка* при *Дон-батюшка*; пример второго типа — *тихий Дон* при *тихая Цна* или *Цна-голубка* с той же идеей мирности, спокойствия, тихости (при этом нужно помнить, что само название *Цна* этимологически, во всяком случае на балтийском горизонте, соотносится с прусск. *tusnan* 'тихий', ср. *tussise* 'молчать', а также *Tuseine*, 1296; *Thussyen; Tusseyen*, 1372, позже — *Tusseinen*. APON 189). Кстати, подобные характеристики основных рек этого ареала, предполагающие определенную степень персонализации, могут составлять своего рода институализированные микроконтексты. Так, Касьян с Красивой Мечи рассказывает о себе: «И вот уж я бы туда пошел... [где „живет всяк человек в довольстве и справедливости...“ — В. Т.] Ведь я мало ли куда ходил! И в Ромен ходил, и в Синбирск — славный град, и в самую Москву — золотые маковки; ходил на Оку-кормилицу, на Цну-голубку, и на Волгу-матушку <...> Ну, вот пошел бы я туда... и вот... и уж и... И не один я грешный... много других хрестьян в лаптях ходят, по миру бродят, правды ищут... да! <...> А то что дома-то, а? Справедливости в человеке нет, вот оно что...».

#### СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Acta B.-sl. — Acta Baltico-Slavica, Białystok [позже: Warszawa].

APON — G. Gerullis. Die altpreussischen Ortsnamen. Berlin; Leipzig, 1922.

Балт. элем. I — В. Н. Топоров. Балтийский элемент в гидронимии Поочья. I // Балто-славянские исследования 1986. М., 1988.

Балт. элем. II — В. Н. Топоров. Балтийский элемент в гидронимии Поочья. II // Балто-славянские исследования 1987. М., 1989.

ДБ — П. Л. Маштаков. Список рек Донского бассейна. Л., 1934.

- ГБО — Г. П. Смолицкая. Гидронимия бассейна Оки (список рек и озер). М., 1976.
- KF — V. Kiparsky. Die Kurenfrage. Helsinki, 1939.
- LATSŽ — Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas, II. dalis. Vilnius, 1976.
- Latv. UN — Latvijas PSR ūdensteču nosaukumi. 1–4 burtn. Rīga, 1986.
- ЛАВП — В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.
- LEW — E. Fraenkel. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg; Göttingen, 1962–1965.
- LHEŽ — A. Vanagas. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius, 1981.
- LUEV — Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas / redavago Elena Grinaveckienė, J. Senkus. Vilnius, 1963.
- LV — J. Endzelīns. Latvijas PSR vietvārdi, I, 1–2. Rīga, 1956–1961.
- LVK — Latvijas PSR vietvārdu kartoteka (Rīga, Valodas in literāturas Instituts).
- НПУ — О. Н. Трубачев. Названия рек правобережной Украины. М., 1968.
- PN Latg. — V. J. Zeps. The placenames of Latgola. A dictionary of East Latvian Toponyms. Madison, Wisconsin, 1984.
- Pruss.-Jatv. — K.-O. Falk. Streszczenie pracy «Prussica-Jatvingica-Lituanica». Lund, 1973 (машинопись).
- Ze stud. — K.-O. Falk. Ze studiów nad nazwami wód suwalskich. Lund, 1973 (машинопись).

В. Н. ТОПОРОВ

К ВОПРОСУ О ДРЕВНЕЙШИХ  
БАЛТО-ФИННОУГОРСКИХ КОНТАКТАХ  
ПО МАТЕРИАЛАМ ГИДРОНИМИИ

I. При исследовании этногенетических вопросов, связанных с историей некоего конкретного ареала, необходимо не только установить наличие определенного этнического и языкового элемента и описать его с достаточной полнотой, но и выяснить, является ли этот ареал однородным в этноязыковом отношении или же он разнороден. В последнем случае естественно идентифицировать другой (или другие) этноязыковой элемент и также описать его. Разумеется, что гетерогенные в этом отношении ареалы представляют особый интерес при решении этногенетических вопросов, а их исследование обладает особой эвристической ценностью. Территории Верхнего и Среднего Поочья и Верхнего Дона, рассматриваемые в двух предыдущих статьях, тем более должны привлечь внимание исследователей, что именно здесь произошла встреча балтийского и финноязычного элементов, а позже, с конца I тысячел. н. э. и встреча славянского («вятичского») элемента как с балтийским, так и с финноязычным. Более того, характер этих встреч позволяет говорить о динамической ситуации: при наличии границ, с одной стороны, нужно предполагать, с другой, их подвижность и легкую проницаемость. Балтийские элементы обнаруживаются и по другую сторону, в глубине финноязычного ареала, и финноязычные элементы появляются то там, то тут в пределах балтийского ареала. Разнообразие этноязыковых элементов на этой территории, как и разнообразие типов контактов и специфика исторического развития представленных здесь языков делают этот ареал своего рода испытательным полем, где проверяется проблема «languages in contact». Нижеследующие страницы посвящены общему взгляду на балто-финноязычные контакты, взятые в широком «восточно-европейском контексте».

Любые культурно-языковые контакты представляют интерес как для истории контактирующих языков, так и для истории соответствующих этносов. В случае достаточной древности этих контактов их языковые и «надъязыковые» результаты могут многое прояснить и в этногенетической проблематике. Случай бал-

то-финно-угорских отношений имеет и дополнительные основания для внимания со стороны исследователей. Два обстоятельства определяют важность обращения к этой проблематике прежде всего — установленный в последнее время факт бесспорного и очень значительного расширения балтийской сферы к востоку от Прибалтики и явная тенденция расширить (или переместить) уральскую прародину на запад от Урала — в северо-восточную Европу, в пространство между Уралом и Средней Волгой и далее, вплоть до теории Д. Ласло (1961), который приурочивает прародину уральцев к территории между Окой и Прибалтикой. Иначе говоря, балтийский и финно-угорский элементы в свете этих открытий или гипотез и их истолкований оказываются пространственно сближенными и, безусловно, взаимосвязанными, хотя неясность хронологических данных существенно препятствует выявлению конкретных форм этих связей. Самое важное новшество состоит, конечно, в том, что традиционная схема этнолингвистической истории всего этого ареала, и без того страдавшая некоторой упрощенностью (неизвестный не-индоевропейский язык — финно-угорский — восточнославянский /русский/, причем последовательность элементов понималась как совпадающая в принципе с хронологией соответствующих периодов), теперь должна быть дополнена новым элементом — балтийским (ранее контакты балтийских и финноязычных элементов обычно признавались лишь для Прибалтики и связывались конкретно с прибалтийско-финскими и восточнобалтийскими языками), а это коренным образом меняет всю эту схему.

II. При рассмотрении истории финно-угорского комплекса в Восточной Европе необходимо теперь учитывать расширение балтийской сферы (как она восстанавливается по гидронимии) за счет среднеокского ареала (приблизительно от Калуги до Рязани, включая сюда и бассейн Москвы) с юга и западно-двинский и верхневолжский (приблизительно от границ Латвии до Твери и Дмитрова) с севера. В первом случае балтийский оказывается в непосредственном соседстве с территорией, занимавшейся мещерой и мордвой, во втором — мерей и отчасти, видимо, даже весью (ср. новейшие исследования о балтизмах в этих языках — Ткаченко, Римша и др.). Но специфика ситуации не в том, что, наконец и хотя бы в общих чертах, найдена балто-финно-угорская граница в центре Восточной Европы (кстати, скорее найдена лишь та зона, за которой к востоку балтизмы становятся редкими и/или случайными), а как раз в противоположном — по обе стороны от этой границы или зоны несомненно присутствие и балтийского

(к востоку) и финноязычного (к западу) элементов; еще конкретнее — надежных финноязычных элементов в балтийском ареале Восточной Европы намного больше, чем балтийских к востоку от балто-финноязычной границы. В данном случае особенно важно, что пространство к востоку от этой границы проницаемо для балтизмов (ср. *Осьма, Восьма, Вобля, Блиденка, Дрисела, Дугна, Вепря, Серена* и т. п. в Нижнем Поочье), как и к северу от нее (ср. следы балтийской гидронимии вплоть до Новгорода и Валдая и даже «сумасшедшие» балтизмы на южном побережье Финского залива и на территории вплоть до озера Белого и южного Приладожья, где живут вепсы, ср. книгу Агеевой). Если учесть, что балтизмы наличествуют (и число выявленных примеров увеличивается) не только в прибалтийско-финских, но и в поволжско-финских языках (и в последнем случае их нередко трудно объяснить как «Wanderwörter» или даже как заимствования в пра-финно-угорском), то неизбежно возникает проблема истолкования этой ситуации взаимопроникновения и взаимоналожения этих элементов, определения того, что является субстратом и что суперстратом (кстати, при любом решении остается актуальным и аспект «адстратности»).

III. Чтобы ответить на эти вопросы, имеющие ключевой характер, необходима информация, которой сейчас наука не обладает (и поэтому самой настоятельной из деэидерат нужно считать составление атласа гидронимии всей этой части Восточной Европы, с преимущественным вниманием к не-славянскому слою). Однако в свете вырисовывающейся в настоящее время балто-финноязычной перспективы имеет смысл обозначить как некоторые слабости и лакуны, так и кое-что из намечающихся тенденций в понимании этой проблемы. Несмотря на недостаточную изученность материала, очень приблизительные представления о структуре всего этого ареала (его дифференциация, изоглоссы и т. п.), неясность хронологии и прочее, все-таки возможны некоторые заключения, предположения, гипотезы, и их смысл не только в подведении итогов на данном уровне знаний, но и в прогнозировании целесообразных подходов, которые могли бы привести к новым результатам уже на более высоком уровне знакомства с проблемой. Прежде всего приходится констатировать уже имеющую солидный возраст традицию объяснять все неизвестное в Средней, Восточной и Северной России как «финское» наследие (мнение, проникшее и за пределы науки, — *Ты, убогая финская Русь!* или *Чудь начудила, да Меря намерила* и т. п.). Из этой установки вытекают два следствия — известный «пан-финнизм»,

не только преувеличивающий реальную (разумеется, очень значительную) роль финноязычного элемента, но и скрывающий или затушевывающий роль других этноязыковых элементов, и на этом фоне особенно разительная недооценка балтийского элемента в этноязыковом и культурно-историческом прошлом Восточной Европы. Именно поэтому, несмотря на ряд исследований, сопрягающих балтийскую и финскую темы (правда, не всегда достаточно надежных и даже корректных по своим приемам и выводам), подлинная формулировка этой проблемы и вытекающие из ее решения результаты остаются скорее благими пожеланиями, нежели реальностью современной науки. И тем не менее существует одна бесспорная реальность — потребность в самоопределении науки перед лицом имеющегося материала и уже высказанных точек зрения в связи с его интерпретацией в этнолингвистическом плане (императив проблемы). Следующие ниже соображения исходят из нескольких положений, представляющихся сейчас очевидными, — наличия языковых и культурных балтизмов в Среднем Поволжье (волжско-финские традиции; проблема балтизмов в коми или в угорском, как и проблема обще-финских /уральских/ балтизмов здесь не учитываются не по принципиальным соображениям, а потому, что в данном случае важнее найти ключ к проблеме, полагая, что в дальнейшем он откроет не только главную дверь, но и многие из второстепенных); — ареала балтийской гидронимии и состава ее элементов; — присутствия весьма правдоподобных балтийских следов в археологических культурах этой части Восточной Европы, начиная уже с III–II тысячелетия до н. э. и, вероятно, до 2-й половины I тысячелетия н. э. (связь с балтийским элементом далеко продвинутой на восток именковской культуры IV–VIII вв. /Халиков и др./ остается спорной и уже вызвала некоторые возражения); — особенностей структуры самого балтийского пространства в Восточной Европе. При этом нужно иметь в виду и то, что не относится к самому материалу, но исключительно к истории его интерпретации в науке (ср. «финно-балтийский» спор за право считать «своими» такие гидронимы, как *Ловать*, *Пола*, *Тосно*, *Цна*, *Нар/о/ва*, *Пейнус*, *Вашка*, *Вейна* и т. п. и даже *Волга*, о чем см. в другом месте; в отдельных случаях в спор вступает и «славянская» сторона).

IV. Общая идея может быть сформулирована в несколько заостренном и почти парадоксальном варианте обмена двух этих этнолингвистических элементов (балтийского и финноязычного) местами: балты пришли на свою «прибалтийскую» родину с восто-

ка (и, значит, вторично) и встретили здесь на значительной территории прибалтийско-финский субстрат; финноязычные же народы пришли в Центр Восточной Европы с востока и встретили здесь балтов, язык которых стал для них субстратом. Хотя хронологические, а отчасти и пространственные рамки описываемой мены очень приблизительны, все-таки, видимо, трудно ошибиться, предположив, что между III и I тысячелетиями до н. э. (для отдельных мест и позже) балты и финноязычные народы были не только соседями, но во многих случаях жили попеременно на одной и той же территории, что приводило и к активным контактам — вплоть до смешений (в обе стороны); существенно напомнить, что археологические данные свидетельствуют о двустороннем распространении этнокультурных элементов: с востока в Прибалтику и из Прибалтики на восток.

Тот факт, что балтизмы в финноязычной речи на несколько порядков больше, чем финнизмы в балтийских, что балтизмы охватывают большую площадь и большее число языков, чем финнизмы в отношении балтийских, что очень значительная часть балтизмов, судя по всему, относится уже к II тысячелетию до н. э., а большинство финнизмов в балтийском (почти исключительно в восточнобалтийском) к существенно более поздней поре (хотя, конечно, очень показательны такие финнизмы, как лит. *lopšys* 'колыбель', *sóra* 'просо', ср. соответственно марийск. *леш* и морд. *сура*, *суро*), и т. п., — заставляет предполагать, что все это было возможно скорее в том случае, если основа субстрата была балтийской, а финноязычный элемент появился здесь позже, в качестве суперстрата. Важным уточнением хронологического (а отчасти и пространственного) характера нужно признать то обстоятельство, что иранизмы в финно-угорских языках древнее, чем балтизмы. Эта этнолингвистическая ситуация в южной части рассматриваемого ареала дает известные основания продолжить балто-иранскую зону контактов в ее западной части (по Сейму) к востоку, за Дон, в направлении к Волге. Представляется, что принятие балтийского элемента в Восточной Европе в качестве субстратного наиболее естественным образом объясняет и балтийскую гидронимию к западу от Средней Волги и балтизмы в поволжско-финских языках. Но есть и другие, более специализированные аргументы в пользу предлагаемой схемы.

Если вернуться к балтийскому ареалу в Центре Восточной Европы как таковому, то выделяются две широтные полосы-пояса — южный и северный (условно по отношению к Москве). Первый из них (южный) характеризуется тем, что в нем финноязыч-

ных гидронимов очень мало, они случайны, не всегда достоверны и расположены на периферии этой зоны (на востоке и северо-востоке, см. карту № 2 в кн. «Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья». М., 1962; расширение же этого пояса к востоку довольно резко увеличивает число финноязычных гидронимов). Второй пояс (северный) представляет совсем иную картину. Во-первых, финноязычный элемент в пределах балтийского ареала продвинул как доминирующий гораздо далее на запад (примерно на уровне меридиана Москвы, а чем севернее, тем далее к западу); во-вторых, он несравненно обильнее и надежнее, чем в южном поясе; в-третьих, наконец, он образует в целом почти сплошную цепь от Урала до Прибалтики с характерным разрежением на водоразделе верховьев Днепра, Волги и Зап. Двины и территории к северу от верхнего течения последней. Таким образом, этот «северный» пояс в значительной степени определяется результатами инфильтрации финноязычного элемента с востока, из района, где балтов заведомо никогда не было, на запад, где он вторгается в балтийский ареал. Что же касается «южного» пояса, то он гораздо более однороден, и его основная черта иная — он характеризуется наличием довольно устойчивых и достоверных изоглоссных связей восточной (Орловская, Калужская, Тульская обл.) и западной (Прибалтика и смежные области России и Белоруссии, иногда с выходами в Озерный край) частями. Складывается впечатление, что в этом случае существенны не только отдельные балтийские изоглоссы типа «восток-запад» (ср. *Болва* — *Balvi*, *Крупела* — *Kraupeļi*, *Зуша* — *Zuši*, *Яуза* — *Aūzes*, *Auzāni*, *Унея* — *Auneja*, *Вытебеть* — *Витьба*, *Выра* — *Выра* и т. п.), но и такие, для которых главным является не столько их языковая принадлежность, сколько четкость и напряженность самих изоглосс, определяемые огромной дистанцией. Отчасти сюда принадлежит гидронимическая изоглосса *Ловать* с не вполне ясной языковой характеристикой названия. Но особенно интересна в этом отношении связь между названием области в восточной Литве в начале I тысячелетия — *Nalšia* (*Нальшанская земля*) — и названием двух рек в Нижнем Поочье, в густом финноязычном гидронимическом контексте, — *Нальша*. Независимо от того, балтийский это гидроним или финноязычный (ср. *Нельша* на мерянских землях, при \**nel* — ‘глотать’, см. Ткаченко, среди других рек со сходной мотивацией названия), сам факт этой «сверхдальней» связи не может быть упущен из вида, как и то обстоятельство, что этот пример не исключение и, следовательно, не может быть просто игрой случая.

Выявление таких фактов, относящихся к глубокой древности (при весьма слабой документации данных на этой территории или вовсе ее отсутствии), остается основным источником, позволяющим проникнуть в секреты структуры этой территории с точки зрения ее гидронимического инвентаря и его распределения. Но в других случаях балто-финноязычных контактов условия могут быть и существенно иными. Иногда при наличии документальных источников и языковых фактов, допускающих реконструкцию субстратных черт, возможны тонкие и точные наблюдения относительно того, какой балтийский элемент наслаивался на какой финноязычный (и наоборот), ср. исследование Брейдака по выявлению конкретного финноязычного субстрата латгалло-селонских говоров в Восточной Латвии (ливский / «чудский»/, а не южноэстонский /угалский/). Еще одна категория случаев определяется ситуацией, помогающей выбрать наиболее удачную трактовку на основании знания «маршрутов» миграции языковых элементов и — часто — соответствующих этнических групп. Так, в течение веков и даже тысячелетий осуществляемые контакты между куршским побережьем Балтийского моря и юго-восточным его побережьем вплоть до Вислы (а нередко и далее, вплоть до Мекленбурга) с самого начала предлагают довольно строгие рамки для трактовки прусских гидронимов с корнем \**Liv-* (*Lyva*, 1250 и др.) в устье Вислы, в которые укладываются многочисленные *Liv*-названия от Вислы до Эстонии (особенно в береговой полосе); характерно, что неподалеку от этой реки, в Миколайчиках, Окуlichem недавно были обнаружены предметы с гребенчатой керамикой, связываемой традиционно с финноязычным элементом, который, как считают некоторые, на рубеже IV–III тысячелетий до н. э. появился на южном побережье Балтийского моря и распространился к западу вплоть до Одера и даже Шлезвиг-Гольштейна (ср., впрочем, возражения Удольфа и др.). Если это все-таки отражает некую реальность, то открывается еще один, самый западный, локус балто-финноязычных контактов, а все пространство их расширяется от Вислы или Одера до Оби. Конечно, это скорее «потенциальное» и «теоретическое» пространство, чем реальное и практическое, внутри которого как раз и должна решаться проблема балто-финноязычных связей — как на материале гидронимии, так и на основе всех других доступных фактов.



В. Э. ОРЕЛ

### НЕСЛАВЯНСКАЯ ГИДРОНИМИЯ БАССЕЙНОВ ВИСЛЫ И ОДЕРА

Настоящая работа посвящена этимологическому анализу гидронимов неславянского происхождения, локализуемых в Повисленье (за вычетом хорошо изученных названий северо-востока Польши, то есть правых притоков Вислы от впадения Буга до устья и правых притоков Буга от впадения Кшны) и в бассейне Одера, включая Варту. Помимо чисто этимологических целей, чему посвящена основная часть работы, мы ставим перед собой, в заключительной части, и некоторые другие задачи, в частности: изучение географического распределения неславянских гидронимов в исследуемом ареале и, в конечном счете, реконструкцию возможного этнолингвистического прошлого висло-одерского пространства и соотношения в его пределах славянского и неславянского этнолингвистических элементов.

Хотелось бы подчеркнуть здесь, что, сознавая некоторые методические сложности этимологического исследования гидронимов в областях, где осуществлялся балто-славянский контакт, особенно на его ранних стадиях, мы сознательно проводили отбор материала с некоторым «допуском», включая в нижеследующий список и такие названия, славянская этимология которых, по крайней мере, не менее вероятна, чем балтийская. В то же время сходная амбивалентность нередко наблюдается и тогда, когда надлежит сделать выбор между балтийским и «древнеевропейским» (или «балканским») истолкованием некоторых из приводимых ниже названий: в то время как специфические балтизмы, как правило, не слишком затруднительно выделить на основе их словообразовательной специфики, аналогичная задача для элементов «древнеевропейской» гидронимии в противопоставлении балтийским гидронимам, видимо, неразрешима в принципе.

В некоторых случаях решающим аргументом для идентификации названий как балтизмов служат сведения относительно их географического распределения. В частности, кажется, в общем, обоснованным понимание как балтизмов тех «двусмысленных» гидронимов верхнего и среднего течения Вислы, которые имеют

более или менее точные соответствия в низовьях, уже вполне надежно определяемые как названия балтийского происхождения. В общем, сходные рассуждения применимы иногда и при поиске «древнеевропейских» гидронимов. Последний термин, конечно, остается в высшей степени расплывчатым и служит, в сущности, указанием на наличие гидронимических параллелей к югу и западу от рассматриваемой в настоящей работе территории.

### Словарь гидронимов

**Aczyska** (вар.: *Okniska*) HW № 203. Вероятно, из балт. \**ak-išk-* или \**ak-es-*, к балтийскому названию глаза в его гидрографических значениях: лит. *akis* «незамерзающая полынья, прорубь, окно в болоте», лтш. *acis* «полынья, окно в болоте» (Невская БГТ 14), ср. семантику славянского варианта-кальки. Та же основа в балтийской гидронимии: лит. *Akis* (Vanagas LH 37; *Būga* RR III, 360), лтш. *Aca*, *Ace*, *Acs* (Endzelins LVV 1, 4), прус. *Akicz* (Gerullis APON 8). Ср. днепровские балтизмы *Ачасы*, *Очеса* (ГВП 176).

**Ada** HW № 409. Возможно, реликт «древнеевропейской» гидронимии, ср. приток По *Adua*, *Addua*, а на апеллативном уровне — авест. *adi* «река, ручей».

**Balinianka** (вар.: *Baliński potok*) HW № 24. Может быть связана с основой, широко представленной в балтийской гидронимии: лит. *Balina*, *Balinis*, *Bālinis* (Vanagas LH 56), лтш. *Baliņa*, *Balinava* (Endzelins LVV 1, 77 f.), прус. *Balyngen* (Топоров ПЯ I, 184). Ср. также апеллативное лит. *balynas* «заболоченное место, большое болото» (Невская БГТ 18; *Būga* RR I, 595), далее — к основному балтийскому названию болота (лит. *balà*). В днепровской гидронимии ср. *Балин* (ГВП 176).

**Banna** HW № 265 (bis). Не исключена славянская этимология (к \**ban'a*), заведомо более вероятная для *Banny* HW № 243. Тем не менее, заслуживают внимания балтийские параллели: лит. *Banė* (LUEV 14), лтш. *Baņi* (Endzelins LVV 1, 85), прус. *Banow* (Топоров ПЯ I, 191; *Būga* RR I, 168).

**Barbara** (вар.: *Barbary*) HW № 5, *Barbara* (вар.: *Barbarka*, *Barbura*) HW № 191, *Barbara* HW № 364, *Barbarka* DW № 84. Неотделимо от верхнеднепровского гидронима *Барбара*, который рассматривается в контексте иллир. *Barbanna* (Трубачев НРПУ 159). С другой стороны, заслуживает внимания как *Barben See* HW № 473 в бассейне Нарева, так и ряд потенциальных балтийских параллелей (см. Орел Варта 109–110): лтш.

*Bārbala, Barbans, Barbīns* (Endzelīns LVV 1, 85), прус. *Barben* (Топоров ПЯ I, 194). Отметим еще днепровский гидроним *Barbara* (СГУ 34).

*Berewa* HW № 335, *Bierawa* (вар.: *Bierawka, Birawka, Bierowa, Bierówka, Bierau*) HO № 39. Интересная параллель в прус. *Berow* (Топоров ПЯ I, 211), восходящем к цветообозначению (лит. *bėras*, лтш. *bėrs*).

*Bėdzin* (вар.: *Bandin*) HO № 237. Допустимо сопоставление с лит. *Bandōs upėlis, Bandzupis* (LUEV 14), лтш. *Bandas-pl., Bandene* (Endzelīns LVV 1, 84), прус. *Bandun, Banduken* и под. (Топоров ПЯ I, 191).

*Borucza* HW № 549, *Borucin* HW № 587, *Borucińskie Jez.* HW № 807. Вероятный источник этих форм — балт. *\*bar-ut-*, ср. прус. *Barutin*, сюда же курш. ЛИ *Boruttes* и ятв. *Боруть* (Топоров ПЯ I, 193).

*Brenica* (вар.: *Brennica, Brenna*) HW № 2, *Breń* HW № 156, *Brenik* (вар.: *Brnik*) HW № 156, *Breń* (вар.: *Breńka*) HW № 136, *Brenka* HW № 138, *Brennica* (вар.: *Branica, Jarzėbówka*) HW № 568, *Brennica* (вар.: *Brynica, Branica, Bartniczka*) HW № 636. Некоторые (а может быть, и большинство) перечисленных гидронимов скорее всего продолжают слав. *\*brьнь* (см. Rozwadowski Studia 12–20). В то же время, для отдельных форм из этого ряда нельзя исключать принадлежность к другому, «древнеевропейскому», гидронимическому слою, где наряду с основой *\*bhren-t-* (см. Skok Brend.: Трубачев НРПУ 177; Топоров ПЯ I, 245) можно предполагать и нераспространенную основу *\*bhren-*, представленную, в частности, в алб. тоск. *bri*, гег. *bri* «рог» < *\*bhyno-*.

*Brzuno* (вар.: *Rzuno*) HW № 725. Допустимо сопоставление с лит. *Briāunis* (Vanagas LH 71) при аппеллативном *briaunā* «выступ» (как гидрографический термин).

*Beska* (вар.: *Beszka*) DW № 57, *Bieszczza* DW № 4. Весьма вероятно связь с албанским оронимическим термином *bjeshkë* < праалб. *\*beskā*. Последний может быть правдоподобно истолкован в связи с названием *Бескид*, предположительно, из праалбанского сочетания имени во мн. числе с постпозитивным указательным местоимением (прообразом албанской членной формы) *\*beskai tāi*. Иначе см. Трубачев НРПУ 281.

*Bulinka* (вар.: *Bulonka, Bulinki*) HW № 47. Допустимо сопоставление с лит. *Bulėnu ež., Būlis* (Vanagas LH 73), лтш. *Buliņš, Buliņi, Bulene pl., Bulēni* (Endzelīns LVV 1, 141, f.) и реконструкция балт. *\*bul-in-, \*bul-en-*. Сюда же может относиться и от-

личное по словообразовательной модели прус. *Bulithien* (Топоров ПЯ I, 263).

*Burda* (вар.: *Trześniówka, Trześń, Trześnia, Świerub, Ujście*) HW № 162. Обнаруживает интересные соответствия в прусском: *Burden, Burdeyn, Bordeyn, Burdayn* (Топоров ПЯ I, 265). О дальнейших связях в балканском ареале см. Топоров ФБ I, 40–41.

*Butorzy* HW № 14, *Butra* DW № 28. Ближайшие параллели представлены в латышской ономастике: *Butra, Butreji* (Топоров ПЯ I, 271). Предполагается связь с балканским *\*but-, \*but-el-* (Трубачев НРПУ 193; Топоров ФБ I, 39). Ср. также Орел Варта 110.

*Bytoń* (вар.: *Bytońskie Jez.*) HW № 587. Может быть сопоставлено с лтш. *Butani* (Endzelīns LVV 1, 149), что подразумевает реконструкцию балт. *\*būt-an-* при широко представленном *\*but-en-* (см. Топоров ПЯ Iб 270).

*Czercze* (вар.: *Czerczy*) HW № 112. Вместе с гидронимом *Черча* в бассейне Тетерева (СГУ 607) может восходить к балт. *\*kerk-* или *\*kirk-*, ср. лит. *Kirka* (Vanagas LH 157), прус. *Kercus* (Топоров ПЯ III, 323), а также лтш. *Kerka* (согласно Būga RR III, 644, из прибалтийско-финского).

*Dalamin* HW № 696. Возможно, восходит к балтийскому композиту *\*dal(a)-min-*, о составных элементах которого см. Būga RR I, 233–234 и Топоров ПЯ I, 291. Поскольку в целом композит не засвидетельствован, сопоставление остается весьма проблематичным.

*Danielka* HW № 15. Не исключено предположение о балт. *\*dan-el-*, ср. лит. *Danė* (Vanagas LH 80: связывает с иран. *\*dān-*), лтш. *Dana* (Endzelīns LVV 1, 193).

*Deka* HW № 779. Заслуживают внимания возможные параллели в лтш. *Daikas, Daiks, Daik-ezers* (Endzelīns LVV 1, 189).

*Domonie* HW № 54. Связано с днепровскими балтизмами *Дамынка, Домановка* (ГВП 183–184). Ближайшие соответствия в балтийском: лит. *Domija* (Vanagas LH 88), *Domėnai* (Būga RR I, 422), лтш. *Dāmaņi* (Endzelīns LVV 1, 201). Ср. также прус. *Dome* (Топоров ПЯ I, 294).

*Duk* HW № 690. Заслуживают внимания лит. *Daūk-upis* (Vanagas LH 81), лтш. *Dauķi* (Endzelīns LVV 1, 199). Двусмысленный характер имеет прус. *\*dauk-*, за которым может скрываться и старое *\*daug-* (Топоров ПЯ I, 307).

*Dury* HW № 737, *Duraj* (вар.: *Lidzianka, Ludzianka, Linda, Dunaj, Donaj*) HW № 564, *Durand* (вар.: *Twaroźna*) HW № 99. Наряду с другими возможностями (см. DW 42), возможно и обращение к балтийскому материалу, ср. лит. *Dūriai, Dūr-upis*

(Vanagas LH 97), лтш. *Dur-upe* (Endzelīns LVV 1, 244). Впрочем, *Duraj* может быть и какографическим вариантом к *Dunaj*. Форма *Durand*, как кажется, указывает на образование с балт. \*-and-. см. Būga RR III, 847–848.

**Dwini** HW № 366, *Dzwina* DW № 59. Вероятно, балтийского происхождения, как и днепровская Двина (ГВП 183). См. еще Būga RR III, 503.

**Dydnia** (вар.: *Jablonka, Jablonki, Jabłoński, Dydniański, Stara Rzeką*) HW № 206, *Dzidno* (вар.: *Dziedno, Zedno Większe*) HW № 699, *Dzidzinka* (вар.: *Zedno Mniejsze*) HW № 699. Возможно, из балт. \**did-in-*, ср. лит. *didis* «большой», *Did-upis* (Vanagas LH 85). *Dzidno* и *Dzidzinka*, ввиду отмечаемых вариантов, могут иметь и иное объяснение.

**Dysza** DW № 65. Небезынтересно сопоставление с лит. *Dūš-upis* (Vanagas LH 98: предполагает связь с *dūšià* «душа»). С другой стороны, полезно обратить внимание на балтийскую гидронимическую основу \**dūs-* (Топоров ПЯ I, 394; Vanagas, *ibid.*).

**Dyrbok** (вар.: *Dyrbek, Dyrbuk*) HW № 185. Германизм со 2-м компонентом \**baki-*, см. *Taszycki Germ.*

**Dzian** (вар.: *Zian*) DW № 14, *Dzianisz* HW № 58. Связано с иллир. *Thana* < *Diana* (см. Mayer AI II, 205; Krahe SI I, 86) и, далее, с верхнеднепровским *Зон* (см. Трубачев НРПУ 179). Славянская этимология *Dzian* (DW 42) не представляется убедительной.

**Dzwonny Rów** DW № 18. Связь с апеллативом *dzwon* сомнительна. Приведенная форма может указывать на незасвидетельствованный гидроним \**Dzwon*, который, в свою очередь, едва ли следует отделять от наличных в бассейне Днестра названий *Дзван*, *Жван*. Последние трактуются как потенциальные иллиризмы (см. Трубачев НРПУ 208). Возможно, как-то связано с *Dzian*?

**Dzunia** HW № 173. Перспективно сравнение с лит. *Žiāunė, Žiāunis* (Vanagas LH 400), далее — к апеллативу *žiāuna, žiaunė*.

**Galina** HO № 99. Неотделимо от лит. *Galinė, Galinis* (Vanagas LH 105), далее — к лит. *gālas*, лтш. *gals* «конец» (см. еще Топоров ПЯ II, 134).

**Gdola** HW № 376. Вероятно, в конечном счете, связано с балт. \**gud-* (см. Топоров ПЯ II, 323 и сл.). В словообразовательном плане ср. лит. *Gudėl-upis* (Vanagas LH 126), лтш. *Gudėļi* (Endzelīns LVV 1, 336).

**Gduna** HW № 703. К балт. \**gud-* (см. выше). На словообразовательном уровне может продолжаться балт. \**gud-ūn-* (подробно см. Топоров ПЯ II, 324, 327).

**Gdyczyna** (вар.: *Gdyczynka*) HW № 208. Также к балт. \**gud-* (см. выше). Ближайшие соответствия обнаруживаются в прус. *Gudicus, Godekus, Godeke* (Топоров ПЯ II, 323). Ср. также лит. *Gudeikių km.* (LATS 712).

**Gelino** (вар.: *Gotuń, Goleń, Lelekownica*) HW № 726. Соотношение вариантов с *-o-* и *-e-* делает славянскую этимологию не слишком вероятной. Ср. аналогичное колебание в лит. *Geluōnai ~ Galuōnai* (Vanagas LH 105). В словообразовательном плане особый интерес представляют прус. *Gelyen* (Топоров ПЯ II, 198) и ст.-лит. (*Mynne-*)*gelin* (Būga RR I, 249).

**Gostuda** (вар.: *Gostudno, Gostuden See*) HW № 666. Окончательный выбор верной этимологии — славянской, балтийской или германской — в этом случае, как и в ряде других, принципиально затруднен. Словообразовательный анализ также оказывается в этой ситуации непоказательным. Ориентируясь на балтийскую версию, можно думать о сложении типа \**gast-und-* (о 2-й части см. Būga RR II, 663). Аналогична ситуация с *Gostusza* (вар.: *Granicznik, Grenz Graben*) HO № 85.

**Gościbia** HW № 36. Те же трудности, что и с *Gostuda* (ср. еще ГВП 217). Возможно выведение данного гидронима из славянского посессива ж. р. \**gostivja*. С другой стороны, балтийская версия могла бы опираться на гипотетическое \**gast-ib-*.

**Gwda** (вар.: *Głda*) DW № 73, *Gwdzica* DW № 74, *Gwda* (вар.: *Gzarna Woda, Gzarnawoda, Wda, Schwarzwasser, Bda*) HW № 713, *Wdzydze* (вар.: *Wdzidze, Wdzydzkie Jez., Wdzidzkie Jez., Duże Jez., Rybackie Jez., Weitsee, Wdzice* < *Widencze, Wydencz, Widen-see*) HW № 724. Сложное с этимологической точки зрения гнездо. Требуя обсуждения его соотношение с днепровским *Овда* (ГВП 170), предполагаемый иранский характер которого (Трубачев НРПУ 79) не вполне убедителен, как и связь с названиями типа *Удаў*, *Уды*. Часть форм может быть, вместе с тем, связана с балт. \**gud-*.

**Gubel** HW № 776. Может быть непосредственно сопоставлено с лит. *Gaubelio km.* (LATS 695). Об основе \**gaub-* см. Топоров ПЯ II, 174.

**Hozanna** (вар.: *Hozjanna*) HW № 692. См. *Ozanna*.

**Ina** (вар.: *Ihna*) HO № 251. Соответствует лтш. *Inus* (Endzelīns LVV 1, 371). В составе композитов эта основа представлена в прусском (см. Топоров ПЯ II, 49), а также в бассейне Днепра (ГВП 189, 241; Топоров *Baltica* 235).

**Jagunia** (вар.: *Jagonia*) HW № 365. Ср., с иным суффиксальным оформлением, прус. *Jagoris, Jagoten* (Būga RR I, 161 f.) и лит. *Jagūdis* (Vanagas LH 134–135).

**Jandula** HW № 246. Неотделимо от гидронимов *Яндоля, Ендоля* в бассейне С. Донца (СГУ, s. v.). Перспективные параллели обнаруживаются в балтийской антропонимии: лит. *Juñdulas, Juñdilas*, ср. также топоним *Jundilaĩ* (Būga RR I, 267 f.; III, 137), ятв. *Юндиль*, прус. *Jondele* (Топоров ПЯ III, 62). Далее сюда же относятся апеллятивы типа лит. *juñdilas* «беспокойный», *juñdulas* и т. п. (к *judėti* «двигаться»).

**Jaskuła** HO № 76. Ср. прусские ЛИ *Jeysko, Jeske* (Топоров ПЯ III, 29)?

**Kalęba** (вар.: *Kalębie Jez., Osieczno*) HW № 734. Соответствует лтш. *Kalimbji* (Endzelins LVV 2, 15), если последнее не из \**Kaln-limbji*.

**Kalwy** DW № 48, *Kalwaria* HW № 678. Может быть сопоставлено с лит. *Kalvė* (Vanagas LH 144), лтш. *Kalva* (Endzelins LVV 2, 27), прус. *Kalwen, Kalve* (Топоров ПЯ III, 184). Близко расположенная к реке *Kalwy* славянская *Kowla* (к \**kovati*) подсказывает дальнейшие апеллятивные связи — лит. *kálvis*, лтш. *kalvis* «кузнец», см. Орел Варта 111. Форма *Kalwaria*, возможно, с диссимиляцией из \**Kalwalia*, ср. лит. *Kalvāliai* (Топоров ПЯ III, 185).

**Kand** HW № 97. Сопоставимо с лтш. *Kandava* (Endzelins LVV 2, 36), лит. *Kandžiai*, прус. *Candeyn, Canden* (Топоров ПЯ 204–205).

**Kania** (вар.: *Koprzywianka, Pokrzywianka, Koprzywnica, Wrona, Mostecka, Wiśniówka, Bukówka, Lipówka, Więzownica, Samborka*) HW № 159, *Kania* (вар.: *Owśniczka*) HW № 719, *Kania* DW № 49, *Kania* (вар.: *Bukownica, Bukowica, Bukówka, Gostyńska Struga*) DW № 52. По крайней мере, часть перечисленных названий восходит к славянскому апеллятиву (польск. *kania*). С другой стороны, не следует упускать из виду и возможность балтийского происхождения части указанных гидронимов, ср. лит. *Kanià, Kanys* (Vanagas LH 146), лтш. *Kaņupe* (Endzelins LVV 2, 40).

**Karsino** (вар.: *Karsińskie Jez., Karszyńskie Jez., Karschin See, Karchin See, Karsnino*) HW № 670, *Karsin* HW № 728, *Karsno* (вар.: *Raduńskie Jez., Radunia, Radaunen See, Odnoga, Moszadowo, Garsno, Garskania*) HW № 807, *Karsienko* (вар.: *Karschen See*) HO № 136. Анализ вислинских гидронимов (от которых неотделимо и название из бассейна Одера) см. Топоров ПЯ III, 235.

**Kasina** (вар.: *Kasinka*) HW № 45, *Kasina* (вар.: *die Kaschine, Feld Bach*) HO № 69. Вместе с днепровскими названиями *Касинка, Касна* (см. несколько иное толкование в ГВП 190) может восходить к балт. \**kōs-in-*, ср. лит. *Kūosinė* (Vanagas LH 173).

**Kawny** HW № 187, *Kawnyj* HW № 221, *Kawna* (вар.: *Wielka Kawna*) HW № 192. Если не из слав. \**кавьнь* (или \**кальнь*), мо-

жет рассматриваться вместе с днепровским *Ковна* (ГВП 191) как балтизм и сопоставляться с лит. *Kāunas*.

**Kineta** (вар.: *Blonica*) HW № 55. В конечном счете, связано с балтийскими терминами рельефа: лит. *kinė* «возвышенность на лугу или болоте», лтш. *sine, ciņa* «холм» (Невская БГТ 40). В гидронимии ср. лит. *Kinė, Kin-upis* (Vanagas LH 156). Особая словообразовательная близость обнаруживается в лтш. *Cinata, Cinats, Cinītis* (Endzelins LVV 1, 166–167). Славянский перевод *Blonica*, вероятно, служит квазипереводом балтийского *Kineta*.

**Klewiec** HW № 4, *Klewiotka* HW № 661. Наряду с возможной прозрачной этимологией на славянском материале, допустимо, как и для днепровских *Клева, Клевень* (ГВП 191), сопоставление с лит. *Klevà, Klevinė* (Vanagas LH 159; иначе Būga RR III, 527).

**Knajka** HW № 4. Практически тождественно лит. *Kuneyko* (Būga RR I, 237). Ср. далее гидронимы *Kunà, Kūn-upis* (Vanagas LH 172), связанные с лит. *kunė* «непроходимое болото» (Невская БГТ 45). Едва ли сюда же лтш. *Kuņa*, см. Endzelins LVV 2, 175.

**Knarizna** (вар.: *Makocka, Machocka, Gawlice*) HW № 132, *Knarica* (вар.: *Jasionka, Dobrzączka, Jeziorka*) HW № 133. Может восходить к балт. \**kun-ap-*, которое, ввиду характерного \**ap-*, образует как бы прусскую параллель к лит. *Kūn-upis* (см. выше).

**Kniski** HW № 105, *Kniaski* HW № 170, 193. Отражение балт. \**kun-išk-?* Ср. *Knarizna*.

**Kniewo** HW № 809. Возможно, также к балт. \**kun-* с использованием широко распространенной в прусском модели на *-ow/-ew*. Тот же гидроним встречается и в бассейне Нарева.

**Kotara** DW № 4, *Kotarny* HW № 19, *Koterka* HW № 397, *Koterza* HW № 782. Сопоставляется с лит. *Katārė, Katrà* (Vanagas LH 150), прус. *Kother* (Топоров ПЯ III, 266), см. Орел Варта 111–112. Наличие иллирийских параллелей (Mayer AI I, 182; Krahe VS 10) позволяет, однако, интерпретировать гидронимы верхнего Повисленья как следы старой балканской гидронимии.

**Kownatka** (вар.: *Kownackie Jez., Januszkowskie Jez., Kownatken See, Kaunen See, Koffnetz*) HW № 552. См. *Kawny*.

**Kryry** (вар.: *Samica*) DW № 53, *Krerowski Rów* DW № 34. Вместе с гидронимом *Крыровъ/Крырово* в бассейне Десны (ЕСЛит 74) указывает на основу \**kryr-* неясного происхождения. Наличие в бассейне Варты «крававых» рек (ср. *Krewka* DW № 5) позволяет в данном случае предположить дославянское («древне-европейское») \**krūr-*, тождественное др.-инд. *krūra-* «сырой, кровавый», авест. *χrūra-* «крававый, неистовый». См. еще Орел Варта 112.

**Kuliska** HW № 134. Может отражать балт. \**kul-išk-* и рассматриваться в связи с лит. *Kulė, Kulys* (Vanagas LH 170), далее к *kulys* «изгиб, угол».

**Kurp** DW № 24. Соответствует лит. *Kūrpės, Kurpaī*, прус. *Kurpie*, см. Орел Варта 112.

**Kwa** DW № 14. Точно соответствует гидрониму *Иква* в Поднепровье и Побужье (СГУ 221) < \**jьkva*. Для последнего предполагают «древнеевропейский» источник (Rozwadowski Studia 90; Трубачев НРПУ 64 и сл.), что, впрочем, не полностью исключает и возможность балтийского происхождения названных форм. См. еще Орел Варта 112.

**Leluta** (вар.: *Blotny, Luluta, Duża Leluta, Lałuta*) HW № 250, *Mala Leluta* (вар.: *Mala Lelutka*) HW № 250. Не исключено понимание этих форм как производных от лит. *liėlas*, лтш. *liels* «большой». Вместе с тем, заслуживает внимания практически полное совпадение с прусским антропонимом *Lalutte* (Trautmann APPN 51).

**Leta** DW № 2. Допустимо связывать с лит. *Leitā, Leitė* (Vanagas LH 185; Būga RR III, 676). Образования от той же балтийской основы известны в бассейне Десны и в Поочье (ГВП 192; Топоров Baltica 248). См. также Орел Варта 112.

**Ligda** DW № 73. Единичная фиксация — вариант гидронима *Gwda* (см.). Если *Ligda* не является случайным искажением, любопытно привлечь к сопоставлению прусский антропоним *Ligeden* (Būga RR I, 424).

**Linda** (вар.: *Lidzianka, Ludzianka, Dunaj, Donaj, Duraj*) HW № 564. Может быть сопоставлено с прус. *Linde-lawke, Linden-medie* (Gerullis APON 89), к апеллативу *lindan* «долина» (см. Būga RR III, 169). Сюда же, возможно, признаваемое неисконным лит. *Lindė* (Vanagas LH 192).

**Linowo** (вар.: *Linowe Jez., Linowiec, Lynoffen*) HW № 760, *Linawa* (вар.: *Linau*) HW № 800. При всех трудностях разграничения гидронимов славянского и балтийского происхождения, образованных от этой основы, данные гидронимы — в частности, по соображениям географического порядка — скорее тяготеют к прус. *Linaw* (Gerullis APON 89).

**Liswarta** (вар.: *Listwarta, Lizwarta, Lizdwarta, Liczwarta, Iswarta, Istwarta, Izdwarta, Warta*) DW № 3, *Liswarta* DW № 4. Несомненно, сложение со 2-й частью тождественной *Warta* (см.). Исходная форма 2-го элемента, однако, остается неясной — *list-/lizard-* или *ist-/izard-*? Одно из правдоподобных толкований: *ista Warta* «настоящая, подлинная Варта» (DW 79). Оно, однако,

ничего не говорит о происхождении гидронима, поскольку с тем же успехом можно думать и о дославянском сочетании \**istā wртā*.

**Liw** (вар.: *Liwiec*) HW № 405, *Liwa* (вар.: *Mrówka, Mrowla, Mrówka, Kanal, Mrowa, Czarna*) HW № 259. Бесспорно связано с прус. *Lywa*; далее, возможно, к лтш. *līvis* «болото». Об этой основе в северо-восточной Польше см. Rzetelska-Feleszko, Duma NRP 105.

**Luktyk** HW № 193. Весьма неясно. С допущением вторичных фонетических преобразований можно думать о старом балтийском композите типа лит. *Laūk-takis* (Vanagas LH 183).

**Łan** HW № 196. Интересно днепровское *Лань* (вариант к *Луня*, последнее считают балтизмом, см. ГВП 194). Может быть, связано с балт. \**aln-*: лит. *Alnà* (Vanagas LH 41), прус. *Alna* (Топоров ПЯ I, 77)? См. также Būga RR I, 310, 501.

**Łobzonka** (вар.: *Łomżonka, Kaszubka, Nieca, Nica, Stotunia, Stotuń, Stotuńka, Stotynia, Sypniewska Rzeka, Sypniewka, Wyrza*) DW № 69. Имеет прямую параллель в гидронимии Сожа: *Лобжа, Лобжонка* (ГВП 157, 192: допускается балтийское происхождение). Ср. особенно лит. *Labāžė, Labāžėlė, Labažiūkas, Labāžis* (Vanagas LH 177), соотносительные с *labas* «добрый». См. Орел Варта 112.

**Łosonia** (вар.: *Krasówka, Krasowa, Krasawa, Osonia, Sosonia, Łosomia*) DW № 9. Идентично лит. *Alsūnė* (Vanagas LH 4)), прус. ЛИ *Alsune* (Trautmann APPN 12, 131), см. еще Būga RR III, 417 и Орел Варта 112–113.

**Łupia** HW № 569. Бесспорно, допустима славянская этимология. Вместе с тем, не исключены как балтийские связи (ср. прус. *Luppin* Gerullis APON 92, а также днепровское *Луна* ГВП 194), так и «древнеевропейские» параллели, см. Lehr-Splawinski Pochodzenie 71.

**Madej** HW № 31, *Mada* HW № 130, *Mada* HW № 136. Представляется перспективной связь этих гидронимов с балтийскими апеллативами: лит. *mōdas* «болото», прус. *modis* «lacus» (Būga RR I, 312; Невская БГТ 53).

**Maława** (вар.: *Malewska*) DW № 53, *Malawa* HO № 41. Может входить в круг славянских образований на \**-ava* (от \**mal-*). Вместе с тем, нельзя исключить балтийского происхождения — из балт. \**mal-av-*, к балтийскому названию берега: лит. *mala*, лтш. *mala*, широко представленному в гидронимии, см. Vanagas LH 202; Endzelins LVV 2, 372 f.

**Małanka** (вар.: *Małąka*) HW № 155. Возможно, сопоставимо с днепровскими названиями типа *Мелань, Меленка*, которые обыч-

но рассматриваются в контексте лтш. *melns* «черный», см. ГВП 195. Ср. также ниже.

**Malwina** DW № 28. Наряду с балтийскими параллелями (лтш. *Malvis*), заслуживают также внимания балканские продолжения основы \**malw-*, см. Топоров ФБ 2, 62 и Орел Варта 113.

**Margesz** DW № 10. Наряду с бросающимися в глаза балтийскими соответствиями типа лит. *Margà* (Vanagas LH 205) и их днепровскими соответствиями (ГВП 196), в данном случае налицо также аналогичные образования в балканском ареале, ср. прежде всего фрак. *Máργος* и иллир. *Margus*, *Margum* (Топоров ФБ 2, 64).

**Marien See** (вар.: *Przywidz*, *Przywidzkie Jez.*) HW № 779. Возможно, вторичное преобразование балтийского гидронима, образованного от апеллатива со значением «море, озеро» (лит. *marės*, лтш. *mare*, прус. *mary*), ср. далее лит. *Marà*, *Marės* (Vanagas LH 204).

**Maruńka** (вар.: *Białka*) HW № 361, *Maruszczak* HW № 361. В фонетическом и словообразовательном плане соотношение этих гидронимов напоминает соотношение припятского речного названия *Бреца* и нашего *Brenna* (см. выше). Перед нами, следовательно, могут быть следы «древнеевропейской» основы \**mar(i)-* (см. Топоров ФБ 2, 64) в словообразовательном оформлении \**mar-unt(-j)-* : \**mar-un-*.

**Maruszka** HW № 55, *Maruszka* (вар.: *Marmortal Bach*, *Františkovský potok*) HO № 56. Может восходить к архаичному \**Marusza* с яркими западнобалканскими параллелями, ср. иллир. *Marusio* (Mayer AI 220).

**Marynia** HW № 193. Возможно, к балт. \**mar-*, ср. особенно лтш. *Mariņa* (Endzelins LVV 2, 379), прус. *Morrenn*, *Moreyne* (Gerullis APON 101). Балканские связи в данном случае представляются менее выразительными, см. Топоров ФБ 2, 64.

**Maryta** HW № 288. Специфические словообразовательные параллели в прусском: *Moriten*, *Marithen*, *Maritten*, *Mariten* (Gerullis APON 94, 101).

**Maskalis** HW № 135. Наличие по соседству славянского квазиперевода *Mozgawka* позволяет видеть здесь балтизм, рассмотренный ранее в связи с этимологией гидронима (и топонима) *Москва* (см. Топоров Baltica).

**Maskawa** (вар.: *Moskawa*, *Rzeznica*, *Reśnica*, *Resnica*, *Żrenica*, *Zrenica*, *Średzka Struga*) DW № 33, *Moskawa* DW № 33, *Moskawa* (вар.: *Moaske*, *das Maaskefliess*) HO № 128, *Moskawa* (вар.: *Młynówka Kosięrska*, *Mosken Fliess*) HO № 134, *Moskowo* HO № 249. Из балт. \**mask-av-*, см. *Maskalis*.

**Medyka** HW № 223. Соответствует лит. *Medikis* (Vanagas LH 208), производному от *medė* «лес».

**Medynia** (вар.: *Trzebośnia*, *Trzebośna*, *Trzebośnica*, *Trzeboś*, *Trzebowska*, *Trzebuska*, *Trzebuśka*, *Treboşz*, *Gródza*) HW № 269. К той же балтийской основе, что и *Medyka*, ср. лит. *medinis*, *mėdinas* «лесной», а также гидронимы *Medinis*, *Mėdinis*, *Medinė*, *Medin-upė* (Vanagas LH 208–209). Ср. также не вполне ясное *Medyndok* HW № 146.

**Melno** (вар.: *Mielenko*, *Melinko*, *Melinki*) HW № 813. Собственно, к балт. \**meln-* «черный», см. выше.

**Mękwa** (вар.: *Orzechówka*) DW № 3. Возможно, отражает балт. \**mank-uv-*, ср. лит. *Mañk-upis*, ятв. *Monkowo*, прус. *Manke* (Vanagas LH 204).

**Mianka** DW № 50, *Mianka* (вар.: *Mieñka*, *Mienka*, *Manka*, *Mieñ*) HW № 400, *Mienia* HW № 352. Сюда же, вероятно, и приток Березины *Мяна* (ГВП 197). Исходная форма \**mēnъ* допускает две возможные трактовки: как балтизм (ср. лит. *Mainia*, лтш. *maiņa* «болото», см. Vanagas LH 201) или как реликт «древнеевропейской» гидронимии, связанный с названием реки *Main* и, далее, с кельтскими названиями болота, ср. др.-ирл. *móin*, см. Pokorny IEW 699 f.).

**Mileń** DW № 14. Связано с днепровским *Миленка* (ГВП 195: с оговорками принимается балтийская этимология). Заслуживают внимания формы типа лтш. *Milene* (Endzelins LVV 2, 443), которые, однако, могут рассматриваться и как неисконные.

**Milik** HW № 110. При словообразовательно более далеком лит. *Mylė* (Vanagas LH 215) обращают на себя внимание прусские и куршские личные имена: *Mileke*, *Milige*, *My Luke* (Trautmann APPN 59), *Myleck*, *Milike*, *Milicke*, *Myleck* (Kiparsky KF 310).

**Minikowo** (вар.: *Minikowskie Jez.*) HW № 697, *Minko* (вар.: *Minko*) HW № 176. В конечном счете, к лит. *Minià*, *Minė* (Vanagas LH 217). Ближайшие параллели обнаруживаются в прусской антропонимии: *Mineko*, *Mineke*, *Myneke* (Trautmann APPN 60, 146).

**Mintawa** (вар.: *Zgłowiączka*) HW № 586. Тожественно литовскому названию Елгавы *Mintauja*. Далее к прус. *Mynthen*, *Myn-tewayen*, лит. *Minčia*, см. Būga RR III, 543; Gerullis APON 99; Vanagas LH 216.

**Mirotko** (вар.: *Dorf Bach*) HO № 98. Балтийское образование на \**-āt-* от того же корня, что и *Mirusze* (см.). О словообразовательном аспекте см. Būga RR I, 159–165.

**Mirusze** DW № 34. Вместе с *Miruszka* в бассейне Нарева (HW № 413) является точным соответствием литовского причастия

прош. вр. ж. р. *mīrusi* от *mīrti*. Таким образом, исходное значение — \*«мертвая (река)». См. Орел Варта 113.

**Mitrega** HW № 10. Вероятно, балтийское суффиксальное образование на \*-ing- (см. Būga RR III, 245–246) от лит. *mitrūs*, лтш. *mitrs* «влажный».

**Modła** DW № 23, **Modła** DW № 35, **Modła** HW № 296. Согласно предположению Мошиньского (DW 92), связано с и.-е. \**mad-* «быть влажным» (см. Pokorný IEW 664–665) и может трактоваться как рефлекс «древнеевропейского» \**mad-ul-*.

**Modra** (вар.: *Moder Fliess, Moder Fluss*) HW № 658, **Modre Wody** HW № 345, **Modrza** (вар.: *Belchówka*) HW № 201, **Modrza** DW № 81. В конечном счете, также к и.-е. \**mad-*. Особого внимания, однако, заслуживает наличие в балтийском производного на \*-r-: лит. *mādaras* «жидкая грязь».

**Mora** (вар.: *Moravice, Moravica, Morawica, die Mohra*) HO № 10, **Mora** (вар.: *das Moorwasser*) HO № 56. Самостоятельное «древнеевропейское» название, продолжающее и.-е. \**mar(i)-*, или вариант гидронима *Morawa* (см.).

**Morawa** (вар.: *Murawa, Morwawa, Morwa, Tabor, Taba, Kompacha*) HW № 242, **Morwawa** (вар.: *Kompacha, Klimkówka*) HW № 243, **Mrowa** (вар.: *Utrata, Rżewa, Rzewa, Pisa*) HW № 572, **Morawka** (вар.: *Morávka, Morovka, die Morawka*) HO № 17, **Morawka** (вар.: *Morávka, Morowski Potok*) HO № 25, **Morawa** HO № 37, **Morawa** (вар.: *Morawka, die Mohrau, Mohre*) HO № 49, **Morawa** HO № 56. Перечисленные формы неотделимы от дунайского гидронима *Morava* и также имеют более или менее бесспорный западнобалканский источник (см. Трубачев НРПУ 51).

**Morzyna** (вар.: *Cienkówka, der Zinkitzbach*) HO № 66. Этимологически идентично *Marynia* (см.).

**Motława** (вар.: *Motlau, Mutława, Muttlaw, Mottlow, Mottelaw, Modla, Szpegawa*) HW № 802, **Mała Motława** HW № 806, **Motława** HW № 818. Образование на \*-av- от основы, представленной в прусской топонимике (*Matūlen* Gerullis APON 95) и антропонимике (*Mattule* Trautmann APPN 56).

**Mozaika** (вар.: *Muzajka, Karkoszka*) DW № 44. Тождественно днепровскому *Можайка* (ГВП 196) и прямо соотносится с лит. \**Mažója, Mažeikiā* и т. п. (см. Būga RR I, 418; Vanagas LH 208; Орел Варта 114).

**Mroga** (вар.: *Mrocza*) HW № 566, **Mrożyca** (вар.: *Moszczyca*) HW № 566. К этимологии см. *Margesz*. В данном случае, однако, более вероятна балтийская этимология гидронимов, ср. днепровское *Морожа* (ГВП 196) из того же источника.

**Muryna** (вар.: *Murynia*) HW № 165. Идентично прус. *Maurin* и, далее, лит. *Máuras, Maur-upė* (Vanagas LH 207), в конечном счете, — к *máuras* «грязь, тина» (см. Būga RR I, 469).

**Nagoszyn** HW № 156. По-видимому, при некоторых отличиях в суффиксальном оформлении, следует сближать с прус. *Nogothin* (Gerullis APON 108), которое, в свою очередь, связывают с рядом гидронимов Поднепровья и Повисленья: *Нагать, Негать, Nogat, Nogata* (Топоров Baltica 226).

**Naranka** HW № 39. Неотделимо от гидронимов среднего и нижнего течения Вислы, восходящих, в конечном счете, к \**ner-*: *Narew, Narewka, Narwa, Narwica* (HW № 411, 414, 470, 581). Если не выходить за рамки балтийского ареала, ближайшими соответствиями окажутся прус. *Narus* (Gerullis APON 107), лит. *Nar-ūpis* (Vanagas LH 223), а на апеллативном уровне — лит. *narà* «поток». Не является ли *Naranka* преобразованием исходного \**Naranta*? Ср. лит. *Narañtis*.

**Nart** DW № 26. Должно рассматриваться вместе с вислинским *Nart, Narty* (HW № 533) как соответствие лит. *Nañtas* (название каменного мыса) и апеллативного *nartà, nañtas* «водоворот, быстрина», см. Vanagas LH 224, Орел Варта 114.

**Ner** (вар.: *Nyr, Nur*) DW № 13, **Ner** DW № 29 (bis), 63. Возможна трактовка этого названия как реликта «древнеевропейской» гидронимии (к и.-е. \**ner-*). Более вероятным, однако, кажется прямое соположение *Ner* с его балтийскими эквивалентами: лит. *Neris, Nerỹs* (Vanagas LH 228) и прус. *Nerey* (Gerullis APON 107).

**Neretwa** HW № 374. Балтийское происхождение этого гидронима фактически обосновано в DW 72.

**Nida** HW № 130, 139, 567, 571, 575, **Nidzica** HW № 55, **Nida** (вар.: *Witka, Smėda, die Wittig*) HO № 124, **Nidzica** (вар.: *die Neidsche, Seebusch Graben*) HO 82, **Nidka** HO № 108, **Nida** (вар.: *Nidka, Neid Graben*) HO № 129. То же название многократно повторяется в нижнем течении Вислы (HW № 551, 754 и т.п.) Балтийские соответствия очевидны: лит. *Niedà, Niedūs, Niėdis* (Vanagas LH 230), прус. *Nyda, Neyde* (Gerullis APON 108).

**Niegutka** DW № 36. Тот же балтийский источник, что и у *Nagoszyn* (см.). См. также Орел Варта 114.

**Niemonica** DW № 75. Неотделимо от литовского названия Немана — *Nėmunas, Nėmanas, Nėmonas* и особенно от его производного *Nemuninka* (Vanagas LH 227). Та же основа известна и в Поднепровье: *Неманка* (ГВП 198). См. далее Būga I, 466–468; II, 213–214; III, 874–877, а также Орел Варта 114.

**Nizia** HW № 347. Не исключена возможность сопоставления с лит. *Nižis, Nýžuva* (Vanagas LH 231).

**Noteć** (*Noteś, Noć, Nocia, Nieca, Szyszynka, Szyszyna, Mątew, Mątwa, Mątwy, Nakła, Stara Rzeka, Rzeka*) DW № 62, *Mała Noteć* DW № 64, *Górna Noteć* DW № 66. Бесспорно, данный гидроним неотделим от лит. *Notà, Nōtė, Notijà, Nočià* (Vanagas LH 231), прус. *Notis* (Gerullis APON 109). См. еще *Būga* RR I, 416; ГВП 197.

**Nury** HW № 302. Ср. ниже по течению Вислы *Nur, Nurczyk, Nurka, Nurzec* (HW № 398, 399, 426). Вероятно, связано с лит. *Nūrupis* (Vanagas LH 233).

**Obra** DW № 37, 51, *Obrzyca* DW № 40, *Obra* (вар.: *Obrzyca, Leniwa Obra, Obrzycka, Zgniła Obra, Gnita Obra, Faule Obra, Obrzyckofluss*) HO № 100. Имеющиеся этимологии маловероятны, в том числе и предположение о связи с древнебалканским названием Ибра *Hebrus* и фракийскими именами с компонентом *Abru-/Ebru-* (Топоров ФБ 2, 74). Наиболее существенны соответствия в балтийском, как на апеллативном, так и на ономастическом уровне, ср. лтш. *abra* «глубокое место в реке», *abriņa* то же (Невская БГТ 13), *Abriņa*, лит. *Abrýna* (Vanagas LH 35), в конечном же счете, действительно, к и.-е. *\*ab-r-* (Słownik St. III, 442). См. Орел Варта 114. К этому же гнезду может принадлежать и *Obrowiniec* DW № 15.

**Oława** (вар.: *Oławka, Olawa, die Ohle, Ohlau*) HO № 65. Соответствует лит. *Ālovė* (Vanagas LH 38), прус. *Alowe* (Gerullis APON 9). «Древнеевропейские» параллели (см. Топоров ПЯ I, 71) отстоят дальше в словообразовательном отношении.

**Ołobok** DW № 25, *Ołobok* (вар.: *Mühlbock, Mühlenbock, Mühlbock Bach, das Mühlbockfliess, Birkholzer Wasser, Nettkower, Mühlenfliess, Mühl Graben*) HO № 105, *Ołobockie Jez.* (вар.: *Czeraniak, Mühlbock See, Zernok See, Czernok See*) HO № 105, *Ołoboczek* HO № 105, *Ołobok* HO № 120. Старый германизм, предполагающий *\*alabaki-*. См. Słownik St. II, 100.

**Opawa** (вар.: *Opawica, Opa, Opava, Opavice, die Oppa*) HO № 6, *Opawica* (вар.: *Opavice, Złota Opawica, die Gold-Opwa, Oppa*) HO № 8, *Opawa* (вар.: *Mühl Graben*) HO № 108. В любом случае связано с и.-е. *\*ap-* «вода», в частности с западнобалтийским его продолжением (прус. *ape* «ручей»). Более точная этнолингвистическая атрибуция *Opawa* встречает, к сожалению, серьезные трудности. Скорее, все же, перед нами элемент «древнеевропейской», а не собственно балтийской гидронимии.

**Opusta** (вар.: *Benešovský potok*) HO № 14, *Opusta* (вар.: *Opuste Graben, Wüste Graben*) HO № 63. Наличие немецкого варианта

*Wüste Graben* как будто бы подсказывает прозрачную славянскую этимологию гидронима. Тем не менее, это скорее позднее переосмысление: *Opusta* является притоком реки *Opa ~ Opawa* (см.), что заставляет видеть в *Opusta* отражение старого суффиксального образования *\*ap-ust-*. Из словообразовательных близких форм стоит обратить внимание на лит. *Apaščià < \*Apast(j)ā, Apstā*, см. *Būga* RR III, 280.

**Ordon** HW № 302. Видимо, тождественно курш. *Ardon, Arden* (Kiparsky KF 79). Ср. далее прус. *Ardappen* (Топоров ПЯ I, 101 с этимологическим комментарием).

**Osa** (вар.: *Osy*) HW № 165, 200, *Osna* HW № 672, *Osowo* HW № 691, *Oska* DW № 75, *Osa* (вар.: *Ossa, Ossa Bach*) HO № 42. Тот же гидроним обнаруживается и в низовьях Вислы (HW № 751, 752, 757). При всем разнообразии допустимых решений, для гидронимов из бассейна Вислы кажется предпочтительной балтийская этимология, ср. прус. *Ossa, Osze, Ozza* (Gerullis APON 111: полонизм?). Соблазнительно далее сопоставление с лит. *Ūosis, Uosỹs* и соответствующим апеллативом (Vanagas LH 353); с приведенными выше гидронимами соседствуют, кстати, названия, образованные от слав. *\*olъxa*. С другой стороны, *Osa* и *Oska* из бассейна Одера имеют больше шансов оказаться германизмами, восходящими к *\*aski-*, на что указывает, в частности, дублетность названия *Osa* и *Osobłoga*, см. *Oskobłok*.

**Oskobłok** (вар.: *Osobłok, Ostrobłok, Oskobok*) DW № 47, *Osobłoga* (вар.: *Ossobłoka, Ossa, Osa, Osoblaha, die Hotzenplotz, Ossa Bach*) HO 41. По-видимому, германский композит *\*aska/i-baki-* «ясеный ручей». Подробно см. Орел Варта 114–115.

**Osola** HW № 159. Производное от *Osa* (см.)?

**Ozanna** (вар.: *Ozana*) HW № 268. Возможно, этимологически и словообразовательно близко к лит. *Ōžainis*, производному от *ožỹs* «козел» (Vanagas LH 235).

**Panna** HW № 51, *Paniusza* HW № 229, *Pani* HW № 587, *Paniewo* HW № 777, *Panna* DW № 65, *Panna* (вар.: *Pannewitz Bach*) HO № 60а. Ср. ту же основу в гидронимии к востоку от верховьев Днепра: *Панея* (Топоров БСл.). Перечисленные названия неотделимы от названия притока Березины *Ponia*, которое уже давно интерпретируется как балт. *\*Pānjā* «die sumpfige» (*Būga* RR III, 538). Ср. в связи с этим прус. *pannean* «Moosbruch» (Mažiulis РКР 345), лтш. *paņa, paņe* «лужа» (Невская БГТ 61). Сюда же относится и прусская ономастика типа *Panyen*, возможно, имеющая балканские параллели, см. Duridanov TD 54, 90. См. еще Орел Варта 115.



**Peda** (вар.: *Welna, Welma, Welnica, Welnianka, Dębica, Radusz, Slawa, Sławna, Srela, Srala, Żdżarowita, Żdżar, Żdżary*) DW № 45. Как и днепровская *Педань* (ГВП 225: «неясно»), на наш взгляд, этот гидроним может быть сопоставлен с лит. *Pėdė*, лтш. *Pėdas, Pėdene, Pėd-up* (Vanagas LH 252).

**Pełtew** HW № 359. Не исключена связь с лит. *Pelūt-upis, Pelūtava* (Vanagas LH 253).

**Pewela** HW № 18, **Pewlica** HW № 19. Любопытно сходство с лит. *pievėlė* «луг», в гидронимии — *Pievėl-upis* (Vanagas LH 257).

**Piła** HW № 565, **Piła** DW № 51, **Piława** (вар.: *Piławka, Piła, Dobrzyca*) DW № 75, **Piławka** (вар.: *Pilka, Piła, Piława*) DW № 76, **Piła** DW № 82, **Piława** (вар.: *die Peile, Peilebach*) HO № 71. Вероятно чисто славянское истолкование *Piła* как апеллатива польск. *piła* «водяная мельница». В то же время для форм на *-awa* нельзя полностью исключить и неславянскую этимологию (ср. в этом случае лит. *Pylà* Vanagas LH 258).

**Pisia** HW № 569, 571, **Pisia** (вар.: *Plisia, Pisa*) DW № 3, 9, 13, 14 (bis), 63, **Pisa** HO № 56. Находит соответствие в днестровском *Пица* (Трубачев НРПУ 164: квалифицируется как неясное). Давно предполагаемое балтийское происхождение (Rozwadowski Studia 303) подтверждается как гидронимическим материалом (прус. *Pissa*, лит. *Pisà*, лтш. *Pis-upite* Vanagas LH 260), так и апеллативами, ср. лтш. *pisa* «ein grundloser Morast, wo nur kleine Birken und Fichten wachsen» (Būga RR I, 510). См. Орел Варта 115.

**Podeloling** HW № 201. Во всех отношениях сомнительная и этимологически темная форма. Не скрывается ли за ней сложение, соответствующее в своих частях лит. *Padėlė* (название озера) и *lingė* «угол, изгиб»? Альтернативные гипотезы могут строиться на эмендациях типа *\*Podeling*.

**Połtyn** HW № 701. Возможно, продолжает балт. *\*pilt-īn* — < *\*pilt-īn-*, откуда лит. *Piltýna, Piltinà* (Vanagas LH 259: к *pilti*).

**Ponaręka** HW № 34. Собственно славянское или балтийское префиксальное образование, соотносительное с *Naranka* (см.).

**Pruska** HW № 114. Скорее всего, образовано от этнонима, см. далее подробно Топоров ПЯ III, 120 и сл.

**Pulmo** HW № 382. Надежно отождествляется с лит. *Pulimas*, см. Vanagas LH 267; Непокупный Ятв. 144 и сл.

**Puronket** (вар.: *Ponikwa, Tarnakal*) DW № 61. Славянский вариант *Tarnakal* < *\*tarno-kalb*, возможно, выполняет функцию квазиперевода по отношению к *Puronket*, которое мы рассматриваем как сложение, компоненты которого соотносятся, соответ-

ственно, с лит. *pūrōnas* «взьерошенный, стоящий торчком» и *kietis* «твердое место, суша». См. Орел Варта 116.

**Rata** HW № 365. Соответствует лит. *Ratà, Rāt-upis*, лтш. *Rata, Rat-upė* (Vanagas LH 273).

**Rawa** HW № 10, **Rawka** (вар.: *Nizia, Mogielanka, Mogielnica, Mogielniczka*) HW № 347, **Rawka** (вар.: *Rawa, Bolimówka*) HW № 569, **Rawka** (вар.: *Graniczny Kanał, Graniczak, Pomorka*) DW № 67. Сложный случай, дающий основания искать здесь следы «древнеевропейского» гидронимического слоя или, напротив, усматривать здесь апеллатив слвц. *rava, riava* «поток» (Трубачев НРПУ 51). Однако, если взять ареал распространения этого названия в целом, станет допустимым и обращение к балтийским параллелям: лит. *Rovėjà*, лтш. *Rāveji, Rava, Ravas-upė* (Vanagas LH 280), далее ср. балтийский географический термин лит. *rovà*, лтш. *rāva* (Невская БГТ 78). Балтизмом является и днепровское *Рова, Рава* (Būga RR I, 529, ГВП 205).

**Regulka** (вар.: *Regulice*) HW № 33, **Regulška** HW № 572. Не исключено, что эти названия отражают балтийские формы типа лит. *Raguòlis* (Vanagas LH 271). См. еще Būga RR II, 65.

**Reta** DW № 17. Того же происхождения, что и *Retecza* (см.).

**Retecza** (вар.: Ретечин) HW № 229, СГУ 460. Вероятно, связано с днепровским названием *Реть* (ГВП 205) и далее может сравниваться с лит. *Ret-upė, Rėtis* (Vanagas LH 276).

**Riwa** HW № 142. Видимо, соответствует лит. *Rievà* (название луга), *Riev-upis*, лтш. *Rieva* (Vanagas LH 277), которые восходят к апеллативу лит. *rievė, rievà* «скала, утес в море, песчаная отмель, остров на болоте» (Невская БГТ 78).

**Rynna** DW № 67, **Rynia** (вар.: *Renia*) HW № 549, **Rynwy** HW № 304, **Rynskie Jez.** (вар.: *Rhein See, Rheinscher See, Reinisch Sehe, Rayn*) HW № 491, **Rynskie Jes.** (вар.: *Rinsch See*) HW № 681. Заслуживает внимания сопоставление с лит. *Rynà*, при соответствующем апеллативе лит. *rinà* «желоб, канавка, искусственный ручей» и лтш. *rine* «узкая луговая полоска между полями» (Невская БГТ 78). Наличие по соседству с *Rynna* большого числа речных названий, включающих польск. *rów*, позволяет думать в данном случае о возможности квазиперевода. См. Орел Варта 116.

**Rytyunia** DW № 17. Соседство с *Reta* (см.) заставляет предполагать здесь композит с 1-й частью из балт. *\*ret-*. 2-я часть предположительно связана с лит. *tunỹs* «липкая грязь». Таким образом, гипотетически восстанавливается балт. *\*ret(a)-tunja*. См. Орел Варта 116–117.

*Rzekta* (вар.: *Rzechta*) DW № 13, *Rechta* (вар.: *Ostrowo-Goplo, Goplo-Ostrowo*) DW № 63, *Rechta* (вар.: *Rekta*) HW № 712. Тождественно днепровским *Ректа, Рехта*, которые уже давно истолкованы как балтизмы, см. ГВП 204, 205; Трубачев НПИУ 166.

*Sanica* (вар.: *Pęcznik*) HW № 140, *San* (вар.: *Sian*) HW № 166, *Sanna* HW № 291. Общепринято понимание этого гидронима как древнебалканского, см. Трубачев НПИУ 202 и сл., Топоров ФБ 2, 92 (с указанием на днепровские и балтийские параллели). При этом исходят, по-видимому, из реконструкции *\*san-*. Однако вислинский *San/Sian* может продолжать не *\*san-*, а *\*sēn-*. Не исключено поэтому, что этот гидроним в конечном счете восходит к и.-е. *\*sen-* «старый» (как название старого русла?).

*Sawina* HO № 77. Входит в круг «древнеевропейских» гидронимов типа паннонского *Savus* и галльского *Sava*. Сюда, естественно, относятся также и лит. *Savėnė*, лтш. *Sava* (Vanagas LH 292) и ряд прусских производных, см. Gerullis APON 153.

*Seluble* HW № 378. По-видимому, германизм, отражающий один из рефлексов германского названия серебра — судя по огласовке, может рассматриваться как восточногерманский, ср. гот. *silubr*, др.-исл. *silfr*, др.-англ. *siolfor*, д.-в.-н. *silbar, silabar*.

*Sietesza* HW № 265, *Sitol* HW № 722. Может отражать разные суффиксальные образования от балт. *\*seit-*, ср. лит. *Sietas, Sieta, Sietuvà* (Vanagas LH 298), прус. *Seyte* (Gerullis APON 154). Сюда же в принципе могут относиться и такие названия, как *Sietnica* HW 149, *Sitanka* HW 251, *Sitnica* HW 595, *Sitno* HW 647, 769, 767, 787, 812, которые, впрочем, могут иметь и некоторые другие объяснения.

*Smerdy* (вар.: *Smerdech*) HW № 234, *Smerdoch* HW № 367. Возможна трактовка на балтийской почве, ср. лит. *Smárdonė, Smard-upis, Smirdėlė, Smird-upis* (Vanagas LH 308), прус. *Smorde, Smordin* (Gerullis APON 166).

*Smukawa* HW № 45. Возможно сопоставление с лит. *Smùk-upis, Smùkė* и под. (Vanagas LH 309).

*Solina* HW № 10, *Sola* HW № 13, *Soliska* HW № 107, *Solinka* (вар.: *Salinka, Sołyńka, Sołyńka, Solina, Solanka, Sola*) HW № 175. Данная основа широко представлена как в балтийском, так и за его пределами. В любом случае, ближайшими соответствиями на апеллативном уровне являются прусское название ручья *salus* и лит. *salà*, лтш. *sala* «остров», а также лит. *sālinis* «небольшое красивое озеро», *saliniaĩ* «небольшое возвышение на болоте» (Невская БГТ 79). В гидронимии ср. прус. *Solle* (Gerullis APON

149) и лит. *Salà, Salinis* (Vanagas LH 287). О днепровских параллелях см. ГВП 208–209.

*Sołokija* (вар.: *Zołokija, Betz*) HW № 365. Целесообразно сопоставление с лит. *Sālakas* (Vanagas LH 287: усматривает в этом названии сложение *salà* и *akis*).

*Sowlina* HW № 120. Кажется вероятным восстановление балт. *\*saul-in-*, ср. лит. *Saũl-upė* к *saulė* «солнце» (Vanagas LH 292).

*Srawa* (вар.: *Wrześnica, Wrzesica, Wresień, Wrzesińska Struga, Wrzesionka, Wrześna, Września, Wrześnianka*) DW № 20, *Srawa* (вар.: *Sawa, Rawa*) DW № 52. В конечном счете, к и.-е. *\*sreu-* «течь». Ближайшая параллель обнаруживается в балтийском: лит. *Srovė* при апеллативе *srovė* «поток, течение» (Vanagas LH 312). Варианты гидронима в DW № 52 в принципе позволяют относить его и к гнезду *Rawa* (см.).

*Stobnica* (вар.: *Stobienica*) DW № 34, *Stobnica* DW № 38, *Stobnica* DW № 48, *Stobna* (Ehrlich) HO № 60a, *Stobna* (Gold Bach) HO № 97, *Stobnica* HO № 129, *Stobnica* HO № 252, *Stobno* HW № 688. Вместе с днепровским *Стабна, Стабница, Стабенка, Стабня* (ГВП 209) продолжает балт. *\*stab-in-* «каменный», ср. лит. *Stabinė* (Vanagas LH 313), прус. *Stabingen* (Gerullis APON 171–172), к прус. *stabis* «камень».

*Stoła* (вар.: *Stolla, Szoła*) HW № 11. Не исключено сопоставление с лит. *statulà* «деревянный идол» (Būga RR II, 196), далее — к лит. *Stat-ùpis* (Vanagas LH 314).

*Strawa* (вар.: *Strawka, Skawa, Sraba*) HW № 344. Вероятно, может рассматриваться как прямое соответствие лит. *Straujà* (Vanagas LH 315), лтш. *strauja* «поток» и, далее, *strava* «то же».

*Sumin* HW № 579, *Sumino* HW № 718. Возможно, соответствует прус. *Sumyn* (Gerullis APON 176).

*Symak* HW № 54. По-видимому, следует рассматривать вместе с днепровскими названиями *Сейм* и *Семича* (ГВП 226). Древнерусские передачи указывают на исходное *\*sēmь*. В таком случае не исключается связь с лит. *Šėmė, Šėmis, Šėmukas* (Vanagas LH 328).

*Szczar* DW № 9. Связано с названием притока Немана *Szczara, Щара, Щарья*, удачно истолкованным Бугой (Būga RR I, 483) как продолжение балт. *\*Skēr(i)jā*, ср. далее лит. *Skēr-upis* (Vanagas LH 303). См. также Орел Варта 117.

*Szukaj* HW № 705. Заслуживают внимания лит. *Šūkiai, Šūk-upis* (Vanagas LH 35).

*Szyrwa* (вар.: *Szywra, Miłostawka*) DW № 35. Точно соответствует лит. *Širva* (Vanagas LH 332) к *širvas* «серый, сивый». О следах ятв. *\*sirva-* в польской гидронимии см. Būga RR III, 539–540.

Приток Ширвы — *Czarny Bród* — возможно, является славянской калькой. См. Орел Варта 117.

*Szyszyzna* (вар.: *Szyszynka*) DW № 62, *Szyszyzna* HO № 99. Вариант гидронима *Notec* (см.). Возможно понимание этого названия как производного от польск. *szysza*, однако заслуживает внимания и альтернативное решение в связи с лит. *Šišinis*, *Šišius*, а возможно, и *Šyšà* (Vanagas LH 332).

*Ścinawa* (вар.: *Ścinawka*, *Ścienawa*, *Stynawa Kładzka*, *Stēnava*, *die Steine*) HO № 50, *Ścinawa* (вар.: *Ścinawa Niemodlińska*, *Stynawa Niemodlińska*, *Stynawa*, *Sztejna*, *Sztejnowa*, *die Falkenberger Steinau*, *Steinau*, *Steine*, *Alte Steine*) HO № 58. Вместе с днестровским *Стынавка* является надежно установленным германизмом, см. *Taszycki Germ.*, Трубачев НРПУ 52.

*Srubita* HW № 14. Любопытную параллель находим в лит. *Sriùbupis* (Vanagas LH 312). О балтийском *-ita* в днепровской гидронимии см. ГВП 133. Относительно вариантов основы в балтийском см. *Būga RR II*, 358.

*Świdry* HW № 279, *Świder* HW 350, 351, *Świderka* HW № 690. Бесспорно связано с днепровским *Свидера*, которое увязывается с лит. *švaidrūs* «блестящий» (ГВП 206). Однако для *Świdry* и *Свидера* непосредственным источником могло быть и балт. *\*svidr-*, ср. лит. *Svidra*, лтш. *Svidr-upė* (Vanagas LH 323).

*Taba* (вар.: *Tabor*, *Morawa*, *Murawa*, *Morwawa*, *Morwa*, *Kompacha*) HW № 242. Если *Taba* не является испорченным вариантом *Tabor*, а последнее, напротив, может рассматриваться как более позднее переосмысление исходного *Taba*, заслуживают внимания древнебалканские параллели, прежде всего, иллирийский топоним *Tabia*. Вместе с тем, отметим и прус. *tob-* < *\*tāb-* в *Tobe-lauken* (Gerullis APON 183). В пользу балтийской версии, кстати, могло бы косвенным образом свидетельствовать и *Tabuła* (HW № 643), прямо соотносящееся с лит. *Tābalis* (Vanagas LH 338).

*Tobolka* HW № 695, *Toboła* (вар.: *Taboła*, *Toboły*) DW № 35. Соответствует лит. *Tabālis*, *Tobōlis*, *Tābalas*, *Tabālės* (Vanagas LH 339).

*Ujsoła* (вар.: *Usoty*) HW № 13. Приток *Солы*, что указывает правдоподобное членение *U(j)-soła*. 1-я часть сложения, в общем, остается неясной. Естественно предполагать исходность варианта *Uj-*. В таком случае, может быть, *Uj-* < балт. *\*auj(a)-*, ср. лтш. *Aujas-pl.* (Endzelins LVV 1, 53)? Альтернативная трактовка основывается на варианте *U-* < балт. *\*au-* — об этом префиксе в прусской топонимике см. Топоров ПЯ I, 142.

*Ulanka* (вар.: *Ulenka*) HW № 209. Можно предполагать здесь балт. *\*aul-en-*, *\*aul-an-*, ср. лит. *Aulė* (Vanagas LH 53), лтш. *Auļa* (Endzelins LVV 1, 53).

*Ulimia* (вар.: *Ulim*) DW № 89. Как и днепровское *Улемль* (ГВП 211), обнаруживает структурное сходство с лит. *Aulamas* (Vanagas LH 53) и восходит к балт. *\*aul-im-*. Сюда же может относиться и *Valim* DW № 73, если только этот гидроним не имеет самостоятельных балтийских связей.

*Ulga* HW № 56, *Wielga* HW № 198, *Wilga* HW № 350. Весьма вероятной, особенно для *Ulga*, представляется связь с лит. *Ilga* (Vanagas LH 129), лтш. *Ilga* (Endzelins LVV 1, 359), прус. *Ilgayn*, *Ilgeyn*, *Ilgene* (Топоров ПЯ II, 39), отражающими балт. *\*ilg-* «длинный, долгий». Относительно балтийской этимологии гидронима *Волга* (из того же источника) см., со ссылкой на Н. С. Трубецкого и П. О. Якобсона, Топоров ПЯ II, 40.

*Waleria* HW № 161. Не исключена метатеза из *\*Warelia*. В таком случае ср. лит. *Varėlis*, *Varėliai* (Vanagas LH 362).

*Wanda* (вар.: *Wanna*) DW № 168. Бесспорная передача балтийского названия воды: лит. *vanduō*. Ср. в гидронимии лит. *Vaūd-upė* (Vanagas LH 361), прус. *Wandyen* (Gerullis APON 194).

*Wara* HW № 208. Наряду с чисто славянским истолкованием, возможна и балтийская этимология. Ср. лит. *Vārė*, *Vār-upis*, лтш. *Varite* (Vanagas LH 362). Впрочем, не следует упускать из виду и аналогичных образований в «древнеевропейском» ареале, ср. хотя бы *Varus* в Италии, см. Krahe UF 38 f.

*Warszyn* (вар.: *Warsińskie Jez.*) HW № 680. Отражает балт. *\*virš-īn-*, собственно, «верхний», ср. в гидронимии лит. *Virš-upis*, далее к *viršūs* (Vanagas LH 387). По устному указанию В. Н. Топорова, к корню *\*varš-*, который отражен и в названии *Warszawa*.

*Warwas* HW № 11, *Warwa* (вар.: *Wyrwa*) HW № 222. Едва ли отделимо от днепровского *Варва*, *Вырва*, что, впрочем, не дает полной уверенности в славянской этимологии, предлагаемой в Трубачев НРПУ 69–70. *Wyrwa*, *Вырва* скорее могут рассматриваться как более поздние переосмысления исходного *Warwa(s)* в народно-этимологическом духе. Отметим, кстати, характеристике суффиксов *-as* для Поднепровья как балтийского *rag excellence* (ГВП 155–156). Перспективным поэтом кажется дальнейшее сопоставление с лтш. *Vārva* (Būga RR I, 136).

*Werdała* (вар.: *Zworzec*, *Wodra*, *das Werderfliess*, *Werder*, *Alter Werder*) HO № 127. Заслуживает внимания лит. *Verdėl-upis* (Vanagas LH 372).

**Widawka** (вар.: *Widawa*) DW № 8, *Widawka* (вар.: *Ruda Rudawka*) DW № 9, *Widawa* (вар.: *Stara Widawa, Wejda, die Weide, Alte Weide, Neue Weide*) HO № 75. Вероятно, восходит к балтийскому гидрониму, отраженному в лит. *Vidauja* (Vanagas LH 376). Корневая индоевропейская этимология, предложенная в Lehr-Spławiński *Pochodzenie* 77, не кажется убедительной.

**Widory** DW № 172. Весьма вероятной кажется связь с лит. *vidurys* «середина», ср. также в гидронимии *Vidurinė* (Vanagas LH 377). См. также Орел Варта 118.

**Wieleń** (вар.: *Jeleń*) HW № 271. Как и днепровское *Веленя* (а также *Велень* в бассейне Тетерева, см. СГУ 84), выводится из балтийского (ГВП 179). Вариант *Jeleń*, скорее всего, — результат переосмысления на славянской почве.

**Wieprz** HW № 302. Аналогично днепровскому *Вепрея* (ГВП 179) допускает, наряду со славянской, балтийскую интерпретацию. В последнем случае ср. лит. *Veprys*, лтш. *Vepri* (Vanagas LH 372).

**Wodra** HO № 127 (вариант к *Werdata*, см.). Кажется правдоподобной близость к лит. *Vādrė* (Vanagas LH 358).

**Zwina** HW № 267. Заслуживают внимания балтийские соответствия: лит. *Zvynė, Žvina* (Vanagas LH 408).

**Zazawka** (вар.: *Zazawka*) HW № 222. Любопытно сопоставление с лит. *Žoz-upalis*, которое, впрочем, само представляет некоторые этимологические трудности, см. Vanagas LH 406.

\* \* \*

Теперь мы можем перейти к обсуждению полученных результатов и рассмотреть географическое распределение неславянских гидронимов в бассейнах Вислы и Одера.

Картина размещения в этом ареале германских (собственно, древних восточногерманских) речных названий в целом невыразительна. Стоит, однако, обратить внимание на зону к юго-западу от Ополе, где относительно компактно распределено несколько германизмов, а также на одиночный германский гидроним в районе к югу от Пшемысля и Дубецко, который естественно связывать с группой германских названий в верхнем течении Днестра (см. Трубачев НРПУ, карта 17).

Большой интерес представляет распределение «древнеевропейских» resp. «древнебалканских» названий. Эти гидронимы отчетливо образуют несколько легко выделяемых зон, первая из которых, «есеницко-бескидская», охватывает горную часть верхних течений Одера и Вислы и, собственно говоря, са-

мые истоки Вислы. Разумеется, южная граница этой зоны в какой-то мере является условностью, поскольку с юго-запада к ней примыкают верховья Лабы, которых мы не обследовали и которые, предположительно, могут содержать довольно значительное количество «древнеевропейских» названий. С другой стороны, в юго-восточной части этого ареала намеченную нами границу следует рассматривать как абсолютную, поскольку выше по течению Одера «древнеевропейские» гидронимы не выявлены.

К востоку от «есеницко-бескидской» располагаются еще три «древнеевропейских» зоны. К одной из них, «нижнебескидской», в основном расположенной в бассейнах Брени, Вислока и Вислоки, примыкает другая, «свентокшиская», расположенная по обе стороны Вислы выше впадения Сана. Возможно, обе эти зоны можно рассматривать как единый ареал. Наконец, последняя зона на востоке, «бужская», расположена по левому берегу Буга. В более широком контексте, «нижнебескидская», «свентокшиская» и «бужская» зоны непосредственно примыкают к тому ареалу западнобалканской гидронимии, который был убедительно выделен О. Н. Трубачевым в верховьях Днестра (Трубачев НРПУ, карта 14), и образуют с ним единую связную область.

В междуречье Вислы и Варты, приблизительно от Варшавы до Познани, а также севернее Познани, узкой полосой проходит еще одна зона «древнеевропейских» речных названий, «варто-вислинская», достаточно четко обособленная от других ареалов этого типа, расположенных значительно южнее. Для этой зоны можно предполагать известную этнолингвистическую самостоятельность (и архаичность?) по отношению к прочим областям, условно обозначаемым как «древнеевропейские».

Бассейны Одера и Вислы практически целиком являются областью распространения балтийских гидронимов. Правда, концентрация их в разных частях этой области различна. С долей условности можно сказать, что число балтийских гидронимов убывает с востока на запад и от периферии к центру. Границы балтийской гидронимии не вполне отчетливы только на северо-западе, где нами не учтены данные о бассейнах Лебы, Слупи, Вепши, Парсенты и Реги, впадающих в Балтийское море: здесь заведомо упущены речные названия балтийского происхождения.

Западная граница балтийской гидронимии с незначительными колебаниями проходит по правому берегу Одера, а далее, выше впадения Бубра — по междуречью Одера и Бубра. Южная граница балтизмов с запада на восток идет по северным отрогам Крконоше, Есеника и Словацких Бескид, строго к северу от «есе-

ничко-бескидского» ареала «древнеевропейской» гидронимии, а затем глубоко проникает в Татры и Бецады. Выше этого рубежа, в юго-восточной Польше, в верхнем течении Сана, обнаруживается весьма высокая концентрация балтийских речных названий, которые мы не можем не связывать в этнолингвистическом плане с уже ставившейся нами проблемой возможных южных областей расселения балтийских (ятвяжских) племен, см. Орел, Хелимский Ятв. Продолжая мысленно эту границу дальше на восток, мы обнаруживаем там начало приднепровского балтийского гидронимического массива, оторванного, однако, от нашего ареала не знающим балтизмом верхним Поднестровьем (см. Трубачев НРПУ, карта 16). Таким образом, восточная граница балтизмом по правобережью Сана и изолированные островки балтийских названий в Побужье скорее всего отражают некий реальный этнолингвистический рубеж, разграничивающий наших южных балтов и балтов днепровских, для которых можно предполагать миграцию с севера, из верховьев Днепра.

На обследованной нами территории выделяется достаточно обширный ареал, где балтийские гидронимы отсутствуют. На востоке он ограничен небольшими анклавами балтизмом и «древнеевропейских» гидронимов, расположенными в верхнем и среднем течении Буга. Действительно ли эти анклавы образуют восточный рубеж свободного от балтизмом ареала, установить пока трудно: для ответа на этот вопрос необходимо знать, находятся ли в Побужье вторичные очаги балтизмом или же они могут рассматриваться как архаичные зоны расселения южных балтов. Северная и западная граница обсуждаемого ареала образует значительный выступ между Бугом и Вислой к северу от впадения Вепша, а затем проходит по Пилице до ее истоков. Затем, на юге, рубеж идет через Свентокшиские горы приблизительно до впадения Сана в Вислу и далее — поворачивает к югу по правому берегу Сана.

Очерченный выше ареал представляет особый интерес, поскольку он, как и остальная территория Польши, характеризуется изобилием славянских гидронимов и в то же время оказывается единственным, где славянским названиям не сопутствуют балтийские. Тем самым, этот ареал образует достаточно надежно устанавливаемую чисто славянскую область, которая поэтому может всерьез рассматриваться как потенциально весьма вероятный ареал формирования праславян. Более того, сама конфигурация этого ареала содержит в себе достаточно определенный намек на предпочтительную версию формирования

праславян в их отношении к балтам, поскольку речь идет о практически замкнутом небольшом пространстве, острове, со всех сторон окруженном балтийским языковым морем, по крайней мере, в том, что касается гидронимии. Естественно в таком случае думать о формировании этого славянского острова не рядом с балтами, а из балтийского языкового материала, в духе широко известной концепции В. Н. Топорова (см., например, Топоров ПЯ I. 6). Такой — сугубо гипотетический — взгляд на проблему данного ареала как потенциальной области поисков славянской прародины мог бы быть дополнительно проверен в рамках этимологической гидронимики изучением того, какие именно славянские речные названия — в частности, архаических типов — сосредоточены в этой области. Далее, существенно было бы изучить и археологический аспект проблемы. Это, однако, уже выходит за пределы задач, стоящих в данной работе, и относится к категории пожеланий на будущее.

#### ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ГВП — В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.
- ЕСЛіт — Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. Київ, 1985.
- Невская БГГ — Л. Г. Невская. Балтийская географическая терминология. М., 1977.
- Непокупный Ятв. — А. П. Непокупный. К исследованию ареала ятвяжских реликтов // Проблемы этнической истории балтов. Рига, 1977, с. 143–146.
- Орел Варта — В. Э. Орел. Из этимологических наблюдений над гидронимами бассейна Варты // *Onomastica*, 1989, т. 33, с. 109–121.
- Орел, Хелимский Ятв. — В. Э. Орел, Е. А. Хелимский. Наблюдения над языком «ятвяжского» словарика // Балто-славянские исследования 1985. М., 1987.
- СГУ — Словник гідронімів України. Київ, 1979.
- Топоров Baltica — В. Н. Топоров. Baltica Подмосковья // Балто-славянский сборник. М., 1972.
- Топоров ПЯ — В. Н. Топоров. Прусский язык. М., 1975–1985, [I–III].
- Топоров ФБ — В. Н. Топоров. К фракийско-балтийским языковым параллелям. 1–2 // Балканское языковедение. М., 1973, с. 30–63; Балканский лингвистический сборник. М., 1976, с. 59–116.
- Трубачев НРПУ — О. Н. Трубачев. Названия рек Правобережной Украины. М., 1968.
- Buga RR — K. Būga. Rinkiniai raštai. I–III. Vilnius, 1958–1961.

- Būga RR — K. Būga. Rinktiniai raštai. I–III. Vilnius, 1958–1961.
- DW — J. Rieger, E. Wolnicz-Pawłowska. Nazwy rzeczne w dorzeczu Warty. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1975.
- Endzelins LVV — J. Endzelins. Latvijas PSR vietvārdi. I, 1–2. Rīgā, 1956–1961.
- Gerullis APON — G. Gerullis. Die altpreussischen Ortsnamen. Berlin; Leipzig, 1922.
- HO — Hydronimia Odry. Opole, 1983.
- HW — Hydronimia Wisły. Cz. 1. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1965.
- Kiparsky KF — V. Kiparsky. Die Kurenfrage. Helsinki, 1939.
- Krahe UF — H. Krahe. Unsere älteste Flussnamen. Wiesbaden, 1964.
- Krahe VS — H. Krahe. Vorgeschichtliche Sprachbeziehungen von den baltischen Ostseeländern bis zu den Gebieten um den Nordteil der Adria. Wiesbaden, 1957.
- LATS — Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas. Vilnius, 1959.
- Lehr-Splawiński Pochodzenie — T. Lehr-Splawiński. O pochodzeniu i praojczyźnie słowian. Poznań, 1946.
- LUEV — Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas. Vilnius, 1963.
- Mayer AI — A. Mayer. Die Sprache der alten Illyrier. Wiesbaden, 1955.
- Mažiulis PKP — V. Mažiulis. Prūsų kalbos paminklai. Vilnius, 1966.
- Pokorny IEW — J. Pokorny. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern; München, 1959, Bd. I.
- Rozwadowski Studia — J. Rozwadowski. Studia nad nazwami wód słowiańskich. Kraków, 1948.
- Skok Brend. — P. Skok. *Brendisium* und Verwandtes // Zeitschrift für Ortsnamenforschung, 1926, Bd. I, H. 2, 81 ff.
- Słownik St. — Słownik starożytności słowiańskich. Wrocław, 1958–, t. 1–.
- Taszycki Germ. — W. Taszycki. Dotychczasowy stan badań nad pobytom drużyn germańskich na ziemiach polskich w świetle toponomastyki // Przegląd Zachodni, 1958, t. 7, zeszyt 5/6.
- Trautmann APPN — R. Trautmann. Die altpreussischen Personennamen. Göttingen, 1925.
- Vanagas LH — A. Vanagas. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas. Vilnius, 1981.

## В. И. КУЛАКОВ

## ЭСТИИ И ВИДИВАРИИ

«На побережье океана, там, где через три гирла поглощаются воды реки Вистулы, живут видиварии, собравшиеся из различных племен, за ними берег океана держат эстии, вполне мирный народ... Теперь, говорят, этот остров (Гепейдос. — *К. В.*) населяет племя видивариев... Известно, что эти видиварии собрались из разных родов как бы в одно убежище и образовали /отдельное/ племя»<sup>1</sup>. Так готский историк Иордан описывает ситуацию, сложившуюся в устье Вислы в V в. н. э. В современной археологической науке установилось мнение, что германоязычные видиварии занимали правобережье р. Ногаты, восточного рукава дельты Вислы, и граничили с эстиями, носителями западнобалтской культуры, по линии примерно в 30 км к западу от р. Паслэнки<sup>2</sup>. Материальными следами присутствия на этом небольшом отрезке суши видивариев сторонник данной концепции К. Годловский считает находки поздне римских солидов 450–525 гг. Ареал эстиев здесь, по его мнению, характеризуется могильниками с двухъярусными грунтовыми трупосожжениями с оружием в верхней части и с костяком коня у ее дна<sup>3</sup>. (рис. 1). Древности видивариев на пространстве 30 × 40 км (нынешняя Эльблонгская возвышенность — «остров Гепейдос» Иордана)<sup>4</sup> ничем более, кроме монет, в археологическом материале не обозначались. Данный феномен (выпадение кладов большой ценности в краткий промежуток времени), отмечая его нестандартность, К. Годловский связывает с продвижением эстиев на запад от р. Паслэнки, их традиционной границы. Видиварии, потомки носителей вельбарской культуры, асси-

<sup>1</sup> Иордан. О происхождении и деяниях готы. М., 1960. С. 72, 85.

<sup>2</sup> К. Годловский. Ziemia polskie w okresie wędrówek ludów. Problem pierwotnych siedzib Słowian // Barbaricum-1989. Warszawa, 1990, s. 35.

<sup>3</sup> К. Годловский. Okres wędrówek ludów na Pomorzu // Pomorania Antiqua, 1981, t. X, s. 106, 108.

<sup>4</sup> В. И. Кулаков. Видиварии и Витланд // XI Всесоюзная конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка скандинавских стран и Финляндии. М., 1989, с. 168.

милируются пришельцами<sup>5</sup>. Правда, по мнению исследователя, первая волна движения эстиев в начале VI в. затухает. Около 525 г. из-за р. Паслэнки опять передвигается западнобалтское население, на этот раз принося с собой традиции помещения в могилы мечей типа сакс, богато украшенных золотом и серебром, и копья<sup>6</sup>. Насколько аутентична эта исполненная динамики и некоторого драматизма историческая картина, можно выяснить на конкретном археологическом материале.

Для западнобалтской культуры V в. н. э., носителями которой являлись эстии Иордана (представители самбийско-натангийской группы вышеназванной культуры), характерны расположенные под каменными кладками трупосожжения в массивных урнах типа Гребитен, содержавшие небольшое количество костей<sup>7</sup>. Редкими являются безурновые трупосожжения с примыкающими с запада захоронениями коней<sup>8</sup>. Для погребальных памятников эстиев на левобережье р. Паслэнки, относимых ко второй половине V в. н. э. по арбалетовидным фибулам с поперечными полосами на ножке и по овальнорамочным пряжкам с вдавлениями на язычке<sup>9</sup>, указанные выше черты обряда не вполне характерны. На восьми могильниках эстиев к западу от р. Паслэнки (рис. 1) в 60 исследованных там комплексах 450–500 гг. прежде всего повсеместно представлены каменные кладки и остатки погребального костра в могилах под камнями. Ведущий инвентарь — сосуды для переноса костей с костра в могилу (биконические формы различных конфигураций, зачастую — с зигзагообразным прорезным орнаментом над ребром), обломки иных сосудов, янтарные бусины, глиняные пряслица, ножи. Урновые погребения встречены лишь два раза в погребениях ок. 450 г. (могильник Млотечно). Во всем массиве могил лишь четыре из них содержали в нижнем ярусе костяки коней. Таким образом, учитывая несомненную принадлежность данных памятников к западнобалтской культуре, следует отметить значительные различия между обрядами эстиев рубежей «острова Гепейдос» и Самбии.

Для объяснения этого факта обратимся к более ранним, вельбарским древностям бассейна р. Ногаты. В ее ареале, северо-восточной

<sup>5</sup> К. Godłowski. Okres wędrówek ludów..., s. 111.

<sup>6</sup> К. Godłowski. Okres wędrówek ludów..., s. 112.

<sup>7</sup> J. Jaskanis. Obrządek pogrzebowy zachodnich bałtów u schyłku starożytności (I–V w. n. e.). Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1974, s. 267, 268.

<sup>8</sup> J. Jaskanis. Pochówki z końmi na cmentarzyskach protojańwieskich z okresu rzymskiego i wędrówek ludów // Rocznik Białostocki, 1968, t. 8, s. 84.

<sup>9</sup> В. И. Кулаков. Этапы истории пруссов V–XII вв. // Vakarų baltų archeologija ir istorija. Klaipėda, 1989, p. 37, 38.

границей которого в вислинской дельте служила р. Ногата, среди остатков германоязычного населения, сохранившихся после ухода основного массива готов и гепидов в III в. н. э. на юго-восток<sup>10</sup>, существовал обряд безурнового трупосожжения. Кальцинированные кости, сопровождавшиеся янтарными бусинами, глиняными пряслицами, ножами и другим инвентарем, рассыпались в остатках погребального костра. Особняком среди таких могил выделяются урновые трупосожжения под каменными кладками<sup>11</sup>. Эта последняя черта ритуала остатков вельбарского населения в процессе массового исхода на юго-восток<sup>12</sup> может быть первым симптомом германо-балтских этнических контактов на правобережье р. Ногаты. Аналогичные моменты в вещевом материале вельбарской и западнобалтской культур более раннего времени (период В<sub>2</sub>) уже известны<sup>13</sup>. Считается, что видиварии, являвшиеся хотя бы частично наследниками вельбарских традиций<sup>14</sup>, и эстии Самбии были стабильными посредниками в янтарной торговле<sup>15</sup>. Реальное существование в V в. н. э. этих культурно-этнических коллективов не вызывает сомнения. Тем более удивительным представляется отсутствие у оставивших богатейшие кладки солидов видивариев погребальных памятников (см. выше). Следы видивариев можно видеть уже в инвентаре могильников эстиев бассейна Ногаты. Прежде всего чрезвычайно близка номенклатура инвентаря в погребениях финальной фазы вельбарской культуры и у эстиев к западу от р. Паслэнки (янтарные бусины, глиняные пряслица и т. п.). Ранее уже признавалась связь керамики могильника Хойново (рис. 1, № 24) с поздневельбарскими формами<sup>16</sup>. Близки вельбарским образцам ведеркообразные подвески из Паслэнка (рис. 2, 5, 6), керамические приемы формовки сосудов из Млотечно.

<sup>10</sup> A. Kokowski. Problematyka kultury wielbarskiej w młodszym okresie rzymskim // Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim. Lublin, 1988, s. 17.

<sup>11</sup> E. Kazimierzczak, E. Wichorska. Wielokulturowe cmentarzysko w Nowym Targu w świetle badań w latach 1974–1980 // Badania archeologiczne w woj. Elbląskim w latach 1980–83. Malbork, 1987, s. 293.

<sup>12</sup> M. Pietrzak. Cmentarzyska z Prusca Gdańskiego w młodszym okresie rzymskim // Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim. Lublin, 1988, s. 53, 61.

<sup>13</sup> W. Nowakowski. Kultura wielbarska a zachodniobałtyjski krąg kulturowy // Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim. Lublin, 1989, s. 145.

<sup>14</sup> W. Heym. Der ältere Abschnitt der Völkerwanderungszeit auf dem rechten Ufer der unteren Weichsel // Mannus, 1939, T. 31, S. 27, 28.

<sup>15</sup> W. Nowakowski. Kultura wielbarska..., s. 153.

<sup>16</sup> C. Engel, W. La Baume. Kulturen und Völker der Frühzeit im Preussenlande. Königsberg, 1937, S. 168.

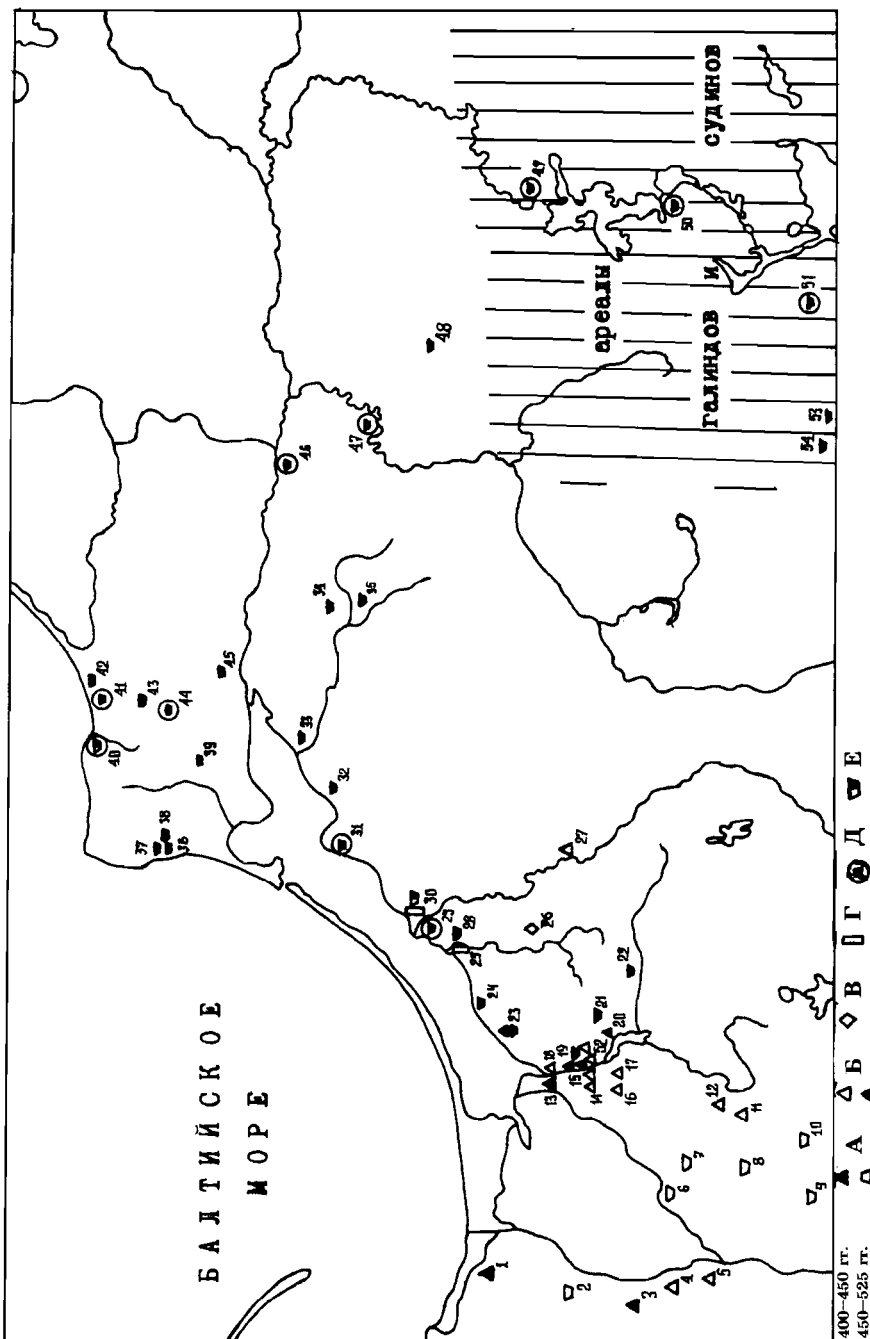


Рис. 1. Западная окраина балтского мира в V – нач. VI вв.

А – грунтовые могильники; Б – находки отдельных солидов; В – клад солидов; Г – вещевой клад; Д – могильник со «звериноголовыми» фибулами видивариев; Е – клад с римским медальоном (Констанций II)

1 – Кошвалы; 2 – Скварч; 3 – Радостово; 4 – Пелплин; 5 – Лигновы; 6 – Вельбарк; 7 – Стары Тарг; 8 – Новы Тарг; 9 – Раковец; 10 – Борнице; 11 – Бонгарт; 12 – Старе Дольно; 13 – Кемпа Рыбацка; 14 – Борнице; 15 – Чехово; 16 – Гожин; 17 – Пшезмарк; 18 – Эльблонг; 19 – Эльблонг; ул. Армии Червоней; 20 – Гроново; 21 – Серпин; 22 – Паслэнк; 23 – Хойново; 25 – Фромборк; 26 – Тромбки; 27 – Налабы; 28 – Гарбин; 29 – Подгуже; 30 – Млотечно; 31 – Бальга; 32 – Первомайское; 33 – Тенген; 34 – Майское; 35 – Березовка; 36 – Гребитен; 37 – Покирбен; 38 – Путилово; 39 – Вольное; 40 – «Гора Великанов» (Доброе); 41 – Коврово; 42 – Ирзеканин; 43 – Зигесдиккен; 44 – Варенген; 45 – Мало – Исаково; 46 – Суворово; 47 – Детлевору; 48 – Железнодорожный; 49 – Эшенорт; 50 – Богачево; 51 – Косево; 52 – Дембина – Варшавское; 53 – Махары; 54 – Ментке.

Карта составлена по данным К. Годловского (1990) и Я. Ясканиса (1974) с добавлениями автора

Эти факты, а также момент несоответствия обрядности могильников эстиев окраин «острова Гепейдос» и Самбии позволяют предполагать определенное слияние германцев-видивариев и балтов в междуречье Ногаты и Паслэнки. Следуя за Йорданом, сообщавшим, что «видиварии собрались из разных родов», можно далее предположить, что именно они привнесли из различных частей германского мира идею безурнового трупосожжения в ритуал эстиев 450–500 гг. Действительно, тенденция рассыпания кальцинированных костей, перемешанных с обломками некомплектных сосудов, в эпоху римского влияния для жителей Фрисландии<sup>17</sup>, Готланда и, частично, Ютландии<sup>18</sup> весьма характерна. Участие отдельных групп населения данных территорий в формировании общности видивариев и в ее последующей инфильтрации в западнобалтскую среду наиболее ярко отражено в создании пластинчатых фибул с изображениями симметрично поставленных головок воронов на ножке и трех «лучах». Такие застежки в археологии являются своеобразным индикатором древностей видивариев<sup>19</sup> и несут черты декоративного искусства фризов и саксов.

Пластинчатые неорнаментированные фибулы, также относящиеся к древностям видивариев (рис. 2, 1–4), находят аналогии как «в основном в регионе Нижней Эльбы и в Скандинавии, также в пределах

17 P. Zylman. Ostfrisische Urgeschichte. Hildesheim; Leipzig, 1933, S. 145.

18 В. А. Могильников. Погребальный обряд культур III в. до н. э. — III в. н. э. в западной части балтийского региона // Погребальный обряд Северной и Средней Европы в I тысячелетии до н. э. — I тысячелетии н. э. М., 1974, с. 204, 205.

19 В. И. Кулаков. «Звериноголовые» фибулы балтов (V–VII вв.) // Советская археология, 1990, № 2, с. 210.



раннесаксонских могильников в Англии»<sup>20</sup>, так и в германских древностях середины V в. н. э. на территории Чехии<sup>21</sup>.

Кратковременный период существования общности видивариев (середина V — начало VI вв. н. э.), их небольшая численность, соответственно — незначительное количество памятников, в которых отразились контакты с эстиями, — все это значительно усложняет задачу углубленной идентификации древностей междуречья Погаты и Паслэнки. На этой территории необходимы комплексные археологические (прежде всего — полевые) исследования соответствующих памятников, часть из которых уже известна. Работы последних лет позволяют, сверх ожидания, найти определенные следы деятельности видивариев (или носителей вельбарской культуры на ее финальном этапе) и к востоку от р. Паслэнки. Причины этого феномена пока полностью не ясны. Можно лишь предполагать факт присутствия в отдельных могильниках эстиев непосредственно перед сменой урновых захоронений на безурновые (450–500 гг.) материалов, близких к вельбарским. Так, например, на соответствующем могильнику «Гора Великанов» (север Самбии) поселении раскопками 1989 г. обнаружено столбовое, частично углубленное в землю сооружение с глинобитными печами. По своей конструкции данное помещение находит аналогии в зоне контактов носителей вельбарской и пшеворской культур<sup>22</sup>. Керамика, обнаруженная в данном помещении (рис. 3, 2–5) и рядом с ним (рис. 3, 1), также несет черты вышеперечисленных культур, не имея отношения к традициям эстиев. Данный комплекс, окруженный прусскими могилами конца V — первой пол. VI вв., соответствует времени не позднее 450 г. Керамика с вельбарскими чертами встречена и на раннем участке самого могильника «Гора Великанов». Рядом с урновыми трупосожжениями здесь представлены безурновые, в том числе — с сосудом, подправленным на гончарном кругу (рис. 4, 1) и горшком, имеющим прямые соответствия в вельбарском материале III — начала V вв. н. э.<sup>23</sup>. Наконец, инвентарь более позднего, датирующегося по фибуле с массивным корпусом

конец V в. погребение 37 имеет номенклатуру инвентаря, полностью соответствующую вельбарскому набору. Правда, игла в данном случае — не бронзовая, а костяная (рис. 5, 5). Здесь же древнейший в Балтии предмет, орнаментированный в I общегерманском зверином стиле, кольцо-держатель подвески (рис. 5, 4). Таким образом, проблема фильтрации части видивариев в среду эстиев даже на Самбии становится вполне актуальной. В других пунктах западнобалтской культуры также встречены следы присутствия небалтских древностей. На селище-1 Гусев в подъемном материале представлены фрагменты круглых лощеных мисок<sup>24</sup> черняховского облика<sup>25</sup> (рис. 6).

Наконец, на берегу Вислинского залива, территориально между устьем р. Паслэнки и Самбией в 1990 г. отрядом Балтийской экспедиции ИА АН СССР у замка Бальга было обнаружено поселение IV в. н. э. В яме 1, разрушенной в 1945 г. окопом, вместе с сосудом типа Гребитен была найдена нехарактерная для эстиев керамика (рис. 7). Среди находок — фрагменты миски закрытого типа с огрубленной нижней поверхностью (7, 2). Такая обработка керамики типична для вельбарской культуры<sup>26</sup> вплоть до середины V в.

Итак, высказывавшиеся ранее предложения о тесных контактах остатков германоязычного населения дельты Вислы и западных балтов, включая даже перспективу совместных боевых походов, получают реальное подтверждение. Привлекаемые возможностью участия в янтарной торговле, видиварии проникали в общество эстиев не только на левобережье Паслэнки, но и на Самбии. Следы присутствия осколков небольших групп германцев на племенных территориях эстиев, судинов и галиндов маркируются находками «звериноголовых» фибул конца V — первой пол. VI вв.<sup>27</sup> (рис. 1). Их распределение показывает интерес видивариев как к самбийским месторождениям янтара, так и к водным путям в западнобалтском ареале. Складывается впечатление, что внедрившиеся в чужеродную среду видиварии (лингвистические данные, кажется, тоже это подтверждают)<sup>28</sup> не только

<sup>24</sup> В. И. Кулаков. Отчет о работе Балтийской экспедиции ИА АН СССР в 1989 г. Архив ИА АН СССР. Р-1.

<sup>25</sup> Е. О. Симонович. Черняхівська керамика Подніпров'я // Археологія, 1983, № 43, рис. 2, 18, 64.

<sup>26</sup> R. Wołagiewicz. Chronologia ceramiki kultury wielbarskiej // Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim. Lublin, 1988, ryc. 5.

<sup>27</sup> W. Nowakowski. Kultura wielbarska..., s. 115.

<sup>28</sup> О. Н. Трубачев. Заметки по этимологии и ономастике (по материалам балто-германских отношений) // Питання ономастики. Київ, 1965, с. 18; В. В. Иванов. О происхождении некоторых балтийских названий металлов // Baltistica, XIII (1). Vilnius, 1975, p. 231, 232.

<sup>20</sup> J. Okulicz. Próba identyfikacji archeologicznej ludów bałtyjskich w połowie pierwszego tysiąclecia naszej ery // Barbaricum-1989. Warszawa, 1990, s. 88.

<sup>21</sup> B. Svoboda. Čechy v době stěhování národů. Praha, 1965, tabl. XIX, 6; obr. 56, 5, 6.

<sup>22</sup> E. Banasiewicz. Kompleks osadniczy grupy masłomeckiej w Hrubieszowie-Podgórzu w woj. Zamojskim // Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim. Lublin, 1989, s. 53–55, ryc. 3.

<sup>23</sup> R. Wołagiewicz. Chronologia ceramiki kultury wielbarskiej w świetle dotychczasowego stanu badań // Archeologia Polski, 1987, t. XXXII, z. 1, ryc. 8.

способствовали появлению новых черт в погребальном обряде эстиев, но и стимулировали налаживание контактов населения Балтии с германскими раннегосударственными структурами юга Европы. Эти контакты засвидетельствованы письмом, составленным Кассиодором как ответ Теодориха на посылку эстиями некоего янтарного дара главе одного из первых в Европе «варварских» королевств в конце V в. н. э.: «Эстиям — король Теодорих. В любезности прибытия вашего посланника ощутили мы ваше желание познакомиться с нами. То, что вам, живущим на берегу Океана, желательно мысленно с нами объединиться, является для нас приятной и ценной просьбой, нас радует то, что и у вас укрепится наше имя, на что мы хотим пойти без промедления... Итак, передавая вам в ответ свои благие пожелания, сообщаем, что янтарный дар, который доставлен от вас подателем сего послания, мы приняли с признательностью... Посещайте нас чаще на путях, которые открывает ваша жизнь, так как всегда полезно приобретать благосклонность могущественных королей, ибо ввиду богатого дара становится большей (их) благосклонность, что всегда приводит к великому воздаянию. Нечто мы желаем передать через вашего посланника в устном виде. Посредством него мы, как ранее вам сообщили, уже передали (то), что будет вам приятно»<sup>29</sup>.

Итак, способствовавшие таким контактам видиварии попытались на короткое время возродить Янтарный путь. Так же короток был и ход их ассимиляции в западнобалтской среде. Отойдя под влиянием видивариев от традиции урновых трупосожжений, культура эстиев во всем небольшом ее ареале (рис. 1) к 525 г. переходит уже к двухъярусным погребениям с оружием. Эта перемена обрядности стимулировала вывод К. Годловского о волне переселения эстиев за р. Паслэнку. На самом деле не без участия видивариев произошла определенная перемена в древностях западной окраины балтского мира. Их комплекс, сохранявший свои археологические признаки вплоть до XII–XIII вв., к началу VI в. можно с полным правом назвать культурой пруссов.

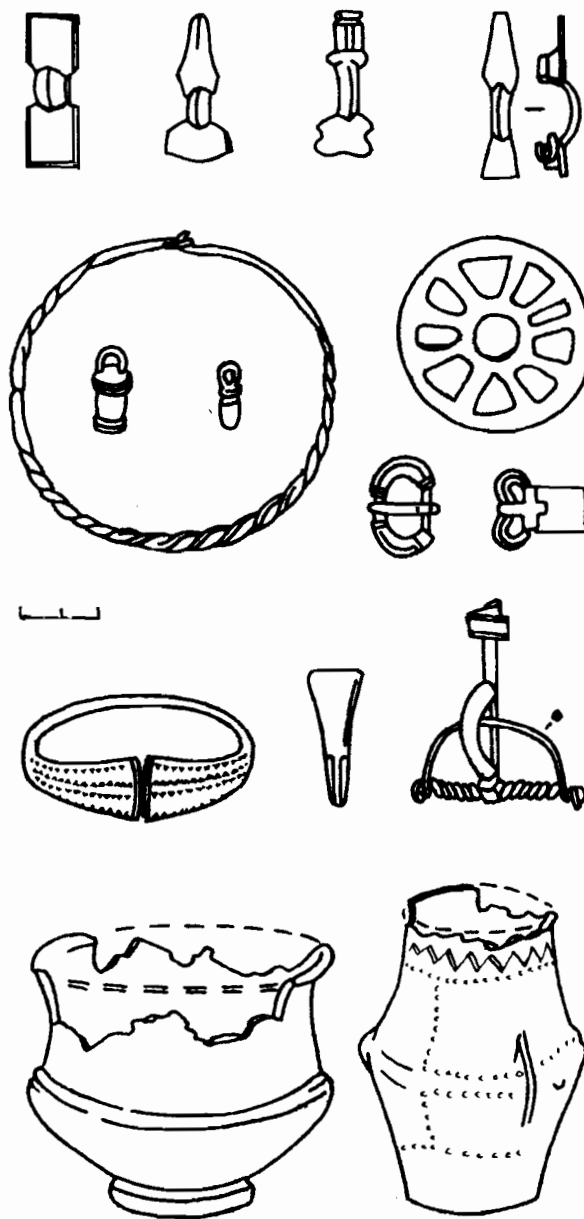


Рис. 2. Инвентарь могильника Паслэнк

<sup>29</sup> Перевод по: W. Gaerte. Urgeschichte Ostpreussens. Königsberg, 1929, s. 305, 307.

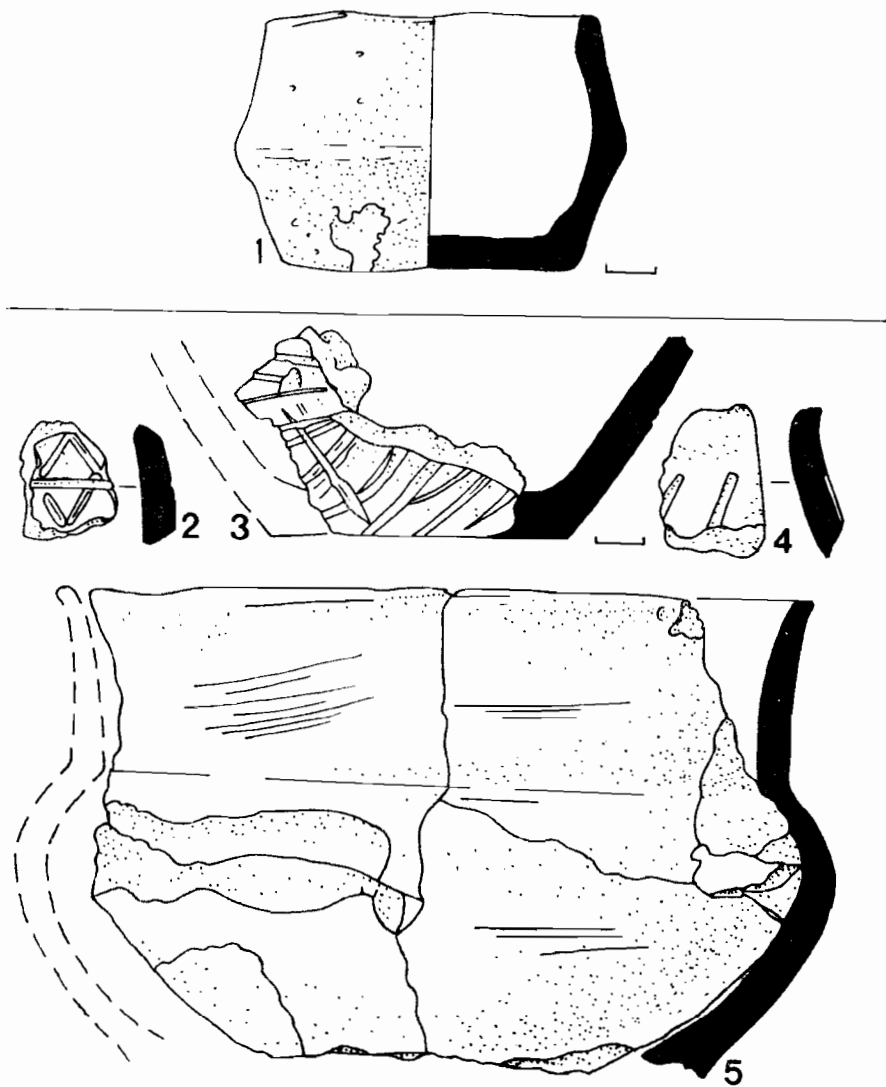


Рис. 3. Находки с поселения «Гора Великанов»  
1 — яма 3; 2-5 — яма Ж

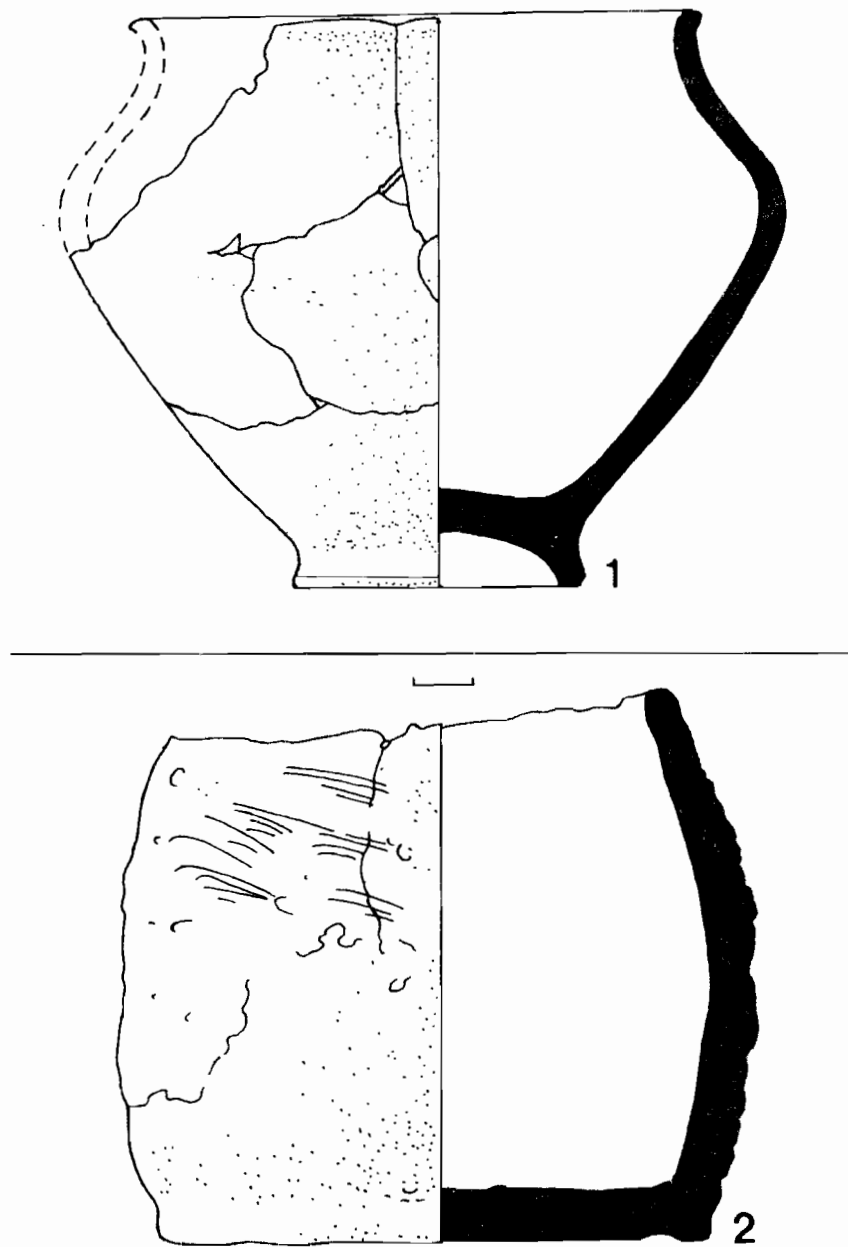


Рис. 4. Керамика ранней фазы могильника «Гора Великанов»  
1 — погребение 19к; 2 — из разрушенного погребения на участке-5

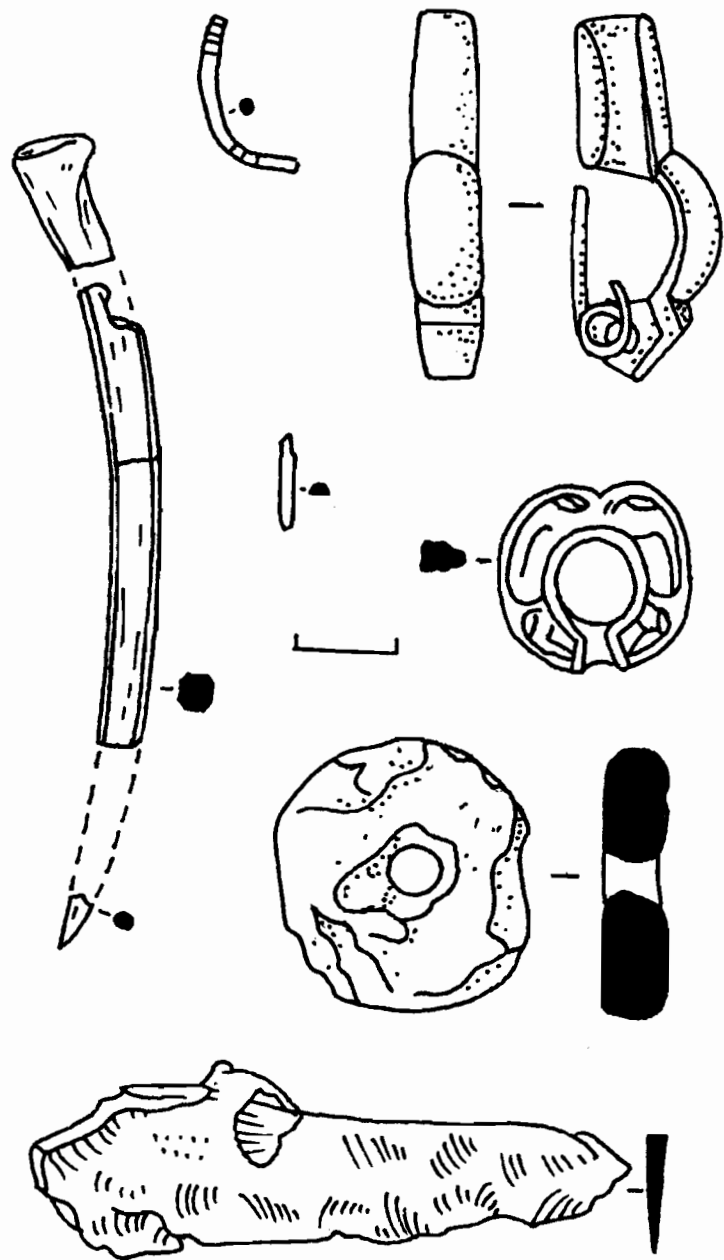


Рис. 5. Инвентарь погребения 37 могильника «Гора Великанов»

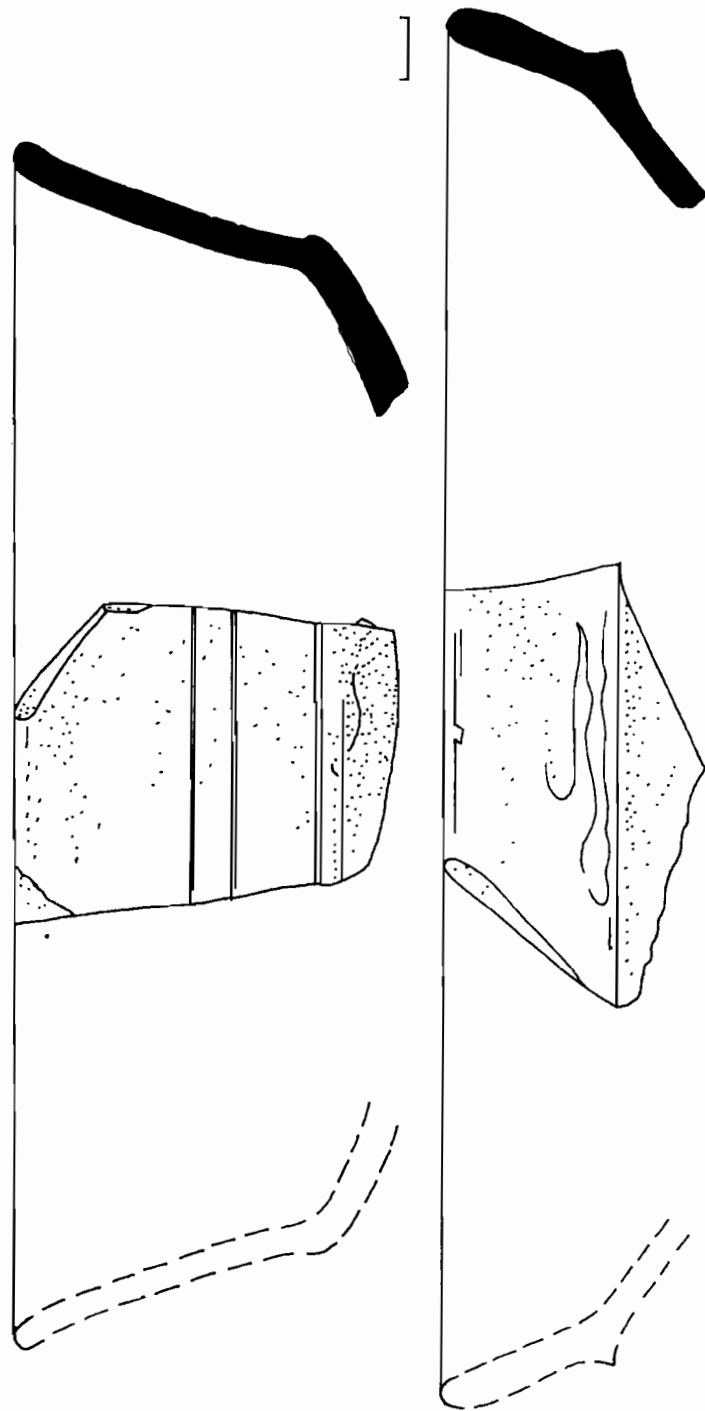


Рис. 6. Фрагменты круговых сосудов из подгземного материала поселения-1 Гусев

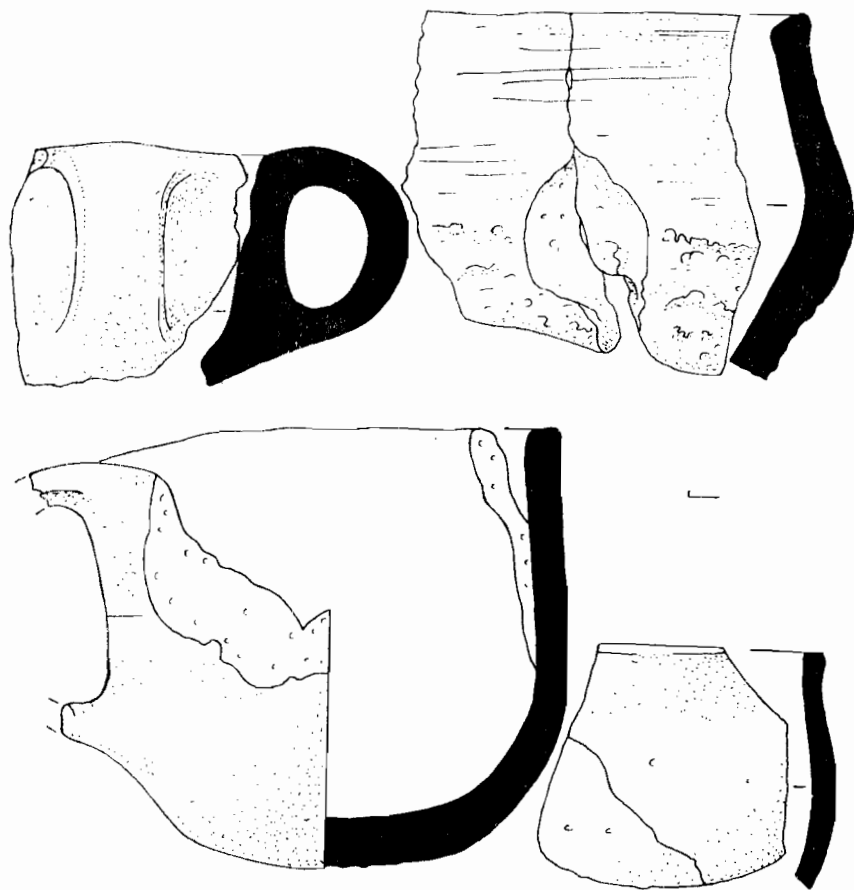


Рис. 7. Керамический комплекс из ямы-1 поселения-2 Бальга

## О ЛАТЫШСКОМ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ К. КАРУЛИСА

(*K. Karulis. Latviešu etimoloģijas vārdnīca. S. I–II. Rīga, 1992*)

Изданный в полном объеме труд К. Карулиса — первый этимологический словарь латышского языка (далее LEV). Он задуман как научно-популярный и содержит, помимо собственно лексикографической части (I, л. 53–638; II, л. 5–581) и вступления (I, л. 7–52), введение в круг основных понятий и проблем индоевропейской и латышской этимологии (II, л. 583–670). Несомненно, что труд К. Карулиса — нечто большее, чем обычное научно-популярное издание, и что, несмотря на ряд серьезных недостатков (см. ниже), он является крупным событием в балтистике. В рамках этого отклика на LEV нам приходится ограничиться несколькими замечаниями преимущественно в связи с содержащимися в словаре славянскими данными.

Латышская этимология добилась немалых достижений (I, л. 7–8; II, л. 638–648), многие из которых принадлежат корифею балтийского языкознания Я. Эндзелину, ср., в частности, его этимологические указания в словаре К. Мюленбаха–Я. Эндзелина (ME). Впервые после его выхода LEV, несмотря на ограниченность словника (лексика литературного языка), предлагает некую целостную картину латышской лексики — в единстве ее исконного и заимствованного фондов, но также балтийского и балто-славянского лексического материала, увиденного не в «литовском» и не в «прусском», а в «латышском» ракурсе.

При подобной смене ракурса неизбежно напомним о себе многое из того, что раньше было как бы в тени. Так, знакомясь с LEV (s. v. *bidit*), можно еще раз убедиться, что реконструкция б.-слав. *\*biǰō* 'бью', в которой иногда усматривают «пробный камень балто-славянских отношений», — не «чистая формальность» (ЭССЯ 2, с. 109) и что у слав. *\*biti* есть балтийские соответствия. Это подтверждает ст.-лтш. *bit, būstu, biju* 'толкать', от которого сохранился итератив *bidit* 'двигать, отталкивать'<sup>1</sup>, тождественный лит. диал. *būdyti* 'поднимать, гнать, тормозить' (Urbutis 1981, р. 109). LEV, несомненно, будет способствовать большей известности фактов этого рода. Хочется надеяться, что он поможет избежать случаев, когда при цитировании индоевропейских параллелей славянской лексики «забываются» латышские, — например, лтш. диал. *blūods* 'заблуждение; леший, нечистый' (s. v. *blandities*; см. еще Breidaks 1969, 1.43)

<sup>1</sup> Лтш. *bities* 'бояться' выглядит как рефлексив от *bit*, ср. *bidit* 'отталкивать' при ст.-лтш. *bidit* 'пугать', а также соображения Й. Зубатого о родстве *\*biti...* и *\*bojati* (*sq*) (ср. ЭССЯ 2, с. 164).

при слав. \*blqdz 'ошибка; нечистый дух' (ЭССЯ 2, с. 127; SP I, s. 272), лтш. *grida* 'пол' (s. v.) при слав. \*gręda 'брус, гряда' (ЭССЯ 7, с. 14).

Весьма ценно, что LEV, осведомленный в новейшей (до середины 1980-х гг.) этимологической литературе, содержит сведения о ранних фиксациях латышских слов и их истории, употреблении в фольклорных и литературных текстах, диалектные факты. Подобные данные и стали, на наш взгляд, залогом наиболее удачных решений в словаре. Одно из них — сближение (ранее уже предлагавшееся) лтш. *gulēt* 'спать, лежать' (s. v.) с рус. *гулять*, слав. \*gul'ati, подтверждаемое, в частности, указанием на ст.-лтш. *gulāta zeme* 'залежь', лтш. *zeme gul atmatā* и т. п. при рус. диал. *земля гуляет*. Переключки этого рода (ср. еще рус. диал. *гуляшная земля* [СРНГ 6, с. 224], лтш. диал. *gulene* 'паровое поле под выгон для скота', лит. диал. *gūlinti* 'оставить землю невозделанной' [LKŽ III, p. 715] и т. п.) легко могут быть умножены и не оставляют сомнений в родстве балт. \*gul- и слав. \*gul-/ \*gyl- в \*gul'ati, \*guliti (по крайней мере, для части фактов), \*gyliti, \*gylь (ЭССЯ 7, s. vv.). Можно указать, в частности, на лексику, так или иначе связанную с идеей соития (свадьба, сожительство и проч.), ср. в соответствующих значениях рус. диал. *гулево́й (ребенок)*, *гуле́й*, *гуле́на*, *гуле́я*, *гу́ля*, *гульба́*, *гуля́нка* 'свадьба', *гуля́нье с караваем* 'то же' и т. п. (СРНГ 7, s. vv.), лит. *gulimas*, *gulovà*, *gulovas*, *gulėjas*, *sugulėti*, *guldýtuvės* 'род свадебного обряда' (LKŽ III, s. vv.), лтш. *gūldināt* 'об укладывании молодых в постель' (ME I, s. v.) и проч. Возражение, согласно которому лит. *gulėti* восходит к \*guōl- и потому не сопоставимо с \*gul'ati (ЭССЯ 7, с. 172) не может быть принято (ср. Karaliūnas 1987, p. 177).

Представляется перспективным предлагаемое в LEV (s. v. *raut*) объяснение лтш. диал. *raūnas* 'течка' от *raūt* 'рвать', 'бежать, мчаться', — что подтверждается ссылкой на рус. *тэчка* и т. п. Лтш. *raūnas* (laiks) обычно сопоставляется с не упоминаемым в LEV рус. *руно́* в значении косяка рыбы, овечьего стада, пчелиного роя (Иркут. словарь III, с. 518), которое, видимо, следует связывать с рус. *рвать(ся)*, польск. *runąć* 'рухнуть, устремиться' (< \*runqti или \*ruxnqti, укр. *рїшити*, *рух* (Фасмер III, с. 518). Это решение трудно распространить на польск. *ruja* 'течка', 'гон', чеш. *řije* 'течка, рев оленей' и другие предполагаемые рефлексы и.-е. \*reu- 'реветь' (Фасмер III, с. 592), к которому обычно относят и лтш. *raūnas* (laiks), рус. *руно́*. Напротив, лтш. *rūte* 'течка собак' (ME III, S. 573) сопоставимо с слав. \*rutiti, \*r'utiti 'бросить(ся), нестись' < и.-е. \*reu-t- < \*reu- 'рвать'.

Намеченные в LEV, пусть эскизно, балтийские связи лтш. *kvernēt* 'торчать, ждать попусту' (s. v.) позволяют, как будто, реабилитировать отвергнутое недавно (ЭССЯ 13, с. 151) сравнение этого слова со слав. \*kvarъ 'порча, вред, урон, болезнь', \*kvariti 'вредить, портить, губить', ср. лит. *kvėrti* 'распадаться, разваливаться, расшатываться', *kvėrnėti* 'прихварывать', *kvirti* 'слабеть, быть нездоровым'. Сходное с *kvėrti* формально и семантически лит. *gvėrti* сопоставляют, наряду с лит. *gūrti* 'крошиться, слабеть, исчезать', с и.-е. *geu-* 'быть изогнутым' (Fraenkel,

S. 179), что подтверждает, возможно, связь \*kvarъ, \*kvariti с и.-е. \*keu- 'гнуться'.

В ряде случаев материалы LEV как бы подводят к какому-то сопоставлению со славянскими данными (не замечаемыми или игнорируемыми К. Карулисом), предоставляя читателю самому иметь дело с этим сопоставлением. Так, к числу индоевропейских параллелей лтш. *zalguōt* 'мерцать, сиять' (s. v. *zalgot*), *zālga* 'свет, сияние', *zalgis* 'сверкающий' и др. (ME IV, S. 684), родственных *zaļš* 'зеленый', следует добавить слав. диал. (в.-слав.) \*zolkъ 'рассвет, заря' и связанное с ним (ю.-слав.) \*zolkъ 'зелень', предполагающие глагол \*zelti 'сиять, зеленеть', ср. лит. *žėlti* 'зеленеть, о восходах', лтш. *zelt* 'то же' (Szumański 1980, s. 43–44 — без лтш. *zalguōt*). Показательно упоминаемое в LEV эст. *haljas* 'зеленый, блестящий' — древнее латышское заимствование.

Лтш. *sūpēt* помимо указываемых в LEV (s. v. *sūbēt*) значений 'становиться грязным; дымить' имеет также значение 'портиться, о мукe; гнить' (ME III, S. 1133), позволившие Я. Эндзелину сблизить это слово с лит. *šiūpti* 'гнить' (иначе о *šiūpti* см. Fraenkel, S. 993). Если это так, то как будто появляется возможность привлечь др.-рус. *свенеть* 'мед диких пчел' (Срезневский III, с. 270), 'дерево с дуплом, где живут пчелы' (? ср.: *коупилъ... дѣдицтво... и с лѣсомъ и з бортъми и с венеты за рѣкою*, 1366 г. — Грамоти XIV ст., с. 40), др.-польск. *świepieto* 'дупло, где осел рой пчел, бортъ' (Sl. Stpol. IX, s. 63), предполагая для этих фактов исходное \*svēp-etz, \*svēp-eto 'дупло, толстое дуплястое дерево, колода' (иные возможности объяснения см. Фасмер III, с. 573; Топоров 1975, с. 17). Ср. лит. *šiūpti* в значении 'гнить, трухляветь — о дереве' (*sušiūpęs medis* и т. п.) и рус. *во пне вытлело дупло* (Даль<sup>3</sup> IV, с. 773), *тлеть*; прус. *trupis* 'колода', др.-рус. *трупъ* 'пень', *труплицы* 'полюй, пустой внутри' при лтш. *trupēt* 'гнить, крошиться' и проч. (s. v. *trupēt*). Значения 'дымить' и 'гнить', вопреки К. Карулису, разделять совсем необязательно, ср. упомянутое рус. *тлеть*<sup>2</sup>; следует поэтому иметь в виду и лтш. *svēpēt*, диал. *svēpt* 'дымить, коптить'. Что касается дальнейших связей, то, может быть, к и.-е. \*k'eu- 'набухать; полость, полой' (лат. *cavus* и т. п.)?

Сказанное дает лишь минимальное представление о полезных или перспективных сведениях, которые могут быть извлечены из LEV, важность которого гарантируется уже тем, что он закрыл столь очевидную лауну в балтийской этимологической лексикографии<sup>3</sup>. Нельзя не ска-

<sup>2</sup> Ср. еще рус. диал. *дулеть* 'гореть, тлеть, гнить', слав. диал. *duliet'* 'толстеть, пухнуть' и, возможно, рус. диал. *дуль* 'дупло' (ЭССЯ 4, с. 149, 153).

<sup>3</sup> Остается надеяться, что в обозримом будущем появится и новая редакция балто-славянского словаря Р. Траутмана, о чем не раз говорилось (см. теперь Boguš 1992, S. 193). С другой стороны, было бы полезно и собрание славянской и балтийской лексики в духе «Анти-Траутмана», по выражению О. Н. Трубачева.

зять, однако, что в большом числе статей LEV (в том числе и упомянутых выше) полезные и нужные сведения перемежаются со спорными, а нередко такими, которые вызывают разочарование или даже недоумение. Такого рода негативная информация, оказывающаяся в ряде статей доминирующей, чаще всего связана с попытками К. Карулиса (весьма многочисленными) предложить собственные этимологические решения.

Примером может служить статья *ēna* 'тень' (одна из многих объемом в несколько страниц). Слово *ēna* принято считать, как сказано здесь, возникшим из *raēna* 'то же' < \**ravēna*, ср. *ravēnis* 'то же', лит. *ravēnė* 'затененное место, беседка', далее к лтш. *ravēja* 'безветренное место', лтш. *vējš* 'ветер' и т. д. Принять эту версию, оказывается, мешает то, что она не объясняет связи *ēna* и рус. *тень*, а также лтш. диал. *tēne* 'пленка' (?), в которой К. Карулис, похоже, не сомневается. Чтобы преодолеть эту трудность, *ēna* предлагается сначала рассматривать как иранизм, а точнее — как заимствование из некоего иран. \**ēn-*, возникшего из попутно реконструированного автором LEV и.-е. \**ain-* < \**ai-* 'гореть' (семантическая сторона мотивируется ссылкой на случай *σχιά* 'тень': нем. *scheinen* 'светить'). Лтш. *atēna* 'тень', дериват «иранизма» *ēna*, вследствие отпадения *a-* и влияния и.-е. \**ten-* 'тянуть', дало затем упомянутое лтш. *tēne* и т. д. 'пленка', откуда благополучно разрешается — с допущением перехода 'пленка' > 'тень', загадка рус. *тень*, словен. *tēnja*, могущих быть, по К. Карулису, балтизмами<sup>4</sup>. В довершение всего «иранская» этимология примиряется с традиционной: в *ēna*, оказывается, могли совпасть, с одной стороны, иранизм, а с другой — *ēna* < *raēna*. Но почему бы не предположить, что в *ēna* таятся отражения и многих других этимонов? Чем плохо, скажем, и.-е. \**ēn* 'вот, смотри' (Pokorný I, S. 314; тогда 'тень' < 'вот тень')? При всей надуманности такого сравнения, оно обладает хотя бы тем преимуществом, что строится на реальном и.-е. \**ēn-*, а не на откровенно произвольном иран. \**ēn-* < и.-е. \**ain-*.

Досадно видеть, как, повторяя этимологию лтш. *dzīsla*, рус. *жи́ла* от \**g<sup>u</sup>ei-* 'жить' (s. v. *dzīsla*), К. Карулис без всяких пояснений цитирует и сопровождает правильной реконструкцией противоречащее этой этимологии лат. *filum* 'нить' < \**g<sup>u</sup>hi-slo-m*. Противопоставление *g<sup>u</sup>* : *g<sup>u</sup>h* (в других случаях ему на смену приходят *g* : *g'*, *g'h* : *g<sup>u</sup>h*, *k* : *gh* и т. п.), как это ни печально, является для автора LEV вполне преодолимым препятствием — как и многие другие преграды, будь они связаны с фонетикой и семантикой или с относительной хронологией или лингвогеографией.

Слишком прямолинейно понимая цели этимологизирования, К. Карулис достигает их, в общем, одним и тем же способом: стремясь прежде всего указать для каждого слова индоевропейского происхождения тот или

иной корень и заполняя затем «промежутки» между словом и корнем общей схемой фонетического и семантического развития. Эта схема, чтобы она была «понятна и неспециалистам», освобождается от «узко специальной аргументации» (s. I, l. 8), что на практике нередко означает ее абстрактность, неверифицируемость и возможность замены любой другой. Процедура «тестирования» на корень, обнаруживающая в LEV исключительную объяснительную силу (слов без этимологии остается мало) и применяющаяся также к источникам индоевропейских заимствований в латышском, зачастую не является одноступенчатым актом, но включает сравнение и отождествление корней. И вот, в десятках статей LEV, занимая немалую долю объема всего словаря, фигурируют избыточные неосторожностью, а то и явным произволом, однообразные сопоставления типа \**pek<sup>u</sup>*-, \**k<sup>u</sup>ep-* и *tep-* (s. v. *cept*), \**g<sup>u</sup>el-* и \**kel-* (*cilvēks*), \**ker-*, \**kel-* и \**kāu-* (*cirst*), \**b(h)londh-*, \**moldh-*, \**mlodh-* и \**mel-* (*blandities*). Велик ли выигрыш от того, например, что в результате отождествления корней \**k<sup>u</sup>lep-*, \**klep-* и \**gleb(h)-* выясняется, что лтш. *slēpt* 'прятать' будто бы связано с *klēpis* 'лоно, охапка' и *glabāt* 'хранить' (s. v. *slēpt*)? И не лучше ли было уделить больше внимания «живым» словам (а не корням) и в большей степени опираться на этимологические традиции, связанные с именами Я. Эндзелина, К. Буги, Э. Френкеля, М. Фасмера?

Воззрение, согласно которому представленные в LEV корневые этимологии есть нечто желательное и предпочтительное в словаре, предназначенном и для «неспециалистов», представляется очень спорным.

До известной степени кажется превратным истолкование (и формулировка) К. Карулисом тезиса о том, что этимология последних десятилетий стремится объяснять то или иное слово сначала как исконное, и лишь в случае неудачи пробует вариант с заимствованием (I, l. 8). В практике LEV это означает, в частности, попытку исконной интерпретации многих латышских слов, обычно относимых к славизмам. Не исключая, что в каких-то случаях эти попытки могут быть оправданы, мы склонны все же предпочесть объяснениям К. Карулиса — по крайней мере в его «аранжировке» — традиционные славянские этимологии, упоминаемые в статьях *blēdis*, *divains*, *gādāt*, *klanīt*, *kullis*, *mērit*, *močit*, *pakavs*, *palags*, *pastala*, *slābs*, *sprauns*, *tūce*, *ūda*, *vica*. Ср. хотя бы традиционную этимологию лтш. *blēdis* 'плут' < др.-рус. *блѣдь* 'обманщик' и предлагаемое в LEV объяснение *blēdis* < балт. \**bled* < и.-е. *mlēdh-* < \**mēdh-* < \**mel-* 'молоть и т. п.', с которым трудно согласиться даже с учетом обычной для LEV уступки в виде предположения о влиянии со стороны рус. *блѣдь*.

Не берясь оценивать содержащиеся в LEV этимологии, связанные с финно-угорским материалом, мы можем указать по крайней мере один случай, когда предлагаемая К. Карулисом индоевропейская интерпретация латышского слова, обычно рассматриваемого как финно-угорское заимствование, оказывается ошибочной. Лтш. *juōta* 'глубокое место между двумя отмелями и др.', вопреки К. Карулису (s. v. *jota*), все-таки

<sup>4</sup> В другом месте (II, l. 390) LEV рассматривает лтш. *tēne*, рус. *тень* как рефлексы и.-е. \**ten-* 'тянуть' и связывает с лтш. *tēls* 'образ' а *ēna* предается забвению.

из ливск. *juom* 'то же' (связано с фин. *juoma* - *juova* 'полоса, сток', видимо, от *juo-da* 'пить', причем, 'полоса' < 'осушительная канава' (SSA, S. 249<sup>5</sup>), что отменяет сравнение *juoma* с рус. *яма* и т. п.

Следует заметить, что и в той части словаря, которая выше характеризовалась положительно, есть много недочетов. Учитывая литературу, К. Карулис не проявляет достаточной критичности и «разборчивости», так что разные мнения (в передаче которых встречаются неточности) как бы ставятся в один ряд безотносительно к степени их правдоподобия. Ср., например, о лтш. *kule* 'торба', прус. *kuliks* 'кошель' (согласно LEV, к и.-е. *\*keu-* 'гнуть'): «по другой точке зрения... из славянских языков... А по другой может быть маньчжурского происхождения. В. Н. Топоров связывает прус. *kuliks* с *kult* 'молотить', В. Пизани — с лат. *culleus*...» В перечне привлекаемых работ есть существенные пробелы и целые «провалы» (так, практически не привлекаются работы А. Брейдака).

Не жалея места на процедуры с корнями, LEV сравнительно скуп на подачу славянского материала. В целом ряде статей (*gurt*, *muldēt*, *peļže*, *sist*, *skaudrs*, *spars*, *tikls*, *tūska*, *vērpt* и др.) цитирование славянских слов подменяется ссылкой на работу, в которой они содержатся. LEV, конечно, далек от разрабатываемой в трудах А. П. Непокупного, А. Брейдака и других ученых проблематики латышско- (куршско-, латгало-, селоно-) славянских изоглосс, как, впрочем, и другой балто-славянской изоглоссной проблематики.

Как этимологический словарь-справочник LEV много проиграл от пропуска или игнорирования во многих своих статьях славянских параллелей, о чем уже говорилось. Подчеркнем, что речь зачастую идет о хорошо известных и важных фактах «фондовой» лексики. Ср. некоторые из статей этого рода: *bedre* 'яма' (укр. диал. *бѣдра* 'большая яма' и слав. *\*bedro* 'бедро, ляжка', Непокупный 1976, с. 27–29), *gūt* 'получать' (слав. *guviti* (*se*) 'копить', *gyvūn* 'алчный', ЭССЯ 7, с. 180, 223<sup>6</sup>), *kami* 'толченый горох и конопля в виде колобков' (слав. *\*komъ* 'ком', блр. диал. *камь* 'пюре из картофеля, конопля, фасоли и др.', ЭССЯ 10, с. 179 — без лтш. слова<sup>7</sup>); *kluss* 'тихий' (слав. *gluxъ* 'глухой', ЭССЯ 7, с. 146), *kūdit* 'гнать' (слав. *\*kydati* 'кидать', ЭССЯ 13, с. 253), *lēts* 'дешевый' (слав. *lēto* 'лето, год', ЭССЯ 15, с. 11), *olekts* 'локоть' (слав. *\*olkōtъ* 'то же', Фасмер II, с. 514), *plēne* 'белая зола на углях' (рус. *плень* 'гниль; что-нибудь гниющее', Фасмер III, с. 279), *purns* 'морда' (слвц. *perna*, *pera* 'губа', Непокупный 1976, с. 14–18), *sermulis* 'горностай' (рус. *росомáха*, Фасмер III, с. 505; Брейдак 1983, с. 46–48), *smarža* 'аромат' (слав. *\*smordъ*; если лтш. *smarža* < *\*smard-īā* [ср., од-

<sup>5</sup> Любезно указано Е. А. Хелимским.

<sup>6</sup> Приводимое в LEV рус. диал. *гүтко* 'быстро' относится скорее к слав. *\*xutъkъ* 'быстрый' (ЭССЯ 8, с. 118).

<sup>7</sup> Спорным представляется мнение, согласно которому блр. диал. *камь* — балтизм (ЭСБМ 4, с. 229).

нако, ME III, S. 954], то интересно словен. *smrája* 'вонь' < *\*smord-ja*, *sprāgt* 'лопнуть' (слав. *\*pražiti* 'жарить', Фасмер III, с. 393), *stagers* 'рыба колюшка' (слав. *\*stežerъ*, *\*stožerъ* 'столб, шест', Фасмер III, с. 752), *svērt* 'взвешивать' (рус. *освѣр*, *освѣр* 'рычаг', Фасмер III, с. 156), *vilt* 'обманывать' (рус. *вилѣть*, Фасмер I, с. 315).

Из статей LEV, рассматривающих заимствования, отметим в этой связи *žerra* 'тачка' (польск. *kary* 'род двуколки или повозки' [Варшавский словарь II, s. 285], блр. диал. *káry* 'род воза или саней' [ЭСБМ 4, с. 287], рус. диал. *káry* 'прицеп к саням' [СРНГ 13, с. 111<sup>8</sup>], *pāteri* (*pāteri*) 'молитва' (польск. *pacierze* 'молитвы' [Варшавский словарь IV, s. 5], рус. диал. *pāteri* 'католические молитвы' [СРНГ 25, с. 273]<sup>9</sup>).

Более внимательное отношение к славянским данным, несомненно, помогло бы К. Карулису избежать некоторых неудачных интерпретаций латышской лексики, например, неоправданной омонимической трактовки *kult* 'молотить' и *kult* 'сбивать масло', ср. родственное слав. *\*koltiti* (*se*), рефлекс которого известны и в том и в другом значениях (ЭССЯ 10, с. 157). Лтш. *atkala* 'гололед' не понадобилось бы сближать с *kalst* 'сохнуть' и *salt* 'мерзнуть', поскольку в пользу родства этого слова, как и *arkala* 'гололед', с *kalt* 'ковать' свидетельствуют, кроме прочего, рус. диал. *кóлол* 'бугристая обледеневшая поверхность дороги' (ЭССЯ 10, с. 159), *откóлый* 'ломкий (лед)' (СРНГ 24, с. 207)<sup>10</sup>. И, возможно, для *tūlāties* 'мешкать' не понадобилась бы упомогающая комбинация из и.-е. *\*tel-*, *\*kel-*, *\*tul-*, *\*teu-*, обрати К. Карулис внимание на рус. диал. зап. *тулѣться* 'прятаться, уклоняться' (Опыт, с. 233), ср. и рус. диал. *тулѣть* 'укрывать, прятать' (Фасмер IV, с. 117). Лтш. *tūlāties*, возможно, из рус. *тулѣться*, ср. лит. *tūlōti* 'тепло одеваться, укутываться', объяснявшееся из польск. *otulac* 'укутываться' (Fraenkel, S. 1138). Сходное решение может быть предложено и для лтш. диал. *tūlot* 'закутывать' (согласно LEV — из и.-е. *\*teu-* 'пухнуть').

Мы не располагаем возможностью привести здесь множество частных замечаний, касающихся разного рода ошибок, неточностей, противоречий и опечаток в подаче и толковании славянских фактов в LEV. Но в этом, по-видимому, и нет необходимости, поскольку большая часть такого рода огрехов сразу станет заметна осведомленному читателю, который едва ли поверит, скажем, что рус. *аур* (известный тюркизм) — генетическое соответствие лтш. *airene* 'плевел' (s. v.) или что рус. *цап* 'козел' (вопреки LEV, значения 'коза' у слав. *\*carъ* нет), родственно рус. *цапáть* (s. v. *серпге* 'шапка'). Откуда, кстати, взято загадочное др.-рус. *квертуно* 'какая-то болезнь' в упоминавшейся статье *kvernēt*?

<sup>8</sup> Ср. еще лит. *kāras* 'тачка', *kārai*, *karai* 'род повозки' (LKŽ V, p. 256), эст. *kārr* 'die Karre' (ME II, S. 368).

<sup>9</sup> Ср. также эст. *pāter* и лит. *pōteriai* (ME III, S. 192).

<sup>10</sup> Лтш. *atkalētis* 'поправиться' (ME I, S. 164) возникло из 'отделиться, отколотиться', ср. рус. *отойтү* 'поправиться'.



К. Карулис взял на себя смелость в одиночку решить исключительно сложную, ответственную и чрезвычайно актуальную задачу, и если бы не проделанная им огромная работа, мы, возможно, еще долго не имели бы этимологического словаря латышского языка.

Несомненно, что труд К. Карулиса станет основополагающей ступенью в подготовке более совершенного и полного варианта такого словаря и послужит стимулом к его созданию, а также к дальнейшему развитию исследований, посвященных происхождению лексики латышского и других балтийских языков. Стоит подчеркнуть, что LEV — первый этимологический словарь одного из балтийских языков, написанный на этом языке.

А. Е. Аникин

#### ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- Брейдак 1983 — А. Брейдак. Некоторые данные балтизмов финно-угорских языков для истории балтийского вокализма // *Baltistica*, XIX (1), 1983.
- Грамоти XIV ст. — Грамоти XIV ст. / Упорядкування, вступна стаття, коментарі і словники-показники М. М. Пешчак. Київ, 1974.
- Непокупный 1976 — А. П. Непокупный. Балто-севернославянские языковые связи. Киев, 1976.
- СРНГ — Словарь русских народных говоров. Л., 1966–1992, вып. 1–27.
- Топоров 1975 — В. Н. Топоров. К объяснению некоторых слов мифологического характера в связи с возможными ближневосточными параллелями // *Славянское и балканское языкознание. Проблемы интерференции и языковых контактов*. М., 1975.
- Borys 1992 — W. Borys. Zu den südslawisch-baltischen lexikalischen Verknüpfungen // *Linguistica Baltica*, 1, 1992.
- Breidaks 1969 — A. Breidaks. Etymologica (1–16) // *Latviešu valodas salīdzināmā analīze*. Rīgā, 1969.
- Karaliūnas 1987 — S. Karaliūnas. Baltų kalbų struktūrų bendrybės ir jų kilmė. Vilnius, 1987.
- ME — K. Mühlenschach. Lettisch-deutsches Wörterbuch, ergänzt und fortgesetzt von J. Endzelin. Riga, 1923–1925, Bd. I–IV.
- SP — Słownik prasłowiański. Wrocław etc., 1974–1991, t. I–VI.
- SSA — E. Itkonen (toim.). Suomen sanojen alkuperä. I. Helsinki, 1992.
- Szymański 1980 — T. Szymański. Prasłowiańskie dial. wsch. \*zolkę // *Rocznik slawistyczny*, 1980, t. XL, 1.
- Urbutis 1981 — V. Urbutis. Baltų etimologijos etiudai. Vilnius, 1981.
- Сокращения, не вошедшие в перечень, см. в ежегоднике «Этимология».

#### КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ИСТОРИИ ЛИТВЫ ВРЕМЕН ГЕДИМИНА

5–6 сентября 1991 г. в столице Литвы Вильнюсе состоялась международная научная конференция «Литва и ее соседи во время правления Гедимина», приуроченная к 650-летию со дня смерти великого князя литовского Гедимина. Наряду с другими мероприятиями в рамках дней, посвященных этой дате, работа конференции широко освещалась республиканскими средствами массовой информации.

В одном из залов Дворца работников искусств собрались приглашенные организаторами конференции историки Литвы, России, Беларуси, Украины, Польши, Германии, Англии и Канады. Было прочитано более 20 докладов по вопросам политической, хозяйственной и культурной истории Литвы и соседних с ней стран в эпоху правления Гедимина. Политике Литвы были посвящены доклады проф. Э. Гудавичюса «Консолидация государственной структуры в Литве во время правления Гедимина», А. Никянтаяйтиса «Успехи и неудачи западной политики Гедимина», д-ра Р. Мажейки (Торонто) «Контекст политики папы Иоанна XXII в отношении Литвы времен Гедимина», д-ра С. Роуэлла (Кембридж) «Мечи для продажи? Военные договоры Гедимина с католическими государствами и Русью» и Ф. Шабильдо (Киев) «К вопросу о восточной политике великого князя литовского Гедимина». Вопросы социальной истории поднимались в докладах д-ра Б. Йэнига (Берлин) «Вельможи Тевтонского ордена в Пруссии и Ливонии во время правления Гедимина» и В. Матузовой и Е. Назаровой (Москва) «Местные ленники в Пруссии и Ливонии в начале XIV в. Проблема заимствования или параллельное развитие». Проблемы культурной истории Литвы нашли отражение в докладах литовских историков А. Кунцявичюса «Резиденция великих князей литовских в конце XIII — начале XIV вв. на территории Вильнюсского Нижнего замка», Р. Батуры «Гедимин и проблема исторической традиции», А. Тилы «Влияние объяснений происхождения Гедимина на политическую ситуацию в Восточной Европе в конце XVI — середине XVII вв.», Г. Янкевичюте и Р. Янонене «Иконография изображения Гедимина в литовской живописи XIX–XX вв.» Оживленная дискуссия последовала за докладом Д. Карева (Гродно) «Русская историография XIX в. по вопросу формирования Великого княжества Литовского в XIV в.» С интересом были встречены доклады д-ра С. Экдаля (Берлин) «Королевство Скандинавии во время правления Гедимина» и д-ра Т. Поклевского «Значение обороны замка в Ленчице во время нападения литовцев в 1294 г.»

6 сентября работала секция «Гедимин — основатель города Вильнюса (Проблемы истории города Вильнюса с древнейших времен до середины XVI в.)», где были прочитаны доклады д-ра К. Милитцера (Кельн) «Что известно о Литве и Вильнюсе в средневековых немецких городах?», Ю. Кяупене «Вильнюс XVI в. — центр европейской транзитной торговли», Э. Гечяускаса «Проблема Вильнюса как политического центра до 1323 г.», А. Лухтанаса «Центры ремесла и торговли в Литве в годы правления Гедимина», Э. Римши «Символика печатей города Вильнюса в XIV-XVI вв.», Э. Кяупы «Начало самоуправления города Вильнюса», В. Алексеюнаса «Вильнюсский монетный двор в XIV-XVII вв.»

В перерывах между заседаниями литовские историки и археологи познакомили участников конференции с результатами раскопок на месте Вильнюсского Нижнего замка.

Работа конференции была продолжена в виде культурной программы, предложенной ее участникам: на академическом «рафике» они отправились в четырехдневное путешествие по историческим местам Литвы и Калининградской области, объединенным понятием «эпоха Гедимина».

Для всех участников конференции эти дни запомнятся еще и благодаря необычной, волнующей атмосфере, вызванной как прикосновением к далекому прошлому, так и сопричастностью важному событию современности — провозглашению независимости Литвы.

*В. И. Матузова*

## NECROLOGIA Памяти ушедших

Балтийская филология и особенно балтийское языкознание за последние несколько лет понесли тяжелые потери. Ушли из жизни и много сделавшие в своей области ветераны баллистики и те, кто успешно работал в науке и мог бы сделать еще многое, но чья жизнь была прервана преждевременно. Мы скорбим об этих утратах — и тем настоятельнее думаем о том новом поколении балтистов, которое входит в науку в наши дни и кому суждено будет подхватить и развить высокую традицию баллистики.

Ян Сафаревич  
(9 февраля 1904 — 9 апреля 1992)

9 апреля 1992 года ушел из жизни выдающийся польский лингвист и филолог, работавший в ряде областей индоевропеистики, Ян Сафаревич. Он прожил долгую жизнь: в XX веке нет ни одного десятилетия, непосредственным свидетелем которого он ни был бы и которое он ни помнил бы. Теперь он присоединился к той великой плеяде, которая была выдвинута польским языкознанием нашего века, — Бодуэн де Куртенэ, Карлович, Крыньский, Брюкнер, Лось, Розвадовский, Нич, Лер-Сплавинский, Шобер, Малэцкий, Штибер, Ташицкий, Роспонд, Отрембский, Курилович, Рысевич, Милевский и др., но Сафаревич единственный из них, кто прошел весь «польский» путь века — от Царства Польского в составе России до свободной и независимой Польши наших дней и открывающейся перед нею новой перспективы. Эта особенность придает жизненному и научному пути дополнительную свидетельскую ценность: все перипетии истории Польши в этом веке прошли перед его глазами; более того, ни одна буря не обошла его стороной, и он был не только свидетелем, посетившим *мир в его минуты роковые*, но и непосредственным участником всего того, что выпало на долю Польши в этом столетии. Поэтому не стоит удивляться, что и в списке публикаций работ Сафаревича, как и большинства других польских ученых, между 1939 и 1945 — сплошное зияние. В этом смысле для *этого* места и *этого* времени судьба покойного типична.

Типична, однако, не только индивидуальная судьба Сафаревича, но и родовая: как уже отмечалось в одном из откликов на смерть ученого, он

был живым представителем того историко-культурного круга, который имел свои корни в Великом Княжестве Литовском, складе жизни и культурных традициях его населения, наследником и продолжателем — в совсем иное время и в иной ситуации, но в том же месте — тех традиций и тех задач, что сложились здесь — между Вильной и Краковом — еще тогда, начиная с XIV века, с ягеллонских времен. Историю не переигрывают заново, но забывать об этом удивительном историко-культурном разно- и многоэтничном комплексе, о его вкладе в историю и в культуру, наконец, не сознавать, что его крушение зачеркнуло многие надежды и предопределило ту конфликтную ситуацию, которая вскоре и особенно позже начала приносить обильные «злые» плоды, — было бы признанием в собственном равнодушии, слепоте, неблагодарности, в неумении внимать урокам истории и делать из нее своевременные выводы.

Ян Сафаревич родился 9 февраля (по старому стилю 26 января) 1904 г. в Двинске, о неповторимости, многоукладности быта, полиэтничности которого в начале так убедительно писал Л. Добычин в романе «Город Эн». По отцовской линии род Сафаревичей татарского происхождения: уже с XIV века на Виленщине отмечено присутствие татарского этнического элемента, и эта «татарскость» удерживалась довольно долго (объясняя свою фамилию из *Saffar*, о чем еще раньше писал и Ташицкий, Сафаревич сообщил, что его дед Александр был еще мусульманином). Семья была не чужда гуманитарных интересов: отец закончил Исторический факультет Петербургского университета, хотя он вынужден был работать не по специальности, а мать была в родстве с женой известного польского лингвиста А. Крыньского. В 1908 г. семья переезжает в Вильну, и в десять лет мальчик остается круглым сиротой. Он поступает в русскую торговую школу, окончание которой давало право поступления в Университет. Но до этого была Первая мировая война, сильно затронувшая Виленский край и радикально изменившая всю ситуацию. Она затронула и Сафаревича, которому пришлось быть санитаром, принимать участие в самообороне Вильны в 1919 г. и т. п. В Виленском университете учителями Сафаревича были латинист Ян Око, специалист по древнегреческому языку Стефан Сребрны и индоевропеист Ян Отрембский, ученик Е. Ф. Карского по Варшаве и Бругмана по Лейпцигу. В Виленском университете Отрембский читал сравнительно-историческую грамматику древнегреческого и латинского, преподавал начальные курсы санскрита и готского. В приобщении Сафаревича к индоевропеистике он, очевидно, сыграл решающую роль, хотя докторский реферат был посвящен латинскому («De inscriptione IG II, 971 // Eos XXIX, 1926, 189–201»), которому и в дальнейшем Сафаревич уделял наибольшее внимание. Но в 20-е годы своего рода лингвистической столицей был Париж, и не случайно, что именно туда продолжал свое образование в 1927 г. приехал Сафаревич. Он занимался в *École des Hautes Études* и в *Collège de France*. В области латинистики его учителями были А. Эрну и Ж. Марузо. Три года пробыл Сафаревич в Париже, посещая лекции Мейе, Вандриеса, только что начинавшего свой блистательный путь Бенвениста и др. Здесь же он имел

возможность общаться с многими молодыми учеными (среди них были и поляки — Курилович, Вильман-Грабовска, Дорошевский и др.) разных стран: некоторые из них позже прославились в избранных ими областях компаративистики.

Весной 1930 г. Сафаревич возвращается на родину и с осени начинает занятия в Виленском университете, Филологический факультет которого в 30-е годы переживал подъем и многое обещал в дальнейшем, и скорее всего эти обещания были бы исполнены, если бы не начавшаяся в 1939 г. Вторая мировая война. Во всяком случае имена Отрембского, Кошмидера, Турской, Шантыра и др., как и одаренной студенческой молодежи, проявившей себя вполне в основном уже после войны (Цимоховский, Кудзиновский, Мирович, Трыпуцко и др.), говорят сами за себя. До 1937 г. деятельность Сафаревича связана с Виленским университетом и в нем с занятиями латинским языком. В эти годы помимо целого ряда статей, посвященных фонетике, морфологии, лексике латинского языка, выходят три монографических исследования Сафаревича — «*Le rhotacisme latin*» (1932), «*Études de phonétique et de métrique latines*» (1936) и — в соавторстве с Отрембским — «*Gramatyka historyczna języka łacińskiego*» (1937). Тогда же открывается и ряд работ, связанных с языком латинской литературы (Вергилий, Гораций, позже Энний, Луцилий, Петроний, Цицерон и др.). Наконец, к середине 30-х годов обозначается интерес Сафаревича к балтийской и славянской языковой проблематике, прежде всего в связи с глаголом и особенно в плане изучения видовых отношений. Несомненно, что обращение к литовскому и славянскому материалу в определенной мере было вызвано и тем обстоятельством, что Вильна находилась в центре зоны балто-славянского пограничья. Однако до войны Сафаревич успел опубликовать по этой теме лишь несколько статей — «*Stan badań nad aspektem czasownikowym w języku litewskim*» (1938), «*L'aspect verbal en vieux lituanien*» (1938, доклад на IV Международном Конгрессе лингвистов в Копенгагене в 1936 г.), «*Un acrostiche de Mažvydas*» (1939, повторно — 1963), «*Nowsze badania nad genezą aspektów słowiańskich*» (1938), «*Uwaga o genezie aspektów słowiańskich*» (1939).

С 1937 г. Сафаревич в Кракове, в Ягеллонском университете, где он занимает кафедру индоевропейского языкознания, оставшуюся вакантной после смерти Я. Розвадовского в 1935 г. До 1974 г. научная и преподавательская деятельности Сафаревича была теснейшим образом связана с Ягеллонским университетом. Следует подчеркнуть, что инициатива приглашения Сафаревича на осиротевшую кафедру индоевропеистики принадлежала патриарху польского языкознания Ничу. За два с небольшим года до начала войны Сафаревичу удалось сделать немало. Помимо инициатив, связанных с нуждами кафедры, главным, пожалуй, было существенное расширение круга индоевропеистических занятий. Кроме продолжающегося интереса к латинской языковой проблематике и уже упоминавшихся работ по балтийской и славянской тематике появляются работы о первичных медиальных окончаниях в индоевропейском и ряд существенных статей по исторической фонетике древнегреческого языка.

Война разом и до основания нарушила прежний уклад жизни. Университеты были закрыты. виднейшие языковеды Ягеллонского университета во главе с Ничем и Лер-Сплавинским были арестованы (среди них были и два сотрудника Сафаревича по кафедре Малэцкий и Милевский) и отправлены в концентрационные лагеря Заксенхаузен и Дахау. Сафаревич избежал этой участи, поскольку в это время он оставался во Львове, куда он прибыл еще в начале сентября 1939 г., поскольку там формировался Виленский пехотный полк. В Краков он вернулся только в ноябре, когда волна арестов среди профессуры уже прошла. Но судьба коллег по Университету глубоко волновала его, и, несмотря на малую надежду чем-то помочь им, Сафаревич переписывается с немецкими коллегами (профессорами К. Г. Мейером и Г. Шольцем), прося их предпринять возможные действия для освобождения польских ученых из лагерей. Сам же ради заработка работает трамвайным кондуктором, потом в бюро трудоустройства и т. п. Но главным делом его и оставшихся в Кракове коллег была организация подпольных занятий со студентами. Шаг был рискованным и требовал от участников этих занятий предельной осторожности и мужества. В своих позднейших воспоминаниях об этом времени Сафаревич писал об одушевлявшем всех чувстве единства цели, об атмосфере доверия и полной взаимности, наконец, о радости от сознания той пользы, которую приносили эти занятия. В эти же годы Сафаревич работал над двумя книгами — пособием для славистов и полонистов по древнегреческому («Elementy języka greckiego», 1947) и как бы продолжением латинской грамматики, первый том которой был написан в соавторстве с Отрембским (Gramatyka języka łacińskiego, cz. 2: Składnia», 1950).

В 1945 г. Сафаревич возвращается на кафедру во вновь открытый Университет и почти тридцать лет активно работает там. Polska Akademia Umiejętności избирает его уже в 1945 г. своим членом-корреспондентом, а в 1951 г. — действительным членом. Polska Akademia Nauk делает тот же выбор соответственно в 1958 и 1964 годах. После переезда в Краков в 1949 г. Куриловича и создания новой кафедры общего языкознания, куда вошел и семинарий Сафаревича, сложился сильный центр, где велись занятия и исследования по индоевропеистике, отчасти по индийской и иранской филологии. В этот центр входили и уже признанные авторитеты (Курилович, Вильман-Грабовска, Сафаревич, Милевский) и молодые специалисты (Хейнц, Побожняк); контакты с этим центром поддерживали рано упедший из жизни З. Рысевич и М. Моле.

Немногом менее полувека продолжалась научная и научно-организационная деятельность ученого после войны. Именно в это время было написано и опубликовано приблизительно 7/8 всех работ Сафаревича. Продолжались исследования языковых явлений на индоевропейском горизонте — о происхождении трех рядов заднеязычных согласных (1945), о глагольном виде в индоевропейском и славянском (1963), о развитии формативов времени в индоевропейской глагольной системе (1964), об определенном и неопределенном презенсе в индоевропейском (1965) и др.; ср. также работу о польской индоевропеистике в 1945–54 годах (1955) и боль-

шую статью об индоевропейских языках для «Большой Всеобщей Энциклопедии» (1965). Десятки работ были посвящены латинскому языку в разных его аспектах. Кроме уже названной второй части исторической грамматики, посвященной синтаксису, ср. три монографии — «Zarys gramatyki historycznej języka łacińskiego. Fonetyka historyczna i fleksja» (1953), «Historische Lateinische Grammatik» (1969), «Zarys historii języka łacińskiego» (1986). Появляется ряд исследований по другим и т а л и й с к и м языкам — оскскому, умбрскому, фалисскому, издаются книжечки текстов на первых двух из упомянутых языков, прослеживается процесс латинизации старых областей распространения осков и умбров, исследуются доисторические языковые связи и т а л и й с к и х языков со славянскими. В 1988 г. выходит в свет в составе коллективной монографии о индоевропейских языках большая статья «Języki italskie». В связи с дебатами о месте в е н е т с к о г о языка среди индоевропейских, в частности, среди языков древней Италии, затронул эту проблему в статье 1951 г. и Сафаревич. Д р е в н е г р е ч е с к а я тематика представлена, кроме уже упомянувшегося руководства для студентов, рядом работ в новой области, связанной с дешифровкой линейного языка В (работы 1955–1960 гг.), а также продолжающимися исследованиями исторической фонетики. В сборнике «Języki indoeuropejskie» появляется обобщающая работа «Język starogrecki» (1988). Многочисленные исследования разных индоевропейских языков и возникающие в связи с этим вопросы проблемного характера делают естественным неоднократное обращение Сафаревича и к теоретической разработке ряда существенных тем о б щ е г о я з ы к о з н а н и я. Проблема глагольного вида особенно часто привлекает внимание ученого как в конкретном, так и в теоретическом плане. Некоторый промежуточный этап в исследовании разных индоевропейских языков и теоретических проблем общего языкознания фиксируется в вышедшей в свет в 1967 г. книге Сафаревича «Studia językoznawcze».

Но, конечно, в связи с профилем настоящего издания особого внимания заслуживают многочисленные работы Сафаревича в области б а л т и й с к о г о и с л а в я н с к о г о языкознания. Как уже указывалось, интерес к балто-славянской проблематике у Сафаревича возник в 30-е годы, и толчком к этому послужила сама языковая ситуация в Вильне и — шире — на юго-востоке Литвы. Тогда же Сафаревич познакомился с литовским языком, причем его учителем был Бронюс Унтулис, педагог, историк, переводчик, преподававший в 1937–1939 гг. литовский язык в Виленском университете. Известно, что у Сафаревича была начитанность и в старолитовских текстах (кроме Мажвидаса он изучал Постиллы Даукши и Моркунаса, «Punktai sakumc» Ширвида). Для научных работ балтийского цикла, выполненных Сафаревичем, характерным был широкий временной диапазон — от эпохи балто-славянского единства до современности, тесная связь со славянским циклом, интерес к ареальному фактору, к тому месту, где совершаются разные типы языкового контакта литовского и славянского (прежде всего польского) этнического элемента. Обычно это довольно короткие статьи, с четкой задачей и надежным и трезвым ее решением. Из

числа подобных работ более общего типа стоит здесь назвать такие, как «Przyczynki do zagadnienia wspólnoty bałto-słowiańskiej» (1945, есть и французский вариант статьи), «Bałto-słowiańskie stosunki językowe» (1958, 1961), «Ujednostajnienie samogłosek o i a w językach bałtyckich i słowiańskich» (1945), «Ze słownictwa bałto-słowiańskiego (innovacje czasownikowe)» (1961), «Problematyka bałto-słowiańska na Kongresie slawistów w Sofii» (1965), «Rozwój fonemów szczelinowych i zwartoszczelinowych w językach bałtyckich i słowiańskich» (1966), «Uwagi o bałto-słowiańskim imiesłowie czynnym przeszłym» (1966), «Głos w dyskusji na Sympozjum bałto-słowiańskim w Białymstoku» (1969), «A Latin Parallel to Balto-Slavic Recessive Accent» (1970), «Uwagi o deklinacji rzeczowników o temacie na -i- w językach bałto-słowiańskich» (1972), «Le latin et les langues balto-slaves» (1976) и др. Отчасти сюда примыкают и упоминавшиеся ранее работы о видовых отношениях в балтийском и славянском глаголе. Ареальный аспект балто-славянских контактов и его конкретные результаты полнее всего отражены в ряде статей, посвященных топонимам с суффиксом *-iszki* в польско-литовском пограничье и даже там, где граница давно уже далеко отступила назад. Здесь же должен быть упомянут отклик Сафаревича на исследования названий рек и озер в Сувалкии, проводимые Фальком (проблема выявления балтийской гидронимии и определение путей ее славизации). Литовское наследие в польском именовании рассматривается в статье 1950 года; заслуживает внимания и заметка 1983 г., обращаясь к явлению ономастической литовско-польской интерференции (лит. *-utis* : польск. *-uc*); в статье, появившейся годом раньше, рассматривается вопрос русско-литовской формы некоторых польских названий. Занимаясь собственно балтийской тематикой, Сафаревич также вполне органично переходит от общих вопросов (ср. «Bałtyckie języki i ich narzecza», 1961, «Traits archaïques de la langue lituanienne», 1977) к более конкретным и частным, часто с очень тонкими и точными наблюдениями (ср. заметки о неизвестном акростихе Мажвидаса и о стихе этого же автора, о литовской версификации, о междометиях у До-нелайтиса, о сохранении конечного *-s* в литовском, о местоименных прилагательных, ряде литовских предлогов, видовом значении будущего времени в литовском, словообразовательном архаизме, некоторых особенностях синтаксиса и т. п.). Нужно отметить, что перу Сафаревича принадлежит немало рецензий на работы по балтистике, в частности, литовских лингвистов, обзоров, некрологов лингвистов, внесших большой вклад в развитие балтистики.

Из работ в области с л а в и с т и к и, помимо уже отмеченных статей, трактующих проблему глагольного вида (ср. более поздние статьи «O pochodzeniu słowiańskiego systemu aspektów czasownikowych», 1954, «Note sur l'aspect verbal en slave et en indo-européen», 1963), уместно назвать здесь лишь некоторые: «Pochodzenie słowiańskich przyrostków *-isko*, *-iszcze* (1945), «Ze związków słownikowych słowiańsko-italskich /Czasownik/» (1963), «Uwagi o rozwoju konjugacji słowiańskiej» (1968) и др. Значительное количество статей и заметок посвящено разным явлениям в польском языке.

Научная, научно-популярная, издательско-редакторская, общественная деятельность в сфере науки и просвещения не может быть здесь очерчена даже вкратце. Тем не менее нужно все-таки подчеркнуть, что Сафаревич был великим тружеником и радетелем за польскую науку, не чуждаясь и той работы, которая отвлекает от собственных научных интересов. Он охотно брался за рецензии и обзоры, и в сумме они позволяют восстановить существенные фрагменты общей картины развития лингвистики. Он входил в редколлегии многих журналов и научных изданий. До самой своей смерти он был главным редактором журнала «Acta Baltico-Slavica». Он сотрудничал в научных изданиях огромного масштаба, как, например, в «Старопольском словаре» или в «Словаре средневековой латыни в Польше». Он не жалел сил и времени для издания трудов покойных ученых, в частности, своих коллег и предшественников. Он — автор некрологов многим видным деятелям польской науки. Наконец, нельзя не отметить «мемориальную» деятельность покойного. Его воспоминания о Вильне его юности и молодости (в этом любимом им городе Сафаревич оказался в дни празднования 400-летия со дня основания Университета, когда польскому ученому было присвоено звание почетного доктора этого научного центра, где он учился и преподавал), о своем учителе, коллеге и соавторе Отрембском, о своем предшественнике по кафедре в Ягеллонском университете Розвадовском и другие воспоминания (в частности, о военных годах) делают Сафаревича своего рода летописцем и польской науки и того места и времени, с которым была связана его жизнь.

Ян Сафаревич был скромным, внимательно-благожелательным и благородным человеком. «*Feci quod potui*», — мог бы сказать он скромно о себе. Но мы-то хорошо знаем, что это *quod* было многообразно, полноценно, полезно и что оно прочно вошло в состав нашей науки.

\* \* \*

Библиографию трудов Я. Сафаревича за 1926–1974 годы см. в книге, посвященной 70-летию ученого, — «Studia indoeuropejskie» (Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1974). Общая библиография за 1974–1992 годы должна появиться в журнале «Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego». Список работ по балто-славянской тематике, литовскому языку и литовско-славянским контактам на Виленщине см. в «Acta Baltico-Slavica» XIV, 1981, 9–14 (за годы 1936–1980). Работы по балтистике за 1976–1991 годы см. в «Acta Baltico-Slavica» XXI, 1992, XII–XIII. Среди откликов на смерть Сафаревича падо выделить два некролога, принадлежащих перу Войцеха Смочиньского — Jan Safarewicz (1904–1992). Życie, praca i dzieło // Acta Baltico-Slavica XXI, 1992, I–XV (здесь же, XIII–XIV, библиография статей о личности Яна Сафаревича) и In memoriam Jan Safarewicz (1904–1992) // Linguistica Baltica 1, 1992, 285–291.

В. Т.

## Мария Гимбутас

(23 января 1921 – 2 февраля 1994)

В лице Марии Гимбутас (Гимбутиене) мировая наука потеряла выдающегося исследователя индоевропейских древностей, а литовская наука — первоклассного специалиста в области мифологии, фольклора, символизма, культуры древних литовцев и, конечно, археолога, так как археология была ее первой специальностью.

Судьба Марии Гимбутас сложилась и трагически, но и счастливо. Вынужденная совсем молодой покинуть Литву, она снова увидела ее полвека спустя. Вторая мировая война и вторичная оккупация Литвы не позволили ей заниматься археологией Литвы в том объеме, какой был необходим и был ей по силам. Но после кратковременного пребывания в Западной Германии Мария Гимбутас нашла прибежище в США, где условия для ее успешной работы и научного роста были превосходными и где прошли ее лучшие, наиболее творческие годы. В этот период круг интересов исследовательницы чрезвычайно расширился, но сколь бы ни удалялся он, по видимости, от балтийской проблематики, связь с нею всегда существовала или, по меньшей мере, предполагалась.

Во второй половине 40-х годов — в центре внимания работы по археологии Литвы — «Mažosios Lietuvos antkapiniai paminklai» (1946) и «Die Bestattung in Litauen in der vorgeschichtlichen Zeit» (1946). Годом позже появляется работа, являющаяся уже «неархеологическим» следствием из археологических (но и не только их) исследований — Mūsc protėvių ražiuos ir mirtį ir sielą (1947), а еще через шесть лет ранний набросок общей картины архаичной литовской религии — «Senoji lietuvių religija» (1953). Позже эти ранние опыты отразились в расширенном, более аргументированном и углубленном виде в лучшей книге обобщающего характера по балтийским древностям — «The Balts» (1963) [перевод на литовский — «Baltai priešistoriniai laikais. Etnogenezė, materialinė kultūra ir mitologija» (1985)] и статьях о двух главных персонажах балтийского и славянского пантеона — «Perkūnas/Perun, the Thunder God of the Balts and the Slavs» (1973) и «The Lithuanian God Velnias» (1974). Особую часть творческого наследия М. Гимбутас образует вышедшая в 1958 г. книга о символизме в литовском народном искусстве — «Ancient Symbolism in Lithuanian Folk Art» [переведена на литовский в 1994 г. — «Senovinė simbolika lietuvių liaudies mene»]. Не прошла Гимбутас и мимо ближайших соседей и родственников балтов славян, которым посвящена книга «The Slavs» (1971), образующая как бы вторую часть «балто-славянского диптиха».

Но мировую известность Марии Гимбутас принесли ее работы «протоисторического» цикла о древнейших цивилизациях и соответствующих археологических культурах Восточной, Юго-Восточной (Балканы) и Центральной Европы, в частности, о «индоевропеизации» Европы, вызвавшие оживленную дискуссию. В этих работах М. Гимбутас поражает объем ее археологической эрудиции, широчайший охват ряда важнейших ареалов Европы, острый и оригинальный синтетический взгляд, в котором внима-

ние уделяется и, казалось бы, частностям, но никогда не упускается из виду и целое. Автор прослеживает не только разные археологические культуры в их специфике, но и отношения между ними во времени и в пространстве (миграции), не только анализирует предметы материальной культуры, но и придает особое значение факторам духовной культуры — религии, символизму, стилю, художественным образам. Таковы основные книги Марии Гимбутас 60–70-х годов — «The Prehistory of Eastern Europe. I. Mesolithic, Neolithic and Copper Age Cultures in Russia and the Baltic Area» (1956); «The Bronze Age Cultures of Central and Eastern Europe» (1965); «The God and Goddesses of Old Europe. 7000–3000 B. C. Myths, Legends and Cult Images» (1974), к которым следует прибавить целую серию статей, опубликованных в ряде изданий и, прежде всего, в «The Journal of Indo-European Studies». Среди статей этого цикла можно выделить такие, как «Proto-Indo-European Culture: the Kurgan Culture during the Fifth and Fourth, and Third Millenia B. C.» (1970); «The Kurgan Wave, 3400–3200, into Europe and the Following Transformation of Culture» (1980); «The Three Waves of the Kurgan People into Old Europe, 4500–2500 Millennium B. C.» (1979); «The Beginning of the Bronze Age in Europe and the Indo-European Studies» (1973); «The First Wave of Eurasian Steppe Pastoralists into Copper Age Europe» (1977); «The Indo-Europeans: Archaeological Problems» (1963); «The Temples of Old Europe» (1980); «Old Europe in the Fifth Millennium B. C.: The European Situation on the Arrival of Indo-Europeans» (1982); «From the Neolithic to the Iron Age in the Region between the Upper Vistula and Middle Dnieper Rivers» (1960) и др.

Уже только этот далеко не полный список дает представление о диапазоне пространственно-временных интересов, археологических культур и культурно-исторических, ритуально-мифологических, художественных тем, мотивов, символов, образов, отраженных в исследованиях Марии Гимбутас. Долг всех, кто сознает важность поставленных ею проблем и работает в этой или смежной областях, — продолжить это направление исследований. Нужно думать, что это в первую очередь относится к специалистам Литвы, Латвии, Белоруссии, Украины, России: именно к этим ареалам чаще всего обращалась Мария Гимбутас в своих исследованиях. Лучшая часть памяти о ней — в верности тому делу, которому она так преданно и так блистательно служила всю свою жизнь.

В. Т.

## Рейнис Бертулис

(10 мая 1937 – 19 февраля 1994)

Скончался Рейнис Бертулис, один из видных языковедов Латвии. Он плодотворно работал в разных областях, но лексикология и семантика латышского языка стали той областью, где в наибольшей мере проявились его способности и где он достиг наиболее важных результатов. Особо следует отметить связи Бертулиса с Вильнюсом (здесь он за-

цитил свою кандидатскую диссертацию о семантических связях существительных в латышском и литовском языках) и с литовским языком, полноправно привлекаемым к исследованию наравне с латышским в целом ряде работ. Его привлекали и теоретические проблемы лексической дифференциации родственных языков и сравнительно-семантический анализ лексики, и в этой области им был написан ряд статей, существенных и самой постановкой проблемы, и оригинальностью и основательностью ее разработки, и тонким анализом конкретных фактов. Бертулис известен и своими переводами произведений литовской художественной литературы. Сделанное преждевременно скончавшимся ученым желательно собрать и издать отдельной книгой: сам он уже не подведет итогов своему научному пути — и подвести их, оценить и определить место покойного в балтистике наших дней предстоит его читателям — коллегам, в частности, и тем, кто еще только придет в науку.

**В. Т.**

**Александр Ванагас**  
(12 августа 1934 – 13 апреля 1995)

Покойный принадлежал к числу тех литовских лингвистов, которые вошли в науку в 60-х годах. Три десятилетия было отпущено ему на научную работу, и за это время им было сделано так много и так убедительно, что имя его по праву останется навсегда в первом ряду исследователей балтийских языков.

Александр Ванагас родился в деревне Буйвеней Купишкского района Литвы. Рос в большой и обедневшей семье, вынужденной переезжать с места на место. Детство было нелегким. Но, видимо, уже тогда сформировались важные черты характера, которые стали очевидными в зрелом возрасте, — серьезность, трудолюбие, целеустремленность, последовательность, одним словом, та основательность, которая была присуща ему и как исследователю, и как человеку.

В 1954 году Ванагас поступил в Вильнюсский университет, где занимался литовским языком и литературой. С 1959 г. его научная деятельность теснейшим образом связана с Институтом литовского языка и литературы, в котором он прошел все ступени служебной лестницы от аспиранта и младшего сотрудника до директора Института (с 1990 г.). Тем не менее научная, преподавательская и организационная деятельность была достаточно активной и плодотворной и за пределами институтских стен. Ванагас преподавал в Вильнюсском педагогическом университете, в Каунасском университете Витаутаса Великого он заведовал кафедрой литовского языка и был председателем Сената. Был членом ряда литовских и международных комиссий и редколлегий ряда изданий. Мы гордились, что Ванагас был членом редколлегии «Балто-славянских исследований» и принимал участие в Балто-славянских конференциях, проводившихся в Институте славяноведения в Москве.

Заслуги Ванагаса перед наукой были высоко оценены. Он был избран членом-корреспондентом Академии наук Литвы, иностранным членом Академии наук Латвии, награжден орденом Гедимина. Перед ним в новых условиях обретенной Литвой независимости открывались широкие перспективы и едва ли можно сомневаться в том, как многого мы лишились с его смертью. Но болезнь была тяжелой, неизлечимой, и умирал он мужественно. Что только можно было, он сделал, и в отпущенное ему время свой долг он выполнил сполна.

Уйдя от нас, Ванагас оставил нам главное из того, что он сделал, — свои труды. Литва — не только лингвисты, историки, вообще гуманитарии — никогда не забудет его заслуг в собирании и исследовании «языка земли», своей родины. Его трудами в области гидронимии литовское гидронимическое пространство стало доступно во всей своей полноте и подлинности, в высокой степени разъясненности, и тем самым была удовлетворена насущная потребность не только тех, кого интересует именно литовский, балтийский аспект проблемы, но и тех, кто в литовской гидронимии, как в зеркале с чередой все более и более уходящих в глубь отражений, видят ключ для решения своих (*pro domo sua*) проблем, относящихся к реконструкции древних индоевропейских гидронимических типов и к выяснению контактов балтийских языков и культур с соседними — славянскими, финно-угорскими и др. Две книги Ванагаса в этом отношении представляют собой особую ценность — «Lietuvos TSR hidronimų daryba» (1970) и «Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas» (1981). Очень немногие «земли» могут гордиться тем, что их «язык» был так бережно, полно и убедительно описан и объяснен в плане его происхождения и связей в прошлом. Ванагас не пренебрегал и задачей ознакомления широкой читательской аудитории с этим языком своей земли (ср. «Lietuvių vandenvardžiai», 1988). Особо стоит отметить то внимание, которое уделялось им вопросам семантики гидронимов: «Этимологический словарь» и важное исследование «Lietuvių hidronimų semantika» (LKK 21, 1981) в полной мере свидетельствуют интерес автора к этой проблеме. Также нужно напомнить, что Ванагас никогда не пренебрегал собирательской проблемой, и за его научными выводами всегда стояла надежная эмпирическая база. Так, он принимал участие в составлении ценнейшего собрания гидронимических данных «Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas» (1963) и отвечал за лингвистическую экспертизу другого важного топонимического собрания «Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas» (I–II, 1974–1976).

Велик вклад Ванагаса и в литовскую ономастику и в изучение ее отражений в соседних ономастических. Здесь надо отметить раннюю его работу (совместно с Н. В. Бирилло) «Літоўскія элементы ў беларускай анамастыцы» (1968). В последние годы жизни литовская ономастика становилась очередной главной задачей, стоящей перед ученым. В 1982 году выходит научно-популярная книжечка «Mūsų vardai ir pavardės», а в 1985–1989 годах появляется фундаментальный двухтомный словарь литовских фамилий (около 2500 страниц) — «Lietuvių pavardžių žodynas»,

составленный Ванагасом совместно с В. Мацеяускиене и М. Размукайте. Этот труд остается своего рода завещанием, оставленным Ванагасом и его сотрудниками, и это наследие ждет восприимчивых, которым на долю выпадет аналитическое исследование собранного материала. Последние годы жизни были посвящены подготовке литовского топонимического словаря (подготовлен проспект этого многотомного издания и составлена инструкция). Известно, что после смерти осталась рукопись почти законченной книги о происхождении литовских местных названий. Надо надеяться, что она будет издана.

Память об Александре Ванагасе сохранится до тех пор, пока «язык земли» и «язык человеческих имен» будет понятен людям или пока, по крайней мере, они будут вслушиваться в то, что говорят им эти языки, какие смыслы мерцают в каждом имени. Забыть это, унизив имя до статуса «этикетки», — грех против языка и человечности. Смысл всей научной деятельности Ванагаса как раз в том и заключался, чтобы предостеречь от этого рода беспамятства и напомнить о высоких духовных ценностях языка и имени.

*В. Т.*

#### Казис Ульвидас

(15 [28] августа 1910 – 16 марта 1996)

Ульвидас — ветеран литовского языкознания. Еще в 30-е годы он изучал литовский язык и литературу, а также классическую филологию в Вильнюсском (Виленском) университете, который он окончил в 1940 году. В 1942–1949 годах Ульвидас преподавал в Каунасском университете, где был проректором и деканом Историко-филологического факультета, а в 1949–1956 годах преподавал в Вильнюсском университете, одновременно (с 1951 г.) начав работать в Институте литовского языка, занимая и высокие организационно-научные должности. В 1955 году он защитил кандидатскую диссертацию о наречии в современном литовском языке (московским балтистам интересно будет знать, что научным консультантом Ульвидаса был М. Н. Петерсон). В дальнейшем главные научные интересы его лежали в области грамматики литовского языка (так, «наречная» тема получила продолжение в исследовании ряда падежных форм, тяготеющих к «онаречиванию»), литературного литовского языка, культуры речи и т. п. Ключевой была роль Ульвидаса в подготовке трехтомной академической «Lietuvių kalbos gramatika» (1965–1976), главным редактором и одним из соавторов которой он был (он был также членом авторского коллектива русскоязычной «Граматики литовского языка» 1985 г. и «Dabartinės lietuvių kalbos gramatika» 1994 г.). В течение нескольких лет Ульвидас был главным редактором «Lietuvių kalbos žodynas» (тт. 3–5, 12–15). Еще более в подобном же качестве он был связан с изданием «Kalbos kultūra», где он часто выступал и как автор статей и

заметок. При всех издержках, связанных со временем, когда это писалось, сохраняет свое значение работа, написанная Ульвидасом в соавторстве с А. Либерисом, об обогащении лексики литовского языка в советское время (1958). Несомненна и роль Ульвидаса в организации лингвистической работы в Литве в течение последних четырех десятилетий. Его заслуги были высоко оценены.

*В. Т.*

#### Казимерас Эйгминас (1929–1996)

Magistro Amicoque. In memoriam

Stovi kiemely žirgas pabalnotas...

«Ramuvos» himnas

Апрельской ночью 1996 года в своей комнате в Институте Литовского языка на Антакальнė 6 в Вильнюсе тихо ушел из жизни скромный человек, ученый и странник Казимерас Эйгминас.

К. Э. был одним из ветеранов Института. Помимо этого он многие годы преподавал латынь в Вильнюсском университете. Его — по образованию филолога-классика — основной научной работой было издание и комментарий по-латински написанной литовской грамматики *Universitas linguae lithuanicae*. Человек, которому совершенно чужды были какие бы то ни было карьерные устремления, он по настоянию коллег несколько лет назад все же защитил диссертацию. На протяжении многих лет К. Э. участвовал в подготовке многотомного Словаря литовского языка. В последнее время он готовил издание грамматики Сапунаса-Шульца, которая увидит свет, увы, уже после него.

В Вильнюсе и в Литве К. Эйгминаса знали многие. Он был символической фигурой, которую ни с кем нельзя было спутать. Непременный участник почти всех этнографических экспедиций, неустанный собиратель топонимов, знаток всех уголков Литвы, веселый и энергичный, несколько экстравагантный Казимерас был символом той спокойной Литвы, которой удалось с огромным, но никогда не афишируемым чувством собственного достоинства и с гордым сознанием необходимости «непротivления злу насилем» отстоять то, что ей принадлежало по праву. К. Э. относился к поколению и, особенно, к кругу тех людей, которые понимали, что, чтобы сохранить нечто «свое», затираемое, находящееся под угрозой и поэтому утрачиваемое, надо действовать, собирая и изучая это «свое», а не против «чужого». Любя Литву и прежде всего родной Рокишкис, куда он до смерти матери ездил каждую неделю, К. Э. интересовался всеми другими странами, народами и языками. Путешествия были его страстью, и не просто страстью, а даже *modus vivendi*. Он был в Средней Азии, на Алтае, на Урале, в Москве, в Эстонии (на острове Сааремаа), много раз в Латвии. За не-



сколько месяцев до смерти сорвалась его поездка во Францию — первая в Западную Европу, и, думается, это его немного расстроило.

В этнографических экспедициях краеведческого клуба Вильнюсского университета «Ramiuva» мне посчастливилось каждый год на протяжении шести лет вместе с Казимерасом ходить по деревням и собирать топонимический материал. Во время этих совместных странствий я не раз поражался умению Казимераса говорить с людьми, проявлять интерес к вещам, которые их занимали и, главное, оставаться вечным оптимистом, хотя не все в жизни Казимераса могло способствовать оптимистическому видению вещей. Быт его был неустроен, да и устроить его он не пытался: жил далеко не в лучшем районе Вильнюса, в неотопляемой квартире, в которой к тому же вечно что-то случалось, то пожар, то не было света и вечером надо было сидеть при свечах, то соседи не давали покоя. Все это Казимерас переносил кротко и безропотно и как бы даже не считал достоянием обсуждения, дескать, «мне и так неплохо».

Оценил я и его неизменную чуткость и деликатность по отношению ко мне, желание (особенно в первые годы) помочь мне проникнуться литовским духом и почувствовать себя причастным к литовскому универсуму. Я думаю, что мне это удалось, и произошло это в первую очередь благодаря К. Э. Потом мы регулярно переписывались. Он писал мне по-латыни. Я храню его письма, начинавшиеся неизменно: «...carissime, gratias plurimas pro epistula imo pectore ago». К. никогда не жаловался, хотя прорывалось в его письмах и грустное, то, что он хотел скрыть, но не всегда мог подавить: тревога одиночества: «Dies varias, id est bonas atque pessimis habeo, plurime pessimis» (октябрь 1995 г.).

Последний раз я видел Казимераса после шестилетней разлуки в августе 1995 года в Каунасе. К. несколько сдал, ему трудно было ходить — болели ноги. Для него — ходока-путешественника *par excellence* — это было почти невыносимо. Но он держался и был, как всегда, весел и остроумен. Весь день мы гуляли по Каунасу и вспоминали былое, действительно принадлежащее уже другой исторической эпохе. К вечеру мы расстались, я сел на поезд и отправился в Вильнюс. На каунасском перроне я оставил Казимераса, смиренного и гордого подвижника с неизменным рюкзаком странника. — Навсегда.

*Н. Михайлов*

Марта Рудзите  
(24 ноября 1924 – 19 июля 1996)

К своему главному труду, посвященному латышским диалектам («Latviešu dialektoloģija», 1963), она предпослала эпиграф из Райниса:

Viena zeme, vieni ļaudis, —  
Nav vienāda valodība.

Ik pēc zemes gabaliņa  
Griež savādu valodību.

Ученица и продолжательница Эндзелина, она всю жизнь, начиная с кандидатской диссертации, посвященной говорам северной части Видземе и защищенной в 1954 г. (опубликована в 1958 г. — «Ziemeļvidzemes izloksnes Braslavā, Vecatē, Bauņos un Vilzēnos» // Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta Raksti VI, 101–256), была верна этой избранной с самого начала теме всю свою жизнь в науке. «Latviešu dialektoloģija» (1964) образует синтез ее исследовательской деятельности по изучению латышской диалектологии. Эта книга основательна, прозрачна по своей структуре, полезна и, главное, дает описание всей суммы диалектов латышского языка. Совсем недавно была опубликована другая ее крупнейшая монография по исторической фонетике латышского языка («Latviešu valodas vēsturiskā fonetika», 1993). На этом своем главном пути Рудзите не могла пройти и мимо языковых связей ее родного языка с финским языковым элементом в Прибалтике. Она также писала по вопросам истории латышского языка и ономастики. Ее присутствие в составе редколлегии «Балто-славянских исследований» было честью для нас.

Марта Рудзите была простым, скромным, верным человеком, истинной дочерью своего народа. Все, что она могла, было ею сделано. Вечная ей память.

*В. Т.*

Норберт Велюс  
(1938–1996)

Балтийская филология понесла невосполнимую утрату — в расцвете творческих сил 23 июня 1996 г. скончался в Вильнюсе Норберт Велюс, виднейший литовский фольклорист, мифолог, исследователь духовной культуры древних балтов.

Н. Велюс родился 1 января 1938 г. в деревне Гульбес на западе Литвы, близ Шилале. Вильнюсский университет по специальности литовский язык и литература окончил в 1962 г. Он принадлежал к тому поколению в литовской филологической науке, на долю которого выпала задача систематического собирания родного фольклора, и с первых же лет учения включился в эту работу, ставшую романтическим увлечением и делом его жизни. Около 30000 произведений народного творчества с их вариантами, записанные его рукой, остались в рукописном фонде литовского фольклора при Институте литовского языка и литературы (с 1990 г. Институт литовской литературы и фольклора) Академии наук Литвы, где покойный работал до конца своих дней. Он был отмечен даром искать и находить самородки — его стараниями уникальное фольклорное наследие А. Чепукене, П. Заланскаса, Р. Сабалаяускене стало достоянием науки и

общенародной культуры (издано отдельными книгами с комментариями Н. Велюса: «Oi tu kregždele», 1973; «Čiulba ulba sakalas», 1983; «Atbēga elnias devyniaragis», 1986). Творческие и психологические портреты талантливых выразителей литовской фольклорной традиции — не только научная удача и заслуга Н. Велюса, но и проникновенный урок любви к своему народу и его духовным достижениям. Таким уроком была и вся его неутомимая деятельность на ниве отечественного краеведения. Он был инициатором, организатором и неизменным участником комплексных краеведческих экспедиций — по существу, целого движения, объединившего сотни любителей родной старины. Зервинос, Игналинский край, Девянишкес, Меркине, Дубингяй, Улите, Кярнаве, Гярвечай стали вехами этого патристического движения, запечатленными в соответствующих сборниках материалов и исследований; ждут публикации подготовленные также при участии Н. Велюса труды экспедиций в Пуньск — Сейны и Радунь — Пелясу. Им опубликованы фольклорные записи М. Сланчаускаса и Ю. Довидайтиса, изданы сборники мифологических сказаний «Laumių dovanos» (1979), «Sužeistas vėjas» (1987), «Kaip atsirado žemė» (1986).

Мифология была основной областью интересов Н. Велюса как исследователя. Здесь его внимание привлекали наименее изученные разделы — хтонический мир литовской мифологии, его главные представители: *velnias, laimės, laumės, aitvarai, kaukai*, «nepaprasti žmonės», проблемы их происхождения, эволюции, типологии. Благодаря исследованиям Н. Велюса, прежде всего монографиям «Mitinės lietuvių sakmių būtybės» (1977), «Chtoniskasis lietuvių mitologijos pasaulis» (1987), построенным на скрупулезном анализе едва ли не всех имеющихся источников, эти темы были тщательно разработаны и освоены. Новым словом в науке о балтийских древностях стала его книга «Senovės baltų pasaulėžiūra. Struktūros bruožai» (1983), где сформулированы структурные принципы древнебалтийской модели мира и обоснована оригинальная концепция ее географической ориентации и пространственно-экологической мотивировки. Им было подготовлено полезное издание хрестоматийного характера «Lietuvių mitologija» (I том, 1995). При его участии создавалась задуманная им же антология источников по литовской мифологии, ожидающая выхода в свет.

В последние годы он отдавал много сил и педагогической работе — был профессором Университета Витовта Великого, заведующим кафедрой этнологии и фольклористики.

Жизнь Н. Велюса, посвященную любимой науке, близкие люди сравнивали с горением. Светлая память об этом замечательном человеке будет жить в душе тех, кто знал его.

Т. Судник, Т. Цивьян

## ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Последний выпуск «Балто-славянских исследований» (БСл. Иссл. 1987) вышел в 1989 г., и настоящий выпуск должен был появиться в 1991 г. Однако общая неблагоприятная ситуация в стране болезненно отозвалась и на положении науки в России. Возможности публикации сильно сократились, и вот только теперь, спустя восемь лет, очередной выпуск «Балто-славянских исследований» выходит в свет. Члены редколлегии ежегодника тем не менее надеются, что его существование не прекратится и что он будет продолжать играть свою роль в исследовании балтийских и славянских языков, мифологии, фольклора, литературы и письменности этих народов. Разумеется, нужно отдавать себе отчет в том, что отныне работа будет протекать в других условиях, которые делают необходимым частичное изменение задач, стоящих перед этим изданием. Дальнейшая работа становится еще более сложной и ответственной.

Эти новые условия возникли летом 1991 г., когда страны Прибалтики в результате широкого и мужественного освободительного движения, не оставшегося без последствий для такого же движения и в России, добились независимости и признания во всем мире. Мы, посвятившие себя занятиям балтийскими языками и культурой, с особым вниманием следили за этой борьбой, остро переживали все ее перипетии. Наша поддержка и наши горячие симпатии — при сознании и своей собственной вины — были, конечно, на стороне тех, кто, будучи лишен независимости и свободы, в течение полувека страдал под гнетом несправедливости, лжи и насилия, но всегда, даже в самые мрачные дни, помнил об отнятых высоких ценностях человеческой жизни.

Мы знаем, что наши коллеги в Литве, Латвии и Эстонии в целом с честью прошли сквозь все испытания и сумели добиться очень многого, большего, чем можно было ожидать. Вклад, который они сделали в общую и единую для нас науку, заслуживает высокой оценки и признательности. Тяжело переживая ослабление, а иногда и более кардинальное нарушение былых связей, мы остаемся с надеждой на то, что в лучшие времена наши научные связи восстановятся, окрепнут и получат новые стимулы для своего развития, что ничто постороннее и насильственное не омрачит их и что единственным и бескорыстным основанием нашего сотрудничества будет объединяющее нас общее дело.

\* \* \*

Прошедшие события хотя и естественно, но к большому сожалению здешних специалистов, занимающихся языком и культурой балтийских народов, привели к затруднению научных контактов с учеными Литвы, Латвии, Эстонии. Хотелось бы думать, что этот кризис со временем минет и что преодоление этого отчуждения будет на пользу обеим сторонам. Во

всяком случае, «Балто-славянские исследования», пока их издание, несмотря на большие трудности, продолжается, ставят перед собой задачу посильного восстановления связей с учеными балтийских стран и ознакомления читателей этого издания с результатами научной деятельности ученых Прибалтики. Поэтому, в частности, уместно напомнить (к сожалению, очень неполно и выборочно) о ряде ценных работ наших балтийских коллег, о продолжающихся и новых изданиях за последние годы. Недостаток времени и места позволяет говорить об этом исключительно в «списочном» жанре.

Актом высокого символического значения представляется издание на рубеже 80–90-х годов в Литве колоссального труда энциклопедического характера «Наша Литва», подготовленного покойным Брюном Квиклисом (*B. Kviklys. Mūsų Lietuva. I–IV. Vilnius, 1989–1992*, фотокопия американского издания 1964–1968 гг.) в эмиграции, умершим незадолго до завоевания Литвой независимости. Столь же символично, хотя и в ином плане, последнее «подсоветское» энциклопедическое издание — «Литва. Краткая энциклопедия» (*Vilnius, 1989*), представляющее собой экстракт четырехтомной «Энциклопедии советской Литвы» (1985–1988) на литовском языке.

Продолжается издание лучшего журнала по балтийскому языкознанию «Baltistica»: в 1989–1992 гг. вышли тома XXV–XXVII и два дополнительных выпуска III (1) и III (2) «Baltistica. Priedas». В 1995 году появился уже XXX (1) том. В 1990 г. начал выходить журнал Академии наук Литвы «Lituanistica» (главный редактор Й. Ланкутис, а теперь — В. Меркис), посвященный истории, археологии, языку, литературе, фольклору, этнографии и искусству Литвы. В 1995 г. появился уже № 4 (24) этого полезного и весьма разнообразного по тематике журнала. После запрета в 1940 г. журнала «Židinys» прошло полвека, прежде чем в 1991 г. стало возможным возобновить издание подобного профиля (вопросы религии и культуры). Журнал ежемесячный, большого формата, с широким кругозором, обильно представленными книжными обзорами и рецензиями, с большим количеством иллюстраций. В настоящее время он осуществляет ведущую роль в ознакомлении читателя как с тем, что было упущено за полвека, так и с новыми проблемами из сферы религии и культуры. В журнале печатаются переводы, художественная проза и поэзия. Нужно надеяться, что у этого издания большое будущее. Еще два журнала заслуживают внимания — «Mokslas ir Lietuva (Pasaulio lietuvių mokslo, švietimo ir kultūros mokslinis iliustruotas žurnalas)», первый выпуск которого появился в 1990 г., и «Akademikas», выпускаемый литовской студенческой корпорацией «Neo-Lithuania» (первый выпуск — 1993 январь–февраль; в 1995 г. вышел спаренный 9/10 выпуск). Из продолжающихся изданий нужно отметить интересные последние номера «Lietuvių kalbotyros klausimai», явно обретших второе дыхание, особенно том XXX, 1993 (о периферийных диалектах литовского языка), том XXXI, 1993 (исследования в области балтийской ономастики), том XXXIII, 1995 (грамматика и лексикология), том XXXIV, 1994 (о литовских диалектах и исследованиях), том XXXV, 1995 (исследования по

лексикологии), том XXXVI, 1996 (об исследователях литовского языка, в частности и о Герулисе, и об их исследованиях). Из журналов по балтистике, выходящих за пределами Прибалтики, следует назвать три: очень солидный и содержательный варшавский журнал «Linguistica Baltica», выпускаемый В. Смочиньским (вышли тома I–IV, 1992–1995), «Journal of Baltic Studies» (в 1995 г. вышел том XXVI) и пизанский журнал «Res Balticae», выпускаемый П. У. Дини и Н. А. Михайловым (пока вышли два тома: I, 1995 и II, 1996).

Если говорить о других работах по балтистике, вышедших за пределами Прибалтики, то здесь можно ограничиться упоминанием лишь нескольких: *J. Užpurvies. Drei sprachwissenschaftliche Studien (Die Saugener litauische Mundart; Memel, Strom- und Stadtbezeichnung und Zur Entstehung von Donelaitis' Werk «Keturi Metų Laikai»)*. Chicago, 1991; «Bałto-słowiańskie związki językowe». Pod red. M. Kondratiuka. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1990; «Studies in West Slavic and Baltic Linguistics». Ed. by A. A. Barentsen, B. M. Groen and R. Sprenger. Amsterdam — Atlanta, 1991; *P. U. Dini. Le lingue baltiche // La formazione dell'Europa linguistica. Le lingue d'Europa tra la fine del I e del II millennio*. 1993; «The Baltic Languages and Cultures in Interaction. Proceedings NOMES-Conference 19–20 May, 1994. Groningen, 1995; *R. Derksen. Metatony in Baltic*. Amsterdam — Atlanta, 1996; *Ю.С.А. Лайчюте. Ареальный аспект в изучении балто-славянских контактов // Этнические контакты и языковые изменения*. СПб., 1995 и др.

Из фундаментальных лексикографических трудов необходимо отметить завершение словаря литовских фамилий («Lietuvių pavardžių žodynas»). L–Ž. Vilnius, 1989, отв. ред. А. Ванас и продолжающееся (правда, с серьезным замедлением) издание замечательного собрания лексики литовского языка — «Lietuvių kalbos žodynas». В 1991 г. появился очередной том — XV: *šliup–telžti*. Заслуживает внимания обратный словарь литовского языка почти на 75000 слов — «Atgalinis dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Sudarė V. Žilinskienė. Vilnius, 1995.

Важнейшим событием в балтистике является завершение выдающегося труда Э. Зинкявичюса «История литовского языка». За последние годы вышли т. IV («Lietuvių kalba XVIII–XIXa»). Vilnius, 1990; т. V («Bendrinės kalbos iškilimas»). Vilnius, 1992; т. VI («Lietuvių kalba naujaisiais laikais»). Vilnius, 1994. В 1993 г. вышла в свет еще одна интересная книга этого же автора — «Rytų Lietuva praityje ir dabar», рассматривающая важные вопросы, не подлежавшие обсуждению в предшествовавшие полвека. В 1991 г. появился 3-й том «Атласа литовского языка», посвященный морфологии (том содержит 144 карты).

В области литовского и балтийского языкознания помимо названных работ нужно отметить несколько монографий — *A. Rosinas. Baltų kalbų įvardžiai*. Vilnius, 1988; *B. Амбразас. Сравнительный синтаксис причастий балтийских языков*. Вильнюс, 1994; *V. Maciejauskienė. Lietuvių pavardžių susidarymas. XIII–XVIIIa*. Vilnius, 1991; *V. Grinaveckis. Lietuvių kalbos tarnių kirčiavimo klausimai*. Vilnius, 1991; *Idem. Lietuvių tarmės. I–III*. Vilnius, 1991–1993 (фонетика, морфология, диалектные тексты); *A. Sabali*

*auskas. Iš kur jie? Pasakojimas apie žodžių kilmę.* Vilnius, 1994; *B. Римша.* Балто-фракийские языковые связи. Каунас, 1994 и др. Ср. также сборник тезисов к очередному Конгрессу балтистов — VI Tarptautinis baltistų Kongresas 1991 m. spalio 2–4 d. Pranešimų tezės. Vilnius, 1991.

Особо стоит отметить успешно продолжающееся издание старых памятников литовской письменности — *Heinrich Johann Lysius. Mažasis Katekizmas.* Pagal Berlyno rankraštį parengė Pietro U. Dini. Vilnius, 1993 (Дини принадлежит и другая важная публикация, сопровождаемая исследованием — «*L'Inno di S. Ambrogio di Martynas Mažvydas.* Studio filologico-linguistico del testo antico lituano (1549) e delle sue fonti latine e polacche». Roma, 1994), и издание «Вольфенбюттельской Постиллы» — *Wolfenbüttelio Postilė.* Parengė ir įvadą parašė Juozas Karaciejus. Vilnius, 1995. Стоит обратить внимание и на новое издание важнейшего труда Симона Даукантаса — *Simonas Daukantas. Būdas senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių.* Vilnius, 1993 (parengė B. Vanagienė), а также его же большой польско-литовский словарь — *Simono Daukanto Raštai. Didysis lenkų-lietuvių kalbų žodynas.* T. 1. A–M. Vilnius, 1993.

Кстати, нельзя не напомнить, что еще в 1988 г. вышла в свет весьма полезная и основательная хрестоматия по историографии литовской литературы от Вилентаса и Бреткунаса до потери Литвой своей независимости (книгу подготовил Л. Гинейтис) — «*Lietuvių literatūros istoriografijos chrestomatija (iki 1940 m.)*. Vilnius, 1988.

С ростом освободительного движения в Литве и обретением ею независимости отмечается резкое возрастание интереса к истории Литвы и ее праисторических корней. Изучение истории балтийских народов после 1940 г., за исключением отдельных существенных исследований обычно частного характера, было сведено к минимуму. Умолчание или, еще хуже, сознательное извращение и фальсификация в этой области стало нормой. Свободная и соответствующая реалиям историческая мысль преследовалась. Теперь положение кардинально изменилось. За последние годы были изданы и переизданы в виде монографий и статей в сборниках и периодических изданиях многие полезные и интересные труды, оповещающие о начале нового этапа в изучении истории Литвы. Хронологический размах предельно велик — от прабалтийской древности (ср. *A. Norkūnas. Aisčiai.* Vilnius, 1990, уже упоминавшуюся книгу *M. Гимбутас,* результаты археологических исследований, см. ниже; ср. также вышедшую в Вильнюсе еще в 1985 г. книгу *A. Салиса «Baltų kalbos, tautos bei kiltys»,* а также книгу *A. Сабаляускаса,* вышедшую в 1993 г. в Вильнюсе, — «*We, the Balts»*) до трагических страниц истории Литвы в XX веке (ср. интересно написанную и хорошо документированную книгу — *E. Turanskas. Lietuvos nepriklausomybės netenkant — įvykiai.* Vilnius, 1990). В 1989 г. в Вильнюсе переиздано каунасское 1939 г. издание «Истории Литвы» *A. Шапокаса («Lietuvos istorija»),* а двумя годами позже книга — *Z. Ivinskis. Lietuvos istorija iki Vytauto Didžiojo mirties.* Vilnius, 1991. Нельзя пройти мимо и литовского издания «Истории» *T. Нарбута («Lietuvių tautos istorija».* Vilnius, 1994). Более специальный вопрос рассматривается в книге об одном из тех поборников про-

свещения, который привлек внимание к балтийским народам и их культурным ценностям, см. *A. Šešplaukis. J. G. Herderis ir baltų tautos.* Vilnius, 1995.

Из справочных изданий по литовскому языкознанию важна книга: *A. Ubeikaitė. Lietuvių kalbotyra 1930–1943. Literatūros rodyklė.* Vilnius, 1990, восполняющая важный пробел в библиографии по этой теме. Также надо отметить и выход в свет в 1995 г. тома того же издания, посвященного библиографии по литовскому языкознанию за 1973–1976 гг.

Если говорить об археологических трудах, то нельзя пройти мимо двух серьезных исследований Р. Римантиене. Одно из них посвящено описанию поселений каменного века около Ниды с реконструкцией элементов материальной и духовной культуры — «*Senųjų baltų gyvenvietė»* (Vilnius, 1989), а другое — Литве в дохристианскую эпоху, точнее — до Христа: «*Lietuva iki Kristaus»* (Vilnius, 1995). Из археологических исследований, относящихся к более поздним периодам, особо стоит выделить новый этап раскопок, начатый в 1988 г. в «гедиминовом» локусе, в долине Швентаргиса, конкретнее — на территории, занимавшейся некогда княжеским дворцом Вильнюсского Нижнего замка (руководитель работ *A. Таутавичюс*). Уже сделанные открытия весьма важны и позволяют восстановить картину в гораздо более конкретном и точном виде. Немало находок, относящихся к слою XVII–XVIII вв., которые в сочетании с архитектурными исследованиями фрагментов замка, кажется, дают основания хотя бы для «условно-реальной» реконструкции этого объекта. Из пока дошедших до нас исследований этого локуса можно отметить: «*Vilniaus Žemutinės pilies rūmai»* (Vilnius, 1989); «*Vilniaus Žemutinės pilies rūmai (1989 metų tyrimai)*» (Vilnius, 1991), ср. также *D. Juozėnas. Šventaragio slėnis.* Vilnius, 1991 и книгу, отражающую исследования, проводимые в последние годы в подземельях Вильнюсского Кафедрального собора, — *N. Kitkauskas. Vilniaus Arkikatedros požemiai.* Vilnius, 1994. Глубокий интерес к своему прошлому и любовь к своей истории, как и высокий профессионализм литовских исследователей в этой области, производят большое впечатление. Хочется пожелать им новых успехов в их подвижнической работе.

Также заслуживают и пристального внимания, и высокой оценки исследования, связанные с темой Малой Литвы, запретные в годы оккупации. Среди них уместно упомянуть несколько монографий: *V. Šilas, H. Sambora. Po Mažąją Lietuvą.* Vilnius, 1983; *A. Matulevičius. Mažoji Lietuva XVII amžiuje. Lietuvių tautinė padėtis.* Vilnius, 1989; Замечательные люди Малой Литвы. Сборник статей. Вильнюс, 1989; *V. Pėteraitis. Mažoji Lietuva ir Tvanksta.* Vilnius, 1992 (обстоятельное исследование ученого, посвятившего себя изучению Малой Литвы в языковом и культурно-историческом плане). Историческая несправедливость, допущенная после Второй мировой войны в отношении Малой Литвы, требует в виде компенсации (уву! только частичной) еще более интенсивного изучения «литовского» слоя в истории, культуре, быте Малой Литвы. Отрадно также возобновление ценной серии, некогда закрытой по соображениям идеологического характера. Речь идет о монографических краеведческих исследованиях. В 1989 г. была наконец-то

(книга была подготовлена много лет назад) опубликована монография «Gervėčiai», а в следующем году — и в связи с другим ареалом — «Kudirkos Naumiestis». Серия выпускается Литовским краеведческим обществом. Существенно привлечь внимание и к книге *B. Buračas. Lietuvos kaimo papročiai*. Vilnius, 1993 и др.

Благодаря усилиям главным образом Н. Велюса и П. Дундулиене в Литве и литовских исследователей «в рассеянии» М. Гимбутас и А. Ю. Греймаса с конца 70-х годов наметился прорыв и в другой до того запретной области — литовского язычества и его мифологии и символики. Наиболее широко, основательно и в значительной мере по-новому подошел к этому кругу вопросов известный уже по более ранним работам по «хтонологии» исследователь и собиратель фольклора Велюс. Среди его работ последних лет — новаторское исследование о мировоззрении древних балтов, как оно восстанавливается по соответствующей картине мира и как оно предопределяет и общую структуру балтийской мифологии: «Senovės baltų pasaulėžiūra. Struktūros bruožai» (1983; английская версия была опубликована в Вильнюсе в 1989 г. — «The World Outlook of the Ancient Balts»). Велюсу принадлежат и другие важные труды. Среди них — «Chtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis. Folklorinio velnio analizė». Vilnius, 1987; «Цветок папоротника. Литовские мифологические сказания» (составитель Н. Велюс, 1989). Особо следует отметить выход в свет в 1995 г. первого тома планировавшегося фундаментального исследования по источникам литовской мифологии — «Lietuvių mitologija» (с ранних пор по труды А. Брюкнера включительно). Многочисленны работы в этой области и покойной Пране Дундулиене. Если говорить о том, что появилось только в последние годы, то здесь можно назвать «Lietuvių liaudies kosmologija» (1988); «Pagonybė Lietuvoje. Moteriškosios dievybės» (1989); «Duona lietuvių buityje ir papročiuose» (1989); «Senovės lietuvių mitologija ir religija» (1990). В 1990 г. была переведена на литовский язык книга А. Греймаса 1979 г. — «Tautos atminties beieškant. Apie dievus ir žmones» (Vilnius-Chicago). Также вышла в переводе ценная работа М. Гимбутас о старинной символике литовского изобразительного искусства: «Senovinė simbolika lietuvių liaudies mene» (1994). Этой же теме на более широком материале и с общепалтийским охватом посвящен сборник статей «Senovės baltų simboliai» (1992). Интересен и более специфицированный по теме сборник под названием «Danguis ir žemės simboliai» (1995). Серьезным исследователем зарекомендовал себя Гинтарас Береснявичюс в своей книге «Baltų religinės reformos» (1995). Из других работ безусловно заслуживают внимания: *N. Laurinkienė. Mito atšvaitai lietuvių kalendorinėse dainose* (Vilnius, 1990); *Senovės baltų kultūra. Iki krikščioniškosios Lietuvos kultūra. Istoriniai ir teoriniai aspektai*. Vilnius, 1992; *Senovės baltų kultūra*. Vilnius, 1992; и особенно ее же весьма серьезное, многоплановое и богато иллюстрированное исследование, посвященное Перкунасу, — «Senovės lietuvių Dievas Perkūnas kalboje, tautosakoje, istoriniuose šaltiniuose» (Vilnius, 1996); ср. также *J. Kudirka. Velykų šventės*. Vilnius, 1992; *J. Gutauskas. Krikščionybė Lietuvoje. Iš mūsų religinės praeities ir dabarties. Tikybos vadovėlis*. Kaunas, 1992.

Немало интересного, а иногда и очень ценного появилось в области литературоведения, фольклористики, эстетики, культурологии. Ср., например, «Senosios literatūros žanrai» (1992); особого внимания заслуживает книга Томаса Венцловы «Vilties formos. Eiseistika ir publicistika» (Vilnius, 1991), широкая по охвату материала, во многих случаях весьма пронизательная и всегда талантливая и интересная. Хотелось бы привлечь внимание и к диссертации Э. Александровичюса, о которой можно судить по ее краткому изложению, — «Culture of Lithuanian Revival (Middle of the 19th Century). Abstract of the doctor habilitation thesis» (Vilnius, 1993). Драгоценным подарком читателю оказался трехтомник сочинений выдающегося литовского философа, оригинального мыслителя и писателя, человека удивительной судьбы Видунаса (настоящее имя Вильгельмас Стороста), ср. *Vidūnas. Raštai. I–III*. Vilnius, 1990–1992.

Из фольклористических публикаций и исследовательских работ, о которых предполагается написать в другом месте, можно здесь отметить продолжающееся издание серии «Lietuvių liaudies dainynas» и основательное исследование Б. Кербелите «Историческое развитие структур и семантики сказок (на материале литовских волшебных сказок)» (Вильнюс, 1991).

В Латвии отмеченным событием в языкознании стал выход в свет первого этимологического словаря латышского языка общим объемом около 1300 страниц — *K. Karulis. Latviešu etimologijas vārdnīca I–II*. Rīga, 1992. Появление этого словаря восполняет серьезную лакуну в наших знаниях о происхождении лексики латышского языка на широком балтийском и индоевропейском фоне. Особо надо отметить весьма основательную и в высокой степени необходимую книгу М. Рудзите по исторической фонетике латышского языка («Latviešu valodas vēsturiskā fonetika», 1993). В том же году вышла в свет большая и серьезная монография И. Фреймане — «Valodas kultūra teorētiskā skatījumā». Продолжая тематику своих прежних исследований, Б. Лаумане выпустила в свет в 1996 г. книгу «Zeme, jūra, zveivietas. Zvejniecības leksika Latvijas piekrastē», которой свойственны обстоятельность (около 400 стр.), богатство материала, точность. Ею же написано несколько интересных статей. То же можно сказать о работах А. Брейдакса и целого ряда других лингвистов. В области топонимистики наиболее значительными трудами были книга ветерана топонимических исследований в Латвии В. Дамбе «Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi» (1990) и интересный сборник статей «Onomastica Lettica» (1990). В 1995 г. в Каунасе вышла книга А. Буткуса «Latviai».

Несомненный прорыв в публикации старых текстов произошел во второй половине 80-х годов, когда К. Карулисом были подготовлены издания текстов Стендера и Рейтера (с вступительными статьями и комментариями) — *Gothards Fridrichs Stenders. Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas*. Rīga, 1986 и *Janis Reiters un viņa tulkojums*. Rīga, 1986. В 1993 г. вышло в свет основательно подготовленное и прокоммен-

тированное издание «Хроники» Генриха Латыша — латинский текст и латышский перевод: Indriķa Hronika. A. Feldhūna tulkojums, Ē. Mūgereviča priekšvārds un komentāri. Rīga, 1993. Кстати, недавно появился и перевод этой «Хроники» на литовский язык, ср.: *Henrikas Latvis. Hermanas Vartbergē. Livonijos Kronikos*. Vilnius, 1991 (перевод, введение и комментарии Ю. Юргиниса).

Из книг фольклорно-мифологической тематики можно отметить издания, связанные с юбилеем К. Барона и его знаменитым собранием латышских дайн (между прочим в 1993 г. был издан 6-й том собрания «Latviešu tautadziņas»). Интересна книга, построенная как на фольклорном, так и на авторском, литературном материале, — «Latviešu tautas dzīvesziņa», первый выпуск которой вышел в 1990 г. В сборнике «Pasauls skatījuma poētiskā atveide folklorā» (1990) анализируются особенности поэтического воспроизведения мировоззрения на фольклорном материале. Но особый интерес представляет большой фольклорно-мифологический труд исследовательницы, уже успевшей зарекомендовать себя наилучшим образом. Речь идет о книге: *J. Kursite. Latviešu folklorā mītu spoguļi*. Rīga, 1996. Тому же автору принадлежит новое исследование о поэтике Райниса — «Raiņa dzejas poētika» (Rīga, 1996).

Начало выходить в Риге в Латвийском университете периодическое издание «Baltu filoloģija: Zinātniski informatīvi ziņojumi». В 1994 г. вышел четвертый выпуск.

В более широком плане заслуживают внимания две весьма полезные и актуальные книги: *J. Stradiņš. Trešā atmoda. Raksti un runas 1988–1990 gadā. Latvijā un par Latviju*. Rīga, 1992 и «Ideju vēsture Latvijā no pirmsākumiem līdz XIX gs. 90. gadiem. Antoloģija». Rīga, 1995 (составитель — Е. Вусенице), не говоря о ряде других книг, представляющих предположительно интересными, но остающихся известными пишущему эти строки лишь по названию и/или рецензиям (вообще ситуация с поступлением книг из Литвы и особенно из Латвии в московские библиотеки и, вероятно, не только в них, катастрофическая).

Особое значение следует придавать весьма интересному и безусловно положительному факту возрождения «ликвидированной» при оккупации латгальской письменности, робкие попытки поддержания которой до недавнего времени предпринимались только на Западе. Поэтому каждая новая публикация на латгальском языке — большое и важное событие. Из доступных пишущему этот обзор автору изданий должны быть отмечены — и тоже выборочно — лишь некоторые (при том, что и сам выбор в известной мере случаен): *P. Strods. Pareizraksteības vārdeņa. Atkortots izdevums. Daugavpīļi, 1990; Pīmineklis un laiks. Materialu krājums par Latgolas atbreivdošanas pīminekli. Rēzeknē, 1992; J. Klīdzējs. Dīvotās dvēseles. Rēzeknē, 1992; Tāvu zemes kalendārs 1992. 53. goda gājums. Rēzeknē, 1992 и др. Особо нужно отметить издание «Olūts. Literari zinātnisks rokstu krājums» (Rēzeknē) и, конечно, серию «Acta Latgalica» (к рубежу 1993 и 1994 гг. вышел из печати уже 8-й выпуск); в ней публикуются разнообразные статьи, связанные с Латга-*

лией и ее населением. Издание выходит в Резекне. Из работ, посвященных научному исследованию латгальского языка, надо выделить статью А. Брейдакса «Latgališu literārā volūda: nostādnis un problemys // Olūts: Rokstu krājums. VIII sēj., 1992. Представляет интерес книга: *J. Kursite, A. Stafeska. Latgaliešu literatūra*. Rīga, 1995. Из работ, вышедших за пределами Латвии и относящихся к латгальской литературе, следует отметить недавнюю статью: *V. J. Zeps. Latgalian Literature in Exile // Journal of Baltic Studies*, vol. XXVI, № 4, 1995.

В области изучения языка пруссов главным событием продолжает оставаться издание этимологического словаря прусского языка, осуществляемое В. Мажюлисом, — «Prūsų kalbos etimologijos žodynas», 2. Vilnius, 1991 (том 1 вышел в 1988 г.). О возрастающем интересе к пруссам, их языку и культуре свидетельствует перевод книги О. Шнейдерайтиса «Prūsai» (Vilnius, 1989), а также ряда других изданий, ср. «Romovė» I. Rumšiškės, 1989 (сборник статей на темы истории, мифологии, культуры), «Rasa. Prūsijos manoj autos» (Vilnius, 1990) и др. Весьма содержателен сборник «Prūsijos kultūra» (Vilnius, 1994). Помимо статей о языке, включая и топонимику, и истории особенно удачно укомплектован раздел, посвященный религии и мифологии древних пруссов. Также необходимо отметить материалы, составляющие сборник докладов на Международной конференции, проведенной в Варшаве осенью 1991 г., — «Colloquium pruthenicum primum» (Warszawa, 1992). Проявлением растущего интереса к прусской теме и открытием новых ее аспектов, в частности, проблемы практической регенерации прусского языкового начала в новых условиях нужно считать и блестящие опыты Л. Палмайтиса (М. Клусиса), имеющие как большое теоретико-эвристическое, так и, возможно (во всяком случае, этого нельзя исключить полностью), практическое значение. Основной труд — *M. Klusis. Prūsų kalba 1. Naujosios prūsų kalbos gramatika*. Vilnius, 1989. Помимо грамматики книга содержит переводы на новопрусский язык целого ряда текстов; объявлен выход и второго тома, который должен содержать словарь новопрусского языка (ср. также календарь на новопрусском языке, составленный тем же автором) [к словарю собственно прусского языка (древнепрусского) имеет отношение книга японского исследователя Тосикадзу Иноуэ «Нормализация прусского языка Энхиридиона — словарь, текст, грамматика. Том 1. Нормализация словаря»]. Из книг, связанных с прусской темой и написанных за пределами Прибалтики, следует отметить монографию В. И. Кулакова «Древности пруссов VI–XIII вв.» (М., 1990), вышедшую в серии «Археология СССР. Свод археологических источников» (выпуск Г 1–9).

Успешное развитие гуманитарных и прежде всего языковедческих исследований в Литве и Латвии, несмотря на известные сложности нынешней ситуации, производит большое и безусловно положительное впечатление. Нужно надеяться, что успех будет сопутствовать нашим литовским и латышским коллегам.

Научное издание

**Балто-славянские  
исследования  
1988–1996**

Утверждено к печати  
Институтом славяноведения и балканистики РАН

Корректор *Р. Агеева*  
Младший редактор *Л. Коритысская*  
Редактор *Н. Волочаева*

**Издательство «Индрик»**  
Директор *С. Григоренко*  
Главный редактор *Н. Волочаева*  
Выпускающий редактор *О. Климанов*

Foreign customers may order the above titles  
by E-mail: root @ indrik. msk. ru .  
or by fax: (095) 290-68-91

ЛР № 070644, выдан 26 октября 1992 г.  
Формат 60x90<sup>1/16</sup>. Гарнитура «Школьная». Печать офсетная.  
25,5 п. л. Тираж 1000 экз. Заказ № 1253  
Отпечатано с оригинал-макета  
в Типографии № 2 РАН  
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., д. 6



1988-  
1996

БАЛТО-СЛАВЯНСКИЙ ИССЛЕДОВАНИИ

